

СОЧИНЕНІЯ

ДЖИКИТИНА

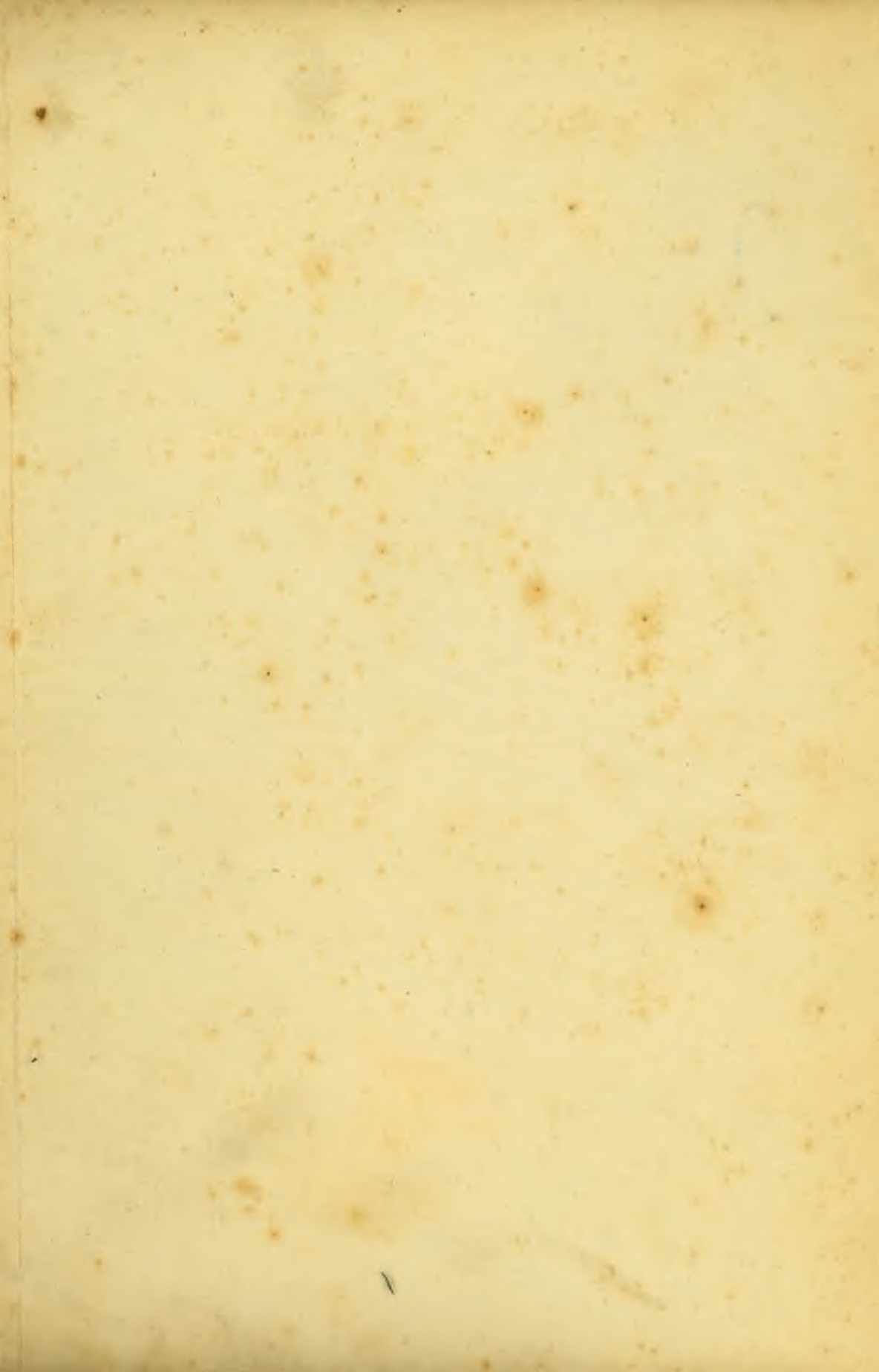












98





Wm. McKinney J



375574

СОЧИНЕНІЯ

# И. С. НИКИТИНА

СЪ

ЕГО ПОРТРЕТОМЪ, FAC-SIMILE

И

## БІОГРАФІЕЙ,

составленной редакторомъ изданія

**М. О. де-Пуле.**

ТОМЪ I.

**ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ.**

МОСКВА.

Изданіе книгопродавца-издателя **Клавдія Бузьмича Шамова,**  
въ Москвѣ, на Бол. Грузинской ул., въ собств. домѣ.

**1900.**



533835

Типографія Н. Н. Шарапова, Кудринская ул., д. Кир'євой.

СОЧИНЕНІЯ

**И. С. НИКИТИНА.**

**ТОМЪ I.**



ВНЕШНЕГО  
ДЕЛА  
МИНИСТЕРСТВА  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

№ 1234

## ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

(Къ 4-му изданію).

Въ дѣль изданія „Сочиненій И. С. Никитина“ не посчастливилось съ самаго начала. Первое посмертное изданіе поэта было предпринято и напечатано въ Воронежѣ въ 1869 году. Уже само мѣсто изданія—провинціальный городъ—указывало на возможность пропусковъ, которые потомъ и явились въ немъ, къ неудовольствію весьма многихъ читателей, хорошо знавшихъ Никитина, полного не урьзаннаго цензурой. Эти урьзки были приписаны ими первому издателю, а отъ него, какъ бы по наследству, были перенесены и на второго.

Слѣдующія два изданія „Сочиненій И. С. Никитина“ были сдѣланы нами въ Москвѣ, въ 1878 и въ 1883 и.; но, къ сожалѣнію, Никитинъ опять явился въ неполномъ видѣ. Принимаю на себя часть вины въ такой неполнотѣ и не желая утомлять читателей, ради своего оправданія, пространными объясненіями, указываемыми только на одно обстоятельство, противъ котораго мы ничего не могли сдѣлать. Первый издатель Никитина (А. Р. Михайловъ) умеръ еще въ началѣ 70-хъ годовъ; мы не имѣли никакой возможности узнать: цѣлы ли и гдѣ находятся тѣ рукописи, которыя онъ посылалъ въ цензуру и по которымъ печаталъ Никитина въ одной изъ воронежскихъ типографій? Эти, необходимыя для полноты изданія, рукописи отыскались только въ самое послѣднее время,

и не вполне выдержанъ имъ на дѣлѣ. Отъ этого основного взгляда не уклонилась и редакция двухъ послѣдующихъ изданій (К. К. Шамова), но оставивъ безъ измѣненія размѣщеніе піесъ, находившееся въ Михайловскомъ изданіи.

Въ текстъ настоящаго четвертаго изданія сочиненій Никитина вошло: а) всѣ стихотворенія, помѣщенные въ Кокоревскомъ изданіи; б) все, что осталось не передѣланнымъ въ Толстовскомъ; с) что было помѣщено Никитинымъ въ периодическихъ изданіяхъ послѣ 1858 года и д) большая часть изъ того, что было потомъ найдено Курбатовымъ (давно умершимъ). Все же остальное, — наприм., стихотворенія Толстовскаго изданія, подвергшіяся авторской передѣлкѣ, — отнесено къ примѣчаніямъ Полнотою этихъ послѣднихъ Михайловское изданіе отличается отъ двухъ позднѣйшихъ и съ настоящаго. Конечно, полнота не порокъ, и для людей, близко знавшихъ Никитина, варианты его стихотвореній могутъ быть очень любопытны; но этого нельзя сказать о большинствѣ читателей, которыхъ мало занимаютъ библиографическія замѣтки къ стихотвореніямъ даже такихъ поэтовъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Вотъ почему въ настоящемъ изданіи Примѣчанія къ стихотвореніямъ Никитина сокращены еще больше, чѣмъ въ двухъ предыдущихъ.

Не одною полнотою Примѣчаній, но и полнотою состава отличается Михайловское изданіе, въ него вошло двадцать пять стихотвореній, еще не бывшихъ въ печати. Но, къ сожалѣнію, полнота эта сдѣлана въ ущербъ литературному достоинству стихотвореній Никитина: нѣкоторыя изъ этихъ, вновь найденныхъ, стихотвореній такъ слабы, что самъ поэтъ никогда не рѣшился бы ихъ напечатать. Рѣшившись не выбрасывать уже напечатанныя піесы, мы помѣщаемъ слабѣйшія изъ нихъ въ особомъ Приложеніи къ 1-му тому.

„Кулакъ“ въ первоначальной редакціи, до сихъ поръ печатавшійся въ текстъ 1-го тома, мы также отнесли въ Приложение ко 2-му тому, въ текстъ котораго напечатана эта поэма, въ ея, давно известной, редакціи, вышедшей особою книжкою въ Москву, въ 1858 г. (въ типографіи Каткова и К<sup>о</sup>). Мы сдѣлали это просто для удобства читателей, чтобы дать желающимъ изъ нихъ почти наглядную возможность (*en regard*) сравнить объ редакціи и судить о каждой. Эта начальная редакція поэмы вполне заслуживала изданія въ свѣтъ. Никитинъ очень долго защищалъ ее отъ критическихъ нападокъ нѣкоторыхъ изъ своихъ друзей и если сдѣлалъ въ ней потомъ значительныя перемѣны, то приступалъ къ нимъ не всегда охотно,—и порою бывалъ правъ!

Прежній порядокъ размѣщенія стихотвореній оставленъ нами безъ перемѣны, т. е., хронологическая и послѣдовательность удержана нами только для лирическихъ піесъ, крупныя же произведенія автора собраны вмѣстѣ и помѣщены во 2-мъ томѣ.

Портрету Никитина также не посчастливилось, какъ и изданіямъ его сочиненій. Не только въ прежнихъ трехъ изданіяхъ, но раньше и послѣ ихъ (какъ, напр., недавно въ „Нивѣ“), портретъ этотъ являлся положительно въ каррикатурномъ видѣ. Въ эти портреты безспорно и аноминили Никитина, но то чѣмъ-то, какъ бы, перепуганнаго, то, какъ-будто находившагося въ положеніи челвѣка, котораго начинаетъ пробирать лихорадочная дрожь. Впрочемъ, надобно правду сказать, всѣ эти портреты воспроизводились съ весьма неудачныхъ (въ смыслѣ сходства) оригиналовъ. Изъ всѣхъ фотографическихъ портретовъ Никитина, снятыхъ въ Воронежъ, Москву и Петербургъ, только одна фотографическая карточка, сдѣланная въ 1860 году въ нѣшей сѣверной столицѣ, отличалась замѣчательнымъ сходствомъ съ покойнымъ

когда мы уже задумали четвертое (а наше—третье) издание Никитина. Такимъ образомъ исполнила не отъ однихъ насъ. Какъ бы то ни было, но мы очень рады, что намъ удалось установить полнстѣ въ изданіи произведеній такого поэта, какимъ былъ покойный И. С. Никитинъ. Жальемъ, что это случилось поздно, но лучше поздно, чѣмъ никогда...

Право на изданіе сочиненій Никитина приобрѣтено нами на весь срокъ, опредѣленный закономъ для авторской собственности. Возстановивъ полнстѣ текста въ настоящемъ изданіи, мы не упустили изъ вида и того, чтобъ оно и въ другихъ отношеніяхъ вполнѣ было достойно имени поэта, симпатіи къ которому не перестаютъ возрастать въ нашемъ обществѣ. Въ этомъ отношеніи мы нашли дѣятельную помощь со стороны біографа и душеприказчика Никитина, которому принадлежитъ редакція настоящаго изданія.

Книгопродавецъ-Издатель

Клавдіи Шмаковъ.



## ОТЪ РЕДАКТОРА.

(Къ 4-му изданію).

*Стихотворенія И. С. Никитина при жизни его были изданы два раза. Первое изданіе, сдѣланное графомъ Д. Н. Толстымъ (Знаменскимъ, какъ онъ потомъ подписывался подъ своими статьями), вышло въ Петербургъ, въ 1856 году (въ типографіи Г. Бенике). Второе изданіе было напечатано черезъ три года, тамъ же (въ типографіи Карла Вульфа), на средства, предложенныя В. А. Кокоревымъ, почему мы и называемъ его Кокоревскимъ; оно печаталось подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Н. И. Второва, жившаго тогда въ Петербургъ. Предпринимая это изданіе, Никитинъ, какъ это видно изъ его біографіи, очень много трудился надъ составомъ вышедшей въ 1859 году книжки: ему хотѣлось, чтобы она была достойна имени издателя и чтобы скорѣе окупила издержки, употребленныя для выхода ея въ свѣтъ. Вотъ почему Кокоревское изданіе должно считаться главнымъ, основнымъ для дальнѣйшихъ, посмертныхъ изданій Никитина. Такъ и взялъ на это редакторъ 1-го посмертнаго изданія (Михайловскаго), Н. П. Курбатовъ, отъ насъ предпочтеніе тексту Кокоревскаго изданія предъ Толстовскимъ, хотя взгляды этотъ*

потомъ. Въ настоящему изданію приложенъ снимокъ съ этой карточки, превосходно исполненный (въ смыслъ сходства) фототравуровой и. Шереръ, Наболицъ и К<sup>о</sup>, въ Москвѣ. Таковъ былъ и въ натуръ Никитинъ, какимъ онъ изображенъ въ прилагаемомъ теперь портретъ, хотя въ натуръ онъ былъ не всегда такимъ суровымъ.

*М. Де-Пулъ.*

Тамбовъ.

Юль 1885 года.

# ОГЛАВЛЕНІЕ

	Стр.
Отъ издателя . . . . .	III
Отъ редакціи . . . . .	V
Біографія И. С. Никитина.	
Глава I-я . . . . .	1
Глава II-я. . . . .	21
Глава III-я. . . . .	43
Глава IV-я. . . . .	72
Глава V-я . . . . .	101
Глава VI-я. . . . .	123
Глава VII-я. . . . .	166

## СТИХОТВОРЕНІЯ.

**1849 года.**

I. „Тихо ночь ложится“ . . . . .	3
II. Весна на степи. . . . .	4
III. Поле . . . . .	6
IV. Монастырь. . . . .	—
V. Лѣсъ. . . . .	7
VI. Н*. Д*. („Не отравляй минуту успокоенья“) . . . . .	8
VII. „Присутствіе непостижимой силы“ . . . . .	9
VIII. Грусть старика . . . . .	—
IX. Мраморъ. . . . .	11
X. „Еще одинъ потухшій день“ . . . . .	—
XI. Тишина ночи. . . . .	12
XII. „Молвы язвительной и дерзкой“ . . . . .	14
XIII. Похороны . . . . .	15
XIV. Перемѣна. . . . .	16

**1850.**

	Стран.
XV. Ночь на берегу моря . . . . .	17
XVI. Дубъ . . . . .	18
XVII. Тайное горе . . . . .	19
XVIII. Вечеръ . . . . .	—
XIX. Ключъ . . . . .	20
XX. Ночь . . . . .	21
XXI. „Оставь твой печальный рассказъ“ . . . . .	22
XXII. „Когда закатъ прощальными лучами“ . . . . .	24

**1851.**

XXIII. „Когда, одинъ, въ минуты размысленья“ . . . . .	25
XXIV. „На западѣ солнце пылаетъ“ . . . . .	26
XXV. Дитяти . . . . .	27
XXVI. Югъ и сѣверъ . . . . .	28
XXVII. Русь . . . . .	29
XXVIII „Бываютъ свѣтлыя мгновенья“ . . . . .	33

**1852.**

XXIX. „Суровый холодъ жизни строгой“ . . . . .	35
XXX Пѣвцу . . . . .	36
XXXI. Развалины, . . . . .	37
XXXII. Кладбище ! . . . . .	39

**1853.**

XXXIII. Степная дорога . . . . .	41
XXXIV. Художнику . . . . .	44
XXXV. „Не повторяй холодной укоризны“ . . . . .	45
XXXVI. Засохшая береза . . . . .	—
XXXVII. „Привѣтъ мой вамъ, угрюмый мракъ ночей“ . . . . .	46
XXXVIII. Жизнь и смерть . . . . .	48
XXXIX. Успокоенье, . . . . .	—
XL. „Съ тѣхъ поръ, какъ мѣръ нашъ необъятный“ . . . . .	51
XLI. Новый завѣтъ . . . . .	52
XLII. Молитва дитяти . . . . .	—
XLIII. „Я помню счастливые годы“ . . . . .	54
XLIV. „Съ суровой долею я рано подружился“ . . . . .	56
XLV. Поэту . . . . .	57

### XIII

	Стр.
XLVI. Пѣсня („Зашумѣла, разгулялась“)	58
XLVII. Война за вѣру . . . . .	59
XLVIII. Старикъ другоженецъ . . . . .	61
XLIX. Зимняя ночь въ деревнѣ . . . . .	62
I. Наслѣдство . . . . .	64

#### 1854.

LI. Моленіе о чашѣ . . . . .	66
LII. Сладость молитвы . . . . .	72
LIII. Ночлегъ извошниковъ . . . . .	73
LIV. Ссора . . . . .	80
LV. Измѣна . . . . .	83
LVI. „Полно, степь моя, спать безпробудно“ . . . . .	86
LVII. Утро на берегу озера . . . . .	87
LVIII. Упрямый отецъ . . . . .	91
LIX. С. В. Числою („Тяжелъ вашъ крестъ!.. съ вами...“)	95
LX. Вечеръ послѣ дождя . . . . .	97
LXI. Жена ямщика . . . . .	99
LXII. Купецъ на пчельникѣ . . . . .	105
LXIII. Неудачная присуха . . . . .	119
LXIV. Бурлакъ . . . . .	127
LXV. „Подлѣ рѣки одиноко стою я подѣ тѣнью ракиты“ . . . . .	130
LXVI. Лѣсникъ и его внукъ . . . . .	132
LXVII. Буря . . . . .	135
LXVIII. Болѣсть . . . . .	138
LXIX. Бобыль (Посвящ. Н. В. Кукольнику) . . . . .	143
LXX. Разсказъ ямщика . . . . .	145
LXXI. Встрѣча зимы . . . . .	148

#### 1855.

LXXII. Утро . . . . .	152
LXXIII. Въ дѣу (Послѣ выздоровленія) . . . . .	153
LXXIV. Внезапное горе . . . . .	155
LXXV. Дѣлежъ . . . . .	156
LXXVI. Выѣздъ ямщика . . . . .	159
LXXVII. Отвяжися, тоска . . . . .	162
LXXVIII. 19 октября . . . . .	163

	Стран.
LXXIX. Староста . . . . .	165
LXXX. Новая утрата . . . . .	168
LXXXI. „У кого нѣтъ думы“ . . . . .	169
LXXXII. „Помню я: бывало, няня“ . . . . .	170
LXXXIII. Въ альбомъ А. В. П—вой . . . . .	172
LXXXIV. Въ альбомъ М. Н. Ж . . . . .	172
LXXXV. „Чуть сошлись мы, другъ-другъ узнали“ . . . . .	173
LXXXVI. „День и ночь съ тобой жду встрѣчи“ . . . . .	174
LXXXVII. Сплетня . . . . .	175
LXXXVIII. Въ саду . . . . .	—
LXXXIX. „Разсыпались звѣзды, дрожать и горять“ . . . . .	176
XC. Гнѣздо ласточки . . . . .	177
Примѣчанія къ стихотвореніямъ . . . . .	3
Приложенія . . . . .	3

Взвешивая заступников леда пубоких  
Умисов невеселая; умисов одинокая,  
Умисов бесприютная, умисов терпеливая  
Умисов; как же осенняя ночь, поглаживая,-  
Торжеско оие, молельная, лила  
И, как стелной огонек замерла

Отточе? устн, мол доим суровая!  
Крпико закростая кривика со словая,  
Блотно свегоо землии придавидел,  
Только бдимиа ченовнкома убавител...  
Убавил его каккому не болбна.  
Намелъ о немъ таккому непуфна!..

Но по она - абиштелъ тьомъ бѣссаботимел  
Ростелъ погоста по вунбелъ залелуал,  
И во духелъ силелъ ие болтн ку пилелъ,  
Лвоикал по сал средроимъ гласбонавал.  
Мимел! О хелити по ко пилелъ вопросъ  
То болб ие пуфурно ии пѣселъ, ии селелъ!

The first of these is the  
 second is the  
 third is the  
 fourth is the  
 fifth is the  
 sixth is the  
 seventh is the  
 eighth is the  
 ninth is the  
 tenth is the  
 eleventh is the  
 twelfth is the  
 thirteenth is the  
 fourteenth is the  
 fifteenth is the  
 sixteenth is the  
 seventeenth is the  
 eighteenth is the  
 nineteenth is the  
 twentieth is the  
 twenty-first is the  
 twenty-second is the  
 twenty-third is the  
 twenty-fourth is the  
 twenty-fifth is the  
 twenty-sixth is the  
 twenty-seventh is the  
 twenty-eighth is the  
 twenty-ninth is the  
 thirtieth is the  
 thirty-first is the  
 thirty-second is the  
 thirty-third is the  
 thirty-fourth is the  
 thirty-fifth is the  
 thirty-sixth is the  
 thirty-seventh is the  
 thirty-eighth is the  
 thirty-ninth is the  
 fortieth is the  
 forty-first is the  
 forty-second is the  
 forty-third is the  
 forty-fourth is the  
 forty-fifth is the  
 forty-sixth is the  
 forty-seventh is the  
 forty-eighth is the  
 forty-ninth is the  
 fiftieth is the  
 fifty-first is the  
 fifty-second is the  
 fifty-third is the  
 fifty-fourth is the  
 fifty-fifth is the  
 fifty-sixth is the  
 fifty-seventh is the  
 fifty-eighth is the  
 fifty-ninth is the  
 sixtieth is the  
 sixty-first is the  
 sixty-second is the  
 sixty-third is the  
 sixty-fourth is the  
 sixty-fifth is the  
 sixty-sixth is the  
 sixty-seventh is the  
 sixty-eighth is the  
 sixty-ninth is the  
 seventieth is the  
 seventy-first is the  
 seventy-second is the  
 seventy-third is the  
 seventy-fourth is the  
 seventy-fifth is the  
 seventy-sixth is the  
 seventy-seventh is the  
 seventy-eighth is the  
 seventy-ninth is the  
 eightieth is the  
 eighty-first is the  
 eighty-second is the  
 eighty-third is the  
 eighty-fourth is the  
 eighty-fifth is the  
 eighty-sixth is the  
 eighty-seventh is the  
 eighty-eighth is the  
 eighty-ninth is the  
 ninetieth is the  
 ninety-first is the  
 ninety-second is the  
 ninety-third is the  
 ninety-fourth is the  
 ninety-fifth is the  
 ninety-sixth is the  
 ninety-seventh is the  
 ninety-eighth is the  
 ninety-ninth is the  
 hundredth is the



# ИВАНЪ САВВИЧЪ НИКИТИНЪ \*)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Введеніе. — Родители Никитина. — Дѣтство и юность. — Семинарское образованіе. — Вліяніе литературы. — Смерть матери. — Отець. — Безвыходное положеніе. — Постоялый дворъ. — Литературныя занятія. — Сношенія съ редакціей „Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“. — Письмо Никитина къ редактору.

Жизнь Никитина представляет во всякомъ случаѣ замѣчательное явленіе. Обязанный своею извѣстностью стихотворенію „Русь“, появившемуся въ самый разгаръ Крымской войны и поставившему его имя рядомъ съ именемъ Кольцова, его земляка, Никитинъ потомъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, до 1857 или даже 1858 г., утратилъ часть этой извѣстности и возбужденныхъ къ нему симпатій: въ мѣщанинѣ-Никитинѣ не нашли второго Кольцова, воронежскаго мѣщанина и поэта; послѣдовало разочарованіе, слѣдствіемъ котораго было то, что въ Никитинѣ нѣкоторые даже не хотѣли признать поэта. Но такой взглядъ на Никитина совершенно ложный: кромѣ происхожденія, между нимъ и Кольцовымъ нѣтъ ничего общаго. Никитинъ былъ вполне литераторомъ, тогда какъ Кольцовъ, не смотря на большую даровитость и на его крупное литературное значеніе, литераторомъ никогда не былъ. Въ послѣдніе четыре года своей жизни, рядомъ произведеній, даровитость которыхъ не подверглась уже ничьему сомнѣнію, Никитинъ снова возбуждаетъ къ себѣ горячія симпатіи и схлестъ въ могилу, сопровождаемый искреннимъ сожалѣніемъ современной литературы. Но, кромѣ интереса литературнаго, жизнь Никитина представляетъ другое любопытное явленіе:

\*) Составленная въ 1867-мъ году Біографія Никитина, для настоящаго изданія, вновь просмотрѣна авторомъ.

Никитинъ былъ вполне сыномъ своего времени, своей родины и среды, отъ которыхъ онъ никогда не отрывался. Въ личности Никитина вполне выразился типъ русскаго образованнаго человѣка, вышедшаго изъ низменной среды, развившагося въ Николаевское время, но созрѣвшаго въ первые годы царствованія императора Александра II-го.

Отношеніе нашей литературы (т. е. журналистики) къ Никитину, послѣ его смерти, тоже какое-то странное, не установившееся... Одни стали относиться къ нему восторженно, какъ къ *реалисту*, сожалѣя лишь о томъ, что, подъ вліяніемъ друзей, этотъ мнимый Никитинскій реализмъ, не могъ развиться съ достаточною полнотою; другіе говорили, что Никитинъ недостаточно оригиналенъ, что онъ *только* блѣдная копія Некрасова...—Третьи всю замѣчательность Никитина видѣли и видятъ въ его мѣщанскомъ происхожденіи и, по этой причинѣ, безъ всякаго затрудненія, ставятъ его (какъ и Кольцова) въ одну линію такихъ замѣчательныхъ русскихъ людей, какъ патріархъ Никонъ, Посошковъ, Кулибинъ, Сперанскій и т. п. Странная литературная оцѣнка! Мало ли у насъ людей, вышедшихъ изъ низменныхъ сферъ и прославившихся во всѣхъ родахъ научной, художественной и государственной дѣятельности! Конечно, слѣдуетъ подчеркивать эту изменчивость происхожденія; но не слѣдуетъ кричать о ней, а слѣдуетъ помнить, что даровитость отнюдь не зависитъ отъ происхожденія, что образованіе сглаживаетъ шероховатости послѣдняго и, что для всякихъ сравненій и параллелей нуженъ прежде всего одинъ и тотъ же родъ дѣятельности. Замѣчательно, что у насъ только литературный родъ дѣятельности продолжаетъ находить себѣ такую патріархальную оцѣнку; по отношенію къ другимъ родамъ—мы давно уже вышли изъ дѣтства.

Какъ же русская читающая публика отнеслась къ писателю съ такимъ неустановившимся о немъ мнѣніемъ критики, какъ Никитинъ?.. Впродолженіе пятнадцати лѣтъ (съ 1869 по 1885 г.) разошлось *три* изданія стихотвореній Никитина; теперь публика потребовала *четвертаго*... Такимъ успѣхомъ далеко не всѣ изъ писателей съ выдающимися, *признанными*

дарованіями могутъ похвалиться. Очевидно, *взглядъ публики на Никитина установился* и совсѣмъ не похожъ на взгляды литературные...

Но обращаемся къ разсказу о жизни Никитина.

Иванъ Саввичъ Никитинъ родился въ Воронежѣ 21-го Сентября 1824 года, въ субботу утромъ. Отецъ его, Савва Евгѣвичъ (Евгихіевичъ), происходилъ изъ духовнаго званія и прозывался Кириловымъ: эту родовую фамилію онъ перемѣнилъ на Никитина уже по исключеніи его изъ духовнаго званія, изъ котораго онъ вышелъ по причинамъ, намъ неизвѣстнымъ. Мать Ивана Саввича, Прасковья Ивановна, происходила изъ воронежскихъ мѣщачъ, въ сословіе которыхъ записался и Савва Евгѣвичъ по выходѣ своемъ изъ духовнаго званія. Они имѣли свой домъ близъ церкви Нерукотвореннаго Спаса, въ той части Воронежа, которая расположена на высокихъ горахъ, тянувшихся по правому берегу соименной городу рѣки; видъ не только съ этихъ горъ, но съ каждой улицы, изъ cadaго дома, если только онъ смотритъ на рѣку, очаровательный. Въ этомъ домѣ родился у Никитиныхъ единственный сынъ — нашъ поэтъ, который никогда не могъ проходить равнодушно по маленькимъ и узкимъ улицамъ, идущимъ отъ Митрофановскаго монастыря къ Ильинской и Спасской церквямъ. Эта часть Воронежа очень хороша и много напоминаетъ Москву, съ тою, однако же, разницею, что она какъ бы ныряетъ въ живописныхъ горахъ и съ трехъ сторонъ обставлена великолѣпнѣйшей зарѣчной панорамой, имѣя съ четвертой, западной, городской, также въ московскомъ вкусѣ картину — Митрофановскій монастырь съ его высокими башнями, громадной колокольней и ярко сіяющими золотыми башнями \*). Въ такой мѣстности, средней между городской и деревенской, возросталъ

---

\*) Последней картины въ настоящее время, къ сожалѣнію, не существуетъ. Въмѣсто величественнаго, нѣсколько сумрачнаго храма, въ которомъ покоились мощи св. Митрофана и который былъ сооруженъ въ Елизаветинское время, теперь, съ 70-хъ годовъ, возвышается хотя просторное и свѣтлое зданіе, но внутри и снаружи скорѣе напоминающее, по своей архитектурѣ, экзерциргаузъ, чѣмъ православную церковь.

будущій нашъ поэтъ. Родители Никитина, не смотря на свое мѣщанское званіе, жили очень хорошо; домъ ихъ былъ полной чашей: всего вдоволь; было чѣмъ принять и угостить знакомыхъ, которыхъ у нихъ было очень много, такъ какъ Савва Евтѣичъ былъ лицомъ замѣтнымъ въ городѣ. Онъ имѣлъ свой свѣчной заводъ (восковыхъ свѣчъ) и свою лавку подъ Смоленскимъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ мѣстѣ. Громадный притокъ богомольцевъ значительно въ то время (это было въ 30-хъ годахъ) оживлялъ въ Воронежѣ торговлю восковыми свѣчами; но Никитинъ не довольствовался одной городской продажей;—значительныя партіи свѣчъ онъ разсылалъ со своими прикащиками по донскимъ и украинскимъ ярмаркамъ; торговые обороты его простирались не менѣе, какъ на сто тысячъ руб. асс. Но, кромѣ состоянія, вездѣ дающаго право на почетъ, Савва Евтѣичъ, и по личнымъ своимъ качествамъ, былъ выше окружающей его среды. Это былъ человѣкъ замѣчательно умный и относительно образованный. Мы познакомились съ нимъ довольно поздно, въ печальную пору его болѣзненнаго состоянія. Но когда онъ былъ здоровъ, пріятно было послушать его оригинальную рѣчь. Онъ любилъ читать книги религіознаго содержанія, имѣлъ свою маленькую бібліотеку и зналъ хорошо нашихъ старинныхъ писателей до Пушкина. Онъ былъ небольшого роста, коренастый, съ страшною силой, которою онъ наводилъ ужасъ на кулачныхъ бояхъ, являясь всегда первымъ предводителемъ городской молодежи въ борьбѣ съ Чижовцами и Придаченцами \*). Не имѣющему понятія о кулачныхъ бояхъ, еще процвѣтавшихъ въ 30-хъ годахъ, трудно представить себѣ теперь, что въ этой грубой, повидимому, потѣхѣ было что-нибудь увлекательное и молодецки удалое, а на самомъ дѣлѣ, это было, и мы еще хорошо помнимъ, съ какимъ наслажденіемъ, бывало, летѣла на кулачный бой „побиться, подраться, порататься“ даже молодежь, принадлежащая къ среднему сословію! Ловкій торговецъ, атлетъ-боецъ, умный начитанный человѣкъ, Савва Евтѣичъ пользовался значительнымъ вліяніемъ въ окружающемъ его обществѣ.

---

\*) Чижовка и Придача—пригородныя слободы Воронежа.

Надобно думать, что этими качествами онъ заслужилъ и любовь Прасковьи Ивановны, которую онъ очень любилъ и смерть которой горько оплакивалъ. Но эти хорошія качества соединялись въ немъ съ характеромъ крутымъ и самовластнымъ. Прасковья Ивановна Никитина составляла совершенный контрастъ со своимъ мужемъ; это было существо кроткое, любящее и безотвѣтное. Одинокимъ росъ въ домѣ своихъ родителей Иванъ Саввичъ. Единственною подругою его дѣтскихъ игръ была двоюродная сестра Аннушка, дочь его тетки (по матери) Тюриной, бѣдной женщины, жившей съ Никитиными по сосѣдству. Лицомъ Никитинъ былъ живой портретъ своей матери, бойкостію и даровитостію походилъ на отца. Ребенкомъ онъ былъ очень живъ и рѣзвъ, а потому часто ссорился съ своею подругою; но съ годами эта рѣзвость стала замѣняться въ немъ преждевременною серьезностію и какъ бы сосредоточенностію. „Ребенкомъ нелюдимымъ“ называетъ себя Никитинъ и въ одномъ изъ своихъ стихотвореній (см. 1-й томъ, стран. 153). Вообще въ стихотвореніяхъ нашего поэта разбросаны черты, дающія понятіе о его дѣтствѣ, о первыхъ годахъ его самосознанія. Видно, что онъ былъ не уличный мальчикъ, не дитя, предоставленное на произволь судьбы: за нимъ былъ уходъ; онъ былъ подъ надзоромъ любящей матери, за нимъ присматривала добродушная нянька, которая познакомила его съ народными русскими сказками, возбуждившими въ немъ первыя поэтическія грезы. Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ; первыми прочтенными книгами были: „Мальчикъ у ручья“ Коцебу, и „Луиза или подземелье Ліонскаго замка“, Радклифъ. Въ 1832 году\*), когда мальчику было восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ Духовное училище. Выборъ училища объясняется, какъ происхожденіемъ Саввы Евтѣича, такъ, несомнѣнно, и вліяніемъ на него духовенства, среди котораго онъ имѣлъ очень многихъ знакомыхъ, благодаря,

\*) Первыя біографическія свѣдѣнія о Никитинѣ были напечатаны въ „Отеч. Зап.“ 1854 г. въ 6 №, въ отдѣлѣ Новости Литературы и проч. Статья эта принадлежитъ А. П. Нордштейну. Приводимые въ ней факты вѣсколько разнятся отъ нашихъ (какъ, напр., годъ рожденія); но наши вѣрнѣе, потому что были не разъ проверены, послѣ смерти поэта, со словъ его отца и двоюродной сестры.

конечно, его происхожденію, уму, нѣкоторому образованію и роду его занятій. Школьная жизнь не подѣйствовала на мальчика благотворно: онъ учился отлично, но задумчивость и сосредоточенность росли въ немъ не по лѣтамъ. Оставлены были преждевременно дѣтскія игры съ Аннушкой; мѣсто ихъ замѣнили: рисованіе, чтеніе и голуби. Отецъ любилъ сына, радовался его успѣхамъ и иначе не звалъ его, какъ Иваномъ Саввичемъ, но содержалъ очень строго; мать любила его съ особенною нѣжностью. По окончаніи курса Духовнаго училища, Иванъ Саввичъ поступилъ въ Воронежскую Семинарію; это было въ 1841-мъ году. Давая сыну систематическое образованіе, отецъ готовилъ его къ университету, надѣясь видѣть въ немъ со временемъ лѣкаря. Учился Никитинъ въ Семинаріи такъ-же хорошо, какъ и въ Духовномъ училищѣ, но особенно блестящіе успѣхи оказалъ онъ въ словесности, въ составленіи не только разныхъ задачекъ, но и болѣе серьезныхъ піесъ. Въ Семинаріи-же онъ написалъ первое свое стихотвореніе и показалъ его профессору словесности Чехову. Профессоръ похвалилъ и совѣтовалъ продолжать. Въ началѣ 40-хъ годовъ въ Воронежской Семинаріи были еще свѣжи воспоминанія о Серебрянскомъ и его другъ Кольцовъ; поэтому литературная производительность пользовалась у семинаристовъ большимъ почетомъ. Между ними Никитинъ скоро пріобрѣлъ названіе семинарскаго литератора, семинарскаго поэта, — и такое прозваніе нравилось самолюбію отца; поэтому о какомъ-нибудь противодѣйствіи наклонностямъ сына онъ не могъ и думать. Между отцомъ и сыномъ продолжали существовать самыя добрыя отношенія; но все говорило, что они не долго останутся такими. Торговья дѣла Саввы Евтѣича стали хромать. До сихъ поръ свободная торговля восковыми свѣчами мало-по-малу начала принимать характеръ монополіи; прикащики, ѣздившіе по ярмаркамъ, начали его обкрадывать, кредиторы не платятъ долговъ. Неудачи эти раздражали его характеръ и безъ того крутой; семейный миръ, поддерживаемый любящей и безотвѣтной женой, былъ нарушенъ; преодолѣть горе и неудачи не доставало нравственнаго мужества, и вотъ Никитинъ-отецъ сталъ прибѣгать къ обычному несчаст-

ному утѣшенію русскаго человѣка, — къ чаркѣ. Такая переменна жизни прежде всего и самымъ ужаснымъ образомъ отразилась на Прасковѣ Ивановнѣ: бѣдная женщина не вынесла капризовъ и безобразій мужа и начала пить. Она страдала этимъ недугомъ три года, до самой своей смерти. Эти семейныя обстоятельства не могли остаться безъ вліянія на юнаго семинариста; они дѣйствовали на него глубоко и, такъ сказать, загоняли его внутрь себя. Никитинъ-семинаристъ былъ очень красивый юноша, съ изящными, до извѣстной степени, манерами и большой фронтъ. Онъ былъ средняго роста и, подобно отцу, атлетическаго сложенія. Онъ имѣлъ смуглое, сухощавое, совершенно интеллигентное лицо, лучшимъ украшеніемъ котораго были большіе черные глаза, съ тѣмъ привлекательнымъ глубокимъ взоромъ, который только и встрѣчается у людей даровитыхъ. Молодой семинаристъ былъ молчаливымъ гостемъ въ своемъ домѣ. Приготовленіе уроковъ, чтеніе книгъ, игра на гусяхъ \*) и гитарѣ были его обычными домашними занятіями. Рѣдко онъ выходилъ изъ дома, развѣ для прогулокъ и на охоту съ ружьемъ по окрестностямъ Воронежа. Товарищей, друзей юности у него не было, какъ не было друзей дѣтства, кромѣ Аннушки. Ни самъ онъ никуда не ходилъ, ни къ себѣ никого не приглашалъ изъ товарищей-семинаристовъ. Отецъ по-прежнему былъ имъ доволенъ и до нѣкоторой степени даже имъ гордился. Молчаливый и сосредоточенный, молодой Никитинъ сталъ менѣе откровененъ даже съ тѣми, съ которыми онъ прежде былъ близокъ, такъ что осталось тайной—освѣтилась ли ранняя его юность любовію къ женщинѣ, или же прошла она, совсѣмъ не испытавъ этого чувства. Какъ бы то ни было, но юность его прошла безъ разсвѣта, безъ яркой утренней зари, предвѣстницы роскошнаго лѣтняго дня; на эту безразсвѣтную жизнь часто и горько жалуется Никитинъ въ своихъ стихотвореніяхъ. Сложившаяся такимъ образомъ жизнь уже имѣла сама въ себѣ источникъ будущихъ страданій: молодой человѣкъ развивался насчетъ одного ума; сердце черствѣло и замыкалось. А между тѣмъ, на сколько

---

\*) Инструментъ, очень любимый нашимъ духовенствомъ прежняго времени.

мы знали Никитина потому, натура его была очень многосторонняя; это была не вялая, бездушная натура, незнакомая ни съ какою страстью; страсть свѣтилась въ его большихъ глазахъ, которые очень часто возгорались ея пламенемъ. Но, не смотря на это, все-таки чувствовалось, что по натурѣ, по душѣ Никитина прошла когда-то сильная струя холода, оставившая въ ней на всю жизнь неизгладимый слѣдъ; она была постоянной помѣхой, по которой вспыхивающая въ душѣ его страсть никогда не разгоралась пламенемъ общаго пожара. Причины этого явленія, этой преждевременно развивавшейся рефлексіи, могли лежать и въ самой его натурѣ; но, главнѣйшимъ образомъ, онѣ развились подъ вліяніемъ домашняго и школьнаго воспитанія. Въ то время, т. е., въ 1841 году, когда Никитинъ вступилъ въ Воронежскую Духовную Семинарію, это учебное заведеніе, которое онъ всегда не любилъ, не могло похвалиться хорошимъ составомъ преподавателей: не было ни одного, который бы имѣлъ такое вліяніе на молодежь, какое имѣлъ нѣкогда Ставровъ на Серебрянскаго и его товарищей въ 30-хъ годахъ. Но семинарія еще была полна воспоминаніями о Серебрянскомъ: Кольцовъ, умершій въ 1842 году, былъ еще живымъ напоминаніемъ о преждевременно погибшемъ юношѣ, возбуждавшемъ восторгъ въ семинарской молодежи; огненные статьи Бѣлинскаго, такъ близкаго къ Кольцову, читались съ жаромъ и чуть не заучивались наизусть; самое семинарское образованіе, какъ ни плохо оно было въ то время, по своему отвлеченному направленію, способствовало къ развитію въ молодой, даровитой натурѣ духа пытливости и рефлексіи; — однимъ словомъ, пребываніе въ Семинаріи, совпадающее съ умственнымъ движеніемъ тогдашняго времени, имѣло на Никитина громадное вліяніе. Это умственное движеніе, какъ извѣстно, произведено было Бѣлинскимъ.

Въ біографическомъ очеркѣ Никитина было бы неумѣстно распространяться о Бѣлинскомъ; но мы не можемъ пройти его молчаніемъ, потому что герой нашего разсказа былъ одинъ изъ многочисленнѣйшихъ его питомцевъ. Бѣлинскаго считаютъ родоначальникомъ западниковъ, основателемъ отрицатель-



наго направленія въ нашей литературѣ и жизни; это не совсѣмъ вѣрно. Западники были у насъ и до Петра Великаго: западникомъ былъ самъ Петръ, Ломоносовъ, Карамзинъ и даже Пушкинъ. Самое глубокое отрицаніе темныхъ сторонъ нашей жизни внесли въ литературу не только эти лица, но такія, которыхъ никакъ нельзя упрекнуть въ нелюбви ко всему русскому, каковы: Екатерина II, Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, этотъ истинный основатель, такъ называемаго „Славянофильскаго направленія“, и Гоголь; отрицаніе темныхъ, вредящихъ естественному развитію народа, сторонъ нашей современной жизни легло и въ основаніе ученія славянофиловъ; ибо позитивизмъ, равносильный глубочайшему застою и неподвижности, восторгающійся ими по разнымъ побужденіямъ, только и могъ найти себѣ убѣжище въ такихъ литературныхъ органахъ, какъ „Сѣверная Пчела“ Булгарина и „Маякъ“ Бурачка. Бѣлинскій не былъ основателемъ западнаго направленія, а лишь журнальнымъ его выразителемъ, публицистомъ. Въ половинѣ 30-хъ годовъ, въ Москвѣ, изъ питомцевъ университета образовался кружокъ молодыхъ, образованныхъ и очень даровитыхъ людей, которыхъ соединили одинаковые стремленія и вкусы,—любовь къ искусствамъ, къ знанію, къ философіи, критическій анализъ самого себя и общественной жизни. Люди этого кружка, раздѣлившіеся позже на *западниковъ и славянофиловъ*, дали новый толчекъ нашему общественному развитію, поставили его на новый путь, по которому оно идетъ и до сихъ поръ. Но дѣятельность западниковъ (слѣдовательно и Бѣлинскаго) началась гораздо раньше. Передъ эпохой появленія Бѣлинскаго въ нашей общественной атмосферѣ было такъ тяжело и душно, что истинно удивляешься, чѣмъ дышала тогда мыслящій Русскій человекъ, и не удивляешься, что отъ ума ему было горе. Чтобы освѣжить воздухъ, понадобились новые идеалы, потребовалось, выражаясь словами Тургенева, сожженіе того, чему поклонялись; понадобилось отрицаніе пошлой жизни, могучимъ выразителемъ котораго былъ собственно не Бѣлинскій, а Гоголь. Отрицая свое (не всегда съ достаточнымъ основаніемъ и знаніемъ дѣла), Бѣлинскій указывалъ на европейскіе или, какъ

онъ любилъ выражаться, на общечеловѣческіе, на всегда пригодные для насъ идеалы, — это правда; но посмотрите, какимъ превосходнымъ орудіемъ онъ дѣйствовалъ! Стремленіе къ идеалу онъ проводилъ путемъ эстетическаго, глубокожизненнаго воспитанія, путемъ благоговѣйнаго уваженія къ наукѣ, знанію, путемъ, наконецъ, самаго внутренняго, культурнаго, такъ сказать, гуманизма, недостаткомъ котораго такъ страдало тогдашнее, а избыткомъ едва ли можетъ похвалиться теперешнее наше общество. Въ отрицаніи Бѣлинскаго нѣтъ и тѣни того, что мы замѣчаемъ у его незаконныхъ дѣтей, хотя законныхъ питомцевъ эпохи 48-го и слѣдующихъ годовъ, такъ называемыхъ *реалистовъ*, или—въ ихъ красномъ видѣ—*нигилистовъ*, доведшихъ отрицаніе до абсурда, до игры имъ, до презрѣнія всякой идеи, выходящей за уровень матеріальныхъ, насущныхъ потребностей. Отрицаніе Бѣлинскаго, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, непременно должно было умѣряться направленіемъ, выразившимся потомъ въ „Русской Бесѣдѣ“ и „Днѣ“: отрицаніе нигилистовъ доходило до невѣжества и до потрясенія основъ семейной жизни и благоустроеннаго общества. Но всякая школа, всякое направленіе имѣютъ свои неизбѣжныя крайности. Европеизмъ Бѣлинскаго съ презрѣніемъ отворачивался отъ окружающей его жизни, не хотѣлъ войти съ ней ни въ какую сдѣлку, не изучалъ ея и называлъ ее не иначе, какъ *врызной дѣйствительностію*; страстно, но отвлеченно любя простой народъ, онъ въ прикосновеніи къ нему чувствовалъ тоже самое, т. е., если не отвращеніе, то какую-то брезгливую неловкость: ибо и въ жизни простаго народа прежде всего и больше всего бросалась ему въ глаза грязная дѣйствительность, о которой, если онъ и не кричалъ, такъ только потому, что нужно же было опереться на какой-нибудь свой идеалъ, пужно же было кого-нибудь любить. Но, полное любви и вѣры въ челоуѣка, направленіе Бѣлинскаго, не смотря на всѣ его крайности, должно было выработать изъ себя нѣчто глубокожизненное, что и доказало позднѣйшее къ намъ время.

Молодой Никитинъ вполне воспитался подъ вліяніемъ этого направленія; но оно, произведя въ немъ внутреннюю переработку, внутренній душевный перестрой, направленный къ добру

и красотѣ, вредно подѣйствовало на него всѣми своими крайностями. Въ семействѣ, гдѣ уже начиналась невзгода, молодой семинаристъ увидѣлъ одни бури и ураганы; онъ отвернулся отъ окружающаго міра безъ борьбы и еще болѣе спрятался въ самого себя; дѣйствительная жизнь стала ему противна своею *ирязью*, т. е., своею прозаическою стороною. А между тѣмъ семейныя дѣла Никитиныхъ становились съ каждымъ днемъ все хуже. Ярмарочная торговля окончательно разрушилась, вмѣстѣ съ заводомъ; кое-какъ еще держалась свѣчная лавка подлѣ Смоленскаго собора. Отъ Спаса Никитины перешли на Кирочную улицу, гдѣ купили постоянный дворъ, довольно плохо обстроенный и расположенный совсѣмъ на неудобномъ мѣстѣ, — ближе къ центру города, чѣмъ къ его окраинамъ и далеко отъ базара. Дворъ отдавали въ аренду, а сами помѣщались въ ветхомъ флигелькѣ. Въ 1843 году Иванъ Саввичъ окончилъ философскій курсъ. Надобно было думать объ университетѣ, о которомъ давно мечтали отецъ и сынъ; но судьба опредѣлила иначе. Савва Евтѣичъ, не смотря на разстройство своихъ дѣлъ, хотѣлъ послать сына въ университетъ; но этому рѣшительно воспротивилась Прасковья Ивановна, на колѣняхъ умолявшая мужа не отправлять сына въ чужой городъ и убѣждавшая поскорѣе женить его и посадить въ лавку, но невѣсты не отыскалось, — и вотъ нашъ семинаристъ очутился за прилавкомъ. Какую роль игралъ самъ Никитинъ во всей этой исторіи и до какой степени она была полна трагизма, — мы не знаемъ. Наши отношенія къ Никитину были такого рода, что пишущему эти строки и на мысль не могло придти быть его біографомъ, стало быть не было надобности и спрашивать его о томъ періодѣ его жизни, о которомъ самъ поэтъ не любилъ распространяться, отдѣлываясь всегда общими мѣстами, если объ этомъ заходила рѣчь. Полгода сидѣлъ Иванъ Саввичъ въ лавкѣ, до смерти своей матери. Само собою разумѣется, что въ такое короткое время плохая торговля восковыми свѣчами могла только опротивѣть молодому человеку, мечтавшему объ университетѣ и идеалахъ; полюбить и узнать торговое дѣло онъ не могъ. Смерть матери имѣла роковое значеніе въ судьбѣ Ивана Саввича; отсюда начинается

десятилѣтній, мрачный періодъ его жизни, поразительно бѣдный фактами, но исполненный борьбою и страданіями. Это десятилѣтіе представляетъ любопытнѣйшій предметъ для психологическихъ изслѣдованій, жаль только, что для этого нѣтъ достаточныхъ матеріаловъ. Объ этомъ періодѣ своей жизни Никитинъ не разъ говоритъ въ своихъ стихотвореніяхъ и въ письмахъ къ разнымъ лицамъ; но все это говорилось и писалось послѣ, въ болѣе счастливую пору, и, какъ къ прошедшему, относилось только лирически. Смерть жены глубоко поразила и Савву Евтѣича. Оставшись одинъ съ девятнадцатилѣтнимъ сыномъ, которато умъ и образованіе радовали его, но который по взглядамъ, по образу своей жизни, былъ совершенно чуждъ ему, почти лишившись состоянія и почета и уже всякой нравственной поддержки, Никитинъ-отецъ не выдержалъ и запилъ—запилъ, какъ говорится, мертвую чашу. Никѣмъ и ничѣмъ нравственнымъ не воздерживаемый, видя, въ образѣ сына, безмолвный, но раздражающій его укоръ, Савва Евтѣичъ предался пьянству со всѣми ужасами страсти, извѣстной у насъ подъ именемъ запоя; эта страсть владѣла имъ двадцать лѣтъ и проводила его въ могилу. Ближайшимъ слѣдствіемъ пьянства было полнѣйшее разореніе Никитиныхъ. У нихъ только оставался скудный доходъ съ постоялаго двора, да свой уголь. Правда, Иванъ Саввичъ выходилъ передъ большими праздниками торговать восковыми свѣчами на столахъ, разставленныхъ обыкновенно по Смоленской площади для продажи разныхъ вещей, какъ-то свѣчь, ладону, стеклянной посуды и проч.; но эта торговля доставляла ему самые ничтожные барыши и почти всегда сопровождалась нравственной пыткой.— „А! посмотрите,—вонъ ученый идетъ! Вонъ студентъ сидитъ за столикомъ, его благородіе, словно нашъ братъ-мужикъ!“—кричала толпа зѣвакъ, большею частію мелкіе торговцы изъ мѣщанъ, частію кулаки, обычные дѣятели и ораторы на базарныхъ площадяхъ, указывая пальцами на молодого Никитина, который естественно былъ имъ очень несимпатиченъ. Что было ему дѣлать, ему—двадцатилѣтнему юношѣ! Изъ порядочной жизненной обстановки, изъ матеріальнаго довольства, онъ вдругъ и разомъ окунулся въ бѣдность, въ ни-

щенство. Отецъ пилъ и ничѣмъ не занимался. Отъ лѣности и отъ пьянства въ немъ развилось самое дикое самодурство, которое всею тяжестью обрушивалось на сынѣ. Какъ только хмѣль сбивалъ съ ногъ эту могучую натуру, Савва Евтвичъ начиналъ кричать на весь домъ слѣдующія, или въ родѣ слѣдующихъ, слова:

— Иванъ Саввичъ! Подлецъ, такой-сякой! А кто далъ тебѣ образованіе и вывелъ въ люди? А? не чувствуешь! Не считаешь отца? Не кормишь его хлѣбомъ! Вонъ изъ моего дома!..

И все, что стояло на столѣ для потребы пьянаго человѣка,—огурцы, хлѣбъ, солянка, рюмка, стаканы, все это летѣло въ бѣднаго Ивана Саввича. И такъ каждый почти день! И немолкаемо почти каждый день раздавались эти дикіе вопли! Бѣдность и нищета дошли до крайнихъ предѣловъ. Все, что можно было прожить, прожито,—платье, вещи; все, что добывалось, шло на водку и дикія оргіи. Молодой Никитинъ потерялся и палъ духомъ. Предоставляемъ читателю судить о тогдашнихъ его страданіяхъ и просимъ тѣхъ, кто зналъ его впоследствии, представить его себѣ за 10—15 лѣтъ, его, еще цвѣтущаго юношу, но блѣднаго, изможденнаго, съ усталостью и страданіемъ во взорѣ, одѣтаго почти въ рубище,—въ длинную потертую чуйку, и обутаго въ стоптанные дырявые сапоги! Страдающій, мечтающій, загнанный, часто голодный, сидѣлъ упрямъ этотъ юноша дома, или лежалъ на сѣновалѣ съ книгою въ рукахъ, или бродилъ по городу и его окрестностямъ безъ всякаго дѣла. Не разъ пробовалъ онъ предложить свои услуги въ качествѣ конторщика или прикащика тому и другому изъ воронежскихъ купцовъ, но всѣ эти попытки оставались безуспѣшны. Бѣдная одежда, образованная рѣчь, взоръ, исполненный мысли и огня,—все это, мы полагаемъ, для людей неразвитыхъ, хотя, можетъ быть, и добрыхъ, скорѣе служило признакомъ наслѣдственной отъ отца болѣзни просителя, скорѣе оправдывало поговорку „яблочко отъ яблонки не далеко падаетъ“, хотя Иванъ Саввичъ никому не подалъ ни малѣйшаго повода къ подобному подозрѣнію,—чѣмъ могло возбудить къ нему сочувствіе. Еще прежде, при матери, Никитинъ просился у родителей отпустить его изъ Воронежа въ другой

какойнибудь городъ,—зачѣмъ? онъ самъ не могъ отдать себѣ отчета. Его тогда не пустили; уѣхать теперь не было никакой возможности, да и жаль и не на кого было оставить отца, который начиналъ требовать за собою ухода. Прибавьте ко всему этому полнѣйшее одиночество, отсутствіе всякаго знакомства и безвыѣздную жизнь въ Воронежѣ, такъ какъ всѣ путешествія Никитина ограничивались единственною поѣздкою въ Задонскъ, за 84 версты отъ родного города. Мы не находимъ достаточно темныхъ красокъ, чтобы изобразить картину жизни молодого человѣка въ эту эпоху. Богъ знаетъ, чѣмъ бы все это кончилось! Но могло кончиться очень печальнымъ, пожалуй, живымъ примѣромъ отца, если бы слѣдующій случай не потрясъ до глубины души Никитина. Шелъ онъ разъ по Садовой улицѣ, по направленію къ Чугунному кладбищу. Въ этомъ мѣстѣ улица довольно пустынна. Шелъ онъ въ своемъ бѣдномъ, нищенскомъ одѣяніи, опутивъ голову и устремивъ свой глубокій взоръ куда-то въ безпредѣльную даль. Что говорилъ этотъ взоръ? Что выражало его мускулистое, смуглое лицо? Надобно думать, что-нибудь глубоко-безотрадное и роковое. Но, спасеніе явилось!...

— Стой, молодецъ! раздался надъ его ухомъ незнакомый голосъ:—ты задумалъ что-то недоброе! Ты, знаешь, порѣшить себя хочешь,—либо утопиться, аль удавиться?.. Иди же домой и молись Богу.

Оказалось, что незнакомецъ, встрѣтившись съ Никитинымъ, былъ такъ пораженъ зловѣщимъ выраженіемъ лица его, что, отойдя нѣсколько шаговъ, оглянулся назадъ и рѣшился спасти его отъ задуманнаго, какъ онъ предполагалъ, самоубійства. Было ли нѣчто подобное на душѣ у Никитина,—это осталось его тайной. Считаемъ нужнымъ замѣтить, что рассказъ этотъ записанъ нами со словъ двоюродной сестры Ивана Саввича.

Проза жизни, *грязь действительности* спасли отъ неизбежной гибели Никитина. Онъ сталъ дворничать, т. е., расчелъ арендатора, снимавшаго постоялый дворъ, и самъ началъ заниматься его содержаніемъ. Дворъ этотъ былъ одинъ изъ плохихъ и наиболѣе отдаленныхъ отъ базара; на большой пріѣздъ народа не было никакой возможности расчиты-

вать; оставалось одно средство—привлечь ко двору извѣстные партіи извозчиковъ, обыкновенно односельчанъ, заслужить ихъ расположеніе. Никитинъ успѣлъ привлечь и заслужить расположеніе извозчиковъ, которые обыкновенно называли его *Савельичемъ*. Но какихъ неусыпныхъ трудовъ, какой ужасной борьбы съ самимъ собою стоило это ученику Бѣлинскаго, все еще восторгавшемуся Пушкинымъ, Лермонтовымъ и Кольцовымъ, съ которыми онъ и теперь не переставалъ бесѣдовать въ своемъ кабинетѣ—сѣновалѣ! Содержатель постоялаго двора, Никитинъ и по наружности преобразился въ дворника: волосы подрѣзалъ въ кружокъ, сапоги надѣлъ съ голенищами до колѣнъ, лѣтомъ носилъ простую чуйку, а зимой нагольный тудупъ. Да иначе и быть не могло, такъ какъ самому приходилось во всякое время дня и ночи встрѣчать и провожать извозчиковъ, выдавать имъ овесъ и сѣно, очень часто прислуживать имъ при ихъ трапезѣ и бѣгать въ кабакъ за водкой; очень часто самому приходилось для нихъ стирать! На сколько мы знали Никитина, мы увѣрены, что эта трудовая жизнь до извѣстной степени его удовлетворяла и успокоивала; мало этого: она должна была доставлять ему нѣсколько отрадныхъ минутъ; онъ сталъ имѣть дѣло съ живыми людьми, онъ почувствовалъ благо независимости и нѣкотораго довольства. Явилась возможность выстроить небольшой деревянный флигель въ пять комнатъ, изъ которыхъ три оказалось возможнымъ отдать подъ постой одному изъ профессоровъ семинаріи, сожителство съ которымъ сдѣлало, по крайней мѣрѣ, то хорошаго, что внесло въ домъ, гдѣ царилъ прежде только хаосъ, нѣкоторую порядочность. Но, съ другой стороны, внутреннее чувство требовало иного, душа тосковала и томилась по чьей-то; съ другой стороны, домашнія бури не утихали, а увеличивались съ каждымъ днемъ. По мѣрѣ улучшенія матеріальнаго благосостоянія возрастало безобразіе отца и его увѣренность, что онъ имѣетъ полное право безобразничать и жить чужимъ человѣкомъ въ домѣ, который онъ, однако же, называлъ своимъ; въ такой же мѣрѣ, т. е., сообразно этимъ притязаніямъ, возрастала и раздражительность Ивана Саввича. Между отцомъ и сыномъ образовались странныя, прискорб-

ныя отношенія, продолжавшіяся до смерти послѣдняго. Оба другъ друга любили, — мы имѣемъ на это тысячу доказательствъ, и оба другъ друга, каждый по своему, мучали. Когда Савва Евтѣичъ былъ въ трезвомъ состояніи, трудно было найти отца, который бы такъ кротко и любовно относился къ сыну; но зато надобно было поискать сына, который бы за подобное обращеніе отвѣчалъ такую суровостію и даже дерзостію. Когда старикъ бывалъ пьянъ и буйствовалъ, можно было удивляться кротости сына, ухаживающаго за нимъ, какъ за ребенкомъ, безъ всякой горечи и досады. На замѣчанія друзей своихъ о неровности обращенія съ отцомъ Никитинъ обыкновенно отвѣчалъ: „Что же дѣлать! Иначе я не могу“. На совѣты—оставить отца, обезпечивъ его всѣмъ нужнымъ, переѣхать на особую квартиру, или же совсѣмъ выѣхать изъ города, онъ отвѣчалъ тѣмъ же *не могу*, прибавляя: „безъ меня онъ совсѣмъ пропадетъ“. Не разъ покойный поэтъ говорилъ: „Я въ состояніи убить того, кто рѣшился бы обидѣть старика въ моихъ глазахъ; но когда онъ отрезвляется и смотритъ здравомыслящимъ человѣкомъ, вся желчь приливаетъ къ моему сердцу, и я не въ силахъ простить ему моихъ страданій“. Добившись скуднаго матеріальнаго довольства, ограничивающагося однимъ насущнымъ хлѣбомъ, могъ ли Никитинъ остановиться на этомъ и не желать знанія, не стремиться къ удовлетворенію присущей ему поэтической способности? Конечно, не могъ, какъ человѣкъ даровитый, прошедшій школу, слѣдовательно знакомый съ умственнымъ трудомъ. Вотъ что говоритъ самъ Никитинъ въ одномъ изъ писемъ объ этомъ періодѣ своей жизни.

„Любовь къ родной литературѣ, къ родному русскому слову не угасла во мнѣ среди новой, совершенно незнакомой мнѣ дѣятельности. Окруженный людьми, лишенными малѣйшаго образованія, не имѣя руководителей, не слыша разумнаго совѣта, за что и какъ мнѣ нужно взяться, я бросался на всякое сколько-нибудь замѣчательное произведеніе, бросался и на посредственное, за неимѣніемъ лучшаго. Продавая извозчикамъ овесъ и сѣно, я обдумывалъ прочитанныя мною и поразившія меня строки, обдумывалъ ихъ въ грязной избѣ, нерѣдко подъ крикъ



и пѣсни разгулявшихся мужичковъ. Сердце мое обливалось кровью отъ грязныхъ сценъ; но съ помощію доброй воли я не развратилъ своей души. Найдя свободную минуту, я уходилъ въ какой-нибудь отдаленный уголокъ моего дома. Тамъ я знакомился съ тѣмъ, что составляетъ гордость человѣчества, тамъ я слагалъ скромный стихъ, просившійся у меня изъ сердца. Все написанное я скрывалъ, какъ преступленіе, отъ всякаго посторонняго лица, и съ разсвѣтомъ сожигалъ строки, надъ которыми я плакалъ во время безсонной ночи. Съ лѣтами любовь къ поэзіи росла въ моей груди, но вмѣстѣ съ нею росло и сомнѣніе: „есть ли во мнѣ хотя искра дарованія?“ — „Если бы вы знали“, пишетъ Никитинъ въ другомъ письмѣ, „какія сцены окружали меня съ дѣтства, какая мелочная, но тѣмъ не менѣе страшная драма разыгралась передъ моими глазами,—драма, гдѣ мнѣ доводилось играть роль, возмущавшую меня до глубины души!“ — Но, повторяемъ, человѣкъ былъ спасенъ, хотя страшно поплатился за свое спасеніе. Къ концу этого періода судьба послала Никитину утѣшеніе: онъ подружился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, Иваномъ Ивановичемъ Дураковымъ, нижедѣвизскимъ мѣщаниномъ; сходство семейнаго положенія ихъ сблизило: любовь къ чтенію скрѣпила ихъ отношенія. Дураковъ былъ первымъ слушателемъ литературныхъ произведеній Никитина, первымъ человѣкомъ, которому онъ вполне довѣрился. Смерть Дуракова, послѣдовавшая въ 1856 г. отъ чахотки, т. е., въ то время, когда у Никитина были уже другія связи и иныя дружественныя отношенія, глубоко его поразила. Вотъ что онъ писалъ къ Второву въ день извѣстія о смерти Дуракова: „Простите, что не зашелъ къ вамъ отъ князя \*). Только успѣлъ выйти изъ его воротъ, какъ знакомый купецъ сообщилъ мнѣ новость, что мой другъ, извѣстный вамъ Дураковъ, умеръ. Это меня такъ поразило, что я и теперь не соберу мыслей. Ради Бога, простите!“

Не безъ вліянія и одобренія Дуракова Никитинъ осмѣлился послать нѣкоторыя изъ своихъ стихотвореній въ редакцію тогдашнихъ журналовъ, ожидая съ нетерпѣніемъ рѣшенія своей

\*) Ю. А. Долгорукова, тогдашняго Воронежскаго губернатора.

участи въ роковомъ для него вопросѣ о поэтическомъ дарованіи; но журналы хранили упорное молчаніе, увеличивавшее муки бѣднаго поэта-дворника. Мы убѣждены, что посланныя Никитинимъ стихотворенія были недурны и во всякомъ случаѣ годны для печати; но они не появились въ свѣтъ, во-первыхъ, потому, что еще сильна была паника, нагнанная Бѣлинскимъ на всѣхъ стихотворцевъ вообще, и на журналистовъ тѣмъ паче, а во-вторыхъ, журналисты и редакторы, по всей вѣроятности, и не прочитывали стихотвореній какого-то Никитива, сваливъ ихъ въ редакторскую Лету, — какъ это водилось и водится зачастую и теперь. Не удалось въ столичныхъ изданіяхъ, надобно попробовать въ своемъ мѣстномъ, — разсуждали наши друзья, — и вотъ въ октябрѣ 1849 года они послали въ редакцію „Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ два стихотворенія: „Лѣсъ“ и „Дума“. Вышелъ 45 № этой газеты 5-го ноября, въ которомъ отъ имени редактора было сказано слѣдующее: — „На дняхъ присланы намъ отъ неизвѣстнаго лица, при письмѣ, подписанномъ буквами, И. Н., два стихотворенія, которыя мы, по прочтеніи, нашли такъ замѣчательными, что готовы были на этотъ разъ, изъ уваженія къ дарованію, отступить отъ принятой нами программы и помѣстить ихъ въ нашей газетѣ. Единственное препятствіе, которое удерживаетъ насъ, — это незнаніе нами имени автора!“ Отзывъ былъ очень лестный и одобряющій, тѣмъ болѣе, что тогдашняя редакція Воронежскихъ Вѣдомостей, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежала къ числу лучшихъ въ Россіи: редакторомъ былъ В. А. Срединъ, кандидатъ Петербургскаго Университета, а сотрудниками, давшими тонъ и направленіе газетѣ, Н. И. Второвъ и К. О. Александровъ-Дольникъ. Отзывъ былъ благопріятный; на мнѣніе редакціи положиться было можно; но бѣда въ томъ, что программа Губернскихъ Вѣдомостей не допустила въ эту газету стихотвореній. Чтò же было дѣлать! Ближе всего слѣдовало бы открыть свое имя и воспользоваться совѣтами умной редакціи: такъ Никитинъ-семинаристъ, еще мечтавшій объ университетѣ, по всей вѣроятности, и сдѣлалъ бы; но Никитинъ-дворникъ, значительно одичавшій и потерявшій вѣру въ себя, такъ сдѣлать уже не могъ, не смотря на то, или

можетъ потому именно, что все сильнѣе и сильнѣе развивалось въ немъ поэтическое призваніе и серьезнѣе понималась его задача. Прошло еще четыре года неизвѣстности, сомнѣній, борьбы съ самимъ собою и съ обстоятельствами житейскими. Но вотъ наступилъ 1853 годъ; грянули громы Крымской войны, болѣзненно отозвавшіеся въ русскомъ сердцѣ, народный духъ послѣ долгаго усыпленія, воспрянулъ; все оживилось! Суждено было ожить и даже сдѣлаться извѣстнымъ и воронежскому дворнику. — Его, человѣка совершенно русскаго, человѣка образованнаго, охватило всего своимъ жгучимъ пламенемъ патріотическое чувство. — Онъ беретъ перо и пишетъ стихотвореніе „Русь“, — лучшее поэтическое произведеніе того времени въ патріотическомъ родѣ. — Дураковъ, былъ первымъ его читателемъ. По совѣту Дуракова пишется письмо къ редактору и, кромѣ „Руси“, посылаются къ нему два другихъ стихотворенія: — „Поле“ и „Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный“. — Дураковъ вызывается нести въ редакцію эту роковую посылку, отъ которой зависѣло — быть или не быть. Вотъ письмо Никитина къ редактору „Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“:

„Милостивый Государь

Валентинъ Андреевичъ!

„Назадъ тому четыре года, при письмѣ, подписанномъ буквами И. Н., я посылаю вамъ два стихотворенія для напечатанія въ издаваемой вами газетѣ. Вы были такъ снисходительны, что нашли въ нихъ нѣкоторыя достоинства, и единственное препятствіе къ ихъ печатанію заключалось, по вашимъ словамъ, въ извѣстности имени автора.

„Въ настоящее время, не считая нужнымъ скрывать свое имя, я осмѣливаюсь обратиться къ вамъ съ подобною же просьбой. Вотъ причина моей новой просьбы. — Я увѣренъ, что она не покажется вамъ смѣшною, потому что я знаю васъ, хотя по отзывамъ другихъ, съ одной стороны, какъ человѣка образованнаго, а съ другой, — какъ человѣка въ высшей степени благороднаго.

„Я здѣшній мѣщанинъ. Не знаю, какая непостижимая сила влечетъ меня къ искусству, въ которомъ, можетъ быть, я ничтожный ремесленникъ! Какая непонятная власть заставляетъ меня слагать задумчивую пѣснь, въ то время, когда горькая дѣйствительность окружаетъ жалкою прозою мое одинокое, незавидное существованіе! Скажите, у кого мнѣ просить совѣта и въ комъ искать теплаго участія? Кругъ моихъ знакомыхъ слишкомъ ограниченъ и составляетъ со мною рѣшительный контрастъ во взглядахъ на предметы, въ понятіяхъ и желаніяхъ. Быть-можетъ, мою любовь къ поэзіи и мои грустныя пѣсни вы назовете плодомъ раздраженнаго воображенія и смѣшною претензіею выйти изъ той сферы, въ которую я поставленъ судьбою. Рѣшеніе этого вопроса я предоставляю вамъ, и скажу откровенно, буду ожидать этого рѣшенія не совѣмъ равнодушно: оно покажетъ мнѣ или мое значеніе, или мою ничтожность, мое нравственное—быть или не быть?“

„Какое бы ни было мое званіе, я увѣренъ, оно не будетъ служить цѣлью для вашихъ сарказмовъ, причина этому—свойственное вамъ благородство и безусловная къ вамъ довѣренность человѣка, не имѣющаго ни сильныхъ покровителей, ни случайныхъ связей.“

„Съ просьбою о напечатаніи своихъ стихотвореній въ одномъ изъ современныхъ журналовъ я не обращаюсь къ кому-либо по своей неизвѣстности и неувѣренности въ силѣ своего дарованія. Пусть прежде вашъ высоко цѣнимый мною приговоръ рѣшитъ однажды навсегда: смѣшонъ ли нѣтъ мой трудъ, который я называю своимъ призваніемъ.“

„Могутъ ли быть приложенныя здѣсь стихотворенія по своему достоинству помѣщены въ вашей газетѣ (*напр.*: въ Смѣси, или гдѣ вамъ угодно), — я полагаюсь на вашъ просвѣщенный взглядъ и съ глубочайшимъ уваженіемъ ожидаю вашего суда. И. Никитинъ“.

19-го Ноября 1853 г.  
Воронежъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Н. И. Второвъ. — Пренимущества Воронежа противъ другихъ губернскихъ городовъ. — Записка Второва о Никитинѣ. — Первое время литературной извѣстности поэта въ Воронежѣ и за его предѣлами. — Заочныя знакомства. — Новость положенія. — Первое изданіе стихотвореній. — Литературныя работы. — Матеріальное довольство. — Нравственное перерожденіе Никитина. — Картина литературныхъ вечеровъ въ Никитинскомъ домѣ.

Мы напечатали письмо Никитина къ редактору „Воронежскихъ Вѣдомостей“ безъ малѣйшихъ перемѣнъ и поправокъ въ орфографію и слогъ. Какъ въ 1861 году, при составленіи „Дневника Семинариста“, такъ и задолго до своей извѣстности, Никитинъ владѣлъ изящною прозаическою рѣчью и писалъ безукоризненно правильно, — условія, встрѣчаемыя у насъ только въ челоуѣкѣ высокаго образованія, въ литературѣ. И между тѣмъ такъ пишетъ мѣщанинъ, содержатель постоялаго двора, когда другой воронежскій мѣщанинъ, Кольцовъ, писалъ какими-то каракульками самымъ безграмотнѣйшимъ образомъ! Отсюда, между прочимъ, начинаются сближенія Никитина съ Кольцовымъ, сближенія совершенно внѣшнія и, какъ уже замѣчено, вначалѣ повредившія Ивану Саввичу; Никитинъ не только не былъ Кольцовымъ, но долгое время не могъ быть и самимъ собою. Можно было быть увѣреннымъ, что стихотвореніе „Русь“ появилось бы не только въ Воронежскихъ Вѣдомостяхъ, но и въ любомъ столичномъ періодическомъ изданіи того времени; несомнѣнно, что его встрѣтили бы съ тѣмъ же восторгомъ, съ какимъ оно и было встрѣчено; теплый привѣтъ со стороны такихъ писателей, какъ А. Н. Майковъ и И. И. Введенскій, и таковой же отъ журналистовъ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ бы наградой нашему поэту, и

имя его, быть можетъ, мы еще чаще бы встрѣчали на страницахъ петербургскихъ и московскихъ изданій; — это такъ! Но Никитина, того Никитина, который честно прошелъ свой недолгій жизненный путь, могло бы и не быть: дворнику-Никитину нужно было перерожденіе къ жизни новой, могущее совершиться только подъ вліяніемъ чловѣка, сердечно его любящаго и глубоко ему преданнаго. Не знаемъ, что подумалъ читатель, но когда мы въ первый разъ прочитали письмо Никитина къ Средину, намъ почему-то пришелъ на память Бѣлинскій, лично намъ незнакомый. На это письмо-исповѣдь нельзя было отвѣчать любезнымъ, даже теплымъ письмомъ; если письмомъ отвѣчать, то надобно, чтобы строки его горѣли чувствомъ; если не письмомъ, а живымъ словомъ, — надобно, чтобы не языкъ и голова, а душа въ немъ говорила! Но всякій ли на это способенъ, да и въ правѣ ли кто бы то ни былъ заявлять подобныя требованія отъ людей? Къ счастью Никитина, такой чловѣкъ нашелся въ Воронежѣ: это былъ Николай Ивановичъ Второвъ. Жизнь Второва рассказана нами въ другомъ мѣстѣ \*). Это былъ одинъ изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые, къ сожалѣнію, такъ рѣдко вскрѣчаются въ нашихъ провинціальныхъ городахъ, чрезвычайно бѣдныхъ литературными и вообще умственными интересами. Въ столицахъ, и отчасти въ университетскихъ городахъ, люди, подобные Второву, мало замѣтны. Настоящее мѣсто ихъ дѣятельности тамъ, гдѣ въ обществѣ не замѣчается никакихъ признаковъ умственной жизни: тамъ они прогоняютъ спячку, отыскиваютъ какіе-нибудь мѣстные интересы, возбуждаютъ къ нимъ сочувствіе и, во имя ихъ, собираютъ около себя кружки даровитыхъ и образованныхъ людей. Такіе кружки начали появляться у насъ съ конца прошлаго столѣтія. Въ столицахъ они не переводились до начала 40-хъ годовъ; довольно указать на кружки: Веневитинова, Станкевича, Бѣлинскаго, Славянофильскій и т. п. Въ провинціальныхъ городахъ они также встрѣчались: такъ, отецъ Второва, одинъ изъ замѣчательныхъ людей своего времени, былъ членомъ подобнаго кружка, существовавшаго въ

---

\*) См. „Русскій Архивъ“ 1877 года, книга 11-я.

Симбирскѣ еще въ концѣ прошлаго вѣка \*). Но ни одинъ изъ провинціальныхъ кружковъ не заявилъ такъ громко о своемъ существованіи и не оставилъ такихъ живыхъ и прочныхъ слѣдовъ на мѣстѣ, какъ кружокъ Второвскій. Окончивъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ почти мальчикомъ, Второвъ началъ свою службу въ Казани, сначала въ канцеляріи губернатора, потомъ при университетской библіотекѣ. Служебныя занятія соединялись у него одновременно съ научными и литературными: онъ доканчивалъ свое образованіе, былъ редакторомъ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей и усердно занимался собираніемъ историческихъ и этнографическихъ свѣдѣній, относящихся до Казанской губерніи. Путешествіе по Остзейскому краю, сдѣланное имъ въ 1842 г., еще болѣе усилило въ немъ склонность къ изученію мѣстныхъ особенностей: наши прибалтійскіе Нѣмцы, въ этомъ отношеніи, могли служить образцомъ для всякаго. Второвъ переѣхалъ въ Воронежъ изъ Петербурга (1849) и поступилъ на службу совѣтникомъ губернскаго правленія. Почти одновременно съ нимъ явился въ Воронежъ также изъ Петербурга и поступилъ товарищемъ предсѣдателя гражданской палаты товарищъ его по университету, другъ и близкій родственникъ по женѣ, К. О. Александровъ-Дольникъ, молодой человѣкъ, съ тѣмъ же направленіемъ и вкусами. Второвъ и Дольникъ рѣзко отличались отъ образованной молодежи тогдашняго времени, не умѣвшей къ чему приложить знанія, выносимыя ею изъ университетовъ. Образованность ихъ была самобытна, съ научнымъ направленіемъ и ничего диллетатическаго въ себѣ не имѣла; она опиралась не на журналистику, а на серьезное знакомство съ французской и нѣмецкой литературой. Поселившись въ Воронежѣ, Второвъ и Дольникъ все свое свободное отъ служебныхъ занятій время тотчасъ же посвятили мѣстной археологіи, статистикѣ и этнографіи. Они отыскивали древніе акты, начали приводить ихъ въ порядокъ и готовить къ печати; они дѣлали поѣздки по губерніи съ этнографическою цѣлью; они искали знакомства съ людьми, которые если не занима-

\*) Объ И. А. Второвѣ см. нашу статью „Отецъ и Сынъ“ въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1875 г., кн. IV—IX.

лись, то были способны къ подобнымъ занятіямъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи, т. е. въ умѣньи ихъ находить людей и возбуждать ихъ къ умственной дѣятельности, они обнаружили рѣдкія способности: только что кончившіе курсъ университетскіе студенты, учителя кадетскаго корпуса, гимназій, семинаріи, священники, даже учителя рисованія и фотографы,— все это, всѣ и каждый несъ свою дань изученію мѣстности, чѣмъ кто могъ,— статьями, замѣтками, рисунками и т. п. Воронежскія Губернскія Вѣдомости сдѣлались органомъ этихъ мѣстныхъ тружениковъ, далеко, впрочемъ, не исчерпавшихъ всѣхъ ихъ работъ. Въ квартирѣ Второва всѣ эти люди сходились; собирались за-просто, когда кто хотѣлъ, безъ особеннаго назначеннаго для этого вечеровъ. Здѣсь разсуждали объ этихъ маленькихъ мѣстныхъ интересахъ, составляли планы новыхъ работъ, читали новыя замѣчательныя вещи. Необыкновенное добродушіе и простота въ обращеніи хозяина привлекали къ нему каждого и ободряли людей самыхъ робкихъ и застѣнчивыхъ. Дольникъ недолго прожилъ въ Воронежѣ; поэтому кружокъ людей, собиравшихся около него и Второва, удержалъ названіе только по имени послѣдняго, что совершенно справедливо: Второвъ прожилъ въ Воронежѣ до 1857 г. Отношенія къ нему Никитина перешли въ дружескія уже по отъѣздѣ Дольника, котораго совсѣмъ не знали нѣкоторые изъ друзей Никитина. Но, отзываясь такимъ образомъ о Второвѣ, мы были бы несправедливы, если бы умолчали о томъ, что само время и мѣстность, гдѣ пришлось ему дѣйствовать, представляли самыя благопріятныя условія для дѣятельности подобнаго рода. Время конца 40-хъ и первой половины 50-хъ годовъ неоспоримо самое мрачное въ нашей новѣйшей исторіи, и по этому поводу очень много писалось и пишется. Но весьма мало говорится о томъ, что это *мрачное десятилѣтіе*, это *Николаевское время*, рѣзко отличается отъ позднѣйшей, дѣйствительно, *свѣтлой эпохи* императора Александра II-го однимъ великимъ преимуществомъ,—умственною зрѣlostію и культурностію молодежи, выходившей тогда изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Степень этой зрѣlostи, конечно, не обуславливалась ни мракомъ, ни всякаго рода ум-



ственнымъ давленіемъ (какъ ломка тогдашнихъ гимназій и университетовъ); но результаты того и другого обнаружались гораздо позже, именно, въ самый разгаръ великихъ преобразованій покойнаго Государя: потрясенныя школы не могли дать лучшихъ результатовъ. Въ Воронежѣ въ концѣ 40-хъ и въ началѣ 50-хъ годовъ было уже гораздо больше, чѣмъ прежде, молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ, служившихъ, большею частію или при губернаторѣ, или въ его канцеляріи; но это было общимъ явленіемъ во всѣхъ губернскихъ городахъ, послѣ запрещенія молодымъ людямъ, оканчивавшимъ университетскіе курсы, начинать государственную службу въ столицахъ. Истиннымъ преимуществомъ Воронежа предъ другими губернскими городами былъ кадетскій корпусъ, открывшійся въ этомъ городѣ въ 1745 году, при условіяхъ чрезвычайно благопріятныхъ. Первый Директоръ (А. Д. Винтуловъ) и первый инспекторъ (В. А. Половцевъ) воронежскаго корпуса были люди весьма умные, образованные, глубоко уважавшіе педагогическую и научную дѣятельность; инспекторъ Половцевъ, по словамъ лицъ, хорошо ихъ знавшихъ, былъ, къ тому же, отличнымъ педагогомъ, совершенно въ нѣмецкомъ родѣ. У такихъ руководителей была невозможна ни какая спячка, — ни служебная, ни педагогическая: вотъ источникъ, откуда беретъ свое начало замѣчательный въ своемъ родѣ персоналъ воронежскихъ корпусныхъ педагоговъ, замѣчательный именно въ томъ же родѣ дѣятельности, въ какой заявили себя Второвъ и Дольникъ. Отсюда понятно большее тяготѣніе послѣднихъ къ кадетскому корпусу, чѣмъ къ гимназіи; этимъ же объясняется и тотъ восторженный пріемъ, съ какимъ были встрѣчены въ корпусѣ первыя стихотворенія Никитина. Одинъ изъ корпусныхъ педагоговъ, Н. С. Тарачковъ, натуралистъ, ученикъ Рулье, Фишера и Щуровскаго, въ дѣлѣ изученія Воронежской губерніи, съ естественно-научною цѣлію, даже предупредилъ дѣятельность двухъ друзей, начавши свои экскурсіи по губерніи съ 1846 г. Но это только способствовало къ сближенію ихъ съ г. Тарачковымъ, но никому и ничему не мѣшало. У Н. С. Тарачкова былъ отчасти свой кружокъ, музыкальный, котораго не чуждались Второвъ и Дольникъ, какъ не чуждался, а напро-

тивъ все болѣе сближался съ Второвымъ и корпусный натуралистъ. Но Второвскій кружокъ, однако, не имѣлъ въ себѣ ничего педантическаго; онъ не состоялъ изъ людей только пишущихъ, собирающихъ матеріалы, рисующихъ и т. п.: въ него былъ свободный доступъ всѣмъ хорошимъ, образованнымъ и мыслящимъ людямъ, изъ него были изгнаны карты. Словомъ, все, что было въ Воронежѣ мыслящаго, Второвъ сумѣлъ соединить вокругъ себя, сумѣлъ воодушевить и подвинуть на работу. Онъ не давалъ своимъ авторитетомъ, какъ это нерѣдко бываетъ въ людяхъ подобнаго положенія: при немъ легко и свободно всѣмъ дышалось. Только такой добродушный и прямой человекъ, какъ Второвъ, могъ полюбить Никитина такъ братски, такъ нѣжно.

Вскорѣ послѣ смерти Никитина, когда возникла мысль объ изданіи его сочиненій, мы съ Второвымъ условились: мнѣ писать біографію, а ему набросать свои воспоминанія о Никитинѣ, пополнивъ ихъ выписками изъ его писемъ (числомъ 120 №№). Многосложныя занятія по службѣ, по должности вице-директора Хозяйственнаго Департамента въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, долго мѣшали Второву исполнить это намѣреніе; впрочемъ и спѣшить не было причины, ибо мы, друзья Никитина, не имѣли возможности издать его сочиненія. Но когда въ апрѣлѣ 1865 года первый издатель Никитина обязательно и безкорыстно предложилъ свои услуги, Второвъ, какъ-бы въ предчувствіи близкой смерти, прислалъ ко мнѣ всѣ письма Никитина и объяснительную къ нимъ записку: мы говоримъ, — въ предчувствіи, ибо свойственная ему деликатность и скромность долгое время не позволяли ему согласиться прислать къ намъ для просмотра письма Никитина. „Я увѣренъ, пишетъ Второвъ въ своей запискѣ, что внутреннее чувство и тактъ укажутъ вамъ, что именно въ этихъ бумагахъ можетъ быть обнародовано и о чемъ должно быть умолчано. Собственно въ отношеніи меня я желалъ бы, чтобы моя личность, при выпискахъ изъ нихъ, оставалась совершенно въ сторонѣ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо неизбежно было бы нужно упомянуть о ней, то ограничиться одними начальными буквами (В. или Н. И. В.), какъ и о всѣхъ еще живыхъ лицахъ“. Вотъ вступительныя слова записки Второва:

„Съ первой поры моего знакомства съ Никитинымъ я привязался къ нему всей душою. Я полюбилъ въ немъ просто человѣка, человѣка съ благороднѣйшею душою, съ тонкимъ, изящнымъ чувствомъ, какого рѣдко встрѣтить не только въ той средѣ, въ которой онъ воспитывался, но даже и въ такъ называемой благовоспитанной.

„Мнѣ всегда казалось,—не смотря на то, что я былъ старше его лѣтъ на восемь,—что я переживу его и мнѣ придется когда-нибудь, если не быть его біографомъ, то, по крайней мѣрѣ, отдать отчетъ о личныхъ отношеніяхъ моихъ къ этому, во всякомъ случаѣ, замѣчательному человѣку, съ которымъ судьба связала меня такую тѣсною дружбою. Вотъ почему я тщательно сберегалъ всѣ, даже ничтожныя записки его ко мнѣ, письма и другія бумаги, которыя могли сколько-нибудь характеризовать его.

„Предчувствіе мое сбылось. Вотъ уже болѣе трехъ съ половиною лѣтъ \*), какъ не стало Никитина. Потеря его до сихъ поръ съ болью отзывается въ моемъ сердцѣ... Умирая онъ завѣщалъ мнѣ издать его сочиненія, съ тѣмъ, чтобы вырученную отъ продажи ихъ сумму употребить на какое-либо доброе дѣло \*\*). Теперь, благодаря великодушному предложенію одного изъ почитателей таланта покойнаго Никитина, представляется возможность исполнить его волю“.

Но обратимся къ Никитину. Болѣе, чѣмъ не совѣмъ равнодушно, ожидалъ онъ рѣшенія своей участи. Что-то будетъ! думалъ бѣдный молодой человѣкъ, и мы имѣемъ право предполагать, что надежда едва ли улыбалась ему въ эти тревожныя минуты... Но,—о, радость! къ нему является незнакомый гость и зоветъ его къ Второву, къ тому Второву, котораго не могъ не знать Никитинъ по слуху, не могъ не знать отношенія его къ Губернскимъ Вѣдомостямъ. Но пусть лучше говоритъ самъ Второвъ:

„Не помню, въ тотъ же, или на другой день, какъ Иванъ Саввичъ прислалъ свое письмо къ редактору Губернскихъ

---

\*) Записка писана 20 мая 1865 года.

\*\*) По смерти Второва, эту обязанность принялъ на себя душеприкащикъ Никитина.

Вѣдомостей г. Средину, гласный Думы Н. Н. Рубцовъ, вызвавшійся непременно розыскать автора письма, приѣхалъ съ нимъ ко мнѣ вечеромъ. Я жилъ тогда близъ церкви Воскресенья, въ домѣ Михнева. Изъ оконъ моей квартиры, во 2-мъ этажѣ, открывался великолѣпный видъ на зарѣчную сторону, описанный во вступленіи къ „Кулаку“. Блѣдный, худощавый, выглядывавшій какъ-то изъ подлѣбья, въ длинномъ сюртукѣ, Иванъ Саввичъ робко слѣдовалъ за Рубцовымъ, и когда послѣдній съ торжествомъ объявилъ, что это тотъ самый Никитинъ, съ которымъ я желалъ познакомиться, — онъ, словно подсудимый, призванный къ отвѣту, сталъ извиняться, что позволилъ себѣ такую дерзость (т.-е., написать письмо) и проч. Насилу могъ я усадить его; но и затѣмъ, какъ только началъ я говорить съ нимъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ, и не малыхъ усилій стоило мнѣ уговорить его вести разговоръ со мною сидя. Изъ разговора нашего, который скоро обратился къ литературѣ, оказалось, что Иванъ Саввичъ много читалъ, но много также оставалось ему еще неизвѣстнымъ. Онъ съ радостію принялъ предложеніе мое пользоваться небольшою моею библіотекою, и на первый же разъ запасся, помнится, „Давидомъ Копперфильдомъ“ Диккенса. Рубцовъ, посидѣвъ нѣсколько времени, удалился; за нимъ хотѣлъ было подняться и Никитинъ, но я удержалъ его. Между тѣмъ подошелъ вскорѣ К. О. Александровъ-Дольникъ. Бесѣда наша продолжалась довольно долго, и онъ разстался съ нами не такой буквой, какимъ пришелъ! Тѣмъ не менѣе, въ началѣ, не легко таки было залучать его къ себѣ. У меня и Константина Осиповича, по одному разу въ недѣлю, собирались короткіе наши знакомые, не для карточной (столь обыкновенной въ нашей общественной жизни) бесѣды, а для простой. Само собою разумѣется, что мы оба тотчасъ же предложили Никитину бывать у насъ въ эти дни. Какъ ни чужды были всякаго этикета наши вечеринки, Иванъ Саввичъ все-таки сначала дичился, и нужно было каждый разъ повторять приглашеніе, чтобы видѣть его у себя; въ другое время приходилъ къ намъ за-просто сталъ онъ уже спустя довольно долго послѣ перваго знакомства. Хотя вообще мы скоро сблизились съ Иваномъ

Саввичемъ, со мною въ особенности (такъ какъ Константинъ Осиповичъ еще лѣтомъ 1854 года переселился изъ Воронежа въ Москву) личныя отношенія перешли въ дружескія; но онъ продолжалъ соблюдать нѣкоторыя церемонности.

„Никитинъ не замедлилъ, по просьбѣ нашей, познакомить насъ съ своими стихотвореніями. Онъ принесъ намъ сначала небольшую тетрадь, въ которой заключалось десятка два стихотвореній, а потомъ еще нѣсколько другихъ. Большая часть ихъ въ исправленномъ отчасти видѣ вошла въ изданіе гр. Толстаго (первыя 42 стихотворенія). Мало-по-малу появлялись у него новыя произведенія, и все написанное онъ слѣдилъ давать намъ для прочтенія. Едва ли не первое изъ такихъ стихотвореній было написано имъ по слѣдующему случаю. Вскорѣ послѣ напечатанія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ „Руси“, не помню, кто-то передалъ мнѣ написанный однимъ гимназистомъ (кажется, знаменитымъ впоследствии В — іемъ С — скимъ) разборъ этого стихотворенія. Статейка была очень глупенькая и даже пошленькая. Никитинъ, которому я показалъ ее, искренно смѣялся надъ нею; но, тѣмъ не менѣе, она задѣла его за живое, и на другой же день онъ принесъ написанное имъ стихотвореніе: „Задумчивый пѣвецъ въ пустынѣ неизвѣстной“, впоследствии передѣланное въ изданіи 1859 года.

„Посѣщая меня и Константина Осиповича, Никитинъ познакомился съ нашимъ кружкомъ, всего же болѣе сошелся онъ съ Александромъ Петровичемъ Нордштейномъ, человѣкомъ отличнѣйшей души, скромнымъ, благороднымъ, честнымъ, какихъ трудно встрѣтить на мѣстѣ, которое онъ занималъ тогда (непремѣн. членъ Строительной и Дорожной Комиссіи). Никитинъ началъ бывать у Нордштейна, и только ограничился этими тремя домами, — т. е., моимъ, К. О. Дольника и Нордштейна. Впоследствии, чрезъ Нордштейна Никитинъ познакомился съ его родственниками — Плотниковыми, къ которымъ часто ѣзжалъ потомъ гостить въ деревню. Чрезъ Плотниковыхъ Иванъ Саввичъ познакомился съ игуменіею Воронежскаго Дѣвичьяго монастыря Смарагдою \*), сестрою быв-

\*) Умершею въ 1866 году въ преклонной старости.



шаго Воронежскаго губернатора Д. Н. Вѣгичева \*), которая всегда питала къ нему большое уваженіе.

„Между тѣмъ стихотворенія Никитина распространялись по городу въ рукописяхъ и пріобрѣтали ему большую и большую извѣстность. Многіе стали искать случая познакомиться съ нимъ. Между прочими выразила желаніе видѣть Никитина супруга тогдашняго губернатора, княгиня Е. Г. Долгорукая, и, по ея просьбѣ, я въ первый разъ привезъ къ ней Ивана Саввича. Она сдѣлалась одною изъ ревностнѣйшихъ почитательницъ его таланга (особенно нравились ей стихотворенія религіознаго содержанія— „Моленіе о чашѣ“, „Сладость молитвы“ и пр.), заставляла переписывать для себя его стихотворенія, читала ихъ всѣмъ и каждому, и очень любила, когда ихъ читали ей вслухъ. Послѣ перваго посѣщенія Никитина, она неоднократно приглашала его къ себѣ по вечерамъ и вообще оказывала ему много вниманія; такъ, она подарила ему прекрасный эстампъ „Моленіе о чашѣ“ (съ картины Бруни) и нѣсколько книгъ. Довольно любезностей показавъ къ Никитину и супругъ ея, князь Юрій Алексѣевичъ, также любитель литературы.

„Извѣстность Никитина скоро распространилась и за предѣлами Воронежа, хотя онъ и не рѣшался еще посылать куда-либо своихъ произведеній. Нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ „Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ помѣщенныя въ нихъ два его стихотворенія („Русь“ и „Война за вѣру“). Затѣмъ гр. Д. Н. Толстой, съ которымъ въ то время я былъ въ довольно близкихъ отношеніяхъ и которому, въ частномъ письмѣ, я рассказалъ о появленіи въ Воронежѣ новаго дарованія, приложивъ для образчика нѣсколько стихотвореній, вздумавъ это письмо мое цѣликомъ напечатать въ „Москвитянинѣ“, и тогда же сдѣлавъ Никитину предложеніе издать на свой счетъ собраніе его стихотвореній“.

Выше мы говорили о радости Никитина, отправлявшагося съ Рубцовымъ къ Второву, нечего говорить о его восторгѣ

\*) Д. Н. Вѣгичевъ—авторъ романа „Семейство Холмскихъ“.



послѣ этого свиданія, послѣ сближенія съ Второвымъ, и шумѣ, который поднялся въ городѣ по поводу его стихотвореній. Но что чувствовали родные,—отецъ и двоюродныя сестры Тюрины, жившія въ лачужкѣ насупротивъ домика Никитиныхъ, изъ которыхъ Анна Николаевна (прежняя Анюта) была частой гостьей у брата? Какъ они посмотрѣли на новую жизнь своего Ивана Саввича, попавшаго въ Общество Губернатора, Совѣтниковъ и другихъ важныхъ господъ? Родные просто испугались; они боялись, что Ивана Саввича *возьмутъ* въ Петербургъ! Впрочемъ, отецъ потомъ далеко не былъ равнодушенъ къ извѣстности сына, что и высказывалъ по-своему даже въ самые сильные пароксизмы пьянства: „Эй, ты, Васька, Ворокъ (или кто-нибудь въ этомъ родѣ знакомецъ), подлецъ! Развѣ ты не знаешь, какой у меня сынъ-то, Иванъ Саввичъ!“ — кричитъ, бывало, старикъ на весь домъ, прерывая эти возгласы къ отсутствующимъ друзьямъ или непріателямъ крупною бранью сейчасъ же хвалимаго сына.

Восторгъ, произведенный стихотвореніемъ „Русь“, былъ очень великъ; въ Воронежѣ онъ увеличивался, благодаря положенію поэта-дворника, возбуждавшему теплое сочувствіе къ нему во всѣхъ тогдашнихъ лучшихъ людяхъ. Популярность его возрасла особенно послѣ написаннаго имъ стихотворенія „Моленіе о чашѣ“; о Никитинѣ заговорили во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотвореніе переписывалось во множествѣ экземпляровъ и распространилось далеко за предѣлы Воронежа и даже губерніи. Всѣ бросились искать знакомства съ Никитинымъ; но поэтъ все еще дичился и не легко шелъ на знакомства. Легко представить себѣ положеніе бѣднаго дворника, вызваннаго къ новой жизни, легко понять его благодарное чувство къ тѣмъ людямъ, которые не дали ему задохнуться въ душной атмосферѣ. Хотя въ этомъ чувствѣ не было ничего несвободнаго, но первое время своей воронежской извѣстности Никитинъ почти не принадлежалъ самому себѣ. Благодарность и дружба до такой степени овладѣли его душою, что онъ отдался имъ вполне. Безъ Второва, не бывши знакомымъ съ Второвымъ, въ первое время невозможно было близко сойтись съ Ни-

китинимъ, даже рѣдко можно было застать его дома: онъ былъ или у Второва, или вмѣстѣ съ Второвымъ ѣздилъ куда-нибудь къ немногимъ его знакомымъ; къ числу послѣднихъ принадлежали семейства А. Р. Михайлова и Н. А. Придорогина. Нѣкоторые изъ желавшихъ познакомиться съ Никитинимъ обижались трудностію добиться его и распространили по городу сплетни, что Никитинъ пишетъ на этихъ вечерахъ по заказу стихи, что его возять какъ диковинку. Я познакомился съ Никитинимъ въ Январѣ 1854 года, въ квартирѣ Н. С. Тарачкова и С. П. Павлова, преподавателей кадетскаго корпуса, жившихъ тогда вмѣстѣ; Павловъ снималъ съ него въ это время портретъ, напечатанный потомъ въ „Художественномъ листкѣ“ Тимма. Я, какъ и многіе, былъ изумленъ тѣмъ, что не нашель въ немъ того, чего ожидалъ. Хотѣлось, надо правду сказать, найти въ немъ нѣчто въ родѣ мужичка или молодого парня въ длинномъ сюртукѣ и подстриженнаго въ кружокъ, а оказалось совсѣмъ не то. Нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ, познакомившіеся прежде съ Никитинимъ, не шутя говорили, что онъ похожъ на Шиллера. Остави на сторонѣ всякое сравненіе, въ Никитинѣ въ самомъ дѣлѣ было что-то, если не нѣмецкое (чего никогда въ немъ совсѣмъ не было), то задумчивое, литературное. Содержатель постоялаго двора высматривалъ рѣшительнымъ литераторомъ, и отчаянный славянофиль того времени непременно назвалъ бы его и по одеждѣ (онъ былъ уже одѣтъ въ короткій сюртукъ, гладко обстриженъ и брилъ бороду, какъ, впрочемъ, и прежде), и по способу выраженія, чистѣйшимъ западникомъ. Я услышалъ отъ него прежде чѣмъ прочелъ погомъ въ его книгѣ, такія фразы, какъ „грязная жизнь, грязная дѣйствительность“ и т. п., надъ которыми впоследствии онъ самъ искренно смѣялся. Но прошло болѣе года, пока это начальное знакомство не обратилось въ дружественныя отношенія. И впоследствии времени Никитинъ былъ тугъ на знакомства: сосредоточенность въ характерѣ, нѣкогорая скрытность и недоувѣрчивость къ людямъ; печальныя семейныя обстоятельства,—все это, въ соединеніи если можно выразиться, съ мѣщанскою гордостью, были тому причиною.



И за предѣлами Воронежа Никитинъ нашель себѣ горячій привѣтъ. Корифей тогдашней литературной критики и одинъ изъ лучшихъ петербургскихъ педагоговъ, И. И. Введенскій, написалъ къ нему восторженное письмо. Введенскій пишетъ, что стихотвореніе „Русь“ онъ немедленно прочель всѣмъ своимъ ученикамъ „и съ величайшимъ восторгомъ привѣтствовалъ васъ, какъ народнаго поэта“. Введенскій восхищался стихомъ Никитина и пророчилъ ему блестящую будущность, если только онъ останется вѣренъ самому себѣ; „но если, говорить онъ, тотъ же Никитинъ промѣняетъ свой постоянный дворъ на искусственный кабинетъ петербургскаго или московскаго литератора, геній его станетъ увядать постепенно, и онъ займетъ мѣсто въ разрядѣ жалкихъ посредственностей, которыми, къ несчастію, такъ богата Русская поэзія“. Также привѣтливо и почти въ томъ же смыслѣ о необходимости самобытности и народности въ поэзіи писалъ къ Никитину А. Н. Майковъ, познакомившійся съ нимъ заочно чрезъ посредство А. П. Нордштейна; къ числу такихъ заочныхъ знакомыхъ, и все чрезъ того же Нордштейна, принадлежалъ нѣкто г. Порѣцкій, постоянный почитатель и посредникъ Никитина съ петербургскими журналистами. Къ числу же литературныхъ знакомствъ, сдѣланныхъ Никитинымъ въ это время, принадлежитъ знакомство его съ Н. В. Кукольниковъ, прожившимъ зиму 1853—1854 г. въ г. Воронежѣ, въ качествѣ чиновника особыхъ порученій при Военномъ Министерствѣ по заготовкѣ провіанта для дѣйствующей арміи. Счастливъ былъ Никитинъ въ эту пору своей жизни; лучи счастья облили, можно сказать, все существо его, но положеніе его, какъ поэта, было фальшиво. Въ эту эпоху крайнее направленіе западничества изживало свои послѣдніе дни; духота общественной и литературной атмосферы была поразительная. „Здѣсь васъ“, писалъ Никитину А. Н. Майковъ, заставятъ разлюбить Россію. Я представляю себѣ, какія у васъ въ глуши иногда, въ настоящее время великой войны, идутъ бесѣды о Россіи, ея силахъ, ея будущемъ! Представляю себѣ, какъ вы страдаете за нашу славу, ревнуете ее и вмѣстѣ съ тѣмъ полны вѣры, что „коренная вынесетъ!“... Надо много характера, чтобы хранить и святить это чув-

ство въ Петербургѣ... Знаете ли, что я завидую вамъ? Завидую тому, что васъ воспитала и воскормила сермяжная Русь, слѣдовательно, вы должны ее знать лучше меня“. Но громы войны, неудачной, но тѣмъ не менѣ славной, очищали воздухъ. Отовсюду неслись новыя требованія, новые запросы жизни. Поэтъ-дворникъ, поэтъ-мѣщанинъ, сынъ степеней и „сермяжной Руси“, одноземецъ Кольцова, — есть отъ чего восторгаться! На автора „Руси“, написанной свѣжимъ и сильнымъ стихомъ, есть причины понадѣяться! Но, увѣ! мы видѣли, что Никитинъ почти не выѣзжалъ изъ заставы Воронежа; что мѣщаниномъ онъ былъ только по названію, а дворникомъ по одной профессіи; что его воспитали не „сермяжная Русь“, о которой онъ судилъ только по заѣзжавшимъ на его дворъ пзвозчикамъ, не степи, которыя онъ рѣдко видалъ, а литература сороковыхъ годовъ, что онъ былъ человѣкъ не съ первобытными, а съ цивилизованными понятіями, только по несчастію затертый въ необразованной средѣ. Конечно, литераторъ-дворникъ далеко не то, что литераторъ дворянинъ, литераторъ москвичъ или петербуржецъ: до нѣкоторой степени ему присуще было то, что въ немъ предполагалось, но только до нѣкоторой... Непосредственнаго, напримѣръ, даже Кольцовскаго отношенія къ окружающей его жизни у Никитина не было и быть не могло; для этого онъ былъ слишкомъ развитъ и рефлексивенъ. Онъ, какъ питомецъ литературы 40-хъ годовъ, стремился къ направленію, къ практической пользѣ въ поэзіи, и это стремленіе увеличилось по мѣрѣ его развитія, — а отъ него требовали непосредственной, объективной народности, вѣры только въ самого себя, въ то время, когда въ самомъ-то себѣ онъ чувствовалъ раздвоеніе, надломъ! Не нашли того, на что надѣялись, — и восторгъ смѣнился охлажденіемъ! Все это увеличивало внутреннюю борьбу Никитина съ самимъ собою. Изъ воронежскихъ друзей его вліялъ на него, въ смыслѣ Введенскаго и Майкова, А. П. Нордштейнъ, человѣкъ вполне русскій; письма г. Нордштейна, сохранившіяся въ бумагахъ Никитина, доказываютъ это вліяніе. Почти до самой смерти Никитина у нѣкоторыхъ сохранилось убѣжденіе, что онъ былъ такъ-себѣ, — простой мѣщанинъ,

человѣкъ безъ всякаго образованія. Такъ, въ 1860 г., рецензентъ „Современника“, разбирая 2-ое изданіе его стихотвореній, выразился слѣдующимъ образомъ: „Г. Никитинъ, вѣроятно, думалъ, что если *господа* такъ пишутъ, то почему и мнѣ не писать!“... Такъ и до сихъ поръ еще продолжаютъ проводить ни къ чему не ведущія параллели между Кольцовымъ и Никитинымъ и хотятъ видѣть въ послѣднемъ то, чѣмъ онъ никогда не былъ. Никитинъ былъ, дѣйствительно, литературною замѣчательностью, но совершенно въ другомъ родѣ, чѣмъ Кольцовъ: это былъ литераторъ съ несомнѣннымъ поэтическимъ дарованіемъ; выработанный провинціею, безъ всякаго участія столицъ и другихъ умственныхъ центровъ, въ провинціи жившій и дѣйствовавшій. Второвъ и его кружокъ только докончили культурное образованіе Никитина, хорошую подготовку къ которому дали ему семинарія и разнообразное чтеніе.

Сочувствіе къ положенію Никитина выразилось и матеріальнымъ образомъ. Проживавшій въ то время въ Воронежѣ купецъ, нѣкто Рукавишниковъ, извѣстный откупщикъ и золотопромышленникъ, уѣзжая въ Иркутскъ, звалъ къ себѣ Никитина и предлагалъ ему очень выгодное мѣсто на прискахъ, на всемъ его содержаніи, съ платою по 1,200 р. въ годъ. Долго шли объ этомъ толки; но, не смотря на чистосердечное желаніе г. Рукавишникова помочь Никитину, въ Сибирь онъ не поѣхалъ: жаль было отца бросить, Второва, жаль было оторваться отъ новой жизни.— „Сибирь!“... пишетъ Никитинъ въ одной изъ записокъ къ Второву:

Напишешь это слово,—  
И вдругъ свободная мечта  
Меня уноситъ въ край суровый.  
Природы дикой красота  
Вдали встаетъ передо мною.  
И, мнится, вижу я Байкаль  
Съ его прозрачной глубиною,  
И цѣпи горъ съ громадой скалъ,  
И безконечную равнину  
Вокругъ бѣлѣющихъ снѣговъ,

И грозныхъ, дѣвственныхъ лѣсовъ  
Необозримую вершину...  
Но вотъ проходить этотъ бредъ,  
И снова видишь предъ собою:  
Диванъ съ подушкою худою,  
Комодъ, старинный туалетъ,  
Семь стульевъ, столъ на жалкихъ ножкахъ,  
Навозъ какой-то на полу,  
Цвѣты въ какихъ-то глупыхъ плошкахъ  
И, наконецъ, кота въ углу.  
Да вотъ пришелъ старикъ сердитый,  
О похоронахъ говорить  
И, кажется, меня бранить.

Никитинъ жилъ, и новая жизнь начала его толкать и за-  
дѣвать всячески; вмѣстѣ со счастьемъ начались своего рода  
заботы и тревоженія. Сильно его озабочивало предстоящее  
изданіе его стихотвореній, предпринятое гр. Д. Н. Толстымъ  
и А. А. Половцовымъ: надобно было позаботиться о томъ,  
какія стихотворенія отобрать для печати, что въ нихъ попра-  
вить и т. п. Рукопись стихотвореній была отослана къ графу  
въ октябрѣ 1854 года, а книжка вышла въ началѣ 1856 года.

Главнѣйшее затрудненіе заключалось въ неизбѣжности ча-  
стой переписки съ издателемъ, въ пересылкѣ къ нему новыхъ  
стихотвореній, въ просьбѣ прибавить то, урѣзать другое. Ни-  
китинъ тревожился; но незавидно было положеніе графа  
Толстаго, такъ какъ мудрено было удовлетворить желанію ав-  
тора, живущаго за тысячу слишкомъ верстъ отъ Петербурга.  
Вы не читали „Сѣверной Почты“? спрашиваетъ Никитинъ  
у Второва, по выходѣ уже 1-го изданія: „Ѳ. Булгаринъ, го-  
ворили мнѣ, изволилъ сдѣлать вотъ какой взглядъ на мою  
книжонку: — что вотъ-де самородка произведеніе, исправленное  
и изданное гр. Д. Н. Толстымъ, на котораго смѣло можно  
положиться; что-де въ самомъ дѣлѣ книжка вышла премилая,  
что у меня-де есть кипы подобныхъ самородныхъ произве-  
деній, да все, знаете, некогда взяться за исправленіе и т.  
д.“ Вотъ что пѣлъ Булгаринъ, а другіе говорили, и, кажется,  
печатали, что гр. Толстой не обращалъ никакого вниманія на по-

правки и замѣтки Никитина, а печаталъ, что ему вздумалось; намъ положительно извѣстно, что и то и другое неправда. Не менѣе доставляла хлопотъ и волненій Никитину отправка новыхъ стихотвореній въ тогдашніе петербургскіе журналы. Хотя Порѣцкій, какъ мы сказали, былъ самымъ усерднымъ его комиссіонеромъ, но въ положеніи Никитина было отъ чего волноваться! Волновали его и толки о немъ, какъ о поэтѣ, и взгляды на его общественное положеніе. Такъ, одинъ журналистъ предложилъ за напечатанныя имъ семь довольно большихъ стихотвореній Никитина 25 р. с.; Порѣцкій не взялъ этихъ денегъ, сказавъ: „Я узнаю, согласится ли на это Никитинъ“. — „На что ему деньги! восклицаетъ практической журналистъ:—вѣдь, онъ даромъ ихъ проѣстъ на своемъ постояломъ дворѣ?“ Другой шлетъ ему, вмѣсто денегъ и въ видѣ подарка, какой-нибудь разрозненный хламъ, большею частію своего издѣлія. Здѣсь уже кстати сказать о волненіяхъ и тревогахъ, испытанныхъ Никитинымъ послѣ выхода въ свѣтъ перваго изданія его стихотвореній, въ началѣ 1856 г.; особенно печалила его статья „Русскаго Вѣстника“, кажется, принадлежавшая покойному Кудрявцеву, статья дѣльная, но односторонняя, потому что въ Никитинѣ она отыскивала Кольцова и, конечно, не находила. Впрочемъ, всѣ эти тревоги, неизбежныя для начинающаго литератора, исчезли въ полнотѣ наслажденія поэтическимъ творчествомъ, доселѣ не испытаннаго Никитинымъ. Со всѣмъ жаромъ онъ предался этому наслажденію и писалъ относительно много, замѣчательно быстро совершенствуясь въ стихѣ и композиціи. Въ іюлѣ 1854 года онъ началъ уже „Кулака“, лучшее свое произведеніе, къ которому часто и подолгу возвращался. — Чтеніе самое разнообразное и серьезное, изученіе французскаго языка, на которомъ Никитинъ впоследствии свободно читалъ и могъ кое-какъ объясняться, составленіе для себя маленькой библіотеки изъ нашихъ лучшихъ писателей, живыя бесѣды съ образованными людьми, въ особенности съ женщинами, все это производило на него самое благотворное, умиротворяющее вліяніе. Стоять только прочесть крошечныя его записки къ Второву (1854—1865 г.), съ которыми онъ часто

ими обмѣнивался, чтобы убѣдиться въ этомъ; отъ нѣкоторыхъ строкъ такъ и вѣетъ полнотою счастья.

„Я стою теперъ передъ столомъ. Книги на столѣ въ порядкѣ; гляжу на нихъ, улыбаясь самодовольно, и думаю: Фу, чортъ возьми! Ужъ, въ самомъ дѣлѣ, не великій ли я человѣкъ! вѣдь, пять книгъ!... Но, вдругъ, о ужасъ! какойнибудь извощикъ выводитъ меня изъ самозабвенія крикомъ: „Савеличъ овса!... Э, малый! да ты острыгся! Вишь виски-то, щетина-щетиной!“ — „Я сегодня ѣздилъ въ поле. Боже, какъ хорошо! ручьевъ тысячи, звуковъ тысячи! Все кипитъ, пачинаетъ жить. Видѣлъ и слышалъ жаворонковъ, грачей, скворцовъ, утокъ. Теперъ—въ ухахъ шумъ, въ глазахъ—видѣнная картина“.

А вотъ другая, зимняя картина въ шуточномъ родѣ, когда, стало быть, было до шутокъ:

Ну, вотъ я дождался разсвѣта,  
Гляжу въ окно—все нѣтъ добра!  
Чортъ знаетъ? Ни зима, ни лѣто...  
Бѣги хоть съ горя со двора!  
Мой другъ! Скажите, ради Бога,  
Когда-жъ падетъ надежный снѣгъ,  
Окончится ѣзда телѣгъ,  
Настанетъ зимняя дорога?  
Напрасно я за ворота  
Спѣшу, обозовъ поджидая;  
Безмолвна улица пустая,  
Дворъ пустьъ, въ карманѣ пустота!...  
Дай, помолюсь въ тоскѣ-печали:  
Не медли, матушка зима!  
Мы безъ тебя оголодали;  
Всѣмъ дворникамъ грозитъ сума...  
О, горе, горе! Въ избахъ пусто...  
Куда же дѣнется у насъ  
Въ кадушкахъ припасенный квасъ  
И наша кислая каууста,  
Чѣмъ дорожить, къ чему привыкъ  
Нашъ русскій баринъ и мужикъ?  
Аминь! Да будетъ власть Господня!

„Лукичъ“ \*) мой просится сегодня  
Къ вамъ въ гости. Этакой осель!  
Какъ зюзя съ ярмарки пришель... \*\*)

Въ Р. С. въ одной изъ своихъ записокъ, написанной на розовой бумагѣ, Никитинъ говоритъ: „Конечно, вы замѣчаете своего рода прогрессъ въ моихъ запискахъ? Ничего, ничего... Молчаніе!“ — Въ эту пору, замѣчаетъ Второвъ, Никитинъ сдѣлался уже свѣтскимъ человѣкомъ. Онъ бросилъ свой длинно-полый сюртукъ и сшилъ себѣ платье по модѣ (только до фрака никогда не доходило дѣло), сдѣлался очень развязень; прежней дикости не было и слѣда“. Повторяемъ, едва ли былъ такъ счастливъ Никитинъ, какъ въ эту первую пору своей новой жизни, а когда онъ былъ счастливъ, т. е., спокоенъ, трудно было найти человѣка живѣе и любезнѣе его! Нелюдимости и угрюмости какъ не бывало; шутки и остроты не сходили съ устъ; въ такомъ же родѣ писались записки къ знакомымъ, иногда стихами, какъ слѣдующіе стихи къ Второву, при посылкѣ къ нему „Живописца“, журнала Новикова:

Изъ бібліотеки старинной \*\*\*)  
Вамъ томъ разрозненный дарю;  
Я, признаюсь, морали чинной  
Въ сатирѣ скучной не люблю.  
Желаю вамъ подъ этой пылью  
Съискать побольше добрыхъ лицъ;  
Пусть вѣетъ сладостною былью  
На васъ отъ сѣренькихъ страницъ.  
Да, кстати! Новость сообщаю:  
Мой Дмитричъ далеко... увы!  
Я самъ извощиковъ встрѣчаю,—  
И дворникъ съ ногъ до головы!

Дмитричъ былъ что-то въ родѣ прикащика у Никитина, прикащика, впрочемъ, не очень расторопнаго; онъ назывался

\*) „Лукичъ“ — герой „Кулака“, рукопись котораго часто читалась и пересылалась Второву.

\*\*) См. главы V и VI поэмы „Кулака“. Стихи писаны 23 декабря 1856 г.

\*\*\*) Составленной Саввою Евѣичемъ.

иначе „ритористомъ“, потому что когда-то учился въ семинаріи, гдѣ дошелъ до риторики.

Перерожденіе Никитина, такъ быстро совершившееся, не оттолкнуло, однако же, его отъ „грязной дѣйствительности“, отъ постоялаго двора. Съ того времени, когда онъ началъ получать гонораръ за свои стихотворенія, и когда оказалась довольно порядочная выручка отъ распродажи книжки, за уплатой расходовъ по изданію, самое положеніе постоялаго двора измѣнилось къ лучшему, вмѣстѣ съ положеніемъ его хозяина; всѣ постояло-дворскія потребности удовлетворялись безотлагательно; явилась возможность имѣть прикащика и завести лошадь; не было надобности самому стряпать и прислуживать извозчикамъ. Правда, было много хлопотъ и возни съ дворомъ; было много грязи въ этой постояло-дворской обстановкѣ,—по что за надобность, когда на нее никто изъ друзей Никитина не обращалъ вниманія, когда каждый изъ нихъ спѣшилъ на этотъ бѣдный постоялый дворъ, въ это убогое мѣщанское жилище, во всякое время дня и ночи, по зову и безъ зова хозяина! Никитинъ любилъ собирать у себя вечеринки во всякое время, но особенно въ дни большихъ праздниковъ и на свои именины, 26-го сентября. Еще свѣжи въ нашемъ воспоминаніи эти вечера, и по простествіи многихъ лѣтъ еще, какъ живая, рисуется въ нашемъ воображеніи дорогая картина! Вотъ онъ—крошечный домикъ на Кирочной улицѣ, второй отъ угла, налѣво, при поворотѣ съ Садовой, съ тремя окнами на улицу. Ѣдешь, бывало, къ нему въ темную осеннюю ночь, по едва мощеной и ничѣмъ не освѣщенной улицѣ. Ни звука, ни шороха! Только покачиваешься на извозничьихъ пролеткахъ, ныряющихъ по лужамъ. Но вотъ обдають тебя лучи свѣта, и сквозь вспотѣвшія три окна видишь знакомые листья розовой травки и лилій. „Стой!“ кричишь извозчику; сходишь съ пролетокъ, съ трудомъ пробираешься по узкому, ветхому крылечку и прямоходишь въ переднюю, изъ которой ведутъ двѣ двери,—направо и налѣво; направо въ большую комнату, выходящую на улицу тремя знакомыми намъ окнами, налѣво—въ другую половину домика, которую занималъ Савва Евтѣичъ. Комната направо была



спальной, кабинетомъ, гостиной и всѣмъ, чѣмъ хотите, для Ивана Саввича; ее описалъ онъ въ вышеприведенныхъ нами стихахъ. Здѣсь-то, во время вечеринокъ, шла немолчная бесѣда, отсюда-то ложились лучи свѣта по грязной улицѣ, привѣтно васъ манившіе. Вы входите и садитесь непременно подлѣ круглаго, желтаго „стола на жалкихъ ножкахъ“, на „диванѣ съ подушкою худою“, или на стульяхъ. Шума и крику довольно; гости вооружены большими стаканами съ чаемъ, который готовится въ комнатѣ, что насупротивъ передней, и чинно разносится двоюродными сестрами Никитина, сосѣдками Тюриными (Анной и Пелагеей Николаевнами), обыкновенно призываемыми для подобныхъ торжественныхъ случаевъ; въ случаѣ отсутствія одной изъ нихъ, самъ хозяинъ-поэтъ занималъ ея мѣсто. Тѣмъ же чиннымъ порядкомъ разносился десертъ, состоящій изъ разныхъ благодатей мѣстной Помоны. На именины непременно готовилась легкая закуска съ неизбѣжнымъ и всегда плохимъ пирогомъ. Но гостямъ не было дѣла ни до десерта, ни до закуски. Заводчикомъ споровъ, стало быть, душою бесѣды, былъ Придорогинъ съ его страстію вѣчно ставить вопросы и никогда не затрудняться ихъ рѣшеніемъ, какъ бы оно радикально ни было; истиннымъ Несторомъ бесѣды былъ Второвъ, лучше и основательнѣе другихъ образованный, съ его умною, логически-последовательною рѣчью. Изрѣдка ввертывалъ свое, иногда очень мѣткое и оригинальное, слово и Савва Евтѣичъ, бывший тутъ же въ длиннополомъ синемъ сюртукѣ. Самъ Иванъ Саввичъ только урывками принималъ участіе въ бесѣдѣ, принужденный хлопотать по хозяйству, или принимать гостей; если гость былъ въ первый разъ въ домѣ, онъ непременно подводилъ его къ отцу говоря: — „рекомендую вамъ — мой батенька!“ Да, шумѣли много на Никитинскихъ вечеринкахъ, но нельзя сказать, чтобы „шумѣли—и только!“ Начиная съ 1856—57 г., когда появились „Русскій Вѣстникъ“ и „Русская Бесѣда“, когда въ воздухѣ запахло освобожденіемъ крестьянъ и ароматомъ самыхъ смѣлыхъ надеждъ, когда не однимъ провинціаламъ пришлось многому доучиваться, приходилось провѣрить себя, сводить счеты съ своимъ прошлымъ, пере-

воспитываться, — эти скромныя вечеринки, на которыхъ истреблялось только множество чаю и плодовъ, нисколько не походили на Репетиловскія, хотя участвующіе въ нихъ, расходясь далеко за полночь по домамъ, нерѣдко вспоминали безсмертныя стихи Грибоѣдова. Или вотъ другая картина, все въ той же комнатѣ, но уже въ лѣтнюю пору, и еще до захожденія солнца. Придешь, бывало, одианъ къ Никитину и застаешь его сидящимъ на диванѣ за столомъ. На столѣ лежать двѣ-три книги, стоитъ чернильница, разбросаны бумаги. По прошествіи многихъ лѣтъ забылись, конечно, веденныя рѣчи, но не забылось чтеніе Никитинымъ задушевнѣйшихъ его произведеній, не забылся его симпатичный голосъ, звенящій чистымъ баритономъ; никогда не забудется выраженіе строгаго и блѣднаго лица его, его горящихъ глазъ, на вѣкахъ которыхъ часто дрожали слезы! Трепетъ пробѣгалъ по вашему тѣлу, когда въ безмолвной комнатѣ, залитой лучами лѣтняго солнца, мужественно раздавались звуки, напримѣръ, вотъ такихъ стиховъ:

Какъ узникъ я рвался на волю,  
Упрямо цѣпи разбивалъ!  
Я свѣта, воздуха желалъ!  
Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!  
Ни силъ, ни жизни молодой  
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!

Да, и вы твердо и свято вѣрили чтецу, что онъ и рвался и разбивалъ, и желалъ и не жалѣлъ! Одной изъ такихъ минутъ я обязанъ дружественнымъ сближеніемъ съ Никитинымъ.

---

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Дереви и общество женщинъ. — Болѣзнь Никитина. — Отѣздъ Второва. — Письмо къ нему Никитина. — Новая жизнь послѣдняго съ весны 1857 г. — «Кулакъ». Любовь. — Мысль о книжной торговлѣ. — Передряга, случившаяся съ Никитинымъ, какъ послѣдствіе распространенія «Колокола» въ воронежской фабрикаціи. — Устройство книжнаго магазина и его открытіе.

Освоившись съ своимъ новымъ положеніемъ, Никитинъ съ удовольствіемъ покидалъ свою берлогу не только для бесѣды съ своими городскими друзьями и знакомыми, но и для деревни, для общества людей, мало ему знакомыхъ. По свидѣтельству Второва, Никитинъ часто ѣзжалъ въ деревню Плотниковыхъ, находившуюся недалеко отъ Воронежа, если не ошибаемся, въ Землянскомъ уѣздѣ. Здѣсь открылся передъ нимъ новый міръ — природы и быта. Довольно живописная природа воронежскихъ окрестностей, хорошо знакомая Никитину, еще не давала ему полнаго понятія о всемъ разнообразіи и прелести нашей при-донской природы, отличающейся кроткимъ характеромъ безконечныхъ, но живописныхъ равнинъ. Питомецъ мѣщанскаго быта обязанъ ей лучшими минутами своей жизни. Благотворно и поучительно, до вѣкоторой степени, было на него вліяніе и деревенскаго быта. Здѣсь онъ имѣлъ возможность присмотрѣться къ крестьянину въ его домашней, семейной обстановкѣ; здѣсь на него хорошо подѣйствовалъ и помѣщичій бытъ, хотя Никитинъ едва ли сознавалъ послѣднее. Надо правду сказать, всѣ мы до начала великой крестьянской реформы были враждебно настроены противъ помѣщиковъ. Страстно желая освобожденія крестъ-

янь, мы относились къ помѣщичьему быту съ полнѣйшимъ отрицаніемъ его историческихъ заслугъ: мы, образованные люди, забывали, что въ помѣщичьей средѣ хранились историческія преданія, росла и крѣпла наша гражданственность. Вокругъ женщины, какъ само собою разумѣется, сосредоточивались всѣ свѣтлыя стороны, вся поэзія отжившаго помѣщичьяго быта. Живой образъ такой женщины литература представляетъ въ Татьянѣ Пушкина; тысячи такихъ Татьянь, такихъ истинно русскихъ женщинъ, образованныхъ, кроткихъ, но глубокихъ своимъ жизненнымъ содержаніемъ и своимъ великимъ воспитательнымъ значеніемъ въ семьѣ были разсыпаны по нашимъ деревнямъ въ эпоху, предшествующую эманципаціи крестьянъ. Мы не были знакомы съ тою мѣстностію, гдѣ находилась деревня Плотниковыхъ, но мы знаемъ, что у нихъ было большое сосѣдство, между которыхъ были такіе дома, какъ Добровольскіе и Матвѣевы, гдѣ Никитинъ встрѣчалъ самый радужный, самый родственныи пріемъ, гдѣ онъ очень любилъ бывать и скорбѣлъ, когда болѣзнь или другія причины мѣшали его поѣздкѣ. Общество этихъ трехъ помѣщичьимъ домовъ, дружное между собою, въ большинствѣ состояло изъ женщинъ, преимущественно изъ молодыхъ дѣвушекъ, чутко понявшихъ тотъ интересъ, который возбуждалъ къ себѣ ихъ новый знакомый, столь не похожій на другихъ, если нѣсколько и нелюдимый, зато въ сильной степени возбуждавшій молодое женское любопытство. Въ семействѣ Плотниковыхъ, было, если не ошибаемся, нѣсколько дѣвицъ. Превосходный садъ и молодое общество прекраснаго пола самымъ живительнымъ образомъ подѣйствовали на Никитина, и, если можно такъ выразиться, растворили его душу для впечатлѣній, дотолѣ незнакомыхъ ему. Мы имѣли возможность читать письма Никитина къ Плотниковымъ: въ нихъ нѣтъ ничего, если хотите, интереснаго; но есть именно то, о чемъ мы говоримъ—юношеская полнота жизни, на которую только урывками былъ способенъ Никитинъ, да и то развѣ только въ эту пору. Въ числѣ бумагъ Никитина находится стихотвореніе, написанное на память ему одною изъ особъ не нашего пола. Мы не знаемъ имени этой особы; знаемъ только, что

она не принадлежала къ семейству Плотниковыхъ, и что Иванъ Саввичъ былъ съ нею только въ добрыхъ отношеніяхъ \*). Это обстоятельство давало бы намъ право напечатать все стихотвореніе, не совсѣмъ выдержанное, но очень граціозное, если бы мы не боялись длинноты его, довольствуемся отрывкомъ, который приводимъ для доказательства того, что говорилось выше и вообще, и по отношенію къ Никитину. Дѣло идетъ о садѣ, или лучше сказать, объ одномъ уголкѣ его, „безмолвномъ и забытомъ, густою чащею тѣнистыхъ липъ закрытомъ“. Прощаясь съ этимъ „безмолвнымъ пріютомъ“, поэтъ-дѣвушка говоритъ:

Прощай!... Промчатся дни, десятки лѣтъ пройдутъ;  
Ты будешь зеленѣть, цвѣсти и красоваться,  
Но я не приду тобою любоваться;  
И нѣтъ въ тебѣ слѣда ни задушевныхъ думъ,  
Которыми кипѣлъ и волновался умъ,  
Ни даже тѣхъ шаговъ, которыми, бывало,  
Твой шелковистый дернъ задумчиво я мяла!  
Кому же скажешь ты о памяти моей?  
Когда-нибудь судьба подъ тѣнь твоихъ вѣтвей,  
Быть можетъ, приведетъ того, кто духа силы  
Для жизни пробудилъ въ дуплѣ моей унылой;  
Напомни обо мнѣ ему, мой уголокъ!  
Навѣй высокихъ думъ и грезъ златыхъ потокъ,  
Волненье успокой души его тревожной,  
Согрѣй надеждою, что счастье возможно;  
И, убаюканный волшебною мечтой,  
Заснетъ въ его груди недугъ сомнѣній злой!

Нечего удивляться, что Никитинъ любилъ бывать въ обществѣ женщинъ, и что женщинамъ онъ нравился. Правда, былъ онъ неловокъ всегда: дворникъ, если хотите, отчасти изъ-за него высматривалъ; но женщинамъ нравилась въ немъ необыкновенная искренность, сила и цѣломудренность мысли. Если Никитинъ не любилъ ни одной женщины до 1853 года, то это, помимо его замкнутости, могло происходить и оттого,

\*) Этой особѣ посвящены три стихотворенія Никитина, помѣщенные въ настоящемъ изданіи подъ №№ LXXXIV — LXXXVI (см. 1-й томъ, стр. 172—174).

что онъ не зналъ ихъ совсѣмъ, что подойти къ нимъ онъ боялся, какъ боялся войти въ кругъ равнаго съ нимъ по образованію общества. Кажется, нечего говорить, что Никитинъ не могъ увлечься непосредственнымъ чувствомъ, и тѣмъ болѣе, къ существу непосредственному.

Читатель можетъ упрекнуть насъ, что мы идеализируемъ своего героя, что мы положеніямъ, о которыхъ говоримъ, придаемъ черезчуръ идиллическій характеръ. Дальнѣйшій рассказъ оправдаетъ насъ отъ упрека въ идеализаціи. Что же касается до идилліи, то она, какъ гармонія во всѣхъ отправленияхъ нашей жизни, въ жизни Никитина только и была въ эту эпоху, и то какъ рѣдкая гостя. Прощаясь съ нею навсегда, мы обратимся опять къ самымъ прозаическимъ и печальнымъ явленіямъ въ жизни нашего героя.

Къ числу ихъ принадлежитъ болѣзнь Никитина, не просто временная болѣзнь, не просто хроническій недугъ, а непрерывный рядъ физическихъ страданій, продолжавшихся по полугоду, страданій, при которыхъ немыслимо было мало-мальски спокойное существованіе. Въ жизни Никитина съ 1853 года, въ поэтической его дѣятельности, этою болѣзнію очень многое объясняется. Въ коротенькой записочкѣ отъ 14-го Апрѣля 1855 года, вотъ что писалъ Никитинъ къ Второву: „... я боленъ. Ноги, поясница, желудокъ... бѣда! Впрочемъ я живу—это не въ первый разъ!“

„Когда я познакомился съ Никитинымъ, онъ уже постоянно жаловался на расстройство желудка и питался только куринымъ супомъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, да какой-нибудь кашцей. Расстройство желудка, по его рассказамъ, началось у него съ тѣхъ поръ, какъ онъ, хвалясь своей силой, поднялъ не соразмѣрную тяжесть \*), причемъ у него какъ бы порвалось что внутри. Это случилось года за три, или четыре, до знакомства со мною. Болѣзнь, о которой говорится въ запискѣ, онъ схватилъ, благодаря мнѣ; наканунѣ, т.-е. 13-го Апрѣля, было прелестнѣйшее утро, и я съ нимъ сдѣлалъ дальнюю

---

\*) Сдвинулъ съ мѣста чѣмъ-то нагруженный возъ.

прогулку пѣшкомъ за городъ (что нерѣдко случалось) въ архіерейской дачѣ, за Троицкой слободой. Весна была ранняя; все было уже зелено. Бродя по берегу рѣки, мы любовались ея гладкою поверхностью, гдѣ, какъ въ зеркалѣ, отражалась вся противоположная сторона. Я, отчаянный гидропатъ, соблазнился, не выдержалъ и сталъ купаться. Примѣру моему, не смотря на мое предостереженіе послѣдовалъ и Никитинъ. Послѣдствіемъ этого купанья и была его болѣзнь, продолжавшаяся все лѣто. Сначала съ нимъ сдѣлалась горячка, и дѣло было очень плохо. Пичкалъ его тогда Т.; Никитинъ просилъ, чтобы я привезъ къ нему Кундасова. За горячкою послѣдовало скорбутное состояніе: онъ лишился употребленія ногъ и постоянно лежалъ въ постели. П. И. Савостьяновъ предложилъ ему тогда переселиться на время въ свое имѣніе (Сухіе Гаи) въ надеждѣ, что свѣжій деревенскій воздухъ поправитъ лучше его здоровье, чѣмъ лѣкарства. Никитинъ принялъ это предложеніе, но не выдержалъ, кажется, и десяти дней и снова возвратился въ Воронежъ. „Здѣсь, писалъ онъ ко мнѣ, я одинъ, и это уединеніе убиваетъ меня не менѣе болѣзни. Тоска страшная! Родныхъ нѣтъ никого, не на комъ остановить глазъ. Быть можетъ, эта тоска ребячество, — я не спорю; но выше моихъ силъ съ нею бороться, не видя надежды къ лучшему. Впереди представляется мнѣ картина: вижу, самого себя медленно умирающаго, съ отгнившими членами, покрытаго язвами, потому что такова моя болѣзнь!“ П. И. Савостьяновъ, о которомъ здѣсь говорится, былъ воронежскій помѣщикъ. Имѣніе его, Сухіе Гаи, находится въ 50 верстахъ отъ Воронежа. Воспитанникъ Московскаго университета, человѣкъ богатый, Павелъ Ивановичъ свою молодость посвятилъ педагогической службѣ. Онъ былъ послѣдовательно директоромъ гимназій въ Харьковѣ и Воронежѣ и директоромъ Московскаго Земледѣльческаго училища. Директорство Савостьянова въ Воронежѣ относится къ 1838—1840 г. \*), когда еще живъ былъ Кольцовъ, котораго онъ принималъ у себя и знакомилъ со вновь поступающими въ гимназію учи-

---

\*) См. нашу статью въ „Воронежской Бесѣдѣ“ 1861 г., стр. 417.

телями. Воронежским помѣщикомъ П. И. Савостьяновъ сталъ позже, уже по выходѣ въ отставку. Бывая часто въ губернскомъ городѣ, а по зимамъ проживая въ немъ, Савостьяновъ раньше другихъ познакомился съ Никитинымъ и, когда послѣдній разболѣлся, предложилъ ему лучшее средство для излѣченія — пожить въ деревнѣ, на свѣжемъ воздухѣ. Онъ послалъ за нимъ особенный экипажъ, называемый *каруцею*, въ которомъ и пріѣхалъ въ Гаю Никитинъ лежащимъ въ постели, въ сопровожденіи нанятаго слуги. Въ большомъ господскомъ домѣ, расположенномъ въ саду, Никитинъ не захотѣлъ остановиться, а предпочелъ флигель, отдаленный отъ сада. И хотя, для отдыха больному, была разбита около флигеля полотняная палатка, но она, естественно, не могла замѣнить сада, при томъ же больной былъ такъ слабъ, что не могъ ходить, и его надобно было переносить на рукахъ даже въ эту палатку. Должность сидѣлки и носильщика исполнялъ съ величайшимъ усердіемъ (по рассказамъ хозяина) пріѣхавшій слуга, молодой парень, одѣтый и остриженный по-русски, кажется, одинъ изъ дальнихъ родственниковъ больного \*). При такихъ условіяхъ, не смотря на любезность хозяина, жизнь въ Гаеяхъ становилась несносной. На бѣду, Павелъ Ивановичъ надѣлилъ своего гостя популярными медицинскими сочиненіями, которыми послѣдній зачитывался, и которыя просто нагнали на него панику: онъ сталъ считать себя при послѣднихъ минутахъ жизни, окончательно пораженнымъ скорбутомъ, а потому и пожелалъ поскорѣе возвратиться домой. Это было въ концѣ іюня 1855 года. Памятникомъ пребыванія Никитина въ Сухихъ Гаеяхъ осталось слѣдующее стихотвореніе, посвященное имъ П. И. Савостьянову:

---

\*) Сообщая намъ приведенныя подробности, П. И. Савостьяновъ. (давно умершій) останавливается на мысли, что замѣчательные люди обладаютъ необычайною способностію не только привлекать къ себѣ, но и поработать себѣ другихъ. Мысль эта, по словамъ нашего корреспондента, вполне подтвердилась для него отношеніями больного Никитина къ своему слугѣ. Болѣзнь сдѣлала Никитина страшно раздражительнымъ и капризнымъ. Лишенный возможности движенія, онъ не давая покоя своему слугѣ, сердился на него, бранилъ его, нередко — оскорблялъ; но послѣдній не только никогда не обнаруживалъ ни тѣни неудовольствія, но продолжалъ служить больному еще съ большимъ удовольствіемъ, доходящимъ до увлеченія.



Не спится мнѣ. Окно отворено,  
Давно горятъ небесныя свѣтила,  
Сіяетъ прудъ, въ густомъ саду темно,  
Ночь ясная безмолвна, какъ могила...

Но тамъ—въ гробахъ навѣрно есть покой;  
Здѣсь жизни пиръ; во тьмѣ кипятъ желанья,  
Во тьмѣ порокъ идетъ своей тропой,  
Во тьмѣ не спать ни страсти, ни страданья?

И больно мнѣ и страшно за людей.  
Въ ночной тиши мнѣ чудятся ихъ стоны,  
И вижу я, какъ въ пламени страстей  
И мечутся, и плачутъ милліоны...

И плачу я... Мнѣ думать тяжело,  
Что день и ночь, минута и мгновенье  
Родятъ на свѣтъ невидимое зло  
И новое, тяжелое мученье.

Однакоже, по возвращеніи изъ Сухихъ Гаевъ, все лѣто 1855 года Никитинъ проболѣлъ очень сильно, и только къ осени здоровье его стало поправляться. Помогъ ему окончательно новый врачъ, Кундасовъ, къ которому онъ теперь обратился, отказавъ Т—лю, доктору впрочемъ весьма почтенному и искусному. Кундасовъ посовѣтовалъ ему бросить нелѣпую діету, которой онъ до того времени постоянно держался, и велѣлъ ему употреблять болѣе грубую пищу, ѣсть кислыя щи, солонину съ хрѣномъ и уксусомъ, пить квасъ и т. п., чего онъ прежде боялся какъ яду. Совѣтъ этотъ весьма скоро оказалъ свое полезное дѣйствіе, т. е., прибавимъ, вылѣчилъ отъ скорбута, но не отъ болѣзни желудка, не отъ кишечной чахотки, если только мы не ошибаемся въ опредѣленіи болѣзни Никитина. Еще по осени того же года. Никитинъ писалъ: „Вчера (12-го Октября) для меня былъ страшный день. Я думалъ, треснетъ мой черепъ,—такъ болѣла голова отъ расстройства желудка!“ Это былъ обычный симптомъ болѣзни.

Графъ Д. Н. Толстой, первый издатель сочиненій Никитина и до самой его смерти одинъ изъ искренно расположенныхъ къ нему людей, служилъ въ это время въ Петербургѣ вице-

директоромъ департамента Полиціи Исполнительной, при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ. Графъ предложилъ Никитину поднести отъ его имени по экземпляру стихотвореній Высочайшимъ Особамъ. Само собою разумѣется, что Никитинъ съ радостію на это согласился. Стихотворенія были поднесены при простыхъ вѣрноподданическихъ письмахъ Никитина. Обѣ императрицы, царствующая и вдовствующая, и покойный царевичъ Николай Александровичъ удостоили Никитина драгоценными подарками, которые онъ принялъ съ восхищеніемъ. „Милый Николай Ивановичъ, писалъ онъ къ Второву, ура!! Отъ Государыни Императрицы Александры Ѳедоровны сію минуту имѣлъ счастье получить золотыя часы. Пожалуйте ко мнѣ. Я прибѣгъ бы къ вамъ самъ, но у меня И. А. Придорогинъ и сейчасъ будетъ Л—къ. Приходите посмотрѣть. Цѣлую васъ заочно. Рука дрожить. Извините! 1856 г., числа не помню. Вашъ И. Никитинъ“.—Нечего говорить, что Высочайшее вниманіе къ трудамъ Никитина возвысило его во мнѣніи всего городского общества и, такъ сказать, авторизовало эти труды. Къ этому же времени относятся нѣсколько заочныхъ знакомствъ, пріобрѣтенныхъ Никитинымъ; къ числу ихъ принадлежитъ знакомство съ В. А. Кокоревымъ, обратившееся въ послѣднее время въ пріязнь. Не столько первое изданіе, принятое, какъ извѣстно, довольно равнодушно публикой, сколько стихотворенія, явившіяся въ промежуткѣ времени, съ половины 1856 г. и до конца 1857 г., изъ которыхъ нѣкоторыя были весьма замѣчательны, пріобрѣли Никитину много горячихъ поклонниковъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ сохранившіяся въ его бумагахъ письма.

1857-мъ годомъ оканчивается первый періодъ литературной дѣятельности Никитина, первый періодъ его новой жизни. Въ этомъ году Второвъ покинулъ Воронежъ. Смерть, въ самое короткое время, двухъ нѣжно любимыхъ дѣтей, нѣкоторыя служебныя непріятности, а, главное, исканіе болѣе живого дѣла,—все это тянуло Второва туда, гдѣ онъ, въ самый разгаръ величайшихъ государственныхъ преобразованій, такъ честно, благотворно, но скромно потомъ трудился. Съ

отъѣздомъ Второва, сначала въ Нижній-Новгородъ, а потомъ въ Петербургъ, письма къ нему Никитина (64 №№) становятся уже настоящими, большими письмами,—въ почтовый и болѣе листъ, исписанный его мелкимъ, но четкимъ почеркомъ. Отселѣ эти письма будутъ служить главнѣйшимъ источникомъ нашего разсказа.

Чего стоило Никитину разлука съ Второвымъ,—объ этомъ можно судить по слѣдующему отрывку изъ письма его къ послѣднему, отъ 15-го Апрѣля 1857 года:

„Я не могу начать моего письма къ вамъ, какъ обыкновенно начинается большая часть писемъ: Милостивый Государь NN! Вѣтъ холодомъ отъ этого пачала, и оно мнѣ кажется страннымъ послѣ тѣхъ отношеній, которыя между нами существовали. Я готовъ назвать васъ другомъ, братомъ,—если позволите,—и никакъ *Милостивымъ Государемъ*...

„Что дѣлать! поневолѣ пришлось обратиться къ перу и бумагѣ, чтобы перемолвиться съ вами словомъ! Не замѣнять эти бѣдныя строки нашихъ изустныхъ рѣчей! Признаться, я не могу похвалиться счастьемъ своихъ привязанностей: вы — третье лицо, которое я теряю \*), лицо для меня самое дорогое, потому что ни съ кѣмъ другимъ я не былъ такъ откровененъ, никого другого такъ не любилъ. Силу этой привязанности я понималъ только теперь, сидя въ четырехъ стѣнахъ, не зная, куда и выйти, хотя многіе меня приглашаютъ. Если и выйду, обыкновенно между мною и встрѣтившимся мнѣ знакомымъ начинается, что называется, пересыпанье изъ пустого въ порожнее; оно и естественно: мой характеръ раскрывается не передъ каждымъ. Я душевно люблю Придорогина, бываю у него почти всякій день; но потому ли, что и онъ упалъ духомъ такъ же, какъ и я, наши бесѣды не облегчаютъ, а давятъ насъ своимъ содержаніемъ.—А что, братъ, говорить онъ, подпирая рукою свою большую голову:—видно, приходится умирать! Зачѣмъ жить,—неизвѣстно! А жизнь скверно прожита!—Жалоба заключается горькой улыбкой. Я молча смотрю въ окно изъ его третьяго этажа. Весело гремятъ по мо-

---

\*) Первые два, думаю были: Дураковъ и Нордштейнъ.

стовой пролетки; весело свують пѣшеходы; пестрѣютъ кровли зданій, трубы; зеленѣютъ кое-гдѣ сады; красная полоса зари догораеть на синевѣ неба. Обстановка, кажется, недурна; но что за тяжесть на сердцѣ! что за скука на душѣ!... Послѣ долгаго молчанія разговоръ переходитъ на общее мѣсто—разную современную гадость, и, право, чувствуешь себя точно разбитымъ, окунувшись въ этотъ зловонный омутъ. Прохожу мимо вашей бывшей квартиры,—она пуста. Не видно знакомыхъ мнѣ бѣлыхъ занавѣсокъ; вечеромъ не горитъ огня въ кабинетѣ, гдѣ такъ часто я думалъ, читалъ, бесѣдовалъ,—словомъ, благодаря вашему дружескому, разумному вниманію, находилъ средства забывать все дразги моей домашней жизни. Какъ же мнѣ не любить васъ! Какъ мнѣ о васъ не думать! Второе—неизбѣжное слѣдствіе перваго, въ особенности теперь. Саади сказалъ праву: *Quand on est seul, on est plus que jamais avec ceux qu'on aime*. Богъ вѣсть, гдѣ и когда мы встрѣтимся! и встрѣтимся ли, это вопросъ! Не понимаю, что дѣлается со мною съ нѣкотораго времени. Все мнѣ опротивило: мой домъ, выходъ изъ дома, разговоры съ кѣмъ бы то ни было, трудъ, даже книги. Если это болѣзнь, пусть бы она поскорѣе проходила. Единственная книга, которую я теперь читаю и которая меня завлекла, *Le Dernier des Mohicans* Купера, увлекла, можетъ быть, потому, что дѣйствительность, въ ней воспроизведенная, совершенно противоположна тому, что меня окружаетъ. Кажется, вмѣстѣ съ героями романа я слышу величавый шумъ водопадовъ, брожу въ дѣвственныхъ лѣсахъ, упиваюсь воздухомъ пустынь новаго свѣта. Все-таки легче, когда забудешься, хоть не надолго. Разъ десять начиналъ я новую работу, поэму\*), но разрывалъ въ мелкіе куски. Жалкое начало! Дрянъ выходить изъ-подъ пера! Нѣтъ, придется, вѣрно, отказаться отъ міра искусства, въ которомъ когда-то мнѣ жилось такъ легко, хотя этотъ міръ и былъ ложный, созданный моимъ воображеніемъ, хотя чувства, изъ него выносимыя, были большею частію „плѣнной мысли раздраженіе“. Придется, видно, по словамъ Пушкина:

\*) „Городского голову“.

Ожесточиться, очерствѣть  
И, наконецъ, окаменѣть.

„Грустная будущность! Но что же дѣлать! Видно, я ошибся въ выбранной мною дорогѣ! Искра дарованія, способная блещать въ потьмахъ и чуждая силы грѣть и освѣщать предметы, не разгорится пожаромъ, потому что она жалкая искра... А свѣтящимся червячкомъ я быть не хочу. Можетъ быть, я бы и трудился, и вышло бы что нибудь изъ-подъ пера сносное; но воздухъ, которымъ я дышу, отравилъ мое дыханіе. У Пушкина книгопродавецъ говорилъ поэту, что его несчастія — источникъ пѣсней. Правда; но въ такомъ только случаѣ, если эти несчастія дѣйствуютъ на поэта, какъ шпоры на коня, побуждая его къ бѣгу; но когда шпоры обращаются въ ударъ ножомъ, бѣдный конь откажется отъ бѣга и упадетъ на землю, истекая кровью. Бури внѣ семейства, каковы бы онѣ ни были, еще сиосны; но не умолкаемая гроза и гроза отвратительная, грязная, подъ родною кровлей — невыносимая битва, потому что она — уродливость въ природѣ, вопль тамъ, гдѣ, по естественному ходу вещей, ожидаешь невозмутимаго мира, гдѣ надобно бы черпать силу для борьбы съ внѣшнимъ зломъ, котораго такъ много и которое такъ разнообразно. Да ниспошлетъ мнѣ Господь духа мудрости, смиренномудрія, терпѣнія и любви! Иглы, ежедневно входяція въ мое тѣло, искажаютъ мой характеръ, дѣлаютъ меня раздражительнымъ, доводятъ иногда до желчной злости, за которою немедленно слѣдуютъ, — раскаяніе и слезы, увы! слезы тоски и горя, жалкія безсильныя слезы!!!...“

Но какъ ни горько было Никитину разставаться съ Второвымъ, эта разлука до нѣкоторой степени была для него полезна. Хотя еще съ 1856 года кружокъ Второва началъ распадаться; но все же, до самаго дня его выѣзда изъ Воронежа, собиравшіеся у него люди образовали новый, замкнутый, хотя, можетъ быть, и не столь тѣсный, кружокъ. Неоспоримо, что исторія нашего просвѣщенія есть исторія кружковъ, но къ эпохѣ освобожденія крестьянъ эти литературныя кружки начали распадаться, — къ лучшему или къ худшему.

му?—Богъ вѣсть. Въ виду предствящаго громаднаго дѣла, въ кружкахъ всѣмъ было тѣсно; это стѣсненіе первый, кажется, почувствовалъ Второвъ съ его прямымъ и практическимъ взглядомъ на жизнь. Съ отъѣздомъ Второва, я бы могъ сказать, что вокругъ меня сталъ собираться новый кружокъ, если только мои вечера по субботамъ, продолжавшіеся до смерти Никитина, можно назвать этимъ именемъ. Но ничего кружковаго въ нихъ не было и быть не могло, ни по времени, ни по роду моихъ занятій (я былъ въ то время учителемъ въ Кадетскомъ Корпусѣ), ни по образу жизни самого Никитина, значительно измѣнившемуся и не такъ уже теперь исключительному и замкнутому, собирались у меня разъ въ недѣлю Никитинъ, Придорогинъ, Н. П. Курбатовъ (воспитанникъ Московскаго Университета, переѣхавшій въ Воронежъ въ 1857 году), Ѡ. Н. Бергъ (въ то время еще кадетъ) и Н. С. Милашевичъ, товарищъ мой по гимназій, одинъ изъ героевъ Крымской войны, рассказы о которой оживляли наши бесѣды. Я не имѣю права наскучать читателю подробностями ни объ этихъ бесѣдахъ, ни о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Никитину, мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ выбывали изъ нашего кружка тѣ или другія лица, перенедшихъ въ самыя близкія и дружественныя. Но при всемъ моемъ желаніи быть какъ можно краткимъ, по поводу этихъ отношеній, пусть извинитъ меня читатель, если въ дальнѣйшемъ разсказѣ о жизни Никитина мнѣ придется не разъ обращаться къ самому себѣ.

Итакъ, съ отъѣздомъ Второва, вплоть до открытія книжнаго магазина, жизнь Никитина шла своею обычною колеєю; чтеніе, литературныя занятія, изученіе нѣмецкаго языка, дворничество, изрѣдка посѣщеніе знакомыхъ, чаще болѣзнь, поглощали все его время. Посмотримъ, что говоритъ самъ Никитинъ объ этомъ все еще полузамкнутомъ періодѣ своей жизни.

2-го августа 1857 г.

„Кулакъ“ сегодня отправляется въ Москву подъ покровительство Константина Осиповича (г. Александрова-Дольника). Я сдѣлалъ весьма незначительныя перемѣны, въ нѣкоторыхъ главахъ.

Довольно, покуда не марать!... К. О. пишетъ, что Таракановъ въ сценѣ, когда Лукичъ просить у него помощи, напоминаетъ Подхалюзина. Я рѣшительно съ нимъ несогласенъ и всю сцену оставилъ нетронутую. Такимъ образомъ можно сказать: Лукичъ похожъ на Чичикова, Скобѣевъ еще на кого-нибудь и т. д. Если бы и были черты случайнаго сходства, что же это доказываетъ? Ровно ничего! Я могу походить на васъ, имѣть одинаковый вкусъ и проч., но изъ сходства вкусовъ не слѣдуетъ, что вы и я одно и тоже... Покуда мнѣ сомнѣваться и въ „Кулакѣ“, и въ самомъ себѣ!... Въ продолженіе этого времени я кое-что читалъ. Право, произведенія à la Щедринъ наводнили литературу. Не много скучно: это выстрѣлы на воздухъ, холостые заряды... Много грома и мало пользы!“

20-го сентября 1857 г.

„... Мои дѣла идутъ—слава Богу. Если бы вы были въ Воронежѣ, я кое-что прочиталъ бы вамъ. Некрасовъ у меня есть, не утерпѣлъ—добылъ \*). Да ужъ какъ же я его люблю! \*\*) А жаль, что онъ не сократилъ „Поэта и Гражданина“, въ особенности въ описаніи бури, да и начало того... не готовится къ цѣлому, а вещь все-таки превосходная! Теперь полеживаю на диванѣ съ Шекспиромъ (перев. Кетчера). Какое славное лицо по отдѣлкѣ Фальстафъ! Въ „Отеч. Записк.“, я думаю, вы скоро увидите разныя разности извѣстнаго вамъ стихокропателя...“

---

\*) 2 изданіе, продававшееся въ это время отъ 6 до 10 руб.

\*\*) Этотъ взглядъ впоследствии совершенно измѣнился, какъ доказываетъ стихотвореніе Никитина Поэту - Обличителю, направленное противъ Некрасова. Не помнимъ, когда и отъ кого, но Никитинъ узналъ какія-то подробности о послѣднемъ, которыя глубоко его возмутили: это и выразилось въ названномъ стихотвореніи. Намъ положительно извѣстно, что Некрасовъ искалъ сотрудничества Никитина и что послѣдній былъ всего менѣе расположенъ къ участию въ „Современникѣ“. Антипатія Никитина къ этому журналу постоянно возрастала.

14 го апрѣля 1858 г.

„... Я читаю теперь Etudes sur L'avenir de la Russie. Видно, что писано помѣщикомъ... Ну, да пусть тебѣ разглагольствуетъ! Дѣло идетъ своимъ чередомъ... Хозяйство мнѣ просто шею переѣло. Нѣтъ ни одного дня, чтобы не слышалъ я толковъ о горшкахъ, корчагахъ, щахъ и проч., да иди въ кухню, да посмотри, да примири кухарку съ дворникомъ, которые побранились за какую-то дрянъ. Дворникъ говоритъ, я жить не хочу.—Кухарка легла на печь.—Я, говоритъ, стряпать не хочу, хоть всѣ оставайся безъ обѣда. Записки Семинариста подвигаются впередъ тихо, даже слишкомъ тихо!...“

27-го іюня 1858 г.

„... Вотъ уже болѣе мѣсяца я живу по сосѣдству съ А. Р. Михайловымъ на дачѣ, если только можно назвать дачею сальные заводы, гдѣ все есть: и страшное зловоніе, и тучи мухъ, и ночью лай собакъ, и къ несчастію сквернѣйшая погода...\*)

---

\*) Въ это время набросано Никитинымъ слѣдующее стихотвореніе.

### ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ.

Дождь и холодъ—нѣтъ погоды!  
Выйти некуда—хоть брось.  
Виды—сальные заводы,  
Выздоровливай, небось!  
Наслаждайся въ этомъ раѣ!  
Слушай, музыка пошла:  
Свинки хрюкаютъ въ сараѣ,  
Лай собака подняла,  
На дворѣ кричатъ вороны,  
Вѣтеръ свищетъ и поетъ;  
Въ полѣ слякоть, рожь поклоны  
Поминутно отдаетъ,



„Читаю много, но ничего не дѣлаю, и право, не отъ лѣни. Нѣсколько дней тому назадъ я заглянулъ домой; тамъ кутежъ! Сказаль-было старику, чтобы онъ поберегъ свое и мое здоровье, поберегъ бы деньги — вышла сцена, да еще какая! Я убѣжалъ къ Придорогину и плакалъ навзрыдь... Вотъ вамъ и поэзія! Природа надѣлила меня крѣпкимъ организмомъ: хотя я задыхаюсь, а все еще живъ“.

25-го іюля 1858 г.

„... Здоровье мое плохо. Докторъ запретилъ мнѣ на время работать головою. Вотъ уже съ мѣсяць ничего не дѣлаю и

Вотъ такъ дача! Вотъ такъ радость!  
Тутъ отъ скуки пропадешь!  
Тутъ не жизнь, а просто—гадость,  
Тутъ отъ холоду умрешь!  
Правда — книги — утѣшенье,  
Но весь день читать, читать, —  
Въ головѣ пойдетъ круженье,  
Можно зрѣнье потерять!  
Не пойти-ль къ сосѣду съ горя?  
Тамъ хоть люди, говоръ, смѣхъ,  
Отдохнешь, шутя, вль споря...  
Какъ тутъ быть? идти не грѣхъ,  
Жаль, сосѣдъ съ утра до ночи  
Занятъ дѣломъ... Боже мой!  
Какъ ему хватаетъ мочи?  
Это — мученикъ святой!  
Онъ уменъ — въ глаза не скажетъ:  
„Эхъ, братъ, шутъ тебя принесъ!..“  
Онъ и виду не покажетъ,  
А подумать... гм!... вопросъ!  
Что жъ? повѣситься мнѣ что ли?  
Нѣтъ, на дачѣ не рука!  
Стало — дурно, хорошо ли, —  
Маршъ съ двора! ей-ей, тоска!

7-го іюня 1858 г.

пью исландскій мохъ. Скука невыносимая! Книгъ нѣтъ, да и какую дрянъ печатають въ журналахъ! Отъ бездѣлья берусь за нѣмецкій языкъ. Придорогинъ подарилъ мнѣ Словарь Рейфа, и вчера вечеромъ мы начали съ нимъ переводъ *Заговоръ Фіеско*, Шиллера. А помните стихотвореніе Шиллера „Идеалы“? Боже мой! Какъ сравнивалъ я его съ нашими переводами, что за дрянъ послѣдніе! За Жуковского просто стыдно: онъ не понялъ подлинника и не умѣлъ удержать — не говорю — картинъ и красоты выраженія — даже мыслей...“

5-го сентября 1858 г.

... Я все боленъ и боленъ болѣе прежняго. Мнѣ иногда приходитъ на мысль: не отправиться ли весною на воды, испытать послѣднее средство къ возстановленію моего здоровья? Но вопросъ: доѣду ли я до мѣста? Болѣзнь отнимаетъ у меня всякую надежду на будущее. .

19-го сентября 1858 г.

... Если я могу надѣяться на полученіе Шиллера и Гейне \*), то... я такъ радъ, что путаюсь въ словахъ. Вы вообразите: вѣдь, я тогда буду богатъ! У меня составитъ порядочная библіотека. А сколько наслажденія предстоить мнѣ впереди при чтеніи! „Идеалы“ Шиллера я уже знаю наизусть; „Море и сердце“ Гейне — тоже. Это стихотвореніе попало мнѣ въ одной нѣмецкой христоматіи. Теперь я все читаю разныя серьезныя вещи на французскомъ языкѣ, отысканныя мною въ библіотекѣ г. Потапова, помѣщика Землянскаго уѣзда \*\*). Между прочимъ я недавно познакомился съ Шенье. Какія у него картины въ антологическомъ родѣ! Но его предсмертныя стихотворенія такъ и хватають за душу!

---

\*) Сочиненія Гете, Шиллера и Гейне подарилъ Никитину В. А. Кокоревъ.

\*\*\*) Эта прекрасная библіотека принесена ея владѣльцемъ, А. Л. Потаповымъ, въ даръ Воронежской Публичной Библіотекѣ въ 1865 г.

Какое присутствіе духа! Писать стихи въ то время, когда жизнь виситъ на волоскѣ, когда въ корридорѣ тюрьмы уже слышны шаги солдатъ, идущихъ за поэтомъ!..

5-го октября 1857 г.

„За отсутствіемъ дворника, я отпускаю извозчикамъ овесъ и сѣно и распоряжаюсь помѣщеніемъ ихъ телѣтъ на моемъ дворѣ. Это занятіе, при невозможности взяться за лучшей трудъ, развлекаетъ меня,—и слава Богу! Чего болѣе?.. Утомившись порядочно за день, въ сумерки я зажигаю свѣчу, читаю какой-нибудь журналъ. Когда же чувствую себя нѣсколько здоровѣе, берусь за Шиллера и копаюсь въ лексиконѣ, покамѣстъ зарябитъ въ глазахъ. Часовъ въ 12 засыпаю и просыпаюсь въ 4, иногда въ 3 часа. Разсвѣтъ уже застаетъ меня за чаемъ, который подкрѣпляетъ меня и оживляетъ на нѣкоторое время. Но передъ обѣдомъ я снова чувствую неприятное расслабленіе въ тѣлѣ, и тогда принимаю холодную ванну, послѣ которой бѣгаю по улицамъ или по двору, въ теплой шубѣ, а въ ясный солнечный день бѣгаю до того, что подкашиваются ноги, и едва-едва согрѣваюсь. Вотъ какъ много осталось крови въ нашемъ покорнѣйшемъ слугѣ, или, лучше сказать, какъ дурна его кровь.—Скучно!.. Сколько я видѣлъ порядочныхъ молодыхъ людей, краснорѣчиво и громко защищавшихъ всѣ благія стремленія впередъ, и—увы! какая нибудь тамъ пошлая женитьба, грошевый интересъ перевертывали имъ голову, каменили ихъ сердце! Грустно, когда подумаешь, что все доброе, общечеловѣческое лежитъ, такъ сказать, не въ основѣ нашего характера, не вытекаетъ изъ него естественно и разумно, какъ слѣдствіе изъ причины, а приходитъ къ намъ извнѣ, при однихъ извѣстныхъ условіяхъ, приносимое благопріятнымъ вѣтромъ, при другихъ—приносимое противнымъ. Общество наше или слишкомъ молодо, или уже слишкомъ развращено, такъ что не въ силахъ выработать челоуѣка въ широкомъ смыслѣ этого слова (кажется, то и другое вмѣстѣ). Конечно, встрѣчаются исключенія, но много ли ихъ?... Переселеніе мое изъ Воронежа должно остаться для меня не осуществимымъ, хотя я и не прочь отъ него, ради

своего душевнаго спокойствія. Но могу ли я оставить старика его судьбѣ? Притомъ мое здоровье не вынесетъ ни продолжительной дороги, ни перемѣнъ въ образѣ жизни. Принять на себя какуюнибудь обязанность?.. но при плохомъ здоровьи—плохая служба. Жить не работая, или, что то же, жить, работая дурно, слѣдовательно, получать плату выше труда—я не могу; такого рода плата походила бы на милостыню, а милостыня меня умертвить“.

Если кто, судя по элегическому тону этихъ писемъ, сочтетъ Никитина какимъ-то сентиментальнымъ романтикомъ, тотъ жестоко ошибется. Въ характерѣ Никитина не было и тѣни сентиментальности, по крайней мѣрѣ, въ эту пору; напротивъ, практическое пониманіе жизни до такой степени было ему свойственно, что оно чуть не разсорило его съ друзьями-идеалистами, какъ читатель увидитъ ниже. Въ немногіе часы здоровья и душевнаго спокойствія (что почти всегда зависѣло одно отъ другого) Никитинъ былъ совсѣмъ другой человекъ: живой, веселый, шутникъ, неумолкаемый рассказчикъ; жаль, что въ эти минуты онъ, какъ видно рѣдко переписывался съ Второвымъ. Въ такія минуты Никитинъ любилъ болтать по-французски, нарочно коверкая произношеніе, а къ отсутствующимъ пріятелямъ любилъ писать французскія записки. Одна изъ такихъ записокъ оканчивается слѣдующихъ четверостишіемъ.

На языкѣ чужомъ я началъ объясняться,  
Уставъ отъ русской чепухи:  
Вѣкъ просвѣщенья!... Чему тутъ удивляться.  
Когда А. А. писалъ стихи?

Вотъ одинъ отрывокъ изъ письма 1857 г., уже цитированнаго нами; онъ писанъ, кажется, въ веселыя минуты:

.... Городъ нашъ бѣлится, румянится, охорашивается. Если бы были архитекторы-парикмахеры, кажется, онъ завилъ бы себѣ кудри. Удивительный щеголь! Повидимому, готовится къ чему-то торжественному, а къ чему? неизвѣстно. Рынокъ иногда обращается въ театръ, гдѣ разыгрываются небольшія пьесы, впрочемъ богатая по содержанію. Напримѣръ. Сцена

представляет утро. Накрапывает мелкій дождь. Торговки согнулись и дрожать отъ холода. Передъ ними: груши, яблоки, дули, грибы и т. п.—Идетъ! Идетъ!—кто-то отрывисто и въ полголоса восклицаетъ въ толпѣ,—и торговый людъ робко смотритъ по направленію протянутой руки бородатаго кулака.—Вонъ—онъ!—замѣчаетъ послѣдній,—и лицо, почтительно сопровождаемое свитой, является на сценѣ. Размѣреннымъ шагомъ подходитъ онъ къ торговкѣ, беретъ изъ ведра груздь и отвѣдываетъ.

„Это что?

— Грузди, батюшка!

„А въ груздѣ что?“

— Ничего, батюшка.

„Такъ ты такіе-то продаешь грузди! Съ червями! Въ полицію ихъ!... Эй, С.! возьми!“

— Такъ нѣтъ же! Пропадай они тутъ!—И старая торговка опрокидываетъ въ грязь свой свѣжепросольный товаръ. Главное лицо піесы плюетъ и удаляется размѣреннымъ шагомъ. Окружающіе изумлены: зѣваки его сопровождаютъ.

„Это что?—нахмурившись, восклицаетъ то же лицо и отвѣдываетъ мягкую грушу.

— Гру... Гру—ши!—трепетно отвѣчаетъ торговка.

„Гнилья!“

Торговка хочетъ раскусить другую грушу, показать, что „гнилья“ тутъ и не было, но груша летитъ и расплющивается объ ея щеку. Лотокъ съ товаромъ опрокидывается нѣмыми лицами піесы. Повелѣвающая ими плотная особа проходитъ по разсыпаннымъ грушамъ; другая, тоже плотная, но меньше ростомъ, топчетъ ихъ; остальная свита, идя почти въ присядку, окончательно ихъ уничтожаетъ“.

Если читатель обратитъ вниманіе на число написанныхъ Никитинымъ въ это время (до конца 1858 г.) стихотвореній и на двѣ начатыя большія вещи—поэму „Городской Голова“ и „Записки Семинариста“, принявъ въ соображеніе отношеніе его къ дворянству, высказанное въ письмѣ отъ 6-го октября 1858 г., отношеніе далеко теперь не враждебное, при другихъ благопріятствующихъ условіяхъ,—то онъ согласится

съ нами въ томъ, что мы выше сказали о Никитинѣ: ничего въ немъ не было сентиментальнаго; даже крайности направленія, подъ вліяніемъ котораго онъ воспитался, начали теперь исчезать въ немъ совершенно, благодаря вліянію времени и преимущественно московской журналистики („Рус. Вѣстнику“ и „Рус. Бесѣдѣ“), завершившей умственное развитіе и складъ понятій не одного Никитина, но и всѣхъ его сверстниковъ. На послѣднихъ особенно сильное вліяніе имѣла „Русская Бесѣда“ не своимъ славянскимъ направленіемъ, непонятнымъ большинству, а примиряющимъ отношеніемъ къ основамъ русской жизни, отрицаніе которыхъ начинало уже тяготить многихъ. Никитинъ очевь сочувствовалъ направленію „Рус. Бесѣды“ и помѣщалъ въ ней лучшія свои стихотворенія; но въ „Рус. Вѣстникъ“ онъ не посылалъ ничего, вслѣдствіе отзыва о немъ Кудрявцева. „Кулакъ“, вышедшій изъ типографіи въ концѣ 1857 г. и поступившій въ продажу, былъ благосклонно принятъ публикою и журналами. Это душевное произведеніе Никитина, вмѣстѣ съ печатавшимися въ ту-же пору его стихотвореніями, окончательно утвердило за нимъ довольно почетное мѣсто въ нашей литературѣ, какое именно?—это дѣло критика, а не біографа. Но Никитинъ былъ теперь доволенъ собою и имѣлъ полное право сказать: „Покуда мнѣ сомнѣваться въ самомъ себѣ!“ Самый восторженный приемъ встрѣтилъ себѣ „Кулакъ“ въ разборѣ академика Я. К. Грота, напечатанномъ въ „Извѣстіяхъ II Отдѣленія Академіи Наукъ“. Разборъ этотъ, называющій поэму Никитина „замѣчательнымъ явленіемъ въ русской поэзіи“, былъ читанъ въ засѣданіи Отдѣленія. Въ „Кулакѣ“ находится много чертъ автобіографическихъ; нѣкоторыя въ немъ сцены писаны прямо съ натуры. Если „Лукича“ и нельзя назвать живымъ подобіемъ Саввы Евтѣича, то въ основаніи ихъ характеровъ легло много общаго. Мы имѣемъ нѣкоторое право предполагать, что старикъ Никитинъ инстинктивно понималъ это сходство; но, какъ человѣкъ умный, едва ли ропталъ на сына, такъ какъ поэтъ-сынъ относился къ своему герою очень симпатично. Критика упрекала Никитина за эти симпатіи и за идеализацію такой жалкой личности, какъ „Лукичъ“; упрекъ въ идеализаціи справедливъ, но

онъ объясняется именно тѣмъ сходствомъ, о которомъ сейчасъ сказано. Въ поэмѣ „Кулакъ“ Никитинъ хотѣлъ изобразить причины нравственнаго паденія такой же крупной личности, какъ и его отецъ,—человѣка, въ положеніи городского пролетарія, мѣщанина. „Кулакъ“ разошелся очень быстро: къ концу года не было уже въ продажѣ ни одного экземпляра. Въ распродажѣ этой поэмы принималъ самое живое участіе В. А. Кокоревъ, лично незнакомый съ Никитинымъ, но которому поэтъ нашъ былъ очень многимъ обязанъ. „Кулакъ“, за всѣми расходами, доставилъ Никитину полторы тысячи рублей серебр. Нѣкоторые книгопродавцы вступили съ нимъ въ переговоры о продажѣ „Кулака“ и о напечатаніи его вторымъ изданіемъ. Желалъ этого и самъ Никитинъ, но неудобство заочныхъ переговоровъ, а главное, поглощеніе новымъ дѣломъ, которому онъ предался со всею страстію, остановили и продажу и изданіе.

Оживъ, на сколько можно было жить полуживому человѣку, прогнавъ со двора долой нужду и крайнюю бѣдность, достигнувъ литературной извѣстности и почета въ глазахъ образованныхъ людей Воронежа, Никитинъ сильно почувствовалъ то, чего ему не доставало съ самой ранней юности: присутствіе въ домѣ, въ семействѣ, любящаго женскаго существа, безъ котораго жизнь холостяка такъ черства и холодна. Имѣя уже за тридцать лѣтъ, Никитинъ съ ужасомъ обращался къ предстоящей жизни стараго холостяка и только утѣшался тѣмъ, что не доживетъ до этой поры. Нѣсколько ранѣе того времени, о которомъ мы ведемъ рѣчь, Никитину понравилась одна дѣвушка, принадлежащая къ одному почтенному и образованному купеческому семейству, въ которомъ онъ былъ дружески принятъ. Понравилась она ему очень. Мы употребимъ собственное выраженіе Никитина: „въ наши съ вами годы (я былъ старше его двумя годами) ужъ какая тамъ любовь!“ говорилъ онъ не разъ. Но чувство это было въ немъ серьезно и сильно, еще сильнѣе—желаніе подавить его. Проси Никитинъ руки этой дѣвушки, можно быть увѣреннымъ, что предложеніе его не было бы отвергнуто ни *ею*, ни *ея* семействомъ. Но какъ просить ему, полуживому человѣку, содержа-

телю постоялаго двора, живущему въ грязи и съ такимъ отцомъ! Какъ окружить подобной обстановкой женщину, выросшую совѣмъ въ иной атмосферѣ! Что же оставалось дѣлать?... Еще новый вопросъ жизни, который Никитинъ порѣшилъ такъ: подавить въ себѣ это чувство и не дать ему разгорѣться. И хотя приводить въ исполненіе подобныя рѣшенія былъ онъ большой мастеръ, но теплота этого чувства еще долго согрѣвала его душу. Это было замѣтно даже въ тѣ рѣдкія веселыя минуты, когда онъ трунилъ и надъ самимъ собою и надъ своимъ чувствомъ. Вотъ отрывокъ изъ письма, написанный, какъ надобно полагать, въ одну изъ такихъ минутъ и относящійся къ предмету, о которомъ мы говоримъ:

„... Осуществилась-ли моя завѣтная мечта? вы спрашиваете. Покамѣстъ нѣтъ. Скоро ли она осуществится—навѣрное сказать не могу. Для того, чтобы мечта эта перешла въ дѣйствительность, мною положено много труда: но, мнѣ кажется, все-таки я далекъ отъ цѣли. Быть можетъ, я имѣлъ бы возможность приблизиться къ ней съ помощію побочныхъ средствъ; но побраните вашего покорнѣйшаго слугу за его упрямство—я во всемъ хочу быть обязаннымъ только своимъ собственнымъ силамъ, только своей собственной энергіи. Такимъ образомъ шла до этого дня моя жизнь. Если въ дни моей молодости я не задохся, не погибъ въ окружающемъ меня воздухѣ, если я сгладилъ съ себя печать семиварскаго образованія, если я вошелъ въ кругъ порядочныхъ людей,—всѣмъ этимъ я обязанъ одному себѣ. Итакъ, или до конца надобно выдержать испытаніе, выпить чашу до дна,—или, при неудачѣ, остаться, по крайней мѣрѣ, съ безукоризненною совѣстью, съ мыслью, что я поступилъ благородно, что я смѣло смотрѣлъ не только на улыбающееся мнѣ счастье, но и на суровое, грозящее мнѣ горе. За неимѣніемъ лучшаго, и это можетъ быть утѣщеніемъ, впрочемъ, такимъ, которое изрѣжетъ морщинами мое лицо и сдѣлаетъ сѣдыми нѣсколько моихъ волосъ. Какъ видите, я не жаркій мечтатель!.. Въ эту минуту мнѣ пришли на память слова Пушкина, вложенныя имъ въ уста Ленскаго:



Писалъ темно и вяло.

„Въ самомъ дѣлѣ, я пишу темно. А что до вялости... ахъ, если бы я далъ волю своему перу, клянусь Богомъ, огонь брызнулъ бы изъ этихъ строкъ; но... Довольно почтениѣйшій Иванъ Саввичъ, довольно!—Слушаю-сь!

„А ргорос: у васъ по платью встрѣчаютъ, или по чинамъ? Сохрани Богъ, если вы скажете: по письмамъ. Тогда я пропащій человекъ!“

Осенью 1858 года Никитинъ считалъ себя чуть не богачемъ: у него набралось до двухъ тысячъ руб. сер. Что дѣлать съ этими деньгами?—вотъ вопросъ, который занималъ его очень много\*). Думалъ было онъ купить какой-то каменный домъ, продававшійся съ аукціона по сосѣдству; но это намѣреніе почему-то не осуществилось. Приглашеніе „Общества дешеваго изданія книгъ“ въ агенты дало первую мысль Никитину о книжномъ магазинѣ. Эта мысль зрѣла и развивалась въ немъ очень быстро и уже въ концѣ октября отправилась въ Петербургъ на обсужденіе Второва и Придорогина, проживавшаго тамъ временно по своимъ дѣламъ. На моей квартирѣ почти каждый вечеръ шли объ этомъ толки, строились проекты по устройству книжнаго магазина, полагались начала, на которыхъ слѣдуетъ вести торговлю и т. л. Въ этихъ совѣщаніяхъ принимали дѣятельное участіе Н. С. Милашевичъ и Н. П. Курбатовъ. Разчитывали, что для открытія магазина необходимо имѣть еще тысячи двѣ рублей; но гдѣ ихъ взять? Достать такую сумму денегъ на вексель или подъ залогъ дома въ Воронежѣ, записаннаго впрочемъ на имя отца, не было никакой возможности. Друзья Никитина предложили ему просить этихъ денегъ заимообразно у г. Кокорева, который былъ очень хорошъ съ Второвымъ и уже не разъ обнаруживалъ самое теплое участіе къ нашему поэту. Не безъ борьбы съ самимъ собою принялъ Никитинъ это предложеніе: онъ очень хорошо зналъ, что г. Кокоревъ ему

\*) Въ то блаженное время двѣ тысячи рублей значила втрое больше, чѣмъ теперь. Въ нашихъ провинціяхъ ассигнаціонный счетъ былъ въ полномъ практическомъ употребленіи (кромѣ официальныхъ сдѣлокъ) вплоть до половины 60-хъ годовъ; въ деревняхъ этотъ счетъ продолжался и того больше.

не откажетъ, но что если дѣла пойдутъ плохо и не чѣмъ будетъ расплатиться съ великодушнымъ кредиторомъ!... Положимъ, «Кулакъ» пошелъ отлично: можно выпустить второе изданіе стихотвореній; но все же не думать нельзя: заемъ могъ кончиться благодареніемъ, которое Никитинъ и въ тогдашнемъ своемъ положеніи, и какъ человѣкъ честный, не могъ принять. Письмо его къ Второву отъ 27-го октября, въ которомъ Никитинъ проситъ его переговорить съ г. Кокоревымъ о займѣ, носитъ на себѣ слѣды самой тяжелой борьбы. Но по счастью, деликатность В. А. Кокорева вполнѣ успокоила Никитина. „Кокоревъ, писалъ Второвъ, дастъ вамъ въ ссуду просимы вами три тысячи рублей. Но чтобы заемъ этотъ не тяготилъ васъ, онъ предлагаетъ вамъ издать полное собраніе вашихъ стихотвореній съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи ихъ въ двухъ заводахъ, распродать и вырученными деньгами покрыть долгъ; изданіе и распродажу онъ принимаетъ на себя“. Векселя съ Никитина Кокоревъ взять не согласился. Но прошелъ цѣлый мучительный мѣсяцъ, пока не получилъ Никитинъ этого радостнаго отвѣта. Причина такой медленности объясняется тѣмъ, что петербургскіе друзья Никитина—Второвъ и Придорогинъ, довольно равнодушно встрѣтили мысль о книжномъ магазинѣ и старались отклонить отъ нея Ивана Саввича. Второвъ боялся за его здоровье, за благосостояніе, которое, пожалуй, можетъ и лопнуть, тѣмъ болѣе, что въ Воронежѣ уже существовали въ то время три книжныхъ лавки. Къ этимъ опасеніямъ присоединился страхъ Придорогина за Никитина-поэта, дарованіе котораго, высоко имъ цѣнимое, легко можетъ быть убито торгашествомъ. Но Никитинъ не внималъ увѣщаніямъ друзей и со всей страстію предался задуманному дѣлу. Трудно описать восторгъ его при полученіи вышеприведеннаго письма Второва! „Вѣрите-ли, отвѣчаетъ онъ послѣдному, за обѣдомъ я почти ничего не ѣлъ, вечеромъ почти не могъ пить чая,—вотъ до какой степени я былъ потрясенъ!... Ура, мои друзья!... Прощай, постоянный дворъ! Прощайте, пьяныя пѣсни извошниковъ! Прощайте, толки объ овсѣ и сѣнѣ! И ты, старушка Маланья, будившая меня до разсвѣта вопросомъ—вотъ въ такомъ-то, или въ та

комъ горшкѣ варить горохъ, потому что на дворъ пріѣхало вотъ только-то извозчиковъ?—прощай, моя милая! Довольно вы всё унесли у меня здоровья и попортили крови! Ура, мои друзья! Я плачу отъ радости.—Позвольте на минуту бросить перо!...” „Я берусь за книжную торговлю, говоритъ Никитинъ въ письмѣ къ г. Кокореву, не въ видахъ чистой спекуляціи. У меня есть другая, болѣе благородная цѣль: знакомство публики со всѣми лучшими произведеніями русской и французской литературы, въ особенности знакомство молодежи, воспитанниковъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній... Помощь, продолжаегъ Никитинъ, которую вы мнѣ оказываете, — не простое участіе, не мимолетное состраданіе къ тяжелому положенію другого лица, нѣтъ! это въ высшей степени благотворная, живительная сила, которая обновляетъ все мое существованіе. *До тѣхъ поръ я былъ страдательнымъ нулемъ въ средѣ моихъ согражданъ; теперь вы выводите меня на дорогу, гдѣ мнѣ представляется возможность честной и полезной дѣятельности; вы поднимаете меня, какъ гражданина, какъ человѣка.*“ Назадъ тому десять лѣтъ Никитинъ не повѣрилъ бы, что онъ будетъ говорить такимъ языкомъ.

Все, повидному, устроилось, какъ нельзя лучше: деньги есть, планъ книжной торговли выработанъ, Курбатовъ принялъ непосредственное участіе въ дѣлѣ, въ качествѣ компаньона, и во второй половинѣ декабря отправился въ Москву и Петербургъ за товаромъ; но на первыхъ же порахъ своей новой гражданской дѣятельности Никитину пришлось познакомиться не съ розами ея, а съ терніемъ. Случилось обстоятельство, о которомъ нельзя умолчать, какъ о чертѣ мѣстныхъ провинціальныхъ нравовъ. Въ это время по городу распространился безграмотно написанный пасквиль на одно значительное лицо. Стали доискиваться, кто написалъ его? Пошелъ слухъ, неизвѣстно кѣмъ распущенный, что писать его никто не могъ, какъ Никитинъ, тотъ, что пишетъ стихи, пьянствуетъ (?!), нигдѣ не бываетъ, ходитъ съ какимъ-то артиллерійскимъ офицеромъ (Милашевичемъ) по улицамъ и оба пропадаютъ у какого-то учителя кадетскаго корпуса, гдѣ-то на Поповомъ рынкѣ,

просиживая у него далеко за полночь и, вѣрно, сочиняя пасквили и обличительныя статьи для газетъ. Какъ ни оскорбительно было подобное обвиненіе, но всякій другой отвѣчалъ бы на него смѣхомъ. Но въ положеніи мѣщанина Никитина, затѣвующаго книжную торговлю, было не до смѣха. Онъ былъ оскорбленъ глубоко я какъ человѣкъ и какъ гражданинъ, выражаясь его же фразой въ письмѣ къ Кокореву: его, аскета, начега не пьющаго и сидящаго постоянно на одномъ легкомъ супѣ, обвиняли въ пьянствѣ! Ему, горящему желаніемъ приносить общественную пользу, но принадлежащему въ то время къ мѣщанскому сословію, могло угрожать самое возмутительное оскорбленіе! Никитинъ былъ возмущенъ до глубины души. Я никогда не видалъ его въ такомъ мрачномъ состояніи духа, никогда лицо его не выражало такой скорби и негодованія, какъ 8 ноября 1858 г., когда онъ принесть и прочелъ мнѣ одно изъ превосходныхъ своихъ стихотвореній, оканчивающееся слѣдующими словами, которыя поэтъ едва дочиталъ:

Грудь мою давить тяжелое бремя,  
Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлѣбѣ.  
Дѣтство сіяетъ, какъ радуга въ небѣ...  
Гдѣ вы—веселье, и сонъ, и здорovie?  
Взмokло отъ слезъ у меня изголовье,  
Темная даль мнѣ бѣдою грозить...  
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.

Считая преждевременнымъ назвать по имени *ммо*, подвергшееся публичному оскорбленію черезъ глупый пасквиль, замѣтимъ, впрочемъ, что оно было въ правѣ раздражаться и угрожать, такъ какъ уже не въ первый разъ самолюбіе и честь его были оскорблены публично. Къ сказанному нами о Воронежѣ въ предыдущей главѣ, мы должны прибавить, что въ концѣ 50-хъ годовъ этотъ городъ былъ чрезвычайно оживленъ, благодаря двумъ обстоятельствамъ,—квартированію въ немъ, послѣ Крымской войны, штабовъ 4-го армейскаго корпуса и 4-й артиллерійской дивизіи и открытію специальныхъ классовъ при тамошнемъ кадетскомъ корпусѣ. Все это не только увеличивало массу молодежи вообще, но и число молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ. Въ Воронежѣ

наканунѣ освобожденія крестьянъ было, конечно, то же, что и вездѣ: то-же одушевленіе, тѣ-же надежды, та-же страсть къ публичности, тотъ-же восторгъ передъ „свободной“ печатью, представителемъ которой былъ „Колоколь“ Герцена. Въ Воронежѣ, какъ и вездѣ, „Колоколь“ былъ сильно распространенъ; но распространеніе его здѣсь имѣло такой комическій и школьный характеръ, который едва ли гдѣ встрѣчался, Въ Воронежѣ распространились не листки „Колокола“, печатавшіеся въ Лондонѣ (такихъ было очень мало), а рукописный „Колоколь“, наполовину, если не болѣе, фабрикованный въ самомъ же Воронежѣ, съ цѣлію *устрашить* то или другое лицо. И устрашали! Подъ рубрикою: „Намъ пишутъ изъ Воронежа“ мнимые корреспонденты Герцена рассказывали разные темныя дѣлишки мѣстныхъ администраторовъ, сообщали разные неблаговидные слухи, скандалы и т. п. Цѣль этихъ ноосторожныхъ шалуновъ была, конечно, хорошая, но не все сообщаемое ими было правдиво, не все было нелицеприятно. Задѣты были многіе и въ томъ числѣ *лицо*, оскорбленное пасквилемъ. Видя успѣхъ, т. е., *страхъ* этихъ многихъ попасться на страницы воронежскаго рукописнаго „Колокола“, довѣрчиво принимаемаго за Лондонскій, шалуны становились съ каждымъ днемъ смѣлѣе; но наконецъ продѣлка эта была обнаружена и виновнымъ пришлось поплатиться выходомъ въ отставку, впрочемъ, безъ всякихъ другихъ, дурныхъ послѣдствій. Никитинъ зналъ все это, но отъ этого знанія ему не было легче, такъ какъ онъ не только читалъ этотъ воронежскій „Колоколь“, но и близокъ былъ съ нѣкоторыми его авторами, долго, впрочемъ, скрывавшими свое авторство. Находясь въ такомъ положеніи, Никитинъ рѣшился на шагъ, щекотавшій его личное достоинство,—онъ задумалъ обратиться къ посредничеству городского головы. И въ то онъ садится за столъ и пишетъ къ тогдашнему городскому головѣ, А. Р. Михайлову, дружески къ нему расположенному, официальное письмо. Въ этомъ письмѣ, рассказавъ кратко, но искренно свою прошлую жизнь, и доказавъ, что онъ, ни по положенію своему, во всякомъ случаѣ дающему ему средства къ жизни, стало быть, не вызывающему его писать за деньги

все, что угодно (как обвиняла его молва), ни по образу своих мыслей, неспособенъ на роль презрѣннаго паскьянта. — Никитинъ хотя не употребилъ ни одного льстиваго выраженія объ оскорбленномъ лицѣ, но говоря о немъ, не могъ и не долженъ былъ отнестись къ нему критически, какъ относилось общественное мнѣніе, что давало поводъ толковать это молчаніе совсѣмъ иначе. Но прежде, чѣмъ письмо это могло повліять, случилось событіе, разомъ заставившее замолкнуть клевету, возмущавшую Никитина. Въ это время получена была въ Воронежѣ IV книжка „Русской Бесѣды“ за 1858 г., гдѣ такіа стихотворенія, какъ „Разговоры“ и „Опять знакомыя видѣнья“, произвели, въ нѣкоторыхъ сферахъ, буквально потрясающее впечатлѣніе. Удивлялись смѣлости редактора (И. С. Аксакова), напечатавшаго эти стихотворенія, говорили, что *теперь* нечему удивляться и въ „Колоколѣ!“ Никитинъ былъ въ восторгѣ. Его не только оставили въ покоѣ, но нѣкоторые стали его даже побаиваться, вообще же его литературный авторитетъ поднялся въ городѣ очень высоко. Но тѣмъ не менѣе промчавшаяся буря заставила Никитина хлопотать въ Петербургѣ, черезъ Второва, объ избраніи его комиссіонеромъ Императорской Академіи Наукъ, во избѣжаніе могущихъ встрѣтиться потомъ затрудненій по книжной торговлѣ; но комиссіонерство это почему-то не состоялось. Впослѣдствіи Никитинъ думалъ воспользоваться рассказанною нами передрагой для своей поэмы „Городской голова“, воспользоваться не въ качествѣ обличителя: эта роль ему, воспитанному въ хорошей эстетической школѣ, всегда, казалась недостойною писателя. Приключеніе, грозившее разразиться надъ нимъ бѣдою, давало ему великолѣпный матеріалъ для созданія типовъ, еще ожидающихъ художника; эти личности должны были вступить въ борьбу съ его идеальнымъ Городскимъ Головою и, разумѣется, задушить его: до земскихъ учрежденій и новаго судоустройства Никитинъ не дожилъ.

Тысячу хлопотъ и волненій было Никитину съ устройствомъ книжнаго магазина, съ отысканіемъ удобнаго помѣщенія, мебелировкой, составленіемъ каталоговъ и проч. и проч. Никитинъ спѣшилъ открытіемъ магазина потому, что въ февралѣ 1859

года открывались въ Воронежѣ дворянскіе выборы, время чрезвычайно благопріятное и для торговли, и для личнаго знакомства съ образованнымъ сословіемъ губерніи, тѣмъ болѣе важнаго, что многіе изъ помѣщиковъ знали Никитина и интересовались его судьбою. Но время уходило; начались выборы; но ни товара, ни отправившагося за нимъ компаньона не было. Много было причинъ, задерживавшихъ Курбатова въ Петербургѣ по пріобрѣтенію русскихъ и французскихъ книгъ и письменныхъ принадлежностей, не смотря на то, что ему въ этомъ дѣлѣ помогали Второвъ и Придорогинъ. Никитинъ зналъ эти причины, но сильно волновался, опасаясь за свои матеріальные интересы. Волновался онъ отъ невозможности тотчасъ же приступить ко второму изданію своихъ стихотвореній, въ уплату долга Кокореву; волновался отъ всѣхъ этихъ хлопотъ по устройству магазина, отъ новости положенія, разомкнувшаго его жизнь. Всѣ эти волненія и тревоги свалили его въ постель: онъ заболѣлъ своею обычною болѣзнію, тѣмъ болѣе упорною, что желудокъ его былъ не въ состояніи принимать никакого лѣкарства. Но вотъ 15 февраля явились изъ Петербурга Придорогинъ и Курбатовъ; вслѣдъ за ними пришелъ весь купленный для магазина товаръ. Дворянскіе выборы приходили къ концу. Новый книгопродавецъ не вставалъ съ постели. Друзья его, въ продолженіе троихъ сутокъ, не выходили изъ магазина, устанавливая по полкамъ книги и прочія вещи. Толпы любопытныхъ останавливались передъ новой вывѣской, на которой красовались слова: Книжный магазинъ Никитина. Былъ четвергъ на масляницѣ. Въ девятомъ часу утра Никитинъ пригласилъ священника и, вмѣстѣ съ нимъ и Саввою Евтѣвичемъ, едва живой, отправился въ свой магазинъ. Отслужили молебень съ водоосвященіемъ. Когда Никитинъ, по окончаніи молебствія, оглянулся вокругъ себя, на свою, пріобрѣтенную такою дорогою цѣною, ответственность, онъ истерически зарыдалъ—и упалъ на грудь отца...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Книжный магазинъ.—Отношеніе къ нему Никитина и друзей его.— И. А. Придорогинъ.—Вліяніе его на Никитина.—Смерть его.—Болѣзнь Никитина.—Новыя тревоги, объясняемая новостію положенія.— Битва за магазинъ съ друзьями.—Книжный магазинъ начинаетъ обзывать Никитина и пріобрѣтаетъ значеніе клуба.— Второе изданіе стихотвореній.— А. Р. Михайловъ

Не подъ счастливыми предзнаменованіями открылъ свои дѣйствія новый книжный магазинъ въ Воронежѣ. Все, что толпилось по улицамъ въ шумные дни масляницы 1859 г., все ликующее, все мѣстное и пріѣхавшее на выборы,—все это хлынуло въ домъ Соколова на Дворянской улицѣ, гдѣ помѣщался магазинъ. Всѣ давно знали и съ нетерпѣніемъ ожидали увидѣть за прилавкомъ двухъ интересныхъ не для одного празднаго любопытства лицъ: поэта, пріобрѣвшаго уже почетную извѣстность, и молодого человѣка, окончившаго курсъ въ Московскомъ Университетѣ и промѣнявшаго педагогическую карьеру на скромную роль прикащика. Новооткрытый магазинъ былъ очень хорошо снабженъ русскими и французскими книгами, нотами и разными письменными принадлежностями, такъ что съ этой стороны публикѣ ничего не оставалось желать лучшаго. Но, съ другой стороны, публика на первыхъ же порахъ жестоко разочаровалась: она увидѣла передъ собою не поэта, окруженнаго какою-то особенною атмосферою (такъ въ благодушій своемъ думала тогда о поэтахъ русская провинціальная публика), а человѣка черезъ чуръ прозаическаго. Передъ нею стояло существо сухое, какъ скелеть,



существо весьма не любезное, раздражительное, съ рѣзкими и отчасти грубыми манерами. Таковъ былъ въ то время Никитинъ; таковъ и по причинѣ тяжелой болѣзни, отъ которой онъ не успѣлъ еще оправиться, таковъ и по другимъ причинамъ, которыхъ не хотѣли понять въ то время даже лучшіе друзья его. Никитинъ былъ просто влюбленъ въ свой книжный магазинъ. Онъ считалъ его своимъ созданиемъ, своимъ дѣтищемъ; онъ имъ гордился и положилъ на него всю свою душу. „Только теперь, идя по улицѣ, я смѣло смотрю всѣмъ въ глаза, потому что знаю, что дѣлаю дѣло; а прежде что?... кто же у насъ стихи считаетъ дѣломъ!“ Такъ нерѣдко выражался Никитинъ въ минуты увлеченія своимъ магазиномъ. А увлекаться и дѣлать какое бы то ни было дѣло для Никитина было одно и то же; въ порывѣ этого увлеченія онъ жертвовалъ для дѣла всѣмъ. Никитина называли скупымъ, даже скрягой. И въ самомъ дѣлѣ, посмотрѣть на его крѣпко изношенное платье, въ которомъ обыкновенно щеголялъ онъ, на его всегда очень оригинальную фуражку, на отсутствіе въ его домѣ комфорта, необходимаго для него, какъ для человѣка вѣчно больного, и возможнаго по тѣмъ средствамъ, которыя доставлялъ ему потомъ магазинъ,—кто бы не назвалъ его скрягой? Самъ поэтъ въ пріятельскомъ кружку добродушно издѣвался надъ своимъ скряжничествомъ и любилъ дѣлать предметомъ осмѣянія свой оригинальный костюмъ. „Жаль тратить денегъ на глупости“, говорилъ онъ обыкновенно въ отвѣтъ на насмѣшки: „пусть лучше идутъ на магазинъ“. И на магазинъ дѣйствительно шло все—и деньги и здоровье. Нѣкоторые изъ друзей Никитина ужаснулись такого отношенія его къ книжной торговлѣ. Забывъ прошлое Никитина, все пережитое имъ горе, нужду и бѣдность, они хотѣли, чтобы онъ на пріобрѣтенную такую дорогою цѣною собственность смотрѣлъ нѣсколько полегче, диллетантѣе; они боялись, что онъ убьетъ свое здоровье, свой талантъ, что онъ сдѣлается „Кулакомъ“, Плюшкинымъ. Мы видѣли, съ какою цѣлью желалъ Никитинъ открыть въ Воронежѣ книжный магазинъ. Эту идеальную цѣль онъ никогда не покидалъ и служилъ ей честно; многимъ бѣднымъ людямъ, напримѣръ, онъ постоянно и

бесплатно давалъ читать книги изъ своего магазина. Но, осуществляя свой идеаль книжнаго магазина, Никитинъ не забывалъ и не могъ ни на минуту забыть его торговаго значенія, не могъ не думать о барышѣ, не заботиться о выгодѣ. Не такъ смотрѣли на дѣло его непрактическіе друзья; имъ хотѣлось матеріальныхъ жертвъ во имя идеи, имъ хотѣлось подвига. Больной, измученный сомнѣніями и опасеніями за будущее, крайне раздражительный, и вслѣдствіе этого, и вслѣдствіе столкновения съ живою дѣйствительностію, Никитинъ стоялъ теперь передъ ними такимъ, каковъ онъ былъ, какимъ создала его природа. Всѣ человѣческія слабости выступили теперь ярко въ его даровитой натурѣ и на первыхъ порахъ почти ни въ комъ не нашли онъ снисхожденія, и всего меньше въ друзьяхъ его. Безпощаднѣ всѣхъ къ Никитину былъ задушевнѣйшій другъ его, нѣжно любившій его, Придорогинъ. Мы позволяемъ себѣ сдѣлать отступленіе отъ главнаго предмета нашего разсказа, чтобы сказать нѣсколько словъ объ этой интересной личности.

Иванъ Алексѣевичъ Придорогинъ принадлежалъ къ старинной купеческой фамиліи города Воронежа, ведущей свое начало отъ Петра I. Исторія воронежскихъ купеческихъ фамилій очень интересна, и для нея имѣются любопытные матеріалы въ архивѣ Воронежскаго Статистическаго Комитета; изъ нихъ, между прочимъ, видно, что древность происхожденія въ придонскомъ краѣ, или въ теперешней Воронежской губерніи, принадлежитъ преимущественно купечеству, съ которымъ въ этомъ отношеніи далеко не всѣ дворянскіе роды, происшедшіе отъ разнаго наименованія служивыхъ людей, могутъ сравниться. По этой, между прочимъ, причинѣ воронежское купечество, по крайней мѣрѣ аристократическая его часть, т. е., древніе, богатые роды, всегда рѣзко отличались отъ типа русскаго купца, выработаннаго еще до-петровской исторіей и всецѣло сохранившагося въ ближайшихъ къ Воронежу торговыхъ городахъ—Ельцѣ и Козловѣ; оно приняло лоскъ европейскаго образованія, подобно дворянству; и чуть ли не болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, съ нимъ смѣшивалось и рождалось. Фамилія Придорогиныхъ, нѣкогда очень богатая, принадлежала

именно къ этой категоріи воронежскихъ купцовъ. Иванъ Алексѣевичъ Придорогинъ получилъ образованіе въ Московскомъ Университетѣ по словесному факультету, въ которомъ, впрочемъ, онъ не окончилъ курса по причинѣ болѣзни глазъ, поразившей его впослѣдствіи почти слѣпотою. Онъ былъ великій почитатель (и, кажется, слушатель) Грановскаго и вообще той блестящей плеяды профессоровъ, которою Московскій университетъ имѣлъ право гордиться въ эпоху конца 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ. Мы могли бы сказать, что Придорогинъ былъ чистѣйшій западникъ, если бы это опредѣленіе было у насъ болѣе точно, или если бы литература создала въ этомъ родѣ что-нибудь типичное, какъ сумѣла она создать Скалозуба, Фамусова, Чичикова и иныхъ. Натура поэтическая, душа теплая и любящая, Придорогинъ не могъ не восторгаться Бѣлинскимъ, именно тою стороною его направленія, которая вліяла на распространеніе началъ истинной гуманности и на развитіе эстетическаго чувства. Гуманность онъ былъ глубоко искренній, натура художественная — до крайностей. Конечно, Придорогинъ былъ западникъ, если уже нужно опредѣленіе; но отвлеченное начало необыкновенно цѣльно и жизненно въ немъ воплотилось: вотъ за что всѣ друзья такъ горячо его любили! Но настоящимъ западникомъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, европейцомъ, Придорогинъ никогда не былъ: съ свойственною ему страстностію, онъ горячо любилъ все русское, отъ пѣсни до простого крестьянскаго быта, отъ богослуженія до проповѣдей Иннокентія. И русская заунывная пѣсня, и задушевный стихъ поэта, и Херувимская Бортиянскаго, и рѣчь Иннокентія, вызывали изъ глазъ его горячую восторженную слезу. Отчасти лишній человекъ, какимъ представляетъ его Тургеневъ, не практическій, не сумѣвшій повести и устроить своихъ торговыхъ дѣлъ, Придорогинъ являлся только глубоко реальнымъ въ своемъ протестѣ противъ всего дикаго и произвольнаго. За одинъ изъ такихъ протестовъ онъ едва не пострадалъ, принявъ сторону городского общества противъ произвола мѣстной администраціи. Арестъ на гауптвахтѣ, которымъ полатился за непрошенное вмѣшательство, возвысившій его,

конечно, во мнѣніи общества, не научилъ его осторожности; почти до самой своей смерти, или до губернаторства гр. Д. Н. Толстаго, давнишняго своего пріятеля, Придорогинъ, какъ говорили, не унимался и все спорилъ съ губернской администраціей за городскіе интересы. Протестантомъ и радикаломъ былъ онъ страшнымъ (конечно, на словахъ), когда рѣчь заходила о крѣпостномъ правѣ: чего-чего не говорилъ онъ тутъ! какихъ не сочинялъ ужасовъ! До 1857 г. почти ни одна наша бесѣда не обходилась безъ его горячихъ филиппикъ, которыя нерѣдко прекращались слѣдующимъ замѣчаніемъ одного изъ присутствующихъ:— Ну, полно говорить тебѣ такія страсти! Человѣкъ курицы не зарѣжетъ, а туда же корчитъ роль радикала!—Бѣдный Придорогинъ не дожилъ до 19-го февраля 1861 г. Но зорю освобожденія крестьянъ и начало послѣдующихъ великихъ реформъ онъ привѣтствовалъ съ свойственнымъ только ему энтузіазмомъ. „Русскій Вѣстникъ“ и „Русская Бесѣда“ не выходили изъ его рукъ; съ ними онъ отправлялся и въ гости, и въ клубъ, гдѣ игралъ по цѣлымъ ночамъ въ карты; о замѣчательныхъ статьяхъ, появлявшихся въ этихъ журналахъ, онъ говорилъ гдѣ только можно, популяризуя и комментируя ихъ по своему. Въ особенности приставлялъ онъ къ нѣкоторымъ съ „Губернскими Очерками“ Щедрина, не стѣсняясь ни мѣстомъ, ни временемъ. Такіе господа называли его „злымъ языкомъ“ и поэтому часто, хотя и не всегда, оставляли его въ покоѣ. Приводимъ слѣдующее мѣсто изъ записки Второва къ характеристикѣ Придорогина:

„Милый Придорогинъ! Вотъ еще одно изъ свѣтлыхъ воспоминаній моей жизни. Имя его неразрывно связано въ моей памяти съ именемъ Никитина, и хотя дружескія отношенія мои съ послѣднимъ продолжались болѣе времени, но едва ли менѣе любилъ я и Придорогина. Что за милая это была личность! Кстати, вотъ его собственная характеристика въ виршахъ, которыя ему вздумалось написать отъ скуки, живя въ Петербургѣ въ концѣ 1858 г.; они достались мнѣ не совсемъ честнымъ образомъ—я увесъ ихъ отъ него. Впрочемъ, въ этой характеристикѣ онъ много нагаль на себя:

Вся жизнь прошла моя бесплодно;  
Я цѣлый вѣкъ не жилъ—мечталъ.  
Я не трудился, но другихъ свободно  
За лѣнь и праздность укорялъ.  
Я иногда брался за дѣло,  
Казалось, я любилъ его;  
За все я принимался смѣло  
И не кончалъ я ничего.  
Я по природѣ добръ душою,  
Я зла чуждался и бѣжалъ,  
Но и добра немного мною  
Здѣсь сдѣлано, а я усталъ...  
А зла, ахъ, сколько зла пристало  
Ко мнѣ на жизненномъ пути!  
И если, сдернувъ покрывало,  
Да заглянуть въ тайникъ души, —  
То страшно станетъ за всю гадость,  
Что тамъ конышется, кишить:  
Вотъ жаба—зависть, а вотъ радость,  
Что другъ упалъ; а тамъ стоитъ,  
Какъ истуканъ во храмѣ, гордость,  
Тутъ лесть—гремучая змѣя,  
Тутъ жажда золота и подлость,  
Какъ безобразная свинья...  
.  
.  
Сомнѣнья демонъ, въ видѣ правды,  
Всю вѣру сердца погубилъ;  
Слѣдовъ нѣтъ благодатной жатвы,  
Что Богъ мнѣ на душу вложилъ... и т. д.

„Этакой чудакъ! восклицаетъ Второвъ: „чего-то, чего онъ не наплелъ на себя!“ Но эти вирши писаны не для показу; это была исповѣдь человѣка, написанная имъ въ самую тяжелую пору своей жизни: въ ней сказалась обличительная правда о самомъ себѣ, преувеличенная, конечно, какъ и всѣ обличенія. Мы не ошибемся, если скажемъ, что личности, подобныя Придорогину, могутъ только возрасти въ провинціи. Возрастаютъ и формируются онѣ обыкновенно подъ вліяніемъ литературы, подъ вліяніемъ тѣхъ свѣжихъ типовъ, которыми

не оскудѣвала наша литература, особенно со времянъ Пушкина, подѣ вліаніемъ такихъ журнальныхъ дѣятелей, какими были въ свое время Карамзинъ, Надеждинъ, Полевой и Бѣлинскій. Всѣ крайности литературныхъ направленій долѣе удерживаются въ провинціи, и хотя медленнѣе, но прочнѣе переходятъ въ жизнь. Такъ, уже въ началѣ сороковыхъ годовъ мы знали въ Острогжскѣ одну необыкновенно типичную личность—русскаго романтика съ ногъ до головы, самымъ органическимъ образомъ воспитавшагося на литературѣ, предшествующей Пушкину, преимущественно на Жуковскомъ. Это былъ М. В. Должниковъ, обучавшійся въ одномъ изъ Харьковскихъ частныхъ пансіоновъ. Подобно Придорогину, онъ принадлежалъ къ старинной купеческой фамиліи; подобно ему, не торговалъ и ничего не дѣлалъ, ведя, впрочемъ, совершенно иной, весьма чинный образъ жизни. Но не безслѣдно прошелъ и этотъ человѣкъ въ уѣздной глуши, человѣкъ тоже лишній; самыя его нѣсколько странныя манеры, его „благоговѣніе“ къ женщинѣ, его сентиментальные рассказы о „прелестныхъ малиницахъ“, которыхъ онъ встрѣтилъ въ Москвѣ въ единственную туда свою поѣздку, его страсть къ музыкѣ, при плохой игрѣ, его европеизмъ безъ знанія иностранныхъ языковъ, его бѣдность, опрятная и честная, домъ его и холостое хозяйство, управляемое старухой-няней и вольнонаемной служанкой,—все это было такъ не похоже на окружающее, все это такъ манило и влекло, если не за нимъ, то куда-то, не одну молодую воспріимчивую натуру, попавшую въ благодатную глушь уѣзднаго города. Придорогинъ жилъ и дѣйствовалъ въ другой сферѣ,—обширнѣйшей и менѣе душевной, въ другую пору и былъ совсѣмъ инымъ человѣкомъ: онъ былъ, смѣемъ сказать, однимъ изъ лучшихъ русскихъ людей сороковыхъ годовъ съ неотразимымъ на все его окружающее вліаніемъ. Придорогинъ принадлежалъ ко второму слѣдующему за Кольцовымъ поколѣнію, болѣе зрѣлому. Еще будучи студентомъ, онъ познакомился съ Кольцовымъ, потомъ съ нимъ сблизился, потомъ, скорѣе даже другихъ, отошелъ отъ него, ибо тѣ начала, которыя органически вошли въ натуру Придорогина и его современниковъ, въ душѣ Кольцова были еще въ совер-

шенно стихійномъ видѣ, безъ ясно опредѣленнаго образа. Но какъ поэтѣмъ-пѣсенникомъ, Придорогинъ всегда восхищался Кольцовымъ, зналъ наизусть всѣ его пѣсни, не придавая особеннаго значенія другимъ его стихотвореніямъ. Зная хорошо все семейство Кольцовыхъ, Придорогинъ, восторженный почитатель Бѣлинскаго, первый указалъ на фальшивыя мѣста его біографіи воронежскаго поэта прасола.

Весьма трудно опредѣлить степень вліянія Придорогина на Ивана Саввича, потому что оно соплеталось, такъ сказать, со Второвскимъ вліаніемъ. Но если Второвъ, олицетворенная дѣловитость, такъ любилъ Придорогина, олицетворенное бездѣлье, — удивляться вліанію послѣдняго нечего. Бездѣлушникъ Придорогинъ вносилъ въ общество, въ кружокъ близкихъ ему лицъ, почти тоже, что вноситъ въ общество и семейство образованная женщина, — согрѣвающую теплоту чувства. Все, что могло быть холоднымъ и дидактическимъ во вліаніи Второва на И. С. Никитина, — согрѣвалось поэтической натурой Придорогина. Тонкое чувство изящнаго, ему свойственное, по-истинѣ было благотѣльно для Никитина и особенно отразилось на „Кулакѣ“, въ которомъ самыя патетическія страницы остались не выброшенными, только благодаря вліанію Придорогина. Когда затѣвался книжный магазинъ, Придорогина, какъ мы видѣли, не было въ Воронежѣ. Живя въ Петербургѣ, онъ явился самымъ горячимъ противникомъ этого предпріятія, опасаясь, что его „милой Савка“ (такъ онъ называлъ Никитина), занявшись торговлею, сдѣлается „Кулакомъ, а не поэтѣмъ“. Въ этомъ смыслѣ онъ старался дѣйствовать на Второва и долго удерживалъ его отъ займа денегъ у В. А. Кокорева; чѣмъ это кончилось, — мы видѣли. Приводимъ отрывки изъ писемъ Придорогина къ Второву. Они очень любопытны и хорошо рисуютъ, какъ личность ихъ автора, такъ и положеніе Никитина въ первую пору открытія книжнаго магазина.

20-го февраля 1859 г. Воронежъ.

....Всѣхъ своихъ я засталъ, благодаря Бога, здоровыми; но бѣдный Саввичъ лежитъ боленъ, и боленъ очень и очень серьезно: къ его обыкновенной желудочной болѣзни присоеди-

нилась еще болѣзнь груди, бока и кашель. Худь онъ сталъ какъ скелетъ, и едва-едва можетъ перетащиться съ одного дивана на другой; такъ онъ слабъ и истощенъ! Главная причина его болѣзни, такъ, по крайней мѣрѣ, кажется всѣмъ намъ, не физическая (!!), а нравственная (намекъ на скряжничество)...

20-го марта 1859 г.

....Дѣла Саввича идутъ, сверхъ чаянiя, не совсѣмъ плохо, и есть надежда, что пойдутъ и еще лучше; но здоровье его скверно. Онъ началъ лѣчиться гомеопатiей, и докторъ, пользующiй его, увѣряетъ, что онъ непременно поставитъ его на ноги; дай-то Богъ его устами медъ пить!...

11-го iюня 1859 г.

....Начну прежде всего съ Никитина, судьба котораго занимаетъ меня, вѣроятно, точно такъ же, какъ и васъ,—болѣе всего. Дѣла его идутъ очень и очень недурно, но здоровье его слишкомъ тихо и тихо; онъ таетъ и догараетъ, какъ свѣча, не замѣчая того самъ. Доктора говорятъ, что у него чахотка, и, къ несчастiю, кажется, что они правы. Адская болѣзнь измѣнила и самый его характеръ. Физическое истощенiе убило въ немъ поэта; но зато съ необыкновенною силою развернулся въ немъ мелочный и раздражительный духъ спекуляци. Онъ ничего не пишетъ, мало читаетъ; онъ отсталъ отъ всѣхъ и всего; онъ весь погруженъ въ коммерческiе счета и расчеты; онъ доживаетъ послѣднiе дни свои въ лавкѣ; его ничто не занимаетъ, кромѣ барышъ и выручки. Онъ сталъ желченъ и раздражителенъ, что многимъ, не знавшимъ его прежде, даетъ поводъ быть имъ недовольными и иногда очень рѣзко высказывать ему свои неудовольствiя. Это бѣситъ его, и обыкновенно послѣ такихъ сценъ онъ не сидитъ, а лежитъ и все-таки не на постели у себя дома, а въ лавкѣ. Напрасно я и М. Ѳ. уговаривали и уговариваемъ его бросить эту торговлю хотя на время, чтобы отдохнуть и поправиться. Онъ ничего не хочетъ слушать и сердается, когда начнешь объ этомъ разговоръ; а высказать ему всю истинную правду—не достаетъ духу; онъ и такъ едва-едва дышетъ. Вотъ грустная, но, къ не-



счастію, вѣрная картина его ежедневной жизни. Часовъ съ 5-ти утра, или даже и ранѣе, — отъ слабости совсѣмъ у него нѣтъ сна — напившись чаю и молока, онъ какъ тѣнь бродить по улицамъ. Возвратившись къ себѣ, усталый, онъ садится за счеты и коммерческія письма. Въ 8 часовъ онъ отправляется въ свой магазинъ, гдѣ и пребываетъ до самаго вечера. Оттуда онъ возвращается до того усталымъ, что едва бываетъ въ состояніи дотащиться до дома, и несмотря, однако на все это, онъ снова принимается за счеты и выкладки. Наконецъ, измученный такою усиленной работой, онъ ложится въ постель, но сонъ не приходитъ къ нему: физическая слабость — слѣдствіе болѣзни, напряженное воображеніе и разгоряченная голова, продолжающія и тутъ свою работу, не даютъ ему желаннаго успокоенія. Лѣчиться онъ совсѣмъ бросилъ, находя предписанія докторовъ скучными и бесполезными, да и врядъ ли можетъ ему кто-либо помочь при настоящемъ образѣ жизни. Сбирается онъ, по пріѣздѣ отъ васъ прикащика, проѣхать въ Москву и Петербургъ. Мой добрыйшій Николай Ивановичъ! если только это сбудется, Бога ради употребите на него то вліяніе, которое вы на него нѣкогда имѣли: уговорите его бросить это занятіе и передать его кому-нибудь другому. Не могутъ ужиться вмѣстѣ, въ одномъ человѣкѣ, торгашъ и поэтъ: одно что-нибудь непременно убьетъ другое, или разладница жизненныхъ занятій съ природою убьетъ и самую жизнь... Мы, я, Д., Милашевичъ и Курбатовъ, по-прежнему, видимся очень часто, толкуемъ о прочитанномъ, судимъ и рядимъ, а иногда и смѣемся, хотя большею частію сквозь слезъ. Но нашему кружку недостаетъ васъ, отсутствующаго, и Саввича, хотя и наличнаго, но совершенно удалившагося отъ насъ и чуждающагося всего, что не относится къ его торговлѣ. Вотъ что писалъ сѣдовласый юноша, — и много было правды въ начертанной имъ картинѣ! Бѣдный Придорогинъ пророчилъ смерть полумертваго въ то время Никитина, не подозрѣвая, что эта страшная гостя ровно чрезъ четыре мѣсяца подкрадется къ нему самому незамѣтно. И въ самомъ дѣлѣ, незамѣтно подошла она, и когда ему, въ самый день кончины, указали на грозный ея образъ,

Придорогинъ имѣлъ мужество воскликнуть: А! такъ вотъ она, смерть-то! Ну, что же, посмотримъ!—Уже лежа въ постели, съ которой непремѣнно надѣялся встать, вотъ что писалъ Придорогинъ Никитину, за нѣсколько дней до смерти:

„Мой милый Савка!“

„Побойся Бога! что ты съ собой дѣлаешь! Неужели ты не можешь просидѣть дня четыре дома, не ходя въ свой магазинъ?.. Это просто самоубійство! Заклинаю тебя Христомъ Богомъ, слушайся доктора. Онъ, бѣдняга, чуть не со слезами рассказывалъ о твоихъ подвигахъ... Ты когда-то любилъ меня; въ память прошлаго, послушай-ка меня — чтобы письмо мое не осталось гласомъ вопіющаго въ пустынѣ!“

Бѣдный Придорогинъ! Онъ умеръ, не устроивъ своихъ коммерческихъ дѣлъ, оставивъ ихъ и многочисленное семейство, состоящее изъ пораженнаго параличемъ, полуидіота брата и множества племянниковъ и племянницъ, на руки своей сестрѣ-вдовѣ, оставивъ все это ея материнской попечительности и заботамъ. За недѣлю до смерти Ивана Алексѣевича Никитинъ, по настойчивому приказанію врача, засѣлъ дома. Мнѣ пришлось быть вѣстникомъ смерти, поразившей ужасомъ Никитина. Смертная блѣдность на желтомъ лицѣ и воспаленные, покраснѣвшіе, но безъ слезъ глаза выражали всегда въ Никитинѣ высшую степень душевнаго потрясенія. Вотъ что онъ писалъ на другой день смерти своего друга къ Н. И. Второву:

„Не знаю, съ чего и какъ начать свое письмо къ вамъ, мой милый другъ Николай Ивановичъ!... Сердце мое облитое кровью; ударъ еще такъ недавно разразился надо мною, что я рѣшительно не могу привести въ порядокъ своихъ мыслей; въ головѣ моей все перемѣшалось и перепуталось... Общій нашъ добрый знакомый или лучше сказать, общій нашъ другъ, И. А. Придорогинъ вчерашній день (12 ноября) окончилъ свое земное поприще. Онъ до конца жизни сохранилъ ясность разсудка и силу памяти. Послѣднія слова его были, между прочими, слѣдующія: „Скажите Второву, Никитину и

Д., что я горячо ихъ любилъ“. Семейство покойнаго совершенно потерялось; вопль и рыданія слышны по всему дому. Бѣдная Евпраксія Алексѣевна, эта сестра милосердія, посвятившая себя всецѣло на служеніе своимъ ближнимъ, убита печалью. Не знаю, достанетъ ли у меня силы перенести эту печаль. Къ несчастію, я не могу сказать ей въ утѣшеніе ни одного слова, не могу отдать послѣдняго поклона и поцѣлуя моему усопшему другу, потому что самъ лежу боленъ.

„Вчера заѣхалъ ко мнѣ Д., сообщилъ мнѣ нѣчто о послѣднихъ минутахъ покойнаго и замолчалъ. Такъ сидѣли мы около двухъ часовъ. О чемъ было намъ говорить? Горе еще слишкомъ свѣжо; мы не могли усвоить себѣ мысли, что Придорогинъ болѣе не существуетъ!... Итакъ, теперь, въ Воронежѣ меньше однимъ изъ самыхъ лучшихъ людей. Я хорошо зналъ моего друга: зналъ его горячую любовь къ добру, любовь ко всему прекрасному и высокому, его ненависть ко всякой пошлости и произволу, его младенческую впечатлительность, и— что же? Какой плодъ принесло ему все это въ жизни? Увы! Жизнь ничѣмъ его не вознаградила, ничего не дала ему, кромѣ печали,—и страдалецъ умеръ съ полнымъ сознаниемъ, что самъ онъ не зналъ, зачѣмъ жилъ... Теперь въ городѣ идетъ говоръ: „Придорогинъ умеръ!... Умеръ Придорогинъ!...“ Опомнитесь, умные купчики! А давно-ли?... впрочемъ, Богъ имъ судья, не вѣдали, что творили... Дня черезъ два будетъ жениться какой-нибудь богачъ—и Придорогина забудутъ среди толковъ о новой свадьбѣ...

О, родъ людской, достоинъ слезъ и смѣха!

Простите, не могу болѣе писать“.

Возвращаемся къ книжному магазину, вновь открытому въ Воронежѣ, и къ его привѣтливому хозяину.

Много хлопотъ и возни было Никитину со вновь открытымъ книжнымъ магазиномъ. Новость дѣла и положенія, запросы и требованія публики, жестокіе припадки болѣзни, почти не покидавшіе его въ продолженіе всего 1859 года, пристававшіе съ „идеями“ друзья, пристававшіе съ просьбами о „деньгахъ“ и разнаго рода предложеніями столичныя, въ осо-

бенности петербургскіе, книгопродавцы, тяжесть обязательно предложеннаго займа и, какъ ея слѣдствіе, желаніе ускорить второе изданіе сочиненій,—все это, отдѣльно и въ совокупности, терзало Никитина. Былъ онъ, правда, въ эту пору очень не хорошъ и не симпатиченъ: Придорогинъ много ска- залъ правды въ письмѣ своемъ отъ 11-го іюня; но друзья Никитина были не правы, относясь къ нему такимъ же образомъ. Они, повторяемъ, взглянули на дѣло слишкомъ иде- ально и не обратили вниманія на то, что долженъ былъ дѣлать и съ чѣмъ долженъ былъ бороться Никитинъ для того, чтобы поставить магазинъ свой на твердую ногу и чтобы самому стать твердою ногою и въ средѣ воронеж- скаго торговаго сословія, и въ средѣ образованнаго обще- ства. Мы не станемъ утомлять вниманія читателя подроб- ностями о торговыхъ операціяхъ Никитина; письма его къ Второву переполнены этими подробностями, — порученіями о покупкѣ книгъ, о сношеніяхъ и переговорахъ съ книго- продавцами, жалобами на то и другое, и проч. и проч. Ни- китинъ прежде всего хотѣлъ сдѣлаться купцомъ, а не „про- щальгой, ёрникомъ“, какъ онъ выражался,—хотѣлъ изъ мѣ- щанскаго ничтожества, изъ двусмысленнаго положенія стихо- кропателя, невыносимаго, какъ доказалъ ему конецъ прошлаго года, разомъ стать въ гражданское положеніе купца, завоевать себѣ кредитъ и почетъ, стать на одну ногу съ тѣми купцами- аристократами, которые, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, когда онъ просилъ у нихъ работы, не допускали его дальше перед- ней. И Никитинъ достигъ всего этого, достигъ въ одинъ годъ; но не легко далось ему это „гражданское“ положеніе, осо- бенно при устройствѣ магазина и разнаго рода вознѣ съ кни- гамп, публикой и друзьями. Большой и раздражительный, Ни- китинъ, дѣйствительно, сталъ бѣгать отъ друзей своихъ, въ расположеніи которыхъ онъ, разумѣется, ни на секунду не усумнился. Я попробовалъ-было принять на себя роль посред- ника, но неудачно. Придорогинъ былъ неисправимъ: днемъ и позднею ночью онъ приставакъ ко мнѣ съ жалобами на Ники- тина. Русскія книги обыкновенно продавались у Никитина по 5-ти и 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> сверхъ ихъ стоимости, продавались нерѣдко и по номи-

нальной цѣнѣ; по бумага и письменныя принадлежности, шибко расходившіяся, продавались и по 25<sup>0</sup>/<sub>0</sub> и по 50<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Этотъ товаръ прибрѣтался въ Петербургѣ на очень выгодныхъ условіяхъ, явился въ Воронежѣ, какъ новинка, и покупался поэтому парасхватъ. Стоило Никитину продать какую-нибудь пачку конвертовъ, или дестъ почтовой бумаги, по цѣнѣ болѣе 10—20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, допускаемыхъ для честнаго торговца, какъ—или дѣлалась сцена, слѣдовалъ упрекъ въ „отступленіи отъ началъ, разъ принятыхъ“, или Придорогинъ летѣлъ ко мнѣ и печально провозглашалъ: „Пропалъ нашъ Савка, окончательно пропалъ! Торгашъ и кулакъ сталъ совершенный! Оттого и „Кулака“ хорошо написалъ, что въ самомъ-то въ немъ сидѣлъ кулакъ. Нѣтъ, этого нельзя допустить... къ черту магазинъ! Поговорите вы съ нимъ... Пишите къ Николаю Ивановичу...“ Милый Придорогинъ! Какъ онъ былъ хорошъ въ эти минуты! Не знали друзья Никитина еще вотъ о чемъ. Одна особа, о которой мы упоминали выше, по поводу обвиненій Никитина въ сочинительствѣ пасквилей, теперь пожелала съ нимъ познакомиться. Никитинъ не могъ и не имѣлъ права не исполнить этого желанія, ибо ничего личнаго въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ не было. Знакомство состоялось, ограничившись, впрочемъ, однимъ визитомъ. Ничего не зналъ объ этомъ Придорогинъ; знай онъ, никогда-бы не простилъ онъ Никитину „этой постыдной сдѣлки“. Милый Придорогинъ!.. Между тѣмъ письма къ Второву летѣли—и Второвъ изъ Петербурга, не зная положенія дѣла во всѣхъ подробностяхъ, начитавшись ужасовъ о „погибели дарованія“, а главное, устранившись пророчествъ о неизбѣжно-скорой смерти Никитина, которая въ самомъ дѣлѣ никогда не угрожала такъ сильно нашему поэту, какъ въ этомъ роковомъ году,—Второвъ не зналъ, что ему дѣлать; съ точки зрѣнія Придорогина онъ не могъ смотрѣть на новое положеніе Никитина, но и не могъ оставаться равнодушнымъ и замолчать. Выдержки изъ писемъ Никитина объяснятъ дѣло лучше нашихъ словъ.

9-го апрѣля 1859 г. Воронежъ.

„... Знаете-ли, мой другъ? Въ первые дни, когда я, едва державшійся на ногахъ, сталъ являться въ свой книжный магазинъ, меня неотступно преслѣдовала одна мысль: „Вотъ ты былъ дворникъ, жилъ въ грязи, слушалъ брань извозчиковъ; теперь ты хозяинъ порядочнаго магазина, всегда въ кругу порядочныхъ людей...“ И много, много мнѣ тогда приходило на умъ, какъ приходитъ и въ эту минуту (я пишу въ магазинѣ),—и хочется плакать,—да, мой другъ! плакать и молиться... О, зачѣмъ я не могу васъ обнять, мое безцѣнное сокровище! Да будетъ благословенъ тотъ день, когда въ первый разъ васъ встрѣтилъ! Да будутъ благословенны всѣ часы, которые я проводилъ въ вашемъ миломъ семействѣ!“

8-го мая 1859 года.

„... Мои торговля дѣла идутъ такъ себѣ, не дурно; но здоровье: вотъ вамъ доказательство—мой почеркъ. Вѣрите-ли,—едва хожу, едва владѣю руками. Если настанетъ тепло и не поможетъ мнѣ купанье, тогда останется одно умереть...“

22 го іюня 1859 года.

„... Если бы была возможность, съ какою радостію я отправился-бы теперь въ Петербургъ, и какъ-бы горячо и крѣпко обнялъ васъ при свиданіи! Но, къ несчастію, желаніе это рѣшительно для меня неосуществимо: едва я началъ оправляться отъ одной болѣзни—простуды, явилась другая—скорбуть. Ноги мои распухли, покрылись красно-синими пятнами и окончательно отказываются мнѣ служить. Словомъ, повторяется та же исторія, которая была со мною назадъ тому три года. Впрочемъ, я не теряю присутствія духа и не бросаю дѣла, проводя цѣлые дни въ своемъ книжномъ магазинѣ. Тамъ у меня есть отдѣльная комната, гдѣ я постоянно читаю, лежа на диванѣ. Если является покупатель, мнѣ даютъ тотчасъ объ

этомъ знать, — и я, прихрамывая и морщась отъ боли, выхожу къ нему и, какъ могу и умѣю, удовлетворяю его требованія. Доктора единогласно совѣгуютъ мнѣ пользоваться чистымъ воздухомъ, прогулками въ полѣ и въ лѣсу; съ своей стороны я вполне понимаю, какъ-бы было хорошо для меня пожить нѣкоторое время безъ заботъ и занятій. Но обстоятельства сложились такъ, что мнѣ остается отказаться отъ подобной жизни, или насладиться ею въ самой ничтожной мѣрѣ. Причина этому — необходимость моего присутствія въ моемъ книжномъ магазинѣ“.

6-го іюля 1859 года.

„Возобновляя въ памяти прошлую мою жизнь, такъ богатую разнообразною горечью, всматриваясь во все, окружающее меня въ настоящее время, — и тамъ, и тутъ я нахожу для себя мало утѣшительныхъ явленій. Впрочемъ, я не хочу повторять старой плачевной пѣсни о томъ, какъ мнѣ жилось прежде и какъ живется теперь на васъ она навела бы тяжкую скуку, на меня — невыносимую тоску. Назадъ тому нѣсколько лѣтъ, счастливый случай свелъ меня съ нѣсколькими личностями, которыя имѣли благодѣтельное вліяніе на развитіе моей нравственной стороны, — вотъ о нихъ-то я хочу сказать два-три слова. Эти дорогіе для меня люди были — вы, мой другъ Николай Ивановичъ, Нордштейнъ, Придорогинъ и Д. Но никто изъ этого небольшого кружка не могъ узнать меня на столько, на сколько должны узнать меня вы, потому что я вполне раскрылъ передъ вами мою душу, и въ радости, и въ горѣ вамъ одному высказывалъ мои сокровеннѣйшія мысли, по которымъ безъ всякаго затрудненія вы могли судить о свѣтлыхъ и темныхъ сторонахъ моего характера. Къ сожалѣнію оказывается, что и вы знаете меня недостаточно. Доказательство — ваше письмо, которое глубоко меня опечалило и задѣло за живое.

„Вы ставите меня въ разрядъ торгашей, которые, ради пріобрѣтенія лишняго рубля, не задумаются пожертвовать своею совѣстью и честью. Неужели, мой другъ, я упалъ такъ

низко въ вашихъ глазахъ? Неужели такъ скоро я сдѣлался негодяемъ изъ порядочнаго человѣка? (Если-бы во мнѣ не было признаковъ порядочности, я увѣренъ, вы не сошлись-бы со мною близко). Грустное превращеніе!—Вотъ къ чему привело меня открытіе книжнаго магазина! Итакъ мои слова: „пора мнѣ удалиться и отдохнуть отъ сценъ, обливающихъ мое сердце кровью“—были ложью; мое желаніе принести нѣ-которую долю пользы на избранномъ мною поприщѣ—было ложью; моя любовь къ труду безукоризненному и благородному—была ложью... Неужели, мой другъ, все это справедливо?

..Вы говорите, что я гублю свое здоровье, съ утра до ночи замкнутый въ стѣнахъ своего книжнаго магазива. Вы зовете меня въ Петербургъ, надѣясь, что поѣздка меня исцѣлитъ и разсѣветъ. Но что-же я тамъ буду дѣлать безъ денегъ, и какъ я доѣду туда безъ денегъ? Книжная торговля идетъ такъ вяло, что я никакъ не соберусь уплатить А. Р. Михайлову мой долгъ, состоящій изъ 200 руб. Наконецъ, допустимъ, что, благодаря добрымъ людямъ, деньги на дорогу у меня найдутся; что станется со мною, если въ продолженіе пути желудокъ мой разстроится еще болѣе? Замѣьте, что здѣсь, на мѣстѣ, при жизни совершенно регулярной, я счастливъ, если проходятъ двѣ недѣли безъ появленія слизей, какъ слѣдствія воспаленія кишечнаго канала. Дорожная тряска, безпокойство и несвоевременный пріемъ пищи для меня убійственны; это я испытывалъ, проѣзжая какихъ-нибудь сто верстъ. Далѣе, вы говорите, что изъ-за книжнаго дѣла я бросилъ свои стихи, т.-е., что я черствѣю сердцемъ, тупѣю умомъ. Нѣтъ, мой другъ, обвиненіе это, высказанное вами изъ любви ко мнѣ, неосновательно. Не въ книжномъ магазинѣ я сижу съ утра до ночи, увиваюсь не около покупателей (которыхъ, скажу кстати, приходитъ очень мало), а просто въ особой, смежной съ магазиномъ, комнатѣ, лежа на диванѣ, читаю все, что нахожу подъ рукою дѣльнаго. Не читать—для меня значить не жить... гдѣ-же тутъ торгашество?

„Нанять гдѣ-нибудь въ деревнѣ квартиру я не рѣшаюсь, потому что не привыкъ къ затворнической жизни, не могу



обойтись безъ кружка двухъ-трехъ близкихъ мнѣ мыслящихъ людей. И кто будетъ ухаживать за мною въ деревнѣ? Кто будетъ обертывать на ночь дрожжами мои ноги? Кто приготовитъ мнѣ мой діетическій столъ, до крайности мнѣ надоѣвшій, между тѣмъ необходимый при сильномъ разстройствѣ моего желудка? Кухарка, живущая у меня нѣсколько лѣтъ, хорошо знаетъ, что и когда нужно мнѣ варить и жарить; но ей невозможно оставить дворъ, гдѣ, во время моего отсутствія, она замѣняетъ хозяйку. Деревенская баба не замѣнитъ мнѣ моей кухарки; имѣть повара не позволяетъ мнѣ мой карманъ. Быть можетъ, въ послѣднихъ словахъ вы замѣтите мою страсть къ гнуснымъ рублямъ; какъ быть! пишу, что думаю: входить въ долги ради повара я не намѣренъ. Прежде я имѣлъ временно пристанище у Плотникова, но домъ его глядитъ теперь уже не такъ. Старикъ Плотниковъ умеръ, дочь его вышла замужъ, въ семействѣ явились новыя отношенія лицъ одного къ другому... притомъ больной гость надоѣсть скоро хозяевамъ; я знаю примѣры, что больные надоѣдаютъ родному отцу или родной матери.

„Что касается моего молчанія, моего бездѣйствія, которое, по вашимъ словамъ, губить мое дарованіе (если, впрочемъ, оно есть), вотъ мой отвѣтъ: Я похожъ на скелетъ, обтянутый кожей, а вы хотите, чтобы я писалъ стихи! Могу-ли я вдуматься въ предметъ и овладѣть имъ, когда меня утомляетъ двухчасовое серьезное чтеніе? Нѣтъ, мой другъ, сперва надобно освободиться отъ болѣзни, до того продолжительной и упорной, что иногда жизнь становится неилою, и тогда уже браться за стихи. Писать ихъ, конечно, легко; печатать, благодаря множеству новыхъ журналовъ, еще легче; но вотъ что скверно, если послѣ придется краснѣть за строки, подъ которыми увидишь свое имя. Мнѣ кажется, и вы не одобрили бы всякой написанной мною дряни... Повторяю, мой другъ, надобно сперва выздороветь, — иначе: „плохая пѣсня соловью въ когтяхъ у кошки!“

4-го января 1860 г.

... Вы полагаете для меня необходимымъ бросить книжную торговлю, убивающую мое здоровье и поглощающую все мое свободное время, купить хуторокъ и жить въ тиши, въ самомъ близкомъ соприкосновеніи съ природою. Да, это было-бы хорошо и для меня самого, и для успѣха моихъ небольшихъ занятій; но, увы! отъ подобной мечты надобно отказаться, при первомъ ея зарожденіи. Гдѣ взять деньги, чтобы обзавестись хуторомъ, хозяйствомъ, жильемъ, земледѣльческими орудіями, рабочими лошадьми, прислугой и проч. и проч.? Если-бы книгопродавецъ Гарденинъ и согласился принять отъ меня мой книжный магазинъ, спрашивается, на какихъ условіяхъ онъ его приметъ? За всѣ мои книги едва-ли онъ дастъ третью часть той суммы, которая израсходована мною на пріобрѣтеніе, тѣмъ болѣе, что онѣ растрепаны читателями. Оттого-то и плохо идетъ моя книжная торговля, что, по ограниченности моихъ средствъ, я не могу отдѣлать собственно книжнаго магазина отъ библіотеки для чтенія и увеличить для продажи число предметовъ, что непремѣнно содѣйствовало-бы успѣху моихъ дѣлъ. Далѣе, жизнь моя, сравнительно съ прежнею, все-таки до настоящаго времени довольно покойна. Въ продолженіе цѣлаго дня я не слышу и не вижу ничего возмущающаго меня до глубины души; остается только одна ночь,—ну, что-же дѣлать?.. Съ этимъ зломъ я еще кое-какъ мирюсь. Если-же снова я буду принужденъ взяться за грязную торговлю на постояломъ дворѣ, поить водкою извозчиковъ, зазывать ихъ на дворъ съ улицы, вставать съ постели въ полуночную пору для шумныхъ съ ними расчетовъ, короче—быть въ постоянной пыткѣ, въ постоянномъ раздраженіи, тогда—лучше умереть! Нѣтъ, мой милый другъ, будь что будетъ, а книжную торговлю, по всѣмъ соображеніямъ, оставить мнѣ невозможно. И куда бы я ушелъ отъ тревогъ и печалей? Спросите самихъ себя: много ли найдется въ нашей жизни безоблачныхъ дней? Итакъ, будемъ биться съ невеселою долею, а тамъ, какъ и водится, смерть положить всему конецъ“.

Битва съ друзьями за существованіе книжнаго магазина была выиграна. Никитинъ былъ правъ.

Но магазинъ устроился и торговля пошла, какъ слѣдуетъ, не ранѣе начала 1 60 года. Отъ многаго пришлось отказаться, многое повести иначе. Во первыхъ, не удалась практикуемая компанія, „совмѣстное веденіе дѣла съ человѣкомъ образованнымъ“; въ апрѣлѣ 1859 г. Н. П. Курбатовъ уѣхалъ за границу. „Курбатовъ добрый и честный человѣкъ“, говоритъ Никитинъ въ одномъ письмѣ къ Второву, — и въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія; но характеры наши, взгляды на то, какъ вести нужно дѣло, совершенно противоположны“. Во-вторыхъ, казалась положительная невозможность имѣть приказчика, необходимаго помощника въ продажѣ вещей и въ мелочной вознѣ по магазину, — невозможность не столько по недостатку средствъ, сколько по тому значенію, которое начинаютъ пріобрѣтать въ городѣ магазинъ; публика стала относиться къ нему все строже и требовательнѣе, и уже не удовлетворялась сидѣніемъ за прилавкомъ только грамотнаго, хотя бы и приличнаго приказчика; въ этомъ убѣдился Никитинъ на опытѣ, выписавъ было себѣ изъ Петербурга приказчика, котораго черезъ нѣсколько мѣсяцевъ должно было отправить обратно. Пришлось ограничиться двумя мальчиками, учениками книгопродавческаго дѣла, которые оставались въ магазинѣ до смерти его основателя. Итакъ, книжный магазинъ сталъ *обязывать* Никитина; это случилось само собою и не входило въ с. ображеніе. Предполагалось имѣть вліяніе на „учащуюся молодежь“, на полуобразованные классы общества, но не предвидѣлось, чего погрѣбуетъ отъ поэта-книгопродавца общество образованное. Непривѣтливо и даже сурово встрѣтившись съ этимъ обществомъ, Никитинъ вскорѣ увидѣлъ себя въ необходимости стать къ нему въ нвыя отношенія; и простой торговый расчетъ и причины болѣе нравственныя заставили его сблизиться съ этимъ обществомъ, дорости до него, такъ сказать, въ мелочахъ, чтобы стать потомъ съ нимъ въ уровень, даже — впереди его. Этого желало само общество, не покидавшее Никитина, пристававшее къ нему, не смотря на его мѣщанскую неуклюжесть. Словомъ, книжный магазинъ

Никитина началъ приобрѣтать въ Воронежѣ значеніе клуба, мѣста, куда можно было зайти не для развлечения отъ скуки, не для узнаванія только послѣднихъ газетныхъ новостей, но и для живой, образованной бесѣды. До открытія книжнаго магазина, т. е. еще дворникомъ, Никитинъ имѣлъ наиболѣе знакомыхъ и лицъ, ему сочувствующихъ, между преподавателями и воспитателями Кадетскаго Корпуса, съ которыми и Второвъ былъ близокъ. Вновь открытый магазинъ нашелъ въ этихъ лицахъ значительную матеріальную, и еще большую нравственную поддержку. Третій директоръ Кадетскаго Корпуса, А. П. Ватаца, не только лично зналъ Никитина, но и былъ большимъ его почитателемъ. При А. И. Ватаца всѣ книги и все нужное для класнаго хозяйства Кадетскій Корпусъ сталъ приобрѣтать только въ магазинѣ Никитина.

Въ магазинѣ, какъ говорится, начала толпиться публика и за дѣломъ и за бездѣльемъ. Приходили подъ предлогомъ покупки вздора, вовсе не относящагося къ книжной торговлѣ, въ родѣ какихъ-нибудь несесеровъ,—и Никитинъ, какъ ловкій торговецъ, заводилъ разный вздоръ и бездѣлушки и—не былъ въ убыткѣ. Приходили, чтобы взглянуть на хозяина, познакомиться съ нимъ. Эта толкотня въ магазинѣ, это возбужденное въ публикѣ любопытство объясняется не одною праздностію, не одною бѣдностью провинціальныхъ интересовъ.—Въ Никитинѣ, какъ въ талантѣ, была сила, къ себѣ влекущая, при всѣхъ его слабостяхъ, даже отталкивающихъ сторонахъ его характера, если только кто найдетъ справедливымъ настаивать на существованіи послѣднихъ. Среди толпы лицъ, статскихъ и военныхъ, мужчинъ и женщинъ, непремѣнно одно или два заходили совѣмъ не для покупокъ,—и съ ними-то Никитинъ, развлеченный и тѣмъ и другимъ, всегда находилъ возможность перебросить нѣсколько словъ, часто вырывавшихся изъ души, всегда сильныхъ. Часто умолкали рѣчи о продажѣ и куплѣ; мальчики овладѣвали покупающими и приходящими за полученіемъ книгъ для чтенія, уводили такихъ въ другую комнату, и вокругъ хозяина составлялся кружокъ, въ которомъ велись иныя рѣчи; вспомнимъ, что это было въ самую оживленную пору нашей жизни и литературы

а Никитинъ такъ сочувствовалъ тогдашней современности и былъ весьма тонкимъ знатокомъ и цѣнителемъ литературы. Словомъ, передъ Никитинымъ-книгопродавцемъ, вокругъ него, создавалась публика. Онъ это понималъ, но всегда былъ на столько деликатнымъ, что не давалъ понять этого публикѣ. Такое значеніе магазина, дѣлающее честь и публикѣ и его хозяину, установилось, конечно, не вдругъ и опредѣлилось гораздо позже; но и при самомъ началѣ открытія его уже можно было это предвидѣть: вотъ еще одна изъ причинъ того страстнаго отношенія Никитина къ книжной торговлѣ, которая, какъ мы видѣли, объяснялась только его скупостью. Новость положенія заставила Никитина не только измѣнить свой образъ жизни, но и самому, на сколько это отъ него зависѣло, измѣниться. Изъ приведенныхъ писемъ читатель можетъ представить себѣ его новый образъ жизни, — прежній сталъ невозможенъ; человѣкъ выходилъ изъ замкнутаго кружка; записаться снова въ кружокъ было тяжело, ибо въ новомъ положеніи было много заманивающаго. Наконецъ сама судьба свою нелегкою рукою разбила кружокъ: въ апрѣлѣ уѣхалъ изъ Воронежа Курбатовъ, въ іюлѣ—Милашевичъ, въ ноябрѣ умеръ Придорогинъ. Вотъ что писалъ Никитинъ въ самомъ концѣ 1859 г. къ Второву; „Семейныя мои дѣла текутъ по прежнему, съ прибавленіемъ одной новости: на мнѣ лежатъ всѣ расходы по дому, содержанію прислуги, и т. д. и т. д. Весь доходъ съ дома (до 300 р. сер.) получаетъ старикъ, и увы! этой суммы ему не достаетъ! На возраженіе мое, что я не въ силахъ выносить на своихъ плечахъ всю домашнюю обузу, онъ отвѣчалъ: „А кто тебя родилъ, поилъ и кормилъ? Кто тебя воспиталъ? Ну, ступай и живи себѣ, гдѣ хочешь“. — Не слѣдовало бы мнѣ говорить объ этомъ, да сердце черезчуръ наболѣло.. Отсутствіе незабвеннаго Ивана Алексѣевича сильно замѣтно въ нашемъ небольшомъ кружкѣ; замолкли веселыя рѣчи и одушевленные споры. Собственно говоря: и кружка-то теперь не существуетъ: остался Де-Пуле и я. Ни Милашевича, ни Придорогина замѣнить не кѣмъ“.

Но, не смотря на все это, жизнь втягивала Никитина въ свой водоворотъ не одною, какъ мы видѣли, матеріальною

своею стороною. 1-го октября 1859 г. прибылъ въ Воронежъ новый губернагоръ, графъ Дмитрій Николаевичъ Толстой, давнишній знакомый Второва, Придорогина и Никитина, первый издатель его стихотвореній. На другой же день по приѣздѣ графъ зашелъ въ магазинъ Ни игина и съ того времени до перевода своего изъ Воронежа, въ началѣ 1861 года, былъ нерѣдкимъ его посѣтителемъ, приходившимъ запросто; во все это время добрыя отношенія гр. Толстаго къ Ивану Саввичу ни разъ не измѣнялись. Никитинъ также нерѣдко и запросто посѣщалъ графа, человека о немъ обзваннаго и литературнаго. Само собою разумѣется, что тѣя отношенія между губернаторомъ и книгопродавцемъ-поэтомъ были очень выгодны для послѣдняго, особенно въ началѣ.

Если читатель потрудится вникнуть въ новое положеніе Никитина, то онъ согласится съ нами, что оно совершенно не благопріятствовало какой бы то ни было литературной производительности. Изъ писемъ къ Второву мы видѣли, какъ смотрѣлъ на это самъ Никитинъ, а между тѣмъ самъ Никитинъ въ тяжелую для него пору 1865 года посѣ своего магазина, только и думалъ, что о второмъ изданіи своихъ стихотвореній: среди душевныхъ тревогъ, среди мучительныхъ припадковъ болѣзни мысль объ этомъ изданіи его не покидала. Письма къ Второву переполнены толками объ изданіи, о щедротливости своего положенія по поводу займа. Выписываемъ нѣкоторыя мѣста изъ нихъ.

12-го декабря 1858 года.

„... Векселя Василию Александровичу я не посылаю. Противъ этого страшно возстали М. Ѳ. и Н. С. Она говорятъ: поступокъ Василія Александровича такъ безкорыстно благороденъ, что неловко было бы съ моей стороны бросить на него нѣкотораго рода тѣнь. Вексель какъ-бы выражалъ мою слѣдующую заднюю мысль: — Я долженъ вамъ, м. г., но я заплачу,—будьте увѣрены. Я не хочу даже одолажаться безъ законнаго документа,—и вотъ честь имѣю его вамъ представить. Это замѣчаніе я нашель справедливымъ. Миѣ доводи-

лось уже быть въ щекотливомъ положеніи, именно при займѣ денегъ у А. Р. Михайлова. Я вручилъ ему расписку: онъ покраснѣлъ и разорвалъ ее; я покраснѣлъ и подобралъ клочки разорванной бумаги, что, разумѣется, не помѣшало мнѣ честно и совершенно съ нимъ раздѣлаться. Кстати объ А. Р. Видя мое горячее желаніе устроить книжный магазинъ, онъ сочувствовалъ мнѣ всею душою и, между прочимъ, сказалъ, что если бы въ этомъ году не было у него свадьбы дочери и раздѣла съ братомъ, онъ съ удовольствіемъ ввѣрилъ бы мнѣ 1500 р. Спасибо ему за теплое слово! Кромѣ этого человѣка, ни одной души не нашлось въ Воронежѣ, сочувствующей моему предпріятію.

„Изданіе моихъ стихотвореній я представляю на волю Василія Александровича; но прошу у него позволенія выбросить нѣкоторую дрянъ изъ первой книжки. Дорогой мой Николай Ивановичъ! перемолвите съ нимъ объ этомъ предметѣ. Чѣмъ скорѣе состоится предполагаемое изданіе, тѣмъ менѣе останется заботъ на моихъ плечахъ. Пренія стихотворенія, съ прибавленіемъ новыхъ и «Кулака», составятъ или два томика, или одну объемистую книжку, слѣдовательно, можно обойтись безъ дряни. Зачѣмъ пачкать дрянью и мое имя, и имя издателя моего труда: то и другое равно для меня дорого. Но главное,—чтобы поскорѣе состоялось изданіе...

20-го іюня 1859 года.

„... Небольшое улучшеніе моего здоровья дало мнѣ возможность взяться за трудъ. Теперь я занятъ поправкой своихъ мелкихъ стихотвореній. Думаю, что въ концѣ Августа пришлю ихъ вамъ непременно. Признаюсь вамъ, я почти ничѣмъ недоволенъ, что ни прочитаю,—все кажется риторикою. Грустно!.. видятъ Богъ, многое писалось отъ души. Знаю, что вы будете не довольны моею строгостію къ роднымъ моимъ дѣтищамъ, да что же дѣлать! И радъ бы глядѣть на нихъ съ любовію, но увы! они ея не заслуживаютъ. Впрочемъ, такъ и быть! Какъ видно, природа не слишкомъ щедра на свои дары; но надо поневолѣ довольствоваться непогимъ“.

11-го сентября 1859 года.

„... На замѣчаніе ваше, почему я не выставилъ годовъ подъ стихотвореніями, скажу вотъ что: выставка подобнаго рода имѣеть смыслъ подъ произведеніями Пушкина, Лермонтова и т. п., вообще подъ произведеніями людей, за развитіемъ таланта которыхъ читатель слѣдитъ съ особеннымъ любопытствомъ. Вашъ покорнѣйшій слуга не имѣеть на это претензіи, не желаетъ сказать о себѣ: смотри, молъ, любезный читатель, видишь, какъ я шель прегрессивно; видишь, какъ я развивался!—Боже сохрани! Гдѣ оно, это развитіе? Все суета, суета!... Если я въ самомъ дѣлѣ подвинулся сколько-нибудь впередъ, замѣтятъ и безъ цифръ“.

Во 2-е изданіе стихотвореній Никитина, какъ извѣстно, „Кулакъ“ не вошелъ; это случилось по взаимному соглашенію Кокорева и Второва. Вторымъ изданіемъ, т. е. поправкою, или, лучше сказать, передѣлкою стихотвореній, вошедшихъ въ 1-е изданіе, были очень не довольны Второвъ и Придорогинъ. Никитинъ въ самомъ дѣлѣ былъ безпощаденъ къ прежнимъ своимъ стихотвореніямъ до 56 года и кромсалъ ихъ немилосердно. Онъ не только ихъ выбрасывалъ и урѣзывалъ, но бралъ совершенно иные мотивы, которые и въ голову ему не приходили, когда писались эти стихотворенія. Это былъ своего рода авторскій вандализмъ, объясняемый, конечно, болѣзненною раздражительностію, страстію, чуть не азартомъ, воспользоваться рѣдкими минутами здоровья, чтобы свалить съ своихъ плечъ обузу нравственнаго обязательства. Выиграли или проиграли передѣланныя такимъ образомъ стихотворенія,—предоставляемъ судить другимъ, указывая только на фактъ. Не можемъ, впрочемъ, не замѣтить вотъ чего: какова бы ни была степень поэтическаго дарованія Никитина, она росла въ немъ съ необыкновенною быстротою; это, конечно, объясняется самымъ духовнымъ ея ростомъ, ускореннымъ, быть можетъ, приближающею смертію. Стихомъ онъ владѣлъ съ замѣчательною свободой: стихъ у него не вымучивался, не сочинялся, а лился изъ музыкальныхъ звуковъ самого языка.



Небольшія піесы, ихъ мотивы и образы, въ цѣломъ своемъ составѣ, создавались въ его фантазіи и потомъ уже готовыми ложились на бумагу; это былъ обычный пріемъ писанія стиховъ Никитинымъ, пріемъ, при нѣкоторомъ развитіи и упражненіи, способный перейти въ импровизацію. Думаемъ, что этимъ пріемомъ, или, если угодно, привычкою авторства объясняются достоинства и недостатки стихотвореній Никитина; имъ-же можно объяснить до извѣстной степени причудливость указанныхъ выше передѣлокъ.

Прежде, чѣмъ окончить эту главу, намъ необходимо сказать нѣсколько словъ о человѣкѣ, имя котораго уже не разъ упоминалось и который горячо любилъ Никитина,—объ Антонѣ Родіоновичѣ Михайловѣ, умершемъ въ 1847 г. въ глубокой старости. Воронежскій купецъ, вышедшій изъ крѣпостныхъ людей, мыльный и свѣчной заводчикъ, многоземельный сельскій хозяинъ при помощи вольно-наемнаго труда, человѣкъ, которому въ ту пору, о которой ведется нашъ рассказъ, было далеко за 50 лѣтъ, — что, казалось-бы, могло быть общаго между такимъ человѣкомъ и кружкомъ, носившимъ имя Второва! А между тѣмъ Михайловъ, никогда не принадлежавшій ни къ какимъ кружкамъ, былъ близкимъ и своимъ человѣкомъ не только для Второва, Придорогина и Никитина, но и для всѣхъ лицъ, которыя были связаны съ нимъ узами дружбы или пріязни. Что - же было особеннаго въ этомъ человѣкѣ? Отецъ Михайлова былъ крѣпостнымъ извѣстной графини А. А. Орловой-Чесменской и служилъ ей въ какой-то должности по управленію. Службою его и отличнымъ знаніемъ дѣла очень дорожилъ управляющій имѣніемъ графини, Ш-нъ, который и выразилъ свое расположеніе Михайлову тѣмъ, что взялъ къ себѣ на воспитаніе, вмѣстѣ съ своими дѣтьми, старшаго сына его Антона, мальчика очень даровитаго. Казалось, ничего не могло быть лучше, потому что Ш-нъ, располагая громадными средствами, ничего не жалѣлъ для образованія своихъ дѣтей и прямо ихъ готовилъ къ университету; тотъ-же путь предстоялъ и юному Михайлову. Послѣдній, обучаясь въ домѣ управляющаго, обнаружилъ замѣчательныя математическія способности, а потому, ставъ юношей, началъ готовиться къ

поступленію на математическій факультетъ. Даровитость и трудолюбіе крѣпостного юноши были ободряющимъ примѣромъ для сыновей управляющаго, но они же помѣшали Михайлову закончить свое образованіе. Когда уже настало время собираться въ Москву, г-жа Ш-на закапризилась и не пожелала, чтобы *ея* дѣти сидѣли въ университетѣ на *одной скамейкѣ* съ крѣпостнымъ ихъ сверстникомъ; Михайловымъ, какъ рожденнымъ крѣпостнымъ людямъ, нечего было и думать о какомъ нибудь протестѣ противъ подобнаго каприза, а потому волею-неволею пришлось отказаться отъ университета. Свободу отъ крѣпостной зависимости Михайловъ получилъ гораздо позже, когда объ университетѣ уже нечего было и думать. Переселившись въ Воронежъ почти ни съ чѣмъ, Михайловъ взялся за торговыя и заводскія дѣла и повелъ ихъ не только умно и толково, но и на началахъ *научныхъ*, а не книжныхъ, вычитанныхъ, которыя всегда приводятъ къ разоренію диллетантовъ сельскаго хозяйства и промышленности. Михайловъ не только не разорился, но съ каждымъ годомъ увеличивалъ свои обороты, которые простирались потомъ не на одну сотню тысячъ. Технические знанія, примѣнимыя къ его дѣятельности (сельское хозяйство и заводы свѣчной и мыловаренный), онъ зналъ въ совершенствѣ; ботаникой онъ занимался со страстію, хотя больше практически, въ примѣненіи къ своей прелестной дачѣ и къ устроенному при ней, на-диво и зависть болѣе теплымъ мѣстамъ, превосходному винограднику; онъ свободно читалъ по-французски, хорошо рисовалъ, особенно растенія и цвѣты. Михайловъ былъ тѣмъ, что потомъ стали называть у насъ *образованнымъ реалистомъ*: онъ былъ горячимъ поборникомъ образованія вообще, но антипатично относился къ людямъ, ничего не умѣющимъ дѣлать. Самымъ пламеннымъ его желаніемъ было распространеніе въ городской массѣ всякаго рода техническихъ свѣдѣній. Такой складъ образованія соединялся въ Михайловѣ вполне органически почти съ цѣлою богословскою эрудиціею. Человѣкъ, глубоко вѣрующій, Михайловъ отлично изучилъ Св. Писаніе и творенія Отцевъ Церкви: на этомъ поприщѣ только немногіе изъ духовенства могли съ нимъ состязаться;

взгляды его на церковный вопрос совпадали съ возрѣніями Хомякова, но отличались большею практичностью. Если мы къ этому прибавимъ, что Михайловъ постоянно слѣдилъ за литературой, что онъ писалъ литературно \*),—читатель согласится съ нами, что подобное явленіе въ провинціальной купеческой средѣ принадлежитъ къ рѣзко выдающимся изъ общаго уровня. Понятно, поэтому, что Второвъ и подобные ему люди не могли не интересоваться Михайловымъ; они сами искали его знакомства, а не наоборотъ. Михайловъ не былъ недоучившимся самоучкой, какія у насъ не переводятся; напротивъ, это былъ человѣкъ оригинальнаго образованія—натуралистъ, богословъ, славянофилъ и реалистъ, какими выработала ихъ сама жизнь, а не книжка, и гораздо раньше всякихъ книжекъ и толковъ о томъ и другомъ. Придорогинъ былъ ближе всѣхъ съ Михайловымъ, на *ты*; но дружескія отношенія не мѣшали имъ иначе смотрѣть на вещи и горячю ратоборствовать въ спорахъ, особенно по церковнымъ вопросамъ, которые любилъ ставить Придорогинъ. Они сходились въ глубокой ангипагіи къ крѣпостному праву и въ нетерпѣливомъ ожиданіи новыхъ муниципальных учрежденій. Они вмѣстѣ боролись съ тогдашней администраціей за городскіе интересы, вмѣстѣ пытались сблизиться съ Кольцовымъ; но Михайловъ потерпѣлъ такую же неудачу, какъ и Придорогинъ: онъ долженъ былъ оставить въ покоѣ раздражительнаго и самолюбиваго поэта-прасола. Второвъ заинтересовался Михайловымъ не по одному складу его оригинальнаго образованія, не по одному мастерству его въ дѣлахъ, но и по отличному его знанію городскихъ нуждъ и потребностей. Н. И. Второвъ былъ, какъ извѣстно, однимъ изъ главныхъ дѣятелей по вопросу о городской реформѣ. Этимъ вопросомъ онъ занимался еще въ Воронежѣ, служа совѣтникомъ губернскаго правленія; А. Р. Михайловъ, понятно, былъ для него дорогимъ человѣкомъ. Общій интересъ ихъ сблизилъ, хотя Михайловъ шелъ гораздо дальше Второвскихъ предположеній, потому осуществившихся. Никигинъ сблизился съ Михайло-

---

\*) Статьи его, безъ подши и автора, появлялись и въ столичныхъ газетахъ.

вымъ чрезъ Придорогина. Большая разница въ лѣтахъ не допускала этого сближенія до равныхъ дружескихъ отношеній; въ немъ, по отношенію къ Никитину, было какъ бы что-то сыновнее. Никитинъ лучше другихъ зналъ Михайлова, зналъ его семейную жизнь, его отношеніе къ дѣтямъ обоихъ половъ, его благотворительность, никому неизвѣстную; а поэтому и уваженіе его къ Михайлову для людей, мало знавшихъ послѣдняго, могло казаться даже крайнимъ. Что касается до Михайлова, всѣ Никитинскія дѣла, литературныя и книгопродавческія, постоянно были близки его сердцу, какъ при жизни поэта, такъ въ моментъ и даже послѣ его смерти. Такія отношенія крѣпче и выше иной дружбы. А. Р. Михайловъ былъ наконецъ первымъ издателемъ полного собранія сочиненій Никитина, чистую выручку отъ котораго (2600 руб.) онъ внесъ, по назначенію душеприкащика, въ воронежскую Маріинскую женскую гимназію.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

1860 годъ—лучшая пора въ жизни Никитина.—Генераль-либераль.— Поѣздка въ Москву и Петербургъ. — Отношеніе Никитина къ современной литературѣ и жизни.—Литературный сборникъ и возбужденная имъ литературная дѣятельность. — Начало 1861 года. — Предсмертная болѣзнь —Вторая любовь.

Прошелъ годъ съ открытія книжнаго магазина. Дѣло, рискованное вначалѣ, вполне опредѣлилось. Въ характерѣ Никитина было постоянно жаловаться на „плохія дѣла“.—Но дѣла были вовсе не плохи. Магазинъ далъ тысячи полторы чистой прибыли. Иванъ Саввичъ проживалъ очень немного, не болѣе того, что онъ тратилъ на себя прежде; все остальное шло на магазинъ. Торговый кредитъ Никитина возрасталъ не только въ Воронежѣ, но и въ обѣихъ столицахъ,—возрасталъ весьма быстро. Матеріальное благосостояніе, слава магазина увеличивались сколько отъ ловкости и умѣнья вести дѣло спокойно и расчетливо, столько же и отъ литературной извѣстности хозяина, постоянно возраставшей. Все, что пріѣзжало въ Воронежъ мыслящаго и литературнаго, все это знакомилось, сближалось съ Никитинымъ и тѣмъ или другимъ способомъ распространяло извѣстность магазина, было ему полезно. Въ числѣ такихъ знакомствъ самое прочное и пріятное для Никитина было сближеніе съ Петромъ Ивановичемъ Бартепевымъ, впоследствии издателемъ „Русскаго Архива“, который былъ самымъ усерднымъ его комиссіонеромъ въ Москвѣ. Мы не впадемъ ни въ малѣйшее преувеличеніе, если скажемъ, что книжный магазинъ Никитина представлялъ единственное въ своемъ родѣ явленіе (по крайней мѣрѣ, въ провинціи) по соединенію въ одномъ лицѣ литературной и книго-

продавческой дѣятельности. Ожилъ и Никитинъ, и улыбнулась ему суровая судьба.—Самое здоровье его очень поправилось. Благодаря холоднымъ ваннамъ, купанью въ лѣтнее время и кислой пищи, желудокъ его сталъ работать до такой степени, что онъ началъ позволять себѣ нѣкоторыя излишества въ столѣ и чаѣ, т. е., сталъ возвращаться къ любимымъ русскимъ блюдамъ, послѣ многолѣтняго употребленія опротивѣвшей ему, какъ онъ выражался, „нѣмецкой діеты“. Самыя отношенія къ отцу какъ будто измѣнились къ лучшему. Старикъ, начинавшій дряхлѣть и слѣпнуть, но не покидавшій своей несчастной привычки, иногда заходилъ въ магазинъ, преимущественно утромъ, еще до появленія посѣтителей и до прихода сына. Пройдя раза два по комнатамъ (ихъ было три), онъ обыкновенно обращался съ наставленіями къ мальчикамъ, въ родѣ слѣдующаго: „Вы смотрите у меня,—берегите хозяйское добро! А то вѣдь я васъ знаю,—народецъ тоже!“ Мальчики жили въ домѣ Никитина и нерѣдко выслушивали эти поученія на другой или третій день послѣ происходившихъ въ немъ и уже знакомыхъ читателю сценъ. Иванъ Саввичъ только ночевалъ дома, поэтому и сцены случались рѣже и не могли имѣть для него прежней горечи. Домъ, какъ мы сказали, былъ записанъ на имя Саввы Евтѣича; но старикъ ни на минуту не поколебался отдать его подъ залогъ тысячи рублей серебромъ, понадобившейся сыну для торговыхъ его оборотовъ. Собственно говоря, отношенія между отцомъ и сыномъ не измѣнились къ лучшему, но нѣсколько перемѣнились. И подгулявши, и находясь въ здоровомъ умѣ, старикъ находилъ теперь новую пищу для своего краснорѣчія. Гордясь сыномъ, какъ поэтомъ, онъ величалъ его теперь первостепеннымъ купцомъ, который за поясъ заткнетъ какого-нибудь подлеца (это непремѣнно) Ваську или Петрушку такого-то. Браня сына не меньше прежняго, онъ къ словамъ — „А кто тебя родиль? Кто далъ образованіе“?—теперь прибавлялъ: „Черезъ кого пошелъ въ люди и сталъ хозяиномъ? А? не понимаешь!“ Къ этому времени жизни Никитина относятся и мои съ нимъ объясненія объ отношеніи его къ отцу. Спокойнѣе и рѣшительнѣе прежняго говорилъ Никитинъ, что онъ ни за что старика не

покинетъ; „но и передѣлать себя я не въ силахъ“, всегда онъ заканчивалъ свою рѣчь. Судьба продолжала улыбаться Никитину и даже до нѣкоторой степени увѣнчала его поэтическими лаврами со стороны согражданъ. Дѣло происходило такъ. На Святой Недѣлѣ, 9-го Апрѣля 1860 г., мы устроили, кажется, первый въ провинціи, литературный вечеръ, въ пользу литературнаго фонда. Чтеніе происходило въ великолѣпной залѣ Кадетскаго Корпуса. Стеченіе публики было громадное. Никитинъ читалъ новое свое стихотвореніе „Поэту-Обличителю“. Появленіе его на эстрадѣ произвело неописанный восторгъ. Его заставили повторить стихотвореніе два раза. Этимъ приемомъ, краснорѣчиво говорившимъ, Никитинъ былъ глубоко тронутъ. Веселое расположеніе духа отражается и въ письмахъ его, относящихся къ этому времени.

Для доказательства приводимъ слѣдующій большой отрывокъ изъ письма его къ Второву. Это — сцена, списанная съ натуры безъ малѣйшей утрировки. Она даетъ нѣкоторое понятіе и о тогдашнихъ нравахъ.

„... Назадъ тому недѣли три (писано 21-го Марта 1860 г.) приходитъ ко мнѣ господинъ средняго роста, съ толстымъ брюшкомъ, въ очкахъ, рябой, остриженный подъ гребенку, съ окладистою рыжеватою бородою, въ которой уже замѣтна сѣдина, широкоплечій, одѣтый въ теплое пальто съ бобровымъ воротникомъ. Прищуривъ глаза, онъ посмотрѣлъ сначала на полки, уставленные книги, при чемъ сдѣлалъ такую гримасу, какъ будто нюхалъ, — нѣтъ-ли чего-нибудь подозрительнаго въ воздухѣ, и потомъ обратился ко мнѣ съ лаконическимъ вопросомъ:

— Никитинъ?

— Точно такъ, отвѣчалъ я, къ вашимъ услугамъ.

— А, очень радъ! очень радъ! И рыжебородый господинъ такъ сильно погрѣсь мою руку, что всѣ кости и суставы заходили въ моемъ тѣлѣ.

— Честь имѣю рекомендоваться, — генералъ Н. Давно желалъ васъ видѣть. Много слышалъ... Ну-съ, что подѣлываете?

— Какъ видите, — стою за прилавкомъ и продаю книги.

— О...! и голосъ его превосходительства изъ скромнаго тенора вдругъ перешель въ густой порывистый басъ. —

— О-о! Промышленность, торговля, l'industrie!.. Этимъ скоро займется и наше, такъ называемое благородное, сословіе... Ахъ, да! кстати: въ которой степени сочувствуете вы современному вопросу?

— Какому вопросу?

— Фу, чертъ возьми! Разумѣется, вопросу объ освобожденіи крестьянъ. Говорите откровенно...

— Я радъ всему доброму, отвѣчалъ я.

— Я радъ... я радъ... Да что такое—я радъ? Недостаточно, милостивый государь!—И генераль схватилъ меня за бортъ сюртука —

— Вы, м. г., писатель! Вы должны имѣть европейскій взглядъ на эти вещи. L'esclavage à bas!.. Вы понимаете по-французски.

— Немножко.

— Да-съ, à bas, чертъ меня возьми! Въ этой груди—генераль ударилъ себя кулакомъ въ грудь—таится не одно благородное чувство. Еще до поднятія вопроса объ освобожденіи крестьянъ я принималъ не разъ самыя гуманныя мѣры къ улучшенію ихъ семейнаго и общественнаго быта. Вы читали что-нибудь въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ о Пенсильванцахъ и Каролинцахъ?.. Этотъ журналъ немножко англоманъ; впрочемъ, ничего: я его уважаю... Каролинцы, м. г., защищаютъ невольничество; но я... я въ душѣ Пенсильванецъ, жена у меня тоже Пенсильванка, эманципаторка въ высшей степени. Сынъ (онъ служитъ въ гвардіи)—одинъ изъ передовыхъ людей настоящаго времени... Что стоитъ дюжина этихъ красныхъ карандашей?

Я сказалъ цѣну.

— Прикажите ихъ для меня завернуть... Такъ то, м. г.! Я, напрімѣръ, на дняхъ отпустилъ на волю всѣхъ своихъ дворовыхъ, да вѣдь не дармоѣдовъ... вѣ-ѣ-ть!.. и генераль снова принялъ величественную позу и при концѣ каждой фразы билъ кулакомъ о прилавокъ.—Я отпустилъ кузнецовъ, слесарей, столяровъ, каретниковъ, поваровъ—замѣтьте, поваровъ,



черть возьми! Я гастрономъ, люблю хорошо поѣсть, — но свобода прежде всего... *la liberté*. Да здравствуетъ свобода!..

Личность этого господина сильно меня заинтересовала. Я старался продлить нашъ разговоръ; къ счастью, намъ никто не мѣшалъ.

— Ваши сосѣди-помѣщики, сказалъ я, я думаю, не очень-то долюбиваютъ васъ за ваши гуманныя идеи. — Генераль презрительно улыбнулся.

— Тѣфу! вотъ мой отвѣтъ сосѣдямъ. Мнѣ дорого мое внутреннее убѣжденіе въ правотѣ моего взгляда,—на все прочее я плюю. Я люблю *de tout mon coeur* нашъ добрый простой народъ и люблю, знаете, иногда съ нимъ сблизиться, поговорить. *Par exemple!* Подъ Новый Годъ я приказалъ своему старостѣ извѣстить моихъ крестьянъ, чтобы завтра они собрались все въ церковь, потому что я имѣю имъ нѣчто сказать. И вотъ наступилъ Новый Годъ. Заблаговѣстили къ обѣднѣ. Вхожу въ церковь; народу — яблоку негдѣ упасть: внѣ церкви десятки тысячъ,—сошлись, знаете, изъ окрестныхъ деревень. Ну, хорошо-съ. Отслушали мы съ женою литургію, отслушали молебень. Я подхожу къ священнику и говорю: „Батюшка, позвольте мнѣ сказать крестьянамъ нѣсколько словъ“! — Сдѣлайте милость, ваше пр—ство! — отвѣчалъ онъ. Я сталъ на амвонъ и обратился къ крестьянамъ: — „Поздравляю васъ, братцы, съ Новымъ Годомъ, желаю вамъ всякаго блага, желаю, чтобы исполнились ваши желанія. Вы желаете свободы,—свобода будетъ вамъ дана. Но воля и свобода — два понятія, совершенно противоположныя: свобода — это жизнь въ благоустроенномъ гражданскомъ обществѣ, огражденная закономъ; воля—это значить—это значить — птица летаетъ въ воздухѣ, звѣрь рыкаетъ въ лѣсу; черкесь грабить въ своихъ неприступныхъ ущельяхъ... Ну, и такъ далѣе“... Теперь я не могу припомнить всѣхъ подробностей, а вышло очень недурно, скажу безъ самохвальства. Барщину я теперь послалъ къ черту; у меня работаютъ одни вольнонаемные. Сдѣлайте одолженіе,—присылайте ко мнѣ конторщиковъ, бухгалтеровъ, управителей, агрономовъ,—всѣмъ дамъ мѣсто, всѣмъ дамъ жалованье! Свобода труда—первое условіе

народнаго благосостоянія. А пророс: у васъ есть въ продажѣ записныя прихода-расходныя книги?

— Есть.

— Покажите... хорошо; годятся. Цѣна?

Я сказалъ цѣну.

— Прикажите завернуть четыре книги. У меня, знаете, приходъ и расходъ каждаго зернышка записывается въ книгу. Я гляжу на этотъ предметъ съ экономической точки зрѣнія, — иначе не возможно. Какъ жаль, что у насъ такъ мало развита политико-экономическая наука! Познакомьтесь, пожалуйста, съ сочиненіями П. Фуше, Молиари, и пр. Вы найдете въ нихъ много хорошаго... Ну-съ, однако, что же вы не скажете мнѣ: что вы теперь подѣлываете, что пописываете?

— Право, ничего: все нездоровится, да и некогда.

Его превосходительство покачалъ головою.

— Эхъ, молодые люди, молодые люди! Какъ у васъ мало душевленія, этой внутренней силы, что называется *énergie*! Господи, Боже мой! Что если-бы я родился поэтомъ!.. А! какъ вы думаете?

И онъ вдругъ сдѣлалъ шагъ назадъ, закинулъ голову и забасиль, тыкая указательнымъ перстомъ въ воздухъ:

— Ты знаешь самъ,  
Какое время наступило;  
Въ комъ чувство долго не остыло,  
Кто сердцемъ неподкупно прямъ..

— Ну, и проч. помните?

Проснись, громи пороки смѣло!

— Да, громи ихъ, чертъ побери! — И генераль топнулъ ногой. Вотъ ваше назначеніе!.. Позвольте, печаянно вспомнись... Вы знаете помѣщика С-ва?

— Знаю немного.

— Комедія! Ей Богу, комедія. Съ нимъ совершилось нѣчто въ родѣ Овидіевыхъ превращеній. Представьте: умѣйшій человекъ, кандидатомъ кончилъ курсъ въ университетѣ. До поднятія вопроса объ освобожденіи крестьянъ былъ про-

грессиясть въ полномъ смыслѣ слова, врагъ отсталости, рутины, застоя, etc., etc... Но... заговорили о свободѣ крестьянъ, взялись за святое дѣло ихъ освобожденія,—и нашъ горячій прогрессиясть, нашъ глапатай великихъ идей— ррр!!!

Генераль зарычалъ на подобіе голодной собаки, у которой отнимаютъ кость, даже фізіономію, насколько умѣлъ, сдѣлалъ собачью.

— Вотъ вамъ, продолжалъ онъ, и современные люди! Правду сказалъ Лермонтовъ:

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина  
Потомокъ оскорбить презрительнымъ стихомъ...

— Parbleu! Стоить, ей-ей стоить!.. Теперь спрашивается: откуда взялась у насъ эта нетвердость убѣжденій? Отчего она? оттого, что воспитаніе у насъ варварское; оттого, что depuis l'enfance, такъ сказать, съ матернимъ молокомъ мы всасываемъ въ себя произволь; оттого, что безправіе... Да, вотъ вамъ примѣръ превращенія. Я служилъ полковникомъ въ штабѣ. Замѣьте—служилъ! т. е. былъ не цифрой безъ значенія, а старался принести возможную пользу своею дѣятельностью. Вы, впрочемъ, не подумайте, что я говорю все это изъ хвастовства... Dieu m'en préserve... Вотъ, знаете, и дѣлаешь, бывало, наблюденія. Возьмешь хоть вахмистра. Вахмистръ, sans doute, бывший когда-то, мужикомъ, любимъ и уважаемъ подчиненными ему солдатами, обращался съ ними кротко, входилъ въ ихъ нужды и проч. Но едва этотъ вахмистръ, эготъ выслужившійся солдатъ, получаетъ офицерскіе эполеты,—баста! Превращеніе!.. У него является напыщенность, надменность, онъ дѣлается извергомъ, варваромъ, тираномъ, le tyran, да-съ—le tyran...

Вѣроятно его пр — ству понравилось это слово: онъ повторилъ его не разъ и съ какимъ-то особенно носовымъ протяжнымъ звукомъ—le-ty-ra-an!

— Однако я съ вами заговорился, заключилъ генераль; до свиданія! Au revoir, M—eur Nikitin, au revoir!.. И его превосходительство оставилъ меня, насвистывая какую-то ве-

селую пѣсенку.—Съ тѣхъ поръ мы больше не видались; а право, жаль!“

Мысль о поѣздкѣ въ Москву и Петербургъ давно занимала Никитина, особенно съ того времени, когда Второвъ покинулъ Воронежъ. Осуществить эту мысль Никитинъ долго не имѣлъ никакой возможности: не было ни денегъ, ни здоровья. Лѣтомъ 1860 г. запасъ здоровья оказался достаточнымъ: наличныхъ денегъ у Никитина почти никогда не водилось, потому что они всѣ уходили на магазинъ; но нашлись и деньги. Желаніе повидаться съ Второвымъ „отвести съ нимъ душу“, необходимость личныхъ знакомствъ по дѣламъ торговли,—вотъ что влекло его въ столицы. „Быть можетъ, писалъ онъ къ Второву, еще въ апрѣлѣ, подъ влияніемъ новыхъ впечатлѣній, силы мои укрѣпились-бы въ продолжительной дорогѣ. Главное, я увѣренъ, что я успѣлъ-бы въ Москвѣ или въ Петербургѣ вступить въ сдѣлку съ кѣмъ либо изъ книгопродавцевъ, промѣнявъ или продавъ ему моего „Кулака“, а потребность на него въ Воронежѣ сильная“. — Наконецъ поѣздка состоялась. Въ началѣ іюня Никитинъ отправился въ Москву на почтовыхъ. Теперь можно назвать анекдотомъ, что человекъ, подобный Никитину, съ его образованіемъ и все же кое-какими средствами (мы говоримъ о времени съ 1856 г.), прожилъ весь вѣкъ, не зная другого города, кромѣ Воронежа, не заѣзжая отъ него далѣе Задонска. Путешествіе очень пріятно подѣйствовало на Никитина; но Москва ему не особенно понравилась; это общее впечатлѣніе, которое испытываютъ жители нашихъ южныхъ губерній, гдѣ, какъ извѣстно, губернскіе города принадлежатъ къ числу лучшихъ, многолюднѣшихъ и богатѣйшихъ въ Россіи, гдѣ они создавались не столько по московскому, сколько по петербургскому типу. Этимъ-же лѣтомъ, во возвращеніи Никитина, и я собирался въ столицы; вотъ почему Никитинъ распространяется въ подробностяхъ о дорогѣ въ приводимомъ ниже письмѣ отъ 13 іюня:

„Ну вотъ, мой милый другъ, я и въ Москвѣ! Сперва скажу вамъ нѣсколько словъ о дорогѣ вообще, о томъ, какъ я ѣхалъ; потомъ уже передамъ вамъ впечатлѣнія, произведенныя на меня

Москвою. Ъзда по шоссе отъ Воронежа до Задонска похожа скорѣе на катанье, нежели на путешествіе, которое обыкновенно представляется намъ соединеннымъ съ извѣстными неприятностями и неудобствами. Недостатка въ лошадахъ вплоть до Москвы не встрѣчается нигдѣ, хотя подъ Москвою гоньба имъ бываетъ страшная; такъ мнѣ говорили, что съ одной предпоследней станціи отправляется въ продолженіе сутокъ съ разными проѣзжающими до трехъ сотъ лошадей. Станціонные дома, по мѣрѣ приближенія ихъ къ столицѣ, становятся все лучше и лучше; нѣкоторые снабжены мягкой мебелью, изысканнымъ буфетомъ и т. п. Въ дорогѣ, право, много хорошаго. Вы не можете себѣ вообразить, какъ весело ѣхать съ ухарскимъ ямщикомъ! Надвинувъ набекрень шляпу, сидитъ онъ на передкѣ и слегка поводитъ кнутомъ. Лошади бѣгутъ скорою рысью, а онъ посвистываетъ и приговариваетъ: „Ну, ну! выноси! Эхъ, вы!“ Вотъ крутая гора. Молодецъ подобралъ возжи, влѣпилъ по нѣскольку ударовъ кнута каждому коню, прикрикнулъ: „Эхъ, выручай! Грабятъ!“ — и бойкая тройка понеслась, окруженная облакомъ густой пыли. Встрѣчающіеся извозчики даютъ вамъ дорогу; испуганная богомолка торопливо отбѣгаетъ въ сторону; сидѣвшій на канавкѣ грачъ улетаетъ на дальнія пашни. Между тѣмъ кнутъ все чаще и чаще взвывается въ воздухѣ; только и слышна трескотня колесъ по мостовой: ттрр... тукъ, тукъ тукъ!.. А вокругъ такая гладь, такіе чудные переливы свѣта и тѣни по зелени волнующейся ржи!.. Въ одной изъ тульскихъ гостинницъ вы можете очень не дурию пообѣдать за умѣренную плату; въ Серпуховѣ обѣдъ ни то ни се; но зато видъ Оки превосходенъ. На станціяхъ почты нигдѣ нѣтъ холодной воды; хоть умирайте отъ жажды; и вотъ туть-то, проѣхавъ полтора ста верстъ въ сутки, понимаешь вполне, что за благотворной напитокъ чай! Но предупреждаю васъ, если вы хотите ѣхать съ нѣкоторымъ удобствомъ, и если сколько-нибудь дорожите своимъ душевнымъ спокойствіемъ, — берите съ собою какъ можно болѣе денегъ. Проклятыя слова: „пожалуйте на водку“ — на разстояніи пятисотъ верстъ будутъ раздаваться въ вашихъ ушахъ съ утра до вечера, съ вечера, до утра. Вамъ придется платить

за всякіе пустяки, за самую ничтожную мелочь. Въ Ефремовѣ взяли съ меня за перетяжку колесъ 3 р. 90 к.; въ Воронезѣ они стоили бы не болѣе 75 коп., что положительно мнѣ извѣстно. На послѣдней станціи подъ Москвою сломался шкворень, за сварку котораго я заплатилъ 1 р. 50 коп., тогда какъ его можно пріобрѣсти за 75 к. новый. Завяжутъ или развяжутъ какую-нибудь веревку на вашемъ экипажѣ, — дайте на водку; помажутъ колеса, кромѣ положенныхъ за это 12 коп., — опять на водку... Вѣрите-ли, наконецъ приходишь въ бѣшенство, когда является какая-нибудь глупая рожа старосты, подстаросты, дворника, почтоваго сторожа и т. д. и т. д. и ни за что, ни про что, съ наглѣйшею улыбкой, провозноситъ свое обычное: „пожалуйте на водку!“ Короче, если вы въ дорогѣ будете кротки и терпѣливы, васъ оберутъ какъ липку... Въ Москву я пріѣхалъ вчера въ четвертомъ часу утра. Особеннаго впечатлѣнія видъ Москвы на меня не произвелъ; но Кремль—чудо какъ хорошъ! Я уже успѣлъ побывать въ Успенскомъ Соборѣ, видѣлъ гробы великихъ князей, Кремлевскій царскій дворецъ, садъ, французскія пушки, знаменитый колоколь и проч. и проч. Пестрота, шумъ, движеніе до того мнѣ были новы, что съ перваго раза я рѣшительно потерялся, и попривыкъ ко всему этому только къ вечеру. Квартира моя находилась въ 94 № гостиницы братьевъ Чижевыхъ, не далеко отъ Кремля, гдѣ лавкамъ и жильцамъ нѣтъ числа. На книжныя лавки я успѣлъ взглянуть только мелькомъ; хорошихъ немного, двѣ—три,—остальныя похожи на балаганы. Вышелъ VII томъ Бѣлинскаго—вотъ вамъ новость. У Берга (Ө. Н.) и Бартенева (П. И.) думаю побывать сегодня. Право, не знаешь, куда кинуться; хотѣлось бы познакомиться и съ тѣмъ, и съ другимъ, и съ третьимъ.—Прикащикъ Щепкина принялъ меня радушно; не знаю, каково-то приметъ меня хозяинъ, котораго никакъ не поймешь, потому что онъ является въ магазинъ на полчаса, не болѣе.—Еще два слова о дорогѣ. Берите подорожную такъ же, какъ и я, т. е., отъ станціи Николаева до станціи Лопатковой и обратно, да смотрите, чтобы экипажъ вашъ былъ крѣпокъ и прочень, иначе вы проклянете свою судьбу, когда онъ начнетъ разлагаться на

свои составныя части, какъ это сдѣлалось съ моимъ. Ахъ, если бы Богъ далъ мнѣ успѣшно и счастливо окончить свои торговныя операціи!“

Собираясь познакомиться и съ тѣмъ и съ другимъ, Никитинъ не познакомился ни съ кѣмъ ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ. Вотъ что пишетъ въ своей запискѣ Второвъ о пребываніи Никитина въ Петербургѣ:

„Въ Петербургѣ онъ остановился у меня на Бассейной, домъ Аничкова. Нечего и говорить, какъ я обрадовался его прїѣзду. Прожилъ онъ здѣсь дней двѣнадцать. Большею частію онъ хлопоталъ по своимъ коммерческимъ дѣламъ, и потому водился преимущественно съ книгопродавцами, оптовыми торговцами канцелярскихъ матеріаловъ и проч. Впрочемъ, такъ какъ время было лѣтнее, то Петербургъ былъ по обыкновенію пустъ,—все разѣхалось по дачамъ, особенно литераторы, какъ люди болѣе свободныя, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, которые не обязаны службою, забрались какъ можно подалѣе отъ Петербурга. Поэтому Никитину не удалось видѣть, между прочимъ, Майкова, который жилъ, кажется, въ дальнемъ Парголовѣ, верстъ за 20 отъ Петербурга, куда не совсѣмъ удобно добраться; а Майкова видѣть ему очень хотѣлось. Въ промежуткахъ отъ дѣлъ мы осматривали здѣшнія достопримѣчательности, ѣздили по ближайшимъ окрестностямъ Петербурга,—тутъ же кстати случился праздникъ петербургскихъ нѣмцевъ въ Ивановъ день, на такъ называемомъ Кулербергѣ,—и его мы посѣтили. Оставалось съѣздить подальше, и я уговаривалъ Никитина побывать хотя въ Петергофѣ—прокатиться хотя по морскому заливу, посмотрѣть на фонтаны. Но его заботили дѣла по магазину въ Воронежѣ; какъ нарочно прикащикъ замедлил извѣстіями,—и вотъ мой Иванъ Саввичъ, какіе ни сулилъ ему я соблазны, заторопился и улепетнулъ“.

Итакъ, мысль о книжномъ магазинѣ не покидала Никитина ни въ Москвѣ ни въ Петербургѣ, хотя онъ и ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы развлечься, забыть на время матеріальныя заботы: но онѣ, какъ нарочно, не забывались и издали еще болѣе его тревожили,—такъ всегда бываетъ, когда мечтаешь измѣрять жизнь придуманной мѣркой, назначая часы для труда и для

покоя. Кромѣ торговыхъ связей и знакомствъ (указываемъ на домъ Салаевыхъ, извѣстныхъ книгопродавцевъ московскихъ), Никитинъ не завелъ другихъ, потому что и не могъ, и не хотѣлъ заводить. Лѣтняя пора, кратковременное пребываніе въ столицахъ, невыносимые жары, тревожное состояніе, которое испытываетъ человѣкъ, очутившійся въ первый разъ въ большомъ и шумномъ городѣ,—все это мало благопріятствовало заведенію новыхъ знакомствъ. Да не хотѣлось и заводить ихъ Никитину... А что, вы познакомились съ нашими литераторами?—спрашивали Никитина по возвращеніи его въ Воронежъ. „Съ какими литераторами! отвѣчалъ онъ вопросомъ, добавляя: Что мнѣ въ нихъ,—и что имъ во мнѣ!“ Кулакъ, кулакъ! воскликнулъ бы Придорогинъ, если бы дожилъ до лѣта, 60-го года. Кулакомъ, пожалуй, назвалъ бы себя назадъ тому 5—6 лѣтъ и Никитинъ, еслибы могъ представить себя въ теперешнемъ своемъ положеніи. Онъ въ столицахъ! Онъ въ центрѣ умственного и литературнаго движенія! И что же?.. вмѣсто того, чтобы являться восторженнымъ пилигримомъ передъ свѣтилами литературы, чтобы слѣшить къ нимъ на поклоненіе (и онъ поспѣшилъ бы въ сороковыхъ годахъ), онъ молча и непривѣтливо проходитъ ихъ мимо! Онъ ищетъ литературнаго товара, и знать не хочетъ его производителей. Что же это такое?.. Гордость или сухость сердца, или же „кулачничество“, такъ пугавшее Придорогина? Ни то, ни другое и ни третье; отчасти, если хотите, по немногу всего этого; но главное: и послѣдній кумиръ разбивался,—утрачивалась вѣра въ силу и значеніе литературы!..

Живя въ провинціи, въ отдаленіи отъ центровъ науки и литературы, однако-жъ въ городѣ, что-то среднемъ между ними, живя уже не въ берлогѣ, не на постояломъ дворѣ, а на одномъ изъ бойкихъ провинціальныхъ пунктовъ, хозяйничая, такъ сказать, въ русской умственной лавочкѣ, — Никитинъ многое узналъ на дѣлѣ, что прежде было только въ гаданіи, ко многому присмотрѣлся; и свойственное его уму критическое направленіе развилось въ немъ очень быстро. Никитину минуло 35 лѣтъ; юность прошла, съ ея увлеченіями и надеждами; настала пора зрѣлаго мужества, воспитаннаго въ



суровой школь. Если не сурово, то можетъ черезчуръ требовательно смотрѣль Никитинъ на современную жизнь, смотрѣль безъ восторга и фразъ. Къ общему движенію, данному уничтоженіемъ крѣпостного права, Никитинъ отнесся восторженно; но затѣмъ, когда жизнь пошла по новому пути, когда явились неизбѣжныя уклоненія, промахи, несостоятельность тѣхъ или другихъ наличныхъ силъ передъ разными запросами жизни, вызванными преобразованіемъ, Никитинъ не могъ не смутиться. Никитинъ понавлялъ, что настаетъ новое время, пришла иная пора. Чувствуя въ себѣ полноту силъ, онъ смущался вопросомъ, который теперь задавала сама жизнь: годятся ли и на что именно наличныя силы? Никитинъ былъ сыномъ другого времени, послѣднимъ продуктомъ нашей гражданственности, предшествующей эпохѣ освобожденія крестьянъ. Воспитанный въ школь западниковъ, процвѣтавшей въ 40-хъ годахъ, Никитинъ въ эту пору своей жизни сохранилъ отъ нихъ лишь любовь къ просвѣщенію, уваженіе къ наукѣ и литературѣ и твердую вѣру въ ихъ цивилизующее значеніе. Мѣщанинъ и дворникъ, онъ, не смотря на неправильное свое развитіе, зналъ русскую жизнь безконечно реальнѣе тѣхъ, которые сентиментально къ ней относились. За послѣдніе три, четыре года, выйдя изъ кружка, изъ замкнутости, державшей его всю жизнь, Никитинъ и узналъ столько, и выросъ на столько, какъ другимъ это не удастся во всю жизнь. И теперь еще можно, пожалуй, спорить о талантѣ Никитина, но быстрый ростъ развитія его духовныхъ и литературныхъ силъ (каковы бы ни были эти послѣдніе) по истинѣ былъ изумительнъ. Если болѣзненный организмъ позволялъ ему страстное отношеніе къ книжной торговлѣ, къ „барышу“, то въ то-же самое время появлялось и страстное отношеніе къ литературной дѣятельности, — являлась увѣренность въ своихъ собственныхъ силахъ, хотя Никитинъ никому этого не высказывалъ. Но силы эти пожирала болѣзнь; въ силахъ этихъ, ему казалось, не нуждалась тогдашняя литература. Уваженіе къ русской жизни, желаніе просто и прямо подойти къ ней, что такъ ярко обнаружилось въ направленіи „Русской Бесѣды“, привлекло къ себѣ вниманіе Никитина: вотъ почему онъ съ

такую охотою помѣщаль въ этомъ журналѣ свои произведе-  
нія. Онъ сочувствовалъ направленію этого журнала потому,  
что оно было въ его душѣ, какъ во всякомъ живомъ русскомъ  
человѣкѣ. Но какъ всякаго живого и просвѣщеннаго человѣка,  
Никитина возмущали крайности новыхъ литературныхъ на-  
правленій: въ крайностяхъ онъ видѣлъ духовную пустоту,  
отсутствіе въ человѣкѣ внутренняго содержанія. Въ Никити-  
нѣ не было этой пустоты: въ грубой формѣ дворника, въ не-  
совсѣмъ изящномъ образѣ купца, было содержаніе полное,  
былъ человѣкъ съ цѣльнымъ нравственнымъ обликомъ, чело-  
вѣкъ глубоко реальный, въ одно и то-же время думающій и  
о барышѣ, и о возвышенныхъ идеалахъ. Подъ вліяніемъ та-  
кихъ идеаловъ возросъ Никитинъ; понятно, что онъ пи-  
талъ къ нимъ благоговѣйное уваженіе. Между тѣмъ Ники-  
тинъ не могъ не замѣтить, что идеалы стали разбиваться и  
мельчать, а вмѣстѣ съ этимъ стала мельчать и литература,  
при всемъ кажущемся оживленіи, при множествѣ чуть не  
ежемѣсячно появляющихся новыхъ журналовъ. И что особен-  
но смущало Никитина,— онъ не видѣлъ разумной, логической  
необходимости въ этомъ измельчаніи; ему казалось оно искус-  
ственнымъ, попятнымъ движеніемъ, чѣмъ-то вродѣ самоубій-  
ства. Онъ затруднялся въ опредѣленіи наступающаго времени,  
до полнѣйшаго развитія котораго, впрочемъ, не дожилъ. Ни-  
китинъ очень хорошо зналъ, что такое были у насъ западники  
и славянофилы, чѣмъ сдѣлался наконецъ самъ онъ; зналъ, что  
отрицаніе значительною долею входило въ обѣ эти школы; но  
ни одна изъ нихъ не дѣлала изъ отрицанія своего идеала, не  
порабощала духа грубой матеріи. Теперь-же онъ увидѣлъ нѣ-  
что новое—новый видъ отрицанія, который возмущалъ его  
глубоко: онъ увидѣлъ разгулъ отрицанія безъ теплой вѣры въ  
какой-либо идеалъ, свой или чужой. Литературное измельчаніе,  
бессиліе и робость наличныхъ дарованій передъ современными  
вопросами, бессиліе создать типы, на которое указала сама  
жизнь, журнальное торгашество, съ которымъ былъ хорошо зна-  
комъ Никитинъ, получавшій груды писемъ отъ разныхъ изда-  
телей, грамотныхъ и малограмотныхъ,— все это возбуждало  
желчь въ Никитинѣ до такой степени, что онъ рѣшился было

совсѣмъ не печатать своихъ стихотвореній. Иначе относился Никитинъ къ живымъ лицамъ, носящимъ на себѣ знаменіе переходной эпохи. Онъ глубоко скорбѣлъ объ ихъ душевномъ надломѣ, тѣмъ болѣе ужасномъ, что подъ нимъ ровно ничего не оставалось не тронутымъ. Его ужаснула эта пустота; но онъ не отнесся къ ней злобно. Вѣрный до конца себѣ, Никитинъ былъ безпощаденъ лишь къ отрицанію того, что онъ считалъ нашимъ спасеніемъ—науки и литературы. Никитинъ уже умиралъ въ то время, когда начались студенческія исторіи; въ чахоточномъ бреду онъ вспоминалъ имена нѣкоторыхъ знакомыхъ ему юношей, которыхъ онъ любилъ, и которые, увы! погибли потомъ безвозвратно. Повторяемъ, въ Никитинѣ было слишкомъ много здоровыхъ силъ для того, чтобы не дойти до печальнаго сознанія въ своей бесполезности, чтобы сказать: нашъ вѣкъ прошелъ! Онъ былъ убѣжденъ совершенно въ противное, но глубоко опечалился тѣмъ, когда сталъ замѣчать, что, вмѣсто здоровыхъ, опять появляются на сцену пораженные проказою люди. До полного развитія болѣзни Никитинъ не дожилъ... Вотъ что онъ пишетъ однако, между прочимъ, въ письмѣ къ Второву:

„Тошно слушать эти заученные возгласы о гласности, добрѣ, правдѣ и прочихъ прелестяхъ. Царь ты мой небесный! Исключите два-три человѣка, у остальныхъ въ перспективѣ карманныя блага, хорошій обѣдъ, вкусное вино etc. etc. А знаете, я прихожу къ убѣжденію, что мы преподленькіе люди, едва ли способные на какой-либо серьезный, обдуманый требующій терпѣнія и самопожертвованія трудъ. Право такъ!...“

Но, несмотря на все это, Никитину вообще хорошо жилось въ шестидесятомъ году. Литературный авторитетъ его возрасталъ не въ одномъ Воронежѣ. Извѣстный Аполлонъ Григорьевъ, завѣдывавшій критическимъ отдѣломъ въ „Русскомъ Словѣ“ (Купелевскомъ), съ восторгомъ относился къ Никитину и называлъ его стихотворенія „жемчужинами“. Все это, естественно, возбуждало литературную производительность Никитина и онъ, чаще чѣмъ прежде, брался за перо. Кромѣ поѣздки въ столицу, остальное время года прошло въ занятіяхъ, которыя и не предполагались, и были какъ бы не свое-

временными. Въ это время мы съ Никитинымъ задумали издание періодическаго сборника. Убѣдившись въ сочувствіи къ нашей мысли со стороны нѣкоторыхъ, преимущественно провинціальныхъ, литераторовъ, мы рассчитывали выпустить на первый разъ двѣ книжки. Средства для изданія охотно и безкорыстно предложилъ товарищъ мой по службѣ. П. П. Глотовъ. Мы горячо принялись за дѣло. Все свое свободное время Никитинъ посвятилъ мнѣ, т. е., сборнику, котораго я былъ редакторомъ. Онъ не только отдалъ въ него все, что набралось у него непечатаннаго за послѣднее время, но даже принялся за трудъ, который въ его положеніи можно назвать подвигомъ,—за составленіе повѣсти, названной имъ потомъ „Дневникъ Семинариста“; представить картину изъ семинарской жизни, которую Никитинъ зналъ очень хорошо, было давнишнею его мыслию. Не принимая никакого участія ни въ редакціи, ни въ изданіи сборника, Никитинъ тѣмъ не менѣе былъ душою этого предпріятія. Мои субботніе вечера оживились и стали вполнѣ литературными. Литературное предпріятіе возбудило и литературную производительность; мнѣ особенно пріятно вспомнить здѣсь о сочувствіи къ нему Д. И. Каченовскаго, П. С. Соханской (Кохановской) и воронежскаго сельскаго духовенства. П. П. Глотовъ, И. И. Зиновьевъ, А. С. Суворинъ и Н. Н. Чеботаревскій были постоянными посѣтителями этихъ субботнихъ вечеровъ, не говоря о двухъ-трехъ случайныхъ гостяхъ. Здѣсь читалось все написанное своими и все присылаемое изъ другихъ мѣстъ; спорили, рассуждали, рѣшали, что принимать и чего не печатать. Здѣсь Никитинъ, бодрый и здоровый, являлся совсѣмъ инымъ человѣкомъ. Все прежнее, дворническое и болѣзненное, съ него какъ рукой сняло; его шуткамъ и островамъ не было конца; его взглядъ на вещи сталъ необыкновенно трезвъ: его жизненные силы казались неисчислимыми. Читалъ Никитинъ, какъ мы говорили, мастерски и въ комическихъ мѣстахъ очень натурально лицедействовалъ. Въ „Дневникѣ Семинариста“ есть нѣсколько такихъ сценъ, особенно тѣ, гдѣ является личность ректора, списанная съ натуры. Въ это же время покойный поэтъ съ какою-то особенною охотой любилъ дѣлать самого себя пред-

метомъ легкой, но остроумной насмѣшки, — свое скряжни-  
чество, свой костюмъ, давно требующій обновленія, свою  
свѣтскость, свою влюбчивость, свой французскій языкъ, на  
которомъ онъ болталъ неумолкаемо, свою страсть къ чаю,  
котораго онъ осушалъ по нѣскольку стакановъ, свой крѣпкій  
русскій организмъ, вышедшій здоровымъ и невредимымъ изъ  
десятилѣтняго плѣна „нѣмецкой діэты“. Еще запасъ неисто-  
щимыхъ силъ, думалось, хранился въ этомъ человѣкѣ! Отку-  
да взялась въ немъ такая вѣра и въ себя, и въ жизнь! Такъ  
думалось мнѣ, но я не могъ тогда замѣтить, что это была  
послѣдняя вспышка жизни, пламя, блеснувшее передъ тѣмъ,  
какъ погаснуть. Душа Никитина и въ это время была не-  
здорова: въ ней появилась новая рана, которую онъ отъ меня  
тщательно скрывалъ; возбужденная литературная работа, изъ  
чисто объективнаго очерка превратившаяся въ собственную  
исповѣдь, въ повѣсть собственныхъ страданій, возбужденная  
искусственно жизненная напряженность, — все это дорого  
обошлось Никитину. „Я взялся-было, пишетъ Никитинъ къ  
Второву, отъ 11 Ноября, написать для Воронежскаго Сбор-  
ника „Дневникъ Семинариста и листовъ шесть мельчайшимъ  
почеркомъ уже написалъ; но книжная торговля такъ погло-  
щаетъ все мое время, что едвали я успѣю сдѣлать что-либо  
путное. А жаль! Изъ „Дневника“ могла бы выйти недурная  
вещь!“ Или вотъ еще отрывокъ отъ 26 Декабря того же  
года: „Время проходитъ у меня скверно. Въ магазинѣ ме-  
чусь какъ угорѣлый, а другого исхода нѣтъ, нужно метаться!  
Думалъ сдѣлать что-нибудь на праздникахъ, но, увы! кутежь,  
и проч.—вы знаете. Иногда такая нападаетъ тоска, что въ  
пору бритвой хватить по горлу! Ну, да посмотримъ! Бился  
больше,—авось отдохну. Посылаю вамъ два стихотворенія...  
„Портной“—это фактъ, случившійся на дняхъ. Я зналъ его  
лично; но я, къ сожалѣнію, не зналъ о его страшномъ по-  
ложеніи. Вотъ что бываетъ на свѣтѣ, а нашъ братъ еще  
смѣетъ жаловаться!“ Когда Никитинъ докончилъ „Дневникъ  
Семинариста“, у него показалась горломъ кровь. Послѣднюю  
сцену, смерть Яблочкина я превосходное стихотвореніе, ко-  
торымъ заканчивается повѣсть, Никитинъ прочелъ мнѣ въ

своемъ книжномъ магазинѣ; по нездоровью онъ нѣсколько дней не былъ у меня. „Докавалъ меня проклятый Семинаристъ!“ воскликнулъ Никитинъ, приступивъ къ чтенію. Съ первыхъ же словъ смертная блѣдность покрыла его лицо, глаза его загорѣлись знакомымъ мнѣ сухимъ пламенемъ; красныя пятна зардѣлись на щекахъ; голосъ дрожалъ, порывался и замеръ какъ-то страшно на словахъ:

... о жизни поконченъ вопросъ...  
Больше неужно ни пѣсень, ни слезъ!

Такъ написать могъ только умирающій; такъ прочесть можно было только передъ открытой могилой!...

Но кровохарканіе прошло; Никитинъ оправился и въ новый 1861 годъ вступилъ довольно бодро. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ мы вмѣстѣ встрѣчали новый годъ у меня на квартирѣ, вмѣстѣ проводили обыкновенно и другіе нѣкоторые и, какъ на примѣръ, 26 Сентября и 8 Ноября, по разъ заведенному порядку. Нашъ сборникъ, который мы должны были назвать „Воронежской Бесѣдой“, въ отличіе отъ другого сборника, въ то же самое время затѣяннаго и потомъ изданнаго воронежскимъ книгопродавцемъ Горденинымъ, печатался уже въ Петербургѣ; слѣдовательно, литературная горячка стала проходить, и жизнь вступала въ свою обычную колею. Никитинъ, повторяемъ, былъ бодръ попрежнему, былъ хорошъ такъ же, какъ и въ прошломъ году. Книгопродавческое дѣло, можно сказать, горѣло въ его рукахъ; литературная производительность не забывалась. Въ это время онъ думалъ возвратиться къ своему „Городскому Головъ“, давно начатой, но неоконченной повѣсти,—и, кажется, возвращался; но по словамъ его, порвалъ все написанное и теперь и прежде; „дрянь!“ отвѣчалъ Никитинъ на укоръ пріятелей. Ни одной строчки этой „дряни“ мы не нашли въ бумагахъ поэта послѣ его смерти. Еще по осени 1860 года Никитинъ перевелъ свой книжный магазинъ въ новое, болѣе просторное и свѣтлое помѣщеніе, въ домъ Кирсанова. Магазинъ еще сталъ лучше высматривать,—а Никитину этого было и до-

вольно, чтобы ничего не пожалѣть,—ни труда, ни денегъ, для улучшенія и красоты своего милого дѣтища. Рѣшено было по лѣту опять ѣхать въ Петербургъ и Москву для закупки разныхъ товаровъ; припаслись уже для этого деньги... 10 марта, былъ объявленъ въ Воронежѣ знаменитый манифестъ 19-го Февраля. День былъ чудесный: весенне солнышко такъ пріятно пригрѣвало! звонили въ колокола. Народъ слушалъ манифестъ и—и оставался глубоко спокойнымъ: ничего, похожего на какія-либо заявленія и манифестаціи!.. Никитинъ, какъ и многіе въ ту пору, восторженно привѣтствовавшіе свободу двадцати милліоновъ, не понялъ смысла этого глубокаго покоя...

По веснѣ Второвъ отправился за границу. 3-го Апрѣля Никитинъ писалъ къ нему прощальное (и послѣднее) письмо съ самыми теплыми пожеланіями здоровья и всего лучшаго. Въ этомъ же письмѣ онъ извѣщалъ своего друга, что въ Воронежѣ 9-го Апрѣля будетъ второй литературный вечеръ, въ которомъ и онъ приметъ участіе, что этотъ вечеръ устраивается въ пользу воскресныхъ школъ, и затѣмъ будетъ приступлено къ учрежденію „Общества Распространенія Грамотности“. Вслѣдъ затѣмъ была, дѣйствительно, учреждена при губернской гимназій воскресная школа. Никитинъ былъ въ числѣ ея основателей. Въ устройствѣ въ Воронежѣ женской гимназій онъ принималъ самое дѣятельное нравственное участіе, благодаря своимъ отношеніямъ къ городскому обществу и гр. Д. Н. Толстому. Въ письмѣ, отъ 3-го Апрѣля, Никитинъ пишетъ Второву: „Я отправился бы въ Петербургъ сію же минуту, если бы дѣло не остановилось за компаньономъ, котораго никакъ не могъ отыскать“. Увы! черезъ мѣсяць онъ слегъ въ постель и болѣе уже не всталъ съ нея!..

Весну Никитинъ встрѣчалъ по обыкновенію въ загородномъ домѣ А. Р. Михайлова, почти на единственной въ Воронежѣ прелестной дачѣ, съ паркомъ, садомъ и виноградникомъ. Первое Мая провелъ онъ въ семействѣ Михайловыхъ и, гуляя поздно вечеромъ въ саду, простудился. Образовалось небольшое воспаленіе печени и разстройство желудка. Никитинъ слегъ въ постель и 3-го Мая, извѣщая меня о своемъ не-

здоровьѣ, просилъ непременно навѣстить его вечеромъ. Я пришелъ.

— Ну, что—какъ здоровье? спросилъ я.

— Да что, братъ, скверно! Садитесь и поговоримте.

Я сѣлъ.

„Я думалъ сдѣлать духовное завѣщаніе“, продолжалъ Никитинъ взволнованнымъ голосомъ. Я всмотрѣлся въ лицо его, поговорилъ о причинѣ болѣзни, и ничего опаснаго, тѣмъ мѣнѣе рокового я не замѣтилъ. Легкое воспаленіе печени и разстройство желудка были обычными ежегодными недугами Никитина, къ которымъ давно всѣ привыкли. Я совершенно успокоился на счетъ больного, а потому легко и скоро и его успокоилъ. Онъ, видимо, былъ доволенъ, хотя тутъ же прибавилъ:— „Однако я себя скверно чувствую!“ Съ тѣхъ поръ о духовномъ завѣщаніи не было рѣчи.

Если бы мы рассказали вымышленную повѣсть, читатель былъ бы вправѣ требовать отъ насъ опущенія занавѣса передъ смертнымъ одромъ умирающаго, передъ картиной агоніи, невыносимой для эстетическаго чувства. Въ повѣсти о жизни дѣйствительно существовавшаго и дѣйствительно многострадательнаго лица неумѣстны такія эстетическія требованія: здѣсь повѣствованіе неизбѣжно должно завершиться картиною смерти. Но мы понимаемъ эстетическую потребность въ отдохновеніи для нашихъ читателей. Мы очень рады, что имѣемъ возможность дать имъ такой отдыхъ, необходимый для того, чтобы спокойно подойти къ развязкѣ нашего разсказа. Мы очень рады, что имѣемъ возможность доказать справедливость отчасти избитой фразы: „жизнь есть романъ и даже интереснѣе любого романа“. И жизнь Никитина окончилась романомъ и этотъ романъ, Романъ въ письмахъ, мы представляемъ нашимъ читателямъ. Мы знали одного необыкновеннаго даровитаго и еще молодаго человѣка, замѣчательнаго юриста, съ душою истинно поэгической \*). Этотъ молодой человѣкъ былъ обманутъ жизнію, озлобленъ, особенно противъ самого себя, противъ всего похожаго на чувство.

---

\*) В. И. Малышевъ, сынъ извѣстнаго доктора, дѣчливаго Кольцова.



Безпощаднымъ юморомъ и сарказмомъ онъ казнилъ малѣйшее проявленіе какого бы то ни было чувства въ себѣ и въ другихъ. Его съѣла злая чахотка; но онъ умеръ, окруженный цвѣтами и убаюканный звуками Пушкина и Лермонтова. Онъ не отпускалъ отъ себя сестеръ, и онѣ, по его требованію, услаждали его зрѣніе цвѣтами, а слухъ звуками лучшихъ русскихъ поэтовъ. Нѣчто подобное случилось съ И. С. Никитинымъ.

Мы уже говорили о чувствѣ, которое возбуждала въ Никитинѣ одна дѣвушка, принадлежавшая къ образованному купеческому семейству. Никитинъ ломалъ и давилъ въ себѣ это чувство всячески, однако же не подавилъ совершенно, и какъ будто берегъ для чего-то. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ казалось. Даже въ его шуткахъ и юмористическихъ выходкахъ, въ родѣ слѣдующей—

Увы, несчастный риѳмоплетъ,  
Не для тебя она цвѣтеть!

я предполагалъ неискренность и даже надѣялся, особенно съ 1860 г., когда здоровье Никитина совершенно поправилось, и торговля пошла отлично, когда онъ терпѣливо выслушивалъ совѣты о томъ, какъ бы ему лучше устроить свою домашнюю жизнь, какъ устроить отца, благо теперь и средства есть и здоровья достаточно,—въ эту пору, говорю, мнѣ казалось, что Никитинъ покончить свой романъ предложеніемъ руки. Но я ошибся. Какъ-то въ Январѣ 1861 года я зашелъ въ книжный магазинъ. Никитинъ былъ одинъ.—Знаете ли что, сказалъ онъ мнѣ: всѣ мы подлецы ужасные!

— Это почему? говорю.

— Да такъ... Вотъ хоть бы и я. Совѣство признаться, а вѣдь мнѣ нравится серьезно М—а.

— Такъ что же? говорю.

— Какъ что же? Да вѣдь это подло, а А — на то?... Эхма!..

Этимъ разговоръ нашъ и кончился. Никитинъ тщательно скрывалъ отъ меня дальнѣйшія подробности, которыя я узналъ уже послѣ его смерти. Въ этой сердечной своей тайнѣ

онъ сдѣлалъ повѣреннымъ общаго нашего пріятеля, И. И. Зиновьева. На зараждающееся чувство Никитину отвѣчали взаимностью, т. е., тѣмъ же начинающимся, но не вполне развившимся чувствомъ. — Переписка съ нею началась съ марта 1860 г. и окончилась въ началѣ іюля 1861 г., за три мѣсяца до смерти. Никитинъ имѣлъ отраду убѣдиться въ силѣ чувства и въ героизмъ характера любимой имъ особы. Н. А. М—а принадлежала къ одной изъ почтенныхъ фамилій, жившей въ деревнѣ, не въ далекомъ разстояніи отъ Воронежа. Эта великодушная дѣвушка, узнавъ, что Никитинъ умираетъ на своемъ постояломъ дворѣ (дворъ все еще содержалъ какой-то съемщикъ), среди непривѣтливой обстановки, на рукахъ только одного любящаго существа—его двоюродной сестры, мужественно рѣшается на подвигъ въ ея положеніи: она предлагаетъ Ивану Саввичу пріѣхать въ городъ и ходить за нимъ вмѣстѣ съ Анной Николаевной. Никитинъ рѣшительно отклоняетъ это предложеніе: съ такою же рѣшимостію онъ не согласился на свиданіе. Послѣ 8-го Сентября, по совершеніи духовнаго завѣщанія, въ присутствіи своей двоюродной сестры, Никитинъ сжегъ всѣ письма къ нему Н. А. Письма его мы имѣемъ въ копіяхъ, обязательно намъ сообщенныхъ ею. Вотъ этотъ Романъ въ письмахъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ въ четырнадцать письмахъ,—письма И. С. Никитина къ  
Н. А. М—й.

### I.

19 Марта 1860 г. Воронежъ.

Вѣтеръ, снѣгъ; въ магазинѣ холодно; мнѣ нездоровится; расположеніе духа наисквернѣйшее, просто—безвыходная тоска; но вдругъ я получаю вашу записку, Вы представить себѣ не можете, какое наслажденіе принесли мнѣ написанныя вами строки! Мое воображеніе тотчасъ перенесло меня въ ваши края. Я вспомнилъ и темный садъ А. А., и свѣтлый прудъ, и покрытыя золотистою рожью поля, по которымъ я подѣзжалъ когда-то къ вашему дому, одиноко стоящему на совершенно открытой мѣстности. Я очень хорошо помню этотъ гостепріимный, маленькій домъ, въ которомъ все привѣтливо улыбается: стѣны глядятъ весело, на стеклахъ лежитъ тѣнь цвѣтовъ, даже стоящее у окна кресло такъ, кажется, и говоритъ очарованному гостю:—„сдѣлайте одолженіе, садитесь пожалуйста, безъ церемоніи!“ Не сердитесь, Н. А., что слишкомъ заговорился. Въ вашемъ краѣ такъ много привлекательнаго! Но перейду къ дѣлу.. *Histoire de la littérature française* у меня нѣтъ, есть только *Cours de la littérature générale* par They, 2 тома, in folio: цѣна 6 р. сер. Это не то, что вамъ нужно, и потому я отложилъ посылку книгъ до вашихъ новыхъ распоряженій. Жаль, право, что книги для чтенія не выбираете вы сами; я все боюсь вамъ не угодить. Книги

ваши, по прошествіи нѣкотораго времени, вы можете обвинить на тѣ, которыя отправлены къ г-ну Д—ому; такимъ образомъ у васъ будетъ достаточный запасъ для чтенія, а весною я, можетъ быть, самъ привезу кое-что и будемъ читать вмѣстѣ, разумѣется, если вы позволите.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть вашимъ почтеннѣйшимъ слугою.

И. Никитинъ.

## II.

1861 г. Января 25-го дня.

По милости моего Акиндина (эта личность теперь, кажется, сдѣлалась историческою, благодаря своему имени), я остался передъ вами дуракомъ въ полномъ смыслѣ этого слова: онъ не приготовилъ для васъ „Мертвое озеро“ и „Три страны свѣта“ и не сказалъ мнѣ о томъ, что ихъ нужно для васъ приготовить. Простите мнѣ мою невольную вину. Я посылаю вамъ „Томъ Джонсъ“ въ 2 томахъ и *roug votre rare* \*) „Очерки“ Кокорева, 3 тома. Ради Бога, что будетъ вамъ нужно, приказывайте чрезъ кого-нибудь. Изъ вашего края навѣрно часто бываютъ у насъ знакомые вамъ люди; что до меня,—я весь къ вашимъ услугамъ.

Между прочимъ вы говорите: „вѣдь вамъ теперь извинительно быть разсѣяннымъ“... Нѣтъ не извинительно. Повторяю вамъ въ сотый разъ: у меня нѣтъ и не было особенной причины быть разсѣяннымъ. Если и есть во мнѣ этотъ недостатокъ,—смѣю васъ увѣрить,—онъ природный.

Я былъ бы радъ, еслибъ ваше желаніе имѣть мнѣ успѣхъ всегда, и вовсемъ, и вездѣ, исполнилось хотя отчасти: да, я былъ бы очень радъ, потому что, къ сожалѣнію, почти ни въ чемъ не имѣю успѣха. За примѣромъ ходить недалеко: я желалъ отъ всей души

---

\*) Отставной заслуженный генералъ, избранный во время Крымской войны начальникомъ Воронежскаго ополченія.

побывать у васъ прошлой осенью; но обстоятельства сложились такъ, что это желаніе осталось бесплодною мечтой. Далѣе: я желалъ бы... впрочемъ боюсь навести на васъ скуку и потому умолкаю. „Развлеченіе“, этотъ паршивенькій журналъ я не получаю, слѣдовательно и не знаю, что тамъ писано о Воронежѣ, равно и о воронежскомъ журналѣ въ 12 коп. сер. безъ пересылки. Охота же вамъ читать подобные литературные осадки. Ахъ, если бы сутки состояли изъ 48 часовъ,— сколько бы можно было прочитать хорошаго! Знаете ли,— тогда, несмотря на зимнія вьюги, я прилетѣлъ бы къ вамъ и прочиталъ бы (разумѣется, если бы вы захотѣли меня слушать), прочиталъ бы... ну, что-нибудь порядочное. А вѣдь я читаю не дурно, je vous assure!...

Пожалуйста, не браните меня за мою болтовню. Мнѣ страстно хочется съ вами поговорить; но, увы! не смѣю, боюсь, что вы нахмурите свои прекрасныя брови, и радъ не радъ—ставлю точку.

Глубоко уважающій васъ

И. Никитинъ.

### III.

1861 г. Февраля 10-го.

Ваше письмо начинается упрекомъ за мою разсѣянность. Этотъ упрекъ не совсѣмъ справедливъ: смѣю васъ увѣрить, что, когда я писалъ къ вамъ письмо, я думалъ только о томъ лицѣ, къ которому писалъ, болѣе ни о комъ и ни о чемъ. Прошу васъ согласиться со мною хотя къ этому, если вы не хотите согласиться въ чемъ-либо другомъ (что замѣчу, въ скобкахъ, немножко оскорбляетъ мое самолюбіе). „Мертвое озеро“ и „Три Страны Свѣты“ не были вамъ посланы потому, что я не имѣлъ ихъ у себя подъ рукою. Послѣдняя книга теперь возвратилась отъ одного изъ моихъ читателей и отправляется къ вамъ съ нѣсколькими другими книгами, за выборъ которыхъ умоляю васъ меня извинить, если онъ неудаченъ.

Въ переводахъ Берга \*) рекомендую вамъ прочесть стихотворенія: „Муравей“ и „Когда распнутъ они тебя“,—вообще вы найдете въ этой книжкѣ много хорошаго. „Мертвое озеро“ пришлю вамъ въ слѣдующій разъ; ей-Богу, теперь его нѣтъ! Наконецъ, вѣрите ли мнѣ, а? Помилуйте, довели меня до божбы!... Не понимаю, откуда и какимъ образомъ родилось у васъ желаніе со мною браниться!... Неужели вы находите въ этомъ наслажденіе? Впрочемъ, о желаніяхъ, какъ и о вкусахъ, не спорягъ. Я, напрямѣрь, желалъ бы теперь отъ души крѣпко пожать вашу милую руку (странное желаніе; не правда-ли?), сѣсть подѣ васъ. Вы, конечно, это позволите,—ну хоть во имя дружбы, если вы не шутите этимъ словомъ,—наговориться съ вами, послушатся васъ, чтобы потомъ долго, долго жить воспоминаніемъ всего слышаннаго. Неужели судьба откажетъ мнѣ и въ этомъ наслажденіи? Замѣйте: слово судьба я подчеркиваю. Подъ этимъ названіемъ я разумѣю не какое-нибудь разумное существо, могучее и самовластное, а просто стеченіе боіе или менѣе благопріятныхъ обстоятельствъ, которыя наперекоръ нашей волѣ толкаютъ насъ не въ ту сторону, куда летятъ наши радужныя надежды, гдѣ живетъ наше беззаботное счастье. О, если бы мы могли распоряжаться этими обстоятельствами по своему произволу, тогда наша жизнь была бы раемъ, тогда бы ея строй совершенно измѣнился и не надрывалъ бы нашего сердца своимъ безобразіемъ, пошлостью и бессмысліемъ! Есть счастливыя, которымъ счастье само дается въ руки,—я не принадлежу къ числу ихъ. Вы говорите, что я долженъ быть доволенъ, „потому что одаренъ“ и проч. и проч. Пожалуйста, безъ комплиментовъ! Языкъ друга долженъ быть прямъ и чистосердеченъ. Если дѣйствительно я не такъ глупъ, какъ дурачокъ Емея, то жизнь, которая удовлетворяетъ его, не можетъ удовлетворить меня. Кажется, это очень ясно. Въ письмѣ вашемъ привело меня въ недоумѣніе слѣдующее выраженіе: „чтобъ эга галиматя не вая-

---

\*) *Сборникъ Спбтоторскій Иностраннхъ Поэтовъ*. Переводы В. Д. Костомарова и Ф. Н. Берга. Москва 1870 г. Означенныя яже піесы носятъ названіе *Муравьи* (стр. 112) и *Крестъ* (стр. 118).

лась въ магазинѣ, сожгите ее“... Нечего сказать, достаточное довѣріе къ моему уму и чувству такта! Правда; я однажды сжегъ письма дорогихъ мнѣ лицъ; но вы навѣрное не осудили бы меня, если бы узнали причину этого истребленія. Очевидно, что вы еще слишкомъ мало меня знаете, если предполагаете, что письмо ваше будетъ валяться... Богъ съ вами!... Что касается до меня, я чувствую истинное наслажденіе въ эту минуту, при мысли, что веду съ вами заочную бесѣду, и ужъ никакъ не думаю, что письмо мое будетъ валяться гдѣ-нибудь въ вашемъ домѣ, на примѣръ, въ передней, подъ ногами горничной и т. п. Кстати о письмахъ. Развѣ я не могу писать вамъ по почтѣ? Перемолвиться словомъ только при оказіи;— это просто несносно! Нужно вамъ сказать, что письма, полученныя на мое имя, всѣ безъ исключенія распечатываются мною самимъ; въ случаѣ же моего отъѣзда, хранятся неприкосновенными въ самой конторѣ. Если можно, тогда сообщите подробный адресъ; если, нѣтъ да будетъ такъ, какъ угодно судьбѣ (употребляю это слово не безъ намѣренія)! Я не помню такого тихаго, такого благословеннаго вечера, какимъ обязанъ я вашимъ милымъ строкамъ (теперь 10 часовъ). Представьте: передо мною лежитъ ваше письмо, съ правой стороны остываетъ стаканъ чая, въ глубинѣ комнаты полумракъ, и въ этомъ полумракѣ, мнѣ кажется, я узнаю знакомый, улыбающійся образъ... ай! ай!.. заговорился.

Всею душею преданный вамъ.

И. Никитинъ.

P. S. (поутру). Не могу утерпѣть, чтобы не написать еще нѣсколько строкъ. Пожалуйста, отвѣчайте съ почтою. Этотъ городишко, въ которомъ я живу, до того мнѣ скученъ, и до того мнѣ надоѣлъ, что я радъ бы изъ него убѣжать на край свѣта. Но ради Бога пишите безъ пышныхъ фразъ и безъ намековъ. Въ васъ и во мнѣ достаточно, кажется, ума, чтобы намъ понять другъ друга, даже если бы намъ вздумалось маскироваться. Помните: вся прелесть въ простотѣ и правдѣ. Будьте здоровы и веселы.

IV.

1861 г. 17-го Февраля.

Наконецъ, что-же это такое? Вѣдь это просто нестерпимо!... Вы за перо,—къ вамъ гости... Честное слово, я произведу скандалъ,—да, скандалъ! тѣмъ болѣе, что въ настоящее время скандалы въ ходу, даже въ литературѣ, представительницѣ, какъ говорятъ, всего благороднаго. И, такъ, когда вы возьметесь за перо, и когда въ эту минуту явятся къ вамъ непрошенныя гости,—я (замѣчайте, какое у меня горячее воображеніе: мнѣ кажется, что моя особа присутствуетъ теперь въ селѣ В—мъ)—я спокойно затворю дверь вальей комнаты и крикну во весь голосъ: „не принимаютъ!“ Пусть себѣ сплетничаютъ на мой счетъ, я все-таки останусь въ выигрышѣ, потому что услышу нѣсколько лишннихъ, дорогихъ моему сердцу словъ изъ вашихъ милыхъ устъ: все прочее имѣемъ для меня цѣну прошлагодняго снѣга. Впрочемъ и мои письма походятъ на какіе-то безсвязныя отрывки, что происходитъ отъ того, что меня ежеминутно, такъ сказать, тормозать. Напримѣръ, хотя бы теперь. „Но согласитесь, однакожь, говорить мнѣ мой знакомый господинъ съ крапеными волосами и поддѣльнымъ зубомъ (последнимъ онъ обязанъ г-ну Wahrenheim который называетъ себя célèbre dentiste, чему я вѣрю), согласитесь, что если Пушкинъ замѣчателенъ, какъ художникъ, то Гоголь замѣчателенъ еще болѣе, какъ социалистъ, не правда-ли?—1 р. 50 коп. сер., отвѣчаю я, оборачивая голову направо. Поддѣльный зубъ смотритъ на меня съ удивленіемъ, не понимая, что общаго между 1 р. 50 к. и Гоголемъ, а мнѣ это очень понятно; я назначаю цѣну китайской туши,—вотъ и вся исторія безтолковщины. Въ это же самое время мнѣ суютъ въ руку записку, заключающуюся въ слѣдующемъ: „M—r! Nikitin, (пожалуйста, замѣтьте: послѣ M—r знакъ восклицанія, послѣ Nikitin запятая) donnez moi quelque ouvrage de Paul de Kok;—я не люблю серьезныхъ“... и такъ далѣе... Вотъ тутъ и угоди каждому! Но довольно. Даже я начинаю заражаться смѣсью французскаго съ нижегородскимъ...



У насъ чуть-чуть не весна. Небо такое безоблачное, такое голубое; въ окно заглядываетъ веселое солнце, которому я радъ, какъ муха, всю зиму проспавшая мертвымъ сномъ и теперь начинающая понемногу оживать и расправлять свои помятыя крылья. А когда же придетъ въ самомъ дѣлѣ теплая, зеленая, благоухающая весна, съ ея синими ночами, мерцающими звѣздами и съ соловьиными пѣснями? Ахъ, если бы она поскорѣй пришла! Но вѣдь у васъ нѣтъ сада,—слышите ли вы меня? У васъ сада нѣтъ! Счастливы Д—іе,—и я имъ завидую: у нихъ тѣнистый садъ и прудъ, и прочія блага... Ну-съ, хорошо. А если я приѣду весной въ вашъ край,—какъ тогда и что тогда? Отъ имѣнія Д—ихъ до вашего 20 верстъ: такое пространство неудобно обратить въ мѣсто прогулки, на которомъ было бы отраднo встрѣтиться съ знакомымъ (эпитетъ здѣсь я хотѣлъ поставить другой, да ужъ такъ и быть, если онъ подвернулся) человѣкомъ; слѣдовательно, мнѣ остается приѣхать къ вамъ съ утреннимъ визитомъ, пожать вашу ручку при первой встрѣчѣ, потомъ на прощанье—и за сямъ отправиться въ нашъ богоспасаемый градъ. Помилуйте! Вѣдь это изъ рукъ вонъ! О подобной... гм... гм... какъ бы это поточнѣе выразиться? просто о подобной штукѣ я не хочу и думать, не только говорить.

Въ среду на нашей сценѣ шель Гамлетъ. Можете себѣ представить, что изъ него сдѣлали! Какой-то Горевъ вздумалъ, вѣроятно, удивить воронежскую публику, — и удивилъ!—Впрочемъ, семинаристы,—обитатели поднебеснаго райка, остались довольны, ну, а на всѣхъ угодить трудно,—дѣло понятное! Мой адресъ по почтѣ: И в. Сав. Н. въ книжный магазинъ; больше ничего. Повторяю: всѣ получаемыя на мое имя письма остаются неприкосновенными, гдѣ бы я ни былъ. Пишите!

Прочитавъ это письмо, я мгновенно подумалъ: какія мы съ вами дѣти; не такъ ли? Напишемъ другъ-другу по нѣсколько строкъ и воображаемъ, что это для насъ какъ бы праздникъ!—Для меня, дѣйствительно, праздникъ, тѣмъ болѣе, что въ послѣдніе дни я порядочно поболѣлъ, стало быть, поскучалъ и прочее... Если вы приѣдете въ Воронежъ, не знаю,

какъ у меня достанеть смѣлости вамъ показаться: сухъ, какъ грибъ, тонокъ, какъ спичка,—короче: гадокъ до послѣдней степени. Впрочемъ, объ этомъ послѣ.

У меня къ вамъ просьба: ради Христа, избавьте меня отъ громкихъ выраженій въ своихъ письмахъ: они рѣжутъ мой слухъ, какъ рѣжетъ глаза прописная буква, употребляемая вами при словѣ: Вы. Я пишу прописную; потому что въ лицѣ вашемъ уважаю женщину, а для меня-то эти прописныя!... Ахъ, Господи! Что это Русь! Одолѣли насъ десять тысячъ китайскихъ церемоній!... До свиданія! Больше писать негдѣ. Не браните же меня за откровенность. Всею душою преданный вамъ.

И. Никитинъ.

P. S. Исторіи Испаніи и Португаліи нѣтъ. Объ Испаніи лучше посылаемой вамъ книги я не знаю.

У.

1861 г. 25-го февраля.

Вѣрно такъ судьбѣ угодно, что письма наши не совсѣмъ чужды обличительнаго характера: то вы сдѣлаете мнѣ замѣчаніе, то я съ застѣнчивою робостію предлагаю вамъ вопросы: Это зачѣмъ? Это для чего? А вѣдь я правъ. Говорю это не подъ вліяніемъ эгоистическаго чувства (по крайней мѣрѣ въ эту минуту), а по безкорыстному и безпристрастному убѣжденію въ дѣйствительности моей правоты. Ну, зачѣмъ, напримѣръ, вы написали эти строки: „не надоѣли ли уже вамъ мои посланія?“ Какимъ образомъ, при вашемъ умѣ, сорвались съ вашихъ устъ такія слова? Болѣе я не скажу ничего, для того, чтобы вопросъ мой заставилъ васъ нѣсколько подумать... Но какъ вы умны! Ваше послѣднее письмо просто—прелестъ, наслажденіе! Клянусь Богомъ,—говорю правду! Только это наслажденіе раздражаетъ мои нервы;—вотъ что дурно! мнѣ мало нѣсколькихъ строкъ, брошенныхъ на бумагу, мнѣ

нуженъ бы теперь длинный усгный разговоръ. А когда сбудется мое желаніе, Богъ вѣсть!... Я такъ рѣдко встрѣчаюсь съ вами, такъ мало говорю, а если говорю, то такими общими мѣстами, благодаря обстановкѣ, окружающей наши встрѣчи, что отъ одного воспоминанія о нихъ на щекахъ моихъ выступаетъ краска стыда, что, надобно замѣтить, случается со мною не очень часто. Пожалуйста, пишите больше, о чемъ хотите, о чемъ бы то ни было: чтò вы ни напишете—все выйдетъ хорошо и все будетъ для меня дорого. Мнѣ иногда по-неволѣ приходится писать мало, какъ, напр., теперь, когда я пишу въ магазинѣ. Я положилъ писать въ особой комнатѣ, но отъ этого мнѣ мало легче, потому что меня отрываютъ отъ пера ежеминутно. Звонъ колокольчика окончательно меня бѣситъ; кажется, я сдѣлаюсь больнымъ отъ его неумолкаемыхъ, не дающихъ мнѣ покоя, пронзительныхъ звуковъ... Представьте, у меня теперь двѣсти человѣкъ подписчиковъ на чтеніе. Не смотря на г-ва В—ія С—го, напечатавшаго въ „Развлеченіи“, что „магазинъ Никитина-поэта и проч. проч.“, не смотря на его чахоточное усиліе блеснуть базарнымъ остроуміемъ, съ цѣлію уронить во мнѣніи мѣстной публики мой магазинъ, онъ какъ видите, на зло его беззубыхъ завистниковъ, цвѣтетъ и крѣпнетъ. Mais voilà assez! Перейдемъ къ другому. Вы говорите, что весною мнѣ слѣдуетъ пріѣзжать не къ Д—мъ, а прямо къ вамъ. Ахъ, какъ бы это было хорошо! До какой усталости бы мы набѣгались съ вами въ саду! А потомъ музыка, пѣсни... окна раззолочены вечернею зарею; вы разливаеете чай, сидя за столомъ, я хотѣлъ было читать какую-то книгу, но заслушался васъ, и книга полетѣла въ сторону... Рай, а не жизнь! Только все это, къ сожалѣнію, однѣ розовыя мечты. Вникните въ сущность моихъ словъ, и вы согласитесь, что я говорю правду. Какъ же я пріѣду къ вамъ, когда вы знаете хорошо, что мое знакомство avec votre rara ограничивается нѣсколькими мимолетными встрѣчами, что я едва успѣлъ сказать пять-шесть словъ, — послѣ этого мой пріѣздъ въ вашъ домъ будетъ похожъ на неожиданное паденіе снѣга изъ облаковъ. Д—іе дѣло другое: я и былъ у нихъ не одинъ разъ, и покойникъ В. Ив. бывалъ въ моемъ домѣ

тоже не одинъ разъ, короче: я съ ихъ домою старый, близкій знакомый, чего никакъ не смѣю сказать о вашемъ домѣ. Вотъ почему меня не тянетъ особенно въ вашъ край. Я уже говорилъ вамъ, что мнѣ было бы грустно переступить вашъ порогъ за тѣмъ только, чтобы сказать: „честь имѣю свидѣтельствовать свое всенижайшее почтеніе“, или что-нибудь въ этомъ родѣ и потомъ переброситься нѣсколькими словами мѣстныхъ новостей и отправиться во-свояси. Помочь моему горю я рѣшительно не вижу средствъ. Приѣхать къ вамъ у меня не достанетъ смѣлости... ей-ей, неловко! Ну, войдите въ мое положеніе и скажите: правду ли я говорю? Эта мысль: приѣхать къ вамъ—преслѣдуетъ меня постоянно и... и... рѣшительно становить въ туякъ! Какъ бы это примирить мое желаніе погостить подъ вашею кровлею съ глупыми условіями нашей провинціальной жизни, съ этими требованіями жителей трупобъ и заросшихъ бурьяномъ пустырей? Наказаніе да и только! Придумывайте, какъ лучше сдѣлать: вы умнѣе меня, что и скажу вамъ при первомъ же свиданіи и что готовъ подтвердить крестнымъ цѣлованіемъ, такъ какъ на-слово вы мнѣ не вѣрите. Къ вамъ или не къ вамъ—это шекспировское быть или не быть?... Есть надъ чѣмъ поломать голову?

Ваше предположеніе на счетъ того, что садъ Д—хъ можетъ доставить мнѣ много пріятныхъ воспоминаній, не совсѣмъ вѣрно, если вы слову воспоминаніе придаете какое-нибудь особенное значеніе. Дѣйствительно, я былъ всегда ими радушно принимаемъ, жилъ у нихъ какъ родной, кричалъ и спорилъ съ ними по моей привычкѣ безъ всякаго опасенія, чуть не до забытія приличій—и только! За все это я, конечно, имъ очень благодаренъ, но зачѣмъ же на мой счетъ остеречь!... Грѣхъ вамъ, Н. А., тѣмъ болѣе, что вы такъ добры! Впрочемъ, я и не думаю, чтобы намекъ вашъ имѣлъ серьезное значеніе,—вы просто шутите. Посылаю вамъ литературную новость: „Разказы и Повѣсти“ Бестужева, только что полученные, и двѣ французскихъ книги—*L'esclave blanc*, прочтите—стоитъ! Пожалуйста, назначайте, что вы желали бы прочитать! На время же распутицы требуйте книгъ поболѣе, чтобы у васъ было и другое занятіе—кромѣ танцевъ и кромѣ сва-

дебнаго бала\*). На послѣднемъ желаю вамъ веселиться, но не думаю, чтобы тамъ въ самомъ дѣлѣ вамъ было весело. Причина очень простая: вы переросли цѣлою головою окружающую васъ толпу знати и незнати... Впрочемъ, да будетъ это сказано между нами, чтобы не раздражить гусей. До слѣдующаго письма. Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

## VI.

1861 г. 10-го Марта.

Если я сказалъ вамъ, что пріѣздъ мой въ вашъ домъ нѣсколько меня стѣсняетъ, нѣкоторымъ образомъ ставить въ неловкое положеніе, то сказалъ это не потому, чтобы боялся чьихъ-либо пересудовъ, а потому, что мое знакомство съ вашимъ рара не слишкомъ коротко; — вотъ единственная причина моей нерѣшительности въ такомъ дѣлѣ, которое такъ близко моему сердцу. Ваше предположеніе: устроить пріѣздъ мой къ вамъ такимъ образомъ, чтобы я, при первой встрѣчѣ съ А. А., попросилъ ее отправить къ вамъ гонца съ извѣстіемъ, что Н. прибылъ въ благословенный З—скій край, смѣю васъ увѣрить, неприложимо къ дѣлу: Д—іе и m-me П—ова пришли бы навѣрно отъ подобной просьбы съ моей стороны въ величайшее недоумѣніе и, чего добраго, залились бы громкимъ смѣхомъ... Я отъ всего сердца желаю погостить подъ вашею кровлею, но устроить это надобно какъ-нибудь иначе. Мнѣ кажется, что было бы гораздо удобнѣе извѣстить васъ о моемъ пріѣздѣ къ Д—мъ, послѣ двухъ-трехъ дней моего у нихъ пребыванія, не такъ-ли? Эхъ, да будь, что будетъ! Ужъ я постараюсь съ вами увидѣться, наговориться, и слѣдовательно, быть нѣкоторое время счастливымъ.

---

\*) Кажется, выходила замужъ сестра Н. А. М—ой.

Не знаю, о какомъ моемъ пріятелѣ изъ военныхъ упоминаете вы въ своемъ письмѣ; А. А. и Н. В., сколько мнѣ помнится, дѣйствительно встрѣчали у меня въ магазинѣ одного изъ близкихъ мнѣ людей, только онъ не принадлежитъ къ военнымъ. Помню также, что при одной изъ этихъ встрѣчъ шелъ разговоръ о перепискѣ, но разговоръ этотъ заключался въ слѣдующемъ: Н. В. писалъ мнѣ о принятіи мною въ служеніе сынишка ея экономки; я исполнилъ ея просьбу, но на ея письмо за недосугомъ не отвѣчалъ. Поэтому-то и былъ сдѣланъ мнѣ выговоръ м-ше Д—ой, дескать это, милостивый государь, неучтиво, и притомъ прибавлено: мы знаемъ, что нѣкоторые вы сочли бы за преступленіе не отвѣчать. Я понималъ намекъ и отвѣчалъ: да,—не понималъ только одного: какъ м-ше Д—ой извѣстно, что я къ вамъ пишу? Впрочемъ, мнѣ нѣтъ ни охоты, ни надобности добиваться до источниковъ, откуда разныя лица черпаютъ для себя разныя свѣдѣнія. Пусть ихъ черпаютъ, если это доставляетъ имъ удовольствіе: о вкусахъ не спорять,—это первое. Второе—не могу никакъ догадаться, на какомъ основаніи построено ваше предположеніе, будто бы я былъ влюбленъ въ м-ше N... никакъ не могу, но думаю, что на весьма зыбкомъ. Вѣроятно, когда-нибудь, какъ услужливый человѣкъ, я предложилъ ей во время обѣда, или въ ту минуту, когда ей хотѣлось пить, стаканъ воды: изъ этого и вывели заключеніе, что я влюбленъ. Это бываетъ. Объяснимъ примѣромъ. Извѣстное лицо, вслѣдствіе естественной потребности, чихнетъ: кажется, что нѣтъ ничего особеннаго: но вдругъ другое лицо замѣчаетъ ему весьма серьезно: позвольте узнать, м. г., на чей это счетъ вы чихнули? Мало-ли что бываетъ на свѣтѣ! Далѣе, вы говорите: „Вспомните, какъ вы ее встрѣчали въ послѣдній ея пріѣздъ въ Воронежъ?... Очень просто: поклонился, спросилъ о здоровьѣ, о томъ, нѣтъ-ли чего новаго въ ихъ краѣ, и такъ далѣе; встрѣтилъ, можно сказать, обыкновеннымъ образомъ до пошлости. Если и въ этомъ найдено что-нибудь особенное; тогда... тогда я не удивляюсь, если услышу трактатъ о способѣ добыванія ароматическаго сока изъ стараго желѣза или приготовленіе камней въ видѣ пирожнаго. Простите, добрая

Н. А., что я говорю такую дичь! Вольно же было вамъ звать меня на то, о чемъ не стоитъ думать даже въ самое праздное, самое бесполезное время. Тѣмъ болѣе неприятно говорить объ этомъ на бумагѣ, да еще съ вами, да еще въ то время, когда секунды нѣтъ свободной, потому что вашъ знакомый общался придти за письмомъ черезъ два-три часа. Кстати о письмахъ. На будущее время ужъ будьте такъ добры, пожалуйста, не повторяйте одно и то же, что написанныя вашею рукою строки могутъ быть прочитаны кѣмъ-бы то ни было. Послѣ этого вы сами себѣ противорѣчите, считая меня за порядочнаго человѣка. Порядочные люди, мнѣ кажется, не только уважаютъ другихъ, но и себя также, а вѣдь послѣ сдѣланной мерзости уважать себя какъ-то трудно. Что касается вашего замѣчанія, что я будто бы пишу къ вамъ *bon gré — mal gré*, не распространяясь о томъ, что ваше замѣчаніе рѣшительно несправедливо, я прибавляю, что васъ одолѣвають десять тысячъ китайскихъ церемоній... такъ, такъ, *mille fois* такъ! Иначе вы не сказали бы ничего, похожаго на это. Богъ съ вами! Пожалуй, сердитесь, а я все-таки правъ. Визитную карточку я постараюсь вамъ доставить, но времени для этого опредѣлить не могу.

№ 238 „Сѣверной Пчелы“ за прошлый годъ при семъ вамъ посылается и отдается въ вѣчное владѣніе. Ваше желаніе мнѣ было весьма легко исполнить, потому что почти всѣ газеты и журналы мною получаются, конечно, исключая „Развлеченія“, о мнимыхъ достоинствахъ котораго я всегда буду радъ поспорить съ вашимъ дядею. Вѣрно, онъ очень силенъ въ логикѣ, если надѣется доказать, что глухіе отъ рожденія способны имѣть представленіе о звукахъ и, пожалуй, могутъ воспроизводить ихъ и доставлять этимъ удовольствіе другимъ.

Ноты для вашей сестры — „Я люблю твои глаза“ будутъ высланы. Книжки держите — сколько вамъ угодно времени и не сердитесь, если выборъ мой неудаченъ; — вѣдь я уже говорилъ вамъ это и просилъ васъ объ этомъ, О, Боже, Боже! опять китайскія церемонія!.. да оставьте ихъ въ покоѣ разъ навсегда.

Простите меня за безтолковое, отрывочное, безсвязное пись-

мо: ей-ей, спѣшу, какъ угорѣлый. Сегодня у меня по преимуществу много народа, потому что сегодня читается Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Это, разумѣется, дастъ поводъ къ толкамъ; ну, и знакомыхъ-то у меня не занимать, — слава Богу, довольно! — Въ это мгновеніе, заглянувъ въ наше письмо, я прочиталъ слѣдующее: „пожалуйста, не давайте читать моихъ писемъ вашему пріятелю“. — Хорошо!... Да еще подчеркнуто!!! Ну, ужъ развѣ я буду такъ несчастливъ, что васъ не увижу, — не то, при первомъ же свиданіи, по выраженію Крылова, дамъ волю словъ теченью... Знаете ли что? Теперь за распутицею, я полагаю, посылки отъ васъ будутъ рѣдки; между тѣмъ я такъ привыкъ къ вашему слову, чтобы не сказать болѣе... Всею душою преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. Я предполагаю ѣхать въ Петербургъ; но если поѣду, то или въ 1-хъ числахъ Апрѣля, чтобы возвратиться къ маю, или осенью! Увы! мнѣ такъ хочется пожить въ деревнѣ, а удастся ли? Пожалуйте обо мнѣ...

Потрудитесь передать мое глубочайшее почтеніе вашему папашѣ и вашимъ сестрамъ. Прочитайте, пожалуйста, Бѣлинскаго. Въ его разборѣ сочиненій Пушкина вы познакомитесь со взглядомъ на женщину самого Бѣлинскаго и передовыхъ людей его времени.

## VII.

1862 г. Марта \*).

Письмо мое, посланное вамъ 10-го Марта, я считалъ слишкомъ недостаточнымъ, слишкомъ краткимъ, потому что оно было писано въ-торопяхъ, въ то время, когда вокругъ меня толкались, разсуждали, спорили и смѣялись разныя лица. Поэтому я хочу поговорить съ вами на досугъ, съ намѣреніемъ извлечь изъ этой бесѣды двоякую для себя выгоду: пріятное и по-

\*) Число не обозначено.



лезное. Перваго я уже достигаю тѣмъ, что веду съ вами рѣчь, второго,—что разбиваю въ прахъ ваше предположеніе, будто бы я пишу къ вамъ всегда *bon gré — mal gré*, тогда какъ доказательство противнаго у васъ передъ глазами: эти строки были писаны волею и охотою. Ну-съ, кто изъ насъ правѣе,— я или вы? Извольте, извольте!... я молчу. Скромный вообще, съ недавняго времени и въ особенности теперь, въ дни Великаго поста и молитвы, я скромнѣе до того, что изъ устъ моихъ не выходитъ ни одного празднаго слова: вѣроятно, вслѣдствіе моей безпрестанной молитвы: „духъ празднословія не даждь ми“... вѣроятно такъ! Къ несчастію, я перестаю думать и о святой молитвѣ, и о тяжести грѣха, словомъ—забываю о всемъ, когда веду рѣчь съ вами. Жаль мнѣ васъ! Вы единственная причина моихъ прегрѣшеній: вы, слѣдовательно, за все должны отдать отчетъ Богу, чего, однако, я никакъ не желаю. Я готовъ принять на одного себя всю отвѣтственность за свои и даже за ваши ошибки, если только вы можете ошибиться, готовъ перенести великое наказаніе подъ условіемъ видѣть васъ и говорить съ вами, когда мнѣ вздумается... Не сдвигайте вашихъ бровей: все это шутка не болѣе, но шутка для меня горькая, для васъ безвредная. Не знаю самъ, зачѣмъ я все это говорю. Просто — я радъ свободной минутѣ. Я похожъ теперь на человѣка, который, послѣ долгаго заключенія въ душныхъ и темныхъ стѣнахъ, вышелъ, наконецъ, на свѣжій воздухъ и спѣшитъ наглядѣться на синее небо, на широкое поле, цвѣты и деревья. Все его существо какъ-будто возродилось, зажило новою жизнью, полною наслажденія и счастья. Онъ даже не думаетъ о томъ, что снова можетъ попасть въ тѣ стѣны, изъ-за которыхъ вышелъ, что счастье его похоже на сонъ, который можетъ быть прерванъ случайнымъ шумомъ или крикомъ... Да и стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ объ этомъ думать? Вѣдь если каждую минуту удовольствія встрѣчать вопросами—какъ и почему? если подкапываться подъ каждое чувство, допрашиваясь, чтò оно такое, откуда пришло и куда ведетъ? если все отравлять сомнѣніемъ, тогда жизнь превратится въ пытку. Выносить пытку за святое дѣло, за благородную идею, конечно, должно.

Эта пытка заслуживаетъ и похвалы, и подражанія, потому что она—подвигъ! но обреченіе себя на безплодныя, безцѣльныя страданія—чисто безуміе! Вотъ поэтому-то я хочу извлечь изъ настоящаго мгновенія все, что оно можетъ дать мнѣ лучшаго. Простите, что я вдался въ это quasi философское разсужденіе; эта старая истина, можетъ быть, нѣсколько припахиваетъ гнилью (если только истины могутъ чѣмъ-либо припахивать), когда насъ слушаютъ беза зѣвоты? Что за наказаніе! Я просто сдѣлался старымъ болтуномъ, который, не обращая вниманія на время, мѣсто и на то, хотятъ ли его слушать, въ сотый разъ повторяетъ извѣстную всѣмъ исторію. Несчастная слабость! Я уже писалъ вамъ, что 10 числа этого мѣсяца у насъ былъ читанъ во всѣхъ церквахъ Манифестъ объ освобожденіи крестьянъ. Жаль, что мнѣ неизвѣстно, какъ это важное извѣстіе было принято сельскимъ населеніемъ, но городское приняло его довольно равнодушно. Вечеромъ, по распоряженію мѣстнаго начальства, городъ былъ иллюминированъ, но особеннаго движенія не было замѣтно въ освѣщенныхъ улицахъ. Дѣло другое, если бы иллюминація была вызвана самымъ событіемъ, какъ выраженіе общей радости; къ сожалѣнію, это было не такъ. Мнѣ кажется, это произошло оттого, что народъ слишкомъ утомился ожиданіемъ рѣшенія вопроса, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь. Есть и другія причины; но изложеніе ихъ потребовало бы слишкомъ много времени и мѣста, а потому я считаю его неудобнымъ. Согласитесь,—вѣдь есть чему порадоваться: такія дѣла, какъ уничтоженіе кантонистовъ, устройство желѣзныхъ дорогъ и, наконецъ, это послѣднее великое дѣло—освобожденіе крестьянъ, могутъ не затронуть только человѣка крайне тупоумнаго или бездушнаго; но все живое, все, способное мыслить и чувствовать, пойметъ ихъ значеніе и не можетъ не радоваться. Эти дѣла будутъ лучшею страницей въ исторіи императора Александра II-го, страницей блистательною. Снимать цѣпи съ милліона подобныхъ себѣ, разумныхъ существъ,—такая доля выпадаетъ не многимъ монархамъ. Народъ еще хорошо не понималъ, какъ много для него сдѣлано; когда онъ пойметъ это,

вы увидите, что изъ него выйдетъ, какъ онъ переродится! Его апатія имѣетъ историческій смыслъ; но она уступитъ духу новаго времени, духу просвѣщенія. Поймите, какое свѣтлое будущее ожидаетъ наше потомство, какая лежитъ передъ нами широкая дорога! У меня дыханіе захватываетъ отъ восторга, когда я объ этомъ думаю!... Теперь носятся слухи о преобразованіяхъ, имѣющихъ быть въ нашихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Проектъ преобразованія, говорятъ, уже написанъ и напечатанъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ для лицъ, которыя будутъ засѣдать въ особомъ, нарочно устроенномъ, по этому поводу, комитетѣ. Лишь бы позволили говорить о нашемъ духовенствѣ, — тогда литература сдѣлаетъ свое дѣло — точно такъ же, какъ она сдѣлала его въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ. Можетъ быть, я кстати появлюсь на сценѣ. Надобно вамъ сказать, что я написалъ довольно большую по объему статью — „Записки Семинариста“. Статья эта напечатается въ „Воронежской Бесѣдѣ“, издаваемой Глотымъ, подъ редакцію Де-Пуле. Воображаю, какимъ сюрпризомъ покажется она нашему духовенству, въ особенности лицамъ учащимъ! Впрочемъ, я человекъ не совсѣмъ робкій, и чѣмъ болѣе будетъ противъ меня криковъ, тѣмъ болѣе я буду радоваться: эти крики послужатъ доказательствомъ, что я прямо попалъ въ цѣль, задѣлъ за больное мѣсто. Если бы вы знали, какой теплый, какой солнечный день у насъ былъ вчера. Представьте, — я слышала утромъ пѣніе жаворонка: 10 Марта — это рѣдкость. За то какъ же былъ я радъ его пѣснѣ! Я люблю этого предвѣстника весны едва ли не болѣе, чѣмъ соловья. Вы не удивляйтесь этому: жаворонокъ какъ-то необыкновенно поэтически умѣетъ себя обставить. Слышали вы его пѣсню въ степи, передъ восходомъ солнца, когда края неба горятъ въ полымѣ, по краямъ степи еще прозрачный утренній туманъ, когда вы видите передъ собою только степь да небо и подлѣ ни одной живой души. Серебряные звуки льются съ синей выси, на встрѣчу медленно восходящаго солнца, и провожаютъ васъ, куда бы вы ни ѣхали, съ горы или на гору. О! мнѣ знакома эта пѣсня, и я не могу ее не любить! Простите, что я немножко заговорился. Мнѣ, знаете

ли, сдѣлалось отчего-то немножко скучно,—вотъ я и повелъ съ вами рѣчь. Если минута для этой рѣчи выбрана мною не совсѣмъ кстати—пожалуй, побраните меня—чтожъ такое! Я никогда не слыхалъ, какъ говорить раздраженная женщина,—вѣроятно, очень хорошо. Право, побраните, только ради Бога поскорѣе. Ваша молчаливая досада была бы чистымъ наказаніемъ для меня, всегда готоваго васъ слушать. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

### VIII.

Марта 27-го.

Вотъ видите, какъ вы строги, какъ искусно вы умѣете ловить меня на словѣ! Я сказалъ, что мнѣ скучно, что мнѣ не съ кѣмъ обмѣняться словомъ — и написалъ вамъ нѣсколько строкъ; вы поймали мое слово и даете ему обратный смыслъ, такъ что я, употребившій его, чуть не попадаю въ родные братья тѣхъ милыхъ людей, на мѣдныхъ лбахъ которыхъ выступаетъ крупными буквами неизгладимая надпись: „дуракъ!“... Кому же охота читать строки, написанныя отъ скуки? Это справедливо. Но позвольте нѣсколько оправдаться. Я думаю, вамъ извѣстно, что есть скука, происходящая отъ праздности, отъ нечего дѣлать, отъ неспособности что-либо дѣлать, тѣмъ болѣе порядочное, умное, и есть скука другого рода — это тяжелое состояніе души, чувство чего-то неприятнаго, какой-то тупой нравственной боли. Она не похожа на грусть: въ грусти бываетъ подъ-часъ много прелести, стало быть и поэзія, въ скукѣ, о которой я говорю, нѣтъ ея и тѣни! Итакъ вы не угадали моей скуки и напрасно упрекнули меня за это слово. Вообще оцѣнка чужой личности, составленіе о ней понятія, что она такое, на основаніи однихъ предположеній,—дѣло довольно трудное и рѣдко можетъ быть удачнымъ, или удачнымъ только случайно. Вы, напримѣръ, можете предположить, что я люблю пѣсню жаворонковъ потому, что привыкъ ихъ слушать вблизи „того сада,

который и проч.,“ но, позвольте! вы дѣлаете ошибку на первомъ шагу: я полюбилъ эту пѣсню давнымъ-давно, въ то время, когда бродилъ въ степи или въ поляхъ съ ружьемъ, не ради охоты, а ради того, чтобы надышаться чистымъ воздухомъ, послѣ долгаго заключенія въ четырехъ стѣнахъ, чтобы налюбоваться зеленью травъ, румянцемъ утренней и вечерней зари, яркимъ блескомъ солнечныхъ лучей, разсыпанныхъ на гладкой поверхности озеръ и заливовъ... Садовъ тамъ никакихъ не было; но случилось мнѣ заходить подъ тѣнь лѣса, съ говоромъ котораго я такъ сроднился съ младенчества, что слышу въ немъ что-то родное, понятное моему сердцу, будто ласкающую рѣчь милого друга... Изъ вашихъ словъ видно, что вы любите природу, стало быть, вы меня поймете и не скажете, что я мечтаю отъ бездѣлья. Мнѣ, выросшему въ удушливомъ воздухѣ, нельзя было ее не полюбить: она была моею нравственною опорою, поддержкою моихъ силъ, свѣтлою стороною моей жизни, она замѣняла мнѣ живыхъ людей, которыхъ вокругъ меня было такъ мало, или лучше сказать — вовсе не было. Она никогда мнѣ не измѣнила, всегда оставалась одинаковою ея божественная, вѣчная красота... Въ одномъ изъ своихъ писемъ вы сказали, между прочимъ, что вамъ нѣтъ никакого дѣла до сплетенъ, что вы стоите выше этихъ пустяковъ, а теперь говорите, что эти сплетни уложили насъ въ постель. А отчего-жь вы не отвѣчали на нихъ презрѣниемъ? И что вамъ за охота употреблять слово разочарованность, это старое, избитое, истасканное до смѣшного слово? Люди—всюду люди: есть въ нихъ много хорошаго, много есть и подленькаго, низкаго, грязнаго. Внимите въ послѣднемъ ихъ воспитаніе, окружающую ихъ среду и проч. и проч.,—только менѣ всего внимите ихъ самихъ. Они нерѣдко болѣе жалки, чѣмъ злы, потому что дѣйствуютъ безъ сознанія, потому что рубятъ съ плеча, не задумываясь, куда или на кого падутъ эти удары и что изъ этого выйдетъ... Пусть потеряли бы вы терпѣніе, поддались сильному гнѣву,—все это было бы ничего; но заболѣвать отъ сплетни, не только безсознательной, даже намѣренной,—просто не стоило. Ваше равнодушіе убило бы на-поваль эту отвратительную гадину; оно было бы для

нея сильнымъ, мучительнымъ наказаніемъ, потому что злая сплетня именно на то и рассчитываетъ, что ее примутъ къ сердцу. Будто вы не знаете, что въ глухой сторонѣ сплетня рождается такъ же легко, какъ насѣкомья въ грязной избѣ, что сплетни для нѣкоторыхъ нужнѣе насущнаго хлѣба, слаще млека и меда? Ну, помилуйте, ради Бога, стоило ли вамъ заболѣвать изъ-за этой дряни? А все таки мнѣ за васъ грустно. Что сказать вамъ о нашихъ новостяхъ? Нѣтъ, о нихъ лучше послѣ, потому что есть кое-что болѣе дорогое, болѣе близкое моему сердцу. Вы упрекаете меня въ привязанности къ китайскимъ церемоніямъ, въ сдержанности выраженій, въ какой-то вѣчной *aggrège pensée*, между тѣмъ сами постоянно употребляете слова въ родѣ слѣдующихъ: извините, мое письмо, быть можетъ, вамъ... и тамъ далѣе. Ваши варіаціи на эти слова безконечны. Грѣхъ вамъ! Оставьте все это и говорите со мною просто. Ваши слова безъ украшеній, безъ яркаго наряда будутъ для меня понятны и—главное—всегда будутъ мнѣ дороги. Яркая пестрота почти всегда удивляетъ, не рѣдко отталкиваетъ! Для того, чтобы крѣпко, горячо позать вашу милую руку, какъ руку друга, на нее не нужно надѣвать душистую модную перчатку съ изысканнымъ махорчикомъ и съ блестящею застежкой, — увѣряю васъ, что это такъ. Игра словъ, разныя извиненія и оговорки—это своего рода *pas des deux*, фигура, можетъ быть, умѣстная на сценѣ, но непримѣнимая въ обыкновенной, обыденной жизни. Представьте, что я вхожу въ вашъ домъ и вмѣсто того, чтобы подойти къ вамъ прямо и сказать: „добрый день, или добрый вечеръ“, — дѣлаю шагъ налѣво, шагъ направо, шагъ впередъ, шагъ назадъ, — вѣдь вы захотали бы непремѣнно... То-то и есть!... авось на будущее время вы оставите ваши оговорки, отъ которыхъ мнѣ становится грустно и больно. Кому же пріятно недовѣріе? Какъ было бы хорошо, если бы вы пріѣхали въ Воронежъ! Какъ я былъ бы этому радъ! Конечно, разныя разности помѣшали бы поговорить намъ на свободѣ, но лучше что-нибудь, чѣмъ ничего. А знаете ли? У насъ устраивается въ пользу „Общества распространенія грамотности“ литературно-музыкальный вечеръ. Если онъ состоится, то будетъ сдѣланъ въ

залѣ дворянскаго собранія на шестой недѣлѣ Великаго поста, такъ, по крайней мѣрѣ, предполагается. Я приглашенъ читать, но буду ли участвовать въ чтеніи, не знаю. „Общество распространенія грамотности“ имѣетъ цѣлю устройство публичныхъ библиотекъ, образованіе низшаго класса народа, проведеніе въ массу; дешевыхъ изданій книгъ и тому подобное. Цѣль, какъ видите, благая. Проектъ подобнаго общества костромичи уже представили на утвержденіе правительства. Я знаю это потому, что переписываюсь съ его учредителями. Распространеніе грамотности можетъ принести огромную пользу; разумѣется, все это впереди; мы не доживемъ до счастливыхъ результатовъ народнаго образованія, но хорошо уже и то, что увидимъ начало благого дѣла. Васъ удивляетъ теперь неразвитость сельскаго населенія; вы даже находите ее болѣе между государственными крестьянами, нежели между бывшими крѣпостными, и потому заключаете, что уничтоженіе крѣпостнаго права не принесетъ такихъ плодовъ, на которые надѣются передовые люди нашего времени и вообще всѣ тѣ, кому дорога наша родимая сторона. Ясно, что вы не давали себѣ труда поглубже вникнуть въ причины, которыя стали непроходимой стѣною на нашемъ пути. Изъ вашихъ словъ выходитъ, что народъ нашъ неспособенъ къ развитію. Нѣтъ, вы подумайте сперва о томъ, что надъ нимъ тяготѣло, о томъ, какое его окружаетъ чиновничество, каковы его наставники—какъ бьется онъ изъ-за пасущнаго куска, таская во всю жизнь на плечахъ своихъ зипунъ, а на ногахъ лапти... впрочемъ, объ этомъ неудобно говорить на бумагѣ, я утомилъ бы васъ разными печальными подробностями. Поднимемте этотъ вопросъ тогда, когда мнѣ удастся побывать въ вашемъ краѣ, я постараюсь доказать вамъ справедливость моихъ словъ.

Ваше письмо я получилъ 26-го вечеромъ, т.-е. на седьмой день послѣ его отправленія изъ З.! О, благодатныя сообщенія! Кажется, и не далеко живемъ другъ-отъ-друга, а выходитъ такъ, что между нами ложится пространство въ тысячу верстъ... Кстати о письмахъ: если дѣйствительно, васъ сколько-нибудь затрудняетъ русская рѣчь, благодаря полученному

вами воспитанію, пишете по-французски. Ухо мое не привыкло къ этому языку и я не могу на немъ говорить, потому что узналъ его слишкомъ поздно и изучилъ самоучкою; по тѣмъ не менѣе я его знаю настолько, что письмо ваше пойму отъ перваго до послѣдняго слова. Только, пожалуйста, не повторяйте такихъ, или подобныхъ фразъ: *il faut enfin cesser les jérémiades*, или *galimatias*, или—ну, вы сами знаете, что далѣе... я не буду напоминать вамъ того, чѣмъ высказывалось и высказывается ваше недовѣріе къ людямъ, вамъ преданнымъ... Вотъ же вамъ! *Charge en revanche*... Посмотримъ, долго ли еще будете вы мучить меня вашими церемоніями. Ухъ, что это за слово! походить на скрипъ ножа по каменной тарелкѣ, что, какъ извѣстно, нравится канарейкамъ, и отъ чего затыкають уши люди, непривыкшіе къ подобнымъ раздражительнымъ звукамъ. Вы говорите, что у васъ прекрасная погода, что вы часто гуляете и слышите пѣсню жаворонка. Радуюсь за васъ. Вспоминайте иногда о тѣхъ людяхъ, которые, живя въ грязномъ городѣ, думаютъ о деревнѣ, скучаютъ по ней и ждугъ минуты подышать ея воздухомъ, полюбоваться на ея поля и!... *c'est assez!* Всею душею преданный вамъ

И. Никитинъ.

## IX.

1861 г. Апрѣля 19-го.

Вы уѣхали, — и въ жизни моей остался пробѣлъ; меня окружила пустота, которую я не знаю чѣмъ наполнить. Мнѣ кажется, я еще слышу вашъ голосъ, вижу вашу кроткую, привѣтливую улыбку, но, право, мнѣ отъ этого не легче: все это тѣнь ваша, а не вы сами. Какъ до сихъ поръ живы въ моей памяти — ясный солнечный день и эта длинная, покрытая пылью улица и эта несносная, одѣтая въ темномалиновый бурнусъ дама, такъ некстати попавшаяся намъ навстрѣчу, и эти ворота, подлѣ которыхъ я стоялъ съ поникшей головой, чуждый всему, что вокругъ меня происходило,—видя только одну васъ и больше никого и ничего! Какъ не хотѣ-



лось, какъ тяжело было мнѣ идти назадъ, чтобы приняться за свою хлопотливую, безтолковую работу, обратившись въ живую машину, безъ ума и безъ сердца! Какъ живо все это я помню!

На лицо твое солнечный свѣтъ упадаль,  
Ты со взоромъ поникшимъ стояла;  
Крѣпко руку твою на прощаньи я жалъ,  
На устахъ моихъ рѣчь замирала.

Я не могъ отъ тебя своихъ глазъ отвести.  
Одна мысль, что намъ нужно разстаться,  
Поглощала меня. Повторялъ я: «Прости!»  
И не могъ отъ тебя оторваться.

Понимала ли ты мое горе тогда?  
Или только, какъ ангель прекрасна,—  
Покидала меня безъ нужды и труда,  
Будто камень холодный, безстрастна?..

Вотъ затихъ стукъ колесъ средь безлюдныхъ равнинъ,  
Улеглася за нимъ пыль за тобою;  
И, какъ прежде, я снова остался одинъ  
Съ безопадной, безсонной тоскою.

Догорѣла свѣча. Бродить сумракъ въ углахъ,  
Полъ сияетъ отъ луннаго свѣта;  
Безконечная ночь! Въ этихъ душныхъ стѣнахъ  
Зарыдай,—не услышишь отвѣта...

Видите-ли: я наконецъ ударился въ стихи. Плохой признак!.. И стихи то плохіе, да чтожъ такое? Будемъ живы, напишемъ и лучше. Можетъ быть, мнѣ и не слѣдовало бы говорить такимъ языкомъ, но чтожъ дѣлать? Эти стихи вырвались невольно. Простите моему увлеченію. Здѣсь нѣтъ, по крайней мѣрѣ, притворства. И виноватъ-ли я, что мое воображеніе не даетъ мнѣ покоя? Позднею ночью, когда я лежалъ съ книгою въ рукахъ, мнѣ все еще вспоминался ясный солнечный день. Между строками этой книги я читалъ дру-

гія строки, и онѣ-то были для меня полны смысла, — увы! грустнаго смысла! Я содрогаюсь, когда оглядываюсь на пройденный мною, безотрадный, длинный-длинный путь. Сколько на немъ я положилъ силы! А для чего? Къ чему вела эта борьба? Что я выигралъ въ продолженіе многихъ годовъ, убивъ свое лучшее время, свою золотую молодость? Что я выигралъ? Вѣдь я не сложилъ, не могъ сложить ни одной беззаботной, веселой пѣсни во всю мою жизнь? Неужели въ душѣ моей не нашлось бы животрепещущихъ струнъ? Неужели на лицѣ моемъ только забота должна проводить морщины? Неужели оно должно окаменѣть съ своимъ холоднымъ, суровымъ выраженіемъ и остаться навсегда чуждымъ улыбка счастья? Кажется, это такъ и будетъ! Съ разбитою грудью какъ-то неловко, неблагоприятно мечтать о красныхъ дняхъ. А какъ будто, на зло всему, съ мечтами трудно разстаться. Такъ колодникъ до послѣдней минуты казни не покидаетъ надежды на свободу; такъ умирающій въ чахоткѣ вѣрить въ свое выздоровленіе. Тотъ и другой ждуть чуда; но чудеса въ наше время невозможны. Жизнь не измѣняетъ своего естественнаго хода, и если кому случится попасть подъ ея тяжелый жерновъ, она спокойно закончитъ свое дѣло, обративъ въ порошокъ плоть и кости своей жертвы. Теперь вопросъ: зачѣмъ я писалъ вамъ эти строки? Мало-ли кому грустно, да вамъ что за дѣло до всѣхъ скорбящихъ и чающихъ движенія воды? Но будьте немножко внимательны: у меня нѣтъ любимой сестры, на колѣни которой я могъ бы склонить свою голову, милыя руки которой я могъ бы покрыть, въ тяжелую для меня минуту, поцѣлуями и облить слезами. Чтожъ, представьте себѣ, что вы моя нѣжная, моя дорогая сестра, и вы меня поймете. Не то вазовите все это пустяками, увлеченіемъ впечатлительной, но не совсѣмъ разумной натуры и тому подобное... *Cela dépendra de vous. Je serai tout ce que vous m'ordonnerez...* такъ сказано, не помню, въ какомъ-то романѣ. Не правда-ли, вѣдь я не послѣдній мастеръ закапчивать печальный рассказъ нелѣпою шуткой? Что за глупое настроеніе души? Вѣроятно, это зависитъ отъ скверной погоды, отъ холоднаго, сѣраго дня и великопостнаго выраженія окружающихъ меня лицъ?.. Мнѣ хотѣлось бы долго-долго

съ вами говорить; но... вотъ бѣда: я боюсь навести на васъ скуку и тоску. Мнѣ кажется, что, пробѣгая эти строки, вы теряете терпѣніе и притопываете вашей прекрасной ножкой, восклицая: „несносный человѣкъ!“ Вотъ ужъ, и несносный... А я думаю, вы не выходите изъ терпѣнія, когда несетесь въ галопѣ съ какимъ-нибудь раздушеннымъ господиномъ, рассылающимъ предъ вами яркіе цвѣты восточнаго краснорѣчія. Вотъ вы устали и сѣли отдыхать. Дыханіе ваше горячо: щеки покрыты румянцемъ; неровно поднимается грудь, — а этотъ господинъ стоитъ за вашимъ стуломъ и, картинно изгибая свою спину, снова сыплеть предъ вами цвѣты восточнаго краснорѣчія и дышетъ на ваше полукрытое плечо. Позвольте же вамъ сказать, только не вслухъ, а на ушко; „теперь уже не вы, а я теряю терпѣніе“; я постараюсь найти случай пробить насквозь мѣдный лобъ этого полотера неотразимой эпиграммой... Ухъ, какимъ холодомъ пахнуло отъ вашего лица! Понимаю, понимаю!..

Я васъ не смѣю раздражать  
И повинуюсь молчаливо!  
И хоть совсѣмъ не радъ молчать,  
Молчать я буду терпѣливо.

«Но ради самого Христа,  
Къ чему вся эта пестрота,  
Вся эта смѣсь стиховъ и прозы,  
Все это шутки, или слезы?»

Меня вы спросите. — «Увы!  
Отчасти плодъ тяжелой скуки,  
Отчасти плодъ душевной муки  
И нездоровой головы».

Притомъ, скажу чистосердечно,  
На васъ мнѣ трудно угождать:  
Едва шутить начну безопасно, —  
Сейчасъ упрекъ: «зачѣмъ шутить!»

Не веселья,—опять укору,  
Опять нахмуренные взоры;  
Но какъ же быть мнѣ, мой Творецъ!..  
Assez? Довольно, наконецъ:

За то, что вралъ на-пропалую,  
За то, что мучилъ этимъ васъ,  
Склонивъ колѣни, въ этотъ часъ  
Прахъ вашей ножки я цѣлую.  
А ручку можно-ли пожать?  
Нельзя? Такъ что и толковать!  
Къ чему излишняя награда?  
Такая милая отрада  
Меня съ ума-бъ теперь свела,  
А вы... вы не творите зла.  
Мнѣ остается передъ вами,  
Принявъ видъ скромности святой,  
Стоять съ поникшей головой  
И съ потупленными глазами,  
Или забыть весь свѣтъ,—и вдругъ  
Воскликнуть. . . . .

Угадайте, что я хотѣлъ сказать? Держу пари, что не угадаете. Ну-съ, а я не dokonчу стиха ни за что на свѣтѣ, изъ опасенія навлечь на себя ваше нерасположеніе, что было бы для меня очень грустно.

Я думаю, по случаю наступающаго праздника, вы находитесь теперь въ страшныхъ хлопотахъ: отдаете разныя приказанія вашей прислугѣ, торопливо переходите изъ комнаты въ комнату, гремя связками ключей, какъ хозяйка, серьезно озабоченная своимъ дѣломъ, и такъ далѣе. То ли дѣло вотъ я: по мнѣ хоть травушка не расти: какъ себѣ знаютъ, такъ тамъ и дѣлаютъ; я рѣшительно ни въ чемъ не принимаю участія, только время отъ времени раскрываю бумажникъ при докладахъ: вотъ то-то нужно купить, да вотъ этого не достаетъ.

Сейчасъ получилъ отъ Гагена \*) свой портретъ и укупорилъ его съ тѣмъ, чтобы отправить къ вамъ. Портретъ вышелъ очень удаченъ; мое обыкновенное выраженіе лица схвачено

\*) Воронежскій фотографъ.

совершенно (первый портретъ не удался и брошенъ); какъ видите, личность печальная и весьма некрасивая. Положите ее куда-нибудь подалѣе въ уголокъ, чтобы она не всѣмъ бросалась въ глаза и не наводила на добрыхъ людей тоски задумчивымъ выраженіемъ своихъ глазъ. Но съ вашей стороны эта грустная личность, право, заслуживаетъ нѣкоторой симпатіи. На этой бумагѣ, въ этихъ неподвижныхъ чертахъ, мнѣ кажется, должно быть что-нибудь живое, быть можетъ, лучшая часть моей души, но весьма простой причинѣ: въ то время, когда снимали съ меня портретъ, я думалъ о васъ; поймите, что я хочу сказать, и повѣрьте моему слову, только объ однихъ васъ. Мнѣ будетъ очень больно, если, по прошествіи нѣкотораго времени, онъ будетъ вами брошенъ и окончательно забытъ, какъ забываются всѣ старыя, бесполезныя вещи. Неужели это можетъ случиться такъ скоро?.. Почему же и не такъ! отвѣчаетъ мнѣ какой-то насмѣшливый голосъ. Но когда же вашъ-то портретъ я буду имѣть счастье получить? Когда же? Онъ хранился бы всегда около моего изголовья. Первая моя мысль, при наступленіи дня, была бы о немъ. Онъ глядѣлъ бы на меня во время поздней ночи, когда въ домѣ замираетъ малѣйшій шорохъ и я остаюсь совершенно одинъ съ моею неразлучною книгой. Доставите ли вы мнѣ это наслажденіе? Если нѣтъ, — Богъ съ вами! Забудьте: это письмо писано до полученія вашего; я не могъ утерпѣть, чтобы не взяться за перо, и теперь снова берусь за него еще съ большимъ удовольствіемъ, когда прочиталъ написанныя вами ко мнѣ строки. А то, которое вы писали къ З., гдѣ оно, это бѣдное, милое письмо? Не дѣлайте этого въ другой разъ и пожалуйста не подозрѣвайте меня въ томъ, на что я вовсе не способенъ. Если когда-нибудь и почему бы то ни было взгляды вашъ на меня совершенно измѣнятся; если наконецъ вы захотите это сдѣлать для другой, извѣстной вамъ цѣли, — скажите мнѣ слово, сдѣлайте одинъ намекъ, и всякій клочекъ, къ которому приксснулось ваше перо, будетъ вамъ возвращенъ немедленно и въ цѣлости. Довольны ли вы? Болѣе этого, можетъ быть, грубѣе этого я ничего не могъ сказать. Но развѣ въ лицо друзей бросаютъ такія горькія обвиненія? Миръ,

миръ! Да мимо идетъ отъ вашего милаго лица всякое облачко досады. Если бы, провожая васъ отъ Гагена, я зналъ, что вы еще не такъ скоро оставите нашъ городъ, я зашелъ бы непременно къ вамъ на квартиру; но я боялся помѣшать вашему отъѣзду, не смѣлъ васъ удержать и, какъ ни было мнѣ грустно, — поплелся домой.

Что-то теперь, именно въ эту секунду, когда я спрашиваю васъ, вы подѣлываете? Теперь 11 часовъ утра. Навѣрное вы уже отслушали литургію. Позвольте же поздравить васъ съ принятіемъ Св. Тайнъ. Будьте здоровы и счастливы на всю вашу жизнь. Это мое задушевное, самое пламенное желаніе. Что до меня, — я предчувствую, что праздникъ будетъ проведенъ мною невесело. Я просию дома въ четырехъ стѣнахъ. Куда мнѣ идти? Знакомыхъ у меня, пожалуй, чуть не половина города, да что мнѣ за дѣло до нихъ и что имъ за дѣло до меня! Сходиться съ кѣмъ-нибудь для того только, чтобы поболтать, чтобы провести какънибудь время, — къ этому я не привыкъ. Зачѣмъ я не имѣю вашего портрета? Тогда, на первый день Пасхи, послѣ заутрени, я положилъ бы его передъ собою и долго съ любовью... какъ видите, голова моя немножко разстроена. Простите меня за это длинное безтолковое, написанное въ разное время письмо. Мнѣ не хочется отъ него оторваться; но нужно же когда-нибудь кончать и уже пора. Нѣтъ, еще два слова. Если я буду у васъ, вы не обращайтесь вниманія... Позвольте, совсѣмъ не то... Я знаю только одно, что вы окружены такою атмосферой, которая вѣетъ жизнью и счастьемъ на всякаго къ ней приближающагося... Я говорю это потому, что испыталъ на самомъ себѣ... За послѣднее ваше письмо я благодаренъ вамъ до слезъ. Какая у васъ должна быть прекрасная душа? Какимъ тепломъ вѣетъ отъ вашихъ словъ, идущихъ прямо къ сердцу! Ей-ей, у меня теперь страшный хаосъ въ головѣ, иначе я написалъ бы еще много, много... Впрочемъ, что-жъ такое? Вѣдь мы увидимся, не такъ-ли? Да храни васъ Богъ! Всею душею преданный вамъ

И. Никитинъ.

P. S. Я еще успѣю получить вашъ отвѣтъ до 5-го мая, — только не замедлите отвѣчать.

Х.

1861 г. Мая 5-го.

Ваше письмо я получилъ 1-го Мая, у васъ надѣялся быть 7-го или 8-го, потому что 5-го непремѣнно хотѣлъ выѣхать изъ Воронежа. Моей злой судьбѣ было угодно распорядиться иначе: встрѣчая первый день Мая за городомъ, въ саду, въ одномъ знакомомъ мнѣ семействѣ, я пилъ на открытомъ воздухѣ чай, бродилъ по саду до поздняго вечера и получилъ воспаленіе дыхательныхъ органовъ. Теперь сижу на діетѣ и микстурѣ. Докторъ на шагъ не выпускаетъ меня изъ комнаты. Вы не можете себѣ представить, какая напала на меня невыносимая тоска! Господи! нужно же мнѣ было заболѣть въ такое время, когда я представлялъ себѣ впереди столько задушевной радости, столько отрадныхъ, дорогихъ сердцу дней!.. Какъ бы то ни было, я приѣду къ вамъ при первой возможности, хотя полубольной, все-таки приѣду. Вы покамѣсть не пишите мнѣ ничего; если же получите отъ меня второе письмо, — тогда дѣло другое, тогда мнѣ нужно будетъ ваше теплое слово.

За ваше послѣднее письмо я не благодарю васъ потому, что какъ бы горячо я ни высказалъ вамъ эту благодарность, — она все равно окажется недостаточною на бумагѣ; нѣтъ, ужъ лучше я ее выскажу вамъ лично. Неужели я васъ не увижу?.. Быть не можетъ! Судя по тому, что я имѣю и хочу вамъ сказать, мнѣ кажется, что это письмо я могъ бы распространить на десять листовъ, но отлагаю этотъ разговоръ до нашей встрѣчи. Мнѣ будетъ дышаться легче въ вашемъ присутствіи, подъ обаяніемъ вашего свѣтлаго взгляда: а теперь и рука дрожить у меня отъ слабости и грудь дышетъ неровно. Не браните меня: мнѣ и безъ того теперь невесело.

Сію минуту прочиталъ письмо отъ Д — хъ. Они приглашаютъ меня къ себѣ, за что, разумѣется, я имъ очень благодаренъ. Что касается моихъ словъ m-me Д — ой, будто бы я обѣщался приѣхать въ ихъ края, — я ихъ что-то не

помню; едва ли это было мною когда-нибудь сказано. Повторяю еще разъ: приѣду къ вамъ при первой возможности, и, какъ знать, быть-можетъ, успѣю опередить это письмо. Будьте здоровы и веселы. Клянусь вамъ Богомъ, — я насильно отрываю перо отъ этого письма. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

XI \*).

26 Мая 1861 года.

Благодарю васъ отъ всей души за ваше письмо. Я молчалъ долго потому, что не могъ все это время поднять отъ подушки голову. Теперь мнѣ нѣсколько легче; по крайней мѣрѣ, я кое-какъ усѣлся въ постели и царапаю эти строки. Боже мой! какъ мнѣ тяжело болѣть въ такое благодатное время, когда все цвѣтетъ и поетъ! Видно, такъ нужно; — могъ ли я предвидѣть, что 1-е Мая принесетъ мнѣ столько несчастія? Трое лѣчившихъ меня докторовъ (теперь ѣздить ко мнѣ уже одинъ) положили, чтобы я, какъ скоро поднимусь на ноги, все лѣто провелъ бы въ деревнѣ, — это, дескать, лучшее для васъ лѣкарство. Такъ-то такъ, но скоро ли я встану? А тутъ, какъ на горе, отвратительная, сырая, холодная погода, такъ что я топлю комнату и лишень возможности проѣхаться по улицѣ въ экипажѣ, чтобы вздохнуть на четверть часа чистымъ воздухомъ. Когда Богъ приведетъ мнѣ быть въ деревнѣ, не знаю. Вы, ради Бога, оставьте мысль о посѣщеніи Воронежа (кромѣ многихъ другихъ причинъ) уже по тому одному, что мнѣ запрещено строжайше всякое душевное волненіе. Нервы у меня до того раздражены, что я вздрагиваю отъ неосторожнаго скрипа дверей или отъ нечаяннаго приближенія кого-либо изъ домашнихъ къ моей постели. Всякое сильное сердечное ощущеніе для меня можетъ имѣть дурныя послѣдствія.

---

\*) Это и слѣдующія письма писаны дрожащею рукою.



Богъ милостивъ, у насъ еще есть впереди время. Я не могу выразить, какъ я благодаренъ моимъ друзьямъ и знакомымъ за то участіе, которое они во мнѣ принимаютъ. А что до васъ... неужели вы думаете, что я васъ не понимаю, что я не вижу въ васъ женщины, способной возвышаться до подвига. Я бы сказалъ вамъ многое, но и рука ослабѣла, и голова моя будто сжата въ тискахъ. Простите, если здѣсь что-нибудь сказано не такъ. Когда просвѣтлѣютъ мои мысли, я напишу къ вамъ длинное-длинное письмо; всего-же лучше, если бы мнѣ удалось поскорѣе увидѣть васъ въ вашей деревнѣ. О днѣ моего къ вамъ пріѣзда я извѣщу васъ особымъ письмомъ. Это, конечно, можетъ быть только по моемъ выздоровленіи.

Читать я понемногу могу, само собою въ постели, помѣстивъ книгу передъ глазами. Настроеніе моего духа до того неестественно, что на меня всякая книга наводитъ невыносимую тоску. Еще разъ примите отъ меня мою задушевную благодарность за вашу обо мнѣ память. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

## XII.

4-го Іюня.

Отъ всей души благодарю васъ за все ваше участіе. Мнѣ теперь, слава Богу, нѣсколько лучше. Не писалъ я вамъ потому, что позабылъ, гдѣ вы квартируете, хотя вашъ кучеръ и сказалъ мнѣ фамилію хозяина дома. Но голова моя еще очень слаба, я все забываю. Еще разъ и глубоко благодарю васъ и буду тогда только счастливъ, когда буду имѣть возможность видѣть васъ, быть можетъ, скоро; дай-то Господи! Въ пятницу я напишу къ вамъ.

И. Никитинъ.

XIII.

Юня 23-го.

Давно я къ вамъ не писалъ. Но, Боже мой! Что мнѣ было писать? Вотъ уже восьмая недѣля, какъ я лежу на одномъ боку, и если выѣзжаю на полчаса, то эта прогулка удается рѣдко: для нея, во-первыхъ, день долженъ быть жаркій, ясный, и совершенно безвѣтряный. Все это трудно согласить и потому я лежу, и лежу убитый, кромѣ болѣзни, невыносимую тоскою. Впрочемъ, теперь мнѣ немного легче, потому что дыханіе становится свободнѣе. Я не стану благодарить васъ за ваше приглашеніе: вы, конечно, понимаете, что я цѣню вполне всю прелесть деревенской жизни съ ея удобствами, всю ея пользу для больного; но приглашеніемъ вашимъ, къ несчастію, я не могу воспользоваться. Для этого мнѣ нужно окрѣпнуть и потверже встать на ноги. Согласитесь, что я правъ: на это есть много причинъ и въ числѣ главныхъ отсутствіе доктора, совѣты котораго мнѣ покажутся необходимы. Итакъ, мысль о деревенской жизни волею-неволею я принужденъ оставить до болѣе благопріятнаго времени, а когда оно настанетъ, — извѣстно Богу. Но довольно о моей болѣзни; право, тошно... О новостяхъ нашихъ я не могу вамъ ничего сообщить, потому, что если онѣ до меня и доходятъ, то я пропускаю ихъ мимо ушей. Какъ-то не до нихъ, тѣмъ болѣе, что замѣчательнаго не слышно ничего. „Воронежская Бесѣда“ напечатана, но еще не получена изъ Петербурга, что очень мнѣ досадно. Мнѣ хочется, чтобы она была поскорѣе въ вашихъ рукахъ для того, чтобы, между прочимъ, вы прочитали помѣщенные мною въ ней разныя разности и сказали о нихъ свое мнѣніе. Журналы идутъ такъ слабо, что нечѣмъ отвести душу. Между тѣмъ чтеніе въ моемъ положеніи остается единственною отрадою. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

XIV.

7-го Іюля.

Не судите меня строго за беспорядочность моихъ отвѣтовъ. Лежа третій мѣсяць въ четырехъ стѣнахъ, безъ надежды на лучшее, не имѣя силъ даже ходить по комнатѣ, потому что захватываетъ дыханіе, — трудно сохранить душевное спокойствіе. Говорить мнѣ тяжело, писать тѣмъ болѣе. Иногда приходятъ минуты такой тоски, что Божій свѣтъ становится немилымъ. Доктора рѣшили, что у меня ревматизмъ, который можетъ протянуться на долгое время. Я покорился, молчу и принимаю лѣкарства,—но, увы! они не помогаютъ. Впрочемъ, я не теряю надежды; со мной бывало и хуже.

Отъ всей души желаю вамъ здоровья и счастья. Писать болѣе, право, нѣтъ мочи, довольно и того, что я сказалъ вамъ, что мнѣ хотя и плохо, но все еще живетъ. Всѣмъ сердцемъ преданный вамъ

И. Никитинъ.

---

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Лѣто 1861 года. — Открытіе мощей Св. Тихона Задонскаго. — Состояніе Никитина. — Связаніе его съ В. А. Кокоревымъ. — Духовное завѣщаніе. — Отецъ. — Послѣднія именины. — Смерть и погребеніе. — Заключеніе. — Послѣсловіе.

Болѣзнь Никитина приняла роковой характеръ. — Врачъ, въ послѣднее время пользовавшій Никитина, одинъ изъ милѣйшихъ нашихъ знакомыхъ, но плохой эскулапъ, совершенно растерялся! Пришлось пригласить другого, увѣреннаго во всемогущей силѣ своей науки. Выборъ былъ очень удаченъ: увѣренность врача сообщилась больному, который отдался въ полное его распоряженіе, что съ Никитинымъ никогда прежде не бывало. Больной сдѣлался даже восторженнымъ почитателемъ врачебнаго искусства и не разъ заводилъ рѣчь о немъ. „Вѣдь, вотъ чувствую, что безъ лѣкарства не проживу и двухъ недѣль, а вышешь нѣсколько ложекъ микстуры, — ну какъ будто и станетъ легче и надеждишка появится!“ — не разъ говорилъ Никитинъ въ первое время своей болѣзни, — и „надеждишка“, въ самомъ дѣлѣ, его не покидала, тѣмъ болѣе, что болѣзнь не лишила его возможности сидѣть, ходить по комнатѣ, немножко пройтись по улицѣ въ хорошую погоду и даже, по совѣту врача, выѣхать за городъ въ покойномъ экипажѣ. Болѣзнь не отняла у Никитина возможности читать, вести дѣловую переписку, счеты по магазину, но серьезныхъ вещей Никитинъ читать уже не могъ; серьезное чтеніе его или утомляло, или возбуждало, а онъ и безъ того съ каждымъ днемъ болѣе приходилъ въ возбужденное состояніе, близкое къ экстазу. Бросивъ романы, Никитинъ началъ было читать

историческія сочиненія, но и они ему наскучили. Журналовъ онъ не могъ видѣть равнодушно; онъ былъ къ нимъ просто безпощаденъ. „Все ложь и мерзость“—не разъ восклицалъ Никитинъ, просматривая толстыя книги журналовъ и отбрасывая ихъ въ сторону. Но одинъ журналъ привлекъ къ себѣ все его вниманіе: это было „Православное Обозрѣніе“, гдѣ въ то время печатались записки Чеботарева, келейника преосв. Тихона Задонскаго. Какъ извѣстно, въ августѣ 1861 года происходило открытіе мощей этого святителя. Въ тогдашней духовной журналистикѣ стали появляться статьи о жизни и дѣятельности Св. Тихона. Само собою разумѣется, что эти статьи нигдѣ не читались съ такимъ любопытствомъ, какъ въ Воронежѣ и въ Воронежской губерніи, гдѣ память объ этомъ святителѣ, умершемъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка, была еще очень свѣжа, и имя его пользовалось величайшимъ уваженіемъ. Глубоко гуманный, просвѣщенный, литераторъ и витія, святитель Тихонъ былъ образцомъ простоты, кротости и истинно-христіанскаго смиренія,—качествъ, такъ свойственныхъ нашимъ древнимъ іерархамъ. Въ это время въ Воронежской и отчасти Орловской губерніяхъ (въ Елецкомъ уѣздѣ) находилось еще много не только дворянскихъ и купеческихъ, но и крестьянскихъ семействъ, въ которыхъ сохранились преданія о личномъ знакомствѣ или о перепискѣ съ ихъ прадедами преосвященнаго Тихона. Смѣло можно сказать, что Задонскъ, одинъ изъ красивыхъ уѣздныхъ городковъ, обязанъ своимъ существованіемъ Св. Тихону; ему же обязанъ своимъ процвѣтаніемъ и пустынный Толшевскій монастырь, находящійся въ Воронежскомъ уѣздѣ, хотя св. Тихонъ прожилъ въ немъ недолго. Трудно представить себѣ большее величіе въ томъ высокомъ уваженіи, которымъ народная память окружила образъ святаго мужа. Какъ художникъ, Никитинъ былъ пораженъ этимъ нравственнымъ величіемъ. Съ особенною восторженностію читалъ онъ въ запискахъ Чеботарева послѣдніе дни жизни Св. Тихона. „Вотъ это я понимаю! Вотъ она гдѣ правда-то!“—не разъ восклицалъ Никитинъ, чуя и свои послѣдніе дни. По поводу предстоящаго открытія мощей, не только Воронежъ, но и вся губернія ожи-

вились и наполнились сотнями тысяч богомольцевъ, шедшихъ и ѣхавшихъ со всѣхъ концовъ Россіи.— Не говоримъ о Задонскѣ: топографически онъ почти не существовалъ. Восемьдесятъ четыре версты, отдѣляющія этотъ городъ отъ Воронежа превосходнѣйшимъ шоссе, представляли сплошную улицу, по которой стремились волны народа. Все это пространство было буквально устлано лавочками и столиками съ съѣстными припасами и иными потребностями, необходимыми для десятковъ тысячъ ежедневно проходящихъ богомольцевъ. Ни съ чѣмъ нельзя было сравнить этой картины, единственной въ своемъ родѣ! Никитинъ не могъ быть свидѣтелемъ этой картины, но событіе открытія мощей совершенно его поглотило, и кажется, значительно поддержало его угасающую жизнь. Съ напряженнымъ вниманіемъ онъ выслушивалъ рассказы посѣтившихъ Задонскъ и самъ какъ бы запрашивался на подобные рассказы. Послѣ такого настроенія естествененъ былъ переходъ къ Евангелію. Эта была послѣдняя книга, которую Никитинъ читалъ въ своей жизни, читалъ до самой смерти, ни слова и ни съ кѣмъ не говоря о прочитанномъ. Ясно, что великая книга глубоко переживалась и прочувствовалась однимъ изъ „страдающихъ и обремененныхъ“, стоящимъ на пути къ вѣчному упокоенію!...

Какъ нарочно, лѣтомъ 1861 года, всѣ пріатели Никитина поразѣхались изъ Воронежа. Я тоже сдѣлалъ двѣ небольшія поѣздки по Воронежской и Орловской губерніямъ. Возвратившись домой въ концѣ Іюля, я ничего не нашелъ лучшаго въ положеніи Никитина. Врачъ, пользовавшій его, уже объявилъ намъ, что больной не жилецъ на этомъ свѣтѣ. Почти каждый день я посѣщалъ больного. Невыносимо были тяжелы эти посѣщенія. За возбужденіемъ слѣдовала у Никитина апатія и тоска. Большею частію онъ молчалъ и лежалъ съ закрытыми глазами; нерѣдко я замѣчалъ, что они были особенно красны. Какъ нарочно, все лѣто старикъ цилъ безъ удержу и не только не понималъ положенія сына, но безобразничалъ на пропалую. Часто онъ пугалъ умирающаго сына, врываясь въ его комнату въ пьяномъ, безобразномъ видѣ, босой и въ одномъ бѣльѣ. Никѣмъ не удерживаемый—ибо А. Н. Тюрина,

ходившая за больнымъ Иваномъ Саввичемъ, не могла съ нимъ справиться, — онъ давалъ просторъ своей брани и своимъ рукамъ, обыкновенно вооруженнымъ въ подобныя минуты солеными огурцами, которые онъ бросалъ куда ни попало. — „Аннушка, уведи, ради Бога, старика!“ — едва говорилъ умирающій сынъ. Но что могла сдѣлать Аннушка съ расходившейся бурей? — „Когда же, наконецъ, умереть Никитинъ?“ говорили вовсе не шутя люди, хотя и не близкіе къ Ивану Саввичу, но искренно его уважавшіе, знавшіе, что съ нимъ и вокругъ него творится. Этотъ роковой вопросъ: когда же наступитъ конецъ? — увы! пришлось задавать себѣ даже тѣмъ, которымъ былъ такъ дорогъ умирающій.

Но съ Августа здоровье Никитина какъ будто стало поправляться. Онъ былъ въ состояніи выходить со двора и даже кататься. Раза два или три мы съ нимъ гуляли вмѣстѣ, вмѣстѣ пріискивали новое помѣщеніе для магазина и заходили въ самый магазинъ отдохнуть и посмотреть. Съ начала болѣзни завѣдывалъ магазиномъ и жилъ въ немъ молодой человекъ, окончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ, Н. Н. Чеботаревскій, теперь имъ распоряжались мальчики, Акиндинъ и Миша. Въ одно изъ такихъ посѣщеній, въ самомъ концѣ Августа, мы удалились съ Иваномъ Саввичемъ въ заднюю комнату, исправляющую у него должность кабинета. Онъ легъ отдохнуть на диванъ; я сидѣлъ на одномъ изъ двухъ стульевъ. Затворенная дверь, ведущая въ магазинъ, вдругъ и послѣшно открывается. Входитъ незнакомый мужчина высокаго роста и обращается ко мнѣ съ вопросомъ: — „вы Иванъ Саввичъ!“ Я указалъ глазами на диванъ. „Я Кокоревъ“, — сказалъ вошедшій. Лежавшій съ полужакрытыми глазами Никитинъ вскакиваетъ съ дивана, выпрямляется во весь ростъ и, взявши за руку г. Кокорева, голосомъ полнымъ прежней силы, хотя часто обрывающимся, начинаетъ ему говорить... мы затрудняемся сказать, что говорить? Не рѣчь же? Не монологъ? Но это было въ самомъ дѣлѣ что-то въ родѣ рѣчи-монолога. Мы затрудняемся припомнить все, что было сказано, и какъ было сказано! В. А. Кокоревъ былъ болѣе, чѣмъ смущенъ этою сценою: въ первый разъ онъ видѣлъ Никитина и въ такомъ

положені!... Онъ пробоваль было остановить потокъ смутившихъ его благодарственныхъ словъ; но тщетно. — „Нѣтъ, стойте... дайте мнѣ все высказать,—говорилъ надрывающійся страстный голосъ: „вы дали мнѣ новую жизнь .. вы... вы спасли меня... не подожди такъ скоро смерть, я не остался бы здѣсь, въ этомъ городѣ... здѣсь мнѣ душно!...“ Голосъ Никитина порвался отъ истерическихъ рыданій; ему сдѣлалось дурно. Когда оправился Никитинъ, я поспѣшилъ оставить его вдвоемъ съ Кокоревымъ и, послѣ того, дня два или три не навѣщаль его. Я началъ надѣяться на его выздоровленіе. — Мнѣ казалось, что Никитинъ видимо оживаетъ, начинаетъ интересоваться многимъ и всего болѣе „Воронежской Бесѣдой“, уже отпечатанной и присланной уже въ готовыхъ листахъ; свиданіе съ г. Кокоревымъ прошло, я зналъ, благополучно; въ тотъ же вечеръ они еще разъ видѣлись. Но вотъ 1-го сентября я получаю записку, уничтожавшую мои надежды:

„Другъ мой! Пріѣзжайте ко мнѣ сегодня въ свободные для васъ часы. Нужно написать духовное завѣщаніе. Теперь ужъ, пожалуйста, безъ возраженій: по окончаніи этого дѣла, мнѣ будетъ легче. Васъ позвольте просить быть моимъ душеприкащикомъ. Не откажитесь! Кому же кромѣ? Кого бы пригласить изъ священниковъ,—право не знаю; не придумаете ли? Пріѣзжайте, если можно, съ Чеботаревскимъ, будьте со мною похладнокровнѣе при свиданіи, — иначе я не выдержу. Бумага гербовой, если нужно, возьмите; деньги найдете въ магазинѣ. Весь вашъ И. Никитинъ“.

Предоставляемъ самому читателю рѣшить, чего стоило Никитину совершеніе духовнаго завѣщанія! Чего стоило человеку въ его положеніи прощаться съ жизнію и со всѣмъ, что приобрѣтено такою дорогою цѣною! Никитину страшно не хотѣлось умирать: часто, особенно въ послѣднія шесть недѣль, и украдкою отъ меня, онъ плакалъ, какъ ребенокъ. Духовное завѣщаніе было совершено 10-го сентября. Эти десять дней—ужасное время!... Они прошли въ мучительныхъ заготовленіяхъ и толкахъ. Никитинъ совѣтоваль мнѣ, тотчасъ же послѣ его смерти, распродать книжный магазинъ по частямъ,



пустивъ вещи по номинальной цѣнѣ. Когда же значительная часть будетъ такимъ образомъ распродана, остальные вещи, „хламъ“, какъ онъ выражался, сбыть за что ни попало, съ аукціона. Я было занкнлся о моемъ невѣжествѣ въ торговомъ дѣлѣ, о неумѣнн распоряжаться вообще и т. п.

— Да чѣмъ тутъ и распоряжаться-то, возразилъ Никитинъ: вѣдь, много-много, за всѣми уплатами и расходами, останется тысячи три.

Съ полнымъ спокойствіемъ и самообладаніемъ распорядился больной своимъ имуществомъ и даже входилъ въ мельчайшія подробности по поводу похоронъ. Прежде Никитинъ хотѣлъ было предоставить вырученныя отъ продажи магазина деньги въ пользу какого-нибудь учебнаго или благотворительнаго заведенія. Я безъ труда уговорилъ его сдѣлать своими наслѣдниками хотя дальнихъ, но бѣдныхъ родныхъ его съ отцовской и материнской стороны. А отецъ? вопросъ объ отцѣ былъ невыносимо тяжелый и такимъ остается до сихъ поръ... У отца оставался постоялый дворъ и домъ, что по меньшей мѣрѣ приносило 300—400 р. дохода; отцу оставалась вся движимость въ домѣ: мебель, платье, разныя вещи и т. п.; но своего книжнаго магазина Никитинъ не хотѣлъ отдать отцу, не хотѣлъ дать въ немъ старику ни малѣйшей доли участія!.. Послѣ смерти Ивана Саввича старикъ не могъ остаться безъ всякаго призора, не могъ умереть съ голоду: собственность, которою онъ располагалъ, т. е. большая усадьба и дворъ, стоила немного меньше книжнаго магазина; онъ могъ найти себѣ наслѣдниковъ, которые не оставятъ его старости безъ присмотра, что и дѣйствительно потомъ случилось. Чѣмъ болѣе безобразничалъ старикъ, тѣмъ больше терялъ онъ всякую способность къ расчету: онъ не столько тратилъ денегъ на пропой, сколько терялъ ихъ, дарилъ кому зря, просто бросалъ или разрывалъ кредитные билеты: знай моля, нашихъ! Ивану Саввичу давно приходилось (конечно, послѣ страшныхъ сценъ) не давать старику на руки болѣе трехъ или пяти рублей, самому покупать для него водку; но и это не много помогало: Савва Евтѣичъ находилъ случай брать деньги впередъ у постояльцевъ, занимать у знакомыхъ,

отдавать подъ залогъ вещи и т. п. Словомъ, разсуждая здраво и безпристрастно (а такъ разсуждалъ Никитинъ при составленіи духовнаго завѣщанія), старикъ былъ все равно, что малое дитя, безсильное управлять своею судьбой... Но... отецъ!.. такія отношенія при послѣднемъ смертномъ часѣ!.. общественное мнѣніе!.. даютъ же дитяти опекуна-распорядителя, почему же и не дать его этому взбалмошному старому сумасброду?... Почему же не смягчить свирѣпости этого льва, хотя бы малою долей наслѣдства, — пусть и погибнетъ эта доля, если нѣтъ возможности сохранить ее?... Но умирающій сынъ оставался глухъ къ совѣтамъ включить отца въ духовное завѣщаніе! При всемъ тогдашнемъ моемъ вліяніи на Никитина, не смотря на совѣты отца духовнаго \*) и другихъ близкихъ ему лицъ, онъ оставался непреклоннымъ, говоря: „Это бесполезно, и деньги пойдутъ прахомъ. Старикъ имѣетъ домъ, возьметъ къ себѣ племянника съ женою и, я убѣжденъ, доживетъ свой вѣкъ спокойно теперешняго. Вы меня знаете, а другіе пусть говорятъ обо мнѣ, что хотятъ“. За два дня до совершенія завѣщанія, я пріѣхалъ къ Никитину часовъ въ 7 утра, вмѣстѣ съ духовникомъ. Мы нашли его сидящимъ въ креслахъ. Онъ готовился къ принятію Св. Тайнъ. Повидавшись съ нами, онъ довольно бодро всталъ и, къ изумленію нашему, пошелъ въ другую половину домика, которую занималъ отецъ. Старикъ еще спалъ; за все это лѣто я не болѣе двухъ разъ видѣлъ его трезвымъ. Черезъ нѣсколько минутъ мы услышали уже знакомыя мнѣ истерическія рыданія и слова: „Батенька! Простите меня!“ Никитинъ стоялъ на колѣняхъ передъ безчувственно-спящимъ отцомъ; но въ отвѣтъ на эту предсмертную просьбу, громко раздававшуюся по опустѣлому дому, было слышно одно бормотанье полусоннаго пьянаго человѣка. Оставивъ больного съ священникомъ, я вышелъ въ другую комнату. Черезъ четверть часа я снова услышалъ напугавшія меня рыданія. Я поспѣшилъ въ комнату

---

\*) Профессора семинаріи іеромонаха Арсенія (Иващенки), потомъ архимандрита, ректора Витебской семинаріи и члена Комитета Духовной Цензуры, ученаго автора многихъ церковно-историческихъ статей и книги „Лѣтопись церковныхъ событій въ связи съ гражданскими“.

больного, гдѣ уже все было кончено, и нашелъ его тихо плачущимъ. „Теперь ничего... Мнѣ легко! Вѣдь, вы знаете, другъ мой, что я не могу плакать!“ — сказалъ онъ, посмотрѣвъ на меня кротко и спокойно. Въ Никитинѣ было всегда сильно развито религиозное чувство, хотя онъ не разъ жалѣлъ о томъ, что утратилъ его младенческую непосредственность. Послѣдняя, казалось, теперь снова его посѣтила..

При составленіи духовнаго завѣщанія, Никитинъ предполагалъ выручку отъ проданнаго имущества, за всѣми расходами и уплатою долговъ, въ 2,100 р. сер. Приблизительное опредѣленіе долей наслѣдства было необходимо для его наслѣдниковъ, людей безграмотныхъ; имъ приблизительно было опредѣлено, — на какую сумму каждый изъ нихъ можетъ рассчитывать. Всѣхъ наслѣдниковъ было тринадцать человѣкъ; они должны были получить 7-ю, 14-ю, 16-ю, 20-ю и 40-ю доли изъ вырученной отъ продажи магазина суммы. Наслѣдники Никитина, какъ мы сказали, были дальними его родственниками отъ двоюродныхъ сестеръ Тюриныхъ до дочери „Портнаго“, воспѣтаго имъ въ одномъ изъ задушевнѣйшихъ стихотвореній. Къ нимъ вполне относится слѣдующая строфа изъ этой же піесы:

Бѣдность голодная, грязью покрытая,  
Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая, —  
Днемъ она гибнетъ, и въ полночь и за полночь,  
Гибнетъ она, — и никто не идетъ на помощь,  
Гибнетъ она — и опоры нѣтъ волоса,  
Теплаго сердца, знакомаго голоса...

Тринадцать семействъ такихъ бѣдняковъ нашли себѣ теплое сердце и значительно улучшили свое положеніе... \*)

Духовное завѣщаніе было передано въ запечатанномъ конвертѣ Аннѣ Николаевнѣ Тюриной. Содержаніе его старику оставалось неизвѣстнымъ.

26-го сентября былъ день именинъ Никитина. Со дня совершенія духовнаго завѣщанія я навѣщалъ его ежедневно.

\*) Книжный магазинъ Никитина былъ проданъ мною за семь тысячъ восемьсотъ руб. сереб. За разными расходами, на долю наслѣдниковъ пришлось 7664 руб. 84 коп. сереб., т. е. больше чѣмъ втрое, какъ предполагалось и на что они рассчитывали.

Онъ угасать съ каждымъ днемъ. Меня онъ какъ будто сталъ бояться. „Чудакъ этотъ М. Ѳ., говорилъ умирающій сестрѣ, — онъ думаетъ, что я умру! А я чувствую что встану: мнѣ теперь стало легче. Ты только не говори ему этого, Анпушка, а то разсердится“. Больного мучала мысль, что онъ не можетъ писать къ Второву, возвратившемуся уже изъ-за границы, не можетъ съ нимъ проститься. Мнѣ поручилъ Никитинъ исполнить эту печальную обязанность. „Смотрите же, прѣзжайте вечеромъ на именины чай пить, — знаете какъ всегда, да непременно съ сестрою“, еще задолго до 26-го числа говорилъ мнѣ Иванъ Саввичъ. Вечеромъ въ тотъ день я явился одинъ. Я сѣлъ за тѣмъ же круглымъ столомъ „на жалкихъ ножкахъ“, вокругъ котораго обыкновенно возсѣдали гости, собиравшіеся на вечеринки Никитина. Передъ тѣмъ же диваномъ „съ подушкою худою“ стоялъ этотъ столъ; но на диванѣ не гости сидѣли, а лежалъ умирающій хозяинъ-именинникъ. Смерть уже положила на немъ печать свою. Его глаза были большею частію закрыты; пылающія уста горѣли чахоточнымъ пламенемъ. Я сѣлъ и осмотрѣлся кругомъ. Боже! какая перемѣна!... Могилой повѣяло на меня отъ этой картины смерти, отъ пустоты и молчанія, царствующихъ во всемъ домѣ. Вошелъ Савва Евгѣичъ, трезвый и прибранный по случаю именинъ сына, и сѣлъ. Безчувственно пожавъ мнѣ руку, Никитинъ снова погрузился въ забытье: для успокоенья, докторъ давалъ ему сильныя приемы морфія. Кое-какъ глотая чай, по-праздничному, впрочемъ, подававшійся, шепотомъ разговаривали мы со старикомъ. Старикъ очнулся совершенно и, кажется, понималъ безнадежное положеніе сына. Тихо и кротко началъ онъ мнѣ жаловаться на больного, говоря, что онъ тревожится, сердится понапрасну, совсѣмъ не бережетъ и убиваетъ себя. — „Вотъ хоть бы вы ему посовѣтовали успокоиться; насъ онъ совсѣмъ не слушаетъ“, закончилъ свою жалобу Савва Евгѣичъ. Жалобы на крайнюю раздражительность умирающаго я слышалъ не разъ отъ Анны Николаевны. При самомъ началѣ этого разговора Никитинъ очнулся и замѣтно сталъ прислушиваться къ словамъ отца. Не разъ онъ вскидывалъ глазами, и что-то похожее на улыбку

я замѣтилъ на его лицѣ. При послѣднихъ словахъ старика, онъ совсѣмъ открылъ глаза и какъ-то тревожно смотрѣлъ на насъ обоихъ. Я чувствовалъ потребность сказать хоть что-нибудь—и сказалъ фразу о необходимости спокойствія для больного. Никитинъ быстро приподнялся съ дивана и сталъ на ноги, шатаясь и едва держась руками за столъ. Онъ былъ страшень, какъ поднявшійся изъ гроба мертвецъ.

— „Спокойствіе!... — воскликнулъ умирающій. — Теперь поздно говорить о спокойствіи!... Я себя убиваю!... Нѣтъ, — вотъ мой убійца!...“ Горящіе глаза его обратились къ ошеломленному и уничтоженному отцу. Умирающій опустился на диванъ, застоналъ и обратился къ стѣнѣ, погрузившись снова въ забытье. Этою сценою окончилось послѣднее празднованіе именинъ Никитина. Старикъ снова запылъ...

Смерть прекратила страданія Никитина 16-го октября, въ половинѣ пятаго часа по-полудни. Съ самаго ранняго утра, неотрезвившійся старикъ не выходилъ изъ комнаты умирающаго сына. Онъ стоялъ у его смертнаго одра и взывалъ сильнымъ голосомъ: „Кому отказываешь магазинъ? Гдѣ ключи? Подай сюда духовную!“ Эти слова, не произносимыя, а выкликаемыя, повторялись на всѣ лады: „Иванъ Саввичъ! подай ключи... Иванъ Саввичъ! гдѣ деньги“ и т. д. Произносились и слова, угрожающія проклятіемъ!... Умирающій судорожно вздрагивалъ и умолялъ глазами сестру отвести старика въ другую комнату. Я былъ свидѣтелемъ этой сцены въ три часа по-полудни. Кое-какъ я уговорилъ старика, сказавъ, что духовная у меня, что содержаніе ея онъ скоро узнаетъ, что деньги всѣ цѣлы. Я не имѣлъ духу присутствовать при послѣднихъ минутахъ умирающаго страдальца. Я былъ уничтоженъ картиною такой смерти. „Баба, баба!“ еще былъ въ силахъ сказать мнѣ Никитинъ. Это были послѣднія его слова. Все было уже кончено, когда черезъ часъ я возвратился съ сестрою въ этотъ домъ смерти и ужасовъ.

По окончаніи первой панихиды, въ присутствіи духовенства и множества лицъ, собравшихся въ домѣ, было вскрыто духовное завѣщаніе. Старикъ взвылъ, когда узналъ, что онъ обойденъ наслѣдствомъ. Но слово проклятія не сорвалось съ

устъ его... Ночь на 17-е октября... Но не дай Богъ переживать никому такой ночи! На столѣ лежалъ мертвецъ. Въ пустынномъ домѣ поднялась суета отъ неизбѣжнаго прихода близкихъ и постороннихъ лицъ и отъ неизбѣжныхъ въ подобныхъ случаяхъ хлопотъ; но среди всего этого раздавались дикіе вопли, прерывавшіе печальное, монотонное чтеніе псалтыри. Для ободренія себя старикъ прибѣгалъ къ извѣстному средству, ругался и врывался въ комнату, гдѣ лежалъ трупъ сына. Я вынужденъ былъ напомнить ему о своихъ правахъ душеприкащика. Куда тебѣ! Онъ просто лѣзъ ко мнѣ съ угрозами и ругательствами. Я принужденъ былъ наконецъ пострадать его закономъ, призваніемъ полиціи... И все это происходило передъ неостывшимъ еще трупомъ!... Спѣшимъ прибавить, что смерть сына не прошла даромъ Саввѣ Евтѣичу: могучій старикъ крѣпко осунулся и одряхлѣлъ лѣтъ на десять. На другой день и при погребеніи онъ былъ трезвъ и кротокъ и тихо плакалъ. Я заходилъ къ нему и потомъ. Онъ почти ослѣпъ и безъ провожатаго уже не могъ ходить. Охотно и незлобно говорилъ онъ о сынѣ, интересовался поставленнымъ на его могилѣ памятникомъ и каждый разъ заводилъ рѣчь о духовномъ завѣщаніи, объясняя умолчаніе въ немъ своего имени наговоромъ злыхъ людей; ибо-де „Иванъ Саввичъ не таковскій былъ человекъ, чтобы забыть отца; а что они между собою иногда ссорились, такъ мало-ли чего не бываетъ,—вѣдь, и горшокъ съ горшкомъ сталкивается!“ Старикъ пережилъ сына только тремя годами. Последніе дни жизни его прошли очень спокойно, но извѣстная болѣзнь не покидала его до гробовой доски.

Похороны Никитина, сверхъ чаянія и требованія покойнаго, вышли торжественныя. Явилось все духовенство Смоленскаго кафедральнаго собора; явились толпы учащейся молодежи, гимназисты и семинаристы; кадетскій корпусъ прислалъ выпускной классъ; собралось много самой разнообразной публики. Гробъ до собора и потомъ до могилы несли на рукахъ. На голову мертвеца возложили лавровый вѣнокъ. Въ соборъ прибылъ новый начальникъ губерніи, М. И. Чертковъ, и многія изъ почетнѣйшихъ лицъ го-

рода. Новая могила была приготовлена какъ-разъ подлѣ старой, вырытой назадъ тому девятнадцать лѣтъ и тоже знаменательной въ исторіи нашей литературы, — подлѣ могилы Кольцова, на такъ называемомъ Новомъ, или Митрофановскомъ, кладбищѣ. День погребенія былъ ясный и теплый. Кроткій лучъ осенняго солнца, проходя чрезъ церковные своды, смягчалъ строгое и печальное лицо Никитина. Когда я всматривался въ это лицо, чтобы не забыть его во вѣкъ, дорогой образъ живымъ и говорящимъ возсталъ передо мною изъ гроба, и смежившіяся уста, казалось, говорили мнѣ:

... Ты останешься живъ,  
Ты обо мнѣ и о моихъ поступкахъ  
Разскажешь тѣмъ, кто знать ихъ пожелаетъ.

(Гамлетъ. Перев. Кронеберга. Ст. 231).

И рассказать я счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ...

Еще нѣсколько словъ. Мы старались избѣгать идеализаціи при изображеніи жизни Никитина. Мы ослабляли тѣни; но только не въ очертаніи его характера. Мы не подводимъ итоговъ, не дѣлаемъ выводовъ изъ сказаннаго, предоставляя это сдѣлать самому читателю. Просимъ его еще разъ не забыть объ одномъ. Никитинъ возрасталъ и развивался въ эпоху мрака, въ невыносимой духотѣ бѣднаго и темнаго быта. Но въ душѣ своей онъ носилъ другой идеалъ, къ которому стремился съ мужествомъ героическимъ. Передъ концомъ своей жизни онъ расцвѣлъ на мгновеніе, когда почувялъ вѣяніе иного, свѣжаго воздуха, приближеніе поры, къ которой онъ такъ обращался:

Прійдетъ ли наконецъ пора,  
Когда блеснутъ лучи разсвѣта,—  
Когда зародыши добра  
На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,  
Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ,  
И не принесутъ сторичный плодъ,—  
Когда минетъ проказа вѣка  
И воцарится честный трудъ,—  
Когда увидимъ человѣка—  
Добра божественный сосудъ?

Эта проказа вѣка не обошла Никитина, какъ и всѣхъ его современниковъ, развивавшихся при одинаковыхъ съ нимъ условіяхъ.

Мы не дѣлаемъ оцѣнки литературнымъ произведеніямъ Никитина. Лучшая поэма, имъ созданная — его жизнь; лучший типъ — онъ самъ.

Много лѣтъ прошло, какъ была составлена намъ біографія Никитина; и почти четверть вѣка, какъ его не стало. Да позволено намъ будетъ присовокупить къ сказанному, въ видѣ послѣсловія, слѣдующія строки.

Послѣ смерти Никитина я прожилъ въ Воронежѣ четыре года. Ни прежде, ни послѣ я не былъ такъ доволенъ своимъ служебнымъ положеніемъ и тѣмъ родомъ частныхъ занятій, который въ это время выпадалъ на мою долю (напр., редація Губернскихъ Вѣдомостей, устройство въ городѣ публичной бібліотеки и т. п.); но и за всѣмъ этимъ, Никитинъ не позабывался: смерть его произвела въ душѣ моей тяжелую рану, которую плохо залѣчивало время. Въ моей умственной, духовной жизни я почувствовалъ какую-то пустоту, чего-то недоставало: казалось, у меня сразу убило силы: казалось, вдругъ оборвалась моя молодость. Меня начало тянуть изъ Воронежа, гдѣ прошли мои гимназическіе годы, гдѣ я прожилъ осьмнадцать лѣтъ, — лучшую пору молодости. Я выѣхалъ изъ Воронежа въ 1865 году и уже болѣе въ него не возвращался. Но за двадцать послѣднихъ лѣтъ и до сего часа, гдѣ я ни жилъ, всегда и вездѣ полоса прошлаго, воронежскаго времени, обнимающая собою 1857—1861 годы, рисуется въ моихъ воспоминаніяхъ въ самомъ свѣтломъ, лучезарномъ видѣ, и на ней ярко выступаетъ образъ Никитина во всей полнотѣ его обаянія. Въ чемъ же заключалось оно, это обаяніе? — Въ томъ именно, это близкое общеніе съ Никитинымъ поднимало вашъ духъ и возбуждало вашу энергію; этотъ человекъ былъ олицетвореніе труда, живое воплощеніе идеи, замысла; вблизи его нельзя было ни задремать, ни опустить рукъ. Никитинъ былъ рожденъ если не повелѣвать, то руководить другими, — идти если не впереди всѣхъ, то рядомъ съ лучшими, избранными. Это была натура преимущественно



мужская, а не женственная, не пассивная. Таковъ онъ былъ и въ дружбѣ, — крѣпкій, независимый и лично свободный! Духовный ростъ Никитина совершался на глазахъ друзей его; послѣдніе, какъ умѣли и могли, конечно, помогали этому росту, но больше непосредственно, чѣмъ посредственно. Говорить о какомъ-то подчиненіи Никитина друзьямъ, о какомъ-то воспитаніи его послѣдними, могутъ только люди, не знавшіе лично Никитина, не имѣвшіе, стало быть, и понятія о той гармоніи всѣхъ душевныхъ способностей — ума, воли, чувства, фантазіи, — которая поражала въ немъ наблюдателя и какую не обладалъ ни одинъ изъ друзей его. Придайте подобному человѣку печать даровитости, — и вы получите личность, полную обаянія, привлекающую къ себѣ и увлекающуюся, но совершенно неспособную къ какой-либо страдательной роли. Такихъ цѣльныхъ и крѣпкихъ натуръ, какъ Никитинъ, мало вырабатываетъ наша русская жизнь; такіе люди не забываются.

Тамбовъ.

Май—Іюнь 1885 года.



The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and a list of the names of the persons who have been engaged in the work.

The second part of the report deals with the financial statement of the year. It shows the total amount of the income and the expenditure and the balance at the end of the year. It also shows the details of the various items of income and expenditure. The financial statement is followed by a list of the names of the persons who have been engaged in the work.

# СТИХОТВОРЕНІЯ

1849—1857.

CTNXOTBOPEHIA

1819-1857

1849 г.



I.

Ихъ ночь ложится  
На вершины горъ,  
И луна глядится  
Въ зеркала озеръ.

Надъ глухою степью,  
Въ неизвѣстный путь,  
Безконечной цѣлью  
Облака плывутъ;

Надъ рѣкой широкой,  
Сумракомъ покрытъ,  
Въ тишинѣ глубокой  
Лѣсъ густой стоитъ;

Свѣтлыя заливы  
Въ камышахъ блестятъ,  
Неподвижны нивы  
На поляхъ стоятъ;

Небо голубое  
Весело глядитъ,  
И село большое  
Беззаботно спитъ;

Лишь во мракъ ночи  
Горе и развратъ  
Не смыкають очи,  
Въ тишинѣ не спясть.

## II.

## Весна на степи.

Степь широкая,  
Степь безлюдная,  
Отчего ты такъ  
Смотришь пасмурно?

Гдѣ краса твоя,  
Зелень яркая,  
На цвѣтахъ роса  
Изумрудная?

Гдѣ тѣ дни, когда  
Съ утра до ночи  
Ты залетныхъ птицъ  
Пѣсни слушала,

Дорогимъ ковромъ  
Разстилалася,  
По зарямъ, сквозь сонъ,  
Волновалася?

Когда, въ часъ ночной,  
Тайны чудныя  
Вѣтерокъ тебѣ  
Шепталъ ласково,

Освѣждалъ твою  
Грудь открытую,  
Какъ дитя, тебя  
Убаюкиваль?...

А теперь лежишь  
Мертвецомъ нагимъ;  
Тишина вокругъ,  
Какъ на кладбищѣ...

Пробудись, — пришла  
Пора прежняя;  
Уберись въ цвѣты,  
Въ бархатъ зелени;

Изукрась себя  
Росы жемчугомъ;  
Созови гостей  
Весну праздновать.

Посмотри кругомъ:  
Небо ясное  
Голубымъ шатромъ  
Пораскинулось,

Золотой вѣнецъ  
Солнца красного  
Весь въ огняхъ горить  
Надъ дубравою.

Новой жизнию  
Вѣетъ теплый день,  
Вѣтерокъ на грудь  
Къ тебѣ просится.

---

## III.

## П о л е.

Раскинулось поле волнистою тканью  
 И съ небомъ слилось темносинею гранью,  
 И въ небѣ прозначномъ щитомъ золотымъ  
 Блестящее солнце сіяетъ надъ нимъ;  
 Какъ по морю, вѣтеръ по нивамъ гуляетъ  
 И бѣлымъ туманомъ холмы одѣваетъ,  
 О чемъ-то украдкой съ травой говорить  
 И смѣло во ржи золотистой шумить.  
 Одинъ я... и сердцу, и думамъ свобода...  
 Здѣсь мать моя, другъ и наставникъ — природа.  
 И кажется жизнь мнѣ свѣтлѣй впереди,  
 Когда къ своей мощной широкой груди  
 Она, какъ младенца, меня допускаетъ  
 И часть своей силы мнѣ въ душу вливаетъ.

## VI.

## Монастырь.

Крестомъ высокимъ осѣненный,  
 Вдали отъ селъ и городовъ  
 Одинъ стоишь ты, окруженный  
 Густыми купами деревь.

Вокругъ глубокое молчанье,  
 И только съ шелестомъ листовъ  
 Однообразное журчанье  
 Живыхъ сливается ручьевъ,



И вѣтерокъ прохладный вѣетъ,  
И тѣнь бросаютъ дерева,  
И живописно зеленѣетъ  
Полянъ высокая трава.

О, какъ сыны твои счастливы!  
Въ твоёмъ безмолвіи святомъ  
Они страстей своихъ порывы  
Смирили бдѣньемъ и постомъ.

Ихъ сердце отжило для міра,  
Умъ съ суетою незнакомъ,  
Какъ-будто свѣтлый ангелъ міра  
Ихъ осѣнилъ своимъ крестомъ.

И внемлетъ вѣчное Богъ-Слово,  
Ихъ тяжкій путь благословивъ,  
Святыхъ молитвъ живое слово  
И гимновъ сладостный призывъ.

— — — — —  
V.

## Л ѣ с ъ.

Шуми, шуми, зеленый лѣсъ!  
Знакомъ мнѣ шумъ твой величавый,  
И твой покой, и блескъ небесъ  
Надъ головой твоей кудрявой.

Я съ дѣтства понимать привыкъ  
Твое молчаніе нѣмое  
И твой таинственный языкъ.  
Какъ что-то близкое, родное.

Какъ я любилъ, когда порой,  
 Краса угрюмая природы,  
 Ты спорилъ съ сильною грозой  
 Въ минуты страшной непогоды,  
 Когда большихъ твоихъ дубовъ  
 Вершины темныя качались,  
 И сотни разныхъ голосовъ  
 Въ твоей глуши перекликались...

Или когда свѣтило дня  
 На дальнемъ западѣ сіяло  
 И яркимъ пурпуромъ огня  
 Твою одежду освѣщало!  
 Межъ-тѣмъ, въ глуши твоихъ деревъ  
 Была ужъ ночь, а надъ тобою  
 Цѣпь разноцвѣтныхъ облаковъ  
 Тянулась пестрою грядою.

И вотъ я снова прихожу  
 Къ тебѣ съ тоской моею безплодною.  
 Опять на сумракъ твой гляжу  
 И голосъ слушаю свободный.  
 И, можетъ быть въ твоей глуши,  
 Какъ узникъ, волей оживленный,  
 Забуду скорбь моей души  
 И горечь жизни обыденной.

VI.

Д\*. Н\*.

Не отравляй минутъ успокоенья  
 Болѣзненнымъ предчувствіемъ утратъ:

Таинственно Небесъ опредѣленье,  
Но ихъ законъ ненарушимо святъ.

И еслибы отъ самой колыбели  
Страданіе досталось тебѣ, —  
Какъ челоуѣкъ, своей высокой цѣли  
Не забывай въ мучительной борьбѣ.

---

VII.

Присутствіе непостижимой силы  
Таинственно скрывается во всемъ:  
Есть мысль и жизнь въ безмолвіи ночномъ,  
И въ блескѣ дня, и въ тишинѣ могилы,  
Въ движеніи безчисленныхъ міровъ,  
Въ торжественномъ покоѣ океана,  
Въ сумракѣ задумчивыхъ лѣсовъ,  
И въ ужасѣ степнаго урагана,  
И въ дыханіи прохладномъ вѣтерка,  
И въ шелестѣ листовъ передъ зарею,  
И въ красотѣ пустыннаго цвѣтка,  
И въ ручейкѣ, текущемъ подь горою.

---

VIII.

### Грусть старика.

Жизнь къ развязкѣ печально идетъ,  
Сердце счастья и радостей просить,  
А годовъ не возвратный полетъ  
И послѣднюю радость уносить.  
Охладѣла горячая кровь,  
Беззаботная удалъ пропала,

И не прежній разгуль, не любовь, —  
И въ душу горькая дума запала...  
Все погубило подъ холодомъ лѣтъ,  
Что когда-то отрадою было,  
И надежды на счастье нѣтъ,  
И въ природѣ все стало уныло:  
Лѣсъ, нахмурясь, какъ слабый старикъ,  
Погруженный въ тяжелую думу,  
Головою кудрявой поникъ,  
Будто тужить о чемъ-то угрюмо;  
Вѣтеръ съ тучею, съ синей волной  
Рѣчь сердитую часто заводитъ;  
Блѣдный мѣсяцъ надъ сонной рѣкой,  
Одинокій задумчиво бродитъ...  
Въ годы прежніе міръ былъ иной:  
Какъ невѣста, земля убиралась,  
Что камышь, хлѣбъ стоялъ золотой,  
Степь зеленымъ ковромъ разстилалась;  
Лѣсъ привѣтно подъ тѣнь свою звалъ,  
Вѣтеръ весело пѣлъ въ чистомъ полѣ,  
По ночамъ ярко мѣсяцъ сіялъ,  
Рѣки шумно катилися въ море,  
И, какъ пиръ, жизнь привольная шла,  
Душа воли, простора просила,  
Подъ грозою отвага была,  
И не знала усталости сила.  
А теперь, тяжелой грустью убитъ,  
Какъ живая развалина ходишь,  
И душа по-неволѣ скорбитъ,  
И слезу по-неволѣ уронишь,  
И подумашь молча порой:  
Нѣтъ, старикъ, не бывалые годы!  
Межь людьми ты теперь ужъ чужой,  
Лишній гость межъ гостями природы.

---

## IX.

## Мраморъ.

Недвижимый мраморъ, въ пустынь глухой,  
 Лежалъ одиноко, обросшій травой;  
 Дожди въ непогоду его обмывали,  
 Да вольныя птицы на немъ отдыхали.  
 Но кто-то художнику молвилъ о немъ,  
 Взглянулъ онъ на мраморъ—и яркимъ огнемъ  
 Блеснули его вдохновенныя очи,  
 И взялъ онъ его, и бессонныя ночи  
 Надъ нимъ проводилъ онъ въ своей мастерской,  
 И камень подъ творческой ожилъ рукой.  
 Съ тѣхъ поръ, въ изумленьи, съ восторгомъ нѣ-  
 мымъ,  
 Толпа преклоняетъ колѣни предъ нимъ.

## X \*).

Еще одинъ потухшій день  
 Я равнодушно провожаю  
 И молчаливой ночи тѣнь,  
 Какъ гостя скучнаго встрѣчаю.  
 Увы! не принесетъ мнѣ сна  
 Ея нѣмая тишина!  
 Весь день душа болѣла тайно  
 И за себя, и за другихъ...  
 Отъ пошлыхъ встрѣчъ, отъ сплетенъ злыхъ,  
 Отъ жизни грязной и печальной  
 Покой пора бы ей узнать...  
 Да гдѣ онъ! Гдѣ его искать?

\*) См. „Примѣчашя“ стр. 3, № 1.

Едва на землю утро взглянетъ,  
 Едва пройдетъ ночная тѣнь, —  
 Опять тяжелый, грустный день,  
 Однообразный день настанетъ, —  
 Опять начнется боль души,  
 На злыя пытки осужденной,  
 Опять наплачешься въ тиши,  
 Измученный и оскорбленный.

XI.

**Тишина ночи.**

Въ глубинѣ бездонной,  
 Полны чудныхъ силъ,  
 Идутъ миллионы  
 Вѣковыхъ свѣтилъ.

Тускло освѣщенный  
 Блѣдною луной,  
 Городъ утомленный  
 Смолкъ во тѣмѣ ночной.

Спитъ онъ, очарованъ  
 Чудной тишиной,  
 Будто заколдованъ  
 Властью неземной.

Лишь объять дремотой,  
 Закричитъ порой  
 Сторожъ беззаботный  
 Въ улицѣ пустой.

\*) См. „Примѣчанія“ , стр. 3, № 2-й.

Кажется, міръ сонный,  
Полный сладкихъ грезъ,  
Отдохнулъ спокойно  
Отъ заботъ и слезъ.

Но взгляни вотъ домигъ  
Освѣщенъ огнемъ;  
На столѣ покойникъ  
Ждетъ могилы въ немъ.

Онъ, бѣднякъ голодный,  
Утѣшенья чуждъ,  
Кончилъ вѣкъ бесплодный  
Тайной жертвой нуждъ.

Дочери не спится,  
Въ уголкѣ сидитъ...  
И въ глазахъ мутится,  
И въ ушахъ звенитъ.

Ночь минетъ,—быть можетъ,  
Христа ради ей  
Кто-нибудь поможетъ  
Изъ чужихъ людей.

Можетъ быть, какъ нищей,  
Ей на гробъ дадутъ,  
Въ гробѣ на кладбище  
Старика снесутъ...

И никто не знаетъ,  
Что въ нѣмой тоскѣ  
Сирота рыдаетъ  
Въ тѣсномъ уголкѣ;

Что въ нуждѣ до срока,  
Можетъ быть, она  
Жертвою порока  
Умереть должна.

Міръ заснулъ... и только  
Съ неба видитъ Богъ  
Тайны жизни горькой  
И людскихъ тревогъ.

---

## ХІІ.

Молвы язвительной и дерзкой  
Внимая ложный приговоръ,  
Стыжусь отвѣтить бранью рѣзкой  
На необдуманный укоръ.

Гоненья зритель равнодушный,  
Я испыталъ уже давно,  
Что злобѣ черни малодушной  
Отвѣтъ—презрѣніе одно.

Пускай позоръ несправедливый  
Она готовитъ мнѣ въ тиши, —  
Грозу я встрѣчу терпѣливо  
И сохраню покой души.

Моей невинности сознанье  
И незапятнанная честь  
Незаслуженное страданье  
Дадутъ мнѣ силы перенести.

Я правъ,—и этого довольно,  
И, что бы ни было со мной,



Я не унижусь добровольно  
Передъ язвительной толпой.

Я не подамъ руки свободной  
Ожесточенному врагу;  
Скорѣй погибну благородно,  
Но твердость воли сберегу.

---

XIII \*).

## Похороны

Парчой покрытая гробница,  
Надъ нею пышный балдахинъ,  
Вокругъ задумчивыя лица  
И факеловъ огонь и дымъ,  
Святыхъ молитвъ напѣвъ печальный, —  
Вотъ все, чѣмъ жизнь заключена!  
И эта жизнь покрыта тайной:  
Завѣса смертью спущена...  
Теперь, скажи мнѣ, сынъ свободы,  
Зачѣмъ страдалъ, зачѣмъ ты жилъ?  
Отведена царю природы  
Сажень земли между могилъ.  
Молчать въ тебѣ любовь и злоба,  
Надежды гордыя молчать...  
Зачѣмъ ты жилъ, усопшій братъ?  
Стучить земля по крышкѣ гроба,  
И, чуждый горя и заботъ,  
Глядитъ безсмысленно народъ.

---

\*) См. „Приглашенія“, стр. 4, № 3-й.

## XIV.

## Перемѣна.

Была пора невинности счастливой,  
Когда свой умъ тревожный и пытливый  
Я примѣрялъ съ дѣйствительностью злой.  
Святыхъ молитвъ горячею слезой;  
Когда, дитя безпечное свободы,  
Въ знакомыхъ мнѣ явленіяхъ природы  
Величіе и мысль я находилъ,  
И жизнь мою, какъ даръ небесъ, любилъ.  
Теперь не то: сомнѣніемъ томимый,  
Я потерялъ свой міръ невозмутимый, —  
Единую отраду бытія,  
И жизнь моя не радуется меня...  
Бываютъ дни, — измученный борьбою,  
Въ тиши ночной, съ горячею мольбою  
Склоняюсь я къ подножію креста;  
Слова молитвъ твердятъ мои уста,  
Но сердце тѣмъ словамъ не отвѣчаетъ,  
И мысль моя, Богъ знаетъ, гдѣ блуждаетъ,  
И сладкихъ слезъ давно минувшихъ лѣтъ  
Ни на лицѣ, ни на глазахъ ужъ нѣтъ.  
Такъ, холодомъ темницы окруженный,  
Скорбитъ, порой, преступникъ осужденный,  
И къ прежнимъ днямъ уносится мечтой;  
Но бѣдняку лишь новое страданье  
Приноситъ лѣтъ былыхъ воспоминаанье.

---

1850 г.

XV.

## Ночь на берегу моря.



Въ зеркало влаги холодной  
 Мѣсяць спокойно глядитъ  
 И надъ землею безмолвной  
 Тихо плыветъ и горитъ.

Легкою дымкой тумана  
 Ясный одѣтъ небосклонъ;  
 Свѣтлая грудь океана  
 Дышетъ какъ-будто сквозь сонъ.

Медленно, ровно качаясь,  
 Въ гавани спятъ корабли;  
 Берегъ, въ водѣ отражаясь,  
 Смутно мелькаетъ вдали.

Смолка дневная тревога...  
 Полный торжественныхъ думъ,  
 Видитъ присутствіе Бога  
 Въ этомъ молчаніи умъ.

## XVI.

## Д у б ъ.

Отъ темнаго лѣса далеко,  
На почвѣ бесплодно-сухой,  
Дубъ старый стоитъ одиноко,  
Какъ сторожъ пустыни глухой.

Стоитъ онъ и смотритъ угрюмо  
Туда, гдѣ подъ сводомъ небесъ  
Глубокую думаетъ думу  
Знакомый давно ему лѣсъ;

Гдѣ братья его съ облаками  
Ведутъ разговоръ по ночамъ,  
И дивы приходятъ толпами  
Кружиться по свѣжимъ цвѣтамъ;

Гдѣ вѣтеръ прохлагою вѣетъ  
И чудныя пѣсни поетъ,  
И листь молодой зеленѣетъ,  
И птица на вѣткахъ живетъ...

А онъ, на равнинѣ песчаной,  
И пылью, и мохомъ покрытъ,  
Какъ-будто изгнанныкъ печальный  
О родинѣ милой груститъ;

Не знаетъ онъ свѣжей прохлады,  
Не видитъ небесной росы.  
И только — послѣдней отрады,  
Губительной жаждетъ грозы.

XVII \*).

## Тайное горе.

Есть горе тайное: оно  
 Вниманья чуждаго боится  
 И въ глубинѣ души одно,  
 Неизлѣчимое таится.  
 Улыбку холодомъ мертвить,  
 Оно не ищетъ и не просить,  
 И, если горе переносить,—  
 Молчанье гордое хранить.  
 Не всякому нужна пощада,  
 Не всякъ наслѣдовать готовъ  
 Удѣль иль нищихъ, иль рабовъ,  
 Участье—жалкая отрада.  
 Къ чему колѣни преклонять?  
 Свободнымъ легче умирать.

XVIII.

## Вечеръ.

Когда потухшій день смѣняетъ вечеръ сонный,  
 Я оставляю мой пріютъ уединенный,  
 И, голову усталую склонивъ,  
 Задумчиво иду подъ тѣнь плакучихъ ивъ.  
 Сажусь на берегу и, грустной думы полный,  
 Недвижимый, гляжу на голубыя волны,  
 И слушаю ихъ шумъ и жалобный призывъ,  
 И съ жизнію моею я сравниваю ихъ...  
 Вдали передо мной пушистый лугъ пестрѣетъ,

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 4-й.

Колышется трава и желтый колосъ зрѣеть,  
 И, тучныхъ пажитей обильные плоды,  
 Стоять соломою накрытые скирды;  
 За гибкимъ тростникомъ глубокіе заливы  
 Какъ зеркало блестятъ; на золотыя нивы  
 Спускается туманъ прозрачною волной,  
 И зарево зари сіяетъ надъ рѣкой.  
 И, кажется мнѣ, все какой-то дышетъ тайно й,  
 И забываю я тогда свой день печальный,  
 Съ оставленнымъ трудомъ безъ жалобы мирюсь,  
 Гляжу на небеса и въ тишинѣ молюсь.

---

 XIX.

### К л ю ч ъ .

Въ глубокомъ ущельи, межъ каменныхъ плитъ,  
 Серебряный ключъ одиноко звучитъ;  
 Звучитъ онъ и точитъ жемчужныя слезы  
 На черные корни засохшей березы,  
 И катятся съ камня тѣ слезы ручьемъ,  
 Бесплодно теряясь въ ущельи глухомъ.  
 Давно ужъ минули счастливые годы,  
 Когда онъ, любимецъ цвѣтущей природы,  
 Алмазныя брызги кругомъ разсыпалъ,  
 Когда его путникъ отрадою звалъ,  
 Когда деревья близъ него выростали,  
 И листья зеленые тихо шептали,  
 И самъ онъ, при свѣтѣ блестящей луны,  
 Рассказывалъ чудныя были и сны.  
 Теперь, одинокій, заросъ онъ травою,  
 Сталъ скуденъ и мутенъ, и знойной порою  
 Къ нему не приходитъ пробитой тропой  
 Измученный путникъ за чистой водой.

Въ ту пору, какъ горы туманъ одѣваетъ,  
 Надъ нимъ, какъ бывало, теперь не играетъ  
 Сверкающій мѣсяцъ прозрачнымъ лучемъ  
 И звѣзды, какъ прежде, не смотрятся въ немъ.  
 Лишь старый скелетъ обнаженной березы  
 Глядитъ на его бесполезныя слезы,  
 Да изрѣдка вѣтеръ къ нему прилетитъ  
 И съ нимъ, при мерцаніи звѣздъ, говоритъ  
 Про свѣтлыя рѣки и синее море,  
 Про славу ихъ въ свѣтѣ и жизнь на просторѣ.

---

 XX.

## Н о ч ь .

Одѣлося сумракомъ поле. На темной лазури  
 сверкаетъ  
 Гряда облаковъ разноцвѣтныхъ. Блѣднѣя, заря  
 потухаетъ.  
 Вотъ вспыхнули яркія звѣзды на небѣ, одна за  
 другой,  
 И мѣсяцъ надъ лѣсомъ сосновымъ поднялся,  
 какъ щитъ золотой;  
 Извивы рѣки серебрястой межъ зеленью луга  
 блеснули;  
 Вокругъ тишина и безлюдье: и поле, и берегъ  
 уснули;  
 Лишь мельницы старой колеса, алмазь рассыпая,  
 шумятъ,  
 Да съ вѣтромъ волнистыя нивы, Богъ знаетъ,  
 о чемъ говорятъ.  
 На кольяхъ, вдоль берега вбитыхъ, растянуты  
 мокрыя сѣти;

Вотъ бѣдный шалашъ рыболова, гдѣ вечеромъ  
 рѣзвыя дѣти  
 Играютъ трепещущей рыбой и ищутъ въ травѣ  
 водяной  
 Улитокъ и маленькихъ камней, обточенныхъ  
 синей волной;  
 Какъ лебеди, бѣлыя тучи надъ полемъ плывутъ  
 караваномъ,  
 Надъ чистой рѣкою спятъ ивы, одѣтыя легкимъ  
 туманомъ,  
 И, къ свѣтлымъ струямъ наклонившись, сквозь  
 чуткій прерывистый сонъ,  
 Тростникъ молчаливо внимаетъ таинственной му-  
 зыкѣ волнъ.

---

 XXI.

Оставь печальный твой разсказъ,  
 Насмѣшки желчию облитый,  
 И сердца гнѣвъ полуоткрытый,  
 И блескъ заимствованныхъ фразъ.

Уже-ль намъ новы эти слезы,  
 И повѣсть грустная утрать,  
 Ума обманутыя грезы,  
 И заблужденій длинный рядъ?

Уже-ль мы сами не читали  
 Любви и ревности страницъ,  
 Или на мраморѣ гробницъ  
 О милыхъ сердцу не рыдали?..



Скажи, зачѣмъ ты раскрывалъ  
Свои намъ раны и страданья  
И отъ толпы рукоплесканья,  
Какъ нищій милостыни, ждалъ?

Свой плачь и свой вѣнецъ терновый  
Зачѣмъ для всенародныхъ глазъ  
Ты выставяешь на-показъ,  
Какъ женщины свои обновы?..

Къ чему весь этотъ жалкій бредъ,  
Болѣзненный и непонятный,  
О заблужденьяхъ прежнихъ лѣтъ,  
О молодости невозвратной?

Кого изъ насъ теперь займетъ  
Твое затверженное слово?  
Скажи: какую мыслью новой  
Оно намъ сердце потрясетъ?..

Нѣтъ! есть другой предметъ для слезъ:  
Не личныя твои страданья, —  
Не плодъ твоихъ ничтожныхъ грезъ  
И тягостнаго испытанья; —

Но нашей жизни нищета  
Съ однообразной пестротою  
И, скрытая подъ мишурою,  
Пороковъ нашихъ нагота.

Да, плачь о томъ, что увядаетъ  
Нашъ умъ въ бездѣйствіи пустомъ,  
Что правда свѣтлая страдаетъ,  
Развратъ увѣнчанъ торжествомъ;

Что мы постыдно позабыли  
 Прекрасный міръ живыхъ идей  
 И что позоромъ заклеили  
 Себя, какъ гражданъ и людей;

Что нѣтъ въ насъ силъ для возрожденья,  
 Что мы безчувственно влачимъ  
 Оковы зла и униженья  
 И разорвать ихъ не хотимъ...

Объ этомъ плачь! И, можетъ статья,  
 Заставишь ты кого-нибудь  
 Въ своемъ безсилии сознаться  
 И строго на себя взглянуть.

---

 ХХІІ.

Когда закатъ прощальными лучами  
 Спокойныхъ водъ озолотитъ стекло,  
 И ляжетъ тѣнь ночная надъ полями,  
 И замолчитъ веселое село,  
 И на цвѣтахъ, и на травѣ душистой  
 Блеснетъ роса, посланница небесъ,  
 И тканію тумана серебристой  
 Одѣнется темнокудрявый лѣсъ;—  
 Съ какою-то отрадой непонятной  
 На Божій міръ я въ этотъ часъ гляжу  
 И въ тишинѣ природы необъятной  
 Покой уму и сердцу нахожу;  
 И чужды мнѣ земныя впечатлѣнья,  
 И такъ свѣтло во глубинѣ души:  
 Мнѣ кажется, со мной въ уединеньи  
 Тогда весь міръ бесѣдуетъ въ тиши.

1851 г.

## XXIII.



огда, одинъ, въ минуты размыш-  
 ленья,  
 Съ природой я бесѣдную въ тиши,  
 Я вѣрю: есть святое Провидѣнье  
 И кроткій миръ для сердца и души;  
 И грусть свою тогда я забываю,  
 Съ своей нуждой безропотно ми-  
 рюсь,  
 И небесамъ невидимо молюсь,  
 И пѣснь пою, и слезы проливаю...  
 И сладко мнѣ! и жаль мнѣ отдавать  
 На судъ людской восторги вдохновеній  
 И отъ толпы, какъ платы, ожидать  
 Пустыхъ похвалъ, иль горькихъ обви-  
 неній.  
 Глухихъ степей незнаемый пѣвецъ  
 Я нахожу въ моей пустынѣ счастье;  
 Своимъ слезамъ, какъ площадной слѣ-  
 пецъ,  
 Стыжусь просить холоднаго участья.  
 Печаль моя застѣнчиво-робка,—  
 Въ родной груди скрываясь боязливо,  
 За пѣснь свою награды и вѣнка  
 Не требуетъ она самолюбиво.

## XXIV.

На западѣ солнце пылаетъ,  
Багряное море горитъ;  
Корабль одинокій, какъ птица,  
По влагѣ холодной скользитъ.

Сверкаетъ струя за кормою.  
Какъ крылья, шумятъ паруса;  
Кругомъ необъятное море,  
И съ моремъ слились небеса.

Безпечно веселую пѣсню,  
Задумавшись, кормчій поетъ,  
А черная туча на югѣ,  
Какъ дымъ отъ пожара, встаетъ.

Вотъ буря... и море завывло.  
Умолкъ беззаботный пѣвецъ;  
Огнемъ его вспыхнули очи:  
Теперь онъ и царь, и боецъ!

Вотъ здѣсь узнаю человѣка  
Въ лицѣ побѣдителя волнъ,  
И какъ-то отраднѣ мнѣ думать,  
Что я человѣкомъ рожденъ.

---

XXV \*).

**Д И Т Я Т И.**

Не знаешь ты тоски желаній:  
Прекрасенъ міръ твоей весны  
И свѣтлы, чуждые страданій,  
Твои младенческіе сны.

Съ грозою жизни незнакома,  
Какъ птичка, вѣчно весела,  
Подъ кровлею роднаго дома  
Ты рай земной себѣ нашла.

Придетъ пора — прольешь ты слезы,  
Быть можетъ, трудъ тебя согнетъ...  
И дѣтства радостныя грезы  
Умрутъ подъ холодомъ заботъ.

Тогда, неся свой крестъ тяжелый,  
Не разъ подъ бременемъ его  
Ты вспомнишь о веснѣ веселой  
И—не воротишь ничего.

---

\*) См. „Прилѣчанія“, стр. 5, № 5-й.

## XXVI.

## Югъ и сѣверъ.

Есть сторона, гдѣ все благоухаетъ;  
 Гдѣ ночь, какъ день безоблачный, сіяетъ  
 Надъ зыбью водъ, и моря вѣчный шумъ  
 Таинственно оковываетъ умъ;  
 Гдѣ въ сумракѣ садовъ уединенныхъ,  
 Сіяющей луной осеребренныхъ,  
 Подъемлется алмазною дугой  
 Фонтанный дождь надъ сочною травой;  
 Гдѣ статуи безмолвствуютъ угрюмо,  
 Объятыя невыразимой думой;  
 Гдѣ говорятъ такъ много о быломъ  
 Развалины, покрытыя плющемъ;  
 Гдѣ на коврахъ долины живописной  
 Ложится тѣнь отъ рощи кипарисной;  
 Гдѣ все быстрѣй и зрѣеть, и цвѣтетъ;  
 Гдѣ жизнь безпечнѣе идетъ.

Но мнѣ милѣй роскошной жизни юга  
 Съдой зимы полуночная вьюга,  
 Морозъ и вѣтръ, и грозный шумъ лѣсовъ,  
 Дремучій боръ по скату береговъ,  
 Просторъ степей, и небо надъ степями  
 Съ громадой тучъ и яркими звѣздами.  
 Глядишь кругомъ,—все сердцу говорить:  
 И деревень однообразный видъ,  
 И городовъ обширныя картины,  
 И снѣжныя безлюдныя равнины,  
 И удали размашистый разгулъ,  
 И русскій духъ, и русской пѣсни гулъ,

То глубоко безпечной, то унылой,  
Проникнутой невыразимой силой...  
Глядишь вокругъ, — и на душѣ легко,  
И зрѣть мысль такъ вольно, широко,  
И сладко пѣнь въ честь родины поется,  
И кровь кипить, и сердце гордо бьется,  
И съ радостью внимаешь звуку словъ:  
„Я Руси сынъ! здѣсь край моихъ отцовъ!“

---

## XXVII.

## Р у с ь.

Подъ большимъ шатромъ  
Голубыхъ небесъ, —  
Вижу, — даль степей  
Зеленѣется,

И на граняхъ ихъ,  
Выше темныхъ тучъ,  
Цѣли горъ стоятъ  
Великанами.

По степямъ въ моря  
Рѣки катятся,  
И лежатъ пути  
Во все стороны.

Посмотрю на югъ, —  
Нивы зрѣлыя,  
Что камышь густой,  
Тихо движутся;

Мурава луговъ  
Ковромъ стелется,  
Виноградъ въ садахъ  
Наливается.

Гляну къ сѣверу, —  
Тамъ, въ глуши пустынь,  
Снѣгъ, что бѣлый пухъ,  
Быстро кружится;

Подымаетъ грудь  
Море синее,  
И горами ледъ  
Ходить по морю;

И пожаръ небесъ  
Яркимъ заревомъ  
Освѣщаетъ мглу  
Непроглядную...

Это ты, моя  
Русь державная,  
Моя родина  
Православная!

Широко ты, Русь,  
По лицу земли  
Въ красѣ царственной  
Развернулася!

У тебя ли нѣтъ  
Поля чистаго,  
Гдѣ-бъ разгульшла  
Воля смѣлая?



У тебя ли нѣтъ  
Про запасъ казны,  
Для друзей стола.  
Меча недругу?

У тебя ли нѣтъ  
Богатырскихъ силъ,  
Старины святой,  
Громкихъ подвиговъ?

Передъ кѣмъ себя  
Ты унизила?  
Кому въ черный день  
Низко кланялась?

На поляхъ своихъ  
Подъ курганами.  
Положила ты  
Татарь полчища.

Ты на жизнь и смерть  
Вела споръ съ Литвой  
И дала урокъ  
Ляху гордому.

И давно-ль было,  
Когда съ Запада  
Облегла тебя  
Туча темная?

Подъ грозой ея  
Лѣса падали  
Мать сыра-земля  
Колебалася,

И зловѣщій дымъ  
Отъ горѣвшихъ сель  
Высоко вставалъ  
Чернымъ облакомъ!

Но лишь кликнулъ Царь  
Свой народъ на брань, —  
Вдругъ со всехъ концовъ  
Поднялася Русь, —

Собрала дѣтей,  
Стариковъ и женъ,  
Приняла гостей  
На кровавый пиръ.

И въ глухихъ степяхъ  
Подъ сугробами,  
Улеглися спать  
Гости на-вѣки.

Хоронили ихъ  
Вьюги снѣжныя,  
Бури сѣвера  
О нихъ плакали!..

И теперь среди  
Городовъ твоихъ  
Муравьемъ кишить  
Православный людъ.

По съдымъ морямъ  
Изъ далекихъ странъ  
На поклонъ тебѣ  
Корабли идутъ.

И поля цвѣтуть,  
И лѣса шумять,  
И лежать въ землѣ  
Груды золота;

И во всѣхъ концахъ  
Свѣта блага  
Про тебя идетъ  
Слава громкая.

Ужъ и есть за что,  
Русь могучая,  
Полюбить тебя,  
Назвать матерью,

Стать за честь твою  
Противъ недруга,  
За тебя въ нуждѣ  
Сложить голову!

---

XXVIII \*).

Бываютъ свѣтлыя мгновенья:  
Миръ ясный душу осенить;  
Огонь святаго вдохновенья  
Неугасаемо горить.

Оно печать безсмертной силы  
На трудъ обдуманый кладеть;  
Оно безмолвію могилы  
И мертвымъ камнямъ жизнь даетъ,

---

\*) См. „Прибѣжаніи“, стр. 5, № 6 й.

Развратъ и пошлость поражаетъ,  
Добру приноситъ еиміамъ,  
И вѣчной правдѣ воздвигаетъ  
Святой алтарь и вѣчный храмъ.

Оно не требуетъ награды,  
Въ тиши творить оно, какъ Богъ...  
Но человѣку нѣтъ пощады  
Въ бездонномъ омутѣ тревогъ.

Падеть на грудь заботы камень,  
Свободу рукъ скуетъ нужда, —  
И гаснетъ вдоховенья пламень,  
Могучій двигатель труда.



1852 г.

XXIX.



уровый холодъ жизни строгой  
Спокойно я переносу  
И у Небесъ дороги новой  
Въ часы молитвы не прошу.

Отраду тайную находить  
И въ самой грусти гордый умъ:  
Такъ часто моря стонъ и шумъ  
Насъ въ восхищеніе приводитъ.

Къ борьбѣ съ судьбою я привыкъ.  
Окрѣпъ подъ бурей искушеній:  
Она высокихъ думъ родникъ,  
Причина слезъ и вдохновеній.

XXX.

## П Ы В Ц У.

Не пой о счастья, пѣвецъ, не утѣшай  
 Себя забавою ничтожной;  
 Пусть это счастье невозмутимый рай, —  
 Оно въ нашъ вѣкъ лишь призракъ ложный.  
 Пусть пѣснь твоя звучна,—она одинъ обманъ  
 И обольстительныя грезы:  
 Она не исцѣлитъ души глубокихъ ранъ  
 И не осушитъ сердца слезы.

Взгляни, какъ наша жизнь лѣнивая идетъ  
 И скучно, и однообразно,  
 Запечатлѣнная тревогою заботъ  
 Одной дѣйствительности грязной;  
 Взгляни на всѣ плоды, которые въ нашъ вѣкъ  
 Собрать доселѣ мы успѣли,  
 На все, чѣмъ окруженъ и занятъ человекъ  
 До позднихъ лѣтъ отъ колыбели: —

Вездѣ откроешь ты печальные слѣды  
 Ничтожества, иль ослѣпленья,  
 Причины тайныя безмысленной борьбы,  
 Нетвердой вѣры и сомнѣнья,  
 Замѣтишь грубаго ничтожества печать,  
 Добра и чести оскорбленье,  
 Безсовѣстный расчетъ, обдуманнй развратъ,  
 Или природы искаженье.

И многое прочтетъ внимательный твой взоръ  
 Въ страницахъ ежедневной жизни...

И этот ли слѣпой, общественный позоръ  
Оставишь ты безъ укоризны?  
И не проснется вмигъ въ тебѣ свободный духъ  
Глубокаго негодованья?  
И ты, земной пророкъ и правды смѣлый другъ,  
Не вспомнишь своего призванья?

О, нѣтъ! не пой, пѣвецъ, о счастии пустомъ  
Въ годину нашего позора!  
Пусть пѣснь твоя межъ насъ, какъ правосудный  
громъ,  
Раздастся голосомъ укора!  
Пусть умъ нашъ пробудитъ и душу потрясетъ  
Твое пророческое слово,  
И сердце холодомъ и страхомъ обольетъ,  
И воскреситъ для жизни новой.

---

XXXI.

## Развалины.

Какъ безыменная могила  
Давно забытаго жилья,  
Лежать въ пустынь молчаливой  
Обломки стараго дворца.  
Густою пылью покрыла  
Рука столѣтій камни стѣнъ  
И фантастическихъ письменъ  
На нихъ фигуры начертила.  
Тяжелый сводъ упасть готовъ,  
Карнизъ массивный обвалился,  
И дикій плющъ вокругъ столбовъ  
Живой гирляндой обвился,

И моха желтаго узоръ,  
 Однообразно испещренный,  
 Покрышь разбитыя колонны,  
 Какъ чудно вытканый коверъ.

Чье это древнее жилище,  
 Пустыни грустная краса?  
 Надъ нимъ такъ свѣтлы небеса, —  
 Оно печальнѣе кладбища!  
 Гдѣ люди съ ихъ страстями  
 И позабытымъ ихъ трудомъ?  
 Гдѣ безыменный, старый холмъ  
 Надъ ихъ истлѣвшими костями?

Была пора, здѣсь жизнь цвѣла,  
 Пороки, можетъ быть, скрывались,  
 Иль благородныя дѣла  
 Рукою твердой совершались.  
 И, можетъ быть, среди пировъ,  
 Пѣвецъ, въ минуты вдохновенья,  
 Здѣсь пѣлъ о доблестяхъ отцовъ  
 И плакалъ полный умиленья;  
 И пѣснямъ сладостнымъ его  
 Въ восторгъ гости удивлялись,  
 И дружно кубки вокругъ него  
 Въ честь славныхъ дѣдовъ наполнялись.  
 Теперь все тихо... нѣтъ слѣда  
 Минувшей жизни. Небо ясно,  
 Какъ и въ протекшіе года,  
 Земля цвѣтущая прекрасна...  
 А люди?... Этотъ вѣтерокъ,  
 Пустыни житель одинокій,  
 Разносить, можетъ быть, далеко  
 Съ ихъ прахомъ смѣшанный песокъ!..



XXXII.

## Кладбище.

Какъ часто я съ глубокой думой  
Вокругъ могилъ одинъ брожу  
И на курганы ихъ гляжу  
Съ тоской тяжелой и угрюмой.  
Какъ больно мнѣ, когда, порой,  
Могильщикъ, грубою рукой  
Гробъ новый въ землю опуская,  
Стоить съ ослабленнымъ лицомъ  
Надъ безотвѣтнымъ мертвецомъ,  
Святыню смерти оскорбляя.  
Или, когда въ травѣ густой,  
Остатокъ жалкій разрушенья,  
Вдругъ черепъ я найду сухой,  
Престоль ума и вдохновенья,  
Лишенный чести погребенья.  
И пораженъ, и недвижимъ,  
Сомнѣнья холодомъ облитый,  
Я мыслю, скорбю томимъ,  
Надъ жертвой тлѣнія забытой:  
Кто васъ въ сонъ вѣчный погрузилъ  
Земли невѣдомые гости,  
И ваши брошенныя кости  
Съ живою плотью разлучилъ?  
Какъ ваше вѣчное молчанье  
Намъ безошибочно понять:  
Ничтожества-ль оно печать,  
Или печать существованья?  
Въ какой загадочной странѣ,  
Невидимой и неизвѣстной,

Здѣсь кости положивъ однѣ,  
Витаеть духъ вашъ безтѣлесный?  
Чѣмъ занять онъ въ міру иномъ?  
Что онъ, безстрастный, созерцаеть?  
И помнитъ-ли онъ о земномъ,  
Иль все за гробомъ забываетъ?  
Быть можетъ, небомъ окруженъ,  
Жилецъ божественнаго свѣта,  
Какъ на песчинку, смотритъ онъ  
На нашу бѣдную планету;  
Иль, можетъ быть, сложивъ съ себя  
Свои тѣлесныя оковы,  
Безъ нихъ другаго бытія  
Не отыскалъ онъ въ мірѣ новомъ.  
Быть можетъ, все, чѣмъ мы живемъ,  
Чѣмъ умъ и сердце утѣшаемъ,  
Землѣ, какъ жертву, отдаемъ,  
И въ ней одной похороняемъ...  
Нѣтъ! прочь бесплодное сомнѣнье!  
Я вѣрю истинѣ святой, —  
Святымъ глаголамъ Откровенья  
О нашей жизни неземной.  
И сладко мнѣ въ часы страданья  
Припоминать, порой, въ тиши,  
Загробное существованье  
Неумирающей души!





XXXIII.

## Степная дорога.



покойно небо голубое;  
 Одно въ бездонной глубинѣ  
 Сіяетъ солнце золотое  
 Надъ степью въ радужномъ огнѣ;  
 Горячій вѣтеръ наклоняетъ  
 Траву волнистую къ землѣ,  
 И даль въ полупрозрачной тьмѣ,  
 Какъ въ млечномъ морѣ, утопаетъ;  
 И надъ душистою травой,  
 Палящимъ солнцемъ разрѣженный,  
 Струится воздухъ благовонный  
 Неосязаемой волной.  
 Гляжу кругомъ; все та-жъ картина,  
 Все тотъ-жъ яркій колоритъ.  
 Вотъ слышу, — тихо надъ равниной  
 Трель музыкальная звучитъ:  
 То — жаворонокъ одинокій,  
 Кружась въ лазурной вышинѣ,  
 Поетъ надъ степію широкой  
 О вольной жизни и веснѣ.  
 И степь той пѣсни переливамъ,  
 И безотвѣтна и пуста,

Въ забытьи внемлетъ молчаливомъ,  
 Какъ безмятежное дитя;  
 И, спрятавшись въ коврахъ зеленыхъ,  
 Цвѣтовъ вдыхая ароматъ,  
 Мильоны легкихъ насѣкомыхъ  
 Неумолкаемо жужжать...

О, степь! люблю твою равнину,  
 И чистый воздухъ, и просторъ,  
 Твою безлюдную пустыню,  
 Твоихъ ковровъ живой узоръ,  
 Твои высокіе курганы,  
 И золотистый твой песокъ,  
 И перелетный вѣтерокъ,  
 И серебристые туманы...  
 Вотъ полдень... жарки небеса...  
 Иду одинъ. Передо мною  
 Дороги пыльной полоса  
 Вдали раскинулась змѣею.  
 Вотъ надъ оврагомъ, близъ рѣки,  
 Цыгане таборъ свой разбили,  
 Кибитки вкругъ поставили  
 И разложили огоньки;  
 Одни обѣдъ готовятъ  
 Въ котлахъ, наполненныхъ водой;  
 Другіе на травѣ густой,  
 Въ тѣни кибитокъ отдыхаютъ;  
 И тутъ-же, смирно, съ ними въ рядъ,  
 Ихъ псы косматые лежатъ,  
 И съ крикомъ прыгаютъ, смѣется  
 Толпа оборванныхъ дѣтей  
 Вкругъ загорѣлыхъ матерей;  
 Вдали табунъ коней пасется...  
 Ихъ миновалъ,—и тотъ-же видъ

Вокругъ меня и надо мною;  
Лишь дикій коршунъ надъ травою  
Порою въ воздухѣ кружить,  
И также лентою широкой  
Дорога длинная лежитъ,  
И также солнце одиноко  
Въ прозрачной синевѣ горить.  
Вотъ день сталъ гаснуть... вечерѣть...  
Вотъ поднялись издалека  
Грядою длинной облака,  
Въ пожарѣ западъ пламенѣть,  
Вся степь, какъ спящая краса,  
Румянцемъ розовымъ покрылась,  
И потемнѣли небеса,  
И солнце тихо закатилось.  
Густѣетъ сумракъ... вѣтерокъ  
Пахнулъ прохладою ночью,  
И надъ уснувшею землею  
Зарницы вспыхнулъ огонекъ.  
И величаво мѣсяцъ полный  
Изъ-за холмовъ далекихъ встаетъ  
И надъ равниною безмолвной  
Какъ чудный свѣточъ, засіялъ...  
О, какъ божественно-прекрасна  
Картина ночи средь степи,  
Когда торжественно и ясно  
Горятъ небесные огни,  
И степь, раскинувшись широко,  
Въ туманѣ дремлетъ одиноко,  
И только слышится вокругъ  
Необъяснимый жизни звукъ!  
Брось посохъ, путникъ утомленный,  
Тебѣ не надобно двора:  
Здѣсь твой ночлегъ уединенный,

Здѣсь отдохнешь ты до утра;  
 Твоя постель—цвѣты живые,  
 Трава пахучая — коверъ,  
 А эти своды голубые —  
 Твой раззолоченный шатеръ.

---

XXXIV.

### Художнику.

Я знаю часъ невыразимой муки,  
 Когда одинъ, въ сомнѣннн нѣмомъ,  
 Сложивъ крестомъ ослабнувшія руки,  
 Ты думаешь надъ мертвымъ полотномъ,  
 Когда ты кисть упрямую бросаешь  
 И, голову свою склонивъ на грудь,  
 Твоихъ идей невыразимый трудъ  
 И жалкое искусство проклинаешь.  
 Проходитъ гнѣвъ, — и творческою силой  
 Твоя душа опять оживлена,  
 И, все забывъ, съ любовью терпѣливой  
 Ты день и ночь сидишь безъ полотна.  
 Оконченъ трудъ. Толпа тебя вѣнчаетъ,  
 И похвала вокругъ тебя шумитъ,  
 И клевета, въ смущеннн, молчитъ,  
 И все вокругъ колѣни преклоняетъ.  
 А ты, бѣднякъ! поникнувши челомъ,  
 Стоишь одинъ, съ тоскою подавленной,  
 Не находя въ созданнн своемъ  
 Ни красоты, ни мысли воплощенной.

---

XXXV \*).

Не повторяй холодной укоризны:  
 Не суждено тебѣ меня любить,  
 Безпечный миръ твоей невинной жизни  
 Я не хочу безжалостно сгубить.  
 Тебѣ-ль, съ младенчества не знавшій огорченій,  
 Со мною объ-руку идти однимъ путемъ,  
 Глядѣть на зло, на грязь, и гаснуть за трудомъ,  
 И плакать, можетъ быть, подъ бременемъ лишеній,  
 Страдать не день, не два, — всю жизнь свою стра-  
 дать!

Но гдѣ-жъ на это силъ, гдѣ воли нужно взять?  
 И что себѣ въ тотъ часъ скажу я въ оправданье,  
 Когда, убитая и горемъ, и тоской,  
 Упрекомъ мнѣ и горькою слезой  
 Отвѣтишь ты на ласки и лобзанье?  
 Слезы твоей себѣ не могъ-бы я простить...  
 Но кто-жъ меня безчувствію научить  
 И, наконецъ, заставить позабыть  
 Все, что меня и радуетъ, и мучить,  
 Что для меня, подъ холодомъ заботъ,  
 Подъ гнетомъ нуждъ, печали и сомнѣній,  
 Единая отрада и оплотъ, —  
 Источникъ думъ, надеждъ и пѣснопѣній?

XXXVI.

### Засохшая береза.

Въ глуши на почвѣ раскаленной  
 Береза старая стоитъ;  
 Въ ея вершинѣ обнаженной  
 Зеленый листъ не шелеститъ.

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 7-й.

Кругомъ, сливаясь съ небесами,  
 Полуодѣтыми въ туманъ,  
 Пестрѣть чудными цвѣтами  
 Волнистой степи океанъ.

Курганы ярко зеленѣютъ,  
 Росу приносятъ вечера,  
 Прохладой тихой ночи вѣютъ,  
 И пышетъ заревомъ заря.

Но беззащитная береза  
 Глядитъ съ тоской на небеса,  
 И на вѣтвяхъ ея, какъ слезы,  
 Сверкаетъ чистая роса;

Далеко бурею суровой  
 Ея листы разнесены,  
 И нѣтъ для ней одежды новой  
 И благодѣтельной весны...

---

### XXXVII.

Привѣтъ мой вамъ, угрюмый мракъ ночей  
 И тишина безжизненныхъ полей,  
 Одѣтыя густымъ туманомъ степи,  
 И облаковъ неправильныя цѣпи,  
 Холодное сіяніе небесъ  
 И инеемъ осеребренный лѣсъ!

Привѣтъ мой вамъ, морозъ и непогода!  
 Теперь, вдали отъ шума и народа,  
 Въ часы ночей, за сладостнымъ трудомъ,  
 Въ моемъ углу и скромномъ и спокойномъ,



И тишиной глубокой окруженномъ,  
Я отдохну и сердцемъ и умомъ.

Пускай сыны тщеславія и лѣни,  
Поклонники мгновенныхъ наслажденій,  
Изысканность забавъ своихъ любя,  
Въ нихъ радости находятъ для себя,  
И на алтарь не постоянной моды  
Несутъ, какъ дань, часы своей свободы.

Милѣ мнѣ мой уголокъ простой,  
Божественной иконы ликъ святой,  
И передъ нимъ горящая лампада,  
И тихій трудъ, души моей отрада:  
Здѣсь все, къ чему привыкъ я съ давнихъ поръ,  
Что любить мой неприхотливый взоръ.

Мнѣ кажется: живу я въ мірѣ новомъ,  
Когда одинъ въ безмолвіи суровомъ,  
Забывъ весь шумъ заботливаго дня,  
Недвижимый, сижу я близъ огня  
И лѣтонию минувшаго читаю,  
И скромный стихъ задумчиво слагаю.

И грустно мнѣ, когда дневной разсвѣтъ  
Меня отъ думъ любимыхъ оторветъ;  
Когда рука дѣйствительности строгой  
Укажетъ мнѣ печальную дорогу,  
И все мое вниманье поглотить,  
И все мои восторги умертвить.

---

## XXXVIII.

**Жизнь и смерть.**

Невидимой цѣлью  
Жизнь связана тѣсно  
Съ таинственной смертью.  
И въ самомъ началѣ  
Зародыша жизни  
Сокрыта возможность  
Его разрушенья,  
И въ жалкихъ остаткахъ  
Ничтожнаго праха  
Таятся начала  
Для будущей жизни...  
Такъ годы проходятъ  
И цѣлые вѣки,  
И все поглощаетъ  
Могущество смерти,  
Всегда оставаясь  
Источникомъ жизни;  
И такъ существуетъ  
Доселѣ природа,  
Служа колыбелью  
И вмѣстѣ могилой.

---

## XXXIX.

**Успокоеніе.**

О, умъ мой холодный!  
Зачѣмъ уклоняясь,  
Отъ кроткаго свѣта  
Божественной вѣры,

Ты гордо блуждаешь  
Во мракъ сомнѣнья?  
Отвѣть, если можешь:  
Кто далъ тебѣ силу  
Разумной свободы  
И къ истинамъ вѣчнымъ  
Любовь и влеченье?  
Кто плотью животной  
Покрылъ мнѣ такъ чудно  
Скелеть обнаженный,  
Наполнилъ всѣ жилы  
Горячею кровью,  
Далъ каждому нерву  
Свое назначенье  
И сердце заставилъ  
Впервые забиться,  
Дотоль ему чуждой,  
Невѣдомой жизнью?  
Кто далъ тебѣ средство  
Черезъ малую точку  
Подвижнаго ока  
Усвоивать званье  
О видимомъ мірѣ?  
И какъ назовешь ты  
Тотъ духъ въ человѣкѣ,  
Который стремится  
Отъ грани земнаго,  
Съ сознаньемъ свободы  
И сильнымъ желаньемъ  
Познаній и блага?  
Который владѣетъ  
Порывами сердца,  
Одинъ торжествуетъ  
Въ страданіяхъ тѣла,

Законы природы  
Себѣ подчиняя?...  
Кто далъ это свойство  
Цвѣтущей природѣ, —  
Что въ ней разрушенье  
Единого тѣла  
Бываетъ началомъ  
Для жизни другаго?  
Кто этотъ Художникъ,  
Рукой всемогущей  
Въ цвѣткѣ заключившій  
Цѣлебную силу,  
И ядъ смертоносный,  
И яркія краски,  
И тѣни, и запахъ?..  
Смирись-же и вѣруй,  
О, умъ мой надменный:  
Законы вселенной,  
И смерть, и рожденье  
Живущаго въ мірѣ,  
И мощная воля  
Души человѣка  
Даютъ мнѣ постигнуть  
Великую тайну,  
Что есть Высшій Разумъ,  
Все дивно создавшій,  
Всѣмъ правящій мудро.

## XL.

Кое изобиліе челоѣку во всемъ трудѣ  
его, имъ же трудится подѣ солнцемъ;  
родъ переходить и родъ приходитъ, а  
земля во вѣкъ стоитъ.

Екклесіаста гл. I, ст. 3 и 4.

Съ тѣхъ поръ, какъ міръ нашъ необъятный  
Изъ неизвѣстныхъ намъ началъ  
Образовался непонятно  
И бытіе свое началъ, —  
Событій зритель величавый,  
Какъ много видѣлъ онъ одинъ  
Борьбы добра и зла, и славы,  
И разрушенія картинъ!  
Какъ много царствъ и поколѣній,  
И вдохновеннаго труда,  
И гениальныхъ наблюденій  
Похоронилъ онъ навсегда!..  
И вотъ теперь, какъ и тогда,  
Природа вѣчная сіяетъ:  
Надъ нею бури и года,  
Какъ тѣни легкія, мелькаютъ,  
И между-тѣмъ какъ челоѣкъ,  
Земли развѣнчанный владыка,  
Въ цѣпяхъ страстей кончаетъ вѣкъ  
Безъ цѣли ясной и великой,—  
Все также блещутъ небеса,  
И стройно движутся планеты,  
И яркой зеленью одѣты  
Непроходимые лѣса;  
Цвѣтутъ луга, поля и степи,  
Моря глубокія шумятъ,  
И горъ заоблачныя цѣпи  
Въ снѣгахъ नेताющихъ горятъ.

## XLI.

## Н О В Ы Й  з а в ѣ т ь .

Измученный жизнью суровой,  
 Не разъ я себѣ находилъ  
 Въ глаголахъ Предвѣчнаго Слова  
 Источникъ покоя и силъ.  
 Какъ дышать святыя ихъ звуки  
 Божественнымъ чувствомъ любви,  
 И сердца тревожнаго муки  
 Какъ скоро смиряютъ они!..  
 Здѣсь все въ чудно-сжатой картинѣ  
 Представлено Духомъ Святымъ:  
 И мѣръ существующій нынѣ,  
 И Богъ, управляющій имъ,  
 И сушаго въ мѣръ значенье,  
 Причина, и цѣль, и конецъ,  
 И вѣчнаго Сына рожденье,  
 И крестъ, и терновый вѣнецъ.  
 Какъ сладко читать эти строки,  
 Читая, молиться въ тиши,  
 И плакать, и черпать уроки  
 Изъ нихъ для ума и души!

## XLIH \*).

## М о л и т в а  д и т я т и .

Молись, дитя: сомнѣнья камень  
 Твоей груди не тяготить!  
 Твоей молитвы чистый пламень  
 Святой любовію горить.

---

\*) См. „Прибѣжаніа“, стр. 7, № 8-й.

Молись, дитя: тебѣ внимаетъ  
Творецъ безчисленныхъ міровъ,  
И капли слезъ твоихъ считаетъ,  
И отвѣчать тебѣ готовъ.

Быть можетъ, ангель твой хранитель  
Всѣ эти слезы соберетъ  
И ихъ въ надзвѣздную обитель  
Къ престолу Бога отнесетъ.

Молись, дитя, мужай съ лѣтами!  
И дай Богъ, въ пору позднихъ лѣтъ,  
Таковыми-жъ свѣтлыми очами  
Тебѣ глядѣть на Божій свѣтъ!

Но если жизнь тебя измучить,  
И умъ, и сердце возмутить,  
Но если жизнь роптать научить,  
Любовь и вѣру погасить, —

Приникни съ жаркими слезами,  
Креста подножье обойми:  
Ты примиришься съ небесами,  
Съ самимъ собою и съ людьми.

И вновь тогда изъ райской сѣни  
Хранитель-ангелъ твой сойдетъ.  
И за тебя, склонивъ колѣни,  
Молитву къ Богу вознесетъ.

---

## XLIII.

Я помню счастливые годы,  
Когда безопасно и шутя  
Безукоризненной свободой  
Я наслаждался, какъ дитя;

Когда въ тиши уединенья,  
Какъ воплощенный херувимъ,  
Тревогой горя и сомнѣнья  
Я не былъ мучимъ и томимъ.

Съ какимъ восторгомъ непонятнымъ  
Тогда часъ утра я встрѣчалъ,  
Когда надъ полемъ необъятнымъ  
Востокъ безоблачный пылалъ,

И серебристыми волнами,  
Подъ дуновеньемъ вѣтерка,  
Надъ благовонными лугами  
Паровъ вставали облака!

Съ какою дѣтскою отрадой  
Глядѣлъ я на кудрявый лѣсъ,  
Весенней дышащей прохладой,  
На сводъ сияющій небесъ,

На тихо спящіе заливы  
Въ зеленыхъ рамахъ береговъ,  
На блескъ и тѣнь волнистой нивы  
И на узоры облаковъ!..

То были дни святой свободы,  
Очарованья и чудесъ



На лонѣ мира и природы, —  
Тѣ на землѣ былъ рай небесъ!

Пришла пора... инья строки  
Въ страницахъ жизни я прочелъ,  
И въ нихъ тяжелые уроки  
Уму и сердцу я нашелъ.

О, если-бъ въ пору перехода  
Изъ дѣтства въ зрѣлые года  
Широкій путь моя свобода  
Нашла для скромнаго труда!

Согрѣтый мыслию живою,  
Какъ гражданинъ и человекъ,  
Быть можетъ, свѣтлою чертою  
Тогда-бъ отмѣтилъ я свой вѣкъ!

Но горекъ жребій мой суровый  
И много силъ я схоронилъ,  
Пока дорогу жизни новой,  
Средь зла и грязи, проложилъ!

И грустно мнѣ, и стыдно вспомнить  
Ничтожность прожитыхъ годовъ:  
Чтобъ пустоту ихъ всю пополнить,  
Отдать полжизни-бъ я готовъ!

Но дни идутъ, идутъ бесплодно...  
И больно мнѣ, что и теперь  
Одною мыслью благородной  
Я не загладилъ ихъ потерь!

Что въ массу общаго познанья  
Другимъ взыскательнымъ вѣкамъ,

Какъ весь итогъ существованья,  
Я ничего не передамъ.

И одинокій, безъ значенья,  
Какъ лишній гость въ пиру чужомъ,  
Ничтожной жертвою забвенья  
Умру въ краю моемъ родномъ!

---

XLIV \*).

Съ суровой долею я рано подружился:  
Не зналъ веселыхъ дней, веселыхъ игръ не зналъ,  
Мечтами дѣтскими ни съ кѣмъ я не дѣлился  
Ни отъ кого рѣчей разумныхъ не слыхалъ.

Но все, что грязнаго есть въ жизни самой  
бѣдной, —  
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,  
Порокъ, и плачь нужды, оборванной и блѣдной,  
Я видѣлъ вокругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Мучительные дни съ безсонными ночами,  
Какъ много васъ прошло безъ свѣта и тепла!  
Какъ вы мнѣ памятны тоскою и слезами,  
Потерями надеждъ, безсильемъ противъ зла!

Но были у меня отрадныя мгновенья,  
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ,  
И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,  
И долю горькую завидной почиталъ.

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 7, № 9-й.

За даръ свой, въ этотъ мигъ, благодарилъ я Бога,  
 Казался раемъ мнѣ приютъ печальный мой,  
 Межъ тѣмъ, безумная и пьяная тревога,  
 Горячій споръ и брань кипѣли за стѣной...

Вдругъ до толпы дошелъ напѣвъ мой вдохно-  
 венный,  
 Изъ сердца вырванный, родившійся въ глуши, —  
 И чувства лучшія, вся жизнь моей души,  
 Разоблачилися рукой непосвященной?

Я слышу надъ собой и приговоръ, и судъ...  
 И стала пѣснь моя, пѣснь муки и восторга,  
 Съ людьми и съ жизнію меня мирившій трудъ, —  
 Предметомъ злыхъ остротъ, и клеветы, и торга...

## XLV.

## Поэту \*).

Не говори, что жизнь ничтожна;  
 Нѣтъ, послѣ бурь и непогодъ,  
 Борьбы суровой и тревожной,  
 И цвѣтъ, и плодъ она даетъ.

Не вѣчны всѣ твои печали...  
 Въ тебѣ самомъ источникъ силъ,  
 Взгляни кругомъ: не для тебя ли  
 Весь міръ сокровища раскрылъ?

Кудрявъ и зеленъ лѣсъ дремучій  
 Листы зарей освѣщены,  
 Огнемъ охваченныя тучи  
 Въ стеклѣ рѣки отражены.

\*) См. „Примѣчанія“ стр. 8, № 10-й,

Покрыть цвѣтами скать кургана,  
 Взойди и стань на вышинѣ, —  
 Какой просторъ! Сквозь сѣть тумана,  
 Село чуть видно въ сторонѣ.

Звенить и льется птички голосъ:  
 Узнай, о чемъ она поэтъ;  
 Пойми, чтѣ шепчетъ снѣжный колосъ,  
 И что за рѣчи ключъ ведетъ?

Вотъ царство жизни и свободы!  
 Здѣсь всюду блескъ! Здѣсь вѣчный пиръ!  
 Пойми живой языкъ природы, —  
 И скажешь ты: прекрасенъ мѣръ!

---

 XLVI.

## П ѣ с н я.

Зашумѣла, разгулялась  
 Въ полѣ непогода;  
 Принакрылась бѣлымъ снѣгомъ  
 Гладкая дорога.

Бѣлымъ снѣгомъ принакрылась,  
 Не осталось слѣду,  
 Поднялася пыль и вьюга,  
 Не видать и свѣту.

Да удалому дѣтинѣ  
 Буря не забота:  
 Онъ проложитъ путь-дорогу,  
 Лишь была-бъ охота.

Не страшна глухая полночь,  
Дальній путь и вьюга,  
Если молодца въ свой теремъ  
Ждетъ краса-подруга.

Ужъ какъ встрѣтитъ она гостя  
Утренней зарею,  
Обойметъ его стыдливо  
Бѣлою рукою,

Опустивши ясны очи,  
Друга приголубить...  
Вспыхнетъ онъ — и холодъ ночи,  
И весь свѣтъ забудеть.

---

XLVII.

В о й н а з а в ѣ р у.

Какъ волны грозныя, встають сыны Востока,  
Народный фанатизмъ муллами подождень,  
Толпы мятежниковъ подъ знамена пророка,  
Съ надеждой грабежа, соплись со всѣхъ сторонъ  
Языческихъ временъ воскресъ театръ кровавый,  
Глумится надъ крестомъ безумство мусульманъ,  
И смотрять холодно великія державы  
На униженіе и казни христіанъ.  
За слезы ихъ и кровь нѣтъ голоса и мщенья!  
Отъ бѣдныхъ матерей отъятые сыны  
Въ рабы презрѣнному Еврею проданы,  
И въ пламени горять несчастныя селенья...  
Скажите намъ, враги поклонниковъ креста:  
Зачѣмъ оскорблены храмъ истиннаго Бога

И древней Греціи священныя мѣста,  
Когда жидовская спокойна синагога?  
Когда мятежниковъ, безчестія сыновъ,  
Орудіе крамоль, тревогъ и возмущенья,  
Не заклеили вы печатію презрѣнья,  
Но дали ихъ толпамъ гостепріимный кровъ?  
Скажите намъ, враги Руси миролюбивой:  
Уже-ль вы лучшаго предлога не нашли,  
Чтобы извлечь свой мечъ въ войнѣ несправедливой  
И положить свой прахъ въ поляхъ чужой земли?  
Уже-ль чужихъ умовъ холодное коварство  
Васъ въ жалкихъ палачей умѣло обратить,  
И для безславія жестокаго тиранства  
Народныя права заставило забыть?  
Ужели въ лѣтопись родной своей отчизны  
Не стыдно вамъ внести свой собственный позоръ,  
Потомковъ заслужить суровый приговоръ  
И современниковъ живыя укоризны?  
Иль духа русскаго досель вы не узнали?  
Иль неизвѣстно вамъ, какъ Сѣвера сыны,  
За оскорбленіе родной своей страны,  
По слову царскому миллионами вставали?  
Вамъ хочется борьбы! но страшенъ будетъ споръ  
За древнія права, за честь Руси державной:  
Мы вашей кровію скрѣлимъ нашъ договоръ —  
Свободу христіанъ и вѣры православной!  
Мы вновь напомнимъ вамъ героевъ Рымника,  
И ужасъ Чесменскій, и славный бой Кагула,  
И грозной силою холоднаго штыка  
Смиримъ фанатиковъ надменнаго Стамбула!  
Впередъ, святая Русь! Тебя зоветъ на брань  
Народа твоего поруганная вѣра!  
Съ тобой и за тебя молитва христіанъ!  
Съ тобой и за тебя Святая Матерь-Дѣва!

Придетъ пора,—ее недолго ждать, —  
 Оцѣнять твой порывъ, поймутъ твой подвигъ  
 громкій,  
 И будетъ свѣтъ тебѣ рукоплескать,  
 И позавидуютъ тебѣ твои потомки.

XLVIII \*).

### Старикъ другоженецъ.

Удружилъ ты мнѣ, свать, молодою женой!  
 Стала жизнь мнѣ и радость не въ радость:  
 День и ночь ни за-что она спорить со мной  
 И бранить мою бѣдную старость;  
 Ни за-что, ни про-что малыхъ пасынковъ бьетъ,  
 Да заводитъ съ сосѣдями ссоры;  
 Кто что ѣсть, кто что пьетъ и какъ дома жи-  
 ветъ, —  
 Хоть бѣжать — какъ начнетъ разговоры.  
 И ужъ пусть бы сама человѣкомъ была!  
 Не повѣришь, весь домъ разорила!  
 И грозилъ ей,—да что!.. значить, волю взяла!..  
 Женскій стыдъ,—Божій гнѣвъ позабыла!  
 А любовь... ужъ куда тутъ! молчи про любовь!  
 За себя мнѣ бѣда небольшая, —  
 Погубилъ я дѣтей, погубилъ свою кровь:  
 Доканаетъ ихъ мачиха злая!  
 Эхъ! не прежняя мочь, не бывшая пора,  
 Молодецкая удалъ и сила, —  
 Не ходить бы женѣ, не спросясь со двора,  
 И воды бы она не взмутила.

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 10, № 11-й.

Спohватился теперь, да не сладишь съ бѣдой,  
Лишь гляди на жену, да казнися,  
Да молчи, какъ дуракъ, когда скажутъ порой:  
По-дѣломъ старику, — не женися!

XLIX \*).

### Зимняя ночь въ деревнѣ.

Весело сіяетъ  
Мѣсяцъ надъ селомъ:  
Бѣлый снѣгъ сверкаетъ  
Синимъ огонькомъ.

Мѣсяца лучами  
Божій храмъ облить;  
Крестъ подъ облаками,  
Какъ свѣча, горить.

Пусто, одиноко  
Сонное село;  
Вьюгами глубоко  
Избы занесло.

Тишина нѣмая  
Въ улицахъ пустыхъ,  
И не слышно лая  
Псовъ сторожевыхъ.

Помоляся Богу,  
Спитъ крестьянскій людъ,  
Позабывъ тревогу  
И тяжелый трудъ.

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 11, № 12-й.



Лишь въ одной избушкѣ  
Огонекъ горить:  
Бѣдная старушка  
Тамъ больна лежитъ.

Думаетъ-гадаетъ  
Про своихъ сиротъ:  
Кто ихъ приласкаетъ,  
Какъ она умретъ!

Горемыки-дѣтки,  
Долго-ли до бѣдъ!  
Оба малолѣтки,  
Разуму въ нихъ нѣтъ;

Какъ начнутъ шататься  
По дворамъ чужимъ, —  
Мудрено-ль связаться  
Съ человѣкомъ злымъ!..

А ужъ тутъ дорога  
Не къ добру лежитъ:  
Позабудутъ Бога,  
Потеряютъ стыдъ.

Господи, помилуй  
Горемыкъ-сиротъ;  
Дай имъ разумъ, силу,  
Будь Ты имъ оплотъ!..

И въ лампадкѣ мѣдной  
Теплится огонь,  
Освѣщая блѣдно  
Лицъ святыхъ иконъ,

И черты старушки,  
Полныя заботъ,  
И въ углу избушки  
Дремлющихъ сиротъ.

Вотъ пѣтухъ безсонный  
Гдѣ-то закричалъ;  
Полночи спокойной  
Долгій часъ насталь.

И, Богъ вѣсть, отколѣ  
Пѣсенникъ лихой  
Вдругъ промчался въ полѣ  
Съ тройкой удалой.

И въ морозной дали  
Тихо потонулъ  
И напѣвъ печали,  
И тоски разгулъ.

---

L.

## Наслѣдство.

Не осталось  
Мнѣ отъ батюшки  
Палатъ каменныхъ,  
Слугъ и золота;

Онъ оставилъ мнѣ  
Кладъ наслѣдственный:  
Волю твердую,  
Удаль смѣлую

Съ ними молодцу  
Всюду весело!  
Безъ казны богатъ,  
Безъ почета гордъ.

Въ горѣ, въ черный день,  
Соловьемъ поешь;  
При нуждѣ, въ бѣдѣ  
Смотришь соколомъ;

На распашку грудь  
Противъ недруга,  
Подъ грозой, въ бою  
Улыбаешься.

И мила въ душѣ  
Доля всякая,  
И весь бѣлый свѣтъ  
Раемъ кажется!





LI \*).

## Моленіе о чашѣ.

И, пришедъ мало, паде на лицѣ  
Своемъ, моляся и глаголя: Отче  
Мой, аще возможно есть, да мимо  
идеть отъ Мене чаша сія: обаче не  
яко же Азъ хочу, но яко же ты.

Мате. гл. XXVI, ст. 30—47.



веркаетъ западъ озлащенный  
Надъ Іудейскою землей,  
И на окрестность вечеръ сонный  
Съ прозрачною нисходитъ мглой.  
Спокойно высясь надъ полями,  
Закатомъ солнца освѣщенъ,  
Стоитъ высокій Елеонъ  
Съ благоуханными садами.  
Вокругъ его живыхъ картинъ  
Сіяютъ чудные узоры:  
Здѣсь увѣнчалъ Ерусалимъ  
Своими зданіями горы.  
Вдали Гаваль и Гаразимъ,  
Къ востоку воды Іордана,

\*) См. „Примѣчанія“ стр. II, № 13.

Съ пейзажемъ дремлющихъ долинъ,  
Рисуются въ волнахъ тумана,  
И моря Мертваго краса  
Сквозь сонъ глядитъ на небеса.  
А тамъ, на западъ, далеко,  
Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ  
Разливъ могучій огражденъ  
Песчанымъ берегомъ широко...  
Темнѣть... всюду тишина...  
Вотъ ночи вспыхнули свѣтила,—  
И ярко полная луна  
Садъ Геосиманскій озарила.  
Въ травѣ подъ вѣтвями оливъ  
И померанцевъ неподвижныхъ,  
Сыны Божественнаго Слова,  
Спать три апостола всемірныхъ,  
И сонъ ихъ сладокъ, и глубокъ.  
Но тяжело спалъ міръ суровый:  
Вѣковъ наслѣдственный порокъ  
Его замкнулъ въ свои оковы,  
Проклятье праотца на немъ  
Пятномъ безславія лежало  
И, съ каждымъ вѣкомъ, новымъ зломъ  
Его, какъ язва, поражало...  
И въ цѣломъ мірѣ въ эту пору  
Одинъ Учитель лишь не спалъ  
И, чуждый общему позору,  
Судьбу всемірную рѣшалъ.  
За слово истины высокою  
Голгоескій крестъ предвидѣлъ Онъ  
И, чувствомъ скорби возмущенъ,  
Отцу молился одиноко:  
„Отець! Отець! душа Моя  
Въ нѣмой тоскѣ изнемогаетъ,

Картина будущаго дня  
Мнѣ сердце кровью обливаетъ;  
Я знаю, этотъ день придетъ, —  
На жертву отданный народу,  
Твой Сынъ Божественный умретъ,  
Умретъ за общую свободу...  
Проклятье черни загромитъ  
Надъ головой, вѣнцомъ покрытой,  
И подвигъ жертвы очернитъ  
Насмѣшка злобы ядовитой,  
И тѣ, которымъ со креста  
Пошлю Я даръ благословенья,  
Съ улыбкой гордаго презрѣнья  
Подымутъ руки на Христа...  
Отецъ! Отецъ! пусть чаша эта  
Минуетъ Сына Твоего:  
Мнѣ горько видѣть злобу свѣта  
За искупленіе его!  
Но если Твоему народу  
Позоръ Мой славу принесетъ,  
Пускай за общую свободу  
Сынъ человѣческой умретъ!“  
Молитву кончивъ, грусти полный,  
Къ ученикамъ онъ подошелъ  
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,  
Сказалъ имъ: „встаньте, часъ пришелъ.  
Оставьте сонъ свой и молитесь,  
Чтобъ въ искушеніе не впасть,  
Тогда вы въ вѣрѣ укрѣпитесь  
И съ вѣрой встрѣтите напасть“.  
Сказалъ — и тихо удалился  
Туда, гдѣ прежде плакалъ Онъ,  
И, новой скорбью возмущенъ,  
На землю палъ Онъ и молился:

„Отець! Ты въ міръ Меня послалъ,  
Но Сына міръ Твой не приѣмлетъ;  
Ему любовь Я завѣщалъ,  
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ;  
Я былъ врачомъ его больныхъ,  
Я за враговъ Моихъ молился,—  
И надо Мной Ерусалимъ,  
Какъ надъ обманщикомъ глумился!  
Народу миръ я завѣщалъ,—  
Народъ судомъ Мнѣ угрожаетъ;  
Я въ міръ мертвыхъ воскрешалъ,—  
И міръ Мнѣ крестъ приготовляетъ!..  
Отець! Отець Мой! чаша эта  
Да мимо идетъ отъ Меня!  
Ты Богъ любви, начало свѣта,  
И все возможно для Тебя!  
Но если кровь нужна святая,  
Чтобъ землю съ небомъ примирить,—  
Твой вѣчный судъ благословляя,  
На крестъ готовъ Я восходить!“  
И снова, тайной грусти полный,  
Къ ученикамъ Онъ подошелъ  
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,  
Сказалъ имъ: „встаньте — часъ пришелъ:  
Ужъ не далеко царство славы,  
Близка великая борьба.  
Молитесь: скоро въ день кровавый  
Земли окончится судьба“.  
Сказалъ и снова удалился  
Подъ тѣнь смоковницъ и оливъ  
И тамъ, колѣна преклонивъ,  
Опять онъ плакалъ и молился:  
„Отець! Отець! Мнѣ тяжело!  
Мой умъ колеблется, темнѣетъ;

Все человѣческое зло  
 На мнѣ единомъ тяготѣеть;  
 Позоръ людской,—позоръ вѣковъ, —  
 Все на себя Я принимаю,  
 Но самъ подъ тяжестью оковъ,  
 Какъ человѣкъ, изнемогаю...  
 Отецъ! спаси же Свой народъ!  
 Дай мнѣ на подвигъ укрѣпленье!  
 И Сынъ Твой съ радостью умретъ  
 Великой жертвой примиренья!..“  
 И руки къ небу Онъ поднялъ  
 И весь въ молитву превратился...  
 Огонь лицо Его сжигалъ,  
 Кровавый потъ по немъ струился.

И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ,  
 Эдема блескомъ окруженный,  
 Явился въ садъ уединенный  
 Глашатай Божіихъ чудесъ.  
 Былъ чуденъ взоръ его спокойный,  
 И безмятежно и свѣтло  
 Одушевленное чело;  
 И ликъ сіялъ, какъ полдень знойный,  
 И близъ Учителя онъ сталъ,  
 И рѣчью свыше вдохновенной  
 Освободителя вселенной  
 На славный подвигъ укрѣплялъ,  
 И самъ, подобный легкой тѣни,  
 Но полный благодатныхъ силъ,  
 Свои воздушныя колѣни  
 Съ молитвой пламенной склонилъ.

Весь міръ въ ту пору спалъ глубоко;  
 Была на небѣ тишина;



Лишь въ царствѣ мрака одиноко  
Страдалъ безплодно сатана.  
Онъ зналъ, что въ мірѣ колебался  
Его владычества кумирь,  
И что за этотъ падшій міръ  
Вънецъ и крестъ приготовлялся.  
Онъ понималъ, о чемъ, одинъ,  
Молился Праведникъ великій,  
И плакалъ мрачный властелинъ  
О славѣ свѣтлаго Владыки.

Луна сіяла. Небожитель  
Спѣшилъ въ Эдемъ по облакамъ;  
Межъ тѣмъ могучій Искупитель  
Опять пришелъ къ ученикамъ,  
И въ это чудное мгновенье  
Какъ былъ онъ истинно великъ,  
Какимъ огнемъ одушевленъ  
Горѣлъ Его прекрасный ликъ!  
Какъ ярко отражали очи  
Всю волю твердую Его,  
Какъ любовались на Него  
Свѣтила блѣдной полуночи!  
И вотъ Учитель имъ сказалъ:  
„Вставайте: близокъ день печали,  
И часъ предательства насталъ!“  
И звукъ мечей остроконечныхъ  
Садъ Геосиманскій пробудилъ,  
И отблескъ факеловъ зловѣщихъ  
Лице Иуды освѣтилъ.

## LII.

**Сладость молитвы.**

Бываютъ минуты,—тоскою убитый,  
На ложѣ до утра безъ сна я сижу,  
И нѣтъ на устахъ моихъ теплою молитвы,  
И съ грустью на образъ святой я гляжу.

Вокругъ меня въ комнатѣ тихо, безмолвно...  
Лампада въ углу одиноко горитъ,  
И кажется мнѣ, что святая икона  
Мнѣ въ очи съ укоромъ и строго глядитъ.

И дума за думой на умъ мнѣ приходитъ,  
И жаръ непонятный по жиламъ течетъ,  
И сердце отрады ни въ чемъ не находитъ,  
И волосъ отъ тайнаго страха встаетъ.

И вспомню тогда я тревогу желаній,  
И жгучія слезы тяжелыхъ утратъ,  
Невѣрность надежды и горечь страданій,  
И скрытый подъ маской глубокой развратъ.

Всю бѣдность и суетность нашего вѣка,  
Всѣ мелочи жалкихъ, ничтожныхъ заботъ,  
Все зло въ этомъ мѣрѣ, всю скорбь человека,  
И грозную вѣчность, и съ жизнью разсчетъ;

И вспомню я крестъ на Голгоѣ позорной,  
Облитаго кровью Страдальца на немъ,  
При шумѣ и кликахъ насмѣшки народной  
Поникшаго тихо покорнымъ челомъ...

И страшно мнѣ станеть отъ этихъ видѣній,  
 И съ ложа неволью тогда я сойду,  
 Склоню предъ иконой святою колѣни  
 И съ жаркой молитвою ницъ упаду.

И мнится мнѣ, слышу я шопоть невнятный,  
 И кто-то со мной въ полумракѣ стоитъ:  
 Быть можетъ, незримо, въ тотъ мигъ благодатный  
 Мой ангель-хранитель молитву творить.

И въ душу прольется мнѣ свѣтлая радость,  
 И смѣло на образъ тогда я взгляну,  
 И, чувствуя въ сердцѣ какую-то сладость,  
 На ложе я лягу и крѣпко засну.

ЛIII \*).

### Ночлегъ извощиковъ.

Далеко, далеко, раскинулось поле,  
 Покрытое снѣгомъ, что бѣлымъ ковромъ,  
 И звѣзды зажглися, и мѣсяць, что лебедь,  
 Плыветъ одиноко надъ соннымъ селомъ.

Богъ знаетъ откуда, съ какимъ-то товаромъ  
 Обозъ по дорогѣ пробитой идетъ:  
 То взѣдетъ онъ тихо на длинную гору,  
 То въ темной лоцинѣ изъ глазъ пропадетъ

И вотъ на дорогѣ онъ вновь показался  
 И на гору сталъ подниматься шажкомъ;  
 Вотъ слышно, какъ снѣгъ заскрипѣлъ подъ санями,  
 И кони заржали подъ самымъ селомъ.

\*) См. „Припѣванія“, стр. 16, № 14-й.

Въ овчинныхъ тулупахъ, въ коломенскихъ  
шапкахъ,  
Съ обозомъ, и съ правой, и съ лѣвой руки,  
Въ лаптяхъ и онучахъ, въ большихъ рукавицахъ,  
Кряхтя, пожимаясь, идутъ мужики.

Избились ихъ лапти отъ дальней дороги,  
Ихъ жесткія лица морозъ заклеимиль,  
Высокія шапки, усы ихъ, и брови,  
И бороды иней пушистый покрывль.

Подходятъ они ко дворамъ постоялымъ,  
На встрѣчу имъ дворникъ спѣшитъ изъ воротъ  
И шапку снимаетъ, привѣтствуя словомъ:  
„Откуда, братцы, Господь васъ несетъ?“

— Да ѣдемъ вотъ съ рыбой въ Москву изъ  
Ростова \*),  
Передній извозчикъ ему отвѣчалъ,—  
А что на дворѣ-то не тѣсно-ль намъ будетъ?  
Теперь ты, я чаю, насъ вовсе не ждалъ?—

„Для добраго гостя найдется мѣстечко“,  
Привѣтливо дворникъ плечистый сказалъ  
И, рыжую бороду тихо погладивъ,  
Слегка ухмыляясь, опять продолжалъ:

„Вѣдь, я не таковъ, какъ сосѣдъ-прощальга,  
Готовый за грошъ свою душу продать;  
Я знаю, какъ надо съ людьми обходиться,  
Кого какъ привѣтить и чѣмъ угощать.

\*) Ростовъ на Дону.

„Овесъ мой—овинный, изба—та же баня,  
Не какъ у сосѣда,—зубовъ не сберешь;  
И есть гдѣ прилечь, посидѣть, обсушиться,  
А квасъ, то есть брага, и не хотя пьешь.

„Въѣзжайте-ка, братцы; намъ стыдно считается:  
Ужь я по-пріятельски васъ угощу,  
И встрѣчу, какъ водится, хлѣбомъ и солью,  
И съ хлѣбомъ и солью съ двора отпущу“,

Послушались дворника добрые люди:  
На дворъ помѣстились, коней отпрягли,  
Къ санямъ привязали и корму имъ дали,  
И въ теплую избу чрезъ сѣни вошли.

Снявъ шапки, святымъ образамъ помолились,  
Обчистили иней пушистый съ волосъ,  
Раздѣлись, тулуны на нары поклали  
И рѣчь завели про суровый морозъ.

Погрѣлись близъ печки и руки умыли,  
И, грудь осѣнивши широкимъ крестомъ,  
Хозяйкѣ хлѣбъ-соль подавать приказали,  
И ужинать сѣли за длиннымъ столомъ.

И вотъ, въ сарафанѣ, покрытая кичкой,  
Къ гостямъ молодая хозяйка вошла;  
Сказала: „здорово, родные, здорово?“  
И каждому порознь поклонъ отдала;

Но крашеной ложкѣ имъ всѣмъ разложила,  
И соли въ солонкѣ, и хлѣбъ подала,  
И въ чашкѣ глубокой, съ надтреснутымъ краемъ,  
Изъ кухни горячія щи принесла.

И блюда за блюдомъ пошла перемѣна...  
 Извощики молча и дружно ѣдятъ,  
 И потъ начинается съ нихъ градомъ катиться,  
 Глаза оживились и лица горять.

„Послушай, хозяйюшка!“ молвилъ извощикъ,  
 Съ трудомъ проглативши свинины кусокъ:  
 „Нельзя-ли найти намъ кваску-то получше,  
 Въдь, этотъ слѣпому глаза продереть?“

— И, что ты, родимый! квасокъ-атъ что брага,  
 Его и купцамъ доводилося пить.  
 „Спасибо, хозяйка!“ сказалъ ей извощикъ,  
 „Не скоро намъ брагу твою позабыть“.

— Ну, полно-те спорить, вишь съ бабой связался!  
 Промолвилъ другой, обтирая усы:  
 Аль къ тещѣ съ женою пріѣхалъ на праздникъ?  
 Что есть, то и ладно, а нѣтъ -- не проси!—

„Вѣстимо, Данилычъ“, сказалъ ему третій:  
 „За хлѣбомъ и солью шумѣть не рука;  
 Въдь, мы не бояре: что есть, тѣмъ и сыты...  
 А ну-ка, хозяйюшка, дай-ка гуська!“

— Эхъ, братцы! рукою расправивши кудри,  
 Товарищамъ молвилъ дѣтина одинъ:  
 Разъ, ѣздилъ я лѣтомъ въ Макарьевъ на тройкѣ,  
 Навялъ меня, знаешь, купеческій сынъ.

— Ну, что за раздолье мнѣ было въ дорогѣ!  
 Признаться, ужъ попилъ тогда я винца!  
 Какъ свистнешь, бывало, и тронешь лошадокъ,  
 Захочешь потѣшить порой молодца,—

— И птицей несется залетная тройка,  
Лишь пыль поднимается чернымъ столбомъ,  
Звенить колокольчикъ, и версты мелькають,  
На небѣ ни тучки и поле кругомъ,

— Въ лицо вѣтерокъ подувааетъ на встрѣчу,  
И на сердцѣ любо, и пышетъ лицо...  
Пріѣхаль въ деревню: готова закуска,  
И дворника дочка подносить винцо.

— А вечеромъ, знаешь, мой купчикъ удалый,  
Какъ этакъ порядкомъ уже подгульнетъ,  
На улицу выйдетъ, вся грудь на распашку,  
Вокругъ себя парней толпу соберетъ,

— Одѣлать деньгами и весело крикнетъ:  
„А ну-ка, валяй: не бѣлы-то снѣги!“  
И парни затаянутъ, и самъ онъ зальется,  
И тутъ ужъ его кошелекъ береги.

— Бывало, шепнешь ему; „Яковъ Петровичъ!  
Припрячь кошелекъ-то,—вѣдь, спросить отецъ“.  
„Молчи, братъ! за словомъ въ карманъ не полѣзу:  
Въ товаръ убытокъ,—и дѣлу конецъ“.

Такъ, сидя на лавкѣ за хлѣбомъ и солью,  
Смѣясь, мужики продолжаютъ разговоръ:  
И, стоя близъ печки, качаясь въ дремотѣ,  
Ихъ слушаетъ дворникъ, прищуривши глазъ,

И думаетъ самъ онъ съ собою спросонокъ:  
„Однако отъ этихъ барышъ мнѣ придетъ  
Овса-то, вотъ видишь, по мѣрочкѣ взяли,  
А ѣсть, - такъ одинъ за троихъ уберетъ.“

„Куда-жъ это, Господи, все уложилось!—  
Баранина, щи, поросенокъ и гусь,  
Лапша и свинина, и медъ на заѣдки...  
Ну, я же по своему съ ними сочтусь!“

Вотъ кончился ужинъ. Извощики встали...  
Хозяйка мочалкою вытерла столъ,  
А дворникъ внесъ въ избу охапку соломы,  
Взглянулъ изъ-подлобья и молча ушелъ,

Провѣдавъ лошадокъ, сводивъ ихъ къ колодцу,  
Извощики снова всѣ въ избу вошли,  
Постлали постель, помолилися Богу,  
Раздѣлись, разулись и—спать залегли.

И все замолчало... Лишь въ кухнѣ хозяйка,  
Поставивъ посуду на полку рядкомъ,  
Изъ глинянной чашки, при свѣтѣ огарка,  
Поила теленка густымъ молокомъ.

Но вотъ, наконецъ, и она улеглася,  
Подъ голову старый зипунъ положивъ,  
И крѣпко на печкѣ горячей заснула,  
Всѣ хлопоты кухни своей позабывъ.

Все тихо... всѣ спать... и давно уже полночь.  
Раскинувши руки, храпятъ мужики:  
Лишь, хрюкая, въ кухнѣ больной поросенокъ  
Въ широкой лоханѣ собираетъ куски...

Свѣтатъ начинается. Извощики встали...  
Хозяйка остатокъ огарка зажгла,  
Гостямъ утереться дала полотенце,  
Ковшомъ въ рукомойникъ воды налила.



Умылися гости, предъ образомъ стали,  
 Молитву, какую умѣли, прочли  
 И къ спящему дворнику въ избу другую  
 За кормъ и хлѣбъ-соль разсчитаться вошли.

Сердитый, спросонокъ глаза протирая,  
 Поднялся онъ съ лавки и счеты сискалъ,  
 За столъ сѣлъ нахмуясь, потеръ свой затылокъ  
 И молвилъ: „ну, кто изъ васъ что забиралъ?“

— Заборъ ты нашъ знаешь: мы поровну брали;  
 А ты вотъ за ужинъ изволь положить  
 Себѣ не въ обиду и намъ не въ убытокъ,—  
 Съ тобою хлѣбъ-соль намъ впередъ чтобъ водить.

„Да что же, давай четвертакъ съ человѣка:  
 Оно хоть и мало,— да такъ ужъ и быть“.  
 — Не много-ли будетъ, почтенный хозяинъ?  
 Богатъ скоро будешь! нельзя-ли сложить?“

„Нѣтъ, складки, ребята, не будетъ и гроша,  
 И эта цѣна-то пустякъ-пустякомъ;  
 А будете спорить—заплатите вдвое:  
 Ворота, вѣдь, заперты добрымъ замкомъ“.

Подумавъ, извощики крѣпко вздохнули,  
 И, не хотя вынуть свои кошельки,  
 Хозяину деньги сполна отсчитали  
 И въ путь свой, въ дорогу сбираться пошли.

Всю выручку въ старый сундукъ положивши,  
 Хозяинъ одѣлся и вышелъ на дворъ  
 И, видя, что гости коней запрягаютъ,  
 Взялъ ключъ и замокъ на воротахъ отперъ.

Накинувъ арканы на шею лошадокъ,  
 Извошки стали съѣзжать со двора.  
 „Спасибо, хозяинъ!“ промолвилъ послѣдній:  
 „Смотри, разживайся съ чужого добра!“

— Ну, съ Богомъ, любезный! сказалъ ему  
 дворникъ:  
 Еще изъ-за гроша ты сталъ толковать!  
 Впередъ, просимъ милости, къ намъ заѣзжайте,  
 Ужъ мнѣ не учиться, кого какъ принять.

LIV \*).

## С с о р а.

„Не пора-ль Пантелей, постыдиться людей  
 И опять за работу приняться!  
 Промоталъ хомуты, промоталъ лошадей,—  
 Вѣрно, по міру хочешь таскаться?  
 Вѣдь и такъ отъ сосѣдей мнѣ нѣту житья,  
 Показаться на улицу стыдно;  
 Словно въ трубы трубятъ: что, родная моя,  
 Твоего Пантелея не видно.  
 А ты думаешь: гдѣ же oprичъ ему быть,  
 Чай, опять загулялъ съ бурлаками?  
 И сердечко въ груди закипитъ—закипитъ,  
 И, вздохнувши, зальешься слезами“.  
 — Не дурачь ты меня, мужъ женѣ отвѣчалъ,  
 Я не первый денекъ тебя знаю.  
 Да по чьей же я милости пьяницей сталъ  
 И теперь ни за-что пропадаю?

\*) См „Примѣчанія“, стр. 18, № 15-й.

Не вино съ бурлаками,—я кровь свою пью,  
 Ею горе мое заливаю,  
 Да за чаркой тебя проклиная, змѣю,  
 И тебя, и себя проклиная!  
 Ахъ, ты время мое, золотая пора,  
 Не видать ужъ тебя, вѣрно, болѣ!  
 Какъ, бывало, съ зарей, на телѣгахъ съ двора  
 Ёдешь рожь убирать въ свое поле:—  
 Сбруя вся на заказъ, кони—любо взглянуть,  
 Словно звѣри изъ упряжи рвутся;  
 Не успѣешь, бывало, вожжей шевельнуть,—  
 Ужъ, голубчики вихремъ несутся.  
 Пашешь,—пѣсню поешь, косишь,—устали нѣтъ;  
 Придетъ праздникъ,—помолишься Богу,  
 По деревнѣ идешь,—и почетъ и привѣтъ:  
 Старики уступаютъ дорогу!  
 А теперь... Одного я вотъ въ толкъ не возьму:  
 Въ закромахъ у насъ чисто и пусто;  
 Ину пору и нѣту соломы въ дому,  
 Въ кошелѣ и подавно не густо;  
 На тебя-жъ поглядишь,—что откуда идетъ,  
 Что ни праздникъ,—иная обновка...  
 Оно, можетъ, тебѣ и Господь подаетъ,  
 Да не вѣрится... что-то не ловко!..—

„Не велишь ли ты мнѣ въ старыхъ тряпкахъ  
 ходить!“

Покраснѣвши, жена отвѣчала;  
 „Кажись, было на что мнѣ обновки купить,—  
 Я, вѣдь, цѣлую зимушку пряла.  
 Вотъ тебѣ-то, неряхѣ, великая честь!  
 Вишь, онъ рѣчи какія заводитъ:  
 Самому же лаптишекъ не хочется сплестъ,  
 А зипунъ-то онучи не стоитъ“.

— Поистерся немного: не всёшь щеголять;  
 Бѣдняку что Богъ далъ, то и ладно.  
 А ты любишь гостей-то по платью встрѣчать!  
 Сосѣдъ ходить не даромъ нарядно.—

„Ахъ, родные мои“, закричала жена:  
 „Ужъ и гостя привѣтить нѣтъ воли!  
 Ну, хорошъ муженекъ, хороши времена:  
 Не води съ людьми хлѣба и соли!;  
 Да вотъ на-ка тебѣ! Не по-твоему быть!  
 Я не больно тебя испугалась!  
 Такъ будетъ сосѣдъ ко мнѣ въ гости ходить,  
 Чтобъ сердечко твое надрывалось!“  
 — Коли такъ, ну и такъ! мужъ женѣ отвѣчалъ:  
 Мнѣ тебя переучивать поздно;  
 Ужъ и то я грѣха много на душу взялъ,  
 А сосѣда попробовать можно...  
 Перестанемъ кричать! собери-ка поѣсть:  
 Я и то другой день безъ обѣда,  
 Дай хоть хлѣба ломоть, да влей щей, коли есть,  
 Молоко-то оставь для сосѣда.—

„Да вотъ хлѣба-то я не успѣла испечь!“  
 Жена, славки вскочивши, сказала:  
 „Коли хочешь поѣсть, почини прежде печь...“  
 И на печку она указала.  
 Мужъ ни слова на это женѣ не сказалъ;  
 Взялъ зипунъ свой и шапку съ постели,  
 Постоялъ у окна, головой покачалъ  
 И пошелъ, куда очи глядѣли,  
 Только онъ изъ воротъ, сосѣдъ вотъ онъ—идеть,  
 Шляпа на бокъ, халатъ на распашку,  
 Отъ коневыхъ сапогъ чистымъ дегтемъ несеть,  
 И застегнута лентой рубашка.

„Будь здоровъ, Пантелей! Что повѣсилъ, братъ,  
нось?”

Аль запала въ головушку дума?“

—Видишь бойкій какой! А ты что мнѣ за спросъ?..

Пантелей ему молвилъ угрюмо.

„Что такъ больно сердить? знать, болитъ голова,  
Или просто некстати зазнался?..“

Пантелей второпяхъ засучилъ рукава,

Изъ-подлобья кругомъ озирался!

Эхъ, была не была! ну, держися, дружокъ!—

И мужикъ во всю мочь развернулся,

Да какъ хватитъ сосѣда съ размаху въ високъ,

И не охнулъ,—бѣднякъ протянулся.

Вечеру Пантелей ужъ сидѣлъ въ кабакѣ  
И, слегка подгульнувъ съ бурлаками,  
Крѣпко руку свою прислонивши къ щекѣ,  
Пѣсни пѣлъ, заливаясь слезами.

---

LV.

**И з м ѣ н а.**

Ты взойди, взойди,  
Заря ясная,  
Изъ-за темныхъ тучъ  
Взойди, выгляни;

Подымись, туманъ,  
Отъ сырой земли,  
Покажись ты мнѣ,  
Путь-дороженька.

Шель къ подругѣ я  
Вчера вечеромъ,  
Мужички въ селѣ  
Спать ложилися.

Вотъ взошелъ я къ ней  
На широкій дворъ,  
Отворилъ избы,  
Дверь знакомую.

Глядь, — огонь горитъ  
Въ чистой горенкѣ,  
Въ углу столъ накрытъ  
Бѣлой скатертью;

У стола сидитъ  
Гость разряженный,  
Вплоть до плечъ лежатъ  
Кудри черныя.

Подлѣ, рядомъ съ нимъ,  
Моя милая:  
Обвила его  
Рукой бѣлою

И, на грудь къ нему  
Склонивъ голову,  
Рѣчи тихія  
Шепчетъ ласково.

Поднялися мои  
Дыбомъ волосы,  
Обдало меня  
Жаромъ-холодомъ

На столъ лежалъ  
Бѣлый хлѣбъ и ножъ:  
Знать, кудрявый гость  
Званъ былъ ужинать.

Я схватилъ тотъ ножъ—  
Къ гостю бросился;  
Не успѣлъ онъ встать,  
Слова вымолвить,—

Облило его  
Кровью алою;  
Словно снѣгъ, лицо  
Забѣлѣлося.

А она, вскочивъ,  
Громко ахнула  
И, какъ листъ, вздрогнувъ,  
Пала замертво.

Стало страшно мнѣ  
Въ свѣтлой горенкѣ:  
Распахнулъ я дверь,  
На дворъ выбѣжалъ...

Ну, подумалъ я,  
Добрый молодецъ,  
Ты простишь теперь  
Съ отцомъ, съ матерью!

И пришелъ мнѣ въ умъ  
Дальній, темный лѣсъ,  
Жизнь разгульная  
Подъ дорогою...

Я сказалъ себѣ:  
Больше некуда!  
И, махнувъ рукой,  
Въ путь отправился...

Ты взойди, взойди,  
Заря ясная,  
Покажи мнѣ путь  
Къ лѣсу темному!

---

LVI \*).

Полно, степь моя, спать безпробудно:  
Зимы-магушки царство прошло,  
Сохнетъ скатерть дорожки безлюдной,  
Снѣгъ пропалъ,—и тепло, и свѣтло.

Пробудись и умойся рососою,  
Въ ненаглядной красѣ покажись,  
Принакрой свою грудь муравою,  
Какъ невѣста, въ цвѣты нарядись.

Полюбуйся: весна настаеть,  
Журавли караваномъ летять,  
Въ яркомъ золотѣ день утопаеть,  
И ручьи по оврагамъ шумять.

Бѣлоснѣжныя тучки толпами  
Въ синевѣ, на просторѣ плывутъ,  
По груди у тебя полосами,  
Другъ за дружкой, тѣни бѣгутъ.

---

\*) См. „Примѣчанія“ стр. 19, № 16-й.



Скоро гости къ тебѣ соберутся,  
Сколько гнѣздъ понавѣютъ,—посмотри!  
Что за звуки, за пѣсни польются  
День-деньской, отъ зари до зари!

Тамъ ужъ лѣто, — ложись подъ косою,  
Ковыль бѣлый, въ угоду косцамъ!  
Подымайся, копна за копною!  
Распѣвайте, косцы, по ночамъ!

И тогда, — при мерцаньи румяномъ  
Ясныхъ зорекъ въ прохладные дни,  
Отдохни, моя степь, подъ туманомъ,  
Беззаботно и крѣпко усни.

---

LVII.

Утро на берегу озера.

Ясно утро. Тихо вѣетъ  
Теплый вѣтерокъ;  
Лугъ, какъ бархатъ, зеленѣетъ,  
Въ заревѣ востокъ.

Окаймленное кустами  
Молодыхъ раекъ,  
Разноцвѣтными огнями  
Озеро блеститъ.

Тишинѣ и солнцу радо,  
По равнинѣ водъ  
Лебедей ручное стадо  
Медленно плыветъ.

Вотъ одинъ взмахнулъ лѣниво  
Крыльями,—и вдругъ  
Влага брызнула игриво  
Жемчугомъ вокругъ.

Привязавъ къ раkitамъ лодку,  
Мужички вдвоемъ,  
Близъ осоки, втихомолку,  
Тянуть сътъ съ трудомъ.

По травѣ, въ рубашкахъ бѣлыхъ,  
Скачутъ босикомъ  
Два мальчишка загорѣлыхъ  
На прутахъ верхомъ.

Крупный потъ съ нихъ градомъ льется  
И лицо горить;  
Звучно смѣхъ ихъ раздается,  
Голосокъ звенить.

„Ну, катай на-перегонки!“  
А на шалуновъ  
Съ тайной завистью дѣвчонка  
Смотритъ изъ кустовъ.

„Тянуть, тянуть!“ закричали  
Ребятишки вдругъ:  
„Вдоволь, чай, теперь поймали  
И линей, и щукъ“.

Вотъ, на берегъ отлогомъ  
Показалась сътъ.  
— „Ну, вытряхивай-ка, съ Богомъ—  
Нечего глядѣть!“

Такъ сказалъ старикъ высокій,  
Весь, какъ лунь, сѣдой,  
Съ грудью выпукло-широкой,  
Съ длинной бородой.

Сѣтъ намокшую подняли  
Дружно рыбаки;  
На песокъ затрепетали  
Окуни, линьки.

Дѣти весело шумѣли:  
„Будетъ на денекъ!“  
И на корточки присѣли  
Рыбу класть въ мѣшокъ.

„Ты, подкидышь, къ намъ откуда?  
Не зови—придетъ...  
Убирайся-ка отсюда!  
Не пойдешь,—такъ вотъ!..“

И подкидыша мальчишка  
Оттолкнулъ рукой.  
— „Ну, за что ее ты, Мишка?“  
Упрекнулъ другой.

„Экій малый уродился“,  
Говорить старикъ:  
„Все-бъ дрался онъ, да бранился,  
Экій озорникъ!“

— „Ты бы внука-то маленько  
За вихоръ подралъ:  
Онъ взялъ волю-то раненько!“  
Свату свать сказалъ.

— „Эхъ!.. дѣвчонка надоѣла...  
 Самъ я, знаешь, голь,  
 Тутъ подкидыша, безъ дѣла,  
 Одѣвать изволь.

„Хлѣбъ, смотри, вотъ вздорожаетъ,—  
 Ты чужихъ корми;  
 А, вѣдь, мать, небось, гуляетъ,  
 Прахъ ее возьми!“

— „Потерпи,—чай, не забудеть  
 За добро Господь!  
 Вѣдь, она работать будетъ,  
 Богъ дастъ, подростеть“.

— „Такъ-то такъ... вѣстимо, надо  
 Къ дѣлу приучить;  
 Да теперь беретъ досада  
 Безъ толку кормить.

„И дѣвчонка-то больная,  
 Сохнетъ, какъ трава,  
 Да все плачетъ... дрянъ такая!  
 А на грѣхъ жива!“

Мужички потолоковали  
 И въ село пошли;  
 Велѣдъ мальчишки побѣжали,  
 Рыбу понесли;

А дѣвчонка провожала  
 Грустнымъ взглядомъ ихъ,  
 И слеза у ней дрожала  
 Въ глазкахъ голубыхъ.

## LVIII.

## Упрямый отецъ.

— „Ты хоть плачь, хоть не плачь,—быть по-  
моему!

Я сказалъ тебѣ: не послушаю!  
Молода еще, рано умничать!  
„Мой женихъ-де вотъ и буянъ, и мотъ,  
Онъ въ могилу свель жену первую...“  
Ты скажи прямѣй: мнѣ, молъ, батюшка,  
Полюбился сынъ Кузьмы-мельника.  
Такъ суди ты мнѣ горы золота,—  
Не владѣть тобой сыну знахаря,  
Онъ добро скопиль,—пусть имъ хвалится:  
Наживи же онъ имя честное!  
Я съ сумой пойду, умру съ голода,  
Не отдамъ себя на посмѣшище,—  
Не хочу я быть родней знахаря!  
Колдуновъ у насъ въ роду не было.  
А ты этимъ-то мнѣ, безстыдница,  
За мою хлѣбъ-соль платить вздумала,  
Жениховъ своихъ пересуживать!  
Да ты знаешь ли власть отцовскую?  
Съ пастухомъ, велю, подъ вѣнецъ пойдешь!  
Не учи, скажу: такъ мнѣ хочется!“

Захватило духъ въ груди дочери,  
Полотна бѣлѣй лицо сдѣлалось,  
И, дрожа, какъ листь, съ мольбой горькою  
Къ старику она въ ноги бросилась:  
„Пожалѣй меня, милый батюшка,  
Не сведи меня во гробъ заживо!“

Аль въ избѣ твоей я ужъ лишняя,  
 У тебя въ дому не работница?...  
 Ты кормилецъ мой, самъ говариваль,  
 Что не выдашь дочь за немилаго.  
 Не губи же ты мою молодость:  
 Лучше въ дѣвкахъ я буду стариться,  
 День и ночь сидѣть за работою!  
 Откажи, родной, свахѣ засланной“.

— „Хороша твоя рѣчь, разумница;  
 Только гдѣ ты ей научилась?  
 Понимаю я, что ты думаешь:  
 Мой отецъ, молъ, старъ,—ему бѣлый гробъ,  
 Красной дѣвушкѣ своя волюшка...  
 Али, можетъ быть, тебѣ нелюбо,  
 Что отецъ въ почетъ по селу пойдетъ,  
 Что богатый зять тестю бѣдному  
 При нуждѣ, порой, будетъ помочью?  
 Такъ ступай же ты съ моего двора,  
 Чтобъ ноги твоей въ домъ не было!“

„Не гони меня, сжался, батюшка,  
 Ради горькихъ слезъ моей матушки!  
 Вѣдь, она тебя Богомъ, при смерти,  
 Умоляла быть мнѣ защитою...  
 Не гони, родной,—я вѣдь, кровь твоя!“

— „Знаю я твои бабьи присказки!  
 Что по мертвому, что-ль, расплакалась?  
 Да хоть встань твоя мать-покойница,  
 Я и ей скажу: „быть по моему!“  
 Проклянѣ, коли не слушаешь...“

Протекло семь дней: дѣло сладилось.  
 Отецъ празднуетъ свадьбу дочери.

За столомъ шумять гости званые;  
 Подъ хмѣлькомъ, старикъ пляшетъ съ радости,  
 Зятемъ, дочерью выхваляется.  
 Зять сидитъ въ углу, гладитъ бороду,  
 На плечахъ его кафтанъ новенькій,  
 Сапоги съ гвоздьми, съ мѣдной прошвою \*),  
 Подпоясанъ онъ краснымъ поясомъ.  
 Молодая съ нимъ сидитъ объ руку,  
 Сарафанъ на ней съ рядомъ пуговокъ,  
 Кичка съ бисернымъ подзатыльникомъ,—  
 Но лицо бѣлѣй снѣга чистаго:  
 Вѣрно, много слезъ красной дѣвицей  
 До вѣнца въ семь дней было пролито...

Вотъ окончился деревенскій пиръ,  
 Проводилъ старикъ съ двора дѣтище.  
 Только пыль пошла вдоль по улицѣ,  
 Когда зять, надѣвъ шляпу на ухо,  
 Во весь духъ пустилъ тройку дружную,  
 И безъ умолку подъ дугой большой  
 Залилися два колокольчика...

Замолчало все въ селѣ къ полночи,  
 Не спалось только сыну мельника,  
 Онъ сидѣлъ и пѣлъ на завалинкѣ:  
 То души тоска въ пѣсенѣ слышалась,  
 То разгуль, будто воля гордая,  
 На борьбу звала судьбу горькую.

Сталъ одинъ старикъ жить хозяиномъ,  
 Молодую взялъ въ домъ работницу...

\*) Въ нѣкоторыхъ селахъ Воронежской губерніи задники крестьянскихъ сапоговъ прошиваются, для щегольства, мѣдною проволокою.

Выпаль первый снѣгъ. Зиму-матушку  
 Деревенскій людъ встрѣтилъ весело;  
 Мужички въ извозъ отправляются,  
 На гумнахъ вездѣ молотѣба идетъ,  
 А старикъ съ утра до полуночи  
 Въ кабакѣ сидитъ, пригорюнившись.  
 „Что, старинушка, чай, богатый зять  
 Хорошо живетъ съ твоей дочерью?...“  
 Подъ хмѣлькомъ иной ему вымолвить;  
 Вмигъ сожметъ Пахомъ брови съ просѣдью  
 И, потушивъ взоръ, скажетъ нехотя:  
 — „У себя въ дому за женой смотри,  
 А въ чужую клѣтъ не заглядывай!—  
 „За женой-то мнѣ глядѣть нечего;  
 Лучше ты своимъ зятемъ радуйся:  
 Вонъ теперъ въ грязи онъ на улицѣ“.

Минулъ свадьбѣ годъ. Насталъ праздничекъ.  
 Разбудилъ село колокольный звонъ;  
 Мужички идутъ въ церковь весело;  
 На крещеный людъ смотритъ солнышко.  
 Въ церкви Божіей бѣлый гробъ стоитъ,  
 По бокамъ его два подсвѣчника;  
 Въ головахъ одинъ, въ зипунѣ худомъ,  
 Сирота-Пахомъ думу думаетъ  
 И не сводитъ глазъ съ мертвой дочери...  
 Вотъ окончилась служба долгая,  
 Мужички снесли гробъ на кладбище;  
 Приняла земля дочь покорную.  
 Обернулся зять къ тестю блѣдному  
 И сказалъ, заткнувъ руки за-поясъ:  
 „Не пришлось пожить съ твоей дочерью!  
 Хлѣбъ и соль была, кажись, вольная,  
 А все какъ-то ей нездоровилось...“



А старикъ стоялъ надъ могилою,  
 Опустивъ, въ тоскѣ, на грудь голову...  
 И когда на гробъ земля черная  
 Съ шумомъ глыбами вдругъ посыпалась,—  
 Пробѣжалъ морозъ по костямъ его,  
 И ручьемъ изъ глазъ слезы брызнули...  
 И не разъ съ тѣхъ поръ въ ночь безсонную  
 Этотъ шумъ ему дома слышался.

## LIX.

## С. В. Чис....й.

Да не смущается сердце ваше  
 вѣруйте въ Бога,  
 Иоанна, гл. XIV, ст. 1.

Тяжелъ вашъ крестъ!.. что было съ вами  
 Въ глуши безлюдной и степной,  
 Когда у васъ передъ глазами,  
 На рыхломъ снѣгѣ, сынъ родной,  
 Назадъ минуту жизни полный,  
 Какъ цвѣтъ, подрѣзанный косой,  
 Лежалъ недвижный и нѣмой,  
 Мгновенной смертью пораженный?  
 Когда любимое дитя  
 Вы къ жизни воплемъ призывали  
 И безотвѣтныя уста  
 Своимъ дыханьемъ согрѣвали?...  
 Тяжелъ вашъ крестъ и ваша чаша  
 Горька! но живъ Господь всего:  
 Да не смутится сердце ваше,  
 Молитесь, вѣруйте въ него!  
 Слеза-ль падеть у васъ,— Онъ знаетъ  
 Число всѣхъ капель дождевыхъ,—

И ваши слезы сосчитаетъ,  
Оцѣнитъ каждую изъ нихъ.  
Онъ весь любовь, и жизнь, и сила,  
Съ Нимъ благо все, съ Нимъ свѣтъ во тьмѣ!...  
И, наконецъ, скажите мнѣ,  
Ужели такъ страшна могила?  
Что лучше: раньше умереть,  
Или страдать и сокрушаться,  
Глядѣть на зло, и зло терпѣть,  
И вѣровать, и сомнѣваться?  
Утраты нужно испытать,  
Прочестъ весь свитокъ жизни горькой,  
Чтобъ у дверей могилы только  
Ихъ смыслъ таинственный понять?..  
Блаженъ, кто къ вѣчному покою,  
Не испытавъ житейскихъ волнъ,  
Причалилъ рано утлый челнъ,  
Хранимый вышнею рукою!  
Кто знаетъ? можетъ быть, въ тотъ часъ,  
Когда въ тиши, въ тоскѣ глубокой,  
Вы на молитвѣ одинокой  
Стоите долго, — подлѣ васъ  
Вашъ сынъ, теперь жилецъ небесный,  
Стоитъ, какъ ангелъ безтѣлесный,  
И слышитъ васъ и, можетъ быть,  
За васъ молитвы онъ творитъ;  
Иль въ хорѣ ангеловъ летаетъ,  
И, — чуждый всѣхъ земныхъ заботъ, —  
И славу Бога созерцаетъ,  
И гимны райскіе поетъ!  
Къ чему же плачь? Настанетъ время,  
Когда въ надзвѣздной сторонѣ,  
За все земное бремя  
Вознаградитесь вы вполнѣ.

Тамъ, окруженный неба свѣтомъ,  
 Сынъ радость съ вами раздѣлитъ,  
 И, по разлукѣ въ міръ этомъ,  
 Васъ вѣчность съ нимъ соединитъ.

LX \*).

### Вечеръ послѣ дождя.

Замерли грома раскаты. Дождемъ окропленное  
 поле,  
 Послѣ грозы, озарилось улыбкой румянаго солнца.  
 Заревомъ пышетъ закатъ. Золотисто-румяныя  
 тучи  
 Ярко горять надъ вершиной кудряваго лѣса.  
 Спятъ неподвижныя нивы, обвѣяны нѣгой вечер-  
 ней.  
 О, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дож-  
 демъ освѣженный!  
 Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ бла-  
 годатный!  
 Видѣлъ я въ полдень вотъ этотъ цвѣтокъ темно-  
 синій: отъ жару  
 Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ  
 землѣ раскаленной;  
 Вотъ онъ опять развернулся и держится прямо  
 на стеблѣ.  
 Солнце-художникъ покрыло его золотистою крас-  
 кой,  
 Свѣтлыя капли, какъ жемчугъ, горять на головкѣ  
 махровой;

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 20, № 17-й.

Крѣпко прильнула къ нему хлопотливо-жужжа-  
 щая пчелка,  
 Сокъ ароматный собирая. А какъ забѣлѣлася ярко  
 Гречка расцвѣтшая, чистой омытая влагой отъ  
 пыли!  
 Издали кажется, снѣгъ это бѣлой лежитъ поло-  
 сою.  
 Словно воздушный цвѣтокъ, стрекоза опустилася  
 на колось;  
 Бѣдная! долго ждала она капли прозрачной изъ  
 тучки.  
 Вышелъ сурокъ изъ норы своей темной; кругомъ  
 отянулся,  
 Сталь осторожно на заднія лапки и слушаетъ:  
 тихо...  
 Только кричить гдѣ-то перепелъ, и распѣваетъ  
 овсянка;  
 Весело свистнулъ онъ и водицы напился изъ  
 лужи.  
 Вотъ пожилой мужичокъ показался въ лѣсу. Подъ  
 мышкой  
 Держить онъ свѣжія лыки. Окинувши поле гла-  
 зами,  
 Шляпу онъ снялъ съ головы, сѣдиной серебри-  
 стой покрытой,  
 Тайно молитву творя, осѣнился крестомъ и про-  
 молвилъ:  
 „Экую радость послалъ намъ Господь — пролив-  
 ной этотъ дождикъ!  
 Хлѣбъ-отъ въ недѣлю поправится такъ, что его  
 не узнаешь“.

---

LXI \*).

## Ж е н а я м щ и к а.

Жгучь морозъ трескучій,  
На дворѣ темно;  
Серебристый иней  
Запустилъ окно.

Тяжело и скучно,  
Тишина въ избѣ;  
Только вѣтеръ воетъ  
Жалобно въ трубѣ,

И горить лучина,  
Издавая трескъ,  
На палаты, стѣны  
Разливая блескъ.

Дремлетъ подлѣ печки,  
Прислонясь къ стѣнѣ,  
Мальчуганъ кудрявый  
Въ старомъ зипунѣ.

Слабо освѣщаетъ  
Блѣдный огонекъ  
Дѣтскую головку  
И румянецъ щекъ.

Тѣнь его головки  
На стѣнѣ лежитъ;  
На скамьѣ, за прялкой  
Мать его сидитъ.

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 20. № 18-й.

Ей не даромъ снился  
Страшный сонъ вчера:  
Вся душа изныла  
Съ ранняго утра.

Пятая недѣля  
Вотъ къ концу идетъ,  
Мужъ что въ воду кануль  
Вѣсточки не шлетъ.

„Ну, Господь помилуй,  
Если съ мужикомъ  
Грѣхъ какой случился  
На пути глухомъ!

„Дѣло мое бабье,  
Цѣлый вѣкъ больна,  
Что я буду дѣлать  
Одиной-одна!

„Сынъ еще ребенокъ,  
Скоро-ль подростетъ?  
Бѣдный!.. все гостинца  
Отъ отца онъ ждетъ!..“

И глядитъ на сына  
Горемыка-мать:  
„Ты бы легъ, касатикъ,  
Перестань дремать!

— „А зачѣмъ же, мама,  
Ты сама не спишь,  
И вечеръ все пряла,  
И теперь сидишь?“

„Охъ, мой ненаглядный,  
Прясть-то нѣтъ ужъ силъ:  
Что-то такъ мнѣ грустно,  
Божій свѣтъ не миль!“

— „Полно плакать, мама!“  
Мальчуганъ сказалъ  
И къ плечу родимой  
Головой припалъ.

— „Я не стану плакать.  
Лягъ, усни, дружокъ;  
Я тебѣ соломки  
Принесу снопокъ,

„Постелю постельку,  
И Господь пошлетъ—  
Твой отецъ гостинецъ  
Скоро привезетъ;

„Новыя салазки  
Сдѣлаетъ опять,  
Будетъ въ нихъ сыночка  
По двору катать...“

И дитя забылось,  
Ночь длинна—длинна...  
Мѣрно раздается  
Звукъ веретена.

Дымная лучина  
Чуть въ свѣтцѣ горитъ,  
Только вьюга какъ-то  
Жалобнѣй шумитъ.

Мнится, будто стонетъ  
 Кто-то у крыльца,  
 Словно провожаютъ  
 Съ плачемъ мертвеца...

И на память пряхѣ  
 Молодость пришла,  
 Вотъ и мать-старушка,  
 Мнится, ожила.

Съла на лежанку  
 И на дочь глядитъ:  
 „Сохнешь ты, родная,  
 Сохнешь, говорить;

„Гдѣ тебѣ, голубкѣ,  
 За мужемъ-то жить,  
 Трудъ, порой рабочей,  
 Въ полѣ выносить!

„И въ кого родилась  
 Ты съ такимъ лицомъ?  
 Старшія-то сестры  
 Кровь, вѣдь, съ молокомъ;

„И разгульны, правда,  
 Нечего сказать,  
 Да за то имъ шутка  
 Молотить и жать,

„А тебя за разумъ  
 Хвалить вся семья,  
 Да любить-то... любить  
 Только мать твоя“.



Вотъ въ сѣняхъ избушки  
Кто-то застучалъ.  
„Батюшка пріѣхалъ!“  
Мальчуганъ сказалъ.

И вскочилъ съ постели,  
Щеки ярче розъ.  
„Батюшка пріѣхалъ,  
Калачей привезъ!..“

— „Вишь морозъ какъ крѣпко  
Дверь-то прихватилъ!“  
Грубо гость знакомый  
Вдругъ заговорилъ...

И мужикъ плечистый  
Сильно дверь рванулъ,  
На порогъ съ шапки  
Иней отряхнулъ.

Осѣнилъ три раза  
Грудь свою крестомъ,  
Почесалъ затылокъ  
И сказалъ потомъ:

— „Здравствуешь, сосѣдка!  
Какъ живешь, мой свѣтъ?..  
Экая погодка,  
Въ полѣ слѣду нѣтъ!“

„Ну, не съ доброй вѣстью  
Я къ тебѣ пришелъ:  
Я лошадокъ вашихъ  
Изъ Москвы привелъ“.—

„А мой мужъ? спросила  
Имщика жена,  
И бѣлѣе снѣга  
Сдѣлалась она.

— „Да въ Москву пріѣхавъ,  
Вдругъ онъ захворалъ,  
И Господь бѣднягъ  
По душу послалъ“.—

Вѣсть, какъ громъ, упала...  
И, едва жива,  
Перевестъ дыханья  
Не могла вдова;

Опустивъ рученки,  
Сынъ дрожалъ, какъ листъ...  
За стѣной избушки  
Быль и плачь, и свистъ.

— „Вишь, какая притча!“  
Разсуждалъ мужикъ:  
„Вѣрно, я не впору  
Развязалъ языкъ.“

„А, вѣдь, жалко бабу,  
Что и говорить!  
Скоро ей придется  
По міру ходить.“

„Полно горевать-то“,  
Онъ вдовѣ сказалъ:  
„Стало, неча дѣлать,  
Богъ, знать, наказалъ!“

„Ну, прощай покуда,  
 Мнѣ домой пора;  
 Лошади-то ваши  
 Тутъ вотъ у двора.

Да!.. вѣдь, эка память,  
 Все сталъ забывать:  
 Вотъ отецъ сынишкѣ  
 Крестъ велѣлъ отдать.

„Самъ онъ черезъ силу  
 Съ шеи его снялъ,  
 Въ грамоткѣ мнѣ отдалъ  
 Въ руки и сказалъ:

— „Вотъ благословенье  
 „Сыну моему;  
 „Пусть не забываетъ  
 „Мать, скажи ему“.

„А тебя-то, видно,  
 Крѣпко онъ любилъ:  
 По-смерть твое имя,  
 Бѣдный, онъ твердилъ“.

---

 LXII.

### Купецъ на пчельникѣ.

Межъ ульевъ, къ лѣску примыкая густому,  
 Подъ тѣнію гибкихъ березъ и ракать,  
 Недавно покрытая новой соломой,  
 Изба одинокая въ полѣ стоитъ.

Вокругъ ульевъ ветловый плетень. За избою  
 На толстыхъ столбахъ обветшалый навѣсъ;  
 Правѣ ворота съ одной вереею,  
 А далѣе поле, дорога и лѣсъ.  
 И какъ хорошо это поле! Вотъ гречка  
 Межъ рожью высокой и спѣлымъ овсомъ  
 Бѣлѣтся ярко, что млечная рѣчка;  
 Вотъ стелется просо зеленымъ ковромъ,  
 Склоняся къ почвѣ густыми кистями;  
 Съ нимъ рядомъ желтѣетъ овесъ золотой,  
 Красиво качая своими кудрями;  
 А воздухъ струится прозрачной волной,  
 И солнце такъ ярко, привѣтно сіяетъ!  
 Вонъ коршунъ лукавый надъ рожью плыветъ,  
 Вдали колокольчикъ звенить, замираетъ,  
 И мѣръ насѣкомыхъ немолчно поетъ.

Близъ пчельника, въ полѣ, подъ тѣнью ракиты,  
 Съ купцомъ и сватами пчелинецъ сидитъ,  
 Широкая лысина шляпой покрыта,  
 Глаза его мутны, лицо все горитъ;  
 Лежатъ на щекахъ загорѣлыхъ морщины,  
 И просѣдь бѣлѣетъ въ его волосахъ,  
 Рубашка на немъ изъ крученой холстины,  
 А ноги въ онучахъ и новыхъ лаптяхъ.  
 Съ нимъ рядомъ бесѣдуютъ три его свата:  
 До плечъ изъ-подъ шапокъ ихъ кудри висятъ,  
 Всѣ въ синихъ рубахахъ, на шапкахъ заплаты,  
 Всѣ пылью покрыты съ лица и до пятъ.  
 Предъ ними, на бѣлой разостланной тряпкѣ,  
 Ведро деревянное съ квасомъ стоитъ,  
 Желтѣется медъ въ неокрашенной чашкѣ \*).

\*) Въ свободное время, любимое занятіе пчелинцевъ, кромѣ починки старыхъ ульевъ, выдѣлки изъ дерева чашекъ, ложекъ и т. п. Эти произведенія, разумѣется, самой грубой работы.

И чернаго хлѣба краюха лежитъ,  
 Напротивъ пчелинца, въ поддевкѣ суконной,  
 Въ жилетѣ и въ плисовыхъ черныхъ штанахъ,  
 Купецъ темнорусый на травкѣ зеленой  
 Сидитъ, подбоченясь, съ бутылкой въ рукахъ.  
 Подалѣе, въ кичкѣ, въ цвѣтномъ сарафанѣ \*),  
 Невѣстка пчелинца, нагнувшись, стоитъ  
 И съ саломъ свинымъ, на чугунномъ таганѣ,  
 Яичницу въ глиняной чашкѣ варитъ \*\*).  
 Лѣвѣй, по дорогѣ, близъ ивы тѣнистой,  
 Двѣ лошади подлѣ повозокъ стоятъ,  
 И два медолома во ржи золотистой,  
 Позавтракавъ, трубки лѣниво курятъ.  
 Безоблачно небо; безлюдно все поле;  
 Лишь пчелы жужжать, не смолкая, кругомъ,  
 Да громко, подъ тѣнью раки, на просторѣ,  
 Ведутъ мужички свои рѣчи съ купцомъ.

#### 1 - й с в а т ъ .

Нѣтъ, ты ужъ на свата, купецъ, положися:  
 Вѣдь, онъ не захочетъ душою кривить;  
 Давай-ка задатокъ, да Богу молися,  
 Товаръ то-же золото, можно купить.

#### п ч е л и н е ц ъ .

Не знаю я, сватушка, хитрыхъ уловокъ;  
 Да мой и родитель-то былъ не таковъ.  
 Ты видишь, что за десять лучшихъ колодокъ\*\*\*)  
 Всего-то я выпросилъ триста рублей.

\*) Продажа меду у мужичка-пчельника считается праздникомъ. Въ это время онъ приглашаетъ родныхъ и знакомыхъ погулять на счетъ покупателя, и бабы надѣваютъ тогда лучшее платье.

\*\*) Яичница — любимое полевое кушанье деревенскихъ пчелинцевъ.

\*\*\*) Улей и колодка имѣютъ одно и тоже значеніе.

## к у п е ц ь.

Эхъ, скупъ ты, Кудимычъ! грѣшишь противъ  
Бога!

Знать, вздумалъ на старости въ кладъ собирать.  
И двадцать цѣлковыхъ, по-моему, много:  
Вѣдь, было-бъ и мнѣ изъ чего хлопотать.

## 2-й с в а т ь.

Вѣстимо, гдѣ польза, легка и работа,  
Я помню, говаривалъ кумъ мой Сысой:  
Родись только просо, косить не забота,  
Семья будетъ съ кашей, хозяйнѣ съ казной.

## п ч е л и н е ц ь.

Да, сватушка, любо на свѣтѣ съ казною,—  
А я вотъ на старости лѣтъ обѣднѣлъ;  
Лишился дѣтишекъ, да вотъ и съ женою  
Жить вмѣстѣ не долго Господь мнѣ велѣлъ.  
Невѣстка, ты знаешь, зимой овдовѣла;  
Самъ старъ: и пахать и косить ужъ не въ мочь;  
Тутъ горе—избушка недавно сгорѣла;  
Одна мнѣ утѣха осталася—дочь.  
Господь дастъ, голубушку къ мѣсту пристрою  
(А ей наступилъ девятнадцатый годъ),  
Тогда и глаза я покойно закрою.  
Да денегъ-то нѣтъ: вся надежда на медъ.

## к у п е ц ь.

Э, полно грустить-то... А лучше, Кудимычъ,  
Давай-ка вотъ выпьемъ по чаркѣ одной!

## п ч е л и н е ц ь.

Спасибо, родимый мой, Яковъ Данилычъ!  
Премного доволенъ, спасибо, родной!

купецъ.

Да кушай, дружище! Зачѣмъ тутъ считаться?  
 Сторгуемся,—ладно, а нѣтъ, не порокъ;  
 Мнѣ стыдно отказомъ твоимъ обижаться:  
 Я знаю тебя ужъ не первый годокъ.

пчелинецъ.

Да какъ-же! Еще твой родитель покойный  
 Лѣтъ двадцать со мной по-прятельски жилъ.  
 Вотъ былъ человекъ-то! Ужъ этакой скромный  
 А какъ онъ моихъ рябятишекъ любилъ!  
 За то, коли бабы порой посмѣются  
 И скажутъ, бывало: „вонъ ѣдетъ купецъ!“  
 Ребята мои его ждуть, не дождутся,  
 Глядятъ на дорогу,—и играмъ конецъ.  
 Душа былъ покойникъ!.. Повѣришь, бывало,  
 Полсотни колодокъ онъ купить съ двухъ словъ.

купецъ.

Я самъ не охотникъ болтать, что попало,  
 Да что-жъ, въдь, десятокъ не триста-жъ рубливъ!

пчелинецъ.

Ну, двадцать пять сбавлю: оно дешевенько,  
 Да надо тебѣ дать копѣйку нажать!

купецъ.

Спасибо, Кудимычъ. Испей-ка маленько!  
 Успѣемъ поладить: куда намъ спѣшить!

пчелинецъ.

Я выпью; гляди только, Яковъ Данилычъ,  
 Чтобъ дѣло покончить по совѣсти намъ!

к у п е ц ь .

По совѣсти кончимъ. Ну, кушай, Кудимычъ!  
Покаймѣсть, я, кстати, налью и сватамъ.

2-й свать.

Вотъ добрый купецъ-ать! Вишь, какъ угощаетъ!  
Люблю за обычай!.. А что, свать Иванъ,  
Мнѣ кажется, день померкать начинается  
И по полю ходитъ какой-то туманъ?

3-й свать.

Въ глазахъ, вѣрно, свать, у тебя потемнѣло:  
На полѣ идетъ все своимъ чередомъ.  
Туманъ, или ясно,—не важное дѣло...  
Вотъ пчельникъ-то ходитъ немного кругомъ!

к у п е ц ь .

Послушай, Пахомовна, что тамъ хлопочешь?  
Поди-ка сюда, побесѣдуй со мной:  
Ты, видно, меня и привѣтить не хочешь,  
Какъ-будто мы вовсе чужіе съ тобой.

п а х о м о в н а .

И, что ты! коли я тебя забывала?  
Хозяйкѣ грѣшно про гостей забывать.  
Я все за яичницей тамъ хлопотала:  
Дрова-то сырыя, совсѣмъ не горять.

к у п е ц ь !

Небось, загорятся: закуска не къ сроку  
Ты на-ка вотъ чарочку выпей пока;  
А я, вѣдь, тебѣ приготовилъ обновку,—  
Кусокъ миткалю и два красныхъ платка.



Смотри-же, какъ съ свекоромъ-то ладить я буду,  
 Такъ ты, молодница, меня поддержи;  
 А я и въ другой разъ тебя не забуду;  
 Теперь лишь по-прежнему мнѣ послужи.

Поморщившись, баба стаканъ осушила  
 И вытерла губы слегка рукавомъ,  
 Намазала меду на хлѣбъ, закусила  
 И бойко промолвила свекру потомъ:  
 „Зачѣмъ у васъ, батюшко, дѣло-то стало?  
 Уважь коли можно, купецъ-атъ хорошъ;  
 Иной нападетъ, вѣдь, такой тряпыхало, —  
 Пожалуй, и денегъ гроша не возьмешь  
 Вотъ прошлое лѣто, у свата Степана,  
 Какой-то пріѣзжій его подпоилъ,  
 А послѣ, мошенникъ, надѣлалъ изъяну,  
 И къ вечеру слѣдъ его въ полѣ простылъ“.

— „Ты сущую правду сказала про свата“,  
 Поднявшись, пчелинецъ съ трудомъ бормоталъ,  
 „Купцы надувають, вѣдь, нашего брата, —  
 Я самъ этотъ грѣхъ на себя испыталъ.  
 Ну, слушай-же, Яковъ Данилычъ! Вотъ видишь, —  
 Признаться, ей-Богу въ умѣ не было,  
 За то, что въ расчетъ меня не обидишь,  
 Долой семь цѣлковыхъ! куда что ни шло!“

„Нѣтъ, такъ не придется. Я радъ бы душою,  
 Да слишкомъ, любезный, цѣна высока,  
 Ты, видно, не хочешь поладить со мною,  
 А ждешь къ себѣ въ гости купца-кулака?  
 Что-жь? — Вольному воля; пожалуй, какъ, знаешь,  
 Но только такого, какъ я, не найдешь!“

Съ меня ты червонцы всегда получаешь \*),  
Съ другаго и лыками всѣхъ не возьмешь“.

Пахомовна ложки, межъ тѣмъ, разложила,  
Холоднаго квасу въ ведро подлила,  
Поближе гостей всѣхъ присѣсть пригласила  
И въ чашкѣ яичницу имъ подала.  
И, весело гутаря, около чашки  
Сваты и пчелинецъ усѣлись въ кружокъ;  
Разгладили бороды, скинули шапки  
И каждый взялъ ложку и хлѣба кусокъ,  
И дружно обѣдъ свой они продолжали.  
Но хмѣльный пчелинецъ не ѣлъ и молчалъ;  
Глаза старика черезъ-силу моргали  
И носъ его въ воздухъ что-то клевалъ.  
Купецъ и Пахомовна рядомъ сидѣли,  
И глазъ не сводилъ съ нея ловкій сосѣдъ,  
И щеки молодки румянцемъ горѣли...  
Вотъ медомъ окончился сытный обѣдъ.

— „Спасибо за хлѣбъ-соль и ласку, Кудимычъ“  
Сваты говорили и силились встать.  
„Спасибо тебѣ тоже, Яковъ Данилычъ,  
Довольны, родимый: ужъ неча сказать!“

„Не стоитъ, сваточки: вы вовсе не ѣли“,  
Сватамъ, спотыкаясь, пчелинецъ сказалъ:  
„А чтобы одну вы мнѣ пѣсенку спѣли?  
Я пѣсень, признаться, давно не слыхалъ!“

— „Ну, что же, Кудимычъ, какъ будемъ мы  
ладить?“

---

\* ) Мужики степныхъ губерній считаютъ для себя величайшею обидою, если имъ платятъ за какой-либо товаръ разорванными билетами или старою серебряною монетою.

Платкомъ утираясь, промолвилъ купецъ:  
 „Нельзя ли съ цѣны твоей что-нибудь сбавить!  
 Скажи покороче,—и дѣлу конецъ“.

„Да вотъ что, кормилецъ, я сбавлю немного:  
 Ты хочешь мнѣ двѣсти и двадцать отдать?  
 Не то,—такъ ступай себѣ... вонъ и дорога!  
 Я больше не стану съ тобой толковать“.

— „Сто двадцать!.. упрямя ты маленько, Ку-  
 димычъ!“

Какъ-будто обидясь, купецъ повторилъ.

„Сто двадцать! Сто двадцать! какъ знаешь,  
 Данилычъ!“

Ни гроша не сбавлю,—и такъ уступилъ!“ \*)

— „Ну, вѣрно, часъ добрый! помолимся Богу!  
 Куплю хоть въ убытокъ, на зло кулакамъ!..“  
 И, синій картузь приподнявши немного,  
 Съ пчелинцемъ ударилъ купецъ по рукамъ.  
 „Да только, братъ, вотъ что: вѣдь, я покупаю  
 На Божію волю, на милость твою,  
 И если я улыи плохіе сломаю,  
 Поправь, ради дружбы, ошибку мою“.

„Не бойся, родимый, обиды не будетъ...  
 Родитель мой по смерть всегда говоритъ:  
 Будь честень, Ванюшка, Господь не забудеть,  
 Гляди, чтобы ты никого не забылъ“.

---

\*) Подобнаго рода чредьки нѣкоторыми покупателями меду употребляются нерѣдко. Пьяный пчелинецъ безсознательно повторяетъ слова купца, и, что всего удивительнѣе, опять остается его пріателемъ: проспавшись, бѣднякъ не помнитъ ничего, сочтеть вырученныя за медъ деньги и скажетъ: „Эхъ, дешевенько я отдалъ медъ этому купцу; ну, видно его счастье“!

— „Давайте, ребята, проворнѣй кадушку!“ \*)  
 Работниковъ кликнувъ, купецъ имъ сказалъ:  
 „Да кстати сейчасъ же зажгите курушку \*\*)  
 И вмѣстѣ съ ножемъ не забудьте рѣзецъ; \*\*\*)  
 Теперь ужъ позволь намъ, хозяинъ, за дѣло,  
 И тотчасъ ребята работу начнутъ“.

„Часъ добрый, часъ добрый! работайте смѣло!  
 Пускай себѣ съ Богомъ на пчельникъ идутъ“.

И вотъ медоломы къ труду приступили.  
 Купецъ мужичковъ продолжалъ угощать,  
 И вновь даровое вино они пили,  
 И стали съ покупкой купца поздравлять.  
 Но праздникъ былъ полный для свата Ивана:  
 Смекнувъ, что безъ дѣла сидѣть не рука,  
 Досталъ онъ жилейку свою изъ кармана  
 И, кашлянувъ, началъ играть трепака.  
 Не долго Пахомовна смирно сидѣла,  
 Ей сватова пѣсня знакома была,—  
 Въ красавицѣ-бабѣ вся кровь закипѣла  
 И, вставши, плясать она бойко пошла;  
 И крѣпко подъ тактъ застучала котами,  
 Рукой подбоченяся, грудью впередъ,  
 И тихо вокругъ поводила глазами,  
 И градомъ катился съ лица ея потъ.

„Спасибо, невѣстка, воскликнулъ Кудимычъ:  
 Всему свое время — гулять, такъ гулять!..  
 Какъ думаешь, батюшка, Яковъ Данилычъ,  
 Такого намъ праздника долго, вѣдь, ждать?“

\*) Въ кадушку кладется медъ, вынутый изъ улья.

\*\*) Курушкой медоломы подкуриваютъ пчелъ.

\*\*\*) Большой ножъ, и рѣзецъ (острый желѣзный крюкъ) необходимъ при очищеніи улья.

— „Катай! и моя не щербата копѣйка!“  
 Вскочивъ и шатаясь, свать Карпъ закричалъ:  
 „Ну что-жъ ты тамъ дремлешь съ своею жилейкой?  
 Играй веселѣе, коли заигралъ!“  
 И, свистнувъ, онъ крѣпко притопнулъ ногами,  
 Хватилъ о-земь шапку, подперся въ бока,  
 Тряхнулъ молодецки густыми кудрями, —  
 И началъ въ присядку плясать трепака.  
 И долго со звукомъ жилейки сливался  
 И свистъ его звонкій, и стукъ сапоговъ...  
 На пляску съ улыбкой купецъ любовался  
 И думалъ: „ну, разъ я надулъ мужичковъ,  
 Не дурно-бъ теперь и въ другой постараться“.  
 Межъ тѣмъ подошелъ ужъ одинъ медоломъ...!

„Ну что, братъ: успѣли-ли съ медомъ убраться?“  
 Хозяинъ работнику молвилъ тишкомъ.

— „Вотъ, есть о чемъ думать! вѣдь, намъ не  
 учиться!“

Ну, польза, хозяинъ, отъ меду придетъ:  
 Полтиною можно на рубль поживиться;  
 Всѣ улы на выборъ... отличнѣйшій сортъ!

„Ступай же, тамъ все убери хорошенько:  
 Мы скоро поѣдемъ“, купецъ отвѣчалъ.  
 „Ну, что, другъ Кудимычъ! Вѣдь, дѣло пло-  
 хонько!“

Ты медомъ-то крѣпко меня наказалъ!  
 Не дай ужъ въ обиду, — прибавъ двѣ колодки...  
 Такая досада! и самъ я не свой!“

— „Охъ, нѣтъ-ли, родимый, какой тутъ уловки?“  
 Кудимычъ сказалъ, покачавъ головой.

„Какой же уловки?.. Я развѣ мошенникъ?  
Ты, стало-быть, хочешь меня обижать?“

— „Ей-Богу, не думалъ!.. пойдѣмъ-ка на пчель-  
никъ:

Колодку сверхъ счета не шутка отдать“. —  
Купецъ говорилъ, что одной маловато,  
Но твердо пчелинецъ стоялъ на своемъ  
И тугъ-же сослался на перваго свата,  
Примолвивъ: „мы знаемъ, вѣдь, дѣло-то въ чемъ!“  
Насилу упрямый купецъ согласился,  
Пчелинцу сто двадцать рублей отсчиталъ,  
И честью своей передъ нимъ похвалился,  
И шляпу въ подарокъ ему обѣщаль \*).

И, вотъ, всѣ на пчельникъ отправились вмѣстѣ.  
Пахомовна въ тряпку посуду взяла,  
И только на прежнемъ, оставленномъ мѣстѣ  
Дымился огонь и бѣлѣла зола.  
Толкая другъ-друга, махая руками,  
Сваты охмѣлѣвшіе медленно шли,  
И пыль загребали съ дороги ногами,  
И подъ руки свата-пчелинца вели.

„Ну, вотъ когда вдоволь мы всѣ погуляли!“  
Сватамъ, съ разстановкой, старикъ говорилъ:  
„Вишь, дѣло какое... и медъ мы продали,  
И шляпу мнѣ добрый купецъ посулилъ.  
Вотъ праздникъ-то Богъ далъ!.. Теперь я съ казною  
Еще десять ульевъ послѣднихъ продамъ;  
Построю избушку... и дочку зимою  
За парня хорошаго замужъ отдамъ...“

\*) Подарить пчелинцу рукавицы или шляпу—каждый покупатель  
считаетъ своею обязанностію.

Постойте... постойте... вѣдь, я и забылся...  
 Эхъ, то-то, вѣдь старому пить не рука!  
 Я, кажется, съ вами, за что-то бранился?..  
 Простите, родные, меня старика!“

„Да что ты, Кудимычъ!“ сваты отвѣчали:  
 „Не грѣхъ-ли объ этомъ тебѣ говорить,  
 Коли отъ тебя мы обиду видали?  
 Намъ по-вѣкъ, родимый, тебя не забыть“,  
 Сватъ Карпъ говорилъ, головою кудрявой качая,  
 И, старую шапку назадъ заломивъ,  
 Съ открытою грудью шель, пѣсень напѣвая:

Эхъ, воля моя, молодецкая воля!  
 Не надолго, вѣрно, была ты дана:  
 Стубила тебя горемычная доля,  
 На вѣкъ погубила злодѣйка-жена!  
 Какъ вспомнишь ту волю,—слеза навернется,  
 И съ горя-бъ на свѣтъ, на людей не гля-  
 дѣль!

Да видно—живи, молодець, какъ живется,  
 Когда свое счастье беречь не умѣлъ!“

И долго сваты на дорогѣ шумѣли...  
 Но силы остатокъ имъ сталъ измѣнять:  
 Ихъ очи безъ цѣли и мысли глядѣли,  
 И рѣчи ихъ трудно ужъ было понять.  
 До пчельника кой-какъ съ трудомъ дотащив-  
 шись,

Межъ ульевъ бродили они съ полчаса  
 И все, наконецъ, на траву повалившись,  
 Въ тяжелой дремотѣ закрыли глаза.  
 И все приутихло... Одинъ лишь Кудимычъ,  
 Порою, невнятно, сквозь сонъ бормоталъ:

„Сто двадцать... сто двадцать... какъ знаешь, Данилычъ!

Ни гроша не сбавлю... Я сразу сказалъ“.

Садилось солнце. Волнистыя нивы  
Горѣли румянцемъ. Весь западъ пылалъ.  
Чуть слышно шептали зеленая ивы;  
Вечерней прохладою воздухъ дышалъ.  
Очистивши улей, подарокъ пчелинца,  
Купецъ отдалъ бабѣ миткаль и платки,  
Промолвивъ: „Ну, вотъ тебѣ вдругъ три гостинца,

Неси, не жалѣй, съ моей легкой руки;  
У тебя, вѣдь, обновокъ, [я думаю, мало?“

— „Охъ, мало, касатикъ! откуда ихъ взять?  
Намъ, послѣ пожара, какъ лѣто настало,  
И хлѣбъ-то пришлось у людей занимать!  
Теперь хоть отъ меду копѣйка собьется,—  
Старикъ не минуетъ избушку купить;  
А дочь-то опять жениха не дождется...  
Да, плохо, кормилецъ мой, стало намъ жить!  
Я думаю въ городъ... въ кухарки наняться...  
Не-то похоронимъ, глядишь, старика,  
Дочь станетъ въ селѣ безъ пріюта шататься,  
И я-то останусь тогда безъ куса...“

— „Эхъ, жаль“, купецъ думалъ: „дѣла въ безпорядкѣ...“

Въ другой разъ тутъ нечего будетъ купить.  
Ну, если-бъ я зналъ, что пчелинецъ въ упадкѣ,—  
Мнѣ въ мутной водѣ рыбу легче-бъ ловить...“

Межъ-тѣмъ ужъ коней запрягли медоломы;  
Купецъ сѣлъ въ повозку, картузь приподнялъ,



Слегка поклонился молодкѣ знакомой  
И тронуть своихъ лошадей приказалъ  
И лошади крупною рысью пустились,  
На уздахъ раздался бубенчиковъ звукъ,  
И спицы тяжелыхъ колесъ закружились,  
И пыль за повозками встала вокругъ...  
Вотъ кони, исчезнувъ за пылью густою,  
Еще на горѣ показались разъ,  
Свернули налѣво и вдругъ, за горою,  
Въ глубокой лоцинѣ пропали изъ глазъ.

---

LXIII \*).

### Неудачная присуха.

Ударъ за ударомъ,  
Полуночный громъ,  
Полнеба пожаромъ  
Горить надъ селомъ.

И дождь поливаетъ,  
И буря шумить,  
Избушку шатаетъ,  
Въ оконце стучить.

Ночникъ одиноко  
Въ избушкѣ горить;  
На лавкѣ широкой  
Кудесникъ сидить.

---

\*) См. „Примѣчанія“ стр. 22, № 19-й.

Сидитъ онъ — колдуетъ  
Надъ чашкой съ водой,  
То на воду дуетъ,  
То шепчетъ порой.

На лбу бороздами  
Морщины лежатъ,  
Глаза подъ бровями,  
Какъ угли, горятъ.

У притолки парень  
Въ халатъ стоитъ:  
Онъ, блѣдный, печалень  
И въ землю глядитъ.

Лицо некрасиво,  
На видъ простоватъ,  
Но сложенъ на диво  
Отъ плечъ и до пять.

„Ну, слушай: готово!  
Хоть трудъ мой великъ“,  
Промолвилъ сурово  
Кудесникъ-старикъ:

„Я сдѣлаю дѣло:  
Красотка твоя  
И душу, и тѣло  
Отдастъ за тебя!

„Ты самъ ужь, вѣстимо,  
Зѣвать — не зѣвай:  
Безъ ласки ей мимо  
Пройти не давай...“

Спасибо, кормилец!  
За все заплачу;  
Поможешь,—гостинецъ  
Съ поклономъ вручу.

„Крупы, коли скажешь,  
Мѣшокъ ни-почемъ!  
А денегъ прикажешь, —  
И деньги найдемъ“.

И съ радости дома  
Такъ парень мой спалъ,  
Что бури и грома  
Всю ночь не слыхалъ.

Пять дней пролетѣло...  
Вотъ разъ вечеркомъ,  
На лавкѣ, безъ дѣла  
Лежить онъ ничкомъ,

На крѣпкія руки  
Припавъ головой,  
Колотить отъ скуки  
Объ лавку ногой.

И вдругъ повернулся,  
Плечо почесалъ,  
Зѣвнулъ, потянулся  
И громко сказалъ:

— „Слышь, матушка! бають,  
У насъ въ деревняхъ  
Вишь доки бываютъ,—  
И вѣрить-то страхъ!

„Кого, вишь, присушать,  
 Не миль станеть свѣтъ:  
 Тоска такъ и душить!..  
 Что — правда, аль нѣтъ?“

„Бываютъ, вѣстимо“,  
 Отвѣтила мать:  
 „Не дай Богъ, родимый,  
 Ихъ видѣть и знать...“

— „Ну, правда, такъ ладно!“  
 Сынъ думаль: „дождусь!..  
 Эхъ, жить буду славно  
 Коли я женюсь!..“

Но, видно, напрасно  
 Кудесникъ шепталъ  
 И дѣвицъ красной  
 Тоской угрожалъ.

Другого красотка  
 Любила тайкомъ  
 За пѣсни, походку  
 И кудри кольцомъ...

А парень гуляетъ:  
 Какъ праздникъ придетъ,  
 Лицо умываетъ  
 И гребень беретъ,

И кудри направо,  
 Налѣво завьетъ,  
 Подумаетъ: „браво!“  
 И пальцемъ щелкнетъ,

Какъ снѣгъ въ чистомъ полѣ,  
Рубашка на немъ,  
Кумачъ на подолѣ  
Краснѣетъ огнемъ.

На шляпѣ высокой,  
Межъ плисовыхъ лентъ,  
Горитъ одиноко  
Витой позументъ.

Онучи обвиты  
Кругомъ бичевой,  
И лапти прошиты  
Суровой пенькой.

Тряхнеть волосами,  
Идетъ въ хороводъ.  
„Ну, вотъ, дескать, нами  
Любуйся народъ!“

Какъ встрѣтился съ милой,—  
Ни словъ, ни рѣчей;  
Что въ памяти было,—  
Забылъ, хоть убей!

Вдругъ правда, случайно,  
До парня дошла:  
Ужъ дѣвкина тайна  
Не тайной была...

Вся кровь закипѣла  
Въ бѣднягѣ... „Такъ вотъ,  
Онъ думалъ, въ чемъ дѣло!  
Кудесникъ-атъ вретъ.“

„Не грѣхъ ему палкой  
Бока обломать  
Обманщику... жалко  
Мнѣ руки марать!“

И два дня угрюмый,  
Убитый тоской,  
Все думалъ онъ думу  
Въ избушкѣ родной.

На третій, лишь только  
Отправилась мать  
На рѣчку въ ведерко  
Водицы набрать,

Съ гвоздя торопливо  
Котомку онъ снялъ;  
„Пойду, молъ!..“ и живо  
Ремни развязалъ.

Въ тряпицѣ рубашку  
Въ нее положилъ,  
И съ ложкою чашку  
Туда-жъ опустилъ,

Халатъ для дороги  
Про непогодъ взялъ...  
Мать входитъ; онъ въ ноги  
Ей палъ и сказалъ:

„Ну, матушка, горько,  
Признаться, идти  
Съ родимой сторонки...  
А видно, прости!“

Мать такъ и завывла:  
„Касатикъ ты мой!  
Ахъ, крестная сила!  
Что это съ тобой?“

— „Да что тутъ мнѣ биться,  
Какъ рыбѣ объ ледь!  
Пойду потрудиться,  
Что Богъ ни пошлетъ.“

И тутъ жилъ трудами,  
Талана, вишь, нѣтъ...“  
Старушка руками  
Всплеснула въ отвѣтъ:

„Да какъ-же подь старость  
Мнѣ жить-то одной?“  
Вѣдь, ты моя радость,  
Кормилецъ родной!

И къ сыну припала  
На грудь головой  
И все повторяла:  
„Кормилецъ родной!“

Сынъ крѣпко рукою  
Хватилъ себя въ лобъ,  
И думалъ съ собою:  
„Прямой остолопъ!“

„Ну, вотъ тебѣ, здравствуй!..  
Наладилось мнѣ:  
Иди, малый! царствуй  
Въ чужой сторонѣ!“

„А, стало,—старушкѣ  
Одной пропадать!  
Казны-то полушки  
Ей негдѣ достать“.

И парень украдкой  
Лице отвернулъ  
И старую шапку  
На лавку швырнулъ.

— „Ну, полно, родная!  
Я въ шутку... пройдетъ...  
Все доля дурная...  
Наука впередъ!“

Румяное солнце  
Къ полямъ подошло,  
Въ избушкѣ оконце  
Огнемъ залило;

Румянить, золотить  
Лѣсокъ въ сторонѣ.  
Мой парень молотить  
Овесъ на гумнѣ.

Тяжелыя муки  
Въ душѣ улеглись:  
Могучія руки  
За трудъ принялись.

Цѣпъ такъ и летаетъ,  
Какъ молнія жжетъ,  
Нѣ снопъ упадаетъ.  
По колосу бьетъ.



Богъ помочь, дѣтина!  
 Давно-бъ такъ пора!..  
 Долой ты, кручина,  
 Долой со двора!

## LXIV.

## Бурлакъ.

Эхъ, пріятель, и ты, видно, горе видалъ,  
 Коли плачешь отъ пѣсни веселой!  
 Нѣтъ, послушай-ка ты, что вотъ я испыталъ,  
 Такъ узнаешь о жизни тяжелой!  
 Девятнадцати лѣтъ, послѣ смерти отца,  
 Я остался одинъ сиротою;  
 Дочь сосѣда любила меня молодца.  
 Я женился, — и зажилъ съ женой!  
 Словно счастья на дворъ мнѣ она принесла, —  
 Дай Богъ царство небесное бѣдной! —  
 Ужъ такая-то, братецъ, хозяйка была,  
 Дорожила полушкою мѣдной!  
 Въ зимній вечеръ, бывало, лучину зажжетъ  
 И прядетъ себѣ, глазъ не смыкаетъ;  
 Пѣтухи пропоютъ, — ну, тогда отдохнетъ  
 И приляжетъ; а чуть разсвѣтаетъ, —  
 Ужъ она на ногахъ: поглядишь, — побѣжить  
 И овцамъ, и коровамъ дастъ корму,  
 Печь истопить, и снова за прялкой сидитъ,  
 Или что прибираетъ по дому.  
 Лѣтомъ рожь станетъ жать, иль снопы подавать  
 Съ земли на возъ, — и горя ей мало.  
 Я, бывало, скажу: „не пора-ль отдохнуть?“  
 — „Ничего, говорить, не устала“

Иногда ей случится обновку купить  
Для утѣхи, такъ скажетъ: „напрасно!  
Мы безъ этого будемъ другъ-друга любить,  
Что ты тратишься, соколъ мой ясный!“  
Какъ въ раю съ нею жилъ!.. Да не намъ, вѣрно, знать,  
Гдѣ и какъ насъ кручина застанетъ!  
Улеглася жена въ землю на-вѣки спать...  
Вспомнишь,—жизнь не мила тебѣ станеть!  
Вся надежда была,—словно вылитый въ мать,  
Темнорусый красавецъ-сынишка.  
По складамъ ужъ псалтырь было началъ читать...  
Думалъ: „выйдетъ, молъ, въ люди мальчишка!“  
Да не то ему Богъ на роду написалъ:  
Заболѣлъ отъ чего-то весною.--  
Я и бабокъ къ нему, знахарей призывалъ  
И поилъ наговорной водою,  
Обѣщался рублевую свѣчку купить,  
Предъ иконою въ церкви поставить,—  
Не услышалъ Господь... и пришлось положить  
Сына въ гробъ, на кладбище отправить...  
Было горько мнѣ, другъ, въ эти черные дни!  
Опустились совсѣмъ мои руки!  
Стали хлѣбъ убирать,—въ полѣ пѣсни, огни,  
А я сохну отъ горя и скуки!  
Снѣга перваго ждалъ: я продамъ, молъ, вотъ рожь  
Справлю сани, извозничать буду,—  
Вдругъ,—бѣда за бѣдой,—на скотину падежь...  
Чай, по гробъ этотъ годъ не забуду!  
Кой-какъ зиму провелъ; вижу,—честь мнѣ не та:  
То на сходкѣ иной посмѣется;  
„Дескать,—всякая вотъ что-ни-есть мелкота  
Тоже въ дѣло мірское суется!“  
То бранять за глаза: „не съ его-де умомъ  
Жить въ нуждѣ: видишь, какъ онъ лѣнится;

Нѣтъ, по нашему такъ: коли быть молодцомъ,  
Не тужи, хоть и горе случится!“  
Образумилъ меня людской смѣхъ, разговоръ;  
Видно, Богъ свою помочь мнѣ подаль!  
Запросилась душа на широкой просторъ...  
Взялъ я паспортъ, подушное отдалъ...  
И пошелъ въ бурлаки. Разгуляли тоску  
Волги-матушки синія волны!..  
Коли отдыхъ придетъ,—на крутомъ бережку  
Разведешь огонекъ въ вечеръ темный,  
Изъ товарищей пѣсню одинъ заведетъ,  
Тѣ подхватятъ,—и въ мигъ встрепенешься,  
Съ головы и до ногъ жаръ и холодъ пойдетъ,  
Слезы сдержишь,—и самъ тутъ зальешься!  
Непогода-ль случится, и вдругъ посѣтитъ  
Мою душу забытое горе, —  
Есть разгулъ молодцу: Волга съ шумомъ бѣжитъ  
И про волю поетъ на просторѣ;  
Ретивое забьется,—вспыхнешь огнемъ!  
Осень, холодъ,—не надобна шуба!  
Сядешь въ лодку,—гуляй! размахнешься весломъ,  
Силой съ бурей помѣряться любо!  
И летишь по волнамъ, только брызги кругомъ...  
Крикнешь: „ну, теперь Божія воля!  
Коли жить, — будемъ жить, умереть, — такъ  
умремъ!“  
И въ душѣ словно не было горя!

## LXV.

Подлѣ рѣки одиноко стою я подѣ тѣнью ра-  
 киты;  
 Свѣтъ ослѣпительный солнца скользить по ши-  
 рокимъ уступамъ  
 Горь мѣловыхъ, будто снѣгомъ нетающимъ плот-  
 но покрытыхъ;  
 Въ зелени яркой садовъ, подѣ горою, бѣлѣются  
 хаты,  
 Бродятъ лѣниво вдоль луга стада, — и по пыль-  
 ной дорогѣ  
 Тянется длинный обозъ; погоняя воловъ утом-  
 ленныхъ,  
 Тихо идутъ чумаки, и одинъ черномазый хохле-  
 нокъ  
 Спитъ крѣпкимъ сномъ на возу, беззаботно рас-  
 кинувши руки.  
 Поглядите налѣво: о, Боже, какая картина!  
 Влага прозрачная, кажется, дышетъ, разлившись  
 широко!  
 Синее небо и бѣлыя тихо плывущія тучки;  
 Берега желтый песокъ, неподвижнаго лѣса вер-  
 шины,  
 Тонкій пушистый камышь, и рыбакъ, опускаю-  
 щій сѣти, —  
 Все отразилось въ стеклѣ этой влаги такъ живо  
 и ясно,  
 Что вдохновенный художникъ съ своею волшеб-  
 ною кистью,  
 Смѣлый поэтъ съ своимъ словомъ послушнымъ  
 сознали-бъ здѣсь оба  
 Жалкую бѣдность искусства предѣ жизнiю вѣч-  
 ной природы!...

Съ перваго взгляда все кажется просто, но сколь-  
ко тутъ силы,  
Жизни, величія, новыхъ предметовъ для пѣсенъ  
и думы!..  
Слышишь-ли эти немолчные звуки серебряной  
влаги?  
Что она хочетъ сказать? не разгула-ли просить  
и воли?  
Иль на своемъ языкѣ непонятномъ и годы, и  
вѣки  
Вторитъ свободно торжественный гимнъ вездѣсу-  
щему Богу?  
Есть-ли таинственный смыслъ въ этомъ говорѣ  
вѣтра съ листьями?  
Я-ли одинъ созерцаю присутствіе Бога въ тво-  
ренъи,  
Иль надо мною здѣсь духи витають незримой  
толпою,  
Жизнію, мнѣ незнакомой, живутъ, и доступенъ  
имъ лучшій,  
Полный прекраснаго, міръ съ его тайнами, силою  
и славой?  
Видно, не чуждъ онъ и мнѣ: будто что-то род-  
ное я слышу  
Въ шопотѣ вѣтра съ травою и въ говорѣ волнъ  
подъ ногами.  
Вижу на каждомъ шагу своемъ тайны; но сладко  
мнѣ думать:  
Въ царствѣ природы не лишній я гость съ моей  
думой и пѣней.

---

## LXVI.

## ЛѢСНИКЪ И ЕГО ВНУКЪ.

„Дѣдушка, дѣдушка! Вотъ я чудесъ - то когда  
насмотрѣлся!  
Пѣсней наслушался всякихъ!.. и вспомню, такъ  
сердце забьется.  
Утромъ я сѣлъ на полянѣ подъ дубомъ и сталъ  
дожидаться,  
Скоро ли солнышко встанетъ. Въ лѣсу было  
тихо, такъ тихо,  
Словно все замерло... Вижу я, — тучки на небѣ  
алѣютъ—  
Больше да больше, — и солнышко встало! Какъ  
будто пожаромъ  
Лѣсъ освѣтило! Цвѣты на полянѣ, — листы на  
деревьяхъ, —  
Ожило все, засіяло... ну, точно смѣется сквозь  
слезы  
Божьей росы!.. Сквозь просѣку увидѣлъ я чистое  
поле:  
Яркимъ румянцемъ покрылось оно, а пары под-  
нимались  
Выше и выше, и золотомъ тучки отъ солнца го-  
рѣли.  
Богъ вѣсть, кто строилъ изъ тучекъ мосты, ко-  
локольни, хоромы,  
Горы какія-то съ мѣдными шапками... Диво и  
только!  
Глянулъ я вверхъ: надо мною на вѣткахъ была  
паутина, —  
Мнѣ показалось, серебряной сѣти я вижу узоры.

Самъ-та паукъ длинноногій, какъ умный хозяинъ,  
поутру  
Вышелъ, работу свою осмотрѣлъ и двѣ ниточки  
новыхъ  
Бойко провель, да и скрылся подъ листикомъ,—  
вотъ ужъ лукавый!...  
Вдругъ на сухую березу сѣлъ дятель и носикомъ  
длиннымъ  
Началъ стучать, будто вымолвить хочетъ: „про-  
снитесь, сони!“  
Слышу: малиновка гдѣ-то запѣла, за нею другая,  
И раздалися въ кустахъ голоса, будто праздникъ  
великій  
Вольныя птички встрѣчали... такъ весело!.. Вѣ-  
теръ прохладный  
Что-то шепнулъ потихоньку осинѣ,—она встре-  
пенулась,  
Съ листьевъ посыпались свѣтлыя капли, какъ  
дождикъ, на травку;  
Вдругъ зашумѣли березы, орѣшникъ, и лепеть,  
и говоръ  
По лѣсу всюду пошелъ, словно гости пришли на  
бесѣду...“

— „Охъ, ты, кудрявый шалунъ, на яву начи-  
наешь ты грезить!  
Вѣтеръ въ лѣсу зашумѣлъ — у него это чудо  
большое.  
Любишь ты сказки-то слушать и самъ ихъ раз-  
сказывать мастеръ.  
Вишь, вчера вечеромъ сѣлъ у ручья, да глазѣтъ  
на звѣзды,  
Невидадь точно какая! Колотъ-бы ты лучше лу-  
чину!“

Что, и ручей, чай, вчера рассказаль тебѣ новаго  
много?“

— „Какъ же, рассказываль, дѣдушка! Я любо-  
вался сначала,  
Какъ потухала заря, и на небѣ, одна за дру-  
гою,  
Звѣздочки стали выглядывать; мнѣ показалось въ  
ту пору:  
Ангеловъ свѣтлыя очи глядятъ къ намъ оттуда  
на землю.  
Видѣль я, какъ поднимался и мѣсяцъ надъ лѣ-  
сомъ; не знаю,  
Что онъ не смотритъ, какъ солнышко? все буд-  
то думаетъ что-то.  
Любо мнѣ было. Прилежь я на травку подъ ивой  
зеленой,—  
Слышу, ручей говорить: „хорошо мнѣ журчать  
въ темномъ лѣсѣ:  
Въ полночь тутъ дивы приходятъ ко мнѣ, поютъ  
пѣсни и пляшутъ;  
Только раздолья здѣсь нѣтъ. Будетъ время, я  
выйду на волю,  
Выйду изъ темнаго лѣса, увижу и синее море;  
Въ морѣ дворцы изъ стекла и сады съ золотыми  
плодами;  
Есть тамъ русалки, бѣлѣй молока ихъ открытыя  
плечи;  
Очи, какъ звѣзды, горять; въ волосахъ дорогіе  
каменья.  
Есть тамъ старикъ-чародѣй; разсылаетъ онъ вѣт-  
ры по волѣ;  
Слушаютъ рыбы его; вѣсти чудныя рѣки прино-  
сятъ...“



— „Вотъ, погоди,—подростешь, позабудешь ты  
эти рассказы,  
Люди за нихъ не дадутъ тебѣ хлѣба и скажутъ:  
тудися!  
Вонъ нашъ пастухъ съ раннихъ лѣтъ обучился  
играть на свирѣли,  
Такъ и состарѣлся нищимъ, все новыя пѣсни  
слагаетъ!“

— „Развѣ не плакалъ ты, дѣдушка, самъ, когда  
вечеромъ позднимъ  
Брался пастухъ за свирѣль, и по темному лѣсу  
далеко  
Пѣснь соловьиная вдругъ разливалась, — и все за-  
молкало,  
Словно и лѣсъ ее слушалъ, и синее небо, и  
звѣзды?  
Нѣтъ, не брани меня, дѣдушка! Выросту, буду  
трудиться,  
Буду и пѣсни я пѣть, какъ поетъ вѣтерокъ пере-  
летный,  
Вольныя птицы по днямъ, по ночамъ темный  
лѣсъ подъ грозою,  
Буду пѣть радость и горе, и улыбаться сквозь  
слезы!“

## LXVII.

## Б у р я.

Тучи идутъ разноцвѣтной грядою по синему  
небу.  
Воздухъ прозраченъ и чистъ. Отъ лучей восхо-  
дящаго солнца  
Бора опушка горитъ за рѣкой золотыми огнями.  
Въ зеркалѣ водъ отразилися небо и берегъ,

Гибкій высокій тростникъ и ракитъ изумрудная  
 зелень.  
 Здѣсь чуть замѣтная зыбь ослѣпительно блещеть  
 отъ солнца,  
 Тамъ—вонъ, отъ тѣни крутыхъ береговъ вороне-  
 ною сталью  
 Кажется влага. Вдали полосою широкой, что ска-  
 терть,  
 Тянется лугъ, поднимаются горы, мелькають въ  
 туманѣ  
 Села, деревни, лѣса, а за ними синѣется небо.  
 Тихо кругомъ. Лишь шумить, не смолкая, вода  
 у плотины,  
 Словно и просить простора, и ропщеть, что  
 мельнику служить,  
 Да иногда пробѣжить по травѣ вѣтерокъ неви-  
 димкой,  
 Что-то шепнетъ ей, и, вольный, умчится далеко.  
 Вотъ ужъ и солнце совсѣмъ закатилось, но пы-  
 шеть доселѣ  
 Алый румянецъ на небѣ. Рѣка, берега и деревья  
 Залиты розовымъ свѣтомъ, и свѣтъ этотъ гас-  
 нетъ, темнѣеть...  
 Вотъ еще разъ онъ мелькнулъ на поверхности  
 дремлющей влаги,  
 Вотъ отъ него пожелтѣвшій листокъ на прибреж-  
 ной осинѣ  
 Вдругъ, какъ червонецъ, блеснулъ, засіялъ — и  
 угасъ постепенно.  
 Тѣни густѣють. Деревья вдали принимать начи-  
 нають  
 Странные образы. Ивы стоятъ надъ водою, какъ  
 будто  
 Думаютъ что-то и слушаютъ. Боръ какъ-то смо-  
 трить угрюмо.

Тучи, какъ горы, подъятыя къ небу невидимой  
 силой,  
 Грозно плывутъ и растутъ, и на нихъ прихот-  
 ливою грудой  
 Башень, разрушенныхъ замковъ и скалъ громоз-  
 дятся обломки.  
 Чу! пахнулъ вѣтерокъ! Пушистый тростникъ за-  
 шепталъ, закачался,  
 Утки плывутъ торопливо къ осокѣ, откуда-то съ  
 крикомъ  
 Чибисъ несется, сухіе листы полетѣли съ ракиты.  
 Темнымъ столбомъ закружилася пыль на песча-  
 ной дорогѣ,  
 Быстро, стрѣлою колѣнчатой молнія тучи разсѣкла,  
 Пыль поднялася густѣе, — и частою, крупною  
 дробью  
 Дождь застучалъ по зеленымъ листамъ; не про-  
 шло и минуты,  
 Онъ превратился ужъ въ ливень, и боръ встре-  
 пенулся отъ бури,  
 Что исполинъ, закачалъ головою своею кудрявой  
 И зашумѣлъ, загудѣлъ, словно нѣсколько мель-  
 ницъ огромныхъ  
 Начали разомъ работу, вращая колеса и камни.  
 Вотъ все покрылось на мигъ оглушительнымъ  
 свистомъ, и снова  
 Гулъ непонятный раздался, похожій на шумъ во-  
 допада.  
 Волны, покрытыя бѣлою пѣной, то къ берегу  
 хлынутъ,  
 То побѣгутъ отъ него и гуляютъ вдали на свободѣ.  
 Молнія ярко блеснетъ, вдругъ освѣтитъ небо и  
 землю,  
 Мигъ — опять все потонетъ во мракѣ, и грома  
 удары

Грянуть, какъ выстрѣлы страшныхъ орудій. Де-  
 ревя со скрипомъ  
 Гнутся и вѣтвями машутъ надъ мутной водою.  
 Вотъ еще разъ прокатился ударъ громовой, — и  
 береза  
 На берегъ съ трескомъ упала, и вся загорѣлась,  
 какъ свѣточъ.  
 Любо глядѣть на грозу! Отчего-то сильнѣй въ  
 это время  
 Кровь обращается въ жилахъ, огнемъ загораются  
 очи,  
 Чувствуешь силы избытокъ и хочешь простора  
 и воли!  
 Слышится что-то родное въ тревогѣ дремучаго  
 бора,  
 Слышатся пѣсни, и крики, и грозныхъ рѣчей от-  
 голоски...  
 Мнится, что ожили богатыри старой Матушки-  
 Руси,  
 Съ недругомъ въ битвѣ сошлись и могучія мѣ-  
 ряютъ силы...  
 Вотъ темносиняя туча рѣдѣтъ. На влажную  
 землю  
 Изрѣдка падаютъ капли дождя. Словно свѣчи, на  
 небѣ  
 Кое-гдѣ звѣзды блеснули. Порывистый вѣтеръ  
 слабѣтъ,  
 Шумъ постепенно въ бору замираетъ. Вотъ мѣ-  
 сяцъ поднялся,  
 Кроткимъ серебрянымъ свѣтомъ осыпалъ онъ бо-  
 ра вершину,  
 И, послѣ бури, всюду глубокая тишь воцарилась,  
 Небо по-прежнему смотритъ съ любовью на землю.

## LXVIII.

## Б о л ѣ с т ь .

„Сходи-ка, старуха, невѣстку провѣдать,  
Не стала-бъ она на дворѣ голосить?“

— „А что тамъ я стану съ невѣсткою дѣлать?  
Вѣдь, я не могу ей руки подложить.  
Вотъ нажили, Богъ далъ, утѣху подъ старость!  
Твердила тебѣ: „захотѣлъ ты, молю, взять,  
Старикъ, бѣлоручку за сына на радость, —  
Придется тебѣ на себя попенять“;—  
Вотъ такъ и сбылось! Что ни день — съ ней за-  
бота:

Тутъ вотъ это не такъ, тамъ вотъ то не по ней,  
То, вишь, не подъ силу ей въ полѣ работа,  
То скажетъ: въ избѣ зачѣмъ держимъ свиней.  
Печь топишь,—головка отъ дыму кружится,  
Все ей вотъ опрятной, да чистою быть,  
А хлѣвъ велишь чистить,—ну, тутъ и лѣнится,  
Чуть станешь бранить,—и пойдетъ голосить:  
„Ихъ-охъ! Ихъ-охъ!“—

— „Старуха, побойся ты Бога!  
Зачѣмъ ты объ этомъ кричишь день и ночь?  
Ну, знахаря кликни: бѣды-то немного, —  
У бабы, вѣдь, болѣсть, ей надо помочь.  
А лгать тебѣ стыдно! она не лѣнится,  
Безъ дѣла и часу не станеть сидѣть;  
Бранить ее станешь,—отвѣтить боится;  
Коли ей ужъ тошно,—уйдетъ себѣ въ клѣть  
И плачетъ украдкой, и мужу не скажетъ;

„Зачѣмъ, дескать, ссору въ семьѣ начинать?“—  
Смотри-же, Господь тебя, право, накажетъ,  
Невѣстку напрасно не слѣдъ обижать“.

— „Охъ, батюшки, кто говоритъ-то,—досада!  
Лежи на печи, коли Богъ наказалъ;  
Ослѣпъ и оглохъ, ну, чего-жъ тебѣ надо?  
Туда-же жену переучивать сталъ!  
И такъ у меня отъ хозяйства по дому,  
Хрычъ старый, вотъ этакъ идетъ голова!  
Вишь, важное дѣло, что взялъ онъ за сына  
Разумную дѣвку, мѣщанскую дочь, —  
Ни платя за нею, казны ни алтына,  
Теперь и толкуеть: „ей надо помочь“!  
Пришла въ чужой домъ и болѣзни узнала,  
Нѣтъ, я еще въ руки ее не взяла“...  
Тутъ шорохъ старуха въ сѣняхъ услышала  
И смолкла. Невѣстка въ избушку вошла.  
Лицо у больной было грустно и блѣдно;  
Какъ видно, на немъ положили слѣды  
Тяжелыя думы и трудъ ежедневный,  
И тайныя слезы, и горечь нужды.

— Ну, что же, голубушка, спать-то раненъко,  
Возьми-ка, мнѣ на ночь постель приготовь,  
Да сядь, поработай за прялкой маленько“,  
Невѣсткѣ сквозь зубы сказала свекровь.  
Невѣстка за свѣжей соломой сходила,  
На нарахъ въ сторонкѣ ее постлала,  
Къ стѣнѣ въ изголовье зипунъ положила,  
Присѣла на лавку и прясть начала.  
Въ избѣ было тихо. Лучина пылала,  
Старикъ беззаботно и сладко дремалъ,  
Старуха чугунокъ на полу вытирала, —  
И только подъ печью сверчокъ распѣвалъ,

Да котъ вкругъ старухи ходилъ, увивался  
 И, щурясь, мырлыкалъ, но баба ногой  
 Толкнула его, проворчавъ: „разгулялся!  
 Гляди, передъ болѣстью, видно, какой“.  
 Вдругъ дверь отворилась: стуча сапогами,  
 Вошелъ сынъ старухи, снялъ шапку, кафтанъ,  
 Ударилъ ихъ объ полъ, тряхнулъ волосами  
 И крикнулъ: „ну, матушка, вотъ я и пьянь!“

— „Что это ты сдѣлалъ? когда это было?  
 Ты отъ роду не пилъ и капли вина“.  
 „Я не пилъ, когда мое сердце не ныло,  
 Когда, какъ былинка, не сохла жена!“

— „Спасибо, сыночекъ!.. спасибо, безпутный!..  
 Ужь я и ума не могу приложить!  
 Куда-же мнѣ дѣться теперь, безпріютной?  
 Невѣстка чтѣ скажешь, начнетъ голосить,  
 Не то сложить руки, и горя ей мало;  
 Старикъ только ѣсть, да лежить на печи,  
 А вотъ и отъ сынка почета не стало,—  
 Живи—сокрушайся, терпи, да молчи!  
 Ахъ, Царь мой небесный! Да это подъ старость  
 Хоть руки пришлось наложить!  
 Взростила, взлелѣяла сына на радость,  
 Онъ мать-то ужъ скоро не станетъ кормить!“

— „Неправда! я по смерть кормить тебя буду!  
 Я лучше зипунъ свой послѣдній продамъ,  
 Пойду въ кабалу, а тебя не забуду,  
 И крошку съ тобой раздѣлю пополамъ!  
 Ты мною болѣла, подъ сердцемъ носила  
 Меня, и твоимъ молокомъ я вспоенъ,  
 Съизмала меня ты къ добру приучала“, —

И вотъ тебѣ честь и земной мой поклонъ...  
 Да чѣмъ-же невѣстка тебѣ помѣшала?  
 За что на жену-то мою нападать?“—

— „Гляди ты, безпутный, пока я не встала,—  
 Я скоро заставлю тебя замолчать!“—

— „На, бей меня, матушка! бей, чтобъ отъ боли  
 Я плакалъ и выплакалъ горе мое!  
 Эхъ-ма! не далось мнѣ таланта и доли!  
 Когда-жъ пропадешь ты, худое житье?“—

— „Вотъ дѣло-то! жизнь тебѣ стала постыла!  
 Ты вздумалъ вино-то отъ этого пить?  
 Такъ вотъ же тебѣ!“—

И старуха вскочила

И кинулась палкою сына учить.  
 Невѣстка къ ней броситься съ лавки хотѣла.  
 Но только что вскрикнула: „сжался, хоть разъ!“  
 И вдругъ—пошатнулась назадъ, поблѣднѣла —  
 И на полъ упала.

— „Помилуй ты насъ,  
 Царица Небесная, Мать Пресвятая!  
 Ахъ, батюшки!—гдѣ тутъ вода-то была?  
 Что это съ тобою, моя золотая?“  
 Надъ бабой свекровь голосить начала.

— „Ну, матушка, Богъ тебѣ будетъ судьбою!..  
 Сынъ тихо промолвилъ и самъ зарыдалъ.“

— „Чай, плачутъ?.. Аль вѣтеръ шумить за стѣ-  
 ною?“

Проснувшись старикъ на печи разсуждалъ:  
 „Не слышу... Чай, сынъ о женѣ все горюетъ:  
 У ней это болѣсть, тутъ можно понять,  
 Старуха не смыслить, свое мнѣ толкуетъ,  
 А нѣтъ, чтобы знахаря къ бабѣ позвать“.



LXIX \*).

**Б о б ы л ь.**

(Посвящается Н. В. Кукольникову)

Дай взгляну веселѣй:  
Дума не помога.  
Для меня-ль, бобыля,  
Всюду не дорога!

Безъ избы—я пригрѣть,  
Соколь—безъ наряда,  
Безъ казны—миѣ почетъ,  
Умирать не надо!

Въ чистомъ полѣ идешь,—  
Вѣтерокъ встрѣчаетъ,  
Забѣгаетъ впередъ,  
Стежки подметаешь.

Рожь стоитъ по бокамъ,  
Отдаетъ поклоны;  
Ляжешь спать—подъ тобой  
Постланъ шелкъ зеленый;

Звѣзды смотрять въ глаза;  
Бѣлый день настанетъ,—  
Умываетъ роса,  
Солнышко румянить.

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 26, № 20-й.

На людей поглядишь, —  
Право, смѣхъ и горе!  
Цѣлый вѣкъ имъ труды  
На дворъ и въ полѣ.

А тутъ вотъ молодець:  
За сохой не ходить, —  
Да привѣтъ, и хлѣбъ-соль,  
И приютъ находить.

Ну, а нечего ѣсть, —  
Стянешь поясъ крѣпче,  
Волосами тряхнешь, —  
Вотъ оно и легче.

А не то — къ богачамъ, —  
Имъ работникъ нуженъ;  
Помолотишь денекъ, —  
Вотъ тебѣ и ужинъ.

Ужъ за то, коли есть  
Зипунишка новый,  
На ногахъ сапоги,  
Въ кошелькѣ цѣлковый, —

И раздумье прошло,  
И тоска пропала;  
Сторонись, богачи:  
Бѣдность загуляла!

Какъ войдешь въ хороводъ,  
Да начнешь тамъ пляску,  
При вечерней зарѣ,  
Съ присвистомъ въ-присядку, —

Бабы, дѣвки глядятъ,  
Стукають котами,  
Парни нехотя въ ладъ  
Шевелять плечами.

Вотъ на старости дѣтъ  
Кто-то меня вспомнить,—  
Приглядитъ за больнымъ,  
Мертваго схоронитъ?

Да бобыль сирота  
Ничего не просить;  
Надъ могилой его  
Буря поголосить,

Окропить ее дождь  
Чистою слезою,  
Принакроетъ весна  
Шелковой травою.

---

LXX.

### Разсказъ ямщика.

Вѣкъ жить—увидишь и худо порою.  
Жаль, что вотъ темно, а то изъ окна  
Я показалъ бы тебѣ: за рѣкою  
Есть тутъ у насъ деревенька одна.  
Тамъ живетъ баринъ. Господь его знаетъ,  
Этакой умница, братецъ ты мой,  
Ну, а теперъ ни за-что пропадаетъ  
Разъ онъ немножко размолвилъ съ женой.

Барыня сдѣлала что-то неладно,—  
Мужъ, сгоряча-то, ее побранилъ;  
Правду сказать, вѣдь, оно и досадно;  
Онъ безъ ума ее, слышно, любилъ.  
Та,—дѣло барское, знаешь, обидно,—  
Къ матушкѣ нѣжной отправилась въ домъ,  
Да сиротою прикинулась, видно,—  
Съ годъ и жила со старухой вдвоемъ.  
Только и тутъ она что-то... да это  
Дѣло не наше, я самъ не видалъ...  
Баринъ-ать сохъ; иногда до разсвѣта  
Съ горя и глазъ, говорятъ, не смыкалъ.  
Все, вишь, грустилъ, да жены дожидался,  
Ей поклониться онъ самъ не хотѣлъ;  
Ну, а потомъ въ путь-дорогу собрался,  
Нанялъ меня и къ женѣ полетѣлъ.  
Какъ помирился онъ съ нею,— не знаю,  
Барыня что-то сердита была...  
Самъ-ать я, братецъ ты мой, помекаю —  
Мать по-неволю ее прогнала.  
Вотъ мы поѣхали. Вижу, ласкаетъ  
Баринъ жену: то въ глаза ей глядитъ,  
То, знаешь, ноги ковромъ укрываетъ,  
То этакъ ласково съ ней говоритъ,—  
Ну, а жена пожимаетъ плечами,  
Въ сторону смотритъ,— ни слова въ отвѣтъ...  
Онъ и присталъ къ ней почти со слезами:  
„Или въ тебѣ и души, дескать, нѣтъ?  
Я, дескать, все забываю, прощаю...  
Такъ же люблю тебя, милый мой другъ...“  
Тутъ она молвила что-то,— не знаю,  
И покатилося со смѣху вдругъ...!  
Баринъ притихъ. Ужъ и зло меня взяло!  
Я какъ хвачу коренного кнутомъ...

Послѣ одумался,—совѣстно стало:  
 Тройка шла на гору, шла-то съ трудомъ;  
 Конь головой обернулся немного,  
 Этакъ глядитъ на меня, все глядитъ...  
 „Ну, молю, ступай ужь своею дорогой.  
 Грѣхъ мой на барынѣ, видно, лежитъ...“  
 Вотъ мы... о чемъ бишь я рѣчь велъ сначала?  
 Да, я сказалъ, что тутъ баринъ притихъ.  
 Вотъ мы и ѣдемъ. Ужъ ночь наступала.  
 Я приударилъ лошадокъ лихихъ.  
 Въѣхали въ городъ... Эхъ-ма! забываю,  
 Чей это дворъ, гдѣ коней я кормилъ!  
 Дворъ-то мощный... постой, вспоминаю...  
 Нѣтъ, пропались онъ, совсѣмъ позабылъ!  
 Ну, ночевали. Заря занималась...  
 Баринъ проснулся—глядь: барыни нѣтъ!  
 Кинулись шарить,—искать,—не сыскалась;  
 Только нашли у воротъ одинъ слѣдъ,—  
 Кто-то, зная, былъ съ подрѣзными санями...  
 Мы тутъ въ погоню... Ужъ день разсвѣталъ:  
 Версть этакъ семь пролетѣли полями,  
 Слѣдъ неизвѣстно куда и пропалъ  
 Мы завернули въ село, да въ другое,—  
 Нѣтъ нигдѣ слуху; а баринъ сидитъ,  
 Руки ломаетъ.—Лицо-то больное,  
 Самъ-ать озябъ, словно листъ весь дрожить...  
 Что мнѣ съ нимъ дѣлать? Проѣхалъ немного  
 И говорю ему: „слѣду, молю, нѣтъ;  
 Этой-вотъ что-ли держать намъ дорогой?“  
 Онъ и понесъ чепуху мнѣ въ отвѣтъ.  
 Сердце мое облилось тогда кровью!  
 „Эхъ, погубилъ, молю, сердечный ты мой,  
 Жизнь и здоровье горячей любовью!“  
 Ну, и привезъ его къ ночи домой.

Жаль горемычнаго! Вчужь сгруснется:  
 Въ годъ онъ согнулся и весь посѣдѣлъ.  
 Нынче надъ нимъ ужъ и дворня смѣется:  
 „Баринъ-атъ нашъ, молъ, совсѣмъ одурѣлъ“...  
 Диво мнѣ! Какъ онъ жену не забудетъ!  
 Нѣтъ, вотъ, поди! коротаеть свой вѣкъ!  
 Хлѣба не ѣстъ, все по ней, вишь, тоскуеть...  
 Этакой, братецъ ты мой, человекъ!

---

 LXXI.

### Встрѣча зимы.

Поутру вчера дождь  
 Въ стекла оконъ стучалъ;  
 Надъ землею туманъ  
 Облаками вставалъ.

Вѣялъ холодъ въ лицо  
 Отъ угрюмыхъ небесъ,  
 И, Богъ знаетъ, о чемъ  
 Плакалъ сумрачный лѣсъ.

Въ полдень дождь пересталъ,  
 И, что бѣлый пушокъ,  
 На осеннюю грязь  
 Началъ падать снѣжокъ.

Ночь прошла. Разсвѣло.  
 Нѣтъ нигдѣ облачка.  
 Воздухъ легокъ и чистъ,  
 И замерзла рѣка.

На дворахъ и домахъ  
Снѣгъ лежитъ полотномъ  
И отъ солнца блеститъ  
Разноцвѣтнымъ огнемъ.

На безлюдный просторъ  
Побѣлѣвшихъ полей  
Смотритъ весело лѣсъ  
Изъ-подъ черныхъ кудрей,—

Словно радъ онъ чему.  
И на вѣткахъ березъ,  
Какъ алмазы, горятъ  
Капли сдержанныхъ слезъ.

Здравствуй гостья-зима!  
Просимъ милости къ намъ  
Пѣсни сѣвера пѣть  
По лѣсамъ и степямъ.

Есть раздолье у насъ,—  
Гдѣ угодно гуляй;  
Строй мосты по рѣкамъ  
И ковры разстилай.

Намъ не стать привыкать,—  
Пусть морозъ твой трещитъ:  
Наша русская кровь  
На морозѣ горитъ.

Искони ужъ таковъ  
Православный народъ:  
Лѣтомъ, смотришь,—жара,  
Въ полушубкѣ идетъ;

Жгучій холодъ пахнулъ, —  
Все равно для него;  
По колѣни въ снѣгу,  
Говорить: „ничего!“

Въ чистомъ полѣ мятель  
И крутитъ, и шумитъ, —  
Нашъ степной мужичокъ  
Бдетъ въ санкахъ, кряхтитъ:

„Ну, соколики, ну!  
Выносите, дружки!“  
Самъ сидитъ и поетъ —  
„Не бѣлы-то снѣжки!“

Да и намъ-ли, подь-часъ,  
Смерть не встрѣтитъ шутя,  
Если къ бурямъ у насъ  
Привыкаетъ дитя?

Когда мать въ колыбель  
На ночь сына кладетъ,  
Подъ окномъ для него  
Пѣсни вьюга поетъ,

И разгуль непогодь  
Съ раннихъ лѣтъ ему любь,  
И растеть богатырь,  
Что подъ бурями дубъ,

Разсыпай-же, зима,  
До весны золотой  
Серебро по полямъ  
Нашей Руси святой!



И случится ли, къ намъ  
Гость незванный придетъ  
И за наше добро  
Съ нами споръ заведетъ,—

Ужъ прими ты его  
На сторонкѣ чужой,  
Хмѣльный пиръ приготовь,  
Гостю пѣсню пропой;

Для постели ему  
Бѣлый пухъ припаси,  
И мятелью засыпь  
Его слѣдъ на Руси!





LXXII \*).

## У т р о.



вѣзды меркнутъ и гаснутъ. Въ огнѣ облака.

Бѣлый паръ по лугамъ разстилается.

По зеркальной водѣ, по кудрямъ лозняка

Отъ зари алый свѣтъ разливается.

Дремлетъ чуткій камышъ. Тишь — безлюдье  
вокругъ.

Чуть примѣтна тропинка росистая.

Кустъ задѣнешь плечомъ, — на лицо тебѣ вдругъ

Съ листьевъ брызнетъ роса серебристая.

Потянулъ вѣтерокъ, — воду морщить, рябить.

Понеслись утки съ шумомъ и скрылися.

Далеко, далеко колокольчикъ звенить.

Рыбаки въ шалашѣ пробудилися,

Сняли сѣти съ шестовъ, весла къ лодкамъ  
несутъ...

А востокъ все горить, разгорается.

Птички солнышка ждуть, птички пѣни поютъ,

И стоитъ себѣ лѣсъ, улыбается.

\*) См. „Припѣванія“, стр. 26, № 21-й.

Вотъ и солнце встаетъ, изъ-за пашенъ блестить,  
За морями ночлеги свой покинуло;  
На поля, на луга, на макушки раки  
Золотыми потоками хлынуло. X  
Бдетъ пахарь съ сохой, бдетъ—пѣсню поетъ;  
По плечу молодцу все тяжелое...  
Не боли ты, душа! отдохни отъ заботъ!  
Здравствуй солнце, да утро веселое!

---

LXXIII.

## Въ лѣсу.

(Послѣ выздоровленія).

Привѣтъ тебѣ, знакомецъ мой кудрявый!  
Прими меня подъ сѣнь твоихъ дубовъ,  
Раскинувшихъ навѣсъ свой величавый  
Надъ гладью свѣтлыхъ водъ и зеленью луговъ.

Какъ жаждалъ я, измученный тоскою,  
Въ недугѣ медленномъ сгарая, какъ въ огнѣ,  
Твоей прохладою упиться въ тишинѣ  
И на траву прилечь горячей головою!

Какъ часто въ тягостномъ безмолвіи ночей,  
Въ часы томительнаго бдѣнья,  
Я вспоминалъ твой мракъ, и музыку рѣчей,  
И птицъ веселый свистъ, и пѣнье,

И дни давнишніе, когда свой скудный домъ  
Я покидалъ, ребенокъ нелюдимый,  
И, молча, въ сумракѣ твоёмъ  
Бродилъ, взволнованный мечтой невыразимой!

О, какъ ты былъ хорошъ вечернею порой,  
 Когда весь молніей мгновенно освѣщался  
 И вдругъ—на голосъ тучи громовой  
 Разгульнымъ свистомъ откликался!

И любо было мнѣ!.. какъ съ существомъ роднымъ,  
 Съ тобой я всею дѣлился откровенно:  
 И горькою слезой, и радостью мгновенной,  
 И пѣсню, сложенной подъ говоромъ твоимъ.

Тебя, могучаго, не измѣнили годы!..  
 А я, твой гость, съ лѣтами возмужалъ,  
 Но въ пламени страстей, средь мелочной невзгоды,  
 Тяжелой горечи я много испыталъ...

Ужасенъ этотъ ядъ! Онъ вдругъ не убиваетъ,  
 Не поражаетъ, какъ небесный громъ:  
 Онъ сушитъ мозгъ, въ суставы проникаетъ,  
 Жжетъ тѣло медленнымъ огнемъ!

Паду-ль я, этимъ ядомъ пораженный,  
 Утративъ крѣпость силъ и пѣсенъ скромный даръ,  
 Иль новыхъ думъ и чувствъ узнаю свѣтъ и жаръ,  
 Въ горнилѣ горя искушенный,—

Богъ вѣсть, что впереди! Теперь, полубольной,  
 Я вновь подъ сѣнь твою, лѣсъ сумрачный, вступаю  
 И слушаю привѣтный говоръ твой,  
 Тебѣ мою печаль, какъ другу, повѣряю!..

## LXXIV.

## Внезапное горе.

Вотъ и осень прошла. Убранъ хлѣбъ золотой,  
Все гумно у сосѣда завалено...  
У меня только смотреть оно сиротой,—  
Ничего-то на немъ не поставлено!

А ужъ я-ль свою силу для пашни жалѣлъ,  
Былъ лѣнивъ за любимой работою,  
Иль, какъ надо, удобрить ее не успѣлъ,  
Или началъ посѣвъ не съ охотою?

А ужъ я-ли кормилицѣ—теплой веснѣ,  
Не былъ радъ—и обычая стараго  
Не держался, для гостяи съ людьми наравнѣ,—  
Не затеплилъ свѣчи воску яраго!..

День и ночь все я думалъ: авось замоль, дождусь!  
Стану осенью рожь обмолачивать,—  
Все, глядишь, на одежду дѣтишкамъ собьюсь  
И оброкъ буду въ пору уплачивать.

Не дозрѣла моя колосистая рожь,  
Крупнымъ градомъ до корня побитая!..  
Ужъ когда-же ты, радость, на дворъ мой войдешь?  
Охъ, бѣда ты моя непокрытая!

Посидятъ, вѣрно, дѣтки безъ хлѣба зимой,  
Безъ одежды натерпятся холоду...  
Привыкайте, родимые, къ долѣ худой!  
Закаляйтесь въ кручинушкѣ смолоду!

Всѣмъ не стать—пировать... Къ горькимъ горе  
идеть,  
Съ ними всюду, какъ другъ, уживается,  
Съ ними сѣть и жнетъ, съ ними пѣсню поетъ,  
Когда грудь по частямъ разрывается!

## LXXV.

## Д ѣ л е ж ъ .

Да, сударь мой, нерѣдко вотъ бываетъ:  
Отецъ на столъ, а дѣтки за дѣлежъ,  
И брата братъ за шиворотъ хватаетъ...  
Изъ-за чего? И въ толкъ-ать не возьмешь!..

У васъ-то, баръ, я чаю, нѣтъ разлада...  
А мужики, извѣстно, вахлаки:  
У нихъ за грошъ—остуда и досада,  
За гривенникъ какой-нибудь —пинки!

Тутъ изъ-за бабъ, дѣтишекъ выйдетъ злоба...  
Вотъ мы теперь: всего-то двое насъ—  
Мой братъ, да я: женаты, сударь, оба,  
И хлѣбъ всегда имѣли про запасъ;

И жили-бы себѣ, домкомъ сбирались...  
Нѣтъ, погоди! Вишь, жены не въ ладу:  
Вонъ у одной коты поистаскались...  
„Я, говоритъ, на рѣчку не пойду;

Пускай идетъ невѣстка, коли хочеть,  
Ей мужъ успѣлъ обнову-то купить...“  
А та себѣ, какъ бѣшеная, вскочить,  
Начнетъ вотъ такъ руками разводить,

И ну—кричать: „а ты—что за дворянка?  
Котовъ-де нѣтъ, да съла и сидитъ...“  
И тутъ пойдетъ такая перебранка,  
Что у тебя въ ушахъ инда звенить.

Братъ за жену, глядишь, замолвить слово  
И душой мою-то назоветъ,  
А у тебя на слово пять готово,—  
Вотъ, сударь мой, потѣха и пойдетъ!

Все это такъ... И при отцѣ бывало.  
Да старичокъ насъ скоро разводилъ;  
Чуть крикнетъ: „эй!“—бѣжишь куда попало,  
Не то—бѣда! Охъ, крутъ покойникъ былъ!

Какъ померъ онъ, мой братъ и позазнался:  
Срамитъ меня, срамитъ мою жену:  
Вы, дескать, что? Старшимъ-то я остался,  
Я, говорить, васъ вотъ какъ поверну!

И повернулъ... Тутъ надо лыкъ на лапти,  
Онъ бражничать возьмется, да гулять:  
Ты цѣпъ берешь, онъ лѣзетъ на палаты,  
Ну, одному не растянуться стать.

Жена его все, знаешь, поджигаетъ:  
„Дѣлись дескать! Твой братъ-то лежебокъ,  
Какъ куколку жену-то снаряжаетъ,  
Изподтишка весь домъ поразволокъ...“

Сама-то, вишь, она скупенька больно,  
Готова вѣкъ въ отрепьяхъ пропадать,  
Да любить жить хозяйкой самовольной,  
По-своему все, знаешь, повершать.

Ну, а моя бабенка не сварлива,  
 А грѣхъ таить,—отъ щегольства не прочь,  
 Да и того... въ работѣ-то лѣнива,  
 Что есть, то есть,—тутъ ложью не помочь.

Вотъ, сударь мой, и завязалось дѣло:  
 Что день, то шумъ, подъ шумомъ и заснешь,  
 И брату-то все это надоѣло,  
 И мнѣ равно,—и начали дѣлежъ.

Сперва-то мы по совѣсти дѣлились;  
 Не сладились,—взялись было за судъ,—  
 Ну, кое-какъ въ расправѣ помирились,  
 Остался споръ за старенькій хомуть...

И я кричу, и братъ не уступаетъ:  
 Нѣтъ, говоритъ, хоть тресни, не отдамъ!  
 Я за шлею,—онъ, знаешь, вырываетъ,  
 Да норовить ударить по рукамъ.

И смѣхъ, и грѣхъ!.. Стоимъ за дрянъ горою!..  
 Вдругъ, сударь мой, моргнуть я не успѣлъ,  
 Какъ крикнулъ братъ: „возьми, пусть за тобою!“  
 Да на меня хомуть-то и надѣлъ.

Я сгоряча въ шлеѣ позапутлялся;  
 Народъ оретъ: „вонъ обрядилъ коня!..  
 Ужъ такъ-то я въ ту пору растерялся,—  
 Инда слеза прошибла у меня!..

Вамъ, сударь, смѣхъ... Нѣтъ, тутъ смѣшного  
 Вѣдь, братъ-то мой по-барски чаялъ жить;  
 Взялся за гужъ,—анъ силы не достало,  
 Тужиль, тужиль и началъ съ горя пить.



И мнѣ не медь... Вѣдь, праздниковъ не знаешь:  
 Работаешь, спины не разогнешь,  
 Чуть непогодь—все стонешь, да перхаешь...  
 Вотъ, сударь мой, мужицкій-то дѣлежь!

## LXXVI.

## Выѣздъ ямщика.

Ну, кажись, я готовъ;  
 Вотъ мой кафтанишко,<sup>1</sup>  
 Рукавицы на мнѣ,  
 Новый кнутъ подъ мышкой...

Въ головѣ-то шумить...  
 Вотъ что мнѣ досадно!  
 Правда, хмѣль, вѣдь, не дурь,—  
 Выспался—и ладно.

Ты, жена, замолчи:  
 Безъ тебя все знаю:  
 Ёду съ бариномъ... да!  
 Ухъ, какъ погуляю!

Да и баринъ... поди,—  
 У родного сына  
 Онъ невѣсту отбилъ,—  
 Стало молодчина!

Схоронилъ двѣ жены,  
 Вотъ нашель и третью...  
 А сердить... чуть не такъ,  
 Заколотитъ плетью!

Ну, ништо... говорятъ,  
Эта-то невѣста  
И сама дастъ отпоръ,—  
Не отыщешь мѣста.

За богатство идетъ,—  
Вѣтрогонка, значить...  
Сына пустить съ сумой,  
Мужа одурачить...

Сынъ, къ примѣру, не глупъ,  
Да запуганъ, вѣрно:  
Все глядитъ сиротой...  
Смирень непомяно.

Ну, да пусть судить Богъ,  
Что черно и бѣло...  
Вотъ лошадокъ запречь—  
Это наше дѣло!

Слышь, жена! погляди,—  
Каковы уздечки?  
Вишь, вотъ мѣдный наборъ,  
Вотъ мохры, колечки.

А дуга-то, дуга,  
Въ золотъ сіяетъ...  
Прр... шалишь, коренной!  
Знай песокъ копаешь!

Ты, дружокъ, не блажи;  
Старость твою жалко!..  
Такъ кнутомъ проучу,—  
Станетъ небу жарко!..

Сидоръ возжи возьметъ, —  
Чорта не боится!  
Пролетитъ, — на него  
Облачко дивится!

Только крикнешь: „ну, ну!  
Эхъ, ты, беззаботный!“  
Отстаешь позади  
Вѣтеръ перелетный!

А сѣдокъ-ать мнѣ — тѣфу!  
Коли скажетъ: „легче!“  
Нѣтъ, моль, сѣль, такъ сиди,  
Да держись покрѣпче.

Ужъ у насъ, коли лѣнь, —  
День и ночь спимъ сряду;  
Коли пиръ — на-поваль,  
Трудъ — такъ до упаду;

Коли ѣхать, — катай!  
Головы не жалко!  
Намъ безъ свѣта свѣтло,  
Безъ дороги — гладко!

Ну, матрена, прощай!  
Оставайся съ Богомъ;  
Жди обновки себѣ,  
Да гляди за домомъ.

Да! кобылѣ больной  
Парь трухою ногу...  
Не забудь!.. А воды  
Не давай по-многоу.

Ну-ка, въ путь! Шевелись!  
 Эхъ, какъ понеслися!  
 Берегись, ты, мужикъ,  
 Глухъ что-ль?.. берегися!..

## LXXVII.

Отвяжися тоска,  
 Пылью поразвѣйся,  
 Что за грусть, коли живъ,—  
 И сквозь слезы смѣйся!

Не диковинка — пиръ  
 При хорошей долѣ;  
 Удадь съ горя поетъ,  
 Пляшетъ и въ неволѣ.

Ужъ ты какъ не хвались  
 Умной головою,—  
 Громовыхъ облаковъ  
 Не отвести рукою.

Грусть-забота не спитъ,  
 Безъ бѣды крушится:  
 Беззаботно душѣ,—  
 И на камнѣ спится.

Коли солнышка нѣтъ,—  
 Ясный мѣсяцъ свѣтитъ;  
 Измѣнила любовь,—  
 Пѣсня не измѣнить!

Сердце просить не слезь,  
А живеть отрадой;  
Вотъ умрешь,—ну, тогда  
Ничего не надо.

---

LXXVIII.

19 октября.

Что это за утро? Серебряный иней  
На зелени луга лежить;  
Камышь пожелтѣвшій надъ рѣчкою синей  
Сквозною оградой стоитъ.

Надъ черною далью безлюдной равнины  
Клубится прозрачный туманъ,  
И длинныя нити сѣдой паутины  
Опутали сѣрый бурьянъ.

А небо такъ чисто, свѣтло, безмятежно,  
Что вонъ — далеко въ сторонѣ  
Я вижу — мелькнулъ рыболовъ бѣлоснѣжный  
И тонетъ теперь въ вышинѣ.

Веселой прохладой луговъ освѣженный,  
Я красного солнышка жду,  
Любуюсь на пашни, на лѣсъ обнаженный,  
И въ сонную чащу вхожу.

Листы шелестятъ у меня подъ ногами,  
Два дятла гдѣ-то стучать...

А солнышко тихо встаетъ надъ полями,  
Озера румянцемъ горять.

Вотъ ярко блеснули лучи золотые  
И крадутся въ чашу березъ  
Все дальше и дальше,— и вѣтки сырыя  
Покрылися каплями слезъ.

У осени поздней, порою печальной,  
Есть чудныя краски свои,  
Какъ есть своя прелесть въ улыбкѣ прощальной,  
Въ послѣднемъ объятъи любви.



— 1856 г.

LXXIX.

165



## Староста.

то не туча темная  
По небу плыветъ,—  
На гумно по улицъ  
Староста идетъ.

Борода-то черная,  
Красное лицо,  
Волоса-то жесткіе  
Завились въ кольцо.

Пузо перевязано  
Краснымъ кушакомъ,  
Плеча позатынуты  
Синимъ кафтаномъ.

Палкой подпирается,  
Бровью не ведетъ,  
Въ сапоги-то новые  
Мъра ржи войдетъ.

Онъ идетъ по улицѣ, —  
 Безъ метлы мететъ;  
 Курица покажется, —  
 Въ ворота шмыгнетъ.

Одаль, да съ поклонами  
 Мужички идутъ,  
 Ребятишки малые  
 Ко дворамъ ползутъ.

Утомился староста:  
 На гумнѣ стоитъ,  
 Гладить усъ и бороду,  
 Да на людъ глядитъ.

На небѣ ни облачка,  
 Вѣтерокъ-атъ спитъ,  
 Солнце землю-матушку,  
 Какъ огнемъ, палитъ.

Отъ цѣповъ-то стукъ и дробь, —  
 Стонетъ все гумно,  
 Бабъ и дѣвокъ жаръ печетъ,  
 Мужичковъ равно.

Староста надумался:  
 „Молоти дружнѣй!“  
 Бабъ и дѣвокъ потъ прошибъ,  
 Мужичковъ сильнѣй.

Бабу чернобровую  
 Староста позвалъ,  
 Рѣчь-то вель разумную, —  
 Дѣло толковалъ...



Дура баба плюнула,  
 Молотить пошла.  
 То-то, значить, молодость,  
 Въ нуждѣ не была!

Умная головушка  
 Рубить не съ плеча:  
 Староста не выпустилъ  
 Слова сгоряча.

На скирды посматривалъ,  
 Поглядѣлъ на рожь,  
 Поглядѣлъ и вымолвилъ:  
 „Умолотъ хорошъ!“

Улыбнулся ласково,  
 Дѣвокъ похвалилъ,  
 Бабѣ съ бровью черною  
 Чорта посулилъ.

„Вечеромъ, голубушка,  
 Чистить хлѣвъ пошлю...“  
 — Не грѣшно-ли батюшка? —  
 „Нѣтъ, коли велю!“

Баба призадумалась...  
 Староста пошелъ,  
 Онъ прошелъ по улицѣ,  
 Безъ метлы подмель.

На гумнѣ-то стонъ стоитъ,  
 Весело гумно:  
 Потомъ обливается  
 Каждое зерно.

---

LXXX.

## Н о в а я у т р а т а .

Давно-ль повеселѣлъ мой уголокъ печальный,  
Давно-ль я межъ друзей сидѣлъ,  
И слушалъ ихъ, и радовался тайно?..  
И вотъ опять осиротѣлъ!

Кругомъ глубокое молчанье...  
Однимъ я позабытъ, другой умчался въ даль,  
Да и кому нужна моя печаль?  
У всякаго свое страданье!

Послѣдній другъ безвременно зарытъ...  
Угасъ, замученный борьбою  
Съ суровой долею, съ безчувственной семьею,  
Тоскою медленной убить.

Погибли молодыя силы.  
Безжалостной судьбы не могъ онъ побѣдить...  
Мой бѣдный другъ! И гробъ твой до могилы  
Не удалось мнѣ проводить.

Все чудится: я слышу милый голосъ,  
Все жду, что другъ отворить дверь...  
Одинъ остался я теперь,—  
На сжатой нивѣ позабытый колосъ.

Безоблачны покуда небеса,  
Но сердце у меня не даромъ замираетъ,  
И этотъ стихъ не даромъ вызываетъ  
Слезу на грустные глаза...

Такъ иногда, передъ грозою,  
Надъ зеркальной поверхностью рѣки,  
Тревожно дѣлая круги,  
Щебечеть ласточка порою...

## LXXXI.

У кого нѣтъ думы  
И заботъ-кручины,  
Да за то есть радость—  
Уголокъ родимый.

Сядетъ онъ, усталый,  
Съ милою женою,  
Отдохнетъ въ бесѣдѣ  
Сердцемъ и душою.

На дворѣ невзгода,—  
Свѣчка нагараеть...  
На полу малютка  
Весело играетъ.

Къ дому онъ подходитъ, —  
Путь неровный — гладокъ;  
Ужинать присядетъ, —  
Бѣдный ужинъ сладокъ.

Не съ кѣмъ подѣлиться  
Теплыми словами, —  
Поведешь бесѣду  
Съ голыми стѣнами!

Облаку да вѣтру  
Горе перескажешь,  
И съ подушкой думать  
Съ вечера приляжешь.

---

## I.XXXII.

Помню я: бывало няня,  
Долго сидя за чулкомъ,  
Молвить: баловень ты, Ваня,  
Все дурачишься съ котомъ.

Встань, подай мою шубейку:  
Что-то холодно... дрожу...  
Да присядь вотъ на скамейку,  
Сказку длинную скажу.

И старушка съ разстановкой  
До полночи говорить.  
Съ приподнятою головкой  
Я сижу. Свѣча горить.

Пѣтухи давно пропѣли.  
Поздно. Тянется ко сну...  
Гдѣ-то дрожки прогремѣли...  
И подъ говоръ я засну.

Сонъ покоенъ. Утромъ встанешь,  
Прямо въ садикъ... Рай земной!  
Пѣсни, говоръ... А какъ глянешь  
На росинки,—самъ не свой!

Чуть сорока прощекочетъ,—  
Понимаешь, хоть молчишь,  
Упрекнуть, молъ, она хочетъ:  
„Здравствуй, Ваня!.. долго спишь!“

А теперь ночной порою  
На груди гора лежитъ:  
День прожитый предъ тобою  
Страшнымъ призракомъ стоитъ.

Видишь зла и грязи море,  
Племя жалкое невѣждъ,  
Униженъе, голодъ, горе,  
Клочья нищенскихъ одеждъ.

Потъ на пашняхъ за сохами,  
Потъ въ лѣсу за топоромъ,  
Потъ на гумнахъ за цѣпами,  
На дворѣ и за дворомъ.

Видишь горькія потери,  
Слезы падшей красоты,  
И затворенныя двери  
Для убитой нищеты...

И съ тоскою ждешь разсвѣта...  
Давить голову свинецъ.  
О, когда-же горечь эта  
Вся исчезнетъ, наконецъ?

---

## LXXXIII.

## Въ альбомъ А. В. П—вой.

Прохладно. Всѣ окна открыты  
 Въ душистый и сумрачный садъ.  
 Въ прудѣ горять звѣзды. Ракиты  
 Надъ гладью хрустальною спятъ.

Пѣвучіе звуки рояли  
 То стихнуть, то вновь потекутъ;  
 Съ утра соловьи не смолкали  
 Въ саду — и теперь все поютъ.

Поникъ я въ тоскѣ головою,  
 Подъ пѣсни душа замерла...  
 Затѣмъ, что подъ кровлей чужою  
 Минутное счастье нашла...

## LXXXIV.

## Въ альбомъ М. Н. Ж.

И дикъ, и не весель нашъ сѣверъ холодный,  
 Но ты сохранила вполнѣ  
 Горячее сердце и разумъ свободный  
 Въ суровой, чужой сторонѣ.

Съ тяжелой тоскою по родинѣ дальней,  
 Скромна, благородна-горда,  
 Ты шла одиноко дорогой печальной  
 Подъ гнетомъ заботъ и труда.

Ты злomu невѣждѣ и плуту не мстила;  
Какъ голубь, нѣжна и кротка,  
Ты черныя сплетни презрѣшьемъ казнила,  
Прощала всегда дурака.

Ты грусти своей показать не хотѣла  
Предъ бѣдной и жалкой толпой,  
И смѣло на пошлыя лица глядѣла,  
Сквозь слезы смѣялась порой.

Но рано, иль поздно минуетъ невзгода, —  
Не даромъ ты крѣпла въ борьбѣ, —  
Какъ дочери милой, родная природа  
Откроетъ объятъя тебѣ.

И ты отдохнешь... Но подъ кровлей родною  
Не помни минувшаго зла;  
Повѣрь: на Руси не одною душою  
Ты крѣпко любима была.

---

LXXXV.

\* \*

Чуть сошлись мы, другъ-друга узнали,  
Ваши рѣчи мнѣ въ душу запали;  
Но, увы! не услышать мнѣ ихъ,  
Не услышать мнѣ звуковъ родныхъ.

Не помочь, видно, горю словами!  
На мгновенье я встрѣтился съ вами,  
Разстаюсь навсегда, навсегда:  
Унесетесь вы, Богъ-вѣсть, куда!

Вотъ какъ жизнь иногда безтолкова!  
 Вотъ какъ доля глупа и сурова!  
 Ужъ какъ ляжетъ она на плечахъ,—  
 Бѣлый свѣтъ помутится въ глазахъ!

---

 LXXXVI.

\* \*

День и ночь съ тобой жду встрѣчи,  
 Встрѣчусь,—голову теряю;  
 Рѣчь веду, но эти рѣчи  
 Всей душой я проклиная.

Рвется чувство на свободу,  
 На любовь хочу отвѣта...  
 Говорю я про погоду,  
 Говорю, какъ ты одѣта.

Не сердись, не слушай болѣ:  
 Этой лжи я самъ не вѣрю...  
 Я не радъ своей неволѣ,  
 Я не радъ, что лицебрю.

Такова моя отрада,  
 Такъ свой вѣкъ я коротаю:  
 Тяжело-ль, — молчать мнѣ надо,  
 Полюблю-ль, — любовь скрываю.

---



LXXXVII \*).

## С п л е т н я .

Живи, какъ отшельникъ,  
 Гуляй, или плачь, —  
 Найдеть тебя сплетня,  
 Придетъ твой палачъ!

Двери не отворить, —  
 Подъ дверь подползеть,  
 Ограда мѣшаетъ, —  
 Сквозь камень пройдетъ.

Въ чемъ грѣшенъ, не грѣшенъ, —  
 Въ набатъ прогудить.  
 На вѣкъ обезчестить,  
 По гробъ осрамить.

И въ грязь тебя втопчетъ  
 И недругъ и другъ...  
 Проклятая сплетня!  
 Проклятый недугъ!

LXXXVIII \*\*).

## В ъ с а д у .

При зарѣ, по водѣ — и румянецъ и тѣнь,  
 Въ чащѣ пѣсня да свистъ раздается;  
 Притаилъ садъ дыханье, весь нѣга и лѣнь,  
 По кудрямъ его золото льется.

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 23, № 22-й.

\*\*) См. „Примѣчанія“, стр. 29, № 23-й.

Долго-ль буду я тутъ одиноко бродить,  
 Слушать пѣсню и свистъ соловьиный,  
 Надрывать свою грудь, свое сердце крушить,  
 Молча сдерживать слезы кручины?

На печаль, милый другъ мой, тебя я узналъ,  
 На тоску я съ тобой повстрѣчался,  
 На бѣду моимъ свѣтомъ и счастьемъ назваъ,  
 Всей душою къ тебѣ привязался!

Ужъ и такъ мои дни были днями потерь:  
 Гибли молодость, сила, здорovie...  
 Выносишь я, терпѣль... Каково-жъ мнѣ терпѣть,—  
 Знаетъ Богъ, да мое изголовье!

Нѣтъ, не жить мнѣ съ тобою подъ крышей одной  
 Какъ простимся,—и полно встрѣчаться!  
 Тяжело мнѣ и горько разстаться съ тобою,  
 Легче-бъ тѣлу съ душою разстаться!

И за что-жъ ты, мой другъ, у меня отнята?..  
 Ты права. Не тебя обвиняю;  
 Виновать, видно, я, да моя бѣднота...  
 Въ первый разъ я ее проклинаю!

---

LXXXIX.

\* \*  
 \*

Разсыпались звѣзды, дрожать и горять...  
 За пашнями диво творится:  
 На воздухѣ синія горы висять,  
 И въ полями людъ шевелится.

Подвинулось небо назадъ отъ земли,—  
 Водѣ золотой уступило:  
 Безъ вѣтра плывутъ по водѣ корабли,  
 Бока ихъ огнемъ охватило...

А ночь черезъ лѣсъ торопливо ползеть,  
 Ползеть и листа не зацѣпитъ;  
 Насушила брови, глазами сверкнетъ, —  
 Широкое поле освѣтитъ.

Опять я съ тоскою домой ворочусь,  
 Молчалъ-бы, да нѣтъ моей мочи...  
 Одинъ я средь поля пятномъ остаюсь,  
 Чернѣе и пашенъ, и ночи.

Гляжу и люблюсь: просторъ и краса...  
 Въ себя заглянуть только стыдно:  
 Закиданы грязью мои небеса  
 Звѣзды ни единой не видно.

---

ХС \*).

## Г н ѣ з д о л а с т о ч к и .

Кипитъ вода, реветъ ручьемъ,  
 На мельницѣ и стукъ и громъ;  
 Колеса-то въ водѣ шумятъ,  
 А брызги вверхъ огнемъ летятъ;  
 Отъ пѣны-то бугоръ стоитъ,  
 Что мостъ живой, весь полъ дрожить,  
 Шумитъ вода, рукавъ трясеть,  
 На камни рожь дождемъ течетъ,

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 29, № 24-й.

Подъ жерновомъ муку родить,  
 Идетъ мука, — въ глаза пылить.  
 Объ мельникѣ и рѣчи нѣтъ:  
 Въ пыли, въ мукѣ, и лысъ и сѣдъ,  
 Кричитъ весь день про бѣдный людъ:  
 Вотъ тотъ-то мотъ, вотъ тотъ-то плутъ...  
 Самъ, старый чортъ, какъ звѣрь, глядитъ, —  
 Чужимъ добромъ и пьянъ, и сытъ;  
 Дѣтей забылъ, жену извелъ;  
 Барбосъ съ нимъ жилъ, барбосъ ушелъ.

Одна пѣвунья-ласточка  
 Подъ крышей обжилась,  
 Свила-слѣпила гнѣздышко,  
 Дѣтьми обзавелась.

Поетъ, пока не выгнали.  
 Чужой-то кровъ — не свой;  
 Хоть не любо, не весело,  
 Да свыкнешься съ нуждой.

Въ ночь темную, подъ крылышко  
 Головку подогнетъ,  
 И спитъ себѣ подъ громъ и стукъ,  
 Носкомъ не шевельнетъ.



ПРИМЪЧАНІЯ КЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.



1 — Въ 1-мъ изданіи стихотвореній Никитина (Толстовскомъ) это стихотвореніе, начиная съ пятого стиха, было напечатано (стр. 17) въ такомъ видѣ:

О, какъ печальны эти дни  
Съ ихъ пустотой однообразной!  
Какъ долго тянутся они  
Среди дѣйствительности грязной!  
Какъ тяжело предузнавать  
Ихъ безотрадную ничтожность,  
И лучшей доли невозможность,  
Заранѣ тайно сознать!..  
Но я привыкъ уже къ страданью  
И къ этимъ долгимъ, жалкимъ днямъ,  
Какъ узникъ къ тягостнымъ дѣлямъ  
И вѣчному тюрьмы молчанью.  
И вотъ когда, ночную тѣнь  
Смѣнивъ, на землю утро взглянетъ,  
Опять печальный, скучный день,  
Однообразный день настанетъ;  
Опять онъ много принесетъ  
Съ собою горькихъ ощущеній,  
Разчетовъ мелкихъ и заботъ,  
И бесполезныхъ размышленій.

2 — Въ первоначальной редакціи, въ изданіи 1856 г. (стр. 19—22) 8—11 куплеты читались такъ:

И скрестивши руки, Ужаса полна, Въ безотрадной мукѣ Дочь его одна.	И никто не знаетъ, Что въ тоскѣ нѣмой Сирота рыдаетъ Въ темнотѣ ночной;
---	--

Вся, какъ листъ, трепещетъ Подлѣ мертвеца, То молитву шепчетъ, То зоветъ отца.	Что дитя забвенья, Можетъ быть, она Горечь униженья Испытать должна.
---	---

Стихотвореніе оканчивалось слѣдующими куплетами:

И межъ-тѣмъ какъ слезы Молча горе льетъ, Сладостныя грезы Ночь другимъ даетъ,	Также дится чудно Въ мірѣ жизни пиръ, Той же силой юной Полонъ Божій міръ.
--	---

3 — Въ изданіи 1856 г. стихотвореніе это напечатано въ слѣдующемъ видѣ (стр. 25—26):

Парчой покрытая гробица,  
Надъ нею пышный багдахинъ,  
Вокругъ задумчивыя лица  
И факеловъ горящихъ дымъ:  
Вотъ окончательная сцена,  
Которой жизнь заключена!  
Актеръ умолкъ, настала смѣна;  
Завѣса смертью спущена.  
Остался въковой тайной  
Загробный жребій мертвеца,  
И непонятенъ смыслъ печальной  
Его холоднаго лица.  
Что въ немъ? Надежды выраженье,  
Или сомнѣніе и страхъ,  
Иль къ жизни прожитой презрѣнье,  
Или вопросъ о небесахъ?..  
И какъ узнать, зачѣмъ онъ жилъ,  
Страдалъ, терпѣлъ и сокрушался?  
Напрасно, можетъ быть, любилъ  
И бесполезно сомнѣвался?  
Гдѣ зрѣлый плодъ его трудовъ,  
Ума прекрасное созданье,  
Оставленное для сыновъ,  
Какъ благородное стяжанье?  
Увы, быть можетъ, олъ и самъ  
Намъ не отвѣтилъ бы на это,  
Какую роль на сценѣ свѣта  
Игралъ онъ, рабствуя страстямъ!..

4 — Стихотвореніе это въ изданіи 1856 г. (стр. 32), начиная съ 5 стиха, читается такъ:

Какъ будто червь, въ груди больной  
Цвѣтъ жизни точить по-немногу;  
И отравляетъ сонъ ночной,  
И спорить съ совѣстію строгой;  
Улыбку холодомъ мертвить,  
Сомнѣньемъ радость отражаетъ,  
Отъ шума и толпы бѣжить,  
И молча слезы проливаетъ.  
Но, гордость смѣлую храня,  
Себѣ не просить состраданья,  
И тайну своего огня  
Не отдаетъ на поруганье,



И въ сердцѣ горькихъ слезъ родникъ,  
Какъ преступленіе, скрываетъ,  
И подавляетъ страсти крикъ,  
И стоны смѣхомъ заглушаетъ.

**5** — Въ первый разъ, въ изданіи 1856 г., это стихотвореніе было напечатано такъ (стр. 42):

Не знаешь ты тоски желаній:  
Прекрасенъ міръ твоей весны,  
И тихи. чуждые страданій,  
Твои младенческіе сны.

Но вѣрь, покой твой мимолетный  
Разрушить опыта гроза,  
Измѣнитъ смѣхъ твой беззаботный  
Печали тайная слеза.

Тогда, быть можетъ, въ буряхъ свѣта  
Тебѣ не разъ напомнитъ умъ  
Твои безоблачныя лѣта  
И юныхъ игръ веселый шумъ.

**6** — Въ изданіи 1856 г. это стихотвореніе было напечатано въ такомъ видѣ (стр. 52—53):

Бываютъ свѣтлыя мгновенья,  
Когда за грань тревогъ земныхъ,  
Плотскаго чуждый тяготѣнья,  
Умъ переносится на мигъ.

Когда пророческихъ видѣній  
Святою силой вдохновенъ,  
Судьбу грядущихъ поколѣній  
Предузнаетъ онъ въ мглѣ времянь;

Когда онъ съ истины подъемлетъ  
Покрова темнаго края  
И слову Бога жадно внемлетъ  
Въ великой книгѣ бытія..

Но только пламень вдохновенъ  
Начнетъ въ груди ослабѣвать;  
Опять земныя впечатлѣнья  
Умъ утомленный тяготять;

Опять тревога жизни грозной  
Ничтожной мелочью заботь  
И нищетою безобразной  
Невольно сердце потрясетъ..

И снова съ грустію тяжелой  
На міръ внимательно глядишь  
И подъ улыбкою веселой  
Тоску глубокую таишь.

7 — Въ изданіи 1856 г. это стихотвореніе имѣеть слѣдующую редакцію (стр. 70—71):

Не повторяй холодной укоризны:  
Не суждено тебѣ меня любить.  
Я не хочу безжалостно сгубить  
Спокойствіе твоей невинной жизни.  
Я все готовъ тебѣ, мой другъ, отдать  
И счастье твое купить моимъ страданьемъ, —  
Но выше силъ моихъ соединять  
Твою судьбу съ моимъ существованьемъ!  
Чѣмъ заплачу, что дамъ тебѣ взамишь,  
За міръ души и дѣвственныя грезы?  
Бесплодный рядъ, быть можетъ, грустныхъ сценъ  
И никому невидимыя слезы...  
Ты знаешь-ли всю жизнь мою вполнѣ,  
Все зло дѣйствительности грязной,  
И горечь нужды, знакомыхъ съ дѣтства мнѣ,  
И скорбь моей тоски однообразной?  
Такою-ли дорогой проходить  
Тебѣ, мой другъ, не знавшій огорченій,  
И дѣлый вѣкъ мнѣ въ жертву приносить  
Безпечный міръ забавъ и наслажденій?  
И что въ тотъ день, измученный тоской,  
Въ свое тебѣ скажу я оправданье,  
Когда ты мнѣ упрекомъ и слезой  
Отвѣтишь вдругъ на ласки и лобзанье?  
Нѣтъ, этихъ жертвъ я не хочу принять!  
Но кто-жъ меня безчувствію научить  
И, наконецъ, заставитъ позабыть  
Все, что меня и радуеть и мучить,  
Что для меня, подъ холодомъ заботъ,  
Подъ гнетомъ нужды, и горя, и лишеній,  
Единая отрада и оплотъ, —  
Источникъ думъ, надеждъ и пѣснопѣній?

8 — Въ изданіи 1856 г. (стр. 85—86) первый куплетъ этого стихотворенія читался такъ:

Молись, дитя: въ устахъ младенца  
Молитва, чуждая страстей,  
Какъ голосъ родственнаго сердца,  
И чище вѣрой и святѣй.

Послѣдніе-же четыре такъ:

О, еслибъ послѣ многихъ лѣтъ,  
Въ часы молитвы, со слезами,  
Взглянула ты на Божій свѣтъ  
Такими-жъ свѣтлыми очами!

Но если дѣтства чистота  
Когда-нибудь тебя оставитъ,  
И горькой жизни нагота  
Тебя на жизнь роштать заставитъ, —

Въ тѣ дни къ подножію креста  
Приникни съ дѣтскою любовью,  
И твердой вѣры чистота  
Здѣсь примиритъ тебя съ собою.

Здѣсь ангелъ дѣтства твоего  
Къ тебѣ опять слетитъ незримо  
И о тебѣ Творцу всего  
Молиться станетъ невидимо.

9 — Въ Толстовскомъ изданіи стихотвореніе это, вызванное мѣстной критикою, напечатано (стр. 91—93) въ слѣдующемъ видѣ:

Задумчивый пѣвецъ, въ пустынѣ неизвѣстной,  
Неопытной рукой я струны пробуждалъ  
И пѣсни грустныя, какъ лучшій даръ небесный,  
Какъ драгоценный кладъ, таилъ и сберегалъ.

Быть-можетъ, силой чувствъ и мыслию глубокой  
Я струны одушевить не могъ и не успѣлъ;  
Никѣмъ незнаемый, съ лѣтъ раннихъ одинокій,  
Какъ птица вольная, я безъ искусства пѣлъ.

И пѣснь слагалася легко и беззаботно,  
Какъ ни былъ тѣсенъ міръ, гдѣ возмужалъ мой умъ,  
Со мною говорилъ и вѣтеръ перелетный,  
Я понималъ лѣсовъ, и волнь, и вьюги шумъ.

И все, что грязнаго есть въ жизни самой бѣдной, —  
И горе, и разгулъ, кровавый потъ трудовъ,  
Порокъ и плачь нужды оборванной и блѣдной, —  
Я видѣлъ вкругъ себя съ младенческихъ годовъ.

Но были у меня отрадныя мгновенья.  
Когда всю скорбь мою я въ звукахъ изливалъ!  
И зналъ я сердца миръ и слезы вдохновенья,  
И долю горькую завидной почиталъ.

За даръ свой, въ этотъ мигъ, благодарилъ я Бога,  
Казался раемъ мнѣ мой темный уголокъ,  
Тогда-какъ за стѣной и пьяная тревога  
Была подлѣ меня, и шель о рынкѣ толкъ...

Вдругъ до голы дошелъ напѣвъ мой вдохновенный,  
Изъ сердца вырванный, родившійся въ глуши,  
И чувства лучшя, вся жизньъ моей души  
Разоблачилися рукой непосвященной!

И больно слышать мнѣ, когда мой скромный стихъ,  
Проникнутый огнемъ и мыслью благородной,  
Перетолкованный, звучить въ устахъ чужихъ,  
Какъ звукъ безчувственный, безжизненный, холодный...

**10** — Въ Толстовскомъ изданіи это стихотвореніе имѣло слѣдующую редакцію (стр. 94—90).

Не говори, что жизньъ ничтожна,  
Сперва въ глубокой тишинѣ  
Не изучивши осторожно  
Ея значенія вполне.

Оставь печальное сомнѣнье:  
Ума неопытнаго плодъ,  
Оно въ минуту вдохновенья  
Твои восторги осмѣть.

Повѣрь, на праздникъ жизни шумной,  
Наслѣдникъ будущій небесъ,  
Не даромъ ты, какъ гость разумный,  
Дары высокіе принесъ;

Не даромъ въ звуки пѣсноуѣнны  
Ты чувства сердца перелилъ  
И фантастическихъ видѣній  
Край закодированный открылъ;

Взгляни кругомъ: не для тебя-ли  
Художникъ, полный юныхъ силъ,  
Дитя сомнѣнья и печали,  
Весь мѣръ сокровища раскрылъ?

Не для тебя ли небо блещетъ  
И звѣзды радужно горять,  
И музыкально море плещетъ,  
Лѣса дремучіе шумять,

И разноцвѣтными коврами  
Лежать широкія поля  
И съ голубыми небесами  
Степей сливаются края,

Въ туманѣ бѣломъ тонуть горы,  
И очаровываютъ взоръ  
Долинъ роскошные узоры,  
Луговъ раздолье и просторъ?

Пойми, что шепчетъ сѣдлый колосъ  
И вѣтерокъ о чемъ шумить,  
И не тебѣ-ль ихъ чудный голосъ  
О тайнахъ жизни говорить?

Нѣтъ, не суди о жизни строго!  
Повѣрь, прекрасное любя,  
Ты въ ней всегда отыщешь много  
Отрады новой для себя.

Умѣй изъ груды безобразной  
Картину стройную создать  
И положить на слѣпокъ грязный  
Живого творчества печать:

И ты поймешь свое призванье  
Въ минуты свѣтлые труда,  
И выше своего страданья  
Себя поставишь навсегда,

И бесполезны сомнѣнья  
Въ тебѣ въ ту пору замолчать,  
И слезы, слезы вдохновенья,  
Тебя за трудъ вознаграждать!..

11 —5—16 строки этого стихотворения принадлежать позднейшей редакции и замѣняютъ слѣдующіе стихи первой редакціи, напечатанные въ изд. 1856 г. (стр. 102—104):

Судить добрыхъ людей, малыхъ пасынковъ бьеть,  
Да съ сосѣдами ссоры заводить;  
Кто что ѣсть, кто что пьеть и какъ дома живеть,  
Все наружу съ насмѣшкой выводить;  
Хсдить изъ дому въ домъ, переносить слова,  
Выдаетъ небылицы за были;  
У себя-же въ дому не расти хоть трава,—  
И съ иконъ не смететь густой пыли.  
По недѣлямъ въ избѣ соръ на лавкахъ лежить,  
Въ стекла тускляя свѣтъ не проходить;  
По угламъ на стѣнахъ паутина висить,  
Плѣсень съ мокраго пола не сходить;  
На холодной печи ребятишки кричать,  
Инда сердце въ тоскѣ замираеть,—  
Дѣла мачихѣ нѣтъ, хоть ложись умирать,—  
Ни заботы, ни горя не знаетъ;  
Отъ двора моего отучила родныхъ,  
Отказала знакомымъ съ порога,  
Знать не хочеть молвы, пересудовъ худыхъ,  
Ни людей не боится, ни Бога..  
Тяжкимъ долгимъ трудомъ я добро собиралъ,  
Много нуждъ перенесъ и заботы.  
Худо ѣлъ, мало пилъ, рѣдко спалъ-отдыхалъ,  
Не покладывалъ рукъ за работой:  
То на пашнѣ съ зорей, съ бороной и сохой,  
То съ цѣномъ на гумнѣ заваленномъ,  
То въ лѣсу съ топоромъ, то съ широкой косой  
На степи, иль въ дугу отведенномъ.  
Вездѣ былъ, успѣвалъ, силу-матушку клалъ,  
Свою бѣдность хотѣлъ я поправить,—  
И спорилось въ рукахъ: не чужимъ собиралъ,  
Думалъ счастье дѣтишкамъ оставить,  
Чтобъ они въ сиротствѣ на отцовскую лѣнь,  
Послѣ смерти моей, не пеняли  
И меня, старика, при нуждѣ; въ черный день  
Добримъ словомъ всегда поминали..  
Да на старости лѣтъ умъ за разумъ зашелъ  
У меня въ головѣ посѣдѣлой:  
Въ тихій домъ свой жену молодую я ввелъ,  
И жена принялася за дѣло.  
И пошло все вверхъ дномъ: потекло серебро.  
Какъ вода между рукъ, на обновки;  
Началася гульба, и погбло добро  
Въ одинъ годъ отъ безстыдной мотовки.

12 — Стихотвореніе это, въ изданіи 1856 г. начиналось такъ (стр. 105—108):

Жгучь морозъ трескучій,  
Ночь, какъ день, ясна;  
Смотритъ изъ-за тучи  
Яркая луна.

Вторая строфа выпущена.

Между четвертою и пятою строфами помѣщены слѣдующіе четыре стиха:

Не кипятъ работа  
На дворахъ большихъ,  
Не скрипятъ ворота,  
Въ избахъ шумъ затихъ.

Въ шестой строфѣ два послѣдніе стиха читаются такъ:

Бѣдная старушка  
Тамъ еще не спитъ.

8—11 строфы совершенно передѣланы, и вотъ соотвѣтствующія имъ строфы въ изданіи 1856 г.

Будетъ имъ надеждой.  
Хлѣба дастъ кусокъ,  
Обувь и одежду,  
Теплый уголокъ...

Пресвятая Дѣва!  
Сохрани сиротъ  
Отъ людского гнѣва,  
Отъ кручинъ, заботъ.

И въ тоскѣ безмолвной,  
Тяжкихъ думъ полна,  
Стала предъ иконою  
Съ трепетомъ она,

„Въ безпріютной долѣ  
Щедро помощи;  
Отъ порока въ горѣ  
Мудро сбереги:

И, склонивъ колѣни,  
Сдерживая духъ,  
Въ грустномъ умиленьи  
Повторяла въ слухъ:

„Награди ихъ силой,  
Разумомъ-умомъ,  
И за грѣхъ помилуй  
На Судѣ святомъ!..

13 — Это стихотвореніе было напечатано въ первый разъ въ „Рус. Архивѣ“ 1865 г., стр. 805—810. Приводимъ вариантъ его изъ Михайловскаго изданія (стр. 267—274):

День ясный тихо догораеть;  
Чистъ неба куполь голубой;  
Весь западъ въ золотѣ сіяеть

Надъ Иудейскою землею;  
Спокойно, высясь надъ полями,  
Закатомъ солнца освѣщенъ,  
Стоитъ высокій Елеонъ  
Съ благоуханными садами,  
И, полный блеска, передъ нимъ,  
Народа шумомъ оживленный,  
Лежитъ святой Ерусалимъ,  
Стѣною твердой окруженный  
Вдали Геваль и Гаразимъ <sup>1)</sup>,  
Къ востоку воды Иордана  
Съ роскошной зеленью долинъ  
Рисуются въ волнахъ тумана,  
И моря Мертваго краса  
Сквозь сонъ глядитъ на небеса <sup>2)</sup>.  
А тамъ, на западѣ, далеко,  
Лазурныхъ Средиземныхъ волнъ  
Разливъ могучій огражденъ  
Песчанымъ берегомъ широко... <sup>3)</sup>  
Темнѣть... всюду тишина...  
Вотъ ночи вспыхнули свѣтила, —  
И ярко полная луна  
Садъ Геосиманскій озарила.  
Въ травѣ, подъ вѣтвями оливъ,  
Сыны Божественнаго Слова,  
Ерусалима шумъ забывъ,  
Спятъ три Апостола Христовы.  
Ихъ сонъ спокоенъ и грубокъ;  
Но тяжело спалъ мѣръ суровый:  
Вѣковъ наследственный порокъ  
Его замкнулъ въ свои оковы,  
Проклятыя праотцевъ на немъ  
Пятномъ безславія лежало  
И, съ каждымъ вѣкомъ, новымъ зломъ  
Его, какъ язва, поражало...  
Но часъ свободы наступалъ —  
И, чуждый общему позору,  
Посланникъ Бога, въ эту пору,

<sup>1)</sup> Геваль (нынѣ Емадедъ-динъ) и Гаразимъ (нынѣ Шехъ-Гаденъ) близъ Сихема въ колѣнѣ Ефремовомъ на сѣверъ отъ Иерусалима, въ 52 вер. Шестъ колѣнъ Израилевыхъ на первой произносили проклятія, а другіе шесть на второй — благословенія, заповѣданныя Моисеемъ. *Свящ.-цѣрк. Географія Я. П. П. изд. 2-е 1848.*

<sup>2)</sup> Вода Мертваго моря свѣтла и прозрачна, но чрезвычайно горька, какъ въ нашихъ солончакахъ. Самая большая длина его простирается на 91 версту, ширина 25. *Тамъ-же.*

<sup>3)</sup> Средиземное море находится въ разстояніи 50 верстъ отъ Иерусалима. *Тамъ-же.*



Судьбу всемірную рѣшалъ.  
За слово истины высокой  
Голгоескій крестъ предвидѣлъ Онъ,  
И, чувствомъ скорби возмущенъ,  
Отцу молился одиноко:  
„Ты знаешь, Отче, скорбь Мою  
И видишь, какъ Твой сынъ страдаетъ,—  
О, подкрѣпи Меня, молю,  
Моя душа изнемогаетъ!  
День казни близокъ: онъ придетъ—  
На жертву отданный народу,  
Твой Сынъ безропотно умретъ,  
Умретъ за общую свободу... \*)  
Проклятыямъ черни пораженъ,  
Измученный и обиаженный,  
Передъ толпой поникнетъ Онъ  
Своей главой окровавленной.  
И тѣ, которымъ со креста,  
Пошлетъ Онъ даръ благословенья.  
Съ улыбкой гордаго презрѣнья  
Поднимутъ руку на Христа...  
О, да минуетъ чаша эта,  
Мой Отче, Сына Твоего!  
Мнѣ горько видѣть злобу свѣта  
За искупленіе его!  
Но не Моя да будетъ воля,  
Да будетъ такъ, какъ хочешь Ты!  
Тобой назначенная доля  
Есть дѣло вѣчной правоты,  
И если Твоему народу  
Позоръ Мой благо принесетъ.  
Пускай за общую свободу  
Сынъ человѣческій умретъ!“  
Молитву копчивъ, скорби полный,  
Къ ученикамъ Онъ подошелъ  
И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,  
Сказалъ имъ: „встаньте, часъ пришелъ!  
Оставьте сонъ свой и молитесь,  
Чтобъ въ искушеніе вамъ не впастъ,  
Тогда вы въ вѣрѣ укрѣнитесь  
И съ вѣрой встрѣтите напасть“.  
Сказалъ,—и тихо удалился  
Туда, гдѣ прежде плакалъ Онъ,  
И, той же скорбью возмущенъ,  
На землю палъ Онъ и молился:

---

\*) Посл. зв. Апост. Павла къ Римл., гл. VIII, ст. 21. Его-же къ Галат., гл. V, ст. 1 и 1с.

„Ты, Отче, въ міръ Меня послалъ,  
Но Сына міръ Твой не приѣмлетъ:  
Ему любовь Я завѣщалъ,—  
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ;  
Я былъ врачомъ его больныхъ,  
Я за враговъ моихъ молился,—  
И надо Мной Ерусалимъ  
Какъ надъ обманщикомъ глумился!  
Народу міръ Я завѣщалъ,—  
Народъ судомъ Мнѣ угрожаетъ,  
Я въ міръ мертвыхъ воскрешалъ,—  
И міръ Мнѣ крестъ приготовляетъ!..  
О, если можно, отъ Меня  
Да мимо идетъ чаша эта!  
Ты Богъ любви, начало Свѣта,  
И все возможно для Тебя!  
Но если кровь нужна святая,  
Чтобъ землю съ небомъ примирить,—  
Твой вѣчный судъ благословляя,  
На крестъ готовъ Я восходить!“  
И взоръ въ тоскѣ невыразимой  
Съ небесъ на землю Онъ низвелъ  
И снова, скорбію томимый,  
Къ ученикамъ Онъ подошелъ.  
Но ихъ смежившіяся очи  
Невольный сонъ отягощаль;  
Великой тайны этой ночи  
Ихъ бѣдный умъ не постигалъ.  
И сталъ Онъ молча, полный муки,  
Чело высокое склонилъ  
И на груди святыхъ руки  
Въ изнеможеніи сложилъ.  
Что думалъ Онъ въ минуты эти,  
Какъ человекъ и Божій Сынъ.  
Подъявшій грѣхъ тысящелѣтій,—  
То зналъ Отецъ Его одинъ.  
Но ни одна душа людская  
Не испытала никогда  
Той боли тягостной, какая  
Въ Его груди была тогда,  
И люди вѣрно бъ не поняли,  
Весь грѣшный міръ нашъ не постигъ  
Тѣхъ слезъ, которыя сіяли  
Въ очахъ Спасителя въ тотъ мигъ.  
И вотъ опять Онъ удалился  
Подъ сѣнь смоковницъ и оливъ  
И, тамъ колѣно преклонивъ.  
Опять Онъ плакалъ и молился:

„О, Боже мой! Мнѣ тяжело!  
Мой умъ колеблется, темнѣетъ;  
Все человѣческое зло  
На Мнѣ единомъ тяготѣетъ.  
Позоръ людской, — позоръ вѣковъ. —  
Все на Себя Я принимаю.  
Но самъ подъ тяжестью оковъ,  
Какъ человѣкъ, изнемогаю...  
О, не оставь Меня въ борьбѣ  
Съ Моею плотію земною, —  
И все угодное Тебѣ  
Тогда да будетъ надо Мною.  
Молюсь, да снидетъ на Меня  
Святая сила подкрѣпленья,  
Да совершу съ любовью Я  
Великій подвигъ примиренья!“  
И руки къ небу Онъ подъялъ,  
И весь въ молитву превратился;  
Огонь лицо Его сжигалъ.  
Кровавый потъ по Немъ струился.

И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ.  
Лучами свѣта окруженный,  
Явился въ садъ уединенный  
Глашатай Божіихъ чудесъ \*).  
Былъ чуденъ взоръ его прекрасный  
И безмятежно и свѣтло  
Одушевленное чело,  
И ликъ сіялъ, какъ полдень ясный;  
И близъ Спасителя Онъ сталъ  
И рѣчью свыше вдохновенной  
Освободителя вселенной  
На славный подвигъ укрѣплялъ;  
И самъ, подобный легкой тѣни,  
Но полный благодатныхъ силъ.  
Свои воздушныя колѣни  
Съ молитвой пламенной склонилъ.

Вокругъ молчало все глубоко;  
Была на небѣ тишина, —  
Лишь въ царствѣ мрака одиноко  
Страдалъ безплодно сатана.  
Онъ зналъ, что въ мірѣ колебался  
Его владычества кумиръ,  
И что безславно падшій міръ

\*) Лук., гл. XXII, ст. 43.

Къ свободѣ новой приближался.  
Винovníкъ зла, онъ понималъ,  
Кто былъ Мессіа воплощенный \*),  
О чемъ Отца Онъ умолялъ,  
И, страшной мукой подавленный,  
Духъ гордый молча изнывалъ,  
Безсильной злобой сокрушенный...

Спокойно въ выси голубой  
Свѣтилъ блистали мириады,  
И полонъ сладостной прохлады  
Былъ чистый воздухъ. Надъ землей,  
Поднявшись тихо, небожитель  
Летѣлъ къ надзвѣзднымъ высотамъ, —  
Межъ тѣмъ всемірный Искупитель  
Опять пришелъ къ ученикамъ.  
И въ это чудное мгновенье  
Какъ былъ Онъ истинно великъ,  
Какимъ огнемъ одушевленъя  
Горѣлъ Его прекрасный ликъ!  
Какъ ярко отражали очи  
Всю волю твердую Его,  
Какъ радостно свѣтила ночи  
Съ высотъ глядѣли на него!

Ученики, какъ прежде, спали,  
И вновь Спаситель имъ сказалъ:  
„Вставайте, близокъ день печали  
И часъ предательства насталъ...“  
И звукъ мечей остроконечныхъ  
Садъ Геесимаискій пробудилъ,  
И отблескъ факеловъ зловѣщихъ  
Лицо Іуды освѣтилъ.

14 — Первоначальный набросокъ этого стихотворенія, приведенный въ Михайловскомъ изданіи (см. Т. I, стр. 531—533), былъ слѣдующій:

Широко лежать	Надъ селомъ плыветь
Поля бѣлыя;	Бѣлымъ лебедемъ.
Высоко горять	
Звѣзды яркія;	Со смолой обозъ,
	Съ горы на гору,
Мѣсяцъ въ дальній путь,	Не спѣша, къ селу
Вслѣдъ за тучками,	Подвигается.

\*) Матт. гл. VIII, ст. 29; Марк. V, 7; Лук. VI, 34.

Воокресное чтеніе 1840 г. № 45 „Искушеніе Іисуса Христа отъ діавола“.

Рѣзко сибѣтъ скрипитъ  
Подъ полозьями,  
На уздахъ звенятъ  
Кольца мѣдныя.

Идутъ лошади  
Съ ноги на ногу;  
Мужички крехтятъ,  
Пожимаются.

Отъ мороза ихъ  
Брови, бороды  
По осли густымъ,  
Бѣлымъ инеемъ.

Вотъ въ село они  
Дружно вѣхали,  
Подшли къ двору  
Постоялому.

И на встрѣчу къ нимъ  
Дворникъ ласковый  
Подшелъ и снялъ  
Шапку старую.

Поклонился всѣмъ,  
Поздоровался:  
Сталъ ихъ звать къ себѣ,  
Приговаривать:

„Что на дворъ что-ль вамъ?  
Просимъ милости:  
У меня овесъ —  
То же золото;

Я не то, что вонъ  
Сосѣдъ-выжига, —  
Люди добрые  
Со мной знаются;

Я вѣдь, самъ въ извозъ,  
Братцы, хаживалъ,  
Нужды, голода,  
Много видывалъ;

Угощу, небось,  
По-приятельски,

Провожу съ двора  
Хлѣбомъ, солю;

Поѣзжайте-ка,  
Просимъ милости;  
У меня изба  
Баня банею“.

Мужики его  
Словъ послушались, —  
На широкій дворъ  
Къ нему вѣхали;

Отпрягли коней  
Подъ сараями,  
Въ хрептуги овса  
Понасыпали.

Со двора пошли  
Въ избу теплую,  
Образамъ святымъ  
Помолились,

Распоясались,  
Шубы скинули,  
На палатахъ ихъ  
Поразвѣшали.

Водой чистою  
Руки вымыли  
И за длинный столъ  
Посажились.

Подала имъ хлѣбъ  
Жена дворника,  
Въ мискѣ крашеной  
Щи поставила.

Мужички ѣдятъ,  
Согрѣваются,  
Сами рѣчь ведутъ  
О Саратовѣ.

Прислонясь къ стѣнѣ,  
Подлѣ притолка,  
Ихъ разговоръ, сквозъ совѣ,  
Дворникъ слушаетъ.

Про себя-жъ одинъ,  
Молча, думаетъ:  
Вишь, сидятъ они,  
Прохлаждаются.

А овса, такъ вотъ  
Почти не брали;  
Угощу-жъ я васъ  
По-пріятельски!

15 --Въ изд. 1856 г. это стихотвореніе напечатано со многими вариантами (125—130 стр.); отмѣчаемъ главнѣйшіе. Послѣ 18-го стиха были помѣщены шесть слѣдующихъ:

Только видно его я ничѣмъ не залью,  
Лишь одну свою жизнь скоротаю.  
Ты не знаешь, небось, какъ я прежде живаль,  
Все умѣя про нужду готовить,  
Пока замужь тебя, бѣлоручку, не взялъ,  
Не посмѣвши отцу прекословить.

Стихи 29—33 соотвѣствуютъ слѣдующимъ стихамъ изданія 1856 г.:

Самъ работаешь до ночи, устали нѣтъ.  
Противъ вѣтру вся грудь на распашку,  
Лишь коса зазвенитъ, какъ рука размахнетъ.  
И отъ поту хотъ выжми рубашку.  
Придетъ праздникъ,—одѣвшись, глядишь молодцомъ,  
Сходишь въ церковь, помолишься Богу,  
И идешь по селу, вьются кудри кольцомъ,  
Старики уступаютъ дорогу!  
А теперь, — знать, за грѣхъ меня Богъ наказалъ,—  
Надо мною смѣяться всѣ стали...  
И, вздохнувъ глубоко, онъ оишь продолжалъ,  
И глаза его вдругъ засверкали:  
Одного я маленько вотъ въ толкъ не возьму:

Между 56 и 57 стихами выкинуты слѣдующіе четыре стиха:

Аль досада беретъ, что сталъ голъ, какъ соколъ,  
Что ужъ нечѣмъ пришло охмѣяться?  
Та бѣда—не бѣда, онъ другую нашель,  
Захотѣлъ надъ женой издѣваться.

Послѣ 88 стиха выпущены четыре:

Да, вѣдь, я, братъ, видалъ и почище тебя  
И умѣлъ въ ихъ бокахъ ломать кости;  
Ты ступай, куда шель, вонъ дорога твоя,  
А я знаю, къ кому иду въ гости.

Стихи 90—92:

Закричалъ Павтелей, размахнувшись,—  
И онъ такъ хватилъ мѣтко сосѣда въ високъ,  
Инда съ часъ тотъ лежалъ растянувшись...

16 —Въ Толстовскомъ изданіи это стихотвореніе было напеча-  
тано (стр. 5—6) въ слѣдующей редакціи:

Полно спать тебѣ, степь, подь туманомъ:  
Зимы-матушки кончился срокъ,  
Съ юга гости летятъ караваномъ,  
Настаетъ весны теплый денекъ.

Уберись, какъ невѣста, цвѣтами  
И умой лицо первымъ дождемъ,  
Грудь накрой травы новой шелками,  
Изукрасься росы жемчугомъ.

Посмотри: небеса надъ тобою  
Развернулись шатромъ голубымъ,  
Вьются бѣлыя тучки толпою,  
Блещетъ солнце огнемъ золотымъ.

Вѣтерокъ тебя пѣжитъ, ласкаетъ  
Вѣетъ юною жизнью день,  
И отъ тучекъ слегка пробѣгаетъ  
По груди твоей длинная тѣнь.

Скоро гости къ тебѣ соберутся,  
Гнѣзда дѣтиямъ своимъ будутъ вить,  
Съ утра до ночи пѣсни полюбятъ,  
Станутъ гости до осени жить.

И растительной жизни избыткомъ,  
Какъ младенца любимого мать,  
Свѣжихъ соковъ здоровымъ напиткомъ  
Ты начнешь траву щедро питать.

И трава на привольномъ просторѣ  
Шелкъ зеленыхъ кудрей разовьетъ,  
По зарямъ сквозь дремоту, что море,  
Съ вѣтромъ шопотъ и шумъ заведетъ.

Косари, помолясь предъ иконою,  
Изъ далекихъ придутъ хуторовъ,  
Огласятъ тебя пѣснью знакомой  
И намечутъ душистыхъ стоговъ.

И тогда отдыхай беззаботно,  
Погружайся въ глубокой свой сонъ;  
Про тебя сложу пѣснь я охотно  
И отдамъ тебѣ низкій поклонъ.

17 —Первымъ десяти стихамъ соотвѣтствуютъ, по изданію 1856 года, слѣдующіе (стр. 149—150):

Буря утихла. Градой облака потянулись къ востоку;  
Грома глухіе раскаты вдали замирать начинаютъ;  
Вотъ они смолкли, и огненный ликъ заходящаго солнца  
Снова блеснулъ изъ-за тучи— и вмигъ загорѣлся весь западъ,  
Нѣжнымъ румянцемъ покрылась опушка кудряваго лѣса,  
Капли дождя засіяли на немъ будто чудные камни.  
Слышу, о чемъ-то таинственно шепчется вѣтеръ съ листьями;  
Рѣчи его непонятны для нашего грубаго слуха,  
Но понимаютъ ихъ, вѣрно, листы, отвѣчая имъ дружно.  
Около лѣса желтѣется ржи неоглядное море,  
Искрами блещетъ небесная влага на иглахъ колосьевъ;  
Жадно они напился ея послѣ долгой засухи;  
Сладко дремать имъ теперь, наклонясь надъ сырою землею,  
Воздухъ прохладный вдыхая, подъ кротко-сіяющимъ небомъ.  
О, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дождемъ освѣженный,  
Какъ ошутительно вѣетъ онъ новою силой и жизнью!  
Какъ ему рады повсюду, куда онъ проникъ, благодатный!  
Видѣлъ я въ полдень вотъ этотъ цвѣтокъ темносиній: отъ жару  
Грустно свернувъ лепестки, онъ клонился къ землѣ раскаленной:  
Вѣрно, увялъ бы онъ, если бы на день продлилась засуха.  
Что-же теперь? Окропленный дождемъ, оживленный прохладой,  
Снова онъ весь развернулся и держится прямо на стеблѣ.

18 —Въ изданіи 1856 г. (стр. 153—162) это стихотвореніе напечатано съ значительными вариантами. Вотъ главнѣйшіе:  
Стихотвореніе начинается слѣдующимъ куплетомъ:

Скоро будетъ полночь...  
Тишина въ избѣ;  
Только вѣтеръ воетъ  
Жалобно въ трубѣ.

Строфы 3, 5 и 6 читаются такъ:

Въ старомъ зипунишкѣ,	И, лаская сына,
Прислонясь къ стѣнѣ,	Кротко говоритъ:
Дремлетъ подлѣ печки	„Ты-бы легъ, касатикъ,
Мальчикъ на скамьѣ.	Вѣдь, ужъ ночь давно;
Съ дремлющимъ малюткой	На-ка вотъ шубенку;
Рядомъ мать сидитъ	Вишь, какъ холодно“.

Строфы 7—11 представляютъ слѣдующую редакцію:

— „А зачѣмъ-же, мама,	И вечеръ все пріага
Ты сама сидишь,	И теперь не спишь?“



„Охъ, мой ненаглядный,  
Прясть-то нѣтъ ужъ силъ:  
Что-то такъ мнѣ грустно,  
Божій свѣтъ не милъ!

„Пятая недѣля  
Вотъ къ концу идетъ,  
А досель отецъ твой  
Вѣсточки не шлетъ.

„Ну, Господь помилуй!  
Если съ мужикомъ  
Грѣхъ какой случился  
На пути глухомъ.

„Дѣло мое бабѣ,  
Какъ тогда мнѣ быть?  
Кто насъ горькихъ станетъ  
Одѣвать, кормить?

15-й строфѣ Кокоревскаго изданія соотвѣтствуютъ слѣдующіе  
8-мъ стиховъ:

„Полно плакать, мама!“ —  
Грустно сынъ сказалъ  
И, поднявъ головку,  
Тихо съ мѣста всталъ,

И къ щекѣ родимой  
Она прильнула щекой  
И, заплакавъ горько,  
Мать обняла рукой.

19-я строфа читается такъ:

И дитя забылось...  
Снова мать прядетъ,  
Ей отъ думъ, заботы  
Сонъ на умъ нейдетъ.

Строфы 22 и 23-я также измѣнены:

И съ тоской тяжелой  
Вспомнила она,  
Какъ ея дѣвчья  
Жизнь проведена;

Какъ ей, умирая,  
Говорила мать:  
„Точно сиротою  
Мнѣ тебя кидать!“

26-й строфѣ соотвѣтствуютъ слѣдующіе 8-мъ стиховъ:

„И разгульны, правда,  
Нечего сказать,  
Да за то какъ стануть  
Въ полѣ работать,—

„Хоть жара, хоть вѣтеръ —  
Все равно для нихъ:  
Отъ того и замужъ  
Скоро взяли ихъ.

Послѣ 27-й строфы выпущены слѣдующіе 12 стиховъ:

„Все ты шить умѣешь  
И въ избѣ прибрать,  
Ребятишекъ братьевъ  
Любишь обмывать.

Сила то дороже  
Разума-ума“...

Да въ быу крестьянскомъ,  
Знаешь ты сама,

Вспомнила, какъ замужъ  
Взяла ее ямщикъ,  
Какъ его покойный  
Тестъ любилъ, старикъ.

Строфамъ 28 и 29 соотвѣтствуютъ, по изданію 1856 г., слѣдующіе четыре стиха:

Вотъ въ сѣняхъ избушки  
Кто-то застучалъ.  
„Ахъ, отецъ!“ проснувшись,  
Мальчикъ закричалъ.

Строфа 32-я читается такъ:

И мужикъ рукою  
Сильно дверь рвануль,  
Въ избу вшелъ, снялъ шапку,  
Съ платья снѣгъ стряхнуль.

36—38 строфы напечатаны въ изд. 1856 г. слѣдующимъ образомъ:

„На дворѣ съ нимъ вмѣстѣ Мнѣ пришлось стоять, И меня лошадокъ Упросилъ онъ взять“.	Выслушавъ сосѣда Первыя слова.  Опустивъ ручки, Сынъ ея стоялъ
Горько зарыдала Бѣдная вдова,	Блѣдный, и всѣмъ тѣломъ Въ ужасѣ дрожалъ.

Строфа 42-я читается такъ:

„Лошади-то ваши  
Тутъ воцъ у двора:  
Такъ поди, возьми ихъ;  
Мнѣ домой пора“...

19 — Вотъ какъ было напечатано это стихотвореніе въ первомъ изданіи, 1856 г., сочиненій Никитина:

Ударъ за ударомъ, Полуночный громъ... То вспыхнетъ пожаромъ Все небо кругомъ,	Горитъ одиноко Въ избушкѣ ночникъ; На лавкѣ широкой Кудесникъ старикъ.
Освѣтитъ картину Села надъ рѣкой, И лѣса вершину, И берегъ крутой;	Съ сѣдой бородою, Съ угрюмымъ лицомъ, Надъ чашей съ водою Сидитъ за столомъ.
То снова все темно .. Лишь вѣтеръ шумитъ. Да ливень холодный Въ оконцо стучитъ.	На лбу бороздами Морщины лежатъ, Глаза подъ бровями, Какъ угли, горятъ.

У притоки парень  
Въ халатъ стоитъ:  
Онъ, бѣдный, печалень  
П въ землю глядитъ;

Лицо не красиво,  
На видъ простоватъ,  
Но сложенъ на-диво  
Отъ плечъ и до пятъ.

„Ну слушай: готово!  
Хоть трудъ мой великъ“, —  
Промолвилъ сурово  
Кудесникъ-старикъ:

„Я сдѣлаю дѣло:  
Красотка твоя  
И душу и тѣло  
Огдасть за тебя!“

И тихо онъ началъ  
Шептать наговоръ:

„На морѣ на Окіянѣ  
„Бѣлый камень Алатырь;  
„На немъ бая огнемъ пышетъ  
„Съ раскаленною доской.  
„Тридцать три тоски оттуда  
„Всюду мчатся: на югъ,  
„На пути и перепутья,  
„Западъ, сѣверъ и в стокъ.  
„Киньтесь вы, тоски, къ дѣ-  
вицѣ  
„Въ разумъ, въ сердце, въ очи,  
въ ликъ.  
„Всѣ жилы, кости и суставы,  
„Въ тѣло бѣлое и кровь!  
„Чтобъ о немъ она крушилась,  
„Тосковала день и ночь,  
„Чтобъ для ней она былъ утѣхой,  
„Милѣй солнышка и сна,  
„Свѣта бѣлаго дороже,  
„Лучше матери, отца!  
„Будетъ слово мое крѣпко,  
„И не снимется тоска  
„Тѣмъ, кто въ морѣ выпьетъ  
воду,  
„Траву выщиплетъ въ поляхъ!“

„Иди! до свиданія!  
И помни мой трудъ:  
Мои заклинанья  
Не даромъ пойдутъ“.

— „Спасибо, кормилецъ,  
За все заплачу;  
Поможешь — гостинецъ  
Съ поклономъ вручу.

„Крупы, коли скажешь, —  
Мѣшокъ ни-почемъ,  
А денегъ прикажешь —  
И деньги найдемъ“.

И съ радости дома  
Такъ парень мой спалъ,  
Что бури и грома  
Въ ю ночь не слышалъ.

Во снѣ ему снилось,  
Что онъ ужъ женатъ,  
Что, Богъ далъ, родилось  
Ужъ двое ребятей.

Пять дней пролетѣло...  
Вотъ разъ, вечеркомъ,  
На лавкѣ, безъ дѣла,  
Лежитъ онъ ничкомъ.

На крѣпкія руки  
Прижавъ головой,  
Колотить отъ скуки  
Объ лавку ногой.

Лучина горѣла  
Въ свѣтцѣ на полу,  
Старушка сидѣла  
За прялкой въ углу, —

И вдругъ повернулся,  
Плечо почесалъ,  
Зѣвнулъ, потянулся  
И громко сказалъ:

„Слышь, матушка! бають,  
У насъ въ деревняхъ,

Вишь, доки бывають,—  
И вѣрить-то страхъ!

„Кого, вишь, присушать,  
Не милъ станетъ свѣтъ:  
Тоска такъ и душитъ!..  
Что правда, аль вѣтъ?“

— „Охота, родимый,  
Про дрянъ вспоминать!  
Бывають, вѣстимо...“  
Отвѣтила мать.

„Ну, правда, такъ ладно!“  
Сынъ думалъ „дождусь“!...  
Эхъ, жить буду славно,  
Коли я женюсь! .

Но, видно, напрасно  
Кудесникъ шепталъ  
И дѣвицѣ красной  
Тоской угрожалъ

Тоска не явилась ..  
А жаль: вѣдь, плугу  
Навѣрно бѣ досталось  
Взять съ парня крупу.

Другого красотка  
Любила тайкомъ  
За пѣсни, походку  
И кудри кольцомъ.

А парень гуляетъ:  
Какъ праздникъ придетъ,  
Лицо умываетъ  
И гребень беретъ,

И кудри направо,  
Налѣво завьетъ,  
Подумаетъ: «браво!»  
И пальцемъ щелкнетъ.

Какъ снѣгъ въ чистомъ  
полѣ,  
Рубашка на немъ,  
Кумачъ на подолѣ,  
Сверкаетъ огнемъ.

На шляпѣ высокой  
Межъ черныхъ двухъ лентъ,  
Блеститъ одиноко  
Витой позументъ.

Онучи обвиты  
Кругомъ бичевой,  
И лапы обшиты  
Суровой пенькой,

Тряхнетъ волосами,  
Идетъ въ хороводъ.  
„Ну, вотъ, дескать, нами  
Любуйся народъ!“

И свиснетъ, и станегъ  
Плясать молодцомъ,  
Отъ ногъ инда встанетъ  
Пыль темнымъ столбомъ.

Но какъ-то, случайно,  
Узналъ наконецъ  
Про дѣвицу тайну,  
На грѣхъ, молодецъ

Вся кровь закипѣла  
Въ бѣднягѣ .. „Такъ вотъ!  
Онъ думалъ: въ чемъ дѣло,  
Кудесникъ-то вретъ.

„Дождется-жъ онъ платы!  
Ну, я съ нимъ того...  
Обманщикъ проклятый,  
Я вспомню его“!

И два дни угрюмый,  
Убитый тоской,  
Все думалъ онъ думу  
Въ избушкѣ своей.

На третій—лишь только  
Отправилась мать  
На рѣчку въ ведерко  
Водицы набрать,

И день загорѣлся,—  
Съ постели онъ всталъ,

Обудся, одѣлся,  
Котомку сыскалъ,

Въ тряпицѣ рубашку  
Въ нее положилъ,  
И съ ложкою чашку  
Туда жъ опустилъ

Халатъ для дороги  
Про непогодъ взялъ...  
Мать входитъ; онъ въ ноги  
Ей палъ и сказалъ:

„Ну, матушка! горько,  
Признаться иди  
Съ родимой сторонки...  
А, видно, прости!“

Мать такъ и завyla:  
— „Касатикъ ты мой!  
Ахъ, крестная сила!  
Что-жъ это съ тобой?“ —

„Эхъ, тошно, родная!  
И днемъ, и во снѣ  
Сторонка чужья  
Все грезится мнѣ.

„Нуждѣ не учиться,  
Косить не боюсь,  
Пойду потрудиться:  
Съ казной ворочусь“.

Какъ мѣлъ, поблѣднѣла,  
Отъ словъ его мать;  
На лавку присѣла  
И что-то сказать

Хотѣла, какъ видно;  
Раскрыла ужъ ротъ,—  
Но очи недвижно  
Смотрѣли впередъ

Безъ мысли, безъ цѣли,  
И, словно свинець,  
Уста посиѣли...  
Ну, словно мертвецъ!

„Эхъ ма! я старуху  
Никакъ испугалъ!  
Не слышно и духу...“  
Сынокъ разсуждалъ

„Вотъ горе, ей-Богу!  
Жаль поль-то мочить:  
Водой бы немного  
Ее окатить“.

Межъ-тѣмъ встрепенулась  
Старушка, отъ сна  
Какъ будто проснулась  
Въ тревогѣ она;

Вздохнула, приветала,  
Припомнила все,  
И вдругъ зарыдала:  
— „Дитя ты мое!

„Да какъ же подь старость,  
Мнѣ жить то одной?  
Вѣдь ты, моя радость,—  
Кормилецъ родной!“

И къ сыну припала  
На грудь головою  
И все повторяла:  
— „Кормилецъ родной!“

Сынъ крѣпко рукою  
Хватилъ себя въ лобъ,  
И думалъ съ собою:  
„Прямой остолопъ!

„Ну, вотъ тебѣ — здрав-  
ствуй!..

Наладилось мнѣ:  
Иди, милый! царствуй  
Въ чужой сгорой!

„А, стало, старушкѣ  
Одной пропадать!  
Казны-то подушки,  
Вѣдь, негдѣ ей взять“.

И парень украдкой  
Лицо отвернулъ,  
Заплакалъ, и шапку  
На лавку швырнулъ.

„Ну, полно родная!  
Я такъ... пошутить...  
Эхъ, доля худая!  
Живи, зная, какъ жить!“

Черезъ часъ взялъ онъ хлѣба  
Домоть, закусилъ.  
И такъ до обѣда  
Овесъ молотилъ.

Что парень сосѣдскій  
Взглянулъ и сказалъ:  
— „Охъ, взмахъ молодецкій!  
Вотъ силу Богъ далъ!“

Старушкѣ, ужъ долго  
Спусти сынъ сказалъ,  
Зачѣмъ въ путь-дорогу  
Онъ вдругъ загадалъ.

Но самъ посчитался  
Съ плутомъ старикомъ:  
Морочить заклился  
Старикъ колдовствомъ.

**20** — Это стихотвореніе въ первый разъ было напечатано въ Михайловскомъ изданіи (см. т. I, стр. 347—349). Оставивъ его въ рукописи, Никитинъ потомъ совершенно передѣлалъ его для Кокоревского изданія, гдѣ оно и напечатано подъ названіемъ «Пѣсни Бобыля» (см. стр. 123, и тоже въ нашемъ изданіи, т. II, стр. 33—34).

**21** — Это стихотвореніе, одно изъ наиболѣе любимыхъ поэтомъ, имѣетъ три редакціи. Печатаемая въ текстѣ по Кокоревскому изданію, 3-му (стр. 13—14), приводимъ и двѣ первыя, такъ какъ онѣ, кромѣ интересныхъ варіантовъ, имѣютъ свои достоинства.

#### УТРО (1-я редакція).

Пышетъ въ небѣ заря, словно села горять.  
Спятъ поля и луга подъ туманами.  
Какъ толпа силачей, сосны въ думѣ стоятъ  
На крутомъ берегу великанами.  
Что дитя въ пеленахъ, чутко дремлетъ рѣка,  
Лишь камышъ шелеститъ и колышется,  
Пробѣжить по водѣ полоса вѣтерка,  
Или крикъ пѣтуховъ въ селахъ слышится.  
Отдохнулъ Божій міръ, освѣжилась земля  
И росой небесной умылася;  
Сквозь дремотную лѣнь ждуть луга и поля,  
Чтобы солнышко вновь появилось.  
Вѣтъ влажной прохладой въ лицо вѣтерокъ,  
И туманъ въ облака собирается,  
Заснилась даль, загорѣлся востокъ,  
И все выше огонь подымается.

Вотъ кричатъ коростель, тамъ и-сямъ поднялись  
Чибиса надъ болотами топкими.  
И проснувшихся птицъ въ одну пѣсню слились  
Голоса переливами звонкими.  
Вотъ и солнце взошло. Пробудилась земля,  
Дерева и кусты тѣнь откинули,  
И, какъ волны, потоки лучей на поля,  
На дуга и лѣса разомъ хлынули.  
Засіяла рѣка, заблестѣла роса,  
Смотрить весело травка душистая,  
Разноцвѣтнымъ огнемъ освѣтились лѣса,  
Тонетъ въ золотѣ рожь колосистая.  
Всюду радость и жизнь, всюду пѣсни звучать...  
Тамъ дымокъ надъ селомъ подымается;  
Тутъ шумятъ рыбаки, въ полѣ косы звенять,  
Вотъ на тройкѣ ямщикъ заливается...  
Только я какъ чужой среди бѣлаго дня,  
И не въ радость мнѣ утро веселое:  
Безъ разсвѣта лежитъ на душѣ у меня  
Ночью темное горе тяжелое.

### УТРО (2-я редакція).

Звѣзды гаснутъ. Поля и дороги молчатъ.  
Полоса равней зорьки алѣется.  
Надъ заливами ивы въ дремотѣ стоятъ.  
За рѣкою тѣсъ темный чернѣется.  
Что дитя въ пеленахъ, спитъ спокойно рѣка,  
Лишь камышь шелеститъ и колышется,  
Иль порою зашепчутъ листья лозняка,  
Или крикъ дикой цапли послышится.  
Воздухъ влаженъ; отъ сочныхъ, зеленыхъ луговъ  
Окропленныхъ росой серебристою  
И задернутыхъ бѣлою тканью паровъ,  
Тихо вѣетъ прохладой душистою.  
Тронешь вѣтки куста,—словно крупный жемчугъ,  
Калли съ сонныхъ листьевъ осыпаются...  
И, куда ни помотришь,—безлюдье вокругъ,  
Но дуга и поля просыпаются.  
Гдѣ-то свистнулъ куликъ, пронеслись надъ рѣкой  
Утки съ шумомъ и Богъ-вѣсть гдѣ сокрылися...  
Въ полѣ перепелъ крикнулъ, за нимъ и другой...  
Вотъ стада чибисовъ закружилися...  
Ужъ заря поблѣднѣла. Окрѣпъ вѣтерокъ,  
И, рѣдѣя, туманъ подымается.  
Показалася даль; загорѣлся востокъ,  
Яркимъ пурпуромъ тѣсъ покрывается..  
Дождалася румянаго утра земля,

Птицы теплая инѣзда покинули  
И зашѣли; и солнца лучи на поля  
Золотыми потоками хлынули.  
Вонь вдали тамъ, какъ стекла, озера блестятъ,  
Весь, какъ шелковый, лугъ зеленѣется;  
И привѣтливо какъ-то деревья глядятъ,  
И, что ходить, въ полѣ греча бѣлѣется;  
Чуть примѣтно волнуется желтый ячмень,  
Рожь высокая медленно движется  
Всюду свѣтъ... Лишь отъ тучекъ подвижная тѣнь  
Тамъ-и-самъ полосами раскинется.  
Пѣсня птицъ все звучить.. вонь мелькаетъ челнокъ.  
И рыбацкъ ловить рыбу собирается;  
Тамъ надъ дальнимъ селомъ за клубился дымокъ.  
Тутъ на тройкѣ ямщикъ заливается;  
Подъ дугой колокольчикъ звенить и гудить...  
Прочь заботы и горе тяжелое!  
Въ этотъ мигъ и во мнѣ сила жизни кипитъ. —  
Здравствуй, солнце и утро веселое!

22 — Это стихотвореніе явилось въ первый разъ въ «Народномъ  
Чтеніи» 1859 г., № 3, въ такомъ видѣ:

### Ш Ы Л Ь.

Безъ умолку вѣтеръ  
Поетъ и свиститъ,  
Постылая гостя,  
Пыль, въ окна летитъ.

Садится на стѣны,  
На платъе и полъ,  
Святны иконы.  
Постелю и столъ.

Все пачкаетъ сряду...  
Совсѣмъ-бы бѣда,  
Да благо есть тряпки  
И въ чашкѣ вода.

Но ты, наше горе,  
Ты, бѣдая пыль,  
Домашняя сидятя.  
Невѣрная былъ.

Съ тобой не покончишь  
Горячей водой,  
Ни чистою тряпкой,  
Ни щеткой густой!

Ты сѣну проточишь,  
Сквозь камень пройдешь,  
Ты огненной искрой  
На грудь упадешь;

Ты ядомъ весь воздуть  
Кругомъ наполнишь,  
Всю кровь перепортишь,  
Всю жизнь отравишь;

Влетишь незамѣтно  
Ты пылью сухой,  
И жертву зарѣжешь  
Тукою пилой.



23 — Это стихотвореніе было напечатано въ первый разъ въ «Отечеств. Запискахъ» 1856 г., № 12, откуда перешло потомъ въ Кокоревское изданіе (стр. 58—59) съ такими измѣненіями:

1-й куплетъ въ «Отечеств. Запискахъ» читался такъ:

Ясный прудъ задремалъ. Садъ окутала тѣнь,  
Въ синемъ небѣ заря догораетъ.  
Не смолкала соловей въ темной чащѣ весь день  
И теперь онъ поетъ—не смолкаетъ.

4-й, 5-й куплеты Кокоревского изданія соотвѣтствуютъ тремъ слѣдующимъ:

Ужъ и такъ моя жизнь не весельемъ была...  
Все я вынесъ! Я скрылъ свои муки...  
Ты безъ умысла мнѣ сладкій ядъ поднесла—  
Ты сковала мнѣ ноги и руки.

Воли нѣтъ у меня, помутился мой умъ,  
Источилось по каплѣ здоровье.  
Какое мнѣ легко отъ заботъ и отъ думъ,—  
Знаетъ Богъ, да мое изголовье!

Нѣтъ, пейти намъ съ тобой по дорогѣ одной,  
И не жить намъ подъ крышей одною...  
Научи-же меня, какъ разстаться съ тобой,—  
На вѣкъ тѣлу разстаться съ душою! .

24 — Въ «Отечеств. Запискахъ» 1856 г., № 12, безъ измѣненія напечатаны только первые десять стиховъ, а далѣе стихотвореніе идетъ такъ:

Самъ мельникъ-то и сѣдъ, и крутъ,  
Ворчитъ онъ сплошь на бѣдный людъ ..

А ласточкѣ и нужды нѣтъ:  
Пріютъ она нашла,  
Свила гнѣздо подъ крышею  
И дѣтокъ нажила.

Поди тамъ, вѣйся по свѣту,  
Да мѣсто выбирай,  
Съ привычкою и мельница  
Покажется за рай...



80

The first part of the document  
 is a list of names and titles  
 of the members of the  
 committee. The names are  
 listed in alphabetical order  
 and include the following:  
 Mr. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

The second part of the document  
 is a report on the work of the  
 committee. It contains a  
 detailed account of the  
 proceedings and the results  
 of the committee's work.  
 The report is divided into  
 several sections, each dealing  
 with a different aspect of  
 the committee's work. The  
 sections are:

1. The work of the committee  
 during the past year.  
 2. The work of the committee  
 during the past six months.  
 3. The work of the committee  
 during the past three months.  
 4. The work of the committee  
 during the past month.

81

# ПРИЛОЖЕНІЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

## Новая борьба.



Въ пять призывъ къ войнѣ! Еще на Русь святую  
Двѣ тучи новыя грозу свою несутъ  
И снова нашу Русь на битву роковую,  
На битву страшную, помѣряться зовутъ!  
И не забыли мы своей недавней славы, —  
Еще не прожилъ силъ великій нашъ народъ,  
И такъ же грозный онъ, и такъ же величавый,  
Какъ буря зашумитъ и двинется впередъ.  
Впередъ за христіанъ, позорно умерщвленныхъ!  
Впередъ за нашу честь и за права отцовъ,  
За славу мѣсть, нечестьемъ оскорбленныхъ,  
За вѣру русскую, —наслѣдіе вѣковъ!  
Пришла теперь пора для нашего народа  
Рѣшить своимъ мечемъ современный вопросъ,  
Свята-ли христіанъ поруганныхъ свобода  
И крѣпокъ-ли досель нашъ сѣверный колосъ?..  
Понятно Англій кичливое волненье:  
Народный русскій духъ не много ей знакомъ;  
Она не видѣла Полтавскаго сраженья,  
И чужды ей нашъ снѣгъ и Бородинскій громъ.  
И, можетъ быть, она узнаетъ слишкомъ поздно  
Своей политики запятнанную честь,  
И начатой войны разсчесть неосторожный,  
И нашу правую воинственную мечь.  
Но этотъ-ли Парижъ, ужъ дважды пощаженный  
Благословеннаго державною рукой,

Опять подѣмлетъ мечъ безчестно обнаженный,  
Заранѣ хвастаясь безславною борьбой!  
Вы-ль это, жаркіе поклонники свободы,  
Объ общемъ равенствѣ твердившіе всегда,  
На брань позорную сзываете народы  
И защищаете насилье безъ стыда!  
Вы-ль, представители слѣпые просвѣщенья,  
Сыны Британіи и Франціи сыны,  
Забыли все свое народное значенье  
И стали съ гордостью подѣ знаменемъ Луны!...  
Съ какимъ презрѣніемъ потомокъ оскорбленный,  
Краснѣя, вашъ позоръ въ исторію внесеть  
И, гнѣвомъ праведнымъ невольно увлеченный,  
Постыдный вашъ союзъ, быть можетъ, проклянетъ!  
Но славу Сѣвера, наслѣдіе столѣтій,  
Но честь своей страны Россія сохранить!  
Возстанетъ старь и младъ, и женщины, и дѣти,  
И благородный гнѣвъ въ сердцахъ ихъ закипитъ!  
И далеко нашъ кличъ призывный пронесется,  
И пробудитъ онъ всѣхъ униженныхъ Славянъ,  
И грозно племя ихъ въ одинъ народъ сольется  
И страшною карой падетъ на Мусульманъ!  
И вновь увидитъ міръ, какъ мы въ борьбѣ кровавой  
Напомнимъ скопищамъ забывшихся враговъ  
Свой богатырскій мечъ, запечатлѣнный славой,  
И силу Русскую, и доблести отцовъ!

1851 года.

---

II.

Воздадимъ хвалу Русской землѣ.

(Сказаніе о Мамаевомъ побоищѣ).

Ужъ какъ былъ молодецъ—  
Илья Муромецъ,<sup>1</sup>  
Сидѣлъ сиднемъ Илья  
Ровно тридцать лѣтъ,—

На тугой лукъ стрѣлы  
Не накладываль,  
Богатырской руки  
Не показываль.

Какъ провѣдалъ онъ тутъ,  
Долго сидючи,  
О лихомъ Соловьѣ  
О разбойникѣ,—

Снарядилъ въ путь коня:  
Его первый скокъ—  
Былъ пять верстъ, а другой—  
Пропалъ изъ виду.

По коню былъ сѣдокъ,—  
Къ князю въ Кіевъ-градъ  
Онъ привезъ Соловья  
Въ торокахъ живьемъ.

Вотъ таковъ-то народъ  
Руси-Матушки!  
Онъ, безъ нужды, не вдругъ  
Съ мѣста тронется;

Не привыкъ богатырь  
Силой хвастаться,  
Щеголять удалствомъ,  
Умомъ-разумомъ;

Ужъ зато кто на брань  
Самъ напросится,  
За живое его  
Тронетъ не въ пору,—

Прочь раздумье и лѣнь!  
Послѣ отдыха  
Онъ, какъ буря, встаетъ  
Противъ недруга!

И поднимется кличъ  
Съ отголосками,  
Словно громъ загремитъ  
Съ перекатами.

И за тысячи верстъ  
Людъ откликнется,  
И пойдетъ по Руси  
Гуль безъ умолку.

Тогда все трынъ-трава  
Бойцу смѣлому:  
На куски его рѣжь,—  
Не поморщится.

Эхъ, родимая мать,  
Русь-кормилица!  
Не пришлось тебѣ знать  
Нѣги-роскоши!



Подъ грозой ты росла,  
Да подъ вьюгами,  
Буйный вѣтеръ тебя  
Убаюкивалъ;

Умывалъ бѣлый снѣгъ  
Лицо полное,  
Холодъ щеки твои  
Подрумянивалъ.

Много видѣла ты  
Нужды смолоду,  
Часто съ злыми людьми  
На смерть билася.

То не служба была,  
Только службишка;  
Вотъ теперъ сослужи  
Службу крѣпкую.

Видишь: тучи несутъ  
Громъ и молнію,  
При моряхъ города  
Загораются.

Всѣ друзья твои врозь  
Поразсыпались,  
Ты одна подъ грозой...  
Стой, Русь-Матушка!

Не дадутъ тебѣ пасть  
Дѣти-соколы.  
Встань, послушай ихъ кликъ,  
Да порадуйся...

„Для тебя—все добро,  
Платье цѣнное,  
Нашихъ женъ кровь и жизнь,  
Все для матери.“

Пронесетъ Богъ грозу,  
Взглянетъ солнышко,  
Шире прежняго, Русь,  
Ты раздвинешься!

Будетъ имя твое  
Людямъ памятно,  
Пока міру стоять  
Богомъ сужено.

И ужъ много могилъ  
Нашихъ недруговъ  
Поростетъ на Руси  
Травой дикою!

1854 года.

---

### III.

## Уличная встрѣча.

Словно безлюдный стоитъ весь городъ.  
Чуть видно солнце сквозь сѣть облаковъ.  
Пусто на улицѣ. Утренній холодъ  
Вывелъ узоры на стеклахъ домовъ.  
Крыши повсюду покрыты коврами  
Мягкаго снѣга; изъ трубъ тамъ и сямъ  
Дымъ поднимается кверху столбами,

Вьется, рѣдѣть, подобно клочкамъ  
Тучекъ прозрачныхъ,—и вдаль улетаетъ...  
Скучная улица! Вѣрно, народъ  
Здѣсь не охотно дворы покидаетъ...  
Вотъ только баба, согнувшись, несетъ  
Гробикъ подъ мышкою... вотъ и другая  
Встрѣтилась съ нею, поклонъ отдала,  
Кланяясь, молвила: „здравствуй, родная!“  
Остановилась и рѣчь повела:

„Кому-же этотъ гробикъ-то  
Ты, мать моя, взяла,  
Сыночекъ что ли, кончился,  
Иль дочка умерла?“

— „Сынка, моя голубушка,  
Сбираюсь хоронить:  
Да вотъ насилу сбилася  
И гробикъ-то купить.

А ужъ свѣчей и ладону  
Не знаю, гдѣ и взять...  
Есть старый самоваришка,  
Хочу въ закладъ отдать.

Мужъ боленъ. Вотъ три мѣсяца  
Лежить все на печи,  
Просить на бѣдность—совѣстно,  
Хоть голосомъ кричи“.—

„И, мать! и я стыдилася  
Просить въ твой года;  
Глупа была, ужъ что таить,  
Глупа да и горда.

Теперь привыкла, горянѣтъ:  
Придешь въ знакомый домъ,  
Поплачешь, да поклонисься,  
Разскажешь обо всемъ.

Вдова, молъ, я несчастная...  
Глядишь, — присѣсть велеть,  
Дадутъ какое платьишко  
И къ чаю пригласять.

Другое дѣло, мать моя,  
Подъ окнами ходить, —  
Вѣстимо, это совѣстно,  
Ужъ надо нищей быть.

А примутъ тебя въ комнатѣ, —  
Какой же тутъ порокъ?  
Ты, кажется, кручинишься,  
Что померъ твой сынокъ?»

— „Охъ, я, вѣдь, съ нимъ заботушки  
Не мало приняла!..  
Кормить его, по немочи,  
Я грудью не могла.

По утру жидкой кашицы  
Вольешь ему въ рожокъ,  
Сосеть ее онъ, бѣдненькій,  
Да тѣмъ и сытъ денекъ.

Тутъ, знаешь, у насъ горенка,  
Зимой-то, что ледникъ, —  
Чуть сонный онъ размечется,  
Ну, и подыметъ крикъ...

И весь дрожитъ отъ холода...  
Начнешь ему дышать  
На красныя рученьки-то,  
Ну, и заснетъ опять“.—

„И плакать тебѣ нечего,  
Что Богъ его прибралъ...  
Онъ, мать моя, я думаю,  
Не долго прохворалъ?“

— „Съ недѣлю, другъ мой, маялся  
И не бралъ въ ротъ рожка;  
Бывало, только капельку  
Проглотить молока.

Вчера, моя голубушка,  
Ласкаю я его,  
Глядь,—слезки навернулись  
На глазкахъ у него.

Какъ-будто жизнь безгрѣшную  
Онъ кинуть не хотѣлъ...  
А умеръ тихо, бѣдненькій,  
Какъ свѣчка, догорѣлъ!“—

„О чемъ-же ты заплакала?  
Тутъ воля не твоя.  
И дѣти-то при бѣдности —  
Желѣзы, мать моя!

Вотъ у меня Аринушка  
И умница была,  
По бархату, душа моя,  
Шить золотомъ могла;

Бывало, за работою  
До пѣтуховъ сидить;  
А мнѣ съ поклономъ по людямъ  
И выйти не велить:

„Сама ужъ, дескать, маменька,  
Я пропитаю васъ“.  
Работала, работала, —  
Да и лишилась глазъ.

Связала мои рученьки:  
Вѣдь, чахнетъ отъ тоски;  
Слѣпа, а вяжетъ кое-какъ  
Носчишки да чулки.

Чужаго калача не съѣсть;  
А если и возьметъ  
Кусокъ какой отъ голода,  
Все сердце надорветъ:

И ѣсть, и плачетъ, глупая,  
Журишь, — отвѣта нѣтъ...  
Вотъ каково, при бѣдности,  
Съ дѣтьми-то жить, мой свѣтъ!“

— „Охъ, горько, моя милая!  
Ростеть дитя—печаль,  
Умретъ оно—своя, вѣдь, кровь,  
Жаль, другъ мой, крѣпко жаль!“—

„Молися Богу, мать моя,—  
Не надобно тужить.  
Прости-же, я зайду къ тебѣ  
Блиновъ-то закусить“.

Бабы разстались. На улицѣ снова  
Пусто. Заборы и стѣны домовъ  
Смотрять печально и какъ-то сурово.  
Солнце за длинной грядой облаковъ  
Спряталось. Небо такъ блѣдно, безцвѣтно,  
Точно какъ мертвое... и облака  
Такъ безотрадно глядятъ, безпривѣтно,  
Что по-неволѣ находятъ тоска.

1855 года.

IV.

### На взятіе Карса.

Во храмы, братья! на колѣни!  
Возсталъ нашъ Богъ и грянулъ громъ!  
На память позднихъ поколѣній  
Судь начать кровью и огнемъ...

Таковъ удѣлъ твой, Русь святая,—  
Величье кровью покупать;  
На гудахъ пепла, выростая,  
Не въ первый разъ тебѣ стоять.

Въ борьбѣ съ чужими племенами  
Ты возмужала, развилась,  
И надъ мятежными волнами  
Скалой громадной поднялась.

Опять борьба! Растутъ могилы...  
Опять стоишь ты подъ грозой!  
Но чую я, какъ крѣпнуть наши силы,  
И вижу я, какъ дѣти рвутся въ бой...

За Русь! гремитъ народный голосъ.  
За Русь! по ратамъ кликъ идетъ  
И дыбомъ подымается мой волосъ,—  
За Русь! душа и тѣло вопіеть.

Все во гнѣвѣ проснулось и все закипѣло;  
Великою мыслью все царство живетъ;  
На страшныя битвы за правое дѣло  
Народъ оскорбленный, какъ буря, идетъ.

Задвигались рати, какъ тучи съ громами,  
Откликнулись степи, вздрогнули лѣса,  
Мелькаютъ знамена съ святыми крестами,  
И меркнутъ отъ пыли густой небеса.

За нашихъ героевъ отмщенье настало:  
По сушѣ, по морю гулъ битвы пошелъ,—  
И знамя Ислама позорно упало,  
Надъ Карсомъ поднялся двуглавый орелъ.

Да царствуетъ наша родная держава,  
Сыновъ-испоиновъ безсмертная мать!  
Да будетъ тебѣ вѣковѣчная слава,  
Облитая кровью могучая рать!

Пусть огнедышащихъ орудій  
Намъ зѣвы мѣдныя грозятъ,—  
Мы не закроемъ нашей груди  
Гранитомъ стѣнъ и сталью латъ.

Любовь къ отчизнѣ закалила  
Въ неравныхъ спорахъ нашъ народъ,—  
Вотъ сверхъестественная сила  
И чудотворный нашъ оплотъ!



Твердыня Руси—плоть живая,  
Несокрушимая стѣна,  
Надежда, слава вѣковая,  
И честь, и гордость—все она!

За насъ Господь! Онъ Русью править;  
Онъ Моисеевъ жезлъ пошлетъ,  
Царь по волнамъ жезломъ ударить, —  
И рати двинутся впередъ.

И грянуть новые удары...  
И вамъ, защитникамъ Луны,  
За грабежи и за пожары  
Отплатятъ Сѣвера сыны.

1855 года.





СОЧИНЕНІЯ

**И. С. НИКИТИНА.**

**ТОМЪ II.**



СОЧИНЕНІЯ  
И. С. НИКИТИНА

СЪ

ЕГО ПОРТРЕТОМЪ, FAC-SIMILE

И

БИОГРАФІЕЙ,

СОСТАВЛЕННОЙ РЕДАКТОРОМЪ ИЗДАНІЯ

М. Ѳ. де-Пуле.

ТОМЪ II.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ.

---

МОСКВА.

Издание книгопродавца-издателя **Владія Бузьмича Шамова**,  
въ Москвѣ, на Бол. Грузинской ул. въ собств. домѣ.

1900.

СОДЕРЖАНИЕ  
М. С. ШАРОВА

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ

М. С. Шарова

Типографія Н. Н. Шарова, Кудринская ул., д. Кирѣевой.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

1857.

Стр.

I. Лампадка . . . . .	1
II. „Смеркаетъ день. Въ бору темнѣть“ . . . . .	2
III. „Свѣтитъ мѣсяцъ въ окна“ . . . . .	4
IV. „Первый громъ прогремѣлъ. Яркій блескъ въ синевѣ“ . . . . .	5
V. „Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями“ . . . . .	6
VI. „Ярко звѣздъ мерцанье“ . . . . .	—
VII. „Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ“ . . . . .	8
VIII. „Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ“ . . . . .	9
IX. Соха . . . . .	10
X. „Ахъ, ты, бѣдность горемычная“ . . . . .	11
XI. Удаль и забота . . . . .	12
XII. Безталанная доля . . . . .	13
XIII. „Медленно движется время“ . . . . .	14
XIV. „Незамѣнимая, безцѣнная утрата“ . . . . .	15
XV. Разговоры . . . . .	16
XVI. Нищій . . . . .	18
XVII. Пахарь . . . . .	19
XVIII. Деревенскій бѣднякъ . . . . .	20

1858.

XIX. Ночлеги въ деревнѣ . . . . .	23
XX. Дѣдушка . . . . .	24
XXI. Пряжа . . . . .	25
XXII. Въ альбомѣ Е. А. П—вой . . . . .	28
XXIII. Въ альбомѣ А. Н. О—вой . . . . .	—
XXIV. „Въ небѣ радуга сіяетъ“ . . . . .	30
XXV. „Въ темной чашѣ замолкъ соловей“ . . . . .	—
XXVI. „Помнишь?—съ алыми краями“ . . . . .	31

	Стран.
XXVII. Горькія слезы . . . . .	32
XXVIII. „Миѣ, видно, нѣтъ иной дороги“ . . . . .	33
XXIX. „Дѣтство веселое, дѣтскія грезы“ . . . . .	34
XXX. „Ахъ, у радости быстрыя крылья“ . . . . .	35
XXXI. „Опять знакомыя видѣнья!“ . . . . .	36
XXXII. Пѣсня бобыля . . . . .	37
XXXIII. „Ѣхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ“ . . . . .	38
XXXIV. Мертвое тѣло . . . . .	40

### 1859.

XXXV. Старый слуга . . . . .	46
XXXVI. „Живая рѣчь, живые звуки“ . . . . .	48
XXXVII. „Перестань, милый другъ, свое сердце пугать“ . . . . .	49
XXXVIII. „И дождь и вѣтеръ. Ночь темна“ . . . . .	50
XXXIX. Могила дитяти (Посвящается Н. И. Второву) . . . . .	51

### 1860.

XL. „Бѣдная молодость, дни не веселыя“ . . . . .	53
XLI. „Я радъ молчать о горѣ старомъ“ . . . . .	54
XLII. Поэту-сбличителю . . . . .	55
XLIII. „Теперь мы вышли на дорогу“ . . . . .	56
XLIV. Поминки . . . . .	58
XLV. На пепелищѣ . . . . .	59
XLVI. Портной . . . . .	60
XLVII. „За прялкою баба въ ноявѣ сидитъ“ . . . . .	64
XLIII. Мать и дочь . . . . .	65
XLIX. Погостъ . . . . .	67

### 1861.

L. Хозяинъ . . . . .	68
----------------------	----

### Большія піесы.

Кулакъ (въ авторскомъ изданіи) . . . . .	77
Поѣздка на хуторъ . . . . .	211
Тарасъ . . . . .	223
Дневникъ семинариста . . . . .	245
Примѣчанія къ стихотвореніямъ . . . . .	3
Приложеніе ко 2-му тому . . . . .	3



Прощай, Лукия! Не радься тебе,  
Когда мой дом облетит била своим,  
Видишь ли, прустивши, са столом,  
Пода тетом дум, поной порою!  
И ста по твоелу пути  
Причалов бе, может бити, иди...  
Но е избраве ицудомо.  
Какъ узникъ, е рвансе на волю,  
Упрямо утти рабывам!  
Е свята, воздуха жечам!  
Во моеи творити лит бимо тмсно!  
Ни сил, ни зрети молодой  
Е не жратис: во борбн ох судьбой,  
Во благо ив? небесам иввстно.



1857 г.

I.

### Л а м п а д к а .



редь образомъ лампадка догораетъ,  
Кидая тѣнь на потолокъ;  
Какъ много думъ, думъ горькихъ вызываетъ  
Глазамъ знакомый огонекъ!

Я помню ночь: передъ моей кроваткой,  
Сжавъ руки, съ мукою въ чертахъ,  
Вся блѣдная, освѣщена лампадкой,  
Молилась мать моя въ слезахъ.

Я былъ въ жару. А за стѣною пѣли,—  
Шелъ пиръ семейный, какъ всегда!..  
Испуганный, я вздрагивалъ въ постели..  
Зачѣмъ не умеръ я тогда?

Я помню день: лампадка трепетала;  
Шелъ дождикъ, по стеклу звеня.  
Отецъ мой плакалъ... мать въ гробу лежала..  
Въ глазахъ мутилось у меня.

Но молодость сильна. Вдали блестяло;  
 Полна надежды, жить спѣша,  
 Изъ омута, гдѣ сердце холодѣло,—  
 Рвалась впередъ моя душа.

Вотъ эта даль, страна моей святыни,  
 Гдѣ, мнѣ казалось, свѣтъ горить...  
 Иду по ней,— и холодомъ пустыни  
 Со всѣхъ сторонъ меня язвить.

Увы! лампадки яркое сіянье,  
 Чтò было, пробуждая вновь,  
 Бросаетъ лучъ на новое страданье  
 Недавнихъ ранъ живую кровь!

Я не нашелъ съ годами лучшей доли,  
 Не спасъ меня завѣтный путь  
 Отъ тонкихъ иглъ, чтò входятъ противъ воли  
 Въ горячій мозгъ, въ больную грудь.

Все мракъ и плачь... рубцы отъ бичеванья...  
 Разсвѣтъ спасительный далекъ...  
 И гаснутъ дни средь мрака и молчанья,  
 Какъ этотъ блѣдный огонекъ.

---

II \*).

\* \* \*

(Отрывокъ).

Смеркаетъ день. Въ бору темнѣеть...  
 Пожаръ зари надъ нимъ краснѣеть;  
 Во влажной почвѣ листь сухой

\*) См. „Призываніе“ стр. 3, № 1-й.

Безъ звука тонетъ подъ ногой;  
 Недвижны сосны. Сонъ ихъ чудный  
 Такъ полонъ грезъ. Едва-едва  
 Примѣтна неба синева  
 Сквозь вѣтви. Сѣтью изумрудной  
 Покрыла цѣлкая трава,  
 Сухое дерево. Грозою  
 Оно на землю свалено  
 И до корней обожжено.  
 Тропинка черной полосою  
 Лежить въ травѣ. По сторонамъ  
 Грибы бѣлѣютъ тутъ и тамъ.  
 Порою вѣтеръ шаловливый  
 Разбудитъ листья, слышенъ шумъ,  
 И вдругъ все стихнетъ — и на умъ  
 Приходятъ сказочныя дивы.  
 Слухъ раздраженъ. Вотъ въ чащѣ трескъ—  
 И мнится, видишь яркій блескъ  
 Двухъ яркихъ глазъ... Одно мгновенье—  
 И все пропало. Вотъ рѣка;  
 Въ зеленой рамѣ лозняка  
 Ея спокойное теченье .  
 Такъ полно силы! Челноки:  
 Собрали сѣти рыбаки,  
 Плывають; струи бѣгутъ отъ весель;  
 Угрюмый берегъ тѣнь отбросилъ;  
 Мостъ подъ телѣгами дрожить;  
 И скрипъ колесъ, и стукъ копытъ  
 Тревожатъ цаплю, и пугливо  
     Она летитъ изъ-подъ куста.  
     Веселый шумъ и суета  
     На мельницѣ. Нетерпѣливо  
     Волна сердитая реветъ,  
     Мелькаетъ жорновъ торопливо...

Пора домой: ужъ ночь идетъ,  
 Огни по небу разсыпаетъ.  
 Пора домой: семья заботъ  
 Меня давно тамъ поджидаетъ;  
 Приду,—и встрѣтитъ у воротъ,  
 И крѣпко, крѣпко обойметъ.

---

 III.

\* \* \*

Свѣтитъ мѣсяцъ въ окна...  
 Пѣтухи пропѣли;  
 Погасилъ я свѣчку  
 И лежу въ постели.

Спать-бы—да не спится,  
 Весь я, какъ разбитый.  
 Голову и сердце  
 Мучить день прожитый.

Пусть-бы мнѣ на долю  
 Выпалъ трудъ тяжелый,—  
 Да хоть сонъ покойный,  
 Да хоть часъ веселый!

Что-жъ ты, жизнь-веселье,  
 Пропадаешь даромъ,  
 Улетаешь прахомъ,  
 Исчезаешь паромъ?

Есть-же, вѣдь, у птички,  
 Что поетъ въ лазури,

Воля да раздолье  
И приютъ отъ бури.

Запоесть зарею—  
Кто-нибудь услышитъ,  
Веселѣе смотреть,  
Легче грудью дышетъ.

Ты-же, какъ ни бейся,  
Все не въ честь, не въ радость:  
И другимъ ненуженъ,  
И себѣ-то въ тягость.

---

 IV.

Первый громъ прогремѣлъ. Яркій блескъ въ синевѣ,  
Въ теплому воздухѣ пѣсни и нѣга;  
Голубые цвѣтки въ прошлогодней травѣ  
Показались на свѣтъ изъ-подъ снѣга.

Пригрѣваются стекла лучемъ золотымъ;  
Вербы почки свои распустили;  
И съ надворья гнѣздо, надъ окошкомъ моимъ,  
Сизокрылые голуби свили!

Что за робкіе гости! чуть мимо идешь,—  
Торопливо головки поднимутъ,  
Смотрятъ долго и зорко... Того только ждешь,  
Что бѣдняжки приютъ свой покинутъ.

Какъ я радъ имъ! Боюсь и окно отворять:  
Все мнѣ кажется, ихъ испугаю:  
Беззащитнымъ созданьямъ легко помѣшать,  
А легко-ль имъ живется—я знаю.

Чуть окрасится небо полоской огня  
 И сквозь стекла разсвѣтъ заблѣдетъ, —  
 Воркотнею своей они будятъ меня:  
 Посмотри, молъ, какъ зорька албѣтъ.

Сталъ уютнѣй, свѣтлѣй уголокъ мой теперь  
 Этой кроткой семьи новоселье, —  
 Можетъ быть, послѣ смутъ, и борьбы, и потерь...  
 Предвѣщаетъ мнѣ миръ и веселье!

---

## V.

Въ синемъ небѣ плывутъ надъ полями  
 Облака съ золотыми краями;  
 Чуть замѣтенъ надъ лѣсомъ туманъ,  
 Теплый вечеръ прозрачно-румянъ.

Вотъ ужъ вѣетъ прохладой ночью;  
 Грезить колосъ надъ узкой межою;  
 Мѣсяцъ огненнымъ шаромъ встаетъ,  
 Краснымъ заревомъ лѣсъ обдаетъ.

Кротко звѣздъ золотое сіянье,  
 Въ чистомъ полѣ покой и молчанье;  
 Точно въ храмѣ стою я въ тиши  
 И въ восторгѣ молюсь отъ души.

---

## VI.

Ярко звѣздъ мерцанье  
 Въ синевѣ небесъ;  
 Мѣсяца сіянье  
 Падаетъ на лѣсъ.



Въ зеркало залива  
Сонный лѣсъ глядитъ;  
Въ чащѣ молчаливой  
Темнота лежитъ.

Слышенъ межъ кустами  
Смѣхъ и разговоръ;  
Жарко косарями  
Разведенъ костеръ.

По травѣ высокой,  
Съ цѣпью на ногахъ,  
Бродитъ одиноко  
Бѣлый конь впотьмахъ.

Вотъ ужъ пѣснь заводитъ  
Пѣсенникъ лихой,  
Изъ кружка выходитъ  
Парень молодой.

Шапку вверхъ кидаетъ,  
Ловитъ, - не глядитъ  
Пляшетъ—присѣдаетъ,  
Соловьемъ свиститъ.

Пѣснь отвѣчаетъ  
Коростель въ лугахъ,  
Пѣсня замираетъ  
Далеко въ поляхъ...

Золотыя нивы,  
Гладь и блескъ озеръ,  
Свѣтлыя заливы,  
Безъ конца просторъ,

Звѣзды надъ полями,  
 Глушь да камыши...  
 Такъ и льются сами  
 Звуки изъ души.

---

 VII.

\* \*  
 \* \*

Въ чистомъ полѣ тѣнь шагаетъ.  
 Пѣсня изъ лѣсу несется,  
 Листъ зеленый задѣваетъ,  
 Желтый колосъ окликаетъ,  
 За курганомъ отдается.

За курганомъ, за холмами,  
 Дымъ-туманъ стоитъ надъ нивой,  
 Свѣтъ мигаетъ полосами,  
 Зорька тучекъ рукавами  
 Закрывается стыдливо.

Рожь да лѣсъ, зари сіянье,—  
 Дума, Богъ вѣсть, гдѣ летаетъ...  
 Смутно листьевъ очертанье,  
 Вѣтерокъ сдержалъ дыханье,  
 Только молнія сверкаетъ.

---

## УШ.

\* \* \*

Покой мнѣ нуженъ. Грудь болитъ,  
Озлобленъ умъ и ноетъ тѣло.  
Все, отъ чего душа скорбитъ,  
Вокругъ меня весь день кипѣло.

Куда бѣжать отъ громкихъ словъ?  
Мы все добры и непорочны!  
Боготворить себя готовъ  
Иной другъ правды безупречный!

Убита совѣсть, умеръ стыдъ,  
И ложь во тьмѣ царить свободно;  
Никто позора не казнить,  
Никто не плачетъ всенародно!

Межъ нами мучениковъ нѣтъ...  
На крикъ: „спасите!“ нѣтъ отвѣта!  
Не выйдемъ мы на Божій свѣтъ:  
Нашъ рабскій духъ боится свѣта!

Быть можетъ, въ воздухѣ весь вредъ, —  
Чему-бы гибнуть, — процвѣтаетъ,  
Чему-бъ цвѣсти, — роняетъ цвѣтъ  
И жалкой смертью умираетъ.

## С о х а.

Ты, соха-ли наша матушка,  
Горькой бѣдности помощница,  
Неизмѣнная кормилица,  
Вѣковѣчная работница!

По твоей-ли, соха, милости,  
Съ хлѣбомъ гумны пораздвинуты,  
Сыты злые, сыты добрые,  
По полямъ ковры раскинуты!

Про тебя и вспомнить некому...  
Что-жъ молчишь ты, безпривѣтная,  
Что не въ славу тебѣ трудъ идетъ,  
Не въ честь служба безотвѣтная?..

Ахъ, крѣпка, не знаетъ устали  
Мужичка рука желѣзная,  
И покоить соху-матушку  
Одна ноченька беззвѣдная!

На межѣ трава зеленая,  
Полынь дикая качается;  
Не твоя-ли доля горькая  
Въ ея сокѣ отзывается?

Ужъ и кѣмъ-же ты придумана,  
Къ дѣлу навѣки приставлена?  
Кормишь малаго и старого,  
Сиротой сама оставлена...

---

## X.

\* \* \*

Ахъ, ты, бѣдность горемычная  
Дома въ горѣ терпѣливая,  
Къ куску черному привычная,  
Въ чужихъ людяхъ боязливая!

Всѣмъ ты, робкая, въ глаза глядишь,  
Сирота, стыдомъ убитая,  
Къ богачу придешь, въ углу стоишь,  
Безпривѣтная, забытая.

Ты плывешь—куда водой несетъ,  
Стороной бредешь—гдѣ путь дадутъ,  
Просишь солнышка—гроза идетъ,  
Скажешь правду—силой ротъ зажмутъ.

У тебя весна безъ зелени,  
А любовь твоя безъ радости,  
Твоя радость безо времени,  
Немочь съ голодомъ при старости.

Вѣкъ ты мучишься, да маешься,  
Все на сердцѣ грусть великая;  
Съ бѣлымъ свѣтомъ ты разстанешься,—  
На могилѣ травка дикая.

## XI.

## Удаль и забота.

Таеъ забота, какъ свѣчка,  
 Вѣкъ отъ тоски пропадаетъ;  
 Удали горе—не горе,  
 Въ цѣпи закуй,—распѣваетъ.

Ляжетъ забота—не спится,  
 Спать-ли, пройди--встрепенется;  
 Спать молодецкая удалъ,  
 Громомъ ударъ—не проснется.

Клонится колось отъ вѣтра  
 Вѣтеръ заботу наклонить;  
 Встрѣтится удалъ съ грозой—  
 На ухо шапку заломить.

Всѣхъ-то забота боится,  
 Толпнуть ногой—поблѣднѣетъ,  
 Толпнуть ногою на удалъ—  
 Лѣзетъ на ножъ, не робѣетъ.

По-смерть забота скупится,  
 Поздно и рано хлопочетъ;  
 Удалъ, не думавъ, добудетъ,  
 Кинетъ на вѣтеръ—хохочетъ.

Пѣсня заботы—не пѣсня:  
 Слушать—тоска одолѣетъ;  
 Удалъ присвистнетъ, притопнетъ—  
 Горе и думу развѣетъ.

Явится въ гости забота, —  
Въ домѣ и скука, и холодъ;  
Удалъ влетить да обниметь, —  
Станешь и весель, и молодъ.

---

## XII.

**Безталанная доля.**

Доля безталанная,  
Что жена сварливая,  
Не уморить съ голода,  
Не накормить досыта.

Дома—гонить изъ дому,  
Ведеть въ гости на горе;  
Ломить, что ни вздумаетъ,  
Поперекъ да на двое.

Ахъ, жена сварливая  
Пошумить—уходится,  
Съ пѣтухами поздними  
Заснетъ—успокоится.

Доля безталанная  
Весь день потѣшается,  
Растолкаетъ соннаго —  
Всю ночь насмѣхается.

Грозить мукой, бѣдностью,  
Сулить дни тяжелые,  
Смотрѣть велить соколомъ  
Пѣсни пѣть веселыя.

Пѣсни тѣ веселыя  
 Свистомъ покрываются,  
 Послѣ пѣсенъ въ три ручья  
 Слезы проливаются.

---

## XIII.

\* \*

Медленно движется время,—  
 Вѣруй, надѣйся и жди...  
 Зрѣй, наше юное племя!  
 Путь твой широкъ впереди.  
 Молніи насъ освѣтили,  
 Мы на распутьи стоимъ...  
 Мертвые въ мирѣ почили,  
 Дѣло настало живымъ.

Сѣялось сѣмя вѣками,—  
 Корни въ землѣ глубоко;  
 Срубишь лѣса топорами,—  
 Зло вырывать не легко:  
 Намъ его въ дѣтствѣ привили,  
 Дѣды сроднились съ нимъ.  
 Мертвые въ мирѣ почили,  
 Дѣло настало живымъ.

Стыдъ, кто бессмысленно тужить,  
 Листья зашепчуть: онъ нѣмъ!  
 Слава, кто истинѣ служитъ,  
 Истинѣ жертвуетъ всѣмъ!  
 Поздно глаза мы открыли,  
 Дружно на трудъ поспѣшимъ...



Мертвые въ мирѣ почили;  
Дѣло настало живымъ.

Рыхлая почва готова,  
Сѣйте, покуда весна:  
Добраго дѣла и слова  
Не пропадутъ сѣмена.  
Гдѣ мы и какъ ихъ добыли—  
Внукамъ отчетъ отдадимъ...  
Мертвые въ мирѣ почили  
Дѣло настало живымъ.

## XIV.

\* \* \*

Незамѣнимая, безцѣнная утрата!  
И вѣра въ будущность, и радости труда,  
Чѣмъ жизнь была средь горести богата,—  
Все сгублено безъ цѣли и плода!  
Какъ хрупкое стекло, все въ дребезги разбито  
Желѣзнымъ молотомъ судьбы!  
Такъ вотъ зачѣмъ такъ много лѣтъ прожито  
Въ тяжеломъ воздухѣ, средь горя и борьбы!  
Осталась боль... Незримо и несмѣло,  
Но врагъ подходитъ въ тишинѣ.  
До времени изношенное тѣло  
Горить на медленномъ огнѣ...  
Жизнь обманула горько и обидно!  
А все не вѣрится... все хочешь на пути,  
Въ глухой степи, гдѣ зги не видно,  
Хоть точку свѣтлую найти.  
Но гдѣ-жь она? Гдѣ отдохнуть возможно?

Гдѣ путеводные, небесные огни?  
 Неужто кончатся такъ пошло и ничтожно  
 Слезами памятные дни?..

Такъ, полная тревожнаго волненья,  
 Не смѣя тишины дыханьемъ нарушать,  
 Младенца милаго послѣднія мгновенья  
 Тоскливо сторожить трепещущая мать.  
 Неужто онъ умретъ? И, чуду вѣрить рада,  
 Въ слезахъ предъ образомъ ницъ падаетъ она,  
 Но часъ пробилъ. Едва зажженная лампада  
 Таинственной рукой погашена...

---

XV \*).

## Разговоры.

Новой жизни заря—  
 И тепло и свѣтло:  
 О добрѣ говоримъ,  
 Негодуемъ на зло.

За родимый нашъ край  
 Наше сердце болитъ;  
 За прожитые дни  
 Мучить совѣсть и стыдъ.

Что намъ цвѣсть не даетъ,  
 Держить ростъ молодой,—  
 Такъ и бросить-бы съ плечъ  
 Этотъ хламъ вѣковой!

---

\*) См. „Прилѣчанія“, стр. 3, № 2-й.

Гдѣ-жъ вы, слуги добра?  
Выходите впередь...  
Подавайте примѣръ!  
Поучайте народъ!

Нашъ разумный порывъ,  
Нашу честную рѣчь  
Надо въ кровь претворить,  
Надо плотью облечь.

Какъ повѣрить словамъ —  
По часамъ мы ростемъ!  
Закричать: „помоги!“ —  
Черезъ пропасть шагнемъ!

Въ насъ душа горяча,  
Наша воля крѣпка,  
И печаль за другихъ  
Глубока, глубока!..

А приходитъ пора  
Добрый подвигъ начать,  
Такъ намъ жаль съ головы  
Волосокъ потерять:

Тутъ раздумье и лѣнь,  
Тутъ насъ робость возьметъ;  
А слова... на словахъ  
Соколиный полетъ!..

## Н и щ . і й .

И вечерней, и ранней порою  
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ  
Подъ окошками ходятъ съ сумою,  
Христа-ради на помощь зоветъ.

Надѣваетъ-ли сумку неволя,  
Неохота-ли взяться за трудъ, —  
Тяжела и горька твоя доля,  
Безпріютный, оборванный людъ!

Не откажутъ тебѣ въ подаяньи,  
Не умрешь ты безъ крова зимой, —  
Жаль разумное Божье созданье,  
Человѣка въ грязи и съ сумой!

Но бѣднѣе и хуже есть нищій:  
Не пойдетъ онъ просить подъ окномъ.  
Цѣлый вѣкъ, изъ одежды и пищи,  
Онъ работаетъ ночью и днемъ.

Спитъ въ лачужкѣ, на грязной соломѣ,  
Богатырь въ безысходной бѣдѣ,  
Крѣпче камня въ несносной истомѣ,  
Крѣпче мѣди въ кровавой нуждѣ.

По-смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,  
По-смерть жнеть, а нужда продаетъ;  
О немъ облако слезы роняетъ,  
Про тоску его буря поетъ.

---

## XVII.

## П а х а р ь.

Солнце за день нагулялося,  
За кудрявый лѣсъ спускается;  
Лѣсъ стоитъ подъ шапкой темною,  
Въ золотомъ огнѣ кушается.

На бугрѣ трава зеленая  
Спитъ, вся искрами обрызгана,  
Пылью розовой осыпана,  
Да камнями унизана.

Не слышать-то въ полѣ голоса,  
Молча воронъ на межѣ сидитъ,  
Только слышенъ голосъ пахаря,  
За сохой онъ на коня кричитъ.

Съ ранней зорьки пашня черная  
Бороздами подымается,  
Конь идетъ—понурилъ голову,  
Мужичекъ идетъ—шатается...

Ужъ когда-же ты, кормилецъ нашъ,  
Возьмешь верхъ надъ долей горькою?  
Изъ земли ты роешь золото,  
Самъ-то сытъ сухою коркою!

Зрѣеть рожь—тебѣ заботушка:  
Какъ-бы градомъ не побилася,  
Безъ дождей въ жары не высохла,  
Отъ дождей не положилася.

Хлѣбъ поспѣлъ—тебѣ кручинушка:  
 Убирать ты не справишься,  
 На корню-то онъ осыплется,  
 Безъ куска-то ты останешься.

Урожай—купцы спѣсивятся;  
 Годъ плохой—въ семьѣ всѣ мучатся—  
 Все твой дворъ не поправляется,  
 Дѣтки грамотѣ не учатся.

Гдѣ же кладъ твой заколдованный,  
 Гдѣ таланъ твой, пахарь, спрятался?  
 На труды твои, да на горе  
 Вдоволь вчужѣ я наплакался!

---

 XVIII.

### Деревенскій бѣднякъ.

Мужика-бѣдняка  
 Господь-Богъ наградила:  
 Душу теплую далъ  
 И умомъ надѣлилъ.

Да злодѣйка-нужда  
 И глупа, и сильна,  
 Закидала его  
 Соромъ, грязью она.

Бѣдимъ дымомъ въ избѣ,  
 И курной, и сырой,  
 Выѣдаетъ глаза,  
 Душитъ зимней порой.

То работа не въ мочь,  
То расправа и судъ  
Молодца-Силача  
Въ три-погибели гнуть.

Присмирѣлъ онъ, притихъ,  
Рѣчи скупю ведетъ,  
Изъ подлюбья глядитъ,  
Силу въ землю кладетъ,

Захирѣй его конь —  
Бѣдный чортъ виновать,  
Плаксу-бабу бранить  
И голодныхъ ребятъ.

Пропадай, дескать, всѣ!..  
На печь ляжетъ ничкомъ,  
Вихорь крышу развѣй,  
Съ горя все ни почемъ!

А какъ крикнуть: „пожаръ!“  
Не зови и не тронь, —  
За чужое добро  
Радъ и въ дымъ, и въ огонь.

Коли хмѣль въ головѣ—  
Загуляетъ душа:  
Туть и горе прошло,  
Туть и жизнь хороша.

На дворѣ подъ дождемъ  
Онъ зипунъ распахнетъ  
Про лѣса, и про степь,  
Да про Волгу поетъ.

Проспался, гдѣ упалъ, —  
И притихъ онъ опять:  
Передъ всѣми готовъ  
Шапку рваную снять.

Схватить немочь — молчить,  
Только зубы сожметъ;  
Скажутъ: смерть подошла, —  
Онъ рукою махнетъ.





1858 г.

XIX.

## Ночлегъ въ деревнѣ.



ушный воздухъ, дымъ лучины,  
 Подъ ногами соръ,  
 Соръ на лавкахъ, паутины  
 По угламъ узоръ:

Закоптылыя палаты,  
 Черствый хлѣбъ, вода,  
 Кашель пряхи, плачь дитяти...  
 О, нужда, нужда!

Мыкать горе, вѣкъ трудиться,  
 Нищимъ умереть...  
 Вотъ гдѣ нужно бы учиться  
 Вѣрить и терпѣть!

XX.

## ДѢДУШКА.

Лысый, съ бѣлой бородою,  
 Дѣдушка сидить.  
 Чашка съ хлѣбомъ и водою  
 Передъ нимъ стоять.

Бѣлъ, какъ лунь, на лбу морщины,  
 Съ испытимъ лицомъ,  
 Много видѣлъ онъ кручины  
 На вѣку своемъ.

Все прошло; пропала сила.  
 Притупился взглядъ:  
 Смерть въ могилу уложила  
 Дѣтокъ и внучать.

Съ нимъ въ избушкѣ закоптѣлой  
 Коть одинъ живеть.  
 Старъ и онъ, и спить день цѣлый,  
 Съ печи не спрыгнетъ.

Старику не много надо:  
 Лапти сплестъ, да сбыть—  
 Вотъ и сытъ. Его отрада—  
 Въ Божій храмъ ходить.

Къ стѣнкѣ, около порога,  
 Станетъ тамъ, кряхтя,  
 И за скорби славить Бога,  
 Божіе дитя.

Радъ онъ жить, не прочь въ могилу,—  
 Въ темный уголокъ...  
 Гдѣ ты черпалъ эту силу,  
 Бѣдный мужичекъ?

## XXI.

## П р я х а.

Ночь и непогодь. Избушка  
 Плохо топлена.  
 Нитки бѣдная старушка  
 Сучить у окна.

Ужъ грозы-ль она боится,  
 Скучно-ли,—сидить,  
 Спать ложилась, да не спится,  
 Сердце все щемить.

И трещить-трещить лучина,  
 Свѣтъ на пряху лъетъ.  
 Прожитая грусть-кручина  
 За сердце беретъ.

Бѣдность, бѣдность! Мужъ, бывало,  
 Хоть подчасъ и пилъ,—  
 Все жилось съ нимъ, горя мало,  
 Все жену кормилъ.

Вотъ подъ старость, какъ ужъ зрѣнье  
 Потерялъ на вѣкъ,  
 Потерялъ онъ и терпѣнье—  
 Грѣшный человекъ!

За сохой ходить—не видеть,  
 Побираться—стыдь,  
 Тутъ безвинно кто обидить,—  
 Онъ молчить, молчить...

Плюнетъ, срамными словами  
 Долю проклянетъ,  
 И зальется вдругъ слезами,  
 Какъ дитя реветъ...

Такъ и умеръ. Богъ помилуй—  
 Вотъ морозъ-то былъ!  
 Бились-бились! Сынъ могилу  
 Топоромъ рубилъ!...

Паренекъ тогда былъ молодъ,—  
 Выросъ, возмужалъ...  
 Что за сила! Въ зной и холодъ  
 Устали не зналъ!

Поведеть-ли рѣчь, бывало, —  
 Что старикъ ведетъ;  
 Запоетъ при зорькѣ алой,—  
 Слушать,—духъ замретъ...

Человѣкъ-ли утопаетъ,  
 Иль изба горитъ,  
 Что бъ ни дѣлалъ—все бросаетъ—  
 Помогать бѣжить.

И веселье, и здорье  
 Далъ ему Господь;  
 Будь хоть камень изголовье,  
 Легъ онъ—и заснетъ...

Справить думалъ онъ избушку,  
Въ бурлаки пошелъ;  
Нѣтъ! Беречь ему старушку  
Богъ ужъ не привелъ.

Приусталь подь ляжкой, въ стужу  
До костей промокъ,  
Платье—ветошь, грудь наружу,  
Заболѣлъ и слегъ.

Умеръ, бѣдный! Мать узнала,—  
Слезъ что пролила!  
Умъ и память потеряла,  
Грудь надорвала!

И трещить-трещить лучина,  
Ниткѣ нѣтъ конца,  
Мучить пряжу грусть-кручина,  
Нѣтъ на ней лица.

Плачь да стонъ она все слышитъ  
И, припавъ къ стеклу,  
На морозный иней дышетъ,  
Смотрить: по селу

Кто-то въ бѣломъ пробѣгаетъ,  
Съ бѣлой головой,  
Горстью звѣзды разсыпаетъ,  
Въ улицѣ пустой:

Звѣзды искрятся... А вьюга  
Въ ворота стучить...  
И старушка отъ испуга  
Чуть жива сидитъ.

---

## XXII.

## Въ альбомъ Е. А. П---вой.

Съ младенчества дикарь печальный,  
 Больной, съ изношеннымъ лицомъ,  
 Съ какой-то робостію тайной  
 Вхожу я въ незнакомый домъ.

Но гдѣ привыкъ, гдѣ я встрѣчаю  
 Хозяйки милое лицо, ---  
 Тутъ все забыто: я вбѣгаю  
 Здоровъ и веселъ на крыльцо.

Вотъ такъ и здѣсь: я точно дома;  
 Мнѣ отраднo и тепло:  
 И радъ я на листкѣ альбома  
 Писать, что въ голову пришло.

Хозяйка милая, я знаю,  
 Мнѣ все простить, она добра;  
 И сталь неловкаго пера  
 Я неохотно покидаю.  
 Хотѣлъ бы вновь писать, писать —  
 До безконечности болтать.

## XXIII.

## Въ альбомъ А. Н. О---вой.

Послушный вашему желанью,  
 Беру перо, сажусь писать:  
 Грѣшно прекрасному созданью  
 Въ невинной просьбѣ отказать.

Конечно, жаль! я васъ не знаю;  
Увы! скорбитъ моя душа!  
Молвъ я съ жадностью внимаю,  
Что вы, какъ ангель, хороша.

Но все равно. Идите съ Богомъ,  
Мои стихи! Счастливый путь!  
Отрадной встрѣчи мнѣ залогомъ  
Послужите когда-нибудь.

Какъ угадать! Съдой и хилый,  
Когда весь сморщусь и согнусь.  
Авось съ красавицею милой,  
Лѣтъ черезъ десять, я сойдусь,

Въ тотъ мигъ—его воображаю—  
Добра, прекрасна, молода,  
Она мнѣ скажетъ: „я васъ знаю!“  
И буду счастливъ я тогда.

„Я съ вами ужъ давно знакома...“  
И этихъ строкъ напомнить рядъ,  
Покажетъ мнѣ листокъ альбома,  
И я отвѣчу: виновать!

Позвольте... эта встрѣча съ вами...  
И волю дамъ карандашу,  
И вдохновенными стихами  
Ея портретъ я напишу.

---

## XXIV.

\*  
\* \*

Въ небѣ радуга сіяетъ;  
 Розы дождикомъ омыты,  
 Солнце въ зелени играетъ,  
 Темный садъ благоухаетъ,  
 Кудри золотомъ покрыты.

Свѣтъ и тѣнь подь деревьями  
 Переходятъ, какъ живые;  
 Мохъ унизанъ огоньками;  
 Надъ душистыми цвѣтами  
 Вьются пчелы золотыя.

Въ чащѣ,—свиста переливы,  
 Стрекотня и пѣсенъ звуки.  
 Подлѣ ты, мой другъ стыдливый...  
 Слава Богу! мигъ счастливый  
 Уловилъ я въ часъ разлуки.

## XXV \*).

\*  
\* \*

Въ темной чащѣ замолчѣ соловей,  
 Прокатилась звѣзда въ синевѣ;  
 Мѣсяцъ смотритъ сквозь сѣтку вѣтвей,  
 Зажигаетъ росу на травѣ.

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 3-й.



Дремлють розы. Прохлада плыветъ.  
 Кто-то свистнулъ... вотъ замеръ и свистъ.  
 Ухо слышитъ,—едва упадетъ  
 Насѣкомымъ подточенный листъ.

Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ  
 У тебя милый очеркъ лица!  
 Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,  
 Я-бъ продлилъ безъ конца, безъ конца!

## XXVI.

\* \*

Помнишь?—съ альми краями  
 Тучки въ озерѣ играли;  
 Шапки на ухо, верхами  
 Ребятишки въ лѣсъ скакали.

Табуномъ своимъ покинуть,  
 Конь въ водѣ остановился  
 И, какъ будто опрокинуть,  
 Недвижимымъ въ ней отразился.

При зорѣ румяной колосъ  
 Сквозъ дремоту улыбался:  
 Лѣсъ синѣлъ. Кукушки голосъ  
 Въ сонной чащѣ раздавался.

По полянѣ передъ нами—  
 Чтѣнишагъ —цвѣтыпестрѣли,  
 Тѣнь бродила за кустами,  
 Краски вечера блѣднѣли...

Трепетъ сердца, упоенье,—  
 Вамъ въ слова не воплотится!  
 Помнишь!.. Чудныя мгновенья!  
 Суждено-ль имъ воротиться?

---

 XXVII.

## Горькія слезы.

In meiner Brust, da sitzt ein Weh  
 Das will die Brust zersprengen.  
 Н е і н е.

Чужихъ страданій жалкій зритель,  
 Я жизнь растратилъ безъ плода,  
 И вотъ проснулась совѣсть-мститель  
 И жжетъ лицо огнемъ стыда.

Чужой бѣдой я волновался,  
 Отъ слезъ чужихъ я не спалъ ночь,—  
 И все молчалъ, и все боялся,  
 И никому не могъ помочь.

Убить нуждой, убить трудами,  
 Мой братъ и чахъ, и погибалъ,  
 Я закрывалъ лицо руками —  
 И плакалъ, плакалъ - и молчалъ!

Я слышалъ злу рукоплесканья  
 И все терпѣлъ, едва дыша;  
 Подъ пыткой негодовапья  
 Молчала рабская душа!

Мой духъ сроднился съ духомъ вѣка,  
 Тропой пробитою я шелъ:

Святую личность человека  
До пошлой мелочи низвелъ.

Ты-ль это жизнь, къ добру съ любовью,  
Плодъ мысли, горя и борьбы?  
Увы! отмѣчена ты кровью,  
Насмѣшка страшная судьбы!

---

XXVIII.

\* \* \*

Мнѣ, видно, нѣтъ иной дороги —  
Она лежитъ... иди впередъ,  
Тащись, покуда служатъ ноги,  
А впереди — что Богъ пошлетъ.

Все грязь, да грязь... Господь помилуй!  
Устанешь — духъ переведешь,  
Опять впередъ! хоть не подъ силу,  
Хоть плакать въ пору, — все идешь!

Нужда, печаль, тоска и скука,  
Нѣтъ воли сердцу и уму...  
Изъ-за чего вся эта мука —  
Извѣстно Богу одному!

Ужъ пусть-бы радость пропадала  
Для блага хоть чьего нибудь,  
Была-бы цѣль — душа-бъ молчала,  
Имѣль-бы смыслъ тяжелый путь;

Такъ нѣтъ! какой-то врагъ незримый  
 Изъ жизни пытку создаетъ  
 И, какъ палачъ неумолимый,  
 Надъ жертвой хохотъ издаетъ.

XXIX \*).

\* \*

Дѣтство веселое, дѣтскія грезы —  
 Только васъ вспомнишь, — улыбка и слезы...  
 Голову няня въ дремотѣ склонила,  
 На полъ съ лежанки чулокъ уронила;  
 Прыгаетъ котъ, шевелить его лапкой,  
 Свѣчка ужъ меркнетъ подъ огненной шапкой,  
 Двигается сумракъ, въ глаза мнѣ глядитъ...  
 Зимняя вьюга шумить и гудить.

Прогнали сонъ мой рассказы старушки,  
 Вотъ я въ лѣсу у порога избушки;  
 Ждетъ къ себѣ гостя колдунья сѣдая —  
 Змѣй подлетаетъ, огонь рассыпая.  
 Замеръ лѣсъ темный, ни свиста, ни шума,  
 Смотрятъ деревья угрюмо, угрюмо!  
 Сердце мое замираетъ — дрожить...  
 Зимняя вьюга шумить и гудить.

Няня встаетъ и лѣниво зѣваетъ,  
 На ночь постелю мою оправляетъ.  
 „Лягъ, мой соколигъ, съ молитвой святою,  
 Божія сила да будетъ съ тобою“...

\*) См „Прииѣчанія“, стр. 4, № 4-й.

Нянина шубка мнѣ ноги пригрѣла,  
 Вотъ ужъ въ глазахъ у меня запестрѣло,  
 Сплю и не сплю я... лампада горить...  
 Зимняя вьюга шумить и гудить.

Вѣчная память, веселое время!  
 Грудь мою давить тяжелое бремя,  
 Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлѣбѣ,  
 Дѣтство сіяетъ, какъ радуга въ небѣ...  
 Гдѣ вы, веселье, и сонъ, и здоровье?  
 Взмokло отъ слезъ у меня изголовье,  
 Темная даль мнѣ бѣдою грозить...  
 Зимняя вьюга шумить и гудить.

---

XXX \*)

\* \*

Ахъ, у радости быстрыя крылья,  
 Золотыя да яркія перья!  
 Прилетитъ, — вся душа встрепенется,  
 Передъ смертью больной улыбнется!

Ужъ завать-бы мнѣ радость обманомъ,  
 Задержать и мольбою и лаской:  
 Отъ тумана глаза-бъ прояснились,  
 На веселый ладъ пѣсни-бъ сложились.

Ты, кручинушка, ночь безъ разсвѣта,  
 Безъ разсвѣта, да съ холодомъ, съ вѣтромъ...  
 При тебѣ — вся краса изсушится,  
 При тебѣ въ головѣ помутится.

---

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 4, № 5-й.

Ужъ и будь ты, кручинушка, пепломъ—  
 Весь-бы по полю въ бурю развѣяль,  
 Пусть-бы травушка въ полѣ горѣла,  
 Да на сердцѣ смола не кипѣла.

## XXXI.

Опять знакомыя видѣнья!  
 Опять, подъ дѣтскій смѣхъ и шумъ,  
 Прожитый день припомнилъ умъ,  
 Проснулось чувство отвращенья!  
 О, Боже правый! вотъ она  
 И лжи, и подлостей страница,—  
 На каждой буквѣ кровь видна...  
 Какой позоръ! Вотъ эти лица  
 Ханжей, предателей, льстецовъ,  
 Низкопоклонниковъ, рабовъ,  
 Рабовъ разчета и разврата,  
 Рабовъ бездушныхъ, ледяныхъ,  
 Рабовъ, продать готовыхъ брата,  
 И друга, и дѣтей родныхъ,  
 Рабовъ бездѣлля, скуки праздной,  
 Страстишекъ мелкихъ и заботъ...  
 И ты, въ своей одеждѣ грязной,  
 Нашъ бѣдный труженикъ-народъ,  
 Несущій крестъ свой терпѣливо,  
 Ты,—за кого краснорѣчиво  
 Ведемъ мы споръ, добро любя,  
 Пора-ль на свѣтъ вести тебя, —  
 И ты мнѣ вспомнился...

Угрюмо,  
 Въ печальной долѣ хлѣбу радъ,  
 Ты мимо каменныхъ палатъ  
 Идешь на трудъ съ тупою думой,

Полуодѣтъ, полуобутъ,  
 Нуждой безжалостной согнутъ...  
 Неужто, молодое племя,  
 Въ тебѣ воскреснетъ наше время,  
 Развратъ души, развратъ ума,  
 И лѣнь, и мелочность, и тѣма?  
 Намъ нѣтъ изъ пропасти исхода...  
 Влачась и въ прахѣ, и въ пыли,  
 О, если-бъ мы сказать могли:  
 „Вамъ, дѣти, счастье и свобода,  
 Широкий путь, разумный трудъ!..“  
 Увы! невѣдомъ Божій судъ!

## XXXII.

## Пѣсня бобыля.

Ни кола, ни двора,  
 Зипунъ—весь пожитокъ...  
 Эхъ, живи—не тужи,  
 Умрешь—не убытокъ!

Богачу-дураку  
 И съ казной не спится;  
 Бобыль голъ, какъ соколь,  
 Поеть-веселится.

Онъ идетъ, да поеть,  
 Вѣтеръ подпѣваетъ;  
 Стронись, богачи!  
 Бѣднота гуляетъ!

Рожь стоитъ по бокамъ,  
 Отдаетъ поклоны...

Эхъ, присвистни, бобыль!  
Слушай, лѣсъ зеленый!

Ужъ ты плачь-ли, не плачь, —  
Слезъ никто не видитъ;  
Оробѣй, загорюй, —  
Курица обидитъ.

Ужъ ты сытъ-ли, не сытъ, —  
Въ печаль не давайся,  
Причешись, распахнись,  
Шути, улыбайся!

Поживемъ, да умремъ, —  
Будетъ голь пригрѣта...  
Разумѣй, кто уменъ, —  
Пѣсенка допѣта!

---

XXXIII.

\*\*

Бхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ,  
Ухарь-купецъ, удалой молодецъ.  
Сталъ онъ на дворъ лошадей покормить,  
Вздумалъ деревню гульбой удивить,  
Въ красной рубашкѣ, кудрявъ и румянь,  
Вышелъ на улицу весель и пьянь.  
Собралъ онъ дѣвокъ-красавицъ въ кружокъ,  
Выхватилъ съ звонкой казной кошелекъ.  
Потчуетъ старыхъ и малыхъ виномъ:  
„Пей — пропивай! Проживемъ — наживемъ!“  
Морщатся дѣвки, до донышка пьютъ,  
Шутять, и пляшутъ, и пѣсни поютъ.



У харь-купецъ подпѣваетъ—свистить,  
О земь ногой молодецки стучить.

Синее небо, и сумракъ и тишь,  
Смотрится въ воду зеленый камышъ,  
Полосы свѣта по рѣчкѣ лежатъ;  
Въ золотѣ тучки надъ лѣсомъ горятъ.  
Дѣвичья пляска при зорькѣ видна,  
Дѣвичья пѣсня за рѣчкой слышна,  
По лугу льется, по чащѣ лѣсной...  
Тамъ услыхаль ее сторожъ сѣдой;  
Бѣлый, какъ лунь, онъ подъ дубомъ стоитъ,  
Дубъ не шелохнется, сторожъ молчитъ.  
Къ дѣвкѣ стыдливой купецъ пристаеъ,  
Обнялъ, цѣлуеъ и руки ей жметъ.  
Рвется красотка за дѣвичей кругъ;  
Совѣстно ей отъ родныхъ и подругъ.  
Смотрять подруги,—ихъ зависть беретъ,  
Вотъ, молъ, упрямицѣ счастье идетъ.  
Дѣвкинъ отецъ свое дѣло смекнулъ,  
Локтемъ жену торопливо толкнулъ,  
Сѣдъ онъ и рваная шапка на немъ,  
Глазомъ мигнулъ—и пропалъ за угломъ.  
Дѣвкина мать расторопна, смѣла,  
Съ вкрадчивой рѣчью къ купцу подошла,  
„Полно, касатикъ, отстанъ—не балуй!  
Дѣвки моей не позорь,—не цѣлуй!“  
У харь-купецъ позвенѣлъ серебромъ:  
—Нѣтъ, такъ не надо... другую найдемъ... -  
Вырвалась дѣвка, хотѣла бѣжать,  
Мать ей велѣла на мѣстѣ стоять.

Звѣздная ночь и ясна, и тепла.  
Дѣвичья пѣсня давно замерла.

Шепчетъ нахмуренный лѣсъ надъ водой,  
 Въгромъ шатаетъ камышъ молодой.  
 Синяя туча надъ лѣсомъ плыветъ,  
 Темную зелень огнемъ обдаетъ.  
 Въ крайней избушкѣ не гаснетъ ночникъ,  
 Спитъ на печи подгулявшій старикъ,  
 Спитъ въ зипунишкѣ и старыхъ лаптяхъ,  
 Рваная шапка комкомъ въ головахъ.  
 Молится Богу старуха жена,  
 Плакать-бы надо,—не плачетъ она.  
 Дочь ихъ—красавица поздно пришла,  
 Дѣвичью совѣсть виномъ залила.  
 Что тутъ за диво! и замужъ пойдетъ...  
 То-то, чай, дѣтокъ на путь наведетъ!..

---

 XXXIV.

### Мертвое тѣло.

Парень-извозчикъ въ дорогѣ продрогъ,  
 Крѣпко продрогъ, тяжело занемогъ.

Въ грязной избѣ онъ на печкѣ лежитъ,  
 Горло распухло, чуть-чуть говоритъ.

Ноетъ душа отъ тяжелой тоски:  
 Пашни родныя куда далеки!

Какъ на чужой сторонѣ умереть!  
 Хотъ бы на мать, на отца поглядѣть!..

Въ горѣ товарищи держатъ совѣтъ:  
 Ну-ка умереть,—попадемъ мы въ отвѣтъ!

„Изъ дому паспортовъ не взяли мы—  
Ну-ка умреть,—не уйдемъ отъ тюрьмы!“

Дворникъ встревоженъ, священника ждетъ;  
Медленнымъ шагомъ священникъ идетъ.

Встали извозчики, всталъ и больной!  
Свѣчка горитъ предъ иконой святой,

Бѣлая скатерть на столъ постлана.  
Въ душной избѣ тишина, тишина...

Кончилъ молитву священникъ съдой,  
Вышли извозчики за дверь толпой.

Парень шатается, дышетъ съ трудомъ,  
Старецъ стоитъ недвижимъ со крестомъ.

„Страшенъ судъ Божій, покайся, мой  
сынъ!  
Богъ тебя слышитъ, да я лишь одинъ“...

„Батюшка!.. грѣшенъ!..“ — больной просто-  
наль;  
Паль на колѣни и громко рыдать...

Грѣшника старецъ во всемъ разрѣшилъ,  
Крови и плоти святой приобщилъ...

Сѣлъ—написалъ: вотъ такой приобщенъ.  
Дворнику легче: исполненъ законъ.

Полночь. Всѣ въ домѣ уснули давно,—  
Въ душной избѣ, какъ въ могилѣ, темно.

Скучно въ углу рукомойникъ течеть,  
Капля за каплею звукъ издаеть.

Мѣрно кузнечикъ куеть въ тишинѣ,  
Кто-то невнятно бормочеть во снѣ.

Вѣтеръ печально поеть подѣ окномѣ,  
Воеть-голосить, Господь вѣсть, по комъ.

Тошно впотѣмахъ одному мужику:  
Сны-вѣщунны навѣвають тоску.

Съ жесткой постели, въ раздумьи, онъ всталъ,  
Ощупью печь и лучину сыскалъ,

Красное пламя изъ угля добылъ  
Ярко больному лицу освѣтилъ.

Тихъ онъ лежитъ, на лицѣ доброта,  
Вспалыя щеки бѣлѣе холста.

Свѣсились кудри, открыты глаза,  
Въ мертвыхъ глазахъ не обсохла слеза.

Вздвогнулъ извощикъ. „Ну, вотъ, дожда-  
лись!“

Дворника будить: проснись, подымись!

— Что тамъ?— „Товарищъ нашъ мертвый  
лежить“...

Дворникъ вскочилъ, какъ безумный, глядитъ.

— Охъ, попадете, ребята, въ бѣду!  
Вы попадете и я попаду!

„Какъ-это паспортовъ, какъ не имѣть?  
Знаешь—начальство... не станетъ жалѣть!..“

Вдругъ у него на душѣ отлегло.  
Те!.. далеко-ли, братъ, ваше село?

„Версть этакъ двѣсти... не близко, родной!“  
— Нечего мѣшкать! ступайте домой!

„Мертваго можно одѣть-снарядить,  
Въ сани ввалить, да веретьемъ покрыть;

Подлѣ села его выньте на свѣтъ:  
Умеръ дорогою—вотъ и отвѣтъ!“

Думаетъ—шепчетъ проснувшійся людъ,  
Бхать не радость, не радость и судъ.

Помочи, видно, тутъ нечего ждать...  
Быть тому такъ, что покойника взять!

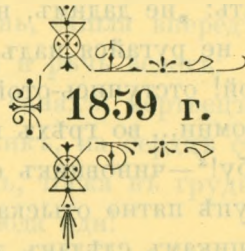
Бѣлѣетъ снѣгъ въ степи глухой,  
Стоитъ на ней ковыль сухой;  
Ковыль сухой и старъ, и сѣдъ,  
Блеститъ на немъ мороза слѣдъ.  
Просторъ и сонъ, могильный сонъ,  
Туманъ, что дымъ, со всѣхъ сторонъ;  
А глубь небесъ въ огняхъ горитъ,  
Вкругъ мѣсяца кольцо лежитъ;  
Звѣзда звѣздѣ привѣты шлетъ,  
Холодный свѣтъ на землю льетъ;  
Въ степи глухой обозъ скрипитъ.  
Передній конь идетъ—храпитъ:  
Продрогъ мужикъ, глядитъ на снѣгъ,

Съ ума нейдетъ въ селѣ ночлеги;  
 Въ своемъ селѣ онъ сонъ найдетъ.  
 Теперь его все страхъ беретъ:  
 Мертвецъ за нимъ въ санихъ лежитъ,  
 Живому степь бѣдой грозитъ.  
 Мелькнула тѣнь, зашла впередъ,  
 Растетъ сѣдой и рѣчь ведетъ:  
 „Мертвецъ въ санихъ! мертвецъ въ санихъ!..“  
 Вскочилъ мужикъ, на сердцѣ страхъ,  
 По тѣлу дрожь, тоска въ груди...  
 „Товарищи! сюда иди!  
 Эй, дядя Петръ! Мертвецъ встаетъ!  
 Мертвецъ встаетъ, ко мнѣ идетъ!“  
 Извощики на кличъ бѣгутъ,  
 О чудѣ рѣчь въ степи ведутъ.  
 Блестить ковыль, сквозь чуткій сонъ  
 Людскую рѣчь подслушалъ онъ...

Вотъ ужъ покойникъ въ родимомъ селѣ,  
 Убранъ, лежитъ на дубовомъ столѣ.  
 Мать къ мертвецу припадаетъ на грудь:  
 „Соколы мой ясный, скажи что-нибудь!  
 Какъ безъ тебя мнѣ свой вѣкъ коротать,  
 Горькое горе встрѣчать, провожать!..“  
 — Полно, старуха! Ей мужъ говорить,  
 Полно, касатка!—и плачетъ навзрыдъ.  
 Чу! колокольчикъ звенить и поетъ...  
 Ближе и ближе—и смолкъ у воротъ.  
 Грозный чиновникъ въ избушку спѣшитъ,  
 Дверь отворилъ, на порогѣ кричитъ:  
 Эй, старина! понятыхъ собери!  
 Слышишь, каналья? да живо, смотри!  
 Все онъ провѣдалъ, про все разузналъ,  
 Доктора взялъ и на судъ прискакалъ.

Трупъ обнажили. И вотъ, второпяхъ,  
Въ фартукѣ бѣломъ, въ зеленыхъ очкахъ,  
По локоть докторъ рукавъ завернулъ.  
Острою сталью надъ трупомъ сверкнулъ.  
Вскрикнула мать: „не дадимъ, не дадимъ!  
Сынъ это мой! не ругайся надъ нимъ!  
Сжался, родной! отступись-отойди!  
Мать свою вспомни... во грѣхъ не входи!..“  
— „Вывести бабу!“—чиновникъ сказалъ.  
Докторъ на трупъ пятно отыскалъ.  
Бѣднымъ извощикамъ сдѣланъ допросъ,  
Обнялъ ихъ ужасъ—и кто что понесъ...  
Жаль васъ, родимые! жаль, соколы!  
„Эй, старшина! подавай кандалы!“





XXXV.

### Старый слуга.



охнетъ старикъ отъ печали,  
 Ночи не спить на-пролеть:  
 Барскимъ добромъ поклепали,  
 Воромъ вся дворня зоветъ.

Не ждалъ онъ горькой невзгоды,  
 Барину вѣрно служилъ...  
 Какъ его въ прежніе годы  
 Старый слуга мой любилъ!

Въ курточкѣ красной, бывало,  
 Весель, завить и румянь,  
 Прыгаетъ, бьетъ, какъ попало,  
 Рѣзвый барчукъ въ барабанъ;

Бьетъ и кричить, и смѣется,  
 Дѣтскою саблей звенить;  
 Вдругъ къ старику повернется—  
 „Смирно!“ и ножкой стучить.



Ниткой его зануздаетъ,  
 На спину сядетъ верхомъ,  
 Въ шутку кнутомъ погоняетъ,  
 Ъдетъ по залѣ кругомъ.

Радъ мой старикъ - и проворно  
 На четверенькахъ ползетъ.  
 „Стой!“ — и онъ станетъ покорно,  
 Бровью съдой не моргнетъ.

Ручку-ль барчукъ шаловливый,  
 Ножку-ль убьетъ за игрой, —  
 Вздрогнетъ слуга боязливый:  
 „Баринъ ты мой золотой!“

Шопотомъ тужить, горюетъ:  
 „Не досмотрѣлъ я, злодѣй!“  
 Барскую ножку цѣлуетъ...  
 „Бей меня, батюшка, бей!“

Тошно подъ барской ошалой!  
 Недруговъ страшень навѣтъ!  
 Пусть-бы ужъ много пропало, —  
 Ложки серебряной нѣтъ!

Смотрить старикъ за овцами,  
 На ноги лапти надѣлъ,  
 Плечи покрылъ доскутами, —  
 Такъ ему баринъ велѣлъ.

Плакалъ бѣднякъ, убивался,  
 Вслухъ не винилъ никого:  
 Рабъ своей тѣни боялся, —  
 Такъ напугали его.

Господи! горе и голодъ!..  
 Долго-ли чахнуть въ тоскѣ?..  
 Вырвался какъ-то онъ въ городъ!  
 И — загулялъ въ кабакъ.

Пей, безталанная доля!  
 Пилъ онъ, и пѣлъ, и плясалъ...  
 Волюшка, милая воля,  
 Гдѣ-же твой свѣтъ запропалъ?

И потащился полями  
 Пьяный въ родное село.  
 Вьюга неслась облаками,  
 Вѣтромъ лицо его жгло.

Снѣгъ заметалъ одежонку,  
 Сонъ горемыку клонилъ...  
 Легъ онъ, надвинулъ шапченку,  
 И середь поля застылъ.

---

 XXXVI.

\* \* \*

Живая рѣчь, живые звуки,—  
 Зачѣмъ вамъ чужды плоть и кровь?  
 Я въ васъ облекъ-бы сердца муки—  
 Мою печаль, мою любовь.

Въ груди огонь, въ душѣ смятенье  
 И подавленной страсти стонъ,  
 А ваше мѣрное теченье  
 Наводитъ скуку или сонъ...

Такъ, недоступно и незримо,  
 Въ насъ зрѣеть чувство иногда,  
 И остается навсегда  
 Загадкою неразрѣшимой,  
 Какъ мученикъ прожившій вѣкъ,  
 Намъ съ дѣтства близкій человекъ...

---

 XXXVII.

\* \*

Перестань, милый другъ, свое сердце пугать:  
 Что намъ завтра сулитъ—мудрено угадать.  
 Посмотри: изъ-за синяго полога тучъ  
 На зеленый курганъ брызнулъ золотомъ лучъ.  
 Колокольчикъ поникъ надъ росистой межой,  
 Алой краской покрытъ василекъ голубой,  
 Сироты-навилики румяный цвѣтокъ  
 Приласкался къ нему и обвилъ стебелекъ.  
 Про таланъ золотой въ полѣ пахарь поетъ,  
 Въ потемнѣвшемъ лѣсу отголосокъ идетъ.  
 Въ каждой травкѣ — душа, каждый звукъ — го-  
 ворить,  
 Въ синевѣ про любовь голосъ птички звенить...  
 Только ты все грустишь, словъ любви не найдешь.  
 Громовыхъ облаковъ въ день безоблачный ждешь.

## XXXVIII.

И дождь, и вѣтеръ. Ночь темна.  
 Въ уснувшемъ домѣ тишина:  
 Никто мнѣ думать не мѣшаетъ.  
 Сижу одинъ въ своемъ углу.  
 При свѣчкѣ весело играетъ  
 Полоска свѣта на окнѣ.

Я радъ осенней непогодѣ:  
 Мнѣ шумъ толпы невыносимъ.  
 Я, какъ дикарь, привыкъ къ свободѣ,  
 Привыкъ къ стѣнамъ моимъ роднымъ...  
 Здѣсь все мнѣ дорого и мило,  
 Хоть радости здѣсь мало было...

Святая ночь! Теперь я чуждъ  
 Дневныхъ тревогъ, насущныхъ нуждъ.  
 Онѣ забыты. Жизни полны,  
 Видѣнья свѣтлыя встаютъ:  
 Изъ глубины души, какъ волны,  
 Слова послушныя текутъ.

И грустно мнѣ мой трудъ отраднѣй,  
 Когда въ окно разсвѣтъ блеснетъ,  
 Мѣнять на холодъ беспощаднѣй,  
 На бремя мелочныхъ заботъ...  
 И снова жажду я досуга  
 И темной ночи жду, какъ друга.

## XXXIX.

## МОГИЛА ДИТЯТИ

(Посвящается Н. И. Второву).

Надъ твоей могилкой  
Солнышко сіяетъ;  
Въ зелени сирени  
Птичка распѣваетъ.

Вьются — распѣваютьъ  
Пчелы надъ цвѣтами,  
Вѣтерокъ лепечетъ  
Съ темными листьями.

Спишь-ли ты, малютка,  
Или такъ лежится?..  
Встань и полюбуйся,  
Что кругомъ творится.

Всталь-бы ты, — нѣтъ воли;  
Тѣсный домъ твой прочень,  
Выходъ на свѣтъ Божій  
Крѣпко заколочень.

Спи, дитя! Едва-ли  
Стоитъ просыпаться,  
На людское горе  
Сердцемъ надрываться.

Наша жизнь земная,  
Право, незавидна:  
Спи дитя родное,  
Суждено такъ, видно.

Сонъ твой—сонъ отраднѣй.  
Крестъ и камень бѣлый  
Надъ твоей могилкой  
Солнышко пригрѣло.

Перелетнымъ гостямъ  
Благодать святая—  
Въ ямочкѣ на камнѣ  
Влага дождевая.

Пѣть шалунья-птичка,  
Брызги разсыпаетъ,  
Чуткѣй слухъ малютки  
Пѣснями ласкаетъ.





## XL.

Ъдная молодость, дни невеселые,  
 Дни невеселые, сердцу тяжелые!  
 Глянешь назадъ, —точно степь неоглядная,  
 Глушь безотвѣтная, даль безотрадная!

Нѣтъ въ этой дали ни кустика зелени,  
 Все-то зачахло, да сгибло безъ времени,  
 Спитъ точно мертвое, спитъ какъ убитое,  
 Солнышкомъ Божьимъ навѣки забытое.

Солнышко Божье на свѣтъ поскупилося,  
 Счастье-веселье на зовъ не явилосся;  
 Горькое горе безъ зову нагрянуло,  
 При горѣ радость свинцомъ въ воду канула.

Ъдная молодость, дни невеселые,  
 Дни невеселые, сердцу тяжелые!  
 Радъ бы забыть васъ, да что-жь мнѣ останется,  
 Чѣмъ моя жизнь при бездолю помянется?

## XLI.

\* \* \*

Я радъ молчать о горѣ старомъ,  
Мнѣ къ чернымъ днямъ не привыкать;  
Но вотъ вопросъ: неужто даромъ  
Мнѣ нужно слезы проливать?

Утраты, нужды и печали,  
Къ чему меня вы привели?  
Какой мнѣ путь вы указали,  
Какое благо принесли?

Дождусь ли я успокоенья  
Отъ мукъ разумнаго плода?  
Рѣши ты, жизнь, мои сомнѣнья,  
Когда ты смысла не чужда!

Но если ты полна позора,  
Обмана, мелочныхъ заботъ,—  
Во что-же вѣрить? Гдѣ опора?  
Изъ темной пропасти исходъ?

Исходъ!... едва-ли онъ возможенъ:  
Душа на скорбь осуждена,  
Уснуло сердце, умъ встревоженъ;  
А даль темна, какъ ночь темна.

Ужъ не пора-ли лечь въ могилу:  
Усопшихъ сонъ невозмутимъ...  
О, Боже мой! пошли Ты силу  
И миръ душевный всѣмъ живымъ!

---



XIII \*).

## Поэту-обличителю.

Обличитель чужого разврата,  
Проповѣдникъ святой чистоты,  
Ты,—что камень на падшаго брата  
Поднимешь,—сойди съ высоты!

Ужъ не первый въ величьи суровомъ,  
Врагъ неправды и лѣни тупой,  
Какъ гроза, своимъ огненнымъ словомъ  
Ты царишь надъ послушной толпой.

Дышетъ рѣчь твоя жаркой любовью,  
Безъ конца ты готовъ говорить,  
И, подумаешь, собственной кровью  
Счастье ближнему радъ ты купить.

Что-жъ ты сдѣлалъ для края родного,  
Безкорыстный мудрецъ-гражданинъ?  
Укажи, гдѣ для дѣла благого  
Потерялъ ты хоть волосъ одинъ?

Твоя жизнь, какъ и наша, бесплодна,  
Лицемерна, пуста и пошла...  
Ты не понялъ печали на одной,  
Не оплакалъ ты горькаго зла.

Нищій духомъ и словомъ богатый,  
По-наслышкѣ о всемъ ты поешь,

---

\*) См. „Цѣмѣчавіа“, стр. 5, № 6-й.

И безстыдно похвалъ ждешь, какъ платы,  
За свою всенародную ложь.

Будь ты проклято, праздное слово!  
Будь ты проклята, мертвая лѣнь!  
Покажись, съ своей жизнію новой,  
Темноту прогоняющій день!

Передъ нами нѣмыя могилы,  
Позади—одна горечь потерь...  
На тебя, на твои только силы,  
Молодежь, вся надежда теперь.

Много поту тобою прольется,  
И, быть можетъ, въ глуши безъ слѣдовъ,  
Очистительныхъ жертвъ принесется  
Въ искупленье отцовскихъ грѣховъ.

Не легка твоя будетъ дорога,  
Но иди,—не погибнетъ твой трудъ!  
Знамя чести и истины строгой  
Только крѣпкіе въ бурю несутъ.

Безконечное мысли движенье,  
Царство разума, правды святой,—  
Вотъ прямое твое назначенье,  
Добрый подвигъ на почвѣ родной!

---

### XLIII.

Теперь мы вышли на дорогу,  
Дорога,—просто благодать.  
Ужъ не сказать-ли: слава Богу,  
Трудъ совершенъ! Чего желать?

Душѣ просторъ, уму свобода!..  
Да, умъ нашъ многое постигъ:  
О благѣ бѣднаго народа  
Мы написали груды книгъ.

Всѣ эти дымныя избенки,  
Гдѣ въ полумракѣ, въ темнотѣ,  
Полунагіе ребятенки  
Ростутъ въ грязи и нищетѣ,

Гдѣ по ночамъ горитъ лучина,  
И, рабъ нужды при огонькѣ,  
Сѣдой, какъ лунь, старикъ-кручина  
Плететъ лаптишки въ уголкѣ;

Гдѣ жница-мать въ широкомъ полѣ,  
На вѣтрѣ, въ нестерпимый зной,  
Забывъ усталость по-неволѣ,  
Малютку кормитъ подъ копной.

Ея уста спеклися кровью,  
Работой грудь надорвана...  
Но, Боже мой, съ какой любовью  
Малютку пѣсуетъ она!

Все это нынѣ мы узнали,  
И, наконецъ,—о, мудрый вѣкъ!--  
Какъ дважды-два мы доказали,  
Что и мужикъ нашъ—человѣкъ.

Все суета!.. Махнемъ рукою!..  
Насъ чернь не слушаетъ, молчитъ,  
Упрямо ходить за сохою  
И недовѣрчиво глядитъ.

Покамѣсть умъ нашъ созидаетъ  
 Дворцы да башни въ облакахъ,  
 Горячій потъ она роняетъ  
 На нивахъ, гумнахъ и дворахъ,

Въ глухой степи, въ лѣсной труппѣ,  
 Средь улицъ селъ и городовъ,  
 И, утомясь, въ досчатомъ гробѣ  
 Опочиваетъ отъ трудовъ.

Чѣмъ это кончится?.. Едва-ли,  
 Ничтожной жизни горькій плодъ,  
 Не ждутъ насъ новыя печали,  
 На мѣсто прожитыхъ невзгодъ!

#### XLIV.

### П О М И Н К И.

Ни тучи, ни вѣтра, и поле молчитъ;  
 Горячее солнце и жжетъ, и палитъ.  
 И пылью покрытая, будто мертва,  
 Стоитъ неподвижно подъ зноемъ трава.  
 И слышится только въ молчаніи дня  
 Веселыхъ кузнечиковъ звонъ—трескотня.

Средь чистаго поля конь-пахарь лежитъ:  
 На трупѣ коня воронъ черный сидитъ.  
 Кровавый свой клювъ поднимаетъ порой  
 И каркаетъ, будто вѣщунъ роковой.  
 Эхъ, конь безотвѣтный, слуга мужика,  
 Была твоя служба вѣрна и крѣпка!  
 Побой и голодъ—ты все выносишь  
 И духъ свой на пашнѣ, въ сохѣ, испустишь.

Мужикъ горемычный рукою махнулъ,  
 И снялъ съ него кожу и, молча, вздохнулъ,  
 Вздохнулъ и заплакалъ: „ничто, молъ, не въ прокъ!“  
 И кожу сырую въ кабакъ поволокъ.  
 И пѣлъ онъ тамъ пѣсни, свисталъ соловьемъ:  
 „Пускай пропадаетъ! гори все огнемъ!“  
 Со смѣха народъ головами качалъ:  
 „Смотри, молъ, ребята! онъ умъ потерялъ,  
 Со зла свое сердце гульбой веселитъ,  
 По мертвой скотинѣ поминки творитъ!

## XLV.

## На пепелищѣ.

На яблонѣ грустно кукушка кукуетъ;  
 На камнѣ мужикъ одиноко горюетъ:  
 У ногъ его кучами пепель лежитъ,  
 Надъ пепломъ труба безобразно торчитъ.

Въ избитыхъ лаптишкахъ, въ рубашкѣ дырявой,  
 Сидитъ онъ, поникъ головою кудрявой,  
 Поникъ горемычный отъ думъ и заботъ,  
 И солнце открытую голову жжетъ.

Не годъ, не два онъ терялъ свою силу:  
 На пашнѣ онъ клалъ ее, будто въ могилу;  
 Онъ клалъ ее дома, съ цѣпомъ на гумнѣ,  
 Безропотно клалъ на чужой сторонѣ.

Весь вѣкъ свой работалъ безъ счастья, безъ доли,  
 Росли на широкихъ ладоняхъ мозоли,  
 И трескалась кожа... да что за бѣда!  
 Ужъ видно не жить мужику безъ труда!

У порной работы соха не сносила,  
 Ломалась, и въ полѣ другая ходила;  
 Тупилось желѣзо, стирался сошникъ,  
 И только выдерживалъ пахарь-мужикъ.

Просилъ, безотвѣтный, не счастья у Неба,  
 Но хлѣба насущнаго, чернаго хлѣба...  
 Подкралась бѣда,—все метлой подмела,—  
 У пахаря нѣтъ ни двора ни кола.

Крѣпись, горемычный! не гнись отъ удара!  
 Все вынесло сердце: и ужасъ пожара,  
 У матери старой пронзительный стонъ  
 Въ то время, какъ въ полымя кинулся онъ

И выхватилъ сына, что спалъ въ колыбели;  
 За нимъ по-слѣдамъ потолоки загремѣли...  
 „Пускай догорають!..“ И нищій мужикъ  
 Къ головкѣ ребенка устами приникъ.

---

XLVI \*).

## П о р т н о й.

Пали на долю мнѣ пѣсни унылыя,  
 Пѣсни печальныя, пѣсни постылыя,  
 Радъ-бы не пѣть ихъ, да грудь надрывается,  
 Слышу я, слышу, чей плачь разливается:  
 Бѣдность голодная, грязью покрытая,  
 Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая;

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 7-й.

Днемъ она гибнетъ, и въ полночь, и за полночь,  
Гибнетъ она—и никто нейдетъ на помощь;  
Гибнетъ она—и опоры нѣтъ волоса,  
Теплаго сердца, знакомаго голоса...  
Горькій полынь—эта пѣснь веселая,  
Пѣснь невеселая, правда тяжелая!  
Кто здѣсь узнаетъ кручину свою?  
Эту я пѣсню про бѣдность пою.

## I.

Морозъ трещить, и воеетъ вьюга,  
И хлопья снѣга другъ на друга  
Ложатся, и растутъ сугробъ.  
И молчаливый, будто гробъ,  
Весь домъ промерзъ. Три дня забыта,  
Ужъ печь не топится три дня,  
И нечѣмъ развести огня,  
И дверь рогожей не обита,  
Она стара и вся въ щеляхъ;  
Бѣлѣетъ иней на стѣнахъ,  
Окошко инеемъ покрыто,  
И отъ мороза на окнѣ  
Вода застыла въ кувшинѣ.

Нѣтъ крошки хлѣба въ цѣломъ домѣ,  
И на дворѣ нѣтъ плахи дровъ.  
Портной озябъ. Онъ нездоровъ  
И головой поникъ въ истомѣ:  
Печальна жизнь его была,  
Печально молодость прошла,  
Прошло и дѣтство безотрадно:  
Съ крыльца ребенкомъ онъ упалъ,  
На камняхъ ногу изломалъ,

Его поѣкли безпощадно...  
 Не умерь онъ. Полубольнымъ  
 Все росъ, да росъ. Но чѣмъ кормиться?  
 Что въ руки взять? Чему учиться?  
 И самоучкой сталъ портнымъ.  
 Женился бѣдный,—все не радость:  
 Жена не долго прожила  
 И Богу душу отдала  
 Въ родахъ подъ Пасху. Вотъ и старость  
 Теперь пришла. А дочь больна,  
 Ужъ кровью кашляетъ она.  
 И все прядеть, прядеть все пряду,  
 Шль, молча, спицами звенить,  
 Перчатки вяжетъ на продажу,  
 И все грустить, и все грустить.  
 Робка, какъ птичка полевая,  
 Живетъ одна, живетъ въ глуши,  
 Въ глухую полночь, чуть живая,  
 Встаетъ и молится въ тиши.

## II.

Морозъ и почь. Въ своей постели  
 Не спитъ измученный старикъ;  
 Его глаза глядятъ безъ цѣли,  
 Безъ цѣли онъ зажегъ ночникъ.  
 Лежить и стонетъ. Дочь привстала  
 И посмотрѣла на отца:  
 Онъ блѣденъ хуже мертвеца...  
 „Что-жь ты не спишь?“ она сказала.  
 —Такъ, скучно. Хотъ бы разсвѣло...  
 Ты не озябла?—„Мнѣ тепло...“

И разсвѣло. Окрѣпъ и холодъ.  
 Но хлѣба, хлѣба гдѣ добыть?



Суму надѣть, иль воровъ быть?  
О, будь ты проклять, страшный голодь!  
Куда идти? Кого просить?  
Иль самого себя убить?  
Портной привсталъ. Нѣтъ, силы мало!  
Всѣ кости ноютъ, все болитъ;  
Дочь посинѣла и дрожить...  
Хотѣлъ заплакать, — слезъ не стало...  
И со двора, въ нѣмой тоскѣ,  
Побрелъ онъ съ костылемъ въ рукѣ.  
Куда? онъ думалъ не о пищѣ,  
Шелъ не за хлѣбомъ, — на кладбище  
Шелъ бить могильщику челомъ;  
Онъ былъ давно ему знакомъ.  
Но какъ начать? Целовко было...  
Портной съ нимъ долго толковалъ...  
О томъ, о семъ; а сердце ныло...  
И, наконецъ, онъ шапку снялъ:  
„Послушай, сжаляся, ради Бога!  
Мнѣ остается жить немного;  
Нельзя-ли тутъ, вотъ, въ сторонѣ,  
Могилу приготовить мнѣ?“  
— Ого! могильщикъ улыбнулся.  
Ты шутишь, иль въ умѣ рехнулся?  
Умрешь, — зарюютъ, не грусти...  
Грѣшно болтать-то безъ пути... —  
„Зарюютъ, другъ мой, я не спорю.  
Вѣдь, дочь-то, дочь моя больна!  
Куда просить пойдетъ она?...  
Кого?... Ужъ пособи ты горю!  
Платить-то нечѣмъ... я бы радъ,  
Я заплатилъ бы... вырой, братъ!..“  
— Земля-то, видишь ты, застыла...  
Рубить-то будетъ не легко. —

„Ты какъ... не очень глубоко,  
 Не очень... все-таки могила!  
 Просить и совѣстно, — нужда!“  
 — Пожалуй, вырыть не бѣда!

## III.

И слегъ портной. Лицо пылаеть,  
 Въ бреду онъ громко говорить,  
 Что Божій гнѣвъ ему грозить,  
 Что грѣшникомъ онъ умираеть,  
 Что онъ повѣситься хотѣлъ,  
 И только Катю пожалѣлъ.  
 Дочь плачетъ: „полно, ради Бога!  
 У насъ тепло, обита дверь,  
 И чай налить: онъ есть теперь.  
 И есть дрова, и хлѣба много, —  
 Все дали люди... Встань, родной!“  
 И вотъ встаетъ, встаетъ портной.  
 — „Ты помнишь? Жизнь смѣется,  
 Смѣется... Кто тутъ зарыдалъ?  
 Не кашляй! тише! кровь польется...“  
 И навзничь мертвымъ онъ упалъ.

## XLVII.

\* \*  
\*

За прялкою баба въ понявѣ сидитъ;  
 Ребенокъ больной въ колыбели лежитъ;  
 Лежитъ онъ и въ ротъ не беретъ молока,  
 Кричитъ онъ безъ умолку—слушать тоска!

Торопится баба: рубашка нужна;  
 Совсѣмъ-то, совсѣмъ обносилаь она:  
 Надѣть-то ей нечего,—просто напасть!  
 Прядетъ она ночью, днемъ некогда прядеть.

И за-полночь ярко лучина горить,  
 И грудь отъ сидѣнья щемить и болить,  
 И взглядъ притупился, устала рука...  
 Дитя надрывается, — слушать тоска!

Пришлось по-неволѣ работу бросать.  
 „Ну, что мое дитятко? молвила мать:  
 Усни себѣ съ Богомъ, усни въ тишинѣ!  
 Вѣдь, некогда, дитятко, некогда мнѣ!“

И баба садится, и снова прядеть,  
 И снова покою ей крикъ не даетъ.  
 „Молчи, говорю! мнѣ самой до себя!  
 Ну, чѣмъ-же теперь исцѣлю я тебя?“

Поютъ пѣтухи; видно, скоро разсвѣтъ:  
 Дымится лучина, и гаснетъ—и нѣтъ;  
 Притихъ онъ и глазки сомкнулъ.  
 Уснулъ онъ,—да только ужъ на вѣкъ уснулъ.

---

 XLVIII.

## М а т ь и д о ч ь .

Худа, ветха избушка  
 И, какъ тюрьма, тѣсна;  
 Слепая мать-старушка,  
 Какъ полотно, блѣдна.

Бѣдняжка потеряла  
Свои глаза и умъ  
И, какъ ребенокъ малый,  
Чужда заботъ и думъ.

Все пѣсни распѣваетъ,  
Забившись въ уголокъ,  
И жизнь въ ней догораетъ,  
Какъ въ лампѣ огонекъ.

А дочь, съ восходомъ солнца,  
Иглу свою беретъ,  
У свѣтлаго окна  
До темной ночи шьетъ.

Жара. Вокругъ молчанье,  
Лѣнливо день идетъ,  
Докучныхъ мухъ жужжанье  
Покоя не даетъ.

Старушки тихій голосъ  
Безъ-умолку звучить...  
И гнется дочь, какъ колось,  
Тоска въ груди кипитъ.

Народъ неумоимо  
По улицѣ снуетъ,  
Идетъ все мимо, мимо,—  
Богъ-вѣсть куда, идетъ.

Ужъ ночь. Темно въ избушкѣ,  
И некому мѣшать;  
Осталось—къ подушкѣ  
Припасть,—и зарыдать.

XLIX.

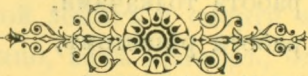
## П О Г О С Т Ъ .

Глубина небесъ синѣеть,  
Свѣтитъ яркая луна,  
Церковь въ сумракъ бѣлѣть,  
На погостъ тишина.

Тишина — не слышно звука,  
Не горитъ огня въ селѣ.  
Безпробудно скорбь и мука  
Спитъ въ кормилицѣ землѣ.

Миръ вамъ, старья невзгоды!  
Память вѣчная слезамъ!  
Вѣетъ воздухомъ свободы  
По трущобамъ и лѣсамъ.

Золотыя искры свѣта  
Проникаютъ въ глушь и дичь,  
Слышенъ въ полѣ кличъ привѣта,  
По степямъ веселый кличъ.



1861 г.

L \*).



## Х о з я и н ъ.

пряженъ въ телѣгу конь косматый,  
 Откормленъ на-диво овсомъ,  
 И бляхи мѣдныя на немъ  
 Блестятъ при заревѣ заката.  
 Купцу дай-Господи пожить:  
 Широкоплечъ, какъ клюква, красенъ,  
 Казной отъ бѣды обезопасенъ,  
 Здоровъ,—о чемъ ему тужить?  
 Да мой купецъ и не горюеть.  
 Съ какой-то бабой за столомъ  
 Въ особой горенкѣ, вдвоемъ,  
 Сидитъ на мельницѣ, пируетъ.  
 Вода реветъ, вода шумитъ,  
 Отъ грома мельница дрожитъ,  
 Идетъ работа толкачами,  
 Идетъ работа рѣшетомъ,  
 Колесами и жерновами—  
 И стукотня, и пыль кругомъ...  
 Купецъ мой рюмку поднимаетъ

\*) См. „Пригѣчанія“, стр. 5, № 8-й.

И кулакомъ обь столъ стучить.  
 „И выпью!.. кто мнѣ помѣшаетъ?  
 „И пью... самъ чортъ не запретить!  
 „Пей, Марья!..“

— То-то, ненаглядный,  
 Ты мнѣ на платьѣ обѣщаль...—  
 „И кончено! Сказаль—и ладно.  
 „Будеть такъ, какъ я сказалъ.  
 „Мнѣ что жена? Сыта, одѣта—  
 „И все... вотъ выпрягу коня  
 „И прогуляю до разсвѣта,  
 „И баста! Обними меня!..“

Вода шумить—не умолкаетъ,  
 При свѣтѣ мѣсяца кипить,  
 Алмазной радугой сверкаетъ,  
 Огнями синими горить.  
 Но даль темна и молчалива,  
 Огонь веселый рыбака  
 Краснѣетъ въ зеркалѣ залива,  
 Скользить по листьямъ лозняка.

Купецъ гуляетъ. Мы не станемъ  
 Ему мѣшать. Въ тиши ночной  
 Мы лучше въ домъ его заглянемъ,  
 Войдемъ неслышною тропой.

Ужъ поздно. Свѣчка нагорѣла.  
 Больной лежитъ и смерти ждетъ.  
 Его лицо, какъ мраморъ, бѣло,  
 И руки холодны, какъ ледъ;  
 На лобъ открытый кудри пали:  
 Остатокъ прежней красоты,

Печать раздумья и печали  
Еще хранить его черты:  
Такъ, освѣщенные зарею,  
Въ замолкшемъ на-долго лѣсу,  
Листы осеннею порою  
Еще хранить свою красу.  
Пора на отдыхъ. Грудь разбитъ,  
На сердцѣ запеклася кровь—  
И радость на-вѣкъ позабыта...  
А ты, горячая любовь,  
Явилась поздно. Доля! доля!  
И если-бъ раньше ты пришла,—  
Какой-бы здѣсь пріютъ нашла?  
Здѣсь трудъ и бѣдность, здѣсь неволя,  
Здѣсь горе гнѣзда вѣтъ свои,  
И вѣтъ холодъ отъ порога,  
И стѣны дома смотреть строго...  
Здѣсь нѣтъ пріюта для любви!  
Лежитъ больной, лицо печально,  
И будто тѣнью лобъ покрытъ;  
Такъ, лѣтомъ только догоритъ  
Румяной зорьки лучъ прощальный,—  
Подъ сводомъ сумрачныхъ небесъ  
Стоить угрюмъ и темень лѣсъ.  
Родная мать роняетъ слезы,  
Облокотясь на столъ рукой.  
Надежды, молодости грезы,  
Миръ сердца—этотъ рай земной—  
Все унесло, умчало горе,  
Какъ бурный вѣтръ уносить пыль,  
Когда въ степи шумитъ ковыль,  
Шумитъ взволнованный, какъ море  
И догораетъ вся до-гла  
Грозой зажженная ветла.



Плачь, бѣдное созданье!  
 И не слезами, — кровью плачь!  
 Безвыходно твое страданье  
 И безпощаденъ твой палачь.  
 Невесела, невыносима,  
 Горька, какъ ядъ, твоя судьба:  
 Ты жизнь убила, какъ раба,  
 И не была никѣмъ любима...  
 Твой мужъ... но виноватъ ли онъ,  
 Что пьянъ, и грубъ, и не уменъ?  
 Когда-бъ онъ могъ подумать строго,  
 Какъ зла надѣлано имъ много,  
 Какъ много ранъ нанесено,  
 Себя онъ проклялъ-бы давно.  
 Въ борьбѣ тяжелой ты устала,  
 Изнемогла и въ грязь упала,  
 И въ грязь затоптана толпой.  
 Увы! сгубилъ тебя запой!..  
 Твоя слеза на кровь походить...  
 Плачь больше!.. Въ воздухѣ чума!..  
 Любимый сынъ въ могилу сходить,  
 Другой давно сошелъ съ ума.

Вотъ онъ сидитъ на лежанкѣ просторной,  
 Голо остриженъ, и бѣденъ, и хилъ;  
 Палку, какъ скрипку, къ плечу прислонить,  
 Бровью и глазомъ моргаетъ проворно,  
 Правой рукою и взадъ и впередъ  
 Водитъ по палкѣ и пѣсню поетъ:  
 „На старомъ курганѣ, въ широкой степи,  
 Прикованный соколъ сидитъ на цѣпи.  
 Сидитъ онъ ужъ тысячу лѣтъ,  
 Все нѣтъ ему воли, все нѣтъ!  
 И грудь онъ съ досады когтями терзаетъ,

И каплями кровъ изъ груди вытекаетъ.  
 Летятъ въ синевѣ облака,  
 А степь широка, широка!..“  
 Вдругъ палку кинулъ онъ, закрылъ лицо руками  
 И плачетъ горькими слезами:  
 „Больно мнѣ! больно мнѣ! мозгъ мой горитъ.  
 Счастье тому, кто въ могилѣ лежитъ!  
 Мать моя, матушка! полно рыдать!  
 Долго-ли намъ эту жизнь коротать?  
 Знаешь-ли? Спальню запри изнутри,  
 Сторожемъ стану я подлѣ двери.  
 Прочь! закричу я: здѣсь мать моя спитъ!  
 Больно мнѣ, больно мнѣ! мозгъ мой горитъ!..“

Больной все слушалъ эти звуки,  
 Горѣлъ на медленномъ огнѣ,  
 Сказать хотѣлъ онъ: дайте мнѣ  
 Хоть умереть безъ слезъ и муки!  
 Ужель не могъ я отъ судьбы  
 Дождаться мира въ часъ кончины,  
 За годы думы и кручины,  
 За годы пытки и борьбы?  
 Иль эти пытки шуткой были?  
 Иль мало, среди стѣнъ родныхъ,  
 Отравой зла меня поили?  
 Иль, вмѣсто слезъ, изъ глазъ моихъ  
 Текла вода на изголовье,  
 Когда, губя свое здоровье,  
 Я думалъ ночи безо сна—  
 Зачѣмъ мнѣ эта жизнь дана?  
 И догарающій въ постели,  
 Всю жизнь припомнивъ съ колыбели,  
 Хотѣлъ онъ на своемъ пути  
 Хоть точку свѣтлую найти—  
 И не сыскалъ.

Такъ, въ полдень жгучій,  
Спустившись съ каменистой кручи,  
Томимый жаждой, пѣшеходъ  
Искать ключа въ оврагъ идетъ.  
И долго тамъ, усталый, бродить  
И влаги капли не находить,  
И падаетъ, едва живой,  
На землю, съ болью головной...  
„Ну, отпирай! заснули скоро!..“  
Ударивъ въ ставень кулакомъ,  
Хозяинъ крикнулъ подъ окномъ...  
Печальный домъ, пріютъ раздора!  
Нѣтъ, тяжело срывать покровъ  
Съ твоихъ таинственныхъ угловъ,  
Срывать покровъ, какъ уголь черный!  
Угрюмъ твой видъ, какъ гроба видъ,  
Какъ мѣсто казни, гдѣ стоитъ  
Съ желѣзной цѣлью столбъ позорный  
И плаха съ топоромъ лежитъ!  
За то, что здѣсь такъ мало свѣта,  
Что воздухъ солнцемъ не согрѣтъ,  
За то, что нѣтъ на мысль отвѣта,  
За то, что радости здѣсь нѣтъ,  
Ни ласкъ, ни милаго объятъ,  
За то, что гибнетъ человѣкъ,—  
Я шлю тебѣ мои проклятья,  
Чужой оплакивая вѣкъ!





# КУЛАКЪ.

(ВЪ авторскомъ изданіи).



## КУЛАКЪ \*)

Все благо и прекрасно на землѣ.  
Когда живеть въ своемъ опредѣленнѣ,  
Добро вездѣ, добро найдешь и въ злѣ.  
Когда-жъ предметъ пойдетъ по направленью,  
Противному его предназначенью,  
По сущи сти добро, онъ станетъ—зломъ.  
Такъ человекъ: что добродѣтель въ немъ  
То можетъ быть порокомъ.

Шекспиръ (Ромео и Юлія)

I.



Вѣнь гаснетъ. Облаковъ громада  
Покрыта краской золотой;  
Отъ дуга влажною струей  
Плыветъ душистая прохлада;  
Надъ самымъ озеромъ тростникъ  
Сквозной оградою поникъ.  
Порой куда-то пронесется

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 5, № 9-й.

Со свистомъ стая куликовъ,  
 И снова тишь. Въ тѣни кустовъ  
 Рыбачій челнъ не покачнется.  
 Вдоль тяги тянется обозъ;  
 Скрипятъ колеса. За волами  
 Шагаютъ чумаки съ кнутами;  
 Кипитъ народомъ перевозъ.  
 Паромъ отчалили лѣниво,  
 Ушами лошади пугливо  
 Прядутъ; рабочіе кричатъ,  
 И плещетъ по водѣ канатъ...  
 Шлагбаумъ, съ образомъ часовня,  
 Избушки, бани, колокольня  
 Съ крестомъ и галкой на крестѣ,  
 И на прибрежной высотѣ  
 Плетни, поникнувшія ивы —  
 Все опрокинуто въ рѣкѣ.  
 Бѣдѣютъ мойки вдаль,  
 Луками выгнулись заливы.  
 А тамъ кусты, деревня, нивы,  
 Да чуть примѣтный, сквозь туманъ  
 Средь поля чистаго курганъ.

Тому давно, въ глуши суровой,  
 Шумѣлъ тутъ грозно лѣсъ дубовой.  
 Съ пустыннымъ вѣтромъ рѣчи велъ,  
 И плавалъ въ облакахъ орелъ;  
 Синѣла степь безгранной далью,  
 И, притаясь за валъ, съ пищалью,  
 Зажечъ готовый свой маякъ,  
 Татаръ выглядывалъ казакъ.  
 Но вдругъ все жизнью закипѣло,  
 Въ лѣсу желѣзо зазвенѣло —  
 И падалъ дубъ: онъ отжилъ вѣкъ...



И, вмѣсто звѣря, человѣкъ  
Въ пустынѣ воцарился смѣло.

Проснулись воды, и росли,  
Гроза Азова, корабли.  
Тѣ дни прошли. Уединенно  
Теперь подъ кровлей обновленной,  
Стоить на островѣ нагомъ  
Безмолвный прадѣдовскій домъ,  
Цейхгаузъ старый. Тихи воды.  
Гдѣ былъ Петра пріютъ простой,  
Купецъ усердною рукою  
Одинъ почтилъ былые годы—  
Часовню выстроилъ, и въ ней  
Затешилъ набожно елей.  
Но городъ выросъ. Въ изголовье,  
Онъ положилъ степей приволье,  
Плечами горы придавилъ,  
Болота камнями покрылъ.  
Одно пятно: въ семьѣ громадной  
Высоко-поднятыхъ домовъ,  
Какъ нищѣ въ толпѣ нарядной,  
Торчатъ избенки бѣдняковъ;  
Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,  
Онѣ ползуть по крутизнамъ  
И смотреть тусклыми очами  
На богачей по сторонамъ;  
Того и жди,--гроза подуетъ,  
И полетятъ онѣ въ оврагъ...  
Таковъ домишко, гдѣ горюетъ  
Съ женой и дочерью Кулакъ:  
На крышѣ старыя заплаты,  
Пріютъ крикливыхъ воробьевъ;  
Карнизъ обрушиться готовъ;

Стѣна крива; заборъ досчатый  
Подпертъ осиновымъ коломъ;  
Дворъ тѣсный смотритъ пустыремъ;  
Ростетъ трава вокругъ крылечка;  
Но садъ... въ садъ послѣ завернемъ;  
Теперь мы въ горенку войдемъ.  
Она свѣтла. Икона, печка,  
Съ посудой шкафъ, сосновый столъ,  
Скамейка, стулъ безъ спинки,  
Комодъ пузатый подъ замкомъ—  
Все старина, за то соринки  
Тутъ не замѣтишь ни на чемъ.

## II.

Хозяйка добрая, здорово!  
Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ,  
И въ этомъ бѣломъ колпакѣ,  
И все молчишь! Порою слово  
Промолвишь съ дочерью родной  
И вновь разбитый голосъ твой  
Умолкнетъ. Бѣдная Арина!  
Повысушили до поры  
Нужда, да тяжкая кручина  
Тебя, какъ травушку въ жары;  
Поникла голова, что колось,  
И посѣдѣлъ твой русый волосъ;  
Одна незлобная душа,  
Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой  
Сидишь въ раздумьи подъ окномъ;  
Одной привычною заботой

Всю жизнь вы заняты вдвоемъ...  
 Глядишь на улицу тоскливо,  
 Румянецъ на лицѣ поблекъ,  
 И спицы движутся лѣниво,  
 Лѣниво вяжется чулокъ.  
 О чемъ тоска? откуда скука?  
 Коса, что черная смола,  
 Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...  
 Душа болитъ? Неволя мука?..  
 Что дѣлать! подожди пока  
 Прогонить вѣтеръ облака \*)

„Охъ, Саша! полно сокрушаться!  
 Вотъ ты закапляешь опять...  
 Промолвила старушка мать:  
 Ну, въ садъ пошла-бы прогуляться,  
 Вишь, вечеръ чудо!“

— Все равно!

И тутъ не дурно: вотъ въ окно  
 Свѣтъ Божій виденъ — и довольно!—

„Глядѣть-то на тебя мнѣ больно!  
 Блѣдна, вотъ точно полотно...“  
 И мать качала головою  
 И съ Саши не сводила глазъ.  
 „Поди-ты! сокрушаетъ насъ  
 Старикъ! надъ дочерью родною  
 Смѣется... Чѣмъ-бы не женихъ  
 Столяръ-сосѣдъ? Умень и тихъ.  
 Три раза сваха приходила,  
 Ужь какъ, вѣдь, старика просила!  
 Одинъ отвѣтъ: на дняхъ приди...

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № 10-й.

Подумать надо... погоди...  
 Ты вотъ что, Саша: попытайся,  
 Съ отцомъ сама поговори,  
 Чуть будетъ веселье“.

— Дождидайся!

Я думаю, въ ногахъ умри, —  
 Откажетъ...—

Мать не отвѣчала,  
 Поникнувъ грустно головой.  
 — Чуть будетъ веселье... Боже мой!  
 За что-же я-то потеряла  
 Веселье? Вѣдь, къ чужимъ прійдешь,  
 Тамъ свѣтъ иной, тамъ отдохнешь;  
 А при отцѣ языкъ и руки —  
 Все связано! когда со скуки  
 Въ окно глядишь, и тутъ запретъ!  
 Ужъ и глазамъ-то воли нѣтъ!

„Все осуждать его не надо.  
 Извѣстно—старъ, кругомъ нужда,  
 На рынкѣ хлопоты всегда,  
 Вотъ и беретъ его досада.  
 Онъ ничего... вѣдь, онъ не золъ:  
 На часъ вспылить, и гнѣвъ прошелъ“.  
 — Я такъ... я развѣ осуждаю?  
 И день — печаль, и ночь — тоска,  
 Тутъ по неволѣ съ языка  
 Сорвется слово.—

„Знаю, знаю!

Какъ быть? живи, какъ Богъ велѣлъ...  
 Знать, положенъ таковъ предѣлъ“.

Заря погасла. Мѣсяць всходитъ,  
 На стекла блѣдный свѣтъ наводитъ;  
 За лѣсъ свалились облака;  
 Въ туманѣ городъ и рѣка;  
 Не шевельнетъ листомъ осина;  
 Лишь гдѣ-то колесо гремитъ,  
 Да соловей въ саду свиститъ.  
 Молчать и Саша, и Арина,  
 Ихъ спицы бѣдныя однѣ  
 Не умолкаютъ въ тишинѣ.

Какъ хорошо лицо больное  
 Старушки сгорбленной! оно,  
 Какъ изваяніе живое,  
 Все мѣсяцемъ освѣщено.  
 Въ рукахъ на мигъ уснули спицы,  
 Глаза на дочь устремлены,  
 И неподвижныя рѣсницы  
 Слезой докучной смочены.  
 Сверкаетъ небо огоньками,  
 Не видно тучки въ синевѣ  
 А у старушки облачками  
 Проходятъ думы въ головѣ:  
 Безъ дѣтокъ грусть, съ дѣтьми не радость!  
 Сынокъ въ землѣ давно лежитъ,  
 Осталась дочь одна подъ старость—  
 И эту горе изсушить.  
 Ну, что ей дѣлать, если свахѣ  
 Старикъ откажетъ? Какъ тутъ быть?  
 Я чаю, легче-бы на плахѣ  
 Бѣдняжкѣ голову сложить!  
 И безъ того ужъ ей несладко:  
 Работа, скука, нищета...  
 Всю жизнь свою, моя касатка,

Что въ клѣткѣ птица, заперта.  
 Когда и выйти доведется,  
 Домой придетъ—печальный домъ...  
 Глядишь, на грѣхъ старикъ напьется,  
 О-охъ, бѣда мнѣ съ старикомъ!  
 Ну, та-ль она была съ-измала?  
 Бывало, пѣла и плясала,  
 На мѣстѣ часу не сидить,  
 Вотъ словно колокольчикъ звонкій,  
 Веселый смѣхъ и голосъ тонкій  
 Въ саду, иль въ горенкѣ звенить!  
 Бывало, чуть съ постельки встанетъ,  
 Посмотришь—куколки достанетъ,  
 Толкуетъ съ ними: „Ты вотъ такъ  
 Сиди, ты глупая дѣвчонка...  
 Вотъ и братишка твой дуракъ,  
 Вамъ надо няню“. И рученкой  
 Начнетъ ихъ эдакъ тормошить...  
 Возьметъ подасть имъ на бумажкахъ  
 Водицы въ желудевыхъ чашкахъ.  
 „Ну, вотъ, молъ, чай, извольте пить!“  
 —Уймися, говорю, вострушка,—  
 Отецъ прикрикнетъ:—посѣку!—  
 Бѣдняжка сядетъ въ уголку,  
 Наморщить лобикъ, какъ старушка,  
 И хмурится. Отецъ съ двора—  
 Опять потѣшная игра.

И мать работу положила,  
 Печной заслонъ въ потѣмахъ открыла,  
 Достала щепкой уголекъ  
 И стала дуть. Вдругъ огонекъ  
 Блеснулъ и снова замираетъ.  
 Вотъ щепка вспыхнула едва,—

Изъ мрака смутно выступаетъ  
Старушки блѣдной голова.

### III.

Ужъ столъ накрытъ, и скудный ужинъ  
Готовъ. Покой старушкѣ нуженъ,  
Заснуть-бы время,—мужа ждетъ;  
Скрипитъ крылечко, -- онъ идетъ.  
Сюртукъ до пять, въ плечахъ просторенъ,  
Картузъ въ пыли, ни рыжъ, ни черенъ,  
Спокоенъ строгій, хитрый взглядъ.  
Густыя брови внизъ висять,  
Угрюмо супясь. Лобъ широкій  
Изрытъ морщинами глубоко,  
И темень волосъ, но сѣда  
Подстриженная борода.

„Усталъ, Лукичъ? жена спросила:  
Легко-ль, чуть свѣтъ ушелъ съ двора!  
Садись-ко ужинать: пора!“  
— не каплетъ сверху... заспѣшила!  
Отвѣтилъ мужъ: успѣешь, другъ!  
И, снявъ поношенный сюртукъ,  
На гвоздь повѣсилъ осторожно,  
Рубашки воротъ распустилъ,  
Лицо и руки освѣжилъ  
Водсю.— Ну, теперь вотъ можно  
За щи приняться.—

„Вишь, родной! .  
Старушка молвила: не спится!

Всю ноченьку провеселится,  
 Поди, какъ свищеть!

— Кто такой?

Отвѣтилъ мужъ скороговоркой,  
 Ломаю хлѣбъ съ сухою коркой.  
 „Соловьюшекъ у насъ въ саду.“  
 — „Сытъ, стало. Коли-бы зналъ нужду,  
 Не пѣлъ-бы. Мнѣ вотъ не поется,  
 Какъ хлѣбъ-ать потомъ достается...  
 Ты, Саша, ужинала что-ль? —  
 „Мы ждали васъ“.

— Подай мнѣ соль.—

Дочь подала.

— За ужинъ сѣла,

Такъ ѣшь? Ты что не весела?—  
 „Я ничего“.

— Гм... дурь нашла

Такъ, такъ!—

Старушка поглядѣла

На Сашу. Саша поняла  
 И ложку не хотя взяла.  
 — Охъ, эта, дѣвичья кручина!  
 Отецъ, нахмурясь, продолжалъ  
 И мокрой ложкой постучалъ  
 Объ столъ: все блажь! Подбавь, Арина,  
 Мнѣ каши... да! все блажь одна!  
 Я знаю отъ чего она,  
 Смотри!—

„Опять не угодила

За смѣхъ—упрекъ, за грусть—упрекъ...“



Ну, грустно, — что-жъ тутъ за порокъ?  
Что за бѣда?

— Заговорила!

Языкъ прикусишь! берегись!  
Вишь ты!.. И жилы напряглись  
На лбу отца. Гроза собиралась.  
Но саша знала старика,  
Словамъ дать волю удержалась, —  
И пронеслися облака  
Безъ грома.

Чашка опустѣла.

Лукичъ усы свои утеръ  
И, помолившись, кинулъ взоръ  
На Сашинъ хлѣбъ. „Ломтя не съѣла...  
Сердита, значить... Прибирай!  
Есть квасъ-то на ночь?“

— Есть немного. —

„Ну, принеси. Сейчасъ ступай!“  
— Куда-жъ идти? Теперь порога  
Не сыщешь въ погребѣ: не день... —  
„Ну, ну! пошевельнуться лѣнь!“

Дочь вышла. На лицѣ Арины  
Слегка разгладились морщины.  
Старикъ, молъ, трезвъ... Иль оиъ любви  
Не знаетъ къ дѣтищу родному?  
Скажу про Сашу... Не чужому...  
Что-жъ! Господи благослови!  
И подлѣ мужа робко съѣла.  
„Лукичъ!“

— Ну, что тамъ?

„Я хотѣла...

Того... съ тобой поговорить...  
Не станешь ты меня бранить?“  
— За что?—

„Начать-то я не смѣю“.

— Ну, ладно, ладно! говори!—  
„Вишь, мы вотъ стары, я болѣю,  
Совѣмъ свалюсь, того смотри,  
Обрадуй ты меня подъ старость—  
Отдай ты дочь за столяра!“  
— Обрадуй... что-же тутъ за радость?  
Вотъ ты, къ примѣру, и стара,  
А дура!.. стало есть причина,  
Зачѣмъ я медлю... Эхъ, Арина!  
Пора-бы, кажется, умнѣть!—  
„Какъ мнѣ на Сашу-то глядѣть?  
Она часъ отъ часу худѣеть.  
Вѣдь, я ей мать!“

— Повеселѣть!

Ты знаешь, дѣвичья слеза,  
Что утромъ на травѣ роса:  
Пригрѣетъ солнце и—пропала. —  
„Пусть я отрады не видала,  
Хоть ей-то, дочери, добра  
Ты пожелай!“

— Въ постель пора!

Оставь, пока не разсердился!—

Старушка въ спальню побрела.  
Тамъ передъ образомъ свѣтился

Огонь. Въ углу кровать была,  
 Безъ полога. Подушекъ тѣни  
 Какъ будто спали на стѣнѣ.  
 Арина стала на колѣни,  
 И долго, въ чуткой тишинѣ,  
 Передъ иконою святою  
 Слеза катилась за слезою.

Межъ тѣмъ Лукичъ окно открылъ  
 И трубку медленно курилъ;  
 Сквозь дымъ, глаза его безъ цѣли  
 На кудри яблоней глядѣли.  
 „Ну, завтра ярмарка. Авось  
 На хлѣбъ добуду. Плохо стало!  
 Ходьбы и хлопотни не мало,  
 А прибыли отъ нихъ—хоть брось!  
 Другимъ, къ примѣру, удается:  
 Казна валится, точно кладъ;  
 Ты, право, грошу былъ-бы радъ,  
 Такъ нѣтъ! Гдѣ тонко, тутъ и рвется.  
 Порой что въ домъ и попадетъ,  
 Нужда метлою подмететь.  
 Вотъ, дочь невѣста... все забота!  
 И сватають, да нѣтъ разчета:—  
 Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,  
 Да голь большая, вотъ причина!  
 Что честь-то? коли нѣтъ алтына,  
 Далекъ съ нею не уйдешь.  
 Безъ денегъ честь—плохая доля!  
 Согнешься не хотя кольцомъ  
 Передъ зажиточнымъ плутомъ:  
 Нужда—тяжелая неволя!  
 Мнѣ дочь и жаль! я человѣкъ,  
 Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ

Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ.  
 Лукичъ—кулакъ! кричить весь городъ.  
 Кулакъ... Душа-то не сосѣдъ,  
 Сплутуешь, коли хлѣба нѣтъ.  
 Будь зять богатый, будь помога,  
 Не выйди я изъ-за порога,  
 На мѣстѣ дай мнѣ Богъ пропасть,  
 Коли подумаю украсть!  
 А есть женихъ, навѣрно знаю...  
 Богатъ, не долженъ никому,  
 И Саша нравится ему.  
 Давно я сваху поджидаю.

Такъ думалъ онъ. А вѣтерокъ  
 Его волосъ едва касался,  
 И въ трубкѣ красный огонекъ  
 Подъ сѣрымъ пепломъ раздувался.  
 Порой катилася звѣзда,  
 По небу искры разсыпала  
 И гасла. Ночь благоухала,  
 И бѣлыхъ облаковъ гряда  
 Плыла на сѣверъ. Жадно пили  
 Росу поникшіе листы,  
 И звуки смутные ловили.  
 При свѣтѣ мѣсяцы кусты,  
 Бросая трепетныя тѣни,  
 Казалось, въ царство сновидѣній  
 Перенеслись. Межъ ихъ вѣтвей  
 Въ потемкахъ щелкалъ соловей.

Быть-можетъ, съ дѣтства взятый въ руки  
 Разумный матерью, отцомъ,  
 Лукичъ избѣгъ-бы жалкой муки—  
 Какъ нынѣ, не былъ Кулакомъ

Великъ, кто взросъ среди порока,  
 Невѣжества и нищеты,  
 И остается безъ упрёка  
 Жрецомъ добра и правоты;  
 Кто видитъ горе, знаетъ голодь,  
 Усталый, чахнетъ за трудомъ,  
 И крѣпко волей вѣчно молодъ,  
 Всегда идетъ прямымъ путемъ!  
 Но, пусть, какъ мученикъ, сквозь пламень,  
 Прошелъ ты, полной чистоты,  
 Остановись, поднявши камень  
 На жертву зла и нищеты!  
 Корою грубою закрытый,  
 Быть-можетъ, въ грязной нищетѣ  
 Добра зародышъ неразвитый  
 Горитъ, какъ свѣчка въ темнотѣ!  
 Быть-можетъ, жертвѣ заблужденья  
 Доступны рѣдкія мгновенья,  
 Когда казнить она свой вѣкъ  
 И плачетъ, сердце надрывая,  
 Какъ плакалъ передъ дверью рая  
 Впервые падшій человекъ!

#### IV.

Еще ребенкомъ, нестѣсенный  
 Въ привычкахъ жизни обыденной,  
 Лукичъ бездѣлье полюбилъ.  
 Своимъ Карпушкой занятъ былъ  
 Торгашъ, отецъ его, немного,  
 Хоть и твердилъ сынишкѣ строго:  
 „А вотъ, Господь дастъ, доживемъ,  
 Мы поглядимъ, какимъ добромъ

Воздашь отцу за попеченье.  
 Тутъ можно человѣкомъ быть:  
 Съизмала началось ученье—  
 Псалтырь и все... тутъ можно жить!  
 Я и читать вотъ не учился,  
 Да вышелъ въ люди: сытъ, обувь...“  
 И подъ хмѣлькомъ всегда бранился:  
 „Ты, дескать, баловень! ты плутъ!..“  
 И сына за вихоръ поймаешь,  
 Такъ, ни за что... „Ну, вотъ, молю знай!“  
 Дереть, дереть - до слезъ таскаетъ,  
 И молвилъ: „Ну, ступай, играй!“  
 А мать свое хозяйство знала,  
 Въ печи дрова со счетомъ жгла.  
 Горшки да чашки берегла,  
 И ей заботы было мало,  
 Когда зимой по цѣлымъ днямъ,  
 Забросивъ книжку и указку,  
 Сынокъ катался по горамъ.  
 Раздолье!.. легкія салазки  
 Со скрипомъ по снѣгу летятъ,  
 На нихъ бубенчики звенятъ.  
 „Какъ смѣлъ ты утромъ не являться?“  
 Ему учитель говорилъ.  
 — У насъ молебень въ домѣ былъ,  
 Миѣ батюшка велѣлъ остаться.—  
 „Ты до обѣда гдѣ ходилъ?  
 Кричалъ отецъ: часъ цѣлый ждали.“  
 — Учитель не пускалъ домой:  
 Зады сидѣли повторяли...—  
 Бывало, лѣтнею порой,  
 Тайкомъ залѣзетъ въ садъ чужой,  
 Румяныхъ яблокъ наворуетъ,  
 Тащитъ ихъ къ матери. „Гдѣ взялъ?“

— А это мнѣ Сенютка далъ,  
 Вотъ ѣшь!—И мать его цѣлуетъ:  
 Поди, молю, родила сына,  
 Не съѣсть безъ матери куска!  
 Порой грачей въ гнѣздѣ поймаешь:  
 „Эй, Сенька! у меня грачи!  
 Давай мѣнять на калачи!“  
 — Не надо!—Сенька отвѣчаетъ.  
 „Ну и не надо... вотъ имъ! вотъ!“  
 И головы грачамъ свернетъ,  
 Парнишку больно оттаскаетъ  
 И прибѣжитъ домой, реветъ.  
 „О чемъ ты?“ мать въ испугѣ спроситъ.  
 — Да вотъ Сенютка, сынъ голоситъ:  
 Моихъ грачей закинулъ въ ровъ  
 И надавалъ мнѣ тумачковъ.—

Карпушка на ноги поднялся  
 И все безъ дѣла оставался,  
 Покамѣсть вздумалось отцу  
 Въ науку мудрую къ купцу  
 Его отдать. Тутъ всѣ разчеты—  
 Торговыхъ плутней извороты  
 Онъ изучилъ, и кошелекъ  
 Казной хозяйскою, какъ могъ,  
 Наполнилъ. Годы шли. Скончался  
 Его отецъ; угасла мать.  
 Невѣсту долго-ли сыскать?  
 И сынъ женился. Распроцался  
 Съ купцомъ; заторговалъ мукой;  
 И какъ по маслу, годъ-другой,  
 Все шло. Но вдругъ за пень задѣло:  
 Тутъ неудача, тамъ оплошалъ...  
 Спустилъ, какъ воду, капиталъ

И запилъ: горе одолѣло!  
 Искать мѣстечка — стыдъ большой;  
 Искать рѣшился—отказали.  
 А ремеслу не обучали;  
 Подумалъ — и махнулъ рукой:  
 — „Тѣфу, чортъ возьми! да что за горе  
 Пойду на рынокъ по утру,  
 Такъ вотъ и деньги! Рынокъ — море!  
 Тамъ рыба есть, умѣй ловить!  
 Достанетъ какъ-нибудь прожить!“  
 И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,  
 Онъ всякой дрянью промышлялъ,  
 И Лукича весь городъ зналъ  
 По разнымъ плутнямъ, по наряду,  
 По вѣчной худобѣ сапогъ  
 И по загару смуглыхъ щекъ.

## V.

Флагъ поднять. Ярмарка открыта:  
 Народомъ площадь вся покрыта.  
 На море пестрое головъ  
 Громада бѣлая домовъ  
 Глядитъ стеклянными очами;  
 Недвижная, затоплена  
 Вся солнца золотомъ она.  
 Людъ Божій движется волнами...  
 И кички съ острыми углами,  
 Подолы красные рубахъ,  
 На черныхъ шляпахъ позументы  
 И вѣтромъ въ дѣвичьихъ косахъ  
 Едва колеблемыя ленты —  
 Вся деревенская краса



Вотъ такъ и мечется въ глаза!  
 Изъ лавокъ, хитрая приманка,  
 Высматриваютъ кушаки,  
 И разноцвѣтные платки,  
 И разноцвѣтная серпанка.  
 Тутъ груды чашекъ и горшковъ,  
 Корчагъ, боченковъ, кувшиновъ;  
 Тамъ—лыки, ведра и ушаты,  
 Лотки, подойники, лопаты,  
 Колеса... „Гдѣ? Какая дрянъ?  
 Ты вотъ на ступицу-то глянь!“  
 Торгашъ плечистый повторяетъ  
 И бойко колесомъ вертитъ.  
 А парень крендель доѣдаетъ,  
 — Сложи полтину, говорить:  
 Возьму и дегтю, вотъ мазницы...—  
 „Нѣтъ, врешь! отдай за рукавицы!  
 Ты гаманокъ-то свой не прячь!  
 Кричить налѣво бородачь.  
 Здѣсь давка: спорять съ мужиками  
 За клячу пѣгую купцы,  
 И *Лазаря* поютъ слѣпцы,  
 Сбирая мѣдными грошами  
 Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.  
 Набить-биткомъ толпой гулякъ  
 Приютъ разгула и кручины,  
 Подъ кровлею изъ парусины.  
 „Охъ, православные, я пьянъ!“  
 Въ бумажномъ колпакѣ и блестяхъ,  
 Кривляясь съ бубномъ на подмосткахъ,  
 Народъ дурачить шарлатанъ  
 И корчить рожу... „Какъ обманъ!“  
 Повертывая головою,  
 Цыганъ проносится съ божбою:

„Коню не двадцать лѣтъ, а пять.  
 Жены, дѣтей мнѣ не видать!“  
 Веселый говоръ, крикъ торговли,  
 Пискъ дудокъ, пѣсни мужичковъ  
 И ранній звонъ колоколовъ —  
 Все въ гуль слилось. Межъ тѣмъ оглобли  
 Приподнялись поперхъ воевъ,  
 Какъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ.

Лукичъ на ярмаркѣ съ разсвѣта,  
 Успѣлъ ужъ выпить, закусить,  
 Купить два старыхъ пистолета  
 И съ барышемъ кому-то сбыть.  
 Теперь онъ съ бабою хлопочетъ,  
 Руками уперся въ бока,  
 Лицо горитъ, чуть не соскочить  
 Картузъ съ затылка, — рѣчь бойка.  
 „Ты вотъ что, умная молодка,  
 По сторонамъ-то не смотри,  
 Твой холстъ, къ примѣру, не находка...  
 Почему аршинъ-то? говори“.  
 — По гривнѣ я тебѣ сказала;  
 Вонъ и другіе такъ берутъ.—  
 „Не ври! куда ты указала!  
 Тамъ по три гроша отдають!“  
 — И, що-ты! аль я одурѣла!  
 Поди-ко цѣну объявилъ!  
 Купецъ четыре мнѣ сулилъ,  
 Да я отдать не захотѣла... —  
 Вонъ онъ стоитъ...—

„Ха, ха! ну такъ!

Отдай! и ты не догадалась!

Эхъ, дура, съ кулакомъ связалась!

Вѣдь, онъ обмѣряетъ! кулакъ!  
 А я на совѣсть покупаю...  
 Ей, голова, почемъ пенька?"  
 Остановивши мужика,  
 Онъ закричалъ.

— Спасибо! знаю—

„Должно, нашъ братъ училъ тебя!“  
 Лукичъ подумалъ про себя.  
 И снова съ бабою заспорилъ,  
 Голубушкою называлъ,  
 Разъ десять къ чорту посылалъ,  
 И на послѣдокъ урезонилъ.  
 Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,  
 Разъ!.. разъ!.. и смѣрена холстина.  
 „Гляди вотъ: двадцать три аршина“.  
 — Охъ ма! тутъ двадцать семь какъ-разъ! —  
 „Что, у тебя иль нѣту глазъ?  
 Аршинъ казенный, понимаешь!  
 Вотъ на... не видишь, два клейма!“  
 — Да какъ же-такъ?—

„Не довѣряешь?“

— Я дома мѣрила сама.—  
 „Тьфу! провались ты! я сумѣю  
 Безъ краденой холстины жить!  
 Глаза что-ль ею мнѣ накрыть?  
 Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю!“  
 И кошелекъ онъ развязалъ,  
 На гривну бабу обчиталъ  
 И торопливо отвернулся:  
 Прощай, моль, вѣрно!.. недосугъ!  
 Пошелъ-было въ толпу—и вдругъ  
 Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся.

„Мое почтенье, Климъ Кузьмичъ!  
Не купите-ли, сударь, бричку?  
Отличный сортъ!“

— Ба, ба! Лукичъ!  
Ты не забылъ свою привычку—  
Прислуживаешь, братецъ, всѣмъ?—  
„Что дѣлать, сами посудите,  
Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ѣмъ...  
А бричка дешева-сь! купите!“  
— Нѣтъ, я на бричку не купецъ.  
Не попадетсѣ-ль жеребецъ?  
Вотъ не найду никакъ, мученье!  
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть—  
Караковый.—

„Есть, сударь, есть!  
Рысакъ! А бѣгъ—мое почтенье!“  
И онъ прищелкнулъ языкомъ:  
„Да-сь! одолжу, молъ, рысакомъ!“  
— Ты плутъ естественный, я знаю;  
Смотри, Лукичъ, не обмани!—  
„Ну, вотъ-сь, помилуйте! ни-ни!  
Я васъ съ другими не сравняю.  
Тутъ... Вамъ Скобѣевъ незнакомъ?  
— Нисколько.—“

„Онъ, сударь, кругомъ  
Въ долгахъ: весь въ карты проигрался,  
Теперь рысакъ одинъ остался...  
Ну, конь! Глазами, ваша честь,  
Вотъ такъ, къ примѣру, хочеть съѣсть!  
Чортъ знаетъ! просто заглядѣнье!“  
— Да правда-ль?—

„Не далеко домъ,  
Коли угодно завернемъ,  
Посмотримъ“.

— Сдѣлай одолженъе!  
А помнишь-ли, купилъ ты мнѣ  
Собаку какъ-то по веснѣ?—  
„Плохенька развѣ“?

— Околѣла,  
Не взялъ-бы чортъ знаетъ чего!—  
„Охотиться не захотѣла...  
Поможемъ, сударь, ничего...  
Ахъ! тутъ вотъ есть у офицера  
Собака... кличку-то забылъ.  
Вчера денщикъ и говорилъ...  
Ну, и животное, къ примѣру:  
Брось въ воду гривенникъ—найдетъ!  
Вотъ вамъ купить-бы“.

Радъ душою!  
Но для чего-жъ онъ продаетъ?—  
„Что дѣлать станете съ нуждою!  
Наслѣдство дядя обѣщаль,  
А при смерти не завѣщаль,  
Ѣсть нечего... семья большая...  
— А! вотъ что! баринъ отвѣчалъ  
И, гибкой тросточкой играя,  
Поглядываль по сторонамъ  
И напѣваль: „тири-та-рамъ...“

## VI.

„Вотъ-съ двухъ-этажный съ мезониномъ...“  
 Лукичъ помѣщику сказалъ  
 И домъ Скобѣева, аршиномъ  
 Махнувъ на право, показаль.  
 „Эй, кучеръ! соня“!

Кучеръ плотный,  
 Безмысленно разинувъ ротъ,  
 Дремаль на камнѣ у воротъ.  
 „Иль ночь-то не спаль, беззаботный?“  
 Лукичъ у кучера спросиль.  
 Тотъ вздрогнулъ и глаза открыль,  
 Досталь тавлинку изъ кармана  
 И сильно въ ноздри потянулъ.  
 „Гдѣ баринъ?“

— Ась? А... Чхи! Татьяна  
 Мнѣ говорила... чхи!.. пьеть чай.—  
 „Потише ротъ-то разѣвай!  
 Вишь, зачихаль. Эхъ, ты, пріятель!  
 На рысака вотъ покупатель...“  
 — Ну, что-же? стало показать?—  
 „Вѣдь, не заочно покупать“!  
 — А баринъ?—

„Выводи, онъ знаетъ“.  
 И кучеръ скрылся. „Климъ Кузьмичъ!  
 Сказаль въ полголоса Лукичъ:  
 Споровка дѣлу не мѣшаетъ—  
 Ему на водку надо дать...“  
 — Ну, дураку-то!—

„Какъ узнать!

Бываетъ и дуракъ годится.  
 Онъ, рыжій чортъ, не постыдится  
 И господину понавретъ,  
 Что нашъ-де конь намъ не подходитъ  
 И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ.  
 Ей-Богу-съ! Этотъ хамскій родъ  
 Господь частенько за носъ водить!“  
 Помѣщикъ смѣхомъ отвѣчалъ  
 И два четвертака досталъ.  
 Лукичъ въ конюшню торопливо  
 Вошелъ и молвилъ: „живо! живо!“  
 Въ карманъ свой деньги опустилъ  
 И кнуть у кучера спросилъ.  
 — Вонъ на стѣнѣ... не тутъ... правѣе,  
 Статья-то, слышь, не подойдетъ:  
 Вѣдь, конь съ запаломъ—зареветь.—  
 „Ты не крути, держи умнѣе,  
 А ну-ка, дорогой рысакъ,  
 Подставь бока... Вотъ такъ! Вотъ такъ!  
 Прр! прр! На дворъ его скорѣе!..“

И бѣдный конь черезъ порогъ  
 Вдругъ сдѣлалъ бѣшеный скачекъ,  
 Глазами дико покосился  
 И началъ землю рыть ногой.  
 Лукичъ, смѣясь, посторонился—  
 Вишь, дескать, бойкій сталъ какой.  
 Помѣщикъ подошелъ. Рукою  
 Коня по шеѣ потрепалъ  
 И съ доскомъ гривою густою  
 Полюбовался. Холку взялъ,  
 Поправилъ на бокъ, осторожно  
 Ощупалъ ноги, мышки, грудь,

И молвилъ: „надобно взглянуть  
 На зубы“.—Оченно возможно,  
 Кудрявый кучерь отвѣчалъ  
 И зубы рысаку разжалъ.  
 „Э! Конь-то молодой! три года...  
 Лишь сталъ покраины ронять...  
 А ну, нельзя-ли пробѣжать?  
 Стой! Стой! Да, недурна порода!“  
 — А бѣгъ-то, бѣгъ-то, Климъ Кузьмичъ!  
 А шея! говорилъ Лукичъ:  
 Позвольте-съ, вотъ и самъ хозяинъ.—

Хозяинъ былъ румяный баринъ  
 Съ усами, съ трубкою въ рукѣ,  
 Въ фуражкѣ, въ черномъ сюртукѣ,  
 Со знакомъ службы безпорочной,  
 Обрить отлично, сложенъ прочно,  
 Взглядъ строгъ, на выкатѣ глаза  
 И подъ гребенку волоса.

„Скобѣевъ, сударь. Честь имѣю...  
 А вы-съ? коли спросить я смѣю...“  
 Онъ покупателю сказалъ.

— Долбинъ, помѣщикъ. Я узналъ,  
 Что рысака вы продаете...—  
 „Такъ точно“.

— Дорого-ль возьмете?—  
 „Позвольте въ домъ васъ попросить“.  
 — Зачѣмъ-же? можно тутъ рѣшить.—  
 „Четыреста. Коню три года...“  
 — Я видѣлъ. А чьего завода?—  
 „Орлов ой“.



— Дорогъ... Не дамъ.  
А вотъ за триста—по рукамъ.—

„Я не торгашъ, предупреждаю.  
Три съ половиною даютъ,  
Придти хотѣли—и придуть“.  
„Все вретъ“ Лукичъ подумалъ: „знаю“...  
И молвилъ: „я и приводилъ“.  
— Ну! ну! Скобѣевъ перебилъ.  
„Я не обидѣлъ васъ словами;  
Что-жъ! наше дѣло сторона.  
Не дорогая, молъ, цѣна,  
Я вотъ что...“ и старикъ руками  
Развелъ.

Хозяинъ былъ упрямъ,  
И плохо подвигалась сдѣлка.  
„Ударьте, сударь, по рукамъ!  
Лукичъ, какъ бѣсъ, шепталъ украдкой  
Помѣщику: вѣдь, дѣло гадко!  
Скобѣевъ спятитя вотъ-вотъ...  
Кончайте! сотня не разсечетъ!“

Долбинъ стоялъ въ недоумѣннѣ,  
Поглядывалъ на рысака:  
Картина-конь! на старика,—  
Тотъ весь дрожалъ отъ нетерпѣннѣ:  
Усами шевелилъ, мигалъ,  
Къ карману руку прикладалъ...  
Не прозѣвай, молъ! что ты смотришь,  
Покаешься, да не воротишь.  
Мнѣ что! я не желаю зла...  
И сдѣлка кончена была.

Кому не святъ обычай русской!  
 И вотъ за водкой и закуской  
 Скобѣевъ и Долбинъ сидятъ.  
 Червонцы на столъ звенятъ;  
 Лицо хозяина сіяетъ;  
 Онъ залпомъ рюмку выпиваетъ,  
 Остатки въ потолокъ—вотъ такъ!  
 Дескать, попрыгивай, рысакъ.  
 Долбинъ поморщился немного,  
 Но тоже выпилъ. У порога  
 Лукичъ почтительно стоялъ  
 И очереди ожидалъ:  
 Хватилъ и молвилъ: „захромаю  
 Съ одной-съ...“

Скобѣевъ не слыхалъ;  
 Бесѣду съ гостемъ продолжалъ:  
 „Такъ, вотъ что, Климъ Кузьмичъ! я знаю  
 Имѣнье ваше... проѣзжалъ...  
 Земли довольно...“

— Рукъ немного!  
 Душъ тридцать. Впрочемъ, не бѣда:  
 На мѣсячинѣ всѣ. —

„Ахъ, да!  
 Мысль не дурна“.

— Но надо строго  
 Слѣдить. Внимательность нужна. —  
 „Лѣнятся?“

— Ужасъ! Разоряютъ!  
 Заставишь сѣять, сѣмена

За голенища засыпають,  
 Порою въ землю зарывають!—  
 „Неужто?“

— Просто, нѣтъ души!  
 Хоть колъ на головѣ теши,  
 Не убѣдишь!.. Я разъ гуляю...  
 Гляжу — нырнулъ мальчишка въ рожь...  
 Э! погоди, молъ! не уйдешь!  
 И что-же, сударь, открываю?—  
 „Ну-съ?“ —

— Онъ колосья воровалъ!  
 Шапченку верхомъ ихъ набралъ  
 Н а ч т, молъ? Хлопаетъ глазами  
 Да хнычетъ.—

„Этакой развратъ!

Ужасно! и отцы молчатъ?“  
 — Нашли тутъ! научають сами...  
 Не наѣдятся, чортъ возьми!  
 Чтѣ хочешь, какъ ихъ не корми!—

„Вотъ саранча!“  
 — Да-съ! наказанье!  
 Вы какъ? на службѣ!—

„Да... служилъ...  
 Въ комиссіи подъ ляжкой былъ“.  
 — Такъ... Вышли?—

„Родилось желанье  
 Окончить, знаете, свой вѣкъ

Покойно: грѣшный человѣкъ,—  
Усталъ трудиться“.

— Охъ, Создатель!

Лукичъ подумалъ: вотъ и вѣрь!  
Не скажетъ, вѣдь, за что теперь  
Онъ подъ судомъ... хорошъ пріятель!  
Давно-ль деревню-то купилъ?  
А говорить подъ лямкой былъ.—

Помѣщикъ всталъ и распростился.  
Онъ къ воротамъ.—Лукичъ во слѣдъ.  
„За трудъ, сударь“, и побожился:  
Коню-то, моль, цѣны, вѣдь, нѣтъ.  
—Вотъ два цѣлковыхъ.—

„Что вы-съ! мало!  
Какъ можно! это курамъ смѣхъ!  
Гм!.. время, значить, такъ пропало...  
— Ну, сколько же?—

„Да пять не грѣхъ“.  
Долбинъ заспорилъ.

„Воля ваша,  
Хоть не давайте ничего!  
Мы, стало, служимъ изъ того...  
А все къ примѣру, глупость ваша:  
Добра желаешь“.

— Эхъ, какой!  
Одинъ прибавлю. Да! постой!  
На счетъ собаки...—



Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ.  
 Лукичъ за козырекъ схватился,  
 Каргузь подъ мышку положилъ  
 И молвилъ: „ну, сударь! трудился,  
 Весь лобъ въ поту!“

„Платокъ возьми,  
 Утрись“.

— Утремся. Я дѣтьми  
 За вашу клячу-то божился,  
 Не грѣхъ за хлопоты мнѣ взять.—  
 „Вишь старый хрычъ, чѣмъ похвалился!  
 Я-бъ безъ тебя умѣлъ продать.  
 Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...  
 А много заплатилъ Долбинъ?“  
 — Съ него возьмешь! хоть бы алтынъ,  
 Такая выжига, къ примѣру!—  
 „Все лжешь!“

— Бываетъ, что и лгу,  
 А передъ вами не могу:  
 Не хватить духу.—

„Это видно!..  
 Я-бъ даль, нѣтъ мелочи въ дому...“  
 — Да не шутите, сударь, стыдно!—  
 „Не забываться, ротъ зажму!“  
 — Благодаримъ: не вы ли сами  
 Просили вашу клячу сбыть?  
 „Взялъ съ одного, ты съ барышами—  
 И полно!..“

— Что и говорить!  
 Вотъ щедрость! Гм!.. мое почтенье!

Останься съ рюмкою вина...  
 Ну, дорогое угощенье!—  
 „Вишневка. Какъ? вѣдь, не дурна?“  
 — Хоть рубль-то дайте!—

„Чести много,  
 Пожалуй, на вотъ четвертакъ“.  
 — Себѣ возьмите, коли такъ!  
 Эхъ, баринъ, не боишься Бога!—  
 „Я говорилъ тебѣ—молчать!“  
 — Потише! можно испугать!..  
 Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынулъ,  
 Вишь умникъ, дурака нашель...--  
 И свой картузь Лукичъ надвинулъ,  
 Съ досады плюнулъ—и ушелъ.

Горятъ огни зари вечерней.  
 Въ туманѣ прячутся деревни,  
 И все темнѣй, темнѣй вдали.  
 За пашнями, изъ подъ-земли,  
 Выходить пламя полосами  
 И начинается тутъ и тамъ  
 Краснѣть по темнымъ облакамъ,  
 По синевѣ надъ облаками,  
 И смотришь—неба сторона  
 Виситъ въ огнѣ потоплена.  
 Сквозь сумракъ поле зеленѣеть;  
 Угрюмо на краю небесъ  
 Насупился кудрявый лѣсъ;  
 Едва примѣтный онъ синѣеть,  
 Какъ будто туча приплыла  
 И въ полѣ ночевать легла.  
 Соха на пашнѣ опочила,  
 Дорожка торная мертва.

Вдругъ началъ перепеть: вва! вва!  
И смолкъ.

Но пыль, какъ дымъ покрыла  
Весь городъ; такъ и вѣсть глаза!  
Дворянской улицы краса,  
Поникли тополи печально,  
Наводитъ грусть ихъ жалкій видъ;  
На стеклахъ кое-гдѣ горитъ  
Зари румяной лучъ прощальный,  
Напоминая цвѣтъ лица  
Полуживого мертвеца.  
Угрюмо смотреть съ тротуара  
Чугунныхъ пушекъ рядъ нѣмой,  
Угрюмо ходить часовой  
На каланчѣ, и вѣсть пожара —  
И днемъ и ночью черный флагъ  
Готовъ онъ вздернуть. Что ни шагъ —  
Все вывѣски. Вотъ подѣзжаетъ  
Телѣга; вдругъ, какъ изъ земли,  
Рука и палка вырастаеъ.  
Телѣга скрылася вдали.  
Уже прохладенъ воздухъ сонный  
И мѣсяцъ отраженъ рѣкой,  
Но камень, солнцемъ раскаленный,  
Доселѣ тепелъ подѣ ногой.

Лукичъ въ свой домикъ возвращался.  
Прищуривъ мутные глаза,  
Онъ шелъ одинъ, безъ картуза.  
И сильно въ стороны шатался,  
И вслухъ несвязно бормоталъ:  
„А вамъ-то что? Вы что такое?  
Вишь умники! ну, погулялъ!



Вѣдь, на свое, не на чужое!  
 Слышь, Климъ Кузьмичъ! каковъ рысакъ?  
 Плохонекъ? ну, впередъ наука!  
 На то, къ примѣру, въ морѣ щука,  
 Чтобъ не дремалъ карась... да, такъ!  
 Ты вѣрилъ на слово, и ладно;  
 Выходить дѣло, ты и глупъ!  
 А мнѣ-то что? мнѣ не накладно,  
 Мнѣ благо, что купецъ не скупъ.  
 Э! А собаку-то, пріятель!  
 Молчишь, сердить за рысака...  
 Да, ты теперъ не покупатель,  
 И не нуждаемся пока.  
 Да гдѣ я? Что за чертовщина!  
 Постой-ка, осмотрюсь кругомъ...  
 Я помню отъ угла мой домъ  
 Четвертый... экая причина!  
 Дай сосчитаю: вотъ одинъ,  
 Другой и третій... больше нѣту...  
 Тутъ пустошь и какой-то тынь...  
 Да какъ-же прежде пустошь эту  
 Я здѣсь ни разу не видалъ?..  
 Тьфу, пропасть! ничего не знаю!  
 А! догадался! понимаю!  
 Не въ эту улицу попалъ“.

## VII.

Аринѣ сердце предвѣщало,  
 Что пьянъ и грозенъ мужъ придетъ:  
 Чуть раздавался скрипъ воротъ,  
 Въ ознобъ и жаръ ее кидало.  
 Свѣча горѣла. За чулкомъ

Грустила Саша подь окномъ.  
 Заботамъ чуждъ, какъ уголь черный,  
 Не унывалъ лишь котъ проворный:  
 Клубкомъ старушки на полу  
 Игралъ онъ весело въ углу.  
 „Иду!.. раздался на крылечкѣ  
 Знакомый крикъ: огня подать!“  
 И Саша бросилась къ свѣчкѣ,  
 Отца готовая встрѣчать.

Дверь распахнулась, онъ явился:  
 Лобъ сморщенъ, дыбомъ волоса.  
 Дырявый галстукъ на бокъ сбился  
 И кровью налиты глаза.  
 „Безъ картуза!“ всплеснувъ руками,  
 Старушка молвила.

— Молчать!

Я дамъ вамъ дружбу съ столярами!  
 Тсс!.. смирно!.. рта не разѣвать!..  
 „Постойте! Саша говорила:  
 Я васъ раздѣну“.

Раздѣвай!

Ну, да! и галстукъ... все снимай!...  
 А ты о чемъ вчера грустила?—  
 „Такъ скучно было“.

— Врешь! не такъ!

Ты думаешь, отецъ дуракъ...  
 Цѣлуй мнѣ руку!—

Дочь стояла

Недвижно; только по лицу,

Сквозь блѣдность, краска выступала!  
 — Не стою?.. А! поцѣловала!  
 Противно, значитъ... да! отцу!  
 Едва губами прислонилась!—  
 „Ну, началось!“ сказала дочь.  
 И отошла съ досадой прочь.  
 — Разуй меня! куда ты скрылась?  
 Но Саша медлила.

—Идешь?...

Ну, ладно. Тише! что ты рвешь!  
 Не надо!—

„Полно издѣваться!

Давайте!“

„Цыць!—

„Вѣдь, брошу!“

—Какъ?

Ну, брось!.. ну, брось!.. отецъ дуракъ.  
 Ну, что-жь? не грѣхъ и посмѣяться..  
 А я заплачу... не въ первой..  
 Вотъ плачу... смѣйся! Богъ съ тобой!—  
 „Да лягъ! промолвила старушка:  
 Хоть тутъ—на лавкѣ, Вотъ подушка“.  
 „Чего? учи-ко дочь свою!  
 А вотъ я пѣсню запою:  
 Лучина...—

„Полно, старичина!

Грѣшно! какая тамъ лучина!“

—Молчать! я хлѣба мало ѣлъ!

Вотъ это кто добыть умѣлъ?—

И серебро свое онъ вынулъ

И на полу его раскинулъ.  
„На что-жь бросать-то?

—Стой, не тронь!  
Не подбирай! туши огонь!—  
„Да лягъ! потушимъ!“

—А! потушишь!  
Украсть хотите? нѣтъ, постой!—  
„Изъ-за чего ты насъ все крушишь?  
Ну, пьянъ, и спалъ-бы, Богъ съ тобой!“  
—Кто пьянъ?—ты мужу такъ сказала!  
Куда? не спрячешься! найду!—  
„Оставьте, Саша умоляла:  
Она ушла, ушла! въ саду“.  
—Прочь отъ двери! Ты что пристала?  
А кто тебѣ вотъ это сшилъ?—  
И дочь онъ за рукавъ схватилъ.  
—Ну, что-жь, къ примѣру, замолчала?—  
У Саши загорѣлся взоръ,  
И все лицо, что коленкоръ,  
Вдругъ побѣлѣло. „Не кричите!“  
—Кто сшилъ?—

„Сама!“

--Вотъ разъ! вотъ два!—  
И половина рукава  
Упала на полъ.

„Рвите! рвите!—  
За то, что для себя и васъ  
За дѣломъ не смыкаю глазъ!  
За то, что руки вамъ цѣлую  
И добываю хлѣбъ иглой,

Или, какъ нынче, въ ночь глухую,  
 Вотъ такъ терплю!.. И вы родной!  
 И вы отецъ!“

Старикъ смутился,  
 Какъ ни былъ пьянъ; но спохватился  
 И плюнулъ дочери въ глаза.  
 И вѣрно-бъ грянула гроза;  
 Но Сапа за отцомъ слѣдила;  
 Вмигъ отъ удара отскочила  
 Назадъ и бросилася вонъ.

Лукичъ въ сонъ крѣпкій погружень\*).  
 Свѣча погасла. Все сидѣли  
 И мать и дочь въ саду густомъ,  
 И звѣзды радостнымъ огнемъ  
 Надъ головами ихъ горѣли.  
 Но грозно, въ синей вышинѣ,  
 Стояла туча въ сторонѣ;  
 Сверкала молнія порою—  
 И садъ изъ мрака выступалъ,  
 И вновь во мракѣ пропадалъ.  
 Старушка робкою рукою  
 Крестилась. Вся освѣщена  
 На мигъ и пробудясь отъ сна,  
 На вѣткѣ вздрагивала птичка,  
 А по дворамъ шла перекличка  
 У пѣтуховъ.

„Не спишь, дитя?“

Старушка молвила, крехтя:  
 Я что-то зябну... охъ! поди-ты,  
 Какъ грудь-то больно!“

\*) См. „Примѣчанія“, стр. 6, № II й.

— Вотъ платокъ;  
Покройтесь. —

„Что ты, мой дружокъ!  
И будутъ у самой открыты  
До свѣта плечи!“

— Мнѣ тепло. —  
„Нѣтъ, нѣтъ! не надо! все прошло!“

Но дочь старушку убѣдила,  
И грудь и шею ей покрыла  
Платкомъ. Сама, какъ часовой,  
Бродила по травѣ сырой.  
Прогулка грустная не грѣла  
Ея продрогнуваго тѣла.  
Тутъ горе... горе впереди,  
Теперь и прежде... и въ груди  
Досада на отца кипѣла.  
Потрясена, раздражена,  
Вдыхала съ жадностью ова  
Холодный воздухъ, хоть и знала,  
Что безъ того больной лежала  
Не такъ давно. Теперь опять  
Хотѣла слечь—и вновь не встать.

Въ саду зеленомъ блескъ и тѣни,  
На солнцѣ искрится роса;  
Веселыхъ птичекъ голоса  
Перекликаются въ сирени;  
Прохлада свѣжая давно  
Плыветъ въ открытое окно.  
Старушка стекла вытираетъ.  
Подъ потолокъ пуская паръ,

Кипить нагрѣтый самоваръ,  
И Саша чайникъ наливаетъ,  
Сидитъ съ поникшей головой,  
Подпертой бѣлою рукой.

И вотъ Лукичъ отъ мухъ проснулся,  
Зѣвнулъ, лѣниво потянулся,  
Взглянулъ на столъ — тамъ серебро;  
Повѣрилъ — цѣло, ну, добро!  
Онъ вспоминалъ, хотъ и неясно,  
Что пошумѣлъ вчера напрасно;  
Ну, молъ, бѣда не велика,  
Не тронь, уважутъ старика.

„Охъ, голова болитъ, старуха!  
А что вчера я смирно легъ?“  
— Чуть не прибилъ насъ. Видитъ Богъ,  
За чт'. Такая-то сокруха!  
И понаслушались всего...—  
„Гм! жаль, не помню ничего!“  
— Въ саду сидѣли до разсвѣта...  
Грѣшно, Лукичъ! Въ мои-ли лѣта  
Такъ жить!—

„Ну, ну! не поминай!  
Ты пьянаго не раздражай.  
Давай-ка поскорѣ чаю,  
Быть-можетъ, голова... того...  
А я жду сваху“.

—Отъ кого?—  
„Про это я, выходить, знаю:  
Что думалъ, сбудется авось“.  
—Смотри, тужить-бы не пришлось...  
И-ихъ, старикъ!—

„И-ихъ, старуха!

Не забывается сосѣдъ!  
Вѣдь, я сказала, къ примѣру: нѣтъ!  
Ну, плеть не перебьетъ обуха!“  
— Мнѣ замужъ, батюшка, нейти,—  
Чуть слышно Саша отвѣчала,  
И съ чаемъ чашка задрожала  
Въ ея рукѣ.

„Ты безъ пути \*)

Того... не завирайся много!“  
— Я правду говорю. —

„Ну, врешь,

Велю—за пастуха пойдешь“.  
И, поглядѣвъ на Сашу строго,  
Отецъ прибавилъ: „да, велю,  
И баста! спорить не люблю“.  
— Конечно такъ. Я кукла, стало,  
Иль тряпка... и куда попало  
Меня ни бросить, все равно,  
Подъ лавку или за окно.—  
„Да что, къ примѣру, ты въ умѣ-ли?  
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать?“  
— Вотъ если-бъ эту чашку взять  
Разбить, вы вѣрно-бъ пожалѣли!  
„Ну что-жъ изъ этого?“

— Да такъ,

Вы сами знаете—пустякъ:  
Вамъ чашка дочери дороже.—  
„Смеаю. Ты-то за кого  
Меня сочла? за куклу тоже?  
Да ты отъ взгляда моего,

\*) См. „Примѣчавія“. стр. 7, № 12-й.



Не то что словъ, должна дрожать!  
 А ты... ты хлѣбомъ попрекать  
 Отцу! Ты что вчера сказала?  
 Для васъ дескать моя игла...“  
 — Я виновата, попрекала.  
 Да если-бъ камнемъ я была,  
 Тогда-бъ промолвила! Вѣдь, горько!  
 Иной собакѣ лучше жить,  
 Чѣмъ мнѣ: ее не стануть бить,  
 Гнать изъ конуры...—

„Дальше!“

— Только.

Что-жъ, мало этого?—

„Молчать!

И слышишь ты, не поминать  
 Сосѣда! моего порога  
 Не смѣй онъ знать! Вишь, рѣчь нашла!  
 Благодарю, къ примѣру, Бога,  
 Что у тебя коса цѣла!“

Старушка вышла изъ терпѣнья.  
 Въ душѣ за дочь оскорблена,  
 Всѣ слезы, годы униженья,  
 Все горе старое она  
 Припомнила и поблѣднѣла,  
 И мужу высказать хотѣла,  
 Какой, молю, есть ты человѣкъ?  
 Крушилъ жену свою весь вѣкъ  
 И крушишь дочь. Побой, пьянство...  
 Вѣдь, это мука, молю, тиранство...  
 Ты въ этомъ Богу дашь отчеть!..

И не рѣшилась. Нѣтъ, неидеть:  
 Вспылить. Немного помолчала  
 И грустно дочери сказала;  
 „Пей, Саша, чай-то: онъ простыль.  
 Что-жь плакать?“

—Гм! ей чай не миль.  
 Сгубилъ сосѣдь твою голубку,  
 Заплачь и ты,—оно подъ стать!—  
 Промолвилъ мужъ и началъ трубку  
 Объ уголь печки выбивать.

Межь тѣмъ въ калиткѣ обветшалоу  
 Кольцо желѣзное стучало.  
 Лукичъ прислушался: „Стучать,  
 Подъ чай, къ примѣру, норовятъ...“  
 Въ окно Арина поглядѣла:  
 — Старуха чья-то. Охъ, Лукичъ,  
 Не сваха-ли? кому опричь?—  
 „Что-жь! примемъ“. Саша поблѣднѣла.  
 Отецъ на кухню указалъ  
 И Сашѣ выйдти приказалъ.  
 Она не трогалася съ мѣста.  
 „Опять упрямство! слышь, невѣста,  
 За косу выведу, гляди!“  
 — Иди душа моя, иди!  
 Сказала мать: охъ, мука, мука!—  
 „Ну, ну! не мука, а наука....  
 Васъ плетью-бъ нужно обучать“.  
 И онъ сюртукъ сталъ надѣвать.

---

## VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась,  
 И гостя, кашляя, вошла;  
 Святымъ иконамъ помолилась  
 И чуть не въ поясъ отдала  
 Поклонъ хозяину съ хозяйкой.  
 На гостя былъ нарядъ простой:  
 Покрытый синею китайкой  
 Шушунъ, кокошникъ золотой  
 И сарафанъ. Взглядъ ястребиный,  
 Лукавый. На лицѣ морщины,  
 И тонкій носъ загнуть крючкомъ.

„Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!  
 Здоровы-ли, мои родные?  
 Ну, жаръ! насилу доплелась!  
 Да пыль отъ вѣтра поднялась,—  
 Измучилася, золотые!“  
 — Садись-ко, матушка, садись,  
 Сказалъ Лукичъ: вотъ чашку чаю...—  
 „Давай, родной. Уста спеклись.  
 Шестой десятокъ доживаю,  
 Насилу бродишь. Ну, и жаръ!“  
 — Жена! долей-ка самоваръ.  
 Привѣтимъ гостью дорогую,  
 Чѣмъ Богъ послать.—

„И-и родной!  
 Привѣтъ хоть лаской-то одной.  
 Да потрудишься на рѣчь простую  
 Мнѣ, старой бабѣ, отвѣчать“.

—Изволь. Послушаемъ, въ чемъ дѣло.—

„Кажись, вамъ времячко приспѣло  
Живой товаръ свой съ рукъ сбывать;  
Есть у меня купецъ; не знаю,  
Хорошъ ли будетъ онъ для васъ“.

—А! понимаю, понимаю!

Товаръ, къ примѣру, есть у насъ;  
Да кто купецъ-то?

„Таракановъ,  
Тарасъ Петровичъ“.

— Это онъ!

Лукичъ подумалъ: въ руку сонъ!  
Его и ждалъ. —

„Пять балагановъ  
Своихъ на рынкѣ... голова!“  
—Прибавила. И всѣхъ-то два.—  
„И, нѣтъ!... Красавецъ! и бровями,  
И темнорусыми кудрями,—  
Всѣмъ взялъ! хоть въ рамку, золотой!“  
—Намъ красотой не любоваться!  
А былъ бы съ умной головой,  
Умѣлъ-бы дѣломъ заниматься—  
Вотъ это лучше красоты!—  
„Охъ, батюшка, ума палата!  
А домъ-ать—поглядѣлъ бы ты,  
Ужъ нечего!.. не наша хата!  
Пять комнатъ, сударь мой,—просторъ!  
На окнахъ бѣлыя гардины,  
Въ простѣнкахъ разныя картины;  
А дворъ-то, что это за дворъ!  
Крутомъ дубовые амбары,

И лѣсъ старинный, — прочный лѣсъ!  
 Въ одномъ углу большой навѣсъ,  
 Въ амбарахъ всякіе товары.  
 Что, золотой, и говорить:  
 Добра возами не свозить!“  
 — Ну, тутъ прикрасы не у мѣста;  
 Ты о приданомъ рѣчь веди.—  
 „Рѣчь о приданомъ впереди,  
 Для жениха нужна невѣста.  
 Ее онъ видѣлъ какъ-то разъ,  
 Да нѣ-вотъ! кругомъ закружился!  
 И хлѣба, золотой, лишился  
 И ночью не смыкаетъ глазъ—  
 Все ею грезить. Да и мнѣ-то  
 Совсѣмъ покою не даетъ.  
 Тутъ мочи нѣтъ, а онъ придетъ,  
 Все умоляетъ: какъ-бы это,  
 Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ  
 Поговорить съ ея отцомъ?“  
 — Ну, да однако, что-же надо?—  
 „Такъ что-нибудь, хоть для обряда:  
 Четыре головныхъ платка,  
 Ну-съ... три-четыре перстенька,  
 Три нитки жемчугу на шею,  
 (Ужъ много я просить не смѣю),  
 Салопъ на бѣличьемъ мѣху,  
 Сукна на чуйку жениху,  
 Три шали, восемь платьевъ новыхъ,  
 Кровать, комодъ и самоваръ,  
 Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ  
 И—денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ...“  
 — Выходить дѣло, не взыщи!  
 Съ приданнымъ этакимъ, гдѣ знаешь,  
 Иную дѣвушку ищи.—

„И, золотой, ты обижаешь!  
 Ты покажи товаръ купцу;  
 Нельзя: такое заведенье!  
 Не съ разу торгъ, не вдругъ рѣшенье,  
 Сказать: здорово и—къ вѣнцу“.  
 — Ну да! вотъ эта рѣчь умнѣе!  
 Смотрушки завтра. Попозднѣе  
 Прошу покорно вечеркомъ  
 Пожаловать къ намъ съ женихомъ.—  
 „Всенепремѣнно. Ваши гости.  
 Повѣришь-ли, что я скажу?  
 Состарились мои всѣ кости,  
 Лѣтъ тридцать свахою хожу,  
 И счетъ-то свадьбамъ потеряла,  
 А и доселѣ, мой родной,  
 Всѣ, для кого я хлопотала,  
 Остались довольны мной.  
 Кому какой таланъ отъ Бога!  
 За то, куда, вѣдь, ни придешь—  
 И ласку, и хлѣбъ-соль найдешь...  
 Однимъ не хорошо немного:  
 Иные выжиги за трудъ  
 По уговору не даютъ.  
 Ну, имъ и достается горько:  
 Начнешь по городу звонить,  
 То тѣмъ, то семъ ихъ обносить—  
 И свадьба врозь! да мнѣ-то только  
 Отъ этихъ выжигъ барыша!“  
 — Охъ, свашенька, моя душа,  
 Хозяйка, сморщившись, сказала:  
 Не грѣхъ-ли отъ такихъ затѣй?—  
 „И, нѣтъ, родная! я слыхала  
 (Старшой мой сынъ-то грамотѣй,  
 Надъ Библией и засыпаетъ):

За око—око! вотъ, вѣдь, что!  
 Коли тебя обидѣлъ кто,  
 Не кланяйся: не подобаетъ“.

Лукичъ любилъ потолковать.  
 И у него вплоть до обѣда  
 Со свахой длилася бесѣда  
 „Дочь надо замужъ выдавать  
 Умно, дескать. Смотри тутъ въ оба!  
 Тутъ думу думай не шути:  
 Не шашка—кровное дитя,  
 Дашь промахъ разъ,—бѣда до гроба!“  
 Но сваха не была плоха.  
 — Да, да! рассказывай, моль, сказки! —  
 И не жалѣла яркой краски,  
 Рисуй бойко жениха.

#### IX.

Покамѣсть гостя толковала, \*)  
 Невольно Саша ей внимала,  
 И, ѣдкой горечи полна,  
 Рукою трепетной она  
 Взялась за дверь; была готова  
 Ее нежданно отворить,  
 Явиться предъ отцомъ, и снова  
 Отказъ отъ брака повторить.  
 Старикъ вспылить. Въ пылу досады  
 Не будетъ отъ него пощады...  
 Что-жъ! такъ и быть! Но Боже! мать  
 Грозой семейной испугать,  
 Заставить плакать... развѣ мало  
 Она слезъ горькихъ пролила?

\*) См. „Примѣчанія“ стр. 8, № 13-й.

У Саши силы не достало,  
И глупымъ бредомъ наввала  
Порывъ свой дѣвушка.

Какъ сладко

Въ саду малиновка поетъ!  
И какъ не пѣть! въ глуши живетъ,  
Въ кустѣ гнѣздо свила украдкой,  
Въ гнѣздѣ малютки!.. любо ей!  
Миръ Божій свѣтелъ. Надъ землею  
Раздолье утренней порою  
Купаться въ золотѣ лучей.

Весна! Весна! души отрада!  
Блестить на солнцѣ зелень сада,  
Въ избыткѣ жизни каждый листъ  
Трепещетъ. Въ чащѣ пискъ и свистъ,  
Въ травѣ жужжанье. Дятель цѣпкій,  
По ивѣ ползая стучитъ;  
Вокругъ его сухія вѣтки  
Торчатъ, какъ пальцы. Грачъ глядитъ  
Лукаво съ вѣковой березы;  
Тамъ крикъ галчатъ на пнѣ дула,  
Тутъ въ чашечку душистой розы  
Вползаетъ желтая пчела  
За медомъ. Вѣтерка дыханье  
Едва касается травы,  
Надъ головою дня сіянье  
И ширь бездонной синевы.

Но вотъ и Саша. Торопливо  
Къ плетню сосѣдскому идетъ,  
Сама рукой нетерпѣливой  
То сломитъ вѣтвь, то отведетъ.



Порою яркими лучами  
 Ей солнце брызнетъ на плечо,  
 Пригрѣетъ щеку горячо,  
 Межъ тѣмъ неслышными шагами  
 За нею тѣнь ея спѣшитъ.  
 Плетень все ближе. Онъ увидитъ  
 Весь хмѣлемъ. Дѣвушка подходитъ,  
 Кудрявый хмѣль рукой отводитъ  
 И на сосѣдскій дворъ глядитъ.  
 Онъ пусть. Зеленая крапива  
 На зноѣ нѣжится лѣниво,  
 Да у крыльца кусокъ стекла  
 Сверкаетъ. Даромъ ты пришла,  
 Бѣдняжка! не видать сосѣда!  
 И ждать нельзя: пора обѣда,—  
 Старушка дочь свою зоветъ:  
 Скорѣй! скорѣй! отецъ, молъ, ждетъ.

Лукичъ былъ веселъ и за щами  
 Шутилъ надъ Сашей и женой:  
 „Вотъ, дескать, скоро пиръ честной...  
 Готовьтесь! погуляемъ съ вами!“  
 Дочь шутокъ вынести не могла  
 И за водой съ двора ушла.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ;  
 Съ открытой грудью спитъ, не дышетъ  
 Въ постели свѣтлая рѣка.  
 На желтой полосѣ песка  
 Бѣлѣетъ камень. Одиноко  
 За бѣлымъ камнемъ грачъ сидитъ,  
 Крыло повисло, клювъ раскрытъ,  
 Покрытый влажною осокой,  
 Къ крутому берегу приросъ

Недвижной лодки черный носъ.  
 Вдали барахтаются смѣло  
 Мальчишки. Весело волнѣ  
 Ласкать ихъ молодое тѣло...  
 И видны головы однѣ,  
 Да руки крикуновъ. Толпою  
 Идутъ коровы къ водопою;  
 Усталый, щелкая кнутомъ,  
 Пастухъ тащится босикомъ,  
 Въ рубашкѣ.

Саша отдохнула

У камня... Тихо и жара...  
 Воды прозрачной два ведра  
 Съ краями вровень зачерпнула—  
 И оглянулась. „Гдѣ-жъ онъ былъ?“  
 Столяръ навстрѣчу ей спѣшилъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,  
 Не очень смуглъ, не слишкомъ бѣлъ,  
 Веселый взглядъ его спокоенъ  
 И простодушно твердъ и смѣлъ;  
 Въ обтяжку казакинъ изъ нанки,  
 Рубашка красная чиста;  
 Не въ тяготу ему рубанки  
 И не въ кручину бѣднота.

„Вотъ, Саша, встрѣча-то! здорово!  
 Эхъ, мѣсто дрянъ! народъ вонъ есть...  
 Поцѣловалъ-бы... право слово!  
 Ну, жаль! глаза-бъ ему отвести.  
 Да не умѣю“.

— Горя много,

Не до того...—

„О чемъ грустить?  
 Что горе? въ горѣ Богъ помога;  
 Вѣкъ горевать, такъ что и жить!“  
 —Куда ходиль?—

! „Да тутъ скончался  
 Старикъ знакомый. Тамъ сиротъ!..  
 Нѣтъ гроба... голосъба идетъ...  
 Я приготовить обѣщался,  
 Теперъ снялъ мѣрку. Жаль до слезъ!  
 Спасибо, есть готовый тесъ...  
 Ну, что отецъ?“

— Терпѣть устала!  
 Не въ мочь!—и Саша рассказала  
 О свахѣ.

„Эдакой старикъ!“  
 И головой столяръ поникъ,  
 Подумалъ и встряхнулъ кудрями.  
 „Все вздоръ! не надо унывать!  
 Повѣрь, все кончится словами...“  
 — Да, хорошо! легко сказать!  
 Защита гдѣ? Отецъ-то воленъ...  
 Смотрушки завтра. Онъ сказалъ,  
 Чтобъ ты двора его не зналъ.—  
 „Вотъ человѣкъ! упрямствомъ боленъ!  
 Вѣдь, за тобою у него  
 Не требую я ничего...  
 Я бѣденъ! этого боится?  
 Такъ мой топоръ не залежится;  
 Отнимется одна рука,  
 Вотъ есть другая... безъ куска  
 Сидѣть не станемъ...“

— Это знаетъ

Онъ самъ.—

„Такъ что-жъ и горевать!“  
 — Нѣтъ, Вася, сердце предвѣщаетъ,  
 Что намъ въ разлукѣ свѣковать!—  
 „Въ разлукѣ! Господи помилуй!  
 Да развѣ твой отецъ палачь?  
 Хоть за-живо ложись въ могилу,—  
 Онъ не дрогнетъ? Ну, рвись и плачь,  
 Проси, покуда станеть силы,  
 Рѣчей и слезъ!“

— Все такъ, мой милый!

Все это было, и не разъ...  
 Ты знаешь, онъ каковъ у насъ?  
 Жаль мать, не то хотъ утопиться:  
 Попрекъ, ругательство да споръ.—  
 „Ну, что-жъ теперъ и согласиться?  
 Подставить шею подъ топоръ?..  
 Послушай: старику извѣстно,  
 Что я не плутъ и въ словѣ твердъ,  
 Ему навѣрно вотъ что лестно —  
 Женихъ богатъ... Лукичъ, вѣдь, гордъ!  
 Ну, и расчетъ: онъ, моль, надежа  
 Въ нуждѣ, то-есть... такъ помогу,  
 Мой другъ, и я. Ей-ей не лгу!  
 Хлѣбъ надобенъ? Возьми. Одежа —  
 Дамъ и одежду! пусть лежитъ  
 Хоть на печи, все будетъ сытъ!  
 Скажи ему“.

— Онъ посмѣется...

А смѣхъ во зло меня введеть...

Ты не повѣришь, — сердце рвется,  
 Когда онъ подъ хмѣлькомъ придетъ,  
 Да зашумитъ! Сама, вѣдь, знаю,  
 Что грубость - грѣхъ: не утерплю,  
 Забудусь. Послѣ проклиною  
 Себя-же. Я его люблю,  
 Да что... не достаетъ терпѣнья!—  
 „Эхъ, руку-бъ даль на отсѣченье,  
 Да не поможешь!.. мой совѣтъ—  
 Поудержись: грубить не слѣдъ.  
 Что дѣлать? болѣе терпѣла,  
 Дождемся счастья...“

Но грустна

Стояла Саша. Думъ полна,  
 На воду тихую глядѣла  
 Глазами мутными она.  
 Лазурь небесъ тамъ отражалась:  
 Рѣка, свободна и свѣтла,  
 Ее привѣтливо, казалось,  
 Въ свои объятія звала.

X.

Мерцаютъ звѣзды. Городъ сонный  
 Какъ будто вымеръ, — такъ онъ тихъ!  
 Сквозь сумракъ камни мостовыхъ  
 Блѣютъ смутно. Мѣсяцъ полный  
 Свободу далъ своимъ лучамъ:  
 По крышамъ лазятъ, по стѣнамъ;  
 Одинъ въ окно слезу подмѣтитъ;  
 Другой, какъ хитрый чародѣй,  
 Въ тюрему проникнетъ безъ ключей

И цѣпь колодника освѣтитъ;  
 Неслышно церковь навѣститъ,  
 Окладъ иконъ посеребрить;  
 Не зная страха и запрета,  
 Войдетъ въ алтарь, осмотритъ полъ,  
 Скорбящій ликъ Владыки свѣта,—  
 И дерзко ляжетъ на престолъ.  
 Иль въ чашу сада проберется,  
 По темной зелени блеснетъ,  
 Росинку на листѣ найдетъ,  
 Росинка искрою зажжется.  
 Порой на улицѣ пустой  
 Безсонный сторожъ молча ходитъ  
 И въ доску бьетъ, и эхо вторитъ;  
 Тѣнь позади на мостовой  
 Махаешь, какъ и онъ, рукой.  
 И снова тихо... Звѣздъ сіянье  
 Такъ чудно. Вдругъ въ лицо пахнетъ...  
 Что это? Вѣтерка дыханье,  
 Иль духа горняго полетъ?

Спитъ Божій людъ. Столяръ доселѣ  
 Не успокоился въ постели.  
 Лежитъ онъ подлѣ верстака,  
 Отдѣлкой гроба утомленный;  
 Подушка—локоть обнаженный;  
 Подъ локтемъ - жесткая доска.  
 Печально смотритъ мастеркая;  
 Смолистый запахъ изливая,  
 Вѣлбуютъ стружки на полу,  
 Сосновый гробъ стоитъ въ углу,  
 Топоръ въ березовый отрубокъ  
 Воткнулся носомъ. На стѣнѣ  
 Чернѣетъ старый полушубокъ,

Пила, при трепетномъ огнѣ,  
 Блестить и меркнетъ. На скамейкѣ,  
 Въ платкѣ и желтой душегрѣйкѣ,  
 Семьи сварливая глава,  
 Сидитъ дородная вдова  
 И, молча, карты раскладаетъ:  
 Про сынинь бракъ она гадаетъ.  
 Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ—  
 То выйdetъ—*да*, то выйdetъ—*нѣтъ*.  
 Вотъ, напримѣръ: *печаль, дорога,*  
*Постель, больная, интересъ...*  
 Да тутъ и навѣкъ не помога,  
 Богъ знаетъ,—просто темный лѣсъ!  
 Межъ тѣмъ, съ гремушкою въ рученкѣ,  
 До вечера проспавшій днемъ,  
 Въ штанишкахъ, въ синей рубашенкѣ,  
 По стружкамъ скачетъ босикомъ  
 Ея сынишка краснощекой,  
 И православныхъ избъ жилецъ,  
 Извѣстный на Руси пѣвецъ,  
 Сверчокъ стрекочетъ одиноко  
 Подъ печью.

„Вотъ сказала мать:  
 Вотъ, пиковый король... постылый:  
 Онъ твой злодѣй, мой Вася милый, —  
 Посмотришь, свадьбѣ не бывать,  
 Ни, ни! я прежде это знала:  
 Намедни помнится, во снѣ  
 Все бисеръ да жемчугъ низала --  
 И доведется плакать мнѣ“.

Сынъ улыбнулся беззаботно,  
 Не слишкомъ довѣря снамъ,

Одной надеждѣ безотчетно  
 Онъ предавался: „Пусть упрямя  
 Старикъ-сосѣдъ, все знаетъ Бога...  
 Ну, будетъ, вѣдомо, тревога:  
 Лукичъ браниться молодець,  
 Да все-же дѣтищу отецъ,  
 Не камень... сжалится... но диво,  
 Что ноетъ сердце такъ тоскливо...“  
 И тяжело столяръ вздыхалъ,  
 Въ раздумьи кудри расправлялъ.

„Мнѣ то досадно, мать сказала:  
 Что Лукичу я уважала!  
 Давно-ль жена его у насъ  
 Брала утюгъ... дескать, на часъ,  
 Два дня держала, — я ни слова,  
 Я подѣлиться, молъ, готова  
 Съ сосѣдомъ! Сальную свѣчу  
 Взаемъ на красной горкѣ взяли  
 И до сихъ поръ не отдавали...  
 Ништо! покуда помолчу...  
 А если онъ насъ одурачить,  
 Я за себя не поручусь,  
 Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,  
 Что любо!“

— Это ссора, значить...

Отвѣтилъ сынъ: бѣды-то нѣтъ,  
 Безъ шума дѣло обойдется.—  
 „Какъ свистнешь, такъ и отзовется.  
 Мнѣ эдакъ дорогъ твой сосѣдъ,  
 Что вонъ невытая тряпица...  
 Ну, Саша, точно, не въ него:



Скромна, работать мастерица...“  
— И недурна? —

„Да, ничего“.

— А ну-ко, Ваня, плясовую! —  
„Какую, братецъ? А? какую?“  
Мальчишка весело спросилъ  
И ножгами засѣменилъ.  
Столяръ запѣлъ:

Какъ у насъ во садочку,  
Какъ у насъ во зеленомъ.  
Люшиньки-люли!..

Вдова смѣялась

На пляску. Пѣсня продолжалась  
Недолго. Сердце столяра  
Опять заныло.—Спать пора,  
Оставь-ко, Ваня! —

„Право слово,

Я ничего! я не усталъ!“  
Но братъ не слушалъ и молчалъ.  
И принялась за карты снова  
Вдова. Кудрявый Ваня сѣлъ  
На лавку и въ окно глядѣлъ.  
— Эхъ, какъ звѣзда-то покатиалась!  
Смотрите! — вдругъ онъ закричалъ.  
Столяръ съ улыбкою сказалъ:  
„Лови!“ Вдова перекрестилась.  
— Знать, умеръ кто... Кто ни умретъ,  
Такъ, говорятъ, звѣзда спадетъ...  
Э, Вася! я и не спросила!  
За гробъ-то дорого-ль ты взялъ? —  
„Да какъ сказать? Не въ этомъ сила.“

Вѣдь, я покойника-то зналъ.  
 Чудакъ! онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,  
 Такъ—въ старой мазанкѣ! Ходилъ  
 Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,  
 Щегловъ, чижей, синиць ловилъ.  
 Бывало, раннею зарею,  
 Въ лѣсъ проберется съ западнею,  
 Да съ сѣтью—холодъ ни почемъ.  
 Разставитъ сѣть, а съ птицей клѣтку  
 На сукъ повѣситъ, иль на вѣтку,  
 И на-сторожѣ за кустомъ  
 Дрожить въ снѣгу... Одну заботу,  
 Покуда кончился, имѣлъ:  
 Не во-время, молъ, заболѣлъ.  
 Теперь—вотъ въ лѣсъ-бы на охоту...  
 Сталь умирать, какъ закричитьъ:  
 „— Жена! пусти на волю дѣтокъ!“  
 „— Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ  
 „— Моихъ-то вонъ, моихъ! изъ клѣтокъ!“  
 — Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!  
 И твой отецъ чудилъ не мало,  
 (Ты въ люлькѣ былъ тогда) бывало,  
 Чуть свѣтъ—гоняетъ голубей.  
 Бѣдняжки съ крыши встрепенутся.  
 Куда! подъ облака взовьются!  
 Ему-то радость! вверхъ глядитъ,  
 А самъ свиститъ! а самъ свиститъ! —

Столяръ задумался печально.  
 Давно-ли въ этой мастерской  
 Лежалъ отецъ его больной?  
 Онъ вспомнилъ взглядъ его прощальный,  
 Взглядъ грустный, впалые глаза,  
 Полусѣдые волоса

И эту рѣчь: нужда — нуждою, —  
 Ты, Вася, честь свою храни,  
 Честь пуще золота цѣни,  
 Ее нельзя добыть казною!  
 А коли честно ты живешь, —  
 Все хорошо! и свѣтъ хорошъ,  
 И будетъ ласковъ людъ съ тобою;  
 Обидить, — Богъ съ нимъ! не суди!  
 Ты, знай, своимъ путемъ иди!  
 — Охота не укорь. Намъ стыдно  
 И грѣхъ покойника корить!  
 Такимъ и я желалъ-бы быть...  
 Ну, Ваня, наплясался, видно,  
 Глаза слипаются... вставай,  
 Да Богородицу читай  
 На сонъ грядущій. —

#### И ребенокъ

Молитву началъ. Чистъ и звонокъ  
 Былъ дѣтскій голосъ. Братъ стоялъ,  
 Его ошибки поправлялъ.  
 Локтями опершись въ колѣни,  
 Вдова внимала въ тишинѣ;  
 Огонь мигалъ, — и братьевъ тѣни  
 Передвигались на стѣнѣ.

#### XI.

Въ рубашкѣ, съ трубкой закуреной  
 И разгорѣвшимся лицомъ,  
 Упрямымъ дочери взбѣшенный,  
 Лукичъ сидѣлъ передъ окномъ,

И высоко приподнималась  
 Отъ гнѣва грудь его. Жена  
 Вздохнуть и кашлянуть боялась;  
 Прижавшись въ уголь, и блѣдна,  
 Стояла Саша.

„Ну, мученье!

Отець раздумывать: дивлюсь!  
 Я жениху не покажусь!...  
 Вотъ дочка! вотъ повиновенье!  
 За косы взяться? визгъ поидеть  
 И жаль, рука не налегнетъ...  
 Поговорю заблаго съ нею,  
 Все лучше можетъ-быть успѣю“.  
 „Эхъ-ма! талантъ ты мой худой!  
 Промолвилъ онъ, махнувъ рукой:  
 И самъ отрады я не видѣль,  
 И дочери, знать, въ горѣ жить...  
 Ну, Саша! послѣ не тужить!  
 Не говорить: старикъ обидѣль!  
 Ты умница, ну—такъ и такъ!  
 Выходить дѣло,—я дуракъ...  
 Не стану спорить, Богъ съ тобою!  
 А вспомнишь всѣ мои слова,  
 Когда пойдешь ходить съ сумою,  
 Разумная ты голова!“  
 — Мнѣ бѣдность, батюшка, знакома!  
 Къ работѣ я привыкла дома,  
 А къ горю... мужнина казна  
 Не дастъ мнѣ счастья.—

„Не нужна!

Столяръ дороже... ну, вѣстимо.  
 Ты безъ кручины и заботъ

Съ нимъ проживешь; заботы—мимо,  
Къ вамъ счастье съ неба упадетъ...  
Эхъ, дура!“

— Сжальтесь надо мною!

За что я молодость свою  
Съ немилымъ сердцу загублю?  
За что несчастной сиротою  
Покину я порогъ родной?  
Какъ мнѣ просить васъ? Боже мой! —  
„Я говорю—добра желаю,  
Оставь упрямство! слышь ты?  
Мнѣ что! тебя же избавляю  
Отъ голода, отъ нищеты!  
У столяра одна избенка,  
Казны—ни гроша, мать—бабенка  
Сварливая, всегда ворчить,  
Ей и святой не угодить!  
А Таракановъ—смѣтливъ, ловокъ,  
Богатъ, торговый человекъ...  
Онъ надаритъ тебѣ обновокъ  
До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!“  
— Нѣтъ, дорогими лоскутами  
Меня ужъ поздно утѣшать!  
Я не дитя!.. Не вы ли сами  
Любили это повторять?—  
„Лукичъ! жена ему сказала:  
Столяръ ей по сердцу“.

— Ну, да!

А знаешь какова нужда?  
Ты на себѣ не испытала?  
Въ утѣху-ли любовь, совѣтъ,  
Когда къ обѣду хлѣба нѣтъ? —

„И-ихъ, старикъ! онъ силенъ, молодъ,  
Не глупъ...“

— А если заболить,  
Да годъ въ постели пролежить,  
И дочь твоя узнаетъ голодъ  
Ты, значить, какъ? можешь ей?  
Смотри, тогда не пожалѣй!—  
„Охъ, бѣдность! я-ль ея не знаю!  
Какъ хочешь, Сашенька, гляди...  
Я принуждать не принуждаю,  
А про нужду по мнѣ суди:  
И мать твоя была здорова,  
И весела, и молода.  
Теперь... теперь унасть готова  
Отъ вѣтра... Охъ, тяжка нужда!“  
— Что-жъ рада-ль я себѣ? моя-ли  
Вина? вы-ли столяра  
Въ свой домъ, какъ сына, принимали?  
Не тутъ-ли, батюшка, подчасъ  
Съ родными шла у васъ бесѣда,  
Что хорошо бы за сосѣда  
Отдать вамъ дочь? А я отъ васъ  
Таилась развѣ? Вы, вѣдь, знали,  
Что мы другъ къ другу привыкали!  
Вы это видѣли!—

„Молчать!

Ну!..“

— Воля ваша принуждать,  
А я не выйду за другого.—  
„Не слушаться? Отца родного?  
Нѣтъ, подожди, къ примѣру, врешь!

Какъ! я невластенъ надъ тобою?  
Невластенъ? Стало, ты не мною  
Воспитана и рождена?  
Ты мнѣ за это не должна  
Повиноваться?—

— И не жалко,  
Не грѣхъ вамъ дочь свою губить? —  
„Ты... ты не смѣй меня учить! —  
Всѣ ребра изломаю палкой!“  
—Что-жь! бейте! мнѣ одинъ конецъ!  
Кто васъ осудить? Вы—отець!  
Вы властны! стало-быть, я стою!..  
О, Господи! да скоро-ль я  
На вѣкъ глаза свои закрою? —  
И покатались въ три ручья  
У Саши слезы.

„Вонъ отсюда!  
Ступай вѣнчайся съ стояромъ!  
Ты мнѣ не дочь! и живѣ покуда,  
Я не пущу тебя въ свой домъ!“  
—Лукичъ, — старушка зарыдала:  
Опомнись! кровь твоя!.. —

„Молчать!  
Умѣла твари потакать,  
Теперь казись! чего-жь ты стала?  
Вонъ, говорятъ тебѣ!“

— Пстой!  
Куда-жь идти мнѣ? Боже мой! —  
„Хоть къ чорту!“

— Батюшка! —

„Ни слова!

Скажи одно въ послѣдній разъ:  
Готова слушаться?“

— Сейчасъ,

Сейчасъ скажу... —

„Ну, что-жъ готова?

Ты масломъ не зальешь огня,  
Не хныкай! вотъ что!“

— Погодите...

Въ глазахъ мутится у меня... —  
„Я жду!“

— О чемъ вы говорите? —

„Забудешь-ли сосѣда?“

— Нѣтъ!

Нѣтъ, не могу! —

„Одинъ отвѣтъ.“

Такъ будь ты проклята отнынѣ!“

— Какъ! Сашу, Сашу проклинять?..

И вздрогнула старушка-мать,

Какъ листъ на трепетной осинѣ.

— Она моя! я буду ночь

Такъ—на колѣняхъ.. Саша! дочь!

Дитя мое!.. скажи, согласна...

Не отнимай руки, не дамъ...

Я поцѣлую!.. я несчастна!..

И ты! и ты!.. о, горе намъ!.. —

„Согласна“, Саша отвѣчала

И на полъ замертво упала.

— Охъ, ты мучитель нашъ!.. —



„Ну-ну!

Лукичъ прикрикнулъ на жену:  
Воды скорѣ!.. не хотѣла  
Учить красавицу путемъ,  
Вотъ довела ее до дѣла, —  
До грубости передъ отцомъ!“

## XII.

Едва блеснувшій лучъ развѣта  
Засталъ Арину въ хлопотахъ;  
Она была уже одѣта  
И грѣла воду въ чугунахъ.  
Старушка ставней не открыла  
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, бродила,  
Тревожить шумомъ не хотя  
Всю ночь неспавшее дитя.  
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,  
Къ смотрушкамъ въ домѣ прибираетъ,  
Все принимаетъ новый видъ,  
Сіяетъ, лоснится, блеститъ...  
Окно на солнышкѣ свергаетъ,  
Икона радостно глядитъ.  
А за окномъ, на вѣткахъ ивы,  
И крикъ, и споръ нетерпѣливый  
У любопытныхъ воробьевъ:  
Смотрите, моль, мытье половъ,  
Возня, тревога... дѣло худо!  
И котъ вонь тутъ! скорѣй отсюда!  
И птицы дружно поднялись,  
И вдаль въ испугъ понеслись.  
Не весела одна невѣста,  
Неспоръ и трудъ въ ея рукахъ,

Пойдетъ съ ведромъ и вдругъ — ни съ  
мѣста...

Стоить, глядитъ — туманъ въ глазахъ...

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:  
Всталъ рано чуть не на зарѣ,  
Замѣтилъ, что заборъ непроченъ,  
Двѣ щепки поднялъ на дворѣ  
И отдалъ въ кухню на топливо.  
Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.  
Онъ зналъ, что надо терпѣливо  
И неусыпно собирать  
Добро домашнее. Бывало,  
Когда домой идетъ не пьянъ,  
Что подъ ноги ему попало —  
Подковка, гвоздикъ — все въ карманъ.  
Прошелся по саду отъ скуки,  
Червей на яблонѣ сыскалъ  
И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:  
„Ахъ, вы, анаѳемскія штуки!  
Не давитесь чужимъ добромъ!“  
И наконецъ покинулъ домъ.  
На перекресткѣ помолился  
На церковь; нищей поклонился;  
Откуда, чья она — спросилъ,  
И грошъ ей въ чашку положилъ, —  
Не по любви и состраданию  
Къ подобному себѣ созданию,  
Онъ просто вѣрилъ, что Господь  
За подаяніе святое  
Ему сторицею пошлетъ...  
Желанье, кажется, благое  
И основательный расчетъ.  
Купилъ на площади торговой

Осенней шерсти два мѣшка  
 У горемыки мужика, —  
 О всходахъ проса, гречи новой  
 Потолковалъ съ нимъ напередъ,  
 И крѣпко побранилъ господъ:  
 „Народъ, моль, да! работай втрое.  
 Изъ жилъ тянись—имъ все не въ честь!“  
 Мужикъ былъ тронуть за живое,  
 Заговорилъ, забылъ про шерсть:  
 — Вотъ то, дескать!.. и то, и въ празд-  
   никъ.—  
 „Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумаж-  
   никъ!..“  
 Лукичъ, нахмураясь, отвѣчалъ  
 И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.

---

Домъ Лукича горитъ огнями,  
 Кругомъ ночь черная лежитъ,  
 Отъ красныхъ оконъ полосами,  
 Свѣтъ въ сонной улицѣ виситъ.  
 Гостиами горенка набита.  
 Женихъ высокъ, румянь, курчавъ,  
 Веселый взглядъ его лукавъ;  
 Невѣста бѣдная убита,  
 Разносить чай, а гости пьютъ,  
 Да рѣчи умныя ведутъ.  
 Съ досадой женщины толкуютъ,  
 Что оплошалъ гостинный рядъ,  
 Товары завалью глядятъ,  
 Купцы безсовѣстно плутуютъ,  
 На шальяхъ мало пестроты,  
 На ситцахъ блѣдные цвѣты.  
 Старушки съ грустью воспоминаютъ

О сарафанахъ съ галуномъ,  
 О серьгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,  
 И прихоть моды обвиняють.  
 Хозяинъ судить съ женихомъ  
 О разныхъ выгодахъ торговли,  
 О недостаткѣ рыбной ловли  
 Въ ихъ городѣ и сознаеть,  
 Что рѣчь разумно онъ ведетъ.  
 Какъ мраморъ блѣдная, невѣста  
 Уже не разъ вставала съ мѣста  
 Гостей сластями обносить  
 И свой нарядъ перемѣнить.  
 Женихъ и мать его съ роднею  
 Перемигнулись межъ собою:  
 „Пора, молъ!“ и пошли на дворъ  
 Надъ Сашей кончить приговоръ.  
 „Каковъ женихъ? не молодчина?  
 Шепталъ Лукичъ. Не плачь, Арина!  
 Ты, Саша, удались пока;  
 Начнется торгъ, такъ не рука  
 Тутъ быть невѣстѣ...“ Сваха входитъ,  
 Поклонъ—другой, и рѣчь заводитъ:  
 „Ну, батюшка, товаръ хорошъ,  
 Купца похвалишь-ли, не знаемъ“.  
 — Ты честь товару отдаешь,  
 И мы купца не оуждаемъ;  
 Разсчетъ въ приданомъ.—

„И родной!  
 Не просимъ лишняго“.

—Постой!  
 Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...  
 Ты слушай вотъ что: жемчугу

И денегъ дать я не могу,  
 А насчетъ платья—я согласенъ.—  
 „Нѣтъ, нѣтъ! копѣчки одной  
 Мы не уступимъ, золотой!“  
 — А я и нитки не прибавлю!—  
 И завязался жаркій споръ.

„Пустьѣйшій, значить, разговоръ!  
 Сказалъ женихъ: я все поправлю.  
 Дочь ваша, смѣю доложить,  
 Не то что... да-съ! Ей-ей, безъ лести!  
 Извольте насъ благословить,  
 Коли я правлюсь ихней чести,  
 Намъ деньги—пыль-съ“.

—Выходить рокъ!

Жена! утирку и платокъ!—

Старушка, плача, суетилась.  
 Невѣста снова появилась,  
 Подносъ у матери взяла  
 И жениху, съ боязнью тайной,  
 На немъ подарокъ обручальной,  
 Глотая слезы, подала.  
 Женихъ утерся имъ легонько,  
 Невѣстѣ, молча, возвратилъ;  
 Утерлась и она.

„Ну, только!

Теперь Господь васъ соединилъ“,  
 Съ поклономъ сваха имъ сказала,  
 И поцѣлуемъ приказала  
 Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть  
 И полюбовно рѣчи вестъ.

И гости весело шумѣли.  
 Подруги Саши пѣсни пѣли;  
 Простой напѣвъ ихъ грустенъ былъ,  
 Тоску и думу наводилъ.  
 Вино лилось. Съ улыбкой сладкой  
 Женихъ невѣсту цѣловалъ,  
 Арина плакала украдкой,  
 Лукичъ безъ устали плясалъ.  
 Межъ тѣмъ невзгода бушевала:  
 Вылъ вѣтеръ, молніи струя,  
 Сквозь ливень крупнаго дождя,  
 По темнымъ стекламъ пробѣгала,  
 За нею вслѣдъ катился громъ,  
 И вздрагивалъ непрочный домъ.

Невѣста блѣдная сидѣла,  
 Всему чужда, едва жива;  
 Какъ въ полымѣ, у ней горѣла  
 Потупленная голова.  
 Не въ радость былъ ей пиръ весесый,  
 Звонъ рюмокъ и напѣвъ подругъ.  
 Нѣтъ! Сашу мучилъ бредъ тяжелый:  
 Надъ садомъ звѣзды. Тишь вокругъ...  
 Припавъ щекой къ плечу сосѣда,  
 Она подъ ивой съ нимъ стоитъ.  
 Чуть внятный шопоть—ихъ бесѣда,  
 Да громко сердцу говорить...  
 Какъ темны листья сонной ивы!  
 Какъ ясенъ мѣсяцъ молчаливый!  
 Вотъ полдень. Жарко. Вѣтеръ спить.  
 Песокъ горячъ. Рѣка блестить.  
 Сосѣдъ на берегу; онъ блѣденъ!  
 „Что-жь, говорить: я, Саша, бѣденъ!  
 Все вздоръ! отецъ твой не палачъ!  
 Проси, мой другъ! и рвись, и плачь!

„Гуляй, бѣднякъ! богатымъ будешь!“  
 Хозяинъ пьяный закричалъ  
 И Сашѣ на ухо сказалъ:  
 „Сосѣда что-ли не забудешь?  
 Взгрустнулось!.. Жениха займи!  
 Не то я... прахъ тебя возьми!  
 Гм! понимаешь?..“ Дочь вздрогнула,  
 Въ испугѣ на отца взглянула,  
 Въ отвѣтъ полслова не нашла;  
 Но тутъ подруга подошла,  
 Вся въ бѣломъ, бойкая, живая,  
 И, Сашѣ руку пожимая,  
 Шепнула: „не круши себя!  
 Я знаю!.. выручу тебя!..“  
 Прищурила глаза лукаво  
 И сѣла рядомъ съ женихомъ.  
 „Какъ жарко!“

— Да-съ! —

„Досадно, право!..

Вы танцы любите?“

— Съ трудомъ,

Такъ-съ малость самую танцую. —

„Зачѣмъ-же?“

— Какъ бы вамъ сказать?..

Ногами вензеля писать

Мнѣ некогда-съ! вѣдь, я торгую. —

„Вы курите?“

— Ни, Боже мой!

И не къ чему-съ: расходъ пустой! —

„Зимой катаетесь?“

— Бываетъ,  
 На сырной. Это ничего-съ!  
 Вотъ жалко: вздорожалъ овесъ.  
 Конь, знаете, не понимаетъ:  
 Что жерновъ, мелеть Божій даръ.—  
 „Скажите!“

— Да-съ! Вотъ самоваръ  
 Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю,  
 Съ ребячества привыкъ я къ чаю,  
 Сначала просто пью, потомъ  
 Употребляю съ молокомъ:  
 Не покупать-съ: своя корова.—  
 „Конечно. Съ молокомъ здорово...  
 У васъ цѣпочка не дурна.“  
 — Четыре серебромъ дана,  
 По случаю-съ.—

„А! вы счастливы!“  
 — Цыганки то-же говорятъ,  
 Таланъ все, знаете, сулятъ...  
 Все чепуха-съ! на грушѣ сливы.—  
 „Какъ? вы гадали?“

— Да-съ, гадалъ.  
 Я сумасшедшаго знавалъ;  
 Ахъ! тотъ угадывалъ отлично!  
 Бывало, дичь несетъ, несетъ,  
 Подчасъ и слушать неприлично!  
 Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,  
 Что просто... да-съ! ей-ей чудесно!—  
 Даръ, значить; все ему извѣстно!—  
 «Нѣтъ, не люблю я ворожить!  
 Иное дѣло — говорить,



Вотъ это такъ. Сама не знаю,  
 Чуть на минуту умолкаю,  
 Мнѣ скучно... даже зло береть...  
 Поговоришь—и все пройдетъ.  
 Я надоѣмъ и вамъ ужасно:  
 Все говорю и говорю,  
 Болтушка,—скажете...“

—Напрасно!

Чувствительно благодарю!—

Усердной пляской утомленный.  
 Забившись въ уголь отдаленный,  
 Лукичъ побрякивалъ сквозь сонъ:  
 „Молчать!.. покой мнѣ дайте... вонь!“  
 — Прощайте, батенька, прощайте!—  
 Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ  
 И руку Лукича пожалъ.  
 „Ты что за птица?“

— Угадайте!—

„Пожалуй. Помоги мнѣ встать.  
 Ты кто?“

—Вашъ нареченный зять.—  
 „Подай свѣчу... вотъ такъ... не знаю!..  
 Столяръ что-ль? Нѣтъ, онъ не таковъ...“  
 — Я, батенька, Тарасъ Петровъ.—  
 „А! вспомнилъ, вспомнилъ! понимаю!  
 Ну, поцѣлуй меня... Вотъ такъ!  
 А я, ей-Богу, не дуракъ!  
 И Саша вотъ... дитя родное...  
 Мнѣ, значитъ, жаль... продумалъ ночь...  
 И столяры... и все такое...“

А ты, вѣдь, можешь мнѣ помочь?  
 На совѣсть, честно поторгую!  
 И ты, выходишь, чуть сплутую...“

Женихъ давно за дверью былъ,  
 Но все свое Лукичъ твердилъ.

### ХШ.

Востокъ краснѣеть. Кровли зданій,  
 Дождемъ омытыя, блестятъ.  
 По небу синему летять  
 Огнемъ охваченныя ткани  
 Прозрачно блѣдныхъ облаковъ,  
 И тихій звонъ колоколовъ  
 Ихъ провожаетъ. Паръ волнами  
 Плыветъ надъ сонными домами.  
 Онъ влаженъ. Свѣжій воздухъ чистъ.  
 Дышать легко. Румяный листъ  
 Трепещеть, каплями покрытый.  
 По улицѣ ручей сердитый  
 Журчитъ, доселѣ не затихъ.  
 Межъ бѣлыхъ камней мостовыхъ  
 Вода во впадинахъ алѣеть.  
 Порою вѣтерокъ повѣетъ, —  
 И грудь невольно распахнешь,  
 Цвѣтовъ и травъ дыханье пьешь.  
 Проснися, Божій людъ! не рано!  
 Несутся стаи голубей  
 Въ поля. Лучъ солнца изъ тумана  
 Уже сквозить, — и Божій людъ  
 Проснулся весело на трудъ.

Столяръ сидитъ съ нѣмой тоскою,  
 Поникъ кудрявой головою,  
 И не поетъ его пила:  
 Кручина руки отняла.  
 Халатомъ старенькимъ покрытый,  
 Его братишка, какъ убитый,  
 Раскинувъ руки, сладко спитъ,  
 И не разлучная игрушка,  
 Его любимая гремушка,  
 Безъ дѣла подъ бокомъ лежитъ.  
 Дверь настежь,—и вдова вбѣжала,  
 Съ усильемъ духъ перевела,  
 Руками бойко развела  
 И вскрикнула: „Не угадала?  
 Нѣтъ, карты, батюшка, не лгутъ!  
 Вотъ твой Лукичъ-то! вотъ онъ, плутъ.  
 О-охъ, родимые! устала!  
 Дай, сяду... охъ... терпѣнья нѣтъ!..  
 Отдѣлали! хорошъ сосѣдь!  
 —Нельзя-ли, матушка, безъ шуму?  
 Невесело и безъ того!—  
 „Ну, славно! славно! ничего!  
 Сиди вотъ сиднемъ! думай думу!  
 А Сашка-то исподтишка  
 Вонъ подцѣпила женишка...  
 Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,  
 Ужъ цѣловалась, цѣловалась  
 Ну-ну! бестыжіе глаза!  
 Да что вѣдь—на меня взглянула—  
 И головою не кивнула...  
 А!.. каково? не чудеса?“  
 —Да ладно! мнѣ-то что за дѣло!—  
 „Благодарю! благодарю!  
 Ну, извини, что надоѣла

И не у мѣста говорю...  
 Нѣтъ дѣла! думаешь не шутка?  
 Съ тобою матери-то мука:  
 Дѣвчонкой, дурой проведенъ!  
 Понравилась! околдовала!  
 Вишь роза! гдѣ и расцвѣла?  
 И мать съ досады вышла вонъ.

Ей нужды было очень мало,  
 Что сынъ невѣсту потерялъ,  
 Да самолюбіе страдало:  
 Сосѣдъ, бѣднякъ—и отказалъ.  
 Обидно, главная причина!  
 И оскорбленная вдова  
 Сердилась на себя, на сына,  
 На цѣлый свѣтъ... она едва  
 Кота полѣномъ не убила,  
 За то, что въ кухню захватила  
 Его надъ чашкою съ водой:  
 Ты, молъ, не пей, такой-сякой!

Услышавъ вечеромъ случайно  
 У Лукича напѣвъ печальный,  
 Столяръ промучился всю ночь.  
 Кого винить: отца, иль дочь,  
 Рѣшить хотѣлъ онъ и терялся.  
 Ходилъ впотьмахъ по мастерской,  
 Въ постелю жесткую кидался  
 И слушалъ бури свистъ и вой,  
 И блескомъ молніи порой  
 Его лобъ блѣдный освѣщался.  
 Постелю снова покидалъ,  
 Свѣчу безъ нужды зажигаъ.  
 Теперь сомнѣнья не осталось:

Онъ Сашу видѣлъ изъ окна:  
 Толпой гостей окружена,  
 Средь смѣха пьянаго, казалось,  
 Она подъ ножъ подведена.  
 „Ахъ, Саша, Саша!“ и тоскливо  
 Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,  
 Поросшій жгучею крапивой,  
 На кровли, на чужой заборъ...  
 И смутно передъ нимъ мелькали  
 Его прожитыя лѣта —  
 Перенесенныя печали,  
 Безропотная нищета,  
 О домѣ, о семьѣ забота,  
 Работа днемъ и по ночамъ,  
 Трудъ изъ за хлѣба, трудъ до пота,  
 Едва не съ кровью пополамъ;  
 Вся горечь жизни обыденной,  
 Все, что язвить и мучить насъ,  
 Что отравляетъ жизнь подчасъ,  
 Весь воздухъ, пищу, сонъ покойный, —  
 Все, что давно ужъ пронеслось, —  
 Закопошилось, поднялось,  
 Дыханье въ горлѣ захватило,  
 И свѣтъ туманомъ позакрыло...  
 „Эхъ! пропадай ты, голова...“  
 — Куда ты? крикнула вдова,  
 Глазами сына провожая  
 Съ крыльца; но сынъ не отвѣчалъ,  
 Калиткой хлопнулъ — и пропалъ.

Пора обѣда наступила,  
 И все идетъ столяръ домой.  
 Кручина молодца сломила,  
 Ввела въ кабакъ, виномъ поила,

Поила отъ роду впервой.  
 И пѣль онъ пѣсни, — и смѣялась  
 Толпа гулякъ средъ кабака, —  
 Пѣль громко, а змѣя-тоска  
 Кольцомъ холоднымъ обвилась  
 Вкругъ сердца.

„Охъ, не утерплю!“

Сказаль дѣтина худощавый  
 И, скинувъ съ плечъ халатъ дырявый,  
 Пошелъ плясать. «Вотъ такъ! люблю!»  
 Зѣваки пьяные шумѣли.  
 Дѣтина соловьемъ свисталь,  
 Привскакиваль и присѣдалъ.  
 На полкахъ шкалики звенѣли.  
 „Нѣтъ, пой, кто хочетъ! я усталъ!“  
 Столяръ съ отчаяньемъ сказаль,  
 Ладонью въ лобъ себя ударилъ  
 И грустный на скамейку сѣлъ,  
 И думаль думу... вдругъ расправилъ  
 Густыя кудри и запѣлъ...  
 Пѣль про туманъ на синемъ морѣ,  
 Да про худой таланъ и горе...  
 И пѣснь лилась, пѣвецъ блѣднѣлъ.  
 Казалось, все: тоску разлуки,  
 И плачь любви, и грусти стонъ  
 Изъ сердца съ кровью вырваль онъ  
 И воплотилъ въ живые звуки...  
 И каждый звукъ былъ полонъ слезъ;  
 То съ поражающею силой  
 Онъ несся въ высь, все росъ и росъ,  
 Какъ будто съ свѣтомъ, съ жизнью милой  
 Прощался, въ небъ утопаль;  
 То падалъ, за сердце хваталь

И гась, какъ свѣточъ, постепенно...  
 Пѣвецъ умолкъ и застоналъ:  
 „Охъ, душно, братцы!..“ и мгновенно  
 Рубашки воротъ разорвалъ.  
 „Вина!“

Сидѣлецъ засмѣялся;  
 — Клади, молъ, денежки-то намъ.—  
 „А въ долгъ?“

—Проваливай!—

„Отдамъ!“  
 — Спасибо! экъ онъ разгулялся!—  
 „Проклятый! на, вотъ, казакинъ!“

Но вдругъ картина измѣнилась:  
 Въ слезахъ и блѣдная, явилась  
 Мать столяра... „И ты мнѣ сынъ?  
 Спаситель! Николай-Угодникъ!  
 Да гдѣ я? Охъ! подъ сердцемъ жжетъ!  
 Шла мимо... съ рынка... сынъ поетъ...  
 Все Сашка!.. Тагъ!.. сосѣдъ-разбойникъ!  
 И запилъ! Ахъ, дуракъ, дуракъ!“  
 Сынъ стиснулъ поднятый кулакъ...  
 „Ха, ха! доходить до расправы!“  
 Сказалъ дѣтина худощавый;  
 Къ чертямъ старуху! про учи!“  
 Столяръ схватилъ его:—Молчи!  
 И грянулъ объ полъ. „Стой, ребята!  
 Связать его! позвать солдата,“  
 Сидѣлецъ крикнулъ. „Вотъ, онъ, другъ!“  
 И въ молодца впились шесть рукъ.  
 Но молодецъ сверкнулъ глазами,

Тряхнулъ могучими плечами,—  
 И всё рассыпались. Вдова  
 Перепугалась. Голова!  
 Перекрестись! ну, что ты! Стыдно!  
 Опомнись! съ улицы вонъ видно!  
 Эхъ, соколъ, соколъ! какъ теперь  
 Изъ этой пропасти за дверь  
 Ты выйдешь? А? Побойся Бога!  
 Ты пропадешь!..“

— Туда дорога!—

„Я знаю, знаю, отъ чего  
 Ты выпилъ! Ну, и ничего...  
 Я мать... Мнѣ, думаешь, отрада?  
 Ну, брось! забудь! такъ, стало, надо!  
 Знать не судьба твоя!..“

—Забудь!

Да ножъ-то, ножъ-то прямо въ грудь  
 Засѣлъ... Оставь меня, родная!—  
 „Пойдемъ, голубчикъ мой, пойдемъ!  
 Братишко плачетъ, отперть домъ...  
 Все пусто... да! и мастерская...  
 Топоръ тамъ... все... ну, пощадить...  
 Ты вспомни, какъ отецъ-то жилъ!  
 Что завѣщалъ-то!.. Власть не наша!  
 Перенеси!“

— Ахъ Саша, Саша!

На вѣкъ пропали мы шутя!—  
 Столяръ заплакалъ, какъ дитя.



## XIV.

Со дня помолвки измѣнился  
 Невѣсты скромный уголокъ;  
 Въ немъ съ утра до ночи тѣснился  
 Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.  
 Ихъ занимало на досугѣ  
 Шитье приданаго подругѣ,  
 Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,  
 Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,  
 Порою сновъ истолкованье,  
 Въ саду горѣлки и гулянье;  
 Но вечеринокъ блескъ и шумъ  
 Сильнѣе занималъ ихъ умъ.  
 Двѣ скрипки, въ домѣ освѣщенье,  
 Отъ стука крѣпкихъ каблуковъ  
 Дрожанье стульевъ и столовъ,  
 Смѣхъ *молодцовъ*, ихъ объясненье:  
 Насчетъ того-съ... мое почтенье...  
 Горячихъ поцѣлуевъ звукъ,  
 Украдкою пожатье рукъ—  
 Вотъ вечеринка; остальное  
 Не новость: сборище ночное,—  
 Подъ окнами толпа зѣвакъ,  
 Въ окрестномъ мракѣ лай собакъ.

Отцу суровому послушна,  
 Всегда задумчива, тиха,  
 Свою печаль отъ жениха  
 Тайла Саша. Равнодушна  
 Въ толпѣ подругъ она была;  
 Порой казалась весела,  
 Шутить, смѣяться начинала,

Но вдругъ, средь смѣха, умолкала  
 И уходила въ садъ,—и тамъ,  
 Въ зеленой чащѣ, одиноко  
 Садилась на скамьѣ широкой  
 И накопившимся слезамъ  
 Давала волю...

„Слава Богу!“

Отецъ невѣсты разсуждалъ:  
 „Теперь на ровную дорогу  
 Я выйду: зятя отыскалъ...  
 Не столярю чета! онъ вѣрно,  
 Поможетъ тестю... Вотъ что скверно—  
 Никакъ приданымъ не собьюсь!  
 Бѣда, къ примѣру! смерть боюсь!  
 Что если свадьба разойдется?  
 Чортъ знаетъ, просто сбился съ ногъ!  
 Навязываю домъ въ залогъ,—  
 И тутъ заемъ не удастся!  
 Не скажутъ прямо: деньги есть  
 Не про твою, къ примѣру, честь;  
 Помучать болтовней, разспросомъ,  
 На что, молъ,—и отправятъ съ носомъ:  
 Свои-де нужды, извини...  
 Вотъ богачи-то! вотъ они!  
 Вотъ правда!.. Или попытаться  
 Пойти къ Скобѣеву? Вѣдь, жидь!  
 Просить не стоитъ... и сердить...  
 Да Богъ съ нимъ! Мнѣ равно шататься!  
 Ужъ занимать не миновать,  
 Глядишь, уважить,—какъ узнать?“

И черезъ часъ, проситель скромный,  
 Онъ у Скобѣева въ пріемной

Ждать милости. Лакея нѣтъ,  
Налѣво двери въ кабинетъ,  
Тамъ разговоръ.

„Тамъ все готово?“

Звучаль густой хозяйскій басъ  
(Лукичъ узналъ его за-разъ).  
— Да, мнѣ дано честное слово,  
Разбитый голосъ отвѣчалъ:  
Вчера и нынѣ хлопоталъ  
Въ комиссіи.—

„А! вы оттуда...“

Прекрасно! стало, нашъ подрядъ...“  
— Все подвигается покуда;  
Подмазать надо, говорить!  
Вы какъ? не прочь?—

„Весьма пріятно!“

На вещи цѣну-то того...  
Вы понимаете?“

— Понятно.

Да не опасно-ль?—

А по бумагамъ безусловно  
Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ“.  
— Какъ ваше дѣло въ уголовной?—  
„Пустякъ! конечно, подъ сукномъ...  
Жаль, нѣтъ войны! подряды мелки,  
Отъ мира мало намъ добра!“  
— Ну, грѣхъ сказать!—

„Все вздоръ! бездѣлки!  
 Нѣтъ, батюшка, не та пора!  
 Тамъ видишь груды серебра!  
 Бывало, сердце разгорится...  
 Эхъ, молъ, равно! Господь простить,  
 Ихватишь смѣло,—ну, и сытъ:  
 Сундукъ трещить, какъ говорится!“

Лукичъ затылокъ почесаль  
 И долго головой качаль:  
 — Ну, хороши, молъ!—

„Вы къ обѣду  
 Ко мнѣ?“ Скобѣевъ забасиль  
 И гостю двери отвориль.  
 — Не знаю... можетъ быть, прѣйду,—  
 Въ раздумьи бородачь сказалъ.  
 Скобѣевъ громко засвисталь.  
 Едва свистъ барина раздался,  
 Худой и блѣдный казачекъ  
 Вбѣжалъ, въ испугъ заметался  
 И гостю лысому помогъ  
 Надѣть шинель.

„Зачѣмъ явился?“  
 Скобѣевъ Лукича спросиль,  
 Въ карманы руки заложиль  
 И въ мягкомъ креслѣ развалился.  
 „Эй! Васька! трубку! Ну, зачѣмъ?“  
 — Что, сударь, обнищаль совсѣмъ!“  
 Просваталь дочь, нужна помога,  
 Цѣлковыхъ этакъ сто взаемъ,  
 Я заложиль бы вамъ свой домъ...  
 Не откажите ради Бога!—

„Просваталъ дочь... а что она  
 Молоденькая? не дурна?“  
 Румяный баринъ улыбнулся,  
 Прищурился и потянулся.  
 — Вы все изволите шутить...  
 Тутъ горе? смѣю доложить. —  
 „Все врешь! когда вашъ братъ горюетъ?  
 Привыкъ къ бездѣлю, пьетъ вино,  
 Да ѣсть и спитъ, или плутуетъ,  
 И только. Знаю васъ давно!“  
 — Всѣ люди грѣшныя, конечно...  
 Я заплачу вамъ черезъ годъ;  
 Проценты вычтите впередъ,  
 Ей-ей, васъ не забуду вѣчно! —  
 „Пожалуй, почему не такъ.  
 Ты мнѣ заслужишь, я надѣюсь...“  
 — Послѣднихъ силъ не пожалѣю-сь!  
 Вотъ благодѣтель! —

„Вотъ дуракъ!  
 Ха-ха! шучу! Я съ кулаками  
 Не связываюсь никогда!“  
 Лукичъ остолбенѣлъ...

— Да, да!  
 Мы, значить, черви передъ вами,  
 И насъ, какъ плюнуть, раздавить...  
 Эхъ-ма! —

„Поменьше говорить!“  
 Старикъ взбѣсился.

— Ваша воля!  
 Прикажете, мы замолчимъ.

Мы что за люди! Наша доля  
 Терпѣть. На этомъ и стоимъ.—  
 „Не притворяйся сиротою:  
 Меня не скоро проведешь“.  
 — Куда мнѣ съ глупой головою  
 Васъ проводить? Тутъ не найдешь,  
 Къ примѣру, слова.... Вы богаты,  
 Вы баринъ, честная душа,  
 Я плутъ на сюртукѣ заплаты  
 И въ кошелекѣ-то ни гроша,  
 Куда мнѣ!.. Стало не дадите?—  
 „Не разживешься, признаюсь“.  
 — Я и за это поклонюсь.  
 Благодарю васъ! извините,  
 Что беспокоить. —

„Краснобай!

Ну, ну! не кланяйся! ступай!  
 А ты мошенникъ, старичина,  
 Тварь хитрая!“

— Благодарю!

За рысака-то вамъ дарю,  
 Раздайте нищимъ.—

„Вонъ, скотина!“

— Испортишь кровь. Ну, что кричать!  
 Вѣдь, лѣкаря придется звать...—  
 Скобѣевъ бранью разразился:  
 „Эй, люди! въ кнутъя поддеца!..“  
 Старикъ съ широкаго крыльца  
 Сходилъ себѣ, не торопился;  
 Не скоро дворя собралась,  
 И перебитой разошлась.

Дуль сильный вѣтеръ. Дождикъ лился.  
 Согнувшись, въ обуви худой,  
 Старикъ печально шелъ домой.  
 На перекресткѣ онъ столкнулся  
 Съ торговкой, что-то проворчалъ,  
 Посторонился, поскользнулся,  
 И чуть средь лужи не упалъ.  
 Старуха, шамкая, сказала:  
 „Хрѣнку, родимый, не возьмешь?“  
 — Ну, ну! проваливай! пристала!  
 Безъ хрѣну горько не втерпежь!..—  
 Межь тѣмъ по улицѣ широкой,  
 Подъ ливнемъ, гнали въ край далекой  
 Толпу преступниковъ въ цѣпяхъ,  
 Съ остриженными головами,  
 Съ зловѣщимъ знакомъ на спинахъ.  
 Конвой съ примкнутыми штыками  
 Ее угрюмо окружалъ,  
 И барабанъ не умолкалъ.  
 „Пошелъ народецъ на работку!  
 Лукичъ подумалъ: да! ступай!  
 Поройся тамъ, руды въ охотку  
 И не въ охотку покопай...  
 Подать хоть гривну... сердце ноетъ...  
 Поди, Скобѣевы живутъ:  
 Ихъ въ кандалы не закуютъ:  
 Казна не шутка! Все прикроетъ!  
 Ну, вотъ тебѣ, и взялъ въ заемъ!  
 Постой! постой... вѣдь этотъ домъ  
 Купца Пучкова... Э, почтенный!  
 Я про тебя и позабылъ!  
 Пучковъ, да! я ему служилъ:  
 Святоша, человѣкъ смиренный...  
 Гм... мастеръ, нечего сказать,

Горячій уголь загребать  
Чужой рукой.“

## XV.

Угрюмъ и прочень  
Пучкова домъ. На кровлѣ тесь  
Зеленой плѣсенью порось.  
Желѣзомъ на-крестъ заколочень  
Закрытый ставень кладовой.  
Косматый сторожъ, песь цѣпной  
Лежить въ конурѣ у забора,  
Амбары въ сторонѣ стоятъ:  
Ихъ двери крѣпкія отъ вора  
Замки тяжелые хранять.  
Безлюдно въ комнатахъ просторныхъ  
(Хозяинъ не имѣлъ дѣтей  
И рѣдко принималъ гостей),  
Висятъ картинки въ рамкахъ черныхъ,  
Пыль на полахъ и по стсламъ,  
И паутина по угламъ.  
Но спальня, съ желтыми стѣнами,  
Свѣтла, опрятно убрана,  
Весь уголь занять образами,  
Лампадка вѣчно зажжена;  
Кровать покрыта простынею,  
И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ;  
Иныхъ терпѣть не могъ старикъ  
И называлъ ихъ чепухою,  
Потѣхой праздныхъ болтуновъ,  
Соблазномъ молодыхъ головъ.

Въ суровой школѣ горькой нужды  
Пучковъ съ ребячества окрѣпъ;



Его отецъ былъ старъ и слѣпъ,  
 И сынъ, изнѣженности чуждый,  
 Переносилъ морозъ и зной,  
 Шатаясь по міру съ сумой.  
 Порой калѣкой притворялся,  
 За крендель колесомъ катался,  
 И на крестѣ всегда берегъ  
 Съ казной холстинный кошелекъ.  
 Одинъ купецъ, старикъ бездѣтный,  
 Полубольной и безотвѣтный,  
 Его за бойкость полюбилъ,  
 Одѣлъ и въ лавку посадилъ.  
 Приемышъ росъ, добру учился,  
 Поклонень, расторопенъ, тихъ,  
 За дѣломъ въ лавкѣ не лѣнился,  
 А ночью *Житія Святыхъ*  
 Читалъ хозяину отъ скуки.  
 Святыхъ мужей слова и муки—  
 Все помнилъ, но изъ чудныхъ строкъ,  
 Увы! урока не извлекъ!  
 Читалъ, читалъ,—и за услугу  
 Купца ограбилъ наконецъ.  
 Не вынесъ бѣдный мой купецъ:  
 И пилъ, и плакалъ, спился съ кругу,  
 И ночью, пьяный и больной,  
 Застылъ средь улицы зимой.  
 Чужого золота наследникъ,  
 Пучковъ себя не уронилъ:  
 Глядѣлъ смиренникомъ и былъ  
 О чести строгой проповѣдникъ;  
 Не кушалъ рыбы по постамъ,  
 Молился долго по ночамъ,  
 На церковь подавалъ грошами,  
 Передъ нетлѣнными мощами

Большія свѣчи зажигаль,  
 Но плутовства не покидалъ.  
 И странно! плуть не лицемѣрилъ.  
 Онъ искренно въ святыню вѣрилъ.  
 Да! совѣсть надо очищать!  
 Что дѣлать! страшно умирать!  
 Пучковъ объ адѣ начитался..  
 И какъ же онъ чертей боялся!  
 На полчаса вздремнуть не могъ,  
 Три раза „Да воскреснетъ Богъ“  
 Не повторивъ. Теперь угрюмый,  
 Въ очкахъ, Псалтирь читалъ онъ вслухъ,  
 Но врагъ добра, лукавый духъ,  
 Мutilь его святыя думы,  
 И вдругъ—съ духовной высоты  
 На рынокъ, пошлой суеты,  
 Ихъ низводилъ.

Лукичъ явился.

Передъ Пучковымъ извинился:  
 „Я, молъ ,читать вамъ помѣшалъ  
 И полъ вотъ грязью замаралъ“...  
 Хозяинъ поглядѣлъ пытливо  
 На гостя, поднялся лѣнливо,  
 Бумажкой книгу заложилъ,  
 Зѣвнулъ, молитву сотворилъ  
 И отвѣчалъ: Да, дождь сегодня.  
 Все хорошо: все власть Господня.  
 Ты здѣшній?“

— Здѣшній мѣщанинъ.

Не угадали?.. Карпъ Лукинъ.—  
 И рѣчь повелъ онъ сторонуо:  
 Я, молъ, извѣстенъ вамъ давно,

И позабыть меня грѣшно:  
 Служилъ, какъ надобно. Нуждою  
 Теперь убить. Имѣю дочь...  
 И рассказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.  
 „Гм... жаль, что не могу помочь!  
 Мое богатство улетѣло,  
 Какъ дымъ въ трубу. Все разошлось  
 По добрымъ людямъ. Да авось  
 Промаясь... Старь... гляжу въ могилу...  
 И время! Господи помилуй!“  
 — Нельзя-ли, сударь, пожалѣть?  
 Вы сомнѣваетесь, извѣстно...  
 Вотъ образъ—заплачу вамъ честно!  
 Безъ покаянья умереть,  
 Коли солгу!—

„Зачѣмъ божиться?“

— Да тошно! Кажется, готовъ  
 Сквозь землю лучше провалиться,  
 Чѣмъ эдакъ вотъ изъ пустяковъ  
 Просить и мучиться напрасно!—  
 „Охъ, милый, вѣрить-то опасно!“  
 И тонко намекнулъ купецъ:  
 Обманъ, мошь, всюду; всякъ—хитрецъ:  
 Наскажетъ много, правды мало...  
 Да! время тяжкое настало!  
 Не мудрено въ заемъ-то дать,  
 Но каково-то получать!

Напрасно тѣломъ и душою  
 Лукичъ божился, умолялъ,  
 Въ закладъ домишко предлагалъ...  
 Кремень-купецъ махнулъ рукою:  
 „Эхъ, ну, тебя! закладъ не тотъ!“

Твой домъ не каменный! неидеть!“  
 — Несытная твоя утроба!  
 Ну, стало, голову мнѣ снять  
 И подъ залогъ тебѣ отдать?  
 Вѣдь, ты глядишь подъ крышу гроба!..  
 Кому казну-то ты копишь!—  
 „Опомнись, съ кѣмъ ты говоришь?“  
 — Съ тобою, старый песъ, съ тобою!  
 Ты вмѣстѣ воровалъ со мною!  
 Клади мнѣ денежки на столъ!  
 Дѣлись! я вотъ зачѣмъ пришелъ!—  
 „И ты мнѣ могъ? и ты мнѣ смѣешь?“  
 — Кто? я-то?... Ты не подходи!  
 И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи,  
 Убью! вотъ тутъ и околѣешь!—

Пучковъ оцѣпенѣлъ. Нѣмой,  
 Стоялъ онъ съ поднятой рукой;  
 Огнемъ глаза его сверкали,  
 И губы синія дрожали.  
 Лукичъ захохоталъ.—Ну, что-жь!  
 Ударь, попробуй!—что-жь не бьешь? —  
 „Вонъ, извергъ!“

— Не бранись со мною.  
 Я выйду честью! не шуми!  
 Не то я... прахъ тебя возьми!...  
 Не стоять, правда.... Богъ съ тобою. —

Пучковъ стоналъ. Онъ гадокъ былъ:  
 Безсильный гнѣвъ его душилъ.  
 — Прощай! садись опять за книги.  
 Копи казну, надѣнь вериги,  
 Все, значить, о душѣ печаль...  
 А жаль тебя! ей-Богу жаль!—

„Нѣтъ, не дожидаться мнѣ помощи!“  
 Грустилъ дорогою бѣднякъ:  
 „Не вѣрять мнѣ. Я—голь! кулакъ!  
 Вотъ и ходи, считай пороги,  
 И гнись, и гибни [ни за что.  
 На то, мошь, голь! Кулакъ на то!  
 Гм... да! Упрекъ-то, вѣдь, забавный!  
 Эхъ, ты—народецъ православный!  
 Не честь тебѣ лежачихъ бить,  
 Безъ шапки сильныхъ обходить!  
 Кулакъ... да мало-ль ихъ на свѣтѣ?  
 Кулакъ катается въ каретѣ,  
 Изъ грязи да въ князя ползетъ  
 И кровь изъ бѣднаго сосетъ...  
 Кулакъ во фракѣ, въ полушубкѣ,  
 И съ золотымъ шитьемъ, и въ юбкѣ, —  
 Гдѣ и не думаешь,—онъ тутъ!  
 Не мелочь, не грошовый плутъ,  
 Не намъ чета, —подниметь плечи,  
 Прикрикнетъ,—не найдешь и рѣчи,  
 Рубашку сниметъ,—все молчи,  
 Господь суди васъ, палачи!  
 А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ  
 На грошъ обманешь по-неволю, —  
 Тебя согнуть въ бараній рогъ:  
 Бранять, и бьютъ-то, и смѣются...  
 Набей карманы,—видитъ Богъ,  
 Въ пріятели всѣ назовутся!  
 Будь воромъ, - скажутъ: не порокъ!  
 Вотъ гадость! тьфу!“

И шагъ широкой

Старикъ съ досадою ускорилъ,  
 Но вдругъ его остановилъ

Стукъ рамы. Смотрить—домъ высокої,  
 Съ кудрявымъ вензелемъ балконъ  
 Густой сиреню окружень.  
 Заклятый врагъ ученыхъ споровъ,  
 Его жилецъ, профессоръ Зоровъ,  
 Съ сигарой подь окномъ стоялъ  
 И старика рукою звалъ.

## XVI.

Ученой бурсы отпечатокъ  
 Невольно Зоровъ сохранилъ:  
 Зналъ букву, глубже не ходилъ.  
 Былъ въ разговорахъ простъ и кратокъ  
 И словомъ *вотъ* ихъ украшалъ;  
 Безъ нужды кашлялъ. Богъ создалъ  
 Его не злымъ, но... впрочемъ—мимо:  
 Подь-часъ молчать необходимо...  
 Деньжонки славно наживалъ.

Лукичъ былъ встрѣченъ благосклонно,  
 Обласканъ,—и не мудрено:  
 У старика, тому давно,  
 Мальчишка, труженикъ безсонный,  
 Путь тяжкій Зоровъ начиналъ,—  
 Латынью умъ свой притуплялъ.  
 Плоды науки не пропали,  
 Бѣднякъ Лукичъ дивился имъ.  
 Мальчишка выросъ. Передъ нимъ  
 Теперь просители стояли:  
 Священникъ старичекъ больной,  
 И дьяконъ тучный и рябой.

Священникъ кланялся. Съ досадой  
 Ученый мужъ рукой махалъ:

— Вашъ сынъ дуракъ! Вотъ и пропалъ...  
И выгнали... хм... такъ и надо:  
Зазнался.

С в я щ е н н и к ъ .

Въ чемъ же? ради Бога,  
Скажите. Онъ изъ лучшихъ былъ.

П р о ф е с с о р ъ .

А вотъ: воротнички носилъ,  
Да возраженій дѣлалъ много  
Наставникамъ: я, молъ, уменъ,  
Въ журналы, въ чтенье погруженъ,  
Исчерпалъ мудрость всю!..

( *Священникъ хочетъ возразить* ).

Молчите!

Замѣтили,—онъ ничего:  
Все то-жъ! понизили его!..

( *Священникъ снова хочетъ возразить* ).

Хм... погодите! погодите!  
Понизили по спискамъ,—онъ того...  
Ученьемъ занялся небрежно...  
Ну, вотъ, за то и исключень!..

С в я щ е н н и к ъ .

Онъ молодъ. Онъ былъ оскорбленъ...  
Сперва учился онъ прилежно.

П р о ф е с с о р ъ .

По насъ хоть звѣзды онъ хватай!  
Будь скромень! носъ не поднимай!

Онъ кто? Воспитанникъ духовный—  
 Такъ помни! Бойкость не нужна!  
 А свѣткость вздоръ, она вредна!  
 Сказаль наставникъ,—безусловно  
 И вѣрь! вы думаете какъ?  
 На это власть!

С в я щ е н н и к ъ .

Извѣстно такъ.

Прошу васъ, сжальтесь! Два-три слова  
 Сказать вамъ стоитъ—примуть снова...  
 Позвольте мнѣ, наединѣ,  
 Вамъ объяснить...

П р о ф е с с о р ъ .

Не время мнѣ!

А, впрочемъ, если вы хотите,  
 Пожалуй... вотъ сюда подите,

И за ученымъ мужемъ вслѣдъ  
 Вошелъ проситель въ кабинетъ.  
 О чемъ они тамъ толковали,  
 Однѣ нѣмыя стѣны знали.  
 Дверь отворилась наконецъ;  
 Священникъ просто былъ мертвецъ,  
 Такъ блѣдень! „Вы побойтесь Бога...  
 Я-бъ больше... бѣдность... негдѣ взять“.  
 — Хм... Полно, полно толковать!—  
 Ученый мужъ замѣтилъ строго.  
 Несчастный поплъ махнулъ рукой  
 И дверь захлопнулъ за собой  
 Съ проклятьемъ. Зоровъ улыбнулся.



„Хорошъ! А попъ!... Что нужно вамъ?“  
 И къ дьякону онъ обернулся.  
 — Да вотъ-съ по разнымъ клеветамъ,  
 Мой сынъ... замѣтило начальство,  
 Что яко-бы онъ любить пьянство...—

„Дубковъ?“

— Да,-съ. —

„Знаю я его!“

Исключать. Больше ничего“.  
 — За что же? можетъ быть, ошибкой  
 Не то что выпилъ, пошалилъ... —  
 И рѣчь проситель измѣнилъ  
 Такъ странно, что Лукичъ съ улыбкой  
 Подумаль: круто своротилъ!  
 Хитерь!

— Я слышалъ стороною,  
 Что вы нуждаетесь въ конѣ...  
 Такъ все равно-съ. Позвольте мнѣ...  
 Продамъ охотно.—И съ божбою  
 Плечистый дьяконъ увѣрялъ:  
 — Конь добрый! я на немъ пахаль!—  
 „Взглянуть, пожалуй, не мѣшаетъ.  
 Вы приведите-ка его...  
 Не норовистъ онъ?“

— Ничего.

Узду, случается, скидаетъ:  
 Известно, наши батраки  
 Лѣнтяи или дураки.  
 Какой присмотръ!—

„Хм... Знаю, знаю!

Пусть поисправится вашъ сынъ.  
Вы вотъ-что, я предупреждаю,  
Вѣдь, я зависимъ... не одинъ,  
Тутъ нужно...“

— Какъ-же-съ! понимаю!—

И тучный дьяконъ вышелъ вонъ,  
Отдавъ почтительный поклонъ.

Профессоръ.

Ну что, Лукичъ, не надоѣло  
Стоять да слушать? Извини...

Лукичъ.

Помилуйте!

Профессоръ.

Вотъ мы одни...

Садись.

Лукичъ (*Садится*).

Вы звали. Вѣрно, дѣло...

Профессоръ.

Хм... я коня хотѣлъ купить,—  
Раздумалъ. Надо погодить.

Лукичъ (*лукаво улыбается*).

Такъ-съ.

Профессоръ.

Хорошо-ли поживаешь?

Лукичъ.

По старому-съ! и такъ и сякъ.

Профессоръ.

Ну, а бываетъ, выпиваешь?

Лукичъ.

Ни капли, что я за дуракъ!  
Да какъ живете вы отлично!  
Полы подъ лакомъ, хоть глядись,  
Диваны, кресла...

Профессоръ (*смѣется*).

Хм!.. Прилично...

Нельзя, деньжонки завелись!

Лукичъ (*вздыхая*).

Да-съ! Вы попали на дорогу.  
И правда, что ученье свѣтъ.  
Поить и кормить... Я вотъ сѣдъ,  
И все дуракъ! Бѣда, ей-Богу!  
Тутъ бѣдность...

Профессоръ.

Ты бы мнѣ сказалъ.  
Ты знаешь, я не скупъ; я-бъ далъ.

Лукичъ.

Сказаль-бы, сударь... какъ-то стыдно!

Профессоръ.

Хм!.. вотъ пустякъ! забылъ ты, видно,  
Какъ у тебя я въ домѣ жилъ,  
Уроки-то въ саду училъ!

Лукичъ (*смотритъ на дипломъ  
профессора*).

Я все гляжу, спросить не смѣю,  
На этотъ листъ... вотъ-съ на стѣнѣ...

Профессоръ (*самодовольно  
улыбается*).

Прочти.

Лукичъ.

Нѣтъ, сударь, не сумѣю.  
Написано-то не при мнѣ.

Профессоръ.

Вотъ слушай:

(*встаетъ и читаетъ*)

Ecclesiasticae Academiae conventus  
pro potestate sibi concessa  
Dominum Zorow.

.....  
Magistrum sanctiorum humaniorumque litterarum  
solenni hoc diplomate declarat honoremque ei ac  
privilegia concessa, decrevisse ac contulisse publice  
testatur.

Понялъ?

Лукичъ (*съ улыбкою почесывая затылокъ*).

Хоть-бы слово!  
Кого Господь-то умудрить!  
Гм!.. диво! Вижу въ рамкѣ новой,  
Съ большой печатью листъ висить—  
И только. Правда, что наука!

Профессоръ (*смѣется*).

Вотъ то-то! Въ немъ-то вся и штука!

Лукичъ (*нереминаясь*).

А что бы васъ я попросилъ...—  
И тутъ старикъ заговорилъ  
О свадьбѣ Саши, о заемѣ,  
О закладной на домъ, о домѣ,—  
И на лицѣ своемъ потомъ  
Горячій потъ отеръ платкомъ,  
Вздыхнулъ и низко поклонился.  
Ученый мужъ не отвѣчалъ,  
Въ раздумьи медленно шагаль  
И кашлялъ; вдругъ остановился.  
„Ты вотъ-что, ты отдашь мнѣ въ срокъ?“  
— Не выйди я за вашъ порогъ!..—  
„Пзволь! сегодня я разстроень:  
Дѣлъ пропасть...“

Значить, до утра?  
Такъ я въ надеждѣ.

„Будь покоенъ!  
Я дамъ“.

А! сынъ пономаря!..  
 Изъ грязи вышелъ, — не забылся!  
 Лукичъ подумалъ — и простился.

## XVII.

Все рѣшено. Осталась ночь.  
 Заря надъ лѣсомъ догорала,  
 По желтымъ жнивьямъ тѣнь бѣжала.  
 Увы, измученная дочь  
 День свадьбы грустно ожидала,  
 Въ послѣдній разъ теперь рыдала  
 Въ объятяхъ матери, — и мать  
 Ее не смѣла утѣшать.  
 Онѣ другъ друга понимали,  
 Что впереди, о томъ молчали,  
 А горе прожитыхъ годовъ  
 Такъ живо было, что безъ словъ  
 Душа рвалась и въ мукахъ ныла.  
 Но эти муки дочь таила,  
 Нѣма съ отцомъ своимъ была,  
 Межъ ними пропасть вдругъ легла  
 И Сашу на-вѣкъ отдѣлила  
 Отъ старика... и тѣмъ больнѣй  
 Была тоска послѣднихъ дней,  
 Тяжелѣ рядъ ночей бессонныхъ,  
 Невѣстой въ пытку проведенныхъ!.. \*)

И вотъ пиръ свадебный умолкъ.  
 Утихъ о немъ сосѣдей толкъ,  
 Угомонились пересуды,  
 Средь улицъ гости не поютъ,  
 Не пляшутъ, и въ домахъ посуды  
 Подъ пѣсни пьяныя не бьютъ.

\*) См. „Примѣчанія“, с. р. 8, № 11-й.

Арина вдругъ осиротѣла.  
 Груститъ за дѣломъ и безъ дѣла,  
 Чуть скрипнетъ дверь, — она вздрогнетъ,  
 И слушаетъ, и Сашу ждетъ.  
 Безъ Саши горенка скучнѣе,  
 И время кажется длиннѣе,  
 И котъ не веселъ: спитъ въ углу,  
 Не поиграетъ на полу  
 Клубкомъ старушки. Чуть смеркаетъ,  
 Она калитку запираетъ,  
 И съ робостью обходить дворъ —  
 Не притаился-ли гдѣ воръ,  
 И мужа ждетъ, и спицамъ снова  
 Въ ея рукахъ покоя нѣтъ...  
 Едва покажется разсвѣтъ,  
 Работа прежняя готова;  
 Старушкѣ не съ кѣмъ говорить,  
 Тоски и грусти раздѣлить:  
 Рѣчь мужа, какъ всегда, сурова...  
 Но Саша блѣдная придетъ,  
 Арина такъ и обовьетъ  
 Ее руками: „Ахъ, родная,  
 Здорова-ль? Присядь, присядь!  
 Здорова-ли?“ повторяетъ мать,  
 Съ улыбкой слезы утирая:  
 „Легко-ль! недѣлю не была!  
 Ужъ я тебя ждала, ждала!  
 Ну, какъ живешь?“ И осторожно  
 О всякой мелочи ничтожной  
 Ее спроситъ. „Ты смотри,  
 Ты не таись, молъ, говори...  
 Все хорошо? Ну, слава Богу!“  
 И въ лавочку черезъ дорогу  
 Съ копѣйкой трудовой спѣшитъ

И Сашу чаемъ угостить.  
 Свой садъ старушка позабыла:  
 Мать столяра ей досадила  
 Упрекомъ, бранью каждый день  
 Черезъ изломанный плетень:  
 — Здорово, другъ! въ саду гуляешь?  
 Хозяйка! яблоки считаешь?  
 Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,  
 Поймаю,—прямо подъ топоръ!—  
 Арина головой качала  
 И ничего не отвѣчала.  
 Она не зла, моль... это такъ:  
 Всему причина—Сашинъ бракъ.

Лукичъ на рынкѣ ежедневно  
 Встрѣчался съ зятемъ. Всякій вздоръ  
 Входилъ въ ихъ длинный разговоръ,  
 Оканчиваясь непременно  
 Разумнымъ толкомъ о дѣлахъ:  
 О добротѣ хлѣбовъ въ поляхъ,  
 О томъ, что мужики умнѣютъ,  
 Не такъ легко въ обманъ идутъ,  
 Что краснорядцы богатѣютъ:  
 За рубль по гривнѣ отдаютъ...  
 Лукичъ смѣялся: „просто—чудо!  
 Глупа ты, матушка Москва!  
 Всѣмъ вѣришь!“—Этимъ и жива.  
 Не ошибется... А не худо  
 Того-съ...—зять добрый замѣчалъ  
 И тестя къ чаю приглашалъ.

Онъ, видно, мнѣ не довѣряетъ,  
 Тесть думалъ: право не поймешь...  
 И чаемъ вдоволь угощаетъ,



И льстить,—а толку ни на грошъ.  
 Я говорю, къ примѣру, буду  
 Тебѣ въ торговлѣ помогать,  
 Чужихъ равно, молъ, нанимать...  
 — Извольте-съ! я васъ не забуду.  
 У насъ торговый оборотъ  
 Зимую-съ... вотъ зима придетъ.  
 Посмотримъ, какъ зима настанетъ...  
 Ну, если онъ меня обманетъ,  
 И я останусь въ дуракахъ,  
 Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?  
 За что же такъ? Дитя родное  
 Принудилъ. Самъ теперь въ долгу...  
 Нѣтъ, это черезчуръ! пустое!  
 Нельзя! и думать не могу!

## XVIII.

Настала осень. Скученъ городъ.  
 Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,  
 Ночь черная и сѣрый день,—  
 И по нуждѣ покинуть лѣнь  
 Свой теплый уголь. Вечерами  
 Вороны, галки надъ садами  
 Кричатъ, собираясь на ночлегъ.  
 Порой неожиданный, мокрый, снѣгъ  
 Кружится, кровли покрываетъ,  
 Къ лицу и платью пристааетъ,  
 И снова мелкій дождь пойдетъ,  
 И вѣтеръ свистомъ досаждаетъ.  
 Куда ни глянешь,—ручейки,  
 Да грязь и лужи. Окна плачутъ,  
 И морщась, пѣшеходы прячутъ  
 Свои носы въ воротники.

Лукичъ съ досадою молчаливою  
 Поглядывалъ нетерпѣливо  
 На небо, снѣга поджидалъ  
 И непогоду проклиналъ.  
 На рынкѣ нечѣмъ поживиться:  
 Дороги плохи, нѣтъ крестьянъ;  
 Ходи, глотай сырой туманъ,  
 Пришлось хоть воздухомъ кормиться!  
 На зло кулакъ-молокосось  
 Надъ нимъ трунить: „Повѣсилъ носъ!  
 Неволя по грязи шататься!  
 Не молодъ, время отдохнуть  
 И честнымъ промысломъ заняться!  
 Сидѣль-бы съ чашкой гдѣ-нибудь...“  
 Сюртукъ въ дырахъ, сквозь крышу льется,  
 Въ окошки дуетъ, печь худа,  
 На что ни взглянешь, — сердце рвется,  
 Хоть умереть, такъ не бѣда.

Дождь каплетъ. Темными клоками,  
 Рѣдѣя, облака летятъ.  
 Вороны на плетнѣ сидятъ,  
 Такъ мокры, жалки! Подъ ногами  
 Листы поблеклые шумятъ.  
 Садъ тихъ. Деревья почернѣли,  
 Стыдясь невольной наготы;  
 Въ туманъ прячутся кусты;  
 Грачей пустыя колыбели  
 Качаетъ вѣтеръ, и мертва  
 Къ землѣ припавшая трава.

Лукичъ стоитъ подъ старой ивой,  
 Въ рукѣ топоръ, въ глазахъ печаль.  
 Пришлось бѣднягѣ на топливо

Рубить деревья,—крѣпко жаль,  
 Да надо: все дровамъ замѣна,  
 Ихъ въ цѣломъ домѣ ни полѣна...  
 И засучилъ онъ рукава.  
 Что-жъ выбрать? Эти дерева  
 Своей рукой отецъ покойный  
 Ему на память посадилъ;  
 Подъ этой ивой онъ любилъ  
 Вздремнуть на травкѣ въ полдень знойный...  
 „Эхъ-ма! нужда!“ Топоръ стучить—  
 Съ плегня вороны улетаютъ,  
 А щепки воздухъ разсѣкаютъ,  
 И ива, падая, скрипитъ.

Старушка печку затопила,  
 Лукичъ на коникѣ прилегъ.  
 „О чемъ грустишь?“ жена спросила.  
 — Такъ, что-то мочи нѣтъ, продрогъ.—  
 „Что зять-то? какъ?“

— Смотри за щами.  
 Въ мужское дѣло не входи!—  
 „О-охъ, не ошибись, гляди!  
 Домъ заложилъ... что будетъ съ нами,  
 Когда не выкупимъ?“

— Опять!  
 Нельзя, къ примѣру, помолчать?—

Дверь отворилась, и горбатый,  
 Въ халатѣ, съ палкой суковатой,  
 Длиннобородый мужичекъ  
 Сказалъ съ поклономъ: „Встань, дружокъ!  
 Хозяинъ умный, тороватый!

Явился гость,—и ты не радъ,  
И я, соколь, невиноватъ.  
— Мы погода побалагуримъ.  
Ты кто? Зачѣмъ?—

„Да встань-ко, встань!  
Не погоняй! кнута не любимъ...  
Теперь подушное достань“.  
— Ты, знать, отъ старосты? Разсылный?—  
„Узналь, сударикъ мой, узналь!“  
— Присядь: ты, кажется, усталъ...  
Ну, что сегодня? Вѣтеръ сильный?..  
Я, знаешь, все въ избѣ сижу,  
На дворъ, къ примѣру не хожу,  
Нога болитъ.—

„Хэ-хэ! проказникъ!  
Испилъ воды на свѣтлый праздникъ!  
Болитъ съ похмѣлья голова...  
Хитеръ на красныя слова!“  
— Чего! ей-ей, болитъ! безъ шутокъ!—  
Вотъ видишь!.. Охъ! не наступлю!—  
„Хэ-хэ, сударикъ мой, люблю!  
Нужда горька безъ прибаутокъ...  
Достань-ко деньги-то, родной,  
Инь—къ старостѣ пойдѣмъ со мной“.  
— Да я бы радъ! недугъ проклятый!  
Какъ быть?—

„Подушное платить!  
Я вотъ старикъ, и самъ-девятый  
Живу—плачу!.. не стать-тужить.  
Шесть душъ дѣтей, жена седьмая,  
Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдѣмъ!

Какая тамъ нога больная!“

— Скажи, что дома не засталъ,

Изъ города, молъ, отлучился...—

И въ кошелькѣ Лукичъ порылся,

Послѣдній гривенникъ досталъ.

„Хэ-хэ, сударикъ, маловато!“

— Ей-Богу, больше гроша нѣтъ!—

„Ну, за тобою, дѣло свято...“

Прощай покудова, мой свѣтъ!“

„Теперь на хлѣбъ добудь, гдѣ знаешь!“

Лукичъ подумалъ—и вздохнулъ,

И кошелекъ на столъ швырнулъ.

„Не радъ хромать, да захромаешь!“

Попробуй-ка пожить вотъ-такъ...

А, вѣдь, кричатъ: кулакъ! кулакъ!“

## XIX.

Вотъ и зима. Трещать морозы.

На солнцѣ искрится снѣжокъ.

Пошли съ товарами обозы

По Руси вдоль и поперекъ.

Ползеть, скрипитъ дубовый полозъ,

Рѣка-ли, степь-ли,—нѣтъ нужды:

Вездѣ продолжаютъ слѣды!

На мужичкѣ бѣлѣетъ волосъ,

Но весель онъ; идетъ-кряхтитъ,

Казну на холодѣ копить.

Кому путекъ, кому дорога—

Аринѣ дома дѣла много!

Вставая съ раннею зарей,

Она ходила за водой:

Порой бѣлье чужое мыла:  
 Дескать, работа не порокъ,  
 Все будетъ хлѣбушка кусокъ.  
 Порою и дрова рубила,  
 Когда Лукичъ на печкѣ спалъ,  
 Похмѣлье храпомъ выгонялъ.  
 Отъ стужи кашляла, терпѣла  
 И напоследокъ заболѣла.  
 Лежить недѣлю—легче нѣтъ;  
 Уста спеклись, все тѣло ноетъ;  
 Едва глаза она закроетъ,  
 Живьемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ  
 Встаютъ забытыя видѣнья...  
 Вотъ вспомнилась съ грозою ночь:  
 Въ густомъ саду шумятъ деревья,  
 Изъ теплой колыбели дочь  
 Головку въ страхъ поднимаетъ,  
 И громко плачетъ, и дрожить,  
 А мужъ неистово кричитъ  
 И стулъ, шатаясь, разбиваетъ...  
 Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ,  
 Малютка, убранный цвѣтами,  
 Покоится подъ образами;  
 Блестить въ лампадѣ огонекъ,  
 Въ углу кадилница дымится;  
 Столъ бѣлой скатертью накрытъ,  
 Подъ кисеей младенецъ спитъ,  
 Она отъ вѣтра шевелится,  
 А солнце въ горенку глядитъ,  
 На трупъ весело играя...  
 И мечется въ жару больная;  
 Въ ушахъ звенить, въ глазахъ темно,  
 Изъ глазъ ручьями слезы льются,  
 Межъ тѣмъ какъ съ улицы въ окно

Къ ней звуки музыки несутся,—  
 Тамъ свадьбу праздную, идетъ  
 Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ...  
 Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,  
 Смотря безмысленно кругомъ,  
 Старушка встанетъ и потомъ,  
 Вся потрясенная испугомъ,  
 Со стономъ снова упадетъ  
 И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Лукичъ измучился съ больною:  
 Самъ кой-какъ печку затоплялъ  
 И непривычною рукою  
 Себѣ обѣдъ приготовлялъ.  
 Спѣшилъ на рынокъ, съ рынка снова  
 Жену провѣдать приходилъ,  
 Малиной теплою поилъ:  
 Вспотѣешь, будешь, моль, здорова,—  
 И снова домъ свой покидалъ,  
 Куска насущнаго искалъ.

Вотъ входитъ Саша. Мать больная,  
 Кряхтя, ей дѣлаетъ упрекъ:  
 „Ты рѣдко ходишь, мой дружокъ!  
 Я умираю, дорогая...  
 Охъ, тошно! такъ и давить грудь!  
 Хоть бы на солнышко взглянуть,  
 Все снѣгъ, да снѣгъ...“

Я къ вамъ хотѣла  
 Вчера придти, да то дѣла,  
 То гости...—Саша солгала:  
 Свекровь ей просто не велѣла,  
 Не приказалъ и мужъ: авось

Еще, молю, свидишься, небось!  
 Старушка ложь подозрѣвала,  
 По голосу ее узнала,  
 А голосъ Саши грустенъ былъ!  
 „Дитя мое, я... Богъ судилъ...  
 Дай руку!.. дай, моя родная!  
 Такъ.. крѣпче жми! ну, вотъ теперь  
 Легко...“ И плакала больная,  
 Рыдала дочь. Безъ шума въ дверь  
 Входила смерть.

Былъ темный вечеръ.

Порывистый, холодный вѣтеръ  
 Въ трубѣ печально завывалъ.  
 Лукичъ встревоженный стоялъ  
 У ногъ Арины. Дочь глядѣла  
 На умирающую мать,  
 И все сильнѣй, сильнѣй блѣднѣла.  
 Старушка стала умолкать  
 И постепенно холодѣла,  
 И содроганья ногъ и рукъ,  
 Последнй знакъ тяжелыхъ мукъ,  
 Ослабѣвали. Вдругъ, рыдая,  
 Упала на колѣни дочь:  
 „Благослови меня, родная!  
 — Отецъ твой... нищій... ты помочи  
 Ему... нашъ домъ... и рѣчь осталась  
 Неконченной,—и тихій стонъ  
 Смѣнилъ слова. Но вотъ и онъ  
 Умолкъ. Развязка приближалась:  
 Въ тоскѣ поднятая рука,  
 Какъ плеть упала. Грудь слегка  
 Приподнялась и опустилась,  
 Дыханье рѣже становилось,



Взоръ неподвижный угасаль,  
 По тѣлу трепеть пробѣжалъ,—  
 И стихло все... Не умолкаль  
 Лишь бури вой.

„Одинъ остался!  
 Одинъ, какъ персть!“ Лукичъ сказалъ,  
 Закрывъ лицо—и зарыдалъ...

Уснуло доброе созданье!  
 Жизнь кончена. И какъ она  
 Была печальна и бѣдна!  
 Стряпня и вѣчное вязанье,  
 Забота въ домѣ приглядѣть,  
 Да съ голоду не умереть!  
 На пьянство мужа тайный ропоть,  
 Порой побои отъ него,  
 Про быть чужой несмѣлый шопоть,  
 Да слезы... больше ничего!  
 И эта мелочь мозгъ душила  
 И человѣка въ гробъ свела!  
 Страшна ты, роковая сила  
 Нужды и мелочнаго зла!  
 Какъ громъ, ты не убьешь мгновенно,  
 Войдешь ты,—поль не заскрипитъ,  
 А душишь, душишь постепенно,  
 Шокуда жертва захрипитъ!

Съ разсвѣтомъ буря замолчала.  
 Арина на столѣ лежала.  
 Въ лампадкѣ огонекъ сіялъ;  
 Онъ какъ-то странно освѣщаль  
 Лицо покойницы-старушки,  
 И неподвижной и нѣмой,

И бѣлые углы подушки,  
 Прижатой мертвой головой.  
 Убитый горемъ и тоскою,  
 Передъ иконою святою  
 Лукичъ всю ночь Псалтирь читаль.  
 Уныль и тихъ его былъ голосъ;  
 Отъ страха жосткѣй, черный волосъ  
 На головѣ не разъ вставаль.  
 Казалось, строго и сурово  
 Глядѣла блѣдная жена;  
 Раба доселѣ, съ жизнью новой  
 Вдругъ измѣнилася она, —  
 Свою печаль припоминала  
 И мужу казнь угрожала...  
 Старикъ внимательнѣй читаль  
 И ничего не понималь.  
 Всѣ буквы, мнилось, оживали,  
 Плясали, разбѣгались вдругъ...  
 При оборотѣ издавали  
 Листы какой-то чудный звукъ...

Межъ тѣмъ сосѣдки понемногу  
 Набились въ горенку. Одиѣ  
 Вздыхали и молились Богу,  
 Другія въ грустной тишинѣ,  
 Съ тяжелой думою стояли,  
 Иль объ усопшей толковали,  
 Что, вотъ-де, каковы дѣла —  
 Жила, жила, — да умерла!  
 Мать столяра въ углу стояла,  
 Съ кумой любимую шептала:  
 „Вѣдь, на покойницѣ платокъ,  
 Что тряпка... ай-да муженекъ!  
 Убралъ жену, кулакъ проклятый!

О платѣ и не говорю—  
 Я вчужѣ отъ стыда горю:  
 Съ заплатой, кажется, съ заплатой!..  
 А дочь слезинки не прольетъ...  
 Вотъ срамъ-то! инда зло беретъ!  
 Ахъ, я тебѣ и не сказала!  
 Она за сына моего  
 Хотѣла выйти... каково?  
 Да я-то шишь ей показала!  
 И мать-то, помянуть не тѣмъ,  
 Глупа была, глупа совсѣмъ!“

Сосѣдки вышли. Сталъ совѣта  
 Отець у дочери просить:  
 „Ну, Саша! мать вотъ не отпѣта,  
 Гдѣ деньги? чѣмъ мнѣ хоронить?“  
 — Мой мужъ поможетъ. Попросите  
 Здѣсь посидѣть кого-нибудь  
 И вслѣдъ за мною приходите.—  
 „Да! надо, надо шею гнѣть!  
 И по-дѣломъ мнѣ! охъ, какъ стою!“  
 И крѣпко жилистой рукою,  
 Остановя на трупѣ взоръ,  
 Свой блѣдный лобъ старикъ потеръ.

## XX.

Румянъ, плечистъ, причесанъ гладко,  
 Тарасъ Петровичъ за тетрадкой  
 Въ рубашкѣ розовой сидѣлъ,  
 На цифры барышей глядѣлъ  
 И улыбался. Подъ рукою  
 Сіяли проволоки счетъ;

Зеленый плющъ надъ головою  
 Висѣлъ съ окна. Полна заботъ,  
 За чаемъ Саша хлопотала,  
 Пѣлъ пѣсни свѣтлый самоваръ;  
 Въ лежанкѣ загребенный жаръ  
 Краснѣлъ; струей перебѣгало  
 По углямъ полымя. И вдругъ  
 Часы издали странный звукъ,  
 Шипѣли долго и лѣнливо,  
 И, пятнышками вмѣсто глазъ,  
 Кукушка сѣрая тоскливо  
 Прокуковала восемь разъ.

Лукичъ вошелъ,— и сердце сжалось  
 У Саши. Жалокъ былъ отецъ!  
 Оборванъ, блѣденъ... грусть, казалось,  
 Его убила наконецъ.  
 Едва старикъ перекрестился,  
 Румяный зять его вскочилъ  
 И сожалѣнье изъявилъ,  
 Что доброй тещи онъ лишился.  
 „Мнѣ, молъ, жена передала,  
 Святая женщина была!..“  
 — Вотъ надо справить погребенье...  
 Нѣтъ гроба... сдѣлай одолженъе...  
 Дай помочь!—

„Отъ добра не прочь,  
 Зачѣмъ родному не помочь?...  
 Гм!.. жаль! я думаю—простуда?“  
 — Богъ знаетъ что, да умерла.—  
 „Я полагаю—съ смерть пришла...  
 Вотъ выпейте чайку покуда“.  
 — Благодарю! не до того.—

„Напрасно-съ, это не мѣшаетъ:  
 Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ...  
 — Да я не забну. Ничего...  
 Не позабуди, къ примѣру, въ горѣ!—  
 „Вотъ ключъ позвольте отыскать...  
 Я много не могу вамъ дать,  
 Не то что... да-съ! Нѣтъ денегъ въ сборѣ“.  
 — Не добивай! я такъ убить!—  
 „О томъ никто не говорить!  
 На счетъ того-съ... оно, конечно,  
 Родню позабывать грѣшно,  
 Да, вѣдь грѣшно и жить безопасно,  
 Да-съ! поскользнетесь неравно!  
 На васъ вотъ тулупишко рваный,  
 Изъ сапоговъ носки глядятъ,  
 А вы намеренны были пьяны...  
 Выходить, кто же виноватъ?“  
 — Охъ, знаю, другъ мой! Все я знаю!  
 Вѣдь, пьеть неволя иногда!  
 Ты думаешь мнѣ нѣтъ стыда,  
 Что плутовствомъ я промышляю,  
 Хитрю, ѣмъ хлѣбъ чужой, какъ воръ?—  
 „Расчетъ въ торговлѣ не укорь...  
 Все это пустяки— и только,  
 На печкѣ хочется лежать!  
 На рынкѣ горько промышлять,  
 Ну-съ, а просить теперь не горько?“  
 — Вѣстимо... если-бы ты зналъ!  
 Осмѣянъ всѣми, обнищаль,  
 Тутъ совѣсть не даетъ покою...  
 Зять! не пусти меня съ сумою!  
 Дай мнѣ подъ старость отдохнуть!  
 Поставь меня на честный путь!  
 Дай дѣло мнѣ! Господь порука,—

Не буду пить и плутовать!—  
 „Привыкли-сь. Трудно перестать!  
 Вотъ, значить, вамъ впередъ наука...  
 На похороны помогу,  
 Насчетъ другого-сь,—не могу“.  
 — И съ бородою посѣдѣлой  
 Опять мнѣ грабить мужиковъ?  
 Пойми ты, доброе-ли дѣло!  
 Неужто воръ я изъ воровъ,  
 Зять! Богомъ, значить, умоляю...  
 Подумай! Выручи!—

„Опять!

Охота вамъ слова терять!  
 Нельзя-сь! По чести завѣрю...  
 Рубль серебра, извольте, дамъ“.  
 — Такъ я, выходить, по домамъ  
 На тѣло мертвое собираю..  
 Ну, есть-ли стыдъ въ тебѣ и честь?  
 Вѣдь, я не нищій! я твой тесть!  
 Вѣдь я прошу не подаанья,—  
 Взаемъ. Ты слышишь или нѣтъ?—  
 „А я даю изъ состраданья,  
 Не то что... да-сь! и мой совѣтъ:  
 Не надо брезгать“.

Саша встала.

Негодованія полна,  
 Казалось, выросла она  
 И мужу съ твердостью сказала:  
 „Я свой салопъ отдамъ въ закладъ—  
 И мать похороню!“

— Чудесно-сь!

Гм!.. дочка нѣжная... извѣстно-сь...

Хе-хе! Бываетъ — не велятъ! —  
 „Ну, если такъ, найду другое...  
 Вотъ обручальное кольцо...“  
 И Саши блѣдное лицо  
 Покрылось краскою.

— Пустое!  
 Не смѣешь, значить! —

„Саша, Саша!  
 Оставь! схоронимъ какъ-нибудь!“  
 Отецъ сказалъ.

— Нѣтъ, воля ваша!  
 Ужъ у меня изныла грудь  
 Отъ этой жизни... я молчала...  
 Онъ мягко стелеть, жестко спать...  
 Пусть бьетъ! я не хочу скрывать!  
 Больною мать моя лежала,  
 Я мать провѣдать не могла!  
 Бойся — столяра увижу... —  
 „Столяръ мнѣ что? молва была...  
 Онъ плутъ! плутовъ я ненавижу.  
 Мужъ хоть и лыкомъ сшить, — люби,  
 Да знай стряпню, да не груби,  
 На то жена!“

— О, будь увѣренъ!  
 Я буду стряпать и молчать!  
 Но подъ замкомъ себя держать  
 Я не позволю!.. —

„Не намѣренъ...  
 Нельзя-съ, законная жена...“

А мужа ты любить должна—  
Вотъ только!“

Саша улыбнулась.

Мужъ отъ улыбки поблѣднѣлъ;  
Но вмигъ собою овладѣлъ.  
„Все вздоръ! изъ пустяковъ надулась!  
Объ этомъ мы поговоримъ  
Наединѣ-съ... А вотъ роднымъ  
Поможемъ. Нужно—и дадимъ.  
Держите, батенька, Богъ съ вами!“

Тестъ, молча, подаянье взялъ, —  
И точно память потерялъ:  
Пошевелилъ слегка губами,  
На зятя кинулъ мутный взоръ  
И крупный потъ на лбу отеръ.  
„А вамъ пора за умъ приняться!  
Прибавилъ зять: вы нашъ родной,  
Не съ поля вихорь, не чужой.  
А съ пьянымъ нечего мнѣ знаться!“

Старикъ съ поклономъ вышелъ вонъ.  
О чемъ-то, бѣдный, думалъ онъ?  
Но вѣрно думою печальной  
Былъ возмущенъ: на рынокъ шелъ—  
И, Богъ вѣсть почему, забрелъ  
Въ какой-то переулокъ дальній.  
Опомнившись, взглянулъ кругомъ,—  
И зятя назвалъ подлецомъ.

Добычи рыночной остатокъ  
Давно Лукичъ рублей десятокъ  
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ.



Теперь вотъ зять ему помогъ,  
 На все достало, слава Богу!  
 Купилъ онъ ладонъ, свѣчей,  
 Изюму, меду, калачей,  
 Вина;—конечно, понемногу;  
 Поденщиковъ приговорилъ  
 Могилу рыть и гробъ купилъ.  
 Принесъ его въ свою избушку,  
 Перекрестился, крышку снялъ,  
 На днѣ холстину разостлалъ,  
 Съ молитвой положилъ старушку,  
 Съ молитвою свѣчу зажегъ, —  
 И сѣлъ въ раздумьи въ уголокъ.  
 Курился ладонъ. Все молчало.  
 Играло солнце на стѣнѣ.  
 Бѣлѣлись свѣчи на окнѣ,  
 Стекло алмазами сверкало,  
 Старушка, мнилось, спала,—  
 Такъ въ гробъ хороша была!  
 „Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!  
 Не даромъ сказано, что цвѣтъ,  
 Ногою смялъ, его и нѣтъ.  
 Умру и я, умретъ и Саша,  
 И ни одна душа потомъ  
 Меня не вспомнить... Боже, Боже!  
 А вѣдь и я трудился тоже,  
 Весь вѣкъ и худомъ и добромъ  
 Сбивалъ копѣйку. Зной и холодъ,  
 Насмѣшки, брань, укоры, голодъ,  
 Побои, все переносилъ!  
 Изъ-за чего? Ну, что скопилъ?  
 Тулупъ остался, да рубаха,  
 А краль безъ совѣсти и страха!  
 Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла

Годится въ дѣло! что-же я-то?  
 Что я-то сдѣлалъ, кромѣ зла?  
 Вотъ свѣчи... гробъ... гдѣ это взято?  
 Крестьянинъ, мужичекъ-бѣднякъ  
 На пашнѣ потомъ обливался  
 И продалъ рожь... а я кулакъ,  
 Я пьяница, не побоялся,  
 Не постыдился никого,  
 Какъ воръ безсовѣтный, обмѣрилъ,  
 Ограбилъ, осмѣялъ его —  
 И смертной клятвою увѣрилъ,  
 Что я не плутъ!.. Все терпитъ Богъ!..  
 Вотъ зять, какъ нищему, помочь...  
 Въ глазахъ мутилось, сердце ныло,—  
 Я въ поясъ кланялся, просилъ!..  
 А, вѣдь, и я добро любилъ,  
 Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!  
 И смѣлъ, и молодъ, помню разъ  
 Въ грозу и непогодъ весною  
 Я утопающаго спасъ.  
 Когда онъ съ мокрой головою,  
 Нагой, на берегу лежалъ,  
 Открылъ глаза, пошевелился  
 И крѣпко руку мнѣ пожалъ...  
 Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ  
 И радостно перекрестился!  
 И все пропало! Все забылъ!..“

И голову онъ опустилъ;  
 И, задушить его готова,  
 Вся мерзость, прожитая снова,  
 Съ укоромъ грознымъ передъ нимъ  
 Стояла призракомъ нѣмымъ.

Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли  
 Тебя урокъ не вразумилъ!  
 Своихъ цѣпей ты не разбилъ,  
 Послушный рабъ безсильной воли!  
 Ты понималъ, что честный трудъ  
 И путь иной тебѣ возможенъ  
 Что ты, добра живой сосудъ,  
 Не совершенно уничтоженъ;  
 Ты плакалъ и на помощь звалъ...  
 Подхваченный нужды волнами,  
 Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками  
 И... въ грязномъ омутѣ пропалъ!..

## XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,  
 Чредѣ обычной нѣтъ конца!  
 Кричитъ младенецъ въ колыбели,  
 Несутъ въ могилу мертвеца.  
 Живи, трудись, людское племя,  
 Вопросы мудрые рѣшай,  
 Сырую землю удобрай  
 Своею плотью!.. Время, время!  
 Когда твоя устанетъ мочь?  
 Какъ страшный жерновъ день и ночь,  
 Вращаясь силою незримой,  
 Работаешь неудержимо  
 Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣтъ  
 Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ!  
 Ихъ доля—вѣчное забвенье!  
 Ты дашь широкій оборотъ,—  
 И ляжетъ прахомъ поколѣнье,  
 Другое очереди ждетъ!

Прошло два года. Дымъ клубами  
 Идетъ изъ трубъ. Снѣгъ порошокъ.  
 Чуть солнце сквозь туманъ глядитъ,  
 Не грѣя блѣдными лучами.  
 Старушка добрая, зима,  
 Покрыла шапками дома.  
 Заутро Рождество святое.  
 Санями рынокъ запруженъ,  
 Торговлей шумной оживленъ.  
 Желудка рабъ, какъ все живое,  
 Народъ кишитъ вокругъ цыплятъ,  
 Гусей, свиней и поросятъ.

„Пошелъ налѣво!“ торопливо  
 Скобѣевъ кучеру кричитъ  
 И палкой нищему грозить:  
 „Ты что присталъ?“ Но вдругъ учтиво  
 Кивнулъ кому-то головой:  
 „Деревня Долбина за мной!  
 Съ торговь... поздравьте...“ — Ой, пропала!  
 Ахъ, чтобъ вамъ не было добра!  
 Вотъ мужичье!..—Мать столяра  
 Едва подъ лошадь не попала,  
 Къ горшкамъ съ кумою отошла,  
 Бесѣду снова повела:  
 — И говорю я это сыну:  
 „Оставь, молъ, ты свою кручину!“  
 Нѣтъ долго Сашу вспоминалъ!  
 И вотъ что было—запивалъ!  
 Теперь ни-ни! Взаяся за дѣло...  
 Поди ты! не женю никакъ,  
 Прошу, прошу,—такой дуракъ!  
 Вишь, рано... время не приспѣло...  
 Да вретъ онъ! Это ничего!  
 Ужъ уломаю я его!—

Вотъ и столяръ. Его походка  
 Размашиста. Тулупъ космать.  
 Пробылась русая борода,  
 И весель соколиный взглядъ;  
 Лицо отъ холода краснѣть;  
 На кудряхъ иней. Впереди  
 Толпа зѣвакъ. Она густѣть.  
 Бѣднякъ-Лукичъ посереда.  
 Мужикъ съ курчавой бородою,  
 Взбѣшенный, жилистой рукою  
 Его за шиворотъ держаль,  
 И больно билъ, и повторялъ:  
 „Вотъ эдакъ съ вами! эдакъ съ вами!“  
 Старикъ постукивалъ зубами,  
 Халать съ разорванной полой  
 Отъ вѣтра въ воздухѣ мотался,  
 И кровь на бородѣ сѣдой  
 Застыла каплями...

„Попался“!

Кричалъ народъ: „тряхни его!  
 Тряхни получше! ничего!“  
 — Не бей по шапкѣ! одурѣть!—  
 „Не смѣть бить! На это судъ,  
 Расправа, значить... бить не смѣть!“  
 — Валяй! Тамъ послѣ разберуть!—  
 Но вдругъ столяръ рукою смѣлой  
 Толпу раздвинулъ: „Стой! за что?  
 — А не обвѣшивай! за то...  
 Мужикъ отвѣтилъ: наше дѣло!  
 Я продалъ шерсть, а онъ того...  
 Обвѣсилъ—вонъ-що!—

„Брось его!

Ты кто? Разбойникъ? Смѣешь драться?

Не знаешь, — отдеруть кнутомъ!  
 Чего ты, Карпъ Лукичъ? Пойдемъ!“  
 — Проваливай! Не станемъ гнаться!  
 Вотъ незамай онъ побряхтитъ:  
 Въ бокахъ-то у него лежитъ! —

„Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!  
 Жалѣли, расходясь, зѣваки:  
 А молодець куда горячь!  
 Ц статень то-то, чай, силачь!“

„Сосѣдь! Ну, какъ тебѣ не стыдно!  
 Столяръ дорогой говорилъ:  
 Весь помертвѣлъ... лица не видно...  
 Что завтра? Вспомни!“

— Согрешилъ...  
 Обвѣсилъ... не во что одѣться...  
 Озябъ и нечѣмъ разговѣться.  
 „А зять?..“

— Мошенникъ! Охъ, продрогъ!  
 „Ну, Саша?“

— Саша помогаетъ...  
 Въ постели... кровью вся перхаеть...  
 Охъ, больно!.. заложило бокъ...—  
 „Эхъ Карпъ Лукичъ!“

— Молчи! я знаю!  
 Сгубилъ я дочь свою, сгубилъ!—  
 „Нѣтъ я не то... не попрекаю.  
 Миѣ жаль тебя: сосѣдомъ былъ...  
 Бѣдняга! Выгнали изъ дома...“

Да ты идешь едва-едва...  
Квартира гдѣ?

— У Покрова.

Нетоплена. Постель—солома.  
Привыкъ къ примѣру... Охъ, продрогъ!—  
„Слышь, Карпъ Лукичъ! Ты не сердися...  
Вотъ деньги есть... Не откажися,  
Возьми на праздникъ. Видитъ Богъ,  
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже  
Обманывать, дрожать на стужѣ...  
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ!  
Ну, хоть взаимъ... какъ знаешь!“

— Нѣтъ!

Я виноватъ передъ тобою:  
Ты съ Сашей росъ...—

„Оставь! пустякъ!

Угодно было Богу такъ..  
Возьми! Ты слышь, не спорь со мною:  
Въ карманъ насильно положу,  
Вотъ на!.. и руки подержу“,  
— Покинь! Миѣ стыдно!—

„Знаю, знаю!

А ты не вынимай назадъ:  
Я, что родному, помогаю,  
Не то что, значить... чѣмъ богатъ!  
Утри-ко лучше кровь полою,  
Неловко... Стой! Господь съ тобою!  
Ты плачешь?“

— Ничего, пройдетъ.

Я такъ. Озябъ... Вода течетъ...

Сегодня въ воровствѣ поймали,  
 Прибили... милостыню дали...  
 А дочь... Проклятый зять! Прощай!—  
 „Да брось его! не поминай!  
 Вотъ завтра праздникъ, дѣль то мало,  
 Ты завернешь въ мой уголокъ,  
 Мы потолкуемъ, какъ бывало,  
 Ну, да присядемъ за пирогъ...  
 Ты просто приходи къ обѣду:  
 Равно!“ И старому сосѣду  
 Онъ руку дружески пожалъ  
 И на прощанье шапку снялъ.

Лукичъ съ разорванной полою  
 Побрелъ одинъ. Взглянулъ кругомъ,—  
 Знакомыхъ нѣтъ; махнулъ рукою,—  
 И завернулъ въ питейный домъ.

Прощай, Лукичъ! Не разъ съ тобою,  
 Когда мой домъ объять былъ сномъ,  
 Сидѣлъ, я грустный, за столомъ,  
 Подъ гнетомъ думъ, ночной норою!  
 И мнѣ по твоему пути  
 Пришлось-бы, можетъ быть, идти,  
 Но я избралъ иную долю...  
 Какъ узникъ я, рвался на волю...  
 Упрямо цѣпи разбивалъ!  
 Я свѣта, воздуха желалъ!  
 Въ моей тюрьмѣ мнѣ было тѣсно!  
 Ни силъ, ни жизни молодой  
 Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой!



Во благо-ль? небесамъ извѣстно...  
 Но блага я просилъ у нихъ!  
 Не ради шутки, не отъ скуки,  
 Я, какъ умѣлъ слагалъ мой стихъ,—  
 Я воплощалъ боль сердца въ звуки!  
 Моей душѣ была близка  
 Вся грязь и бѣдность кулака!  
 Мой братъ! никто не содрогнется,  
 Теперь взглянувши на тебя!  
 Пройдетъ, быть можетъ, посмѣется,  
 Потѣху пошлую любя...  
 Ты сгибъ, но велика-ль утрата?  
 Васъ много! тысячи кругомъ,  
 Какъ, ты, погибли подъ ярмомъ  
 Нужды, невѣжества, разврата!  
 Придетъ-ли, наконецъ, пора,  
 Когда блеснутъ лучи разсвѣта?  
 Когда зародыши добра  
 На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,  
 Взойдутъ; созрѣютъ въ свой чередъ  
 И принесутъ сторичный плодъ;  
 Когда минетъ проказа вѣка  
 И воцарится честный трудъ,  
 Когда увидимъ человѣка,—  
 Добра божественный сосудъ?..





# ПОЊЗДКА НА ХУТОРЪ.



## ПОЪЗДКА НА ХУТОРЬ.

(Отрывокъ изъ поэмы „Городской Голова“).



жъ кони у крыльца стояли;  
Отъ нетерпѣнья коренной  
Сухую землю рылъ ногой;  
Порой бубенчики звучали.  
Семень сидѣлъ на облучкѣ,  
Въ рубашкѣ красной, кнутъ въ рукѣ;  
На упряжь гордо любовался,  
Глядѣлъ, глядѣлъ—и засмѣялся,  
Вслухъ кореннаго похвалилъ  
И шляпу на бокъ заломилъ.  
Ворота настежь отворили,  
Семень присвистнулъ,—туча пыли  
Вслѣдъ за конями понеслась,  
Не догнала—и улеглась.

По всей степи—ковыль, по краямъ—все туманъ.  
Далеко, далеко отъ кургана курганъ,  
Облака въ синевѣ бѣлымъ стадомъ плывутъ,  
Журавли въ облакахъ перекличку ведутъ.  
Не видать ни души. Тонетъ въ золотъ день,  
Пробѣжать по травѣ вѣтру сонному лѣнь.  
А цвѣты-то, цвѣты! какъ живые стоятъ,

Улыбаются, глазки на солнце глядятъ,  
 Словно рѣчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка,  
 Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека.  
 Вотъ и рѣчка... не вѣрь! то подъ жгучить лучемъ  
 Отливается тонкій ковыль серебромъ.  
 Высоко, высоко въ небѣ точка дрожить,  
 Колокольчикъ веселый надъ степью звенить.  
 Въ ковылѣ гудовень—и поютъ и жужжать,  
 Раздаются свистки, молоточки стучать;  
 Средь дорожки глухой пыль столбомъ поднялась...  
 Закружилась, въ широкую степь понеслась...  
 На всѣ стороны путь: ни лѣсочка, ни горъ,  
 Необъятная гладь! неоглядный просторъ!

Мчится тройка, изъ упряжи рвется,  
 Не смолкаетъ бубенчиковъ звонъ,  
 Облачко за телѣгою вьется,  
 Ходить кругомъ земля съ двухъ сторонъ;  
 Путь-дорожка назадъ убѣгаетъ,  
 А курганы заходятъ впередъ;  
 Лучъ горячій на бляхахъ играетъ,  
 То подкова, то шина блеснетъ,  
 Кучерь къ мѣсту какъ-будто прикованъ,  
 Руки вытянулъ, возжи въ рукахъ,  
 Синей степью сѣдокъ очарованъ: —  
 Любо сердцу, душа вся въ очахъ!

„Не погоняй, Семень! устали!“  
 Хозяинъ весело сказалъ, —  
 Но кони съ версту пробѣжали,  
 Пока ихъ кучерь удержалъ.  
 Лѣниво катится телѣга,  
 Хруститъ подъ шинами песокъ;  
 Вздохнетъ и стихнетъ вѣтерокъ;

Надъ головою блескъ и пѣга.  
 Воздушный продолжая бѣгъ,  
 Сверкають облака, какъ снѣгъ.  
 Жара. Вотъ оводъ закружился,  
 Гудеть, на коренную сѣль;  
 Спросонокъ кучеръ изловчился, —  
 Хватъ кнутовищемъ, — улетѣль!  
 Ну, погоди! — Передъ глазами  
 Мелькають пестрые цвѣты.  
 Умъ занять прежними годами,  
 Иль праздно погруженъ въ мечты,  
 Евграфъ вздохнулъ. Воображенье  
 На память дѣтство привело:  
 Въ просторной комнатѣ свѣтло;  
 Складовъ томительное чтенье  
 Тоску наводитъ на него.  
 За дверью шумъ: отецъ его  
 Торгуеть что-то... Слышны споры,  
 О дегтѣ, лыкахъ разговоры,  
 И серебра и рюмокъ звонъ...  
 А садъ сянѣемъ затопленъ...  
 Тамъ зелень, листьевъ трепетанье,  
 Тамъ лепеть, пѣнье и жужжанье —  
 И голоса ему звучать:  
 Иди-же въ садъ! иди-же въ садъ! —  
 Вотъ онъ въ гимназію отправленъ,  
 Подрось — и умный ученикъ;  
 Но какъ-то нелюдимъ и дикъ,  
 Кружкомъ товарищей оставленъ.  
 День сѣрый. Въ классѣ тишина.  
 Вопросъ учитель предлагаетъ:  
 Евграфъ удачно отвѣчаетъ,  
 Восторга грудь его полна.  
 Наставникъ строго замѣчаетъ:

„Мѣщанскій выговоръ у васъ!“  
 И весело хохочеть классъ.  
 Евграфъ блѣднѣеть. — Вотъ онъ дома:  
 Ему торговля ужъ знакома.  
 Но, Боже! эти торгоши!..  
 Но это смрадное болото,  
 Гдѣ ихъ умомъ, душой, работой  
 До гроба двигаютъ гроши!  
 Гдѣ все безмысленно и грязно,  
 Гдѣ все коснѣеть и гнѣтъ!..  
 Тамъ ужасъ сердце обдаеть!  
 Тамъ вѣтъ смертью безобразной!..

Но вотъ знакомый изволокъ.  
 Ужъ виденъ хуторъ одинокой,  
 Затерянный въ степи широкой,  
 Какъ въ синемъ море островокъ.  
 Гумно заставлено скирдами.  
 Передъ избою на шесть  
 Бадья заснула въ высотъ;  
 Полусклоненными столбами  
 Подперта рига. Тамъ—вдали  
 Волы у стога прилегли:  
 Вокругъ безлюдье. Жизни полны,  
 Безъ отдыха и безъ слѣда,  
 Бѣгутъ, бѣгутъ, Богъ вѣсть—куда,  
 Цвѣтовъ и травъ, и свѣта волны...

Семень къ крылечку подкатилъ  
 И тройку ловко осадилъ.  
 Собака съ лаемъ подбѣжала,  
 Но дорогихъ гостей узнала,  
 Хвостомъ мохая, отошла  
 И на заваленкѣ легла.



Евграфъ прикащика Федота  
 Засталь врасплохъ. За творогомъ  
 Сидѣль онъ съ заспаннымъ лицомъ.  
 Его печаль, его забота,  
 Жена смазливая—въ углу  
 Цыплять кормила на полу,  
 Лѣнтяемъ мужа называла,  
 Но вдругъ Евграфа увидала,  
 Смутьась, вскочила второпяхъ  
 Съ густымъ румянцемъ на щекахъ.

Прикащикъ бормоталъ невнятно:  
 „Здоровы-ль? Очень пріятно!“  
 Кафтанъ поспѣшно надѣвалъ  
 И въ рукава не попадалъ.  
 „Эй, Марья! Ты-бы хоть покуда...  
 Слѣпа! творогъ-то прибери!  
 Да пыль-то съ лавки, пыль сотри!..  
 Эхъ, баба!.. Кши!.. пошли отсюда!  
 А я того-съ.., велѣль пахать...  
 Вотъ гречу будемъ засѣвать“.  
 Евграфъ сказалъ: „давно-бы время!“  
 Въ амбаръ прикащика повелъ  
 И гречу указалъ на сѣмя,  
 Всѣ закрома съ нимъ обошелъ;  
 Въ овесъ, и въ просо, и въ пшеницу  
 Глубоко руку погружалъ, —  
 Все было сухо. Приказалъ  
 Смѣнить худую половицу  
 И, выходя, на хлѣвъ взглянулъ,  
 Федота строго упрекнулъ:  
 „Эхъ, братъ! навозу по колѣни...  
 За чѣмъ ты смотришь?“

— Все дѣла!

Запущень, знамо, не отъ лѣни...  
Кобыла, жаль, занемогла! —  
„Какая шерстью?“

— Вороная..—

Евграфъ конюшню отворилъ,  
Прикащикъ лошадь выводилъ.  
Съ боками впалыми, больная,  
Тащилась, чуть переступая.  
„Хорошъ присмотръ! опоена!“  
Ему, знать, черти рассказали,  
Прикащикъ думалъ.—Нѣтъ-съ едва-ли!  
Мы посмотримъ. Оттого больна —  
Не любить домовой. Бываетъ,  
На ней всю ночь онъ разѣзжаетъ  
По стойлу; поутру придешь, —  
Такъ у бѣдняжки потъ и дрожь.—  
Евграфъ вспылить. „Вѣдь, вотъ мученье!  
Найдетъ хоть сказку въ извиненье!“

Но, проходя межами въ полѣ,  
Казалось, онъ вздохнулъ на волѣ,  
Свою досаду позабылъ  
И всходы золени хвалилъ.  
Прикащикъ разводилъ руками.  
„Распашка много-съ помогла...  
Вотъ точно пухъ земля была, —  
Такъ размягчили боронами!“  
— Гдѣ овцы? Я ихъ не видалъ.—  
„Вонъ тамъ... гдѣ кустъ-то на курганѣ“.  
Но взоръ Евграфа замѣчалъ  
Лишь пятна сѣрыя въ туманѣ;  
Что-жъ! ночью можно отдохнуть—  
И онъ къ гурту направилъ путь.

Заснула степь, прохладой дышетъ,  
 Въ огнѣ зари полнеба пышетъ,  
 Полнеба въ сумракѣ виситъ,  
 По тучамъ молнія блеститъ;  
 Проворно крыльями махая,  
 Съ тревожнымъ крикомъ въ вышинѣ  
 Степныхъ гостей несется стая.  
 Маячитъ всадникъ въ сторонѣ,  
 Промчался конь, — хвостомъ и гривой  
 Играетъ вѣтеръ шаловливой,  
 При зорькѣ пыль изъ-подъ копытъ  
 Румянымъ облакомъ летитъ.  
 Неслышнымъ шагомъ ночь подходитъ,  
 Не мнетъ травы—и вотъ она,  
 Легка, недвижна и темна,  
 Молчаньемъ чуткимъ страхъ наводитъ.  
 Вотъ снова блескъ,—и грянулъ громъ,  
 И степь откликнулась кругомъ.

Евграфъ къ избушкѣ торопился.  
 Прикащикъ слѣдомъ поспѣшалъ;  
 Барбось ихъ издали узналъ,  
 На встрѣчу весело пустился,  
 Но вдругъ на вѣтеръ поднялъ носъ,  
 Вдали слышавъ стукъ колесъ, —  
 И въ степь шарахнулся...

За щами,  
 Румянъ и потомъ окропленъ,  
 Межъ тѣмъ посиживалъ Семень,  
 Его веселыми рѣчами  
 Была прикащика жена  
 Чуть не до слезъ размѣшена.  
 „Эхъ, Марья Львовна! Ты на волю

Сама недавно отошла;  
 Ты, значить, въ милости была  
 У барина: и чаю вволю  
 Пила, и все... А я, какъ песь,  
 Я, какъ щенокъ, средь дворни росъ;  
 Ъль, что попало. Съ тумакъми  
 Всей барской челяди знакомъ.  
 Отецъ мой, знаешь, былъ псаремъ,  
 Да умеръ. Баринъ жилъ на-славу:  
 Давалъ пиры, держалъ собакъ;  
 Чужой-ли, свой-ли,—чуть не такъ,  
 Своей рукой чинилъ расправу.  
 Жилъ я, не думалъ, не гадалъ,  
 Да въ музыканты и попалъ.  
 Ну, воля барская, извѣстно...  
 Ужъ и пришло тогда мнѣ тѣсно!  
 Одѣли, выдали фаготъ, —  
 Играй! Бывало—потъ пробьетъ,  
 Что силы дую,—все нескладно!  
 Растянуть, выдерутъ изрядно,—  
 Опять играй! Да цѣлый годъ  
 Такимъ порядкомъ дулъ въ фаготъ!  
 И вдругъ въ отставку: не годился!  
 Я радъ—молебень отслужилъ,  
 Да, видно, много согрѣшилъ:  
 У насъ ахтеръ вина опился —  
 Меня въ ахтеры... Стало,—рокъ!  
 Пошла мнѣ грамота не въ прокъ!  
 Бывало, что, рога приставятъ,  
 Твердить на память рѣчь заставятъ,  
 Ошибся—въ зубы! Въ гробъ-бы легъ,—  
 Евграфъ Антипычъ мнѣ помогъ.  
 Я, значить, зналъ его довольно,  
 Ну, вижу—добрь; давай просить:

„Нельзя-ль на волю откупить?“  
 Вѣдь, откупилъ! А было больно!—  
 И пятерней Семень хватилъ  
 Объ столъ.—Эхъ-ма! собакой жилъ!“

Евграфъ за ужинъ не сѣдился:  
 И не хотѣлъ, и утомился,  
 И свѣчу сальную зажегъ,  
 На лавку въ горенкѣ прилегъ.  
 Разъ десять Марья появлялась,  
 Скользитъ платокъ съ открытыхъ плечъ,  
 Лукавы были взглядъ и рѣчь,  
 Тревожно грудь приподнималась...  
 Евграфъ лежалъ къ стѣнѣ лицомъ  
 И думалъ вовсе о другомъ.  
 Носилась мысль его безъ цѣли;  
 Едва глаза онъ закрывалъ,  
 Въ степи ковыль припоминалъ,  
 Надъ степью облака летѣли;  
 То снова вздоръ о домовомъ  
 Въ ухахъ, казалось, раздавался,  
 Прикащикъ глупо улыбался...  
 „Гм!.. Знахарь нуженъ-съ... Мы найдемъ...“  
 Взятся читать,—въ глазахъ пестрѣло,  
 Вниманье скоро холодѣло.  
 Но, постепенно увлеченъ,  
 Забылъ онъ все, забылъ и сонъ.

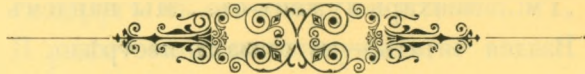
Ужъ пѣтухи давно пропѣли,  
 Надъ свѣчкой вьется мотылекъ;  
 Кругъ свѣта павъ на потолокъ,  
 И тишь, и сумракъ вкругъ постели;  
 По стекламъ красной полосой  
 Мелькаетъ молнія порой,

И вѣтеръ ставнемъ ударяетъ...  
 Евграфъ страницу пробѣгаетъ,  
 Его душа потрясена,  
 И что за пѣснь ему слышна!

„Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...“  
 Стоитъ Дездемона, снимаетъ уборъ,  
 Чело наклонила, потупила взоръ,  
 „Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву...“  
 Блѣдна и прекрасна, въ тоскѣ зами-  
 раетъ,

Печальная пѣсня изъ устъ вылетаетъ:  
 „Вы пойте мнѣ иву, зеленую иву!  
 Зеленая ива мнѣ будетъ вѣнкомъ...“  
 И падаютъ слезы съ послѣднимъ сти-  
 хомъ.

Уходитъ ночь, разсвѣтъ блеснулъ.  
 И наконецъ Евграфъ уснулъ.



ТАРАСЪ.





## ТАРАСЪ.

### I.



ужда, нужда! Все старыя избенки,  
Въ избенкахъ сырость, темнота;  
Изъ-за куска и грязной одеженки  
Всѣ бьются... прямо ницета!

Не весела ты, глушь моя родная!  
Поникли ивы надъ рѣкой,  
Молчить дорожка, травкой заростая,  
И бродить людъ какъ испитой.

Вотъ ужъ вечеръ идетъ,  
Росой травку кропить;  
Въ синихъ тучахъ заря  
Разыгралась-горить.

Золотые дворцы  
По-надълѣсомъ плывутъ.  
Золотые сады  
За дворцами растутъ.

Черезъ синюю глубь  
Мостъ янтарный виситъ...  
Изъ-за темныхъ дубовъ  
Ночь царица глядитъ.

Вздохи—чары и лѣнь  
 Разлеглись на цвѣтахъ,  
 Огоньки по травѣ  
 Зажигаютъ въ потьмахъ.

Вотъ за горкой крутой  
 Колокольчикъ запѣлъ,  
 На горѣ призатихъ,  
 Подъ горой зазвенѣлъ.

Зазвенѣлъ по селу,  
 Въ чистомъ полѣ поетъ,  
 На широкій просторъ  
 Думу сердце зоветъ...

Житье, житье! закованъ точно въ цѣли,  
 Молчи, да чахни отъ тоски...  
 Эхъ, если-бы махнуть мнѣ на Донъ въ степи,  
 Или на Волгу въ бурлаки!

Такъ изнывалъ Тарасъ отъ думъ-заботы  
 И, грезя про чужую даль,  
 Онъ шелъ межами съ полевой работы  
 Домой на горе и печаль.

## II.

Тарасу съ дѣтства приходилось жутко:  
 Отецъ его былъ строгъ и крутъ,  
 Женѣ побой называлъ онъ шуткой, —  
 И называлъ наукой кнутъ.

Бывало, котъ подъ ноги подвернется, —  
 Кота полѣномъ... „будь уменъ!“  
 Храни Господь, когда вина напьется,  
 Бѣги семья изъ дома вонъ!

Пристанеть къ гостю, крѣпко обнимаетъ,  
Цѣлуетъ: „другъ мой дорогой!  
Я вотъ тебѣ...“ И въ ноги упадетъ.  
Гость скажетъ: вотъ чудакъ какой!“

— „Кто, я чудакъ? А ты мужикъ богатый!  
Не любишь знаться съ бѣднякомъ!  
Такъ на-вотъ! помни, лапотникъ проклятый“.  
И друга хватить кулакомъ.

Испуганный, сынишко встрепенется  
И матери тайкомъ шепнетъ:  
„Охъ, матушка! опять отецъ дерется...  
„Уйдемъ! онъ и тебя прибьетъ...“

— „Ступай-ка за грибами, вотъ лукошко“,  
Отвѣтитъ мать: „тутъ хлѣбъ лежитъ...“—  
И въ темный лѣсъ знакомою дорожкой  
Мальчишка бѣгомъ побѣжитъ.

И тамъ онъ ляжетъ на травѣ росистой.  
Прохлада, сумракъ. Вотъ запѣлъ  
Зеленый чижъ подъ липою душистой;  
Вотъ дятель на березу сѣлъ

И застучалъ. Вотъ заяцъ по тропинкѣ  
Пронесся, — и ужъ слѣду нѣтъ.  
Тутъ стрекоза вертится на былинкѣ;  
По листьямъ жукъ ползетъ на свѣтъ.

Тревожно шепчетъ робкая осина.  
Сквозь зелень, видны вдалькѣ  
Уснувшихъ водъ зеркальная равнина,  
Рыбакъ съ сѣтями въ челнокѣ,

Стада овецъ, луга, пески, заливы,  
 Въ водѣ и надъ водой лѣса,  
 За берегами золотыя нивы,  
 Вокругъ—въ сіяньи небеса.

И очарованъ звуками лѣсными,  
 Цвѣтовъ дыханьемъ упоенъ,  
 Ребенокъ грезить снами золотыми,  
 Весь въ слухъ и зрѣнье превращенъ.

Когда корой прозрачною и тонкой  
 Синѣла, въ осень, гладь озеръ,  
 Иной пріютъ манилъ къ себѣ ребенка,—  
 Сосѣда постоянный дворъ.

Тамъ бурлаки порой ночлегъ держали,  
 Или гуляли косари,  
 Про степь и Волгу пѣсни распѣвали  
 Всю ночь до утренней зари.

И за сердце хваталъ напѣвъ унылый.  
 Вдругъ свистъ... и вскакивалъ бурлакъ—  
 „Пой веселѣй!“ И пѣсня съ новой силой  
 Неслась, какъ вихрь... „Дружнѣй! вотъ такъ,

И свистомъ покрывался звукъ желейки,  
 И полъ отъ топота гудѣлъ,  
 И прыгали столъ, и прыгали скамейки...  
 Ребенокъ слушалъ и смотрѣлъ.

И брань отца была ему больнѣе,  
 Когда домой онъ приходилъ,  
 И уголокъ родной глядѣлъ скучнѣе,  
 И онъ, Богъ вѣсть, о чемъ грустилъ.

## III.

Прошли года. И на дворѣ, и въ полѣ  
Тарасъ работникъ хоть куда,  
И головы не клонить въ темной долѣ  
Ни передъ кѣмъ и никогда.

Чуть міроѣдъ на бѣдняка наляжетъ,—  
Тарасъ ужъ тутъ. Глаза блестятъ,  
Лицо блѣднѣетъ... „Ты не трогай!“ скажетъ,  
„Не бей лежачихъ!... не велятъ!...“

Ты кто такой!..“ И мѣряетъ глазами  
Нахала съ головы до ногъ.  
Отецъ махнетъ съ досадою руками:  
„Не сдобровать тебѣ, сынокъ!“

„Подрѣжутъ крышья!.. Такъ оно бываетъ...“  
Надвинетъ шапку и пойдетъ;  
И въ кабакъ до ночи пропадаетъ;  
Домой насилу добредетъ.

„Ну, кто тутъ! Эй, жена! зажги лучину!  
Я шапку пропилъ... да! смотри.  
Весь вѣкъ работалъ... ну, пора и сыну  
Работать... чертъ васъ побори!“

„Весь вѣкъ пахалъ... все нищій... что-жъ ра-  
бота?“

Вѣстимо такъ. И хлѣбъ и квасъ—  
Мы все добудемъ! Важная забота!  
Ну, пьянъ. Никто мнѣ не указъ!—

И въ уголокъ свои деньжонки спрячеть,  
 Забудеть,—и давай искать;  
 Кричить: „разбой!“ и охаеть, и плачеть:  
 Ты воръ, Тарась! не смѣй! молчать!“

„Ты воръ! будь проклять! сохни, какъ лучина!“  
 Стоитъ, ни слова сынъ въ отвѣтъ;  
 Въ его глазахъ угрюмая кручина,  
 Въ его лицѣ кровинки нѣтъ.

Сидитъ на лавкѣ бѣдная старушка,  
 Лицо слезами облито.  
 И такъ печальна бѣдная избушка,  
 Что не глядѣлъ бы ни на что.

Ужъ разсвѣтаетъ. Тучки краской алой  
 Покрываютъ. Закраснѣлся прудъ,  
 И весело подъ кровлей обветшалою  
 Пѣвуньи-ласточки снуютъ.

Въ дали туманъ рѣдѣетъ надъ лугами.  
 Вотъ слышны: рѣзкій скрипъ воротъ,  
 И голосъ бабы: „поѣзжай межами,  
 Тамъ перелѣскомъ путь поидеть...“

— „Эхъ-ма, ужъ день!“ Тарась тряплетъ  
 кудрями,  
 „Ну, видно, послѣ, молъ, поспишь...“  
 И вотъ съ сохю ѣдетъ онъ полями;  
 Дорога—скатерть, въ полѣ—тишь;

Надъ лѣсомъ солнце золотомъ сверкаетъ,  
 И птичка въ вышинѣ поетъ,  
 Звенить, поетъ и устали не знаетъ...  
 И парень пѣсню заведетъ.

И грустно, грустно эта пѣсня льется.  
 Онъ ѣдетъ лугомъ, — будить лугъ,  
 Онъ ѣдетъ лѣсомъ, — темный лѣсъ проснется  
 И съ нимъ поетъ, какъ старый другъ.

Зоря погасла. Кончена работа.  
 Уснуть-бы, кажется, пора,  
 Да спать-то парню не даетъ забота, —  
 Коней ведетъ онъ со двора

Поить... И шляпу на-бекрень надѣнетъ;  
 Ворота настежь распахнетъ,  
 По улицѣ, посвистывая, ѣдетъ,  
 А за угломъ — подруга ждетъ.

Кругомъ безлюдно. Тепелъ лѣтній вечеръ.  
 Рѣка при мѣсяцѣ блеститъ.  
 И знаетъ только перелетный вѣтеръ,  
 Что парень съ милой говоритъ.

Печальна жизнь, печальна съ милой встрѣча:  
 Она поникла головой,  
 Въ отвѣтъ на ласки не находитъ рѣчи,  
 Стоитъ и парень самъ не твой.

„Я самъ не радъ, голубка дорогая;  
 „Какъ мнѣ жениться на тебѣ?  
 „Свяжу тебя, свяжу себя, родная...  
 „Гнѣзда не вить ужъ мнѣ себѣ.

„Мнѣ тѣсно тутъ. Не связывай мнѣ воли.  
 „Авось придутъ иные дни...  
 „А сгину гдѣ, безъ счастья и безъ доли, —  
 „Меня хоть ты-то не кляни!“

— „На муку, вѣрно“, отвѣчаетъ голосъ:  
 „Да на печаль я рождена,  
 „И пропаду, что одинокій колось,  
 „И все молчать, молчать должна!

„Отець и мать мнѣ попрекнуть тобою!  
 „Тамъ замужь... чахни отъ тоски!  
 „И всемъ-то будетъ воля надо мною  
 „До гробовой моей доски!..“

— „Не быть тому! добьюсь до красной доли!  
 „Не стать мнѣ силы занимать,  
 „И будешь ты и въ радости, и въ холѣ,  
 „И въ нѣгѣ вѣкъ свой вѣковать“.

## IV.

Блестятъ, мерцаютъ звѣзды надъ полями.  
 Сосѣда грязная изба  
 Чуть не биткомъ набита косарями,  
 Въ избѣ веселая гульба.

Дымъ тютюна, жара... Весь въ сажѣ черной,  
 Ночникъ мигаетъ надъ столомъ,  
 Трепичить. И ходить по рукамъ проворно  
 Стаканъ, наполненный виномъ.

Поютъ и пляшутъ косари степные,  
 Кафтаны сброшены съ ихъ плечъ,  
 Растрепаны ихъ кудри молодые,  
 Смѣла размашистая рѣчь.

Тарасъ сидитъ угрюмый и печальный.  
 Онъ друга по-сердцу съискалъ,



И про свою любовь къ сторонкѣ дальней,  
И про тоску поразсказаль.

„Эхъ курица!“ товарищъ крикнулъ громко:  
„Тебѣ-ль летать въ далекій путь!  
„Связался тутъ съ какою-то дѣвченкой,  
„Боишься крыльями махнуть!

„Гулялъ-бы ты, какъ я, соколъ, гуляю:  
„Три года на Дону прожилъ,  
„Теперь на Волгу лыжи направляю,  
„Про домъ и думать позабылъ“.

И долго говорилъ косарь кудрявый,  
И все хвалилъ степей просторъ,  
Красу казачекъ, косарей забавы,  
И пѣсней кончилъ разговоръ.

Тарасъ вскочилъ. Лицо его горѣло!  
„Такъ здравствуй ты, чужая даль!  
„Ну,—въ степь, такъ въ степь! Все сердце из-  
болѣло!..  
„Вина! Запьемъ свою печаль!...“

И взявъ онъ паспортъ, помолился Богу  
И отдалъ старикамъ поклонъ:  
„Благословите, моль, родные, на дорогу,  
„Такъ, значить, надобно: законъ“.

Старикъ кричалъ,—ничто не помогало,  
И плюнулъ, наконецъ, со зла.  
Старушка къ сыну на плечо припала  
И оторваться не могла.

„Касатикъ мой, мой голубъ сизокрылый!  
 „Господь тебя да сбережетъ!..  
 „Заѣль тебя, заѣль отецъ постылый,  
 „Да и меня-то въ гробъ кладеть“.

— „Возьми-ка съ горя объ-стѣну убейся“,  
 Сказаль ей мужъ: „вишь обнялись!  
 „Ступай, сынокъ! ступай, какъ вихоръ вейся,  
 „Какъ вихоръ по-свѣту кружись!....—

## V.

И, распростаясь съ родимыми полями,  
 Взявъ только косу со двора,  
 Пошелъ Тарась, съ котомкой за плечами,  
 Искать и счастья и добра.

Одна зоря смѣнялася другою,  
 За темной ночью день вставаль.  
 Все шель косарь, все дальше за собою  
 Поля родныя оставляль.

Порой, усталый, на траву приляжетъ,  
 Горячій потъ съ лица отретъ,  
 Ремни котомки кожаной развяжетъ,  
 И скудный завтракъ свой начнетъ.

На немъ отъ пыли платье почернѣло,  
 Въ клочкахъ подошвы сапоговъ,  
 Лицо его отъ солнца загорѣло,  
 Но какъ онъ весель и здоровъ!

Идетъ мой парень, а надъ нимъ порою  
 Иль журавлей кружится цѣнь,  
 Иль пролетаютъ облака толпою,  
 И вотъ онъ углубился въ степь.

„О, Господи! что-жь это за раздолье!  
 „А глушь-то... степь да небеса!  
 „Трава, цвѣты—ужь, правда, тутъ приволье,  
 „Краса, что рай земной, краса!“

Межь тѣмъ трава клонилась, поднималась,  
 Ей вѣтеръ кудри завивалъ,  
 По этимъ кудрямъ тѣнь переливалась  
 И яркій лучъ перебѣгалъ.

Средь изумрудной зелени, какъ глазки,  
 Цвѣты глядѣли тутъ-и-тамъ,  
 По нимъ играли радужныя краски,  
 И кланялись цвѣты цвѣтамъ.

И голоса безъ умолку звучали:  
 Жужжанье, пѣсни, трескотня  
 Со всѣхъ сторонъ неслись и утопали  
 Въ сіяньи солнечнаго дня.

Смеркается—и говоръ затихаетъ,  
 Край неба въ полыми горить,  
 Ночь темная украдкой подступаетъ,  
 Степной травы не пробудить.

Зажглась звѣзда, зажглось ихъ много, много,  
 И мѣсяцъ въ сумракѣ блеститъ,  
 И снопъ лучей воздушною дорогой  
 Идетъ—и въ глубь рѣки глядитъ

Все стихло, спать. Но степь какъ будто дышетъ,  
 Въ дремотѣ звуки издастъ:  
 Вотъ, гдѣ-то свистъ далекаго уха слышитъ,  
 И, кажется, чумака поетъ.

Рѣдѣютъ тѣни. Звѣзды пропадаютъ,  
 Въ огнѣ несутся облака  
 И медленно, рѣдѣя, померкаютъ.  
 Трава задвигалась слегка.

Свѣтло. Вспорхнула птичка. Солнце встало,  
 Степь тонетъ въ золотомъ огнѣ,  
 И снова все загло, зазвучало  
 И на землѣ, и въ вышинѣ...

Вотъ въ сторонѣ станица показалась,  
 Стекломъ воды отражена,  
 Сидитъ на берегу; вся увѣнчалась  
 Садами темными она.

По зелени некошеной равнины  
 Разсыпался табунъ коней.  
 Безлюдье, тишь. Холмовъ однѣ вершины  
 Оглядываютъ ширь степей.

Вошелъ Тарасъ въ станицу и дивится:  
 Казачка, въ пестромъ колпачкѣ,  
 На скакунѣ, ему навстрѣчу мчится  
 Съ баклагой круглою въ рукѣ.

Желтѣютъ гумна. Домики нарядно  
 Глядятъ изъ зелени садовъ.  
 Вотъ спитъ казакъ подъ тѣнью виноградной,  
 И какъ румянь онъ и здоровъ!

Ни грязныхъ бабъ въ понявахъ подоткнутыхъ,  
 Ни лицъ не видно испитыхъ,  
 И нѣтъ тутъ нищихъ блѣдныхъ, необутыхъ,  
 Катѣвъ и съ чашками слѣпыхъ...

Какъ-разъ мой парень подоспѣлъ къ покосу  
 Нанялся скоро въ косари.  
 „Ну, въ добрый часъ!“ И наточилъ онъ косу  
 При свѣтѣ утренней зари.

Кипи, работа! Въ шляпѣ да въ рубахѣ  
 Идетъ, махаетъ онъ косой:  
 Коса сверкаетъ, и, при каждомъ взмахѣ,  
 Трава ложится полосой.

Тамъ—въ вышинѣ орелъ иль кречеть вьется,  
 Иль туча крылья развернетъ,  
 И темной вихорь мимо пронесется,—  
 Тарасъ и косить, и поетъ...

Стога растутъ. Покосъ къ концу подходитъ:  
 Степь засыпаетъ въ тишинѣ  
 И на сердце, нагая, грусть наводитъ...  
 Косарь не радъ своей казнѣ.

Такъ много нуждъ! Онъ пролилъ сколько пота,  
 Казны такъ мало накопилъ...  
 Куда-жъ идти? Опять нужна работа;  
 Опять нужна растрата силъ!

И будешь сытъ... такъ до сырой могилы  
 Трудись, трудись... но жить когда?  
 Къ чему казна, когда растратишь силы  
 И надорвешься отъ труда?

Въ степи стемнѣло. Около дороги  
 Горять на травкѣ огоньки:  
 Въ густомъ лѣсу чернѣются треноги,  
 Висятъ на крючьяхъ котелки.

Въ водѣ пшено съ барапиной варится.  
 Усѣлись косари въ кружокъ,  
 И слышенъ говоръ: никому не спится,  
 И слышенъ изрѣдка рожокъ.

Вокругъ молчанье. Мѣсяць обливаешь  
 Стоговъ верхушки серебромъ,  
 И при огнѣ изъ мрака выступаетъ  
 Шалашъ, покрытый камышомъ.

„Ну, не къ добру“, сказалъ косарь плечистый,  
 „Умолкъ нашъ соловей степной!..  
 „А ну, Тарась... привстань съ травы росистой,  
 „Уважь, *лучинушку* пропой!

— „Ну, нѣтъ, дружище, что-то не поется.  
 „Гроза-бы, что-ли ужъ, нашла..  
 „Такая тишь, трава не пошатнется!  
 „Нѣтъ, лѣтомъ лучше жизнь была.“

— „Домой, пріятель, видно захотѣлось.  
 „Ты говорилъ: тутъ рай въ степяхъ!..“—  
 „И былъ тутъ рай, да все ужъ приглядѣлось;  
 „Работы нѣтъ, трава въ стогахъ...“

И думалъ онъ: вотъ я и домъ покинулъ...  
 Была-бы только жизнь по мнѣ,  
 Въдь, кажется, я-бъ гору съ мѣста сдвинулъ,  
 Да что... заботы все однѣ!..

Живется-жь людямъ въ нуждѣ безъ печали!  
 Такъ наши дѣды жизнь вели,  
 Росли въ грязи, пахали да пахали,  
 Съ нуждою бились, въ гробъ легли.

И съ ними... Точно смерть утѣха!  
 Ищи добра, броди впотьмахъ,  
 Покуда, свѣту Божьему помѣха,  
 Лежить повязка на глазахъ...

Эхъ, ну, васъ къ чорту, горькія заботы!  
 О чемъ тутъ плакать горячо?  
 Пойду туда, гдѣ болѣе работы,  
 Гдѣ нужно крѣпкое плечо.

#### VI.

Горить зоря. Румяный вечеръ жарокъ.  
 Румянецъ по рѣкѣ разлить.  
 Пестрѣютъ флаги плоскодонныхъ барокъ,  
 И людъ на пристани кишить.

Въ высокихъ шапкахъ чумаки съ кнутами,  
 Татаринъ съ бритой головой;  
 Въ бешметѣ съ откидными рукавами  
 Курчавый грекъ, цыганъ съдой;

Купецъ дородный съ важною походкой,  
 И съ самоваромъ сбитенщикъ,  
 И плуть еврей съ козлиною бородкой,  
 Въстей торговыхъ проводникъ, —

Кого тутъ нѣтъ! Докучный пискъ шарманокъ,  
 Смѣхъ бурлаковъ и скрипъ колесъ,  
 И брань, и пѣсни буйныя цыганокъ,—  
 Все въ шумъ надъ берегомъ слилось.

Куда ни глянь—подъ хлѣбомъ берегъ гнется:  
 Хлѣбъ въ балаганахъ, хлѣбъ въ бунтахъ...  
 Не даромъ Русь кормилицей зовется  
 И почиваетъ на поляхъ.

Вкругъ вольницы веселый свистъ и топотъ;  
 Народу,—пушкой не пробьешь!  
 И всюду шумъ, какъ будто моря ропотъ;  
 Шумъ этотъ слушать устаешь.

„Вотъ гдѣ разгуль! Вотъ милая сторонка!“  
 Тарасъ кричитъ на берегу:  
 „Гуляй, ребята! вотъ моя мошонка!  
 „Да грянемъ пѣсню... помогу!

„Ну, внизъ по матушкѣ по Волѣ... дружно!..“  
 И пѣсня громко понеслась;  
 Откликнулася на пѣсню дугъ окружной,  
 И даль рѣки отозвалась...

А небо все темнѣло, померкало,  
 Шла туча синяя съ дождемъ,  
 И молнія гладь Дона освѣщала,  
 И перекатывался громъ.

Вдругъ хлынулъ дождь. Гроза забушевала,  
 Народъ подъ кровли побѣжалъ.  
 „Шабашъ, ребята! Пѣсни значить, мало!“  
 Тарасъ товарищамъ сказалъ.



Пустился къ Дону. Жилистой рукою  
 Челнокъ отъ барки отвязалъ,  
 Схватилъ весло, — и тѣшилъ грозою,  
 По гребнямъ волнъ перелеталъ.

И бурлаки качали головами:  
 „Неугомонный человѣкъ!  
 „Вишь, понесло помѣряться съ волнами!  
 „Ни за копѣйку стубить вѣкъ“.

## VII.

Одѣты сѣрые луга туманомъ;  
 То дождь польетъ, то снѣгъ летить.  
 И глушь, и дичь. На берегу песчаномъ  
 Угрюмо темный лѣсъ стоитъ.

Дождю навстрѣчу мѣрными шагами  
 Подъ лямкой бурлаки идутъ,  
 И тянутъ барку крѣпкими плечами, —  
 Слабѣть канату не даютъ.

Ихъ ноги грязью до колѣнъ покрыты,  
 Шапчонки лѣзутъ на глаза,  
 Потерлось платье, лапти поизбиты,  
 Отъ поту взмокли волоса.

„Бери причаль! живѣе — что ль! заснули!“  
 Продрогшій кормчій закричалъ.  
 И бурлаки веревки натянули, —  
 И барка стала на привалъ.

Огонь зажженъ; дымъ въ клочьяхъ улетаетъ;  
 Несутся быстро облака;  
 И вѣтромъ барку на волнахъ качаетъ,  
 И плещетъ на берегъ рѣка.

Тарасъ потеръ мозолистыя руки  
 И сълъ, задумавшись, на пень.  
 „Ну, ну! перенесли мы нынче муки!“  
 Промолвилъ кто-то: „скверный день!“

„Убѣгъ бы, да притянуть къ становому  
 „И отдеруть...“—„Доволокемъ!“  
 Сказалъ другой: „гуляй, пока до дому,  
 „Тамъ будь, что будетъ!.. ужъ попьемъ!..“

Вотъ мы вчера къ Тарасу приставали,  
 „Куда,—не пьеть! Такой чудакъ!“  
 — „А что, Тарасъ, ты право крѣпче сталъ“,  
 Сказалъ оборванный бурлакъ:

„Тутъ тянешь, тянешь,—смерть, а не работа,  
 „А ты и ухомъ не ведешь!..“  
 Тарасъ кудрями мокрыми отъ пота  
 Тряхнулъ и молвилъ: „не умрешь!“

„Умрешь,—зароемъ“.—„У тебя все шутки.  
 „О дѣлѣ, видишь, рѣчь идетъ.  
 „Вѣдь, у тебя—то пѣсни-прибаутки,  
 „То скука... шутъ тебя пойметъ...“

— „Разсказывай! Перебивать не буду...“  
 Онъ думалъ вовсе о другомъ,  
 Хоть и глядѣлъ, какъ желтыхъ листьевъ груду  
 Огонь обхватывалъ кругомъ.

Припомнилъ онъ сторонушку родную  
И свой печальный, бѣдный домъ;  
Отецъ клянеть его на-пропалую,  
А мать рыдаетъ за столомъ.

Припомнилъ онъ, какъ разставался съ милой,  
Зачѣмъ? Что ждало впереди?  
Гдѣ-жъ доля-счастье?.. Какъ она любила!..  
И сердце дрогнуло въ груди.

„Сюда, ребята! Плотникъ утопаетъ!“  
На баркѣ голосъ раздался:  
И по доскамъ толпа перебѣгаетъ  
На барку. „Экъ онъ, сорвался!“

— „Да гдѣ?—“ Вонъ тутъ. Ну, долго-ль осту-  
питься!“

— „Вотъ горе: вѣтеръ-то великъ!“—  
„Плыви скорѣй!“ — „Не-што, плыви топить-  
ся!“—

„Спасите!“ разносился крикъ,

И голова мелькала надъ волнами.  
Тарасъ ужъ бросился въ рѣку  
И во всю мочь размахивалъ руками.  
„Держись!“ кричалъ онъ бѣдняку.

„Ко мнѣ держись!“ Но громкаго призыва  
Товарищъ слышать ужъ не могъ—  
И погрузился въ волны молчаливо...  
Тарасъ нырнулъ. Ужъ онъ продрогъ

И былъ далеко. Глухо раздавался  
И шумъ воды, и вѣтра вой;

Пловецъ изъ синей глуби показался  
И вновь исчезъ. Нѣмой толпой

Стоялъ народъ съ надеждою несмѣлой.  
И вынырнулъ Тарасъ изъ волнъ...  
Глядятъ,—за нимъ еще всплываетъ тѣло...  
И разомъ грянуло: „спасень!“

И шапками въ восторгѣ замахала  
Толпа, забывшая свой страхъ.  
А буря выла. Чайки пропадали,  
Какъ точки, въ темныхъ облакахъ.

Усталъ пловецъ. Измученный волнами,  
Едва плыветъ. Онъ бѣгутъ  
Всѣ въ бѣлой пѣнѣ, дружными рядами,  
И все растутъ, и все растутъ.

Хотѣлъ онъ крикнуть,—замерло дыханье...  
И въ воздухѣ рукой потрясъ,  
Какъ будто жизни посылалъ прощанье,  
И крикнулъ—и пропалъ изъ глазъ!



**ДНЕВНИКЪ СЕМИНАРИСТА.**



## Дневникъ семинариста \*).



184... 18 Июля.

лава Тебѣ, Господи! Вотъ и каникулы! Вотъ наконецъ и я дома... Да! Нужно, подобно мнѣ, позубрить круглый годъ уроки ежедневно, да еще два раза въ день,—за исключеніемъ, разумѣется, праздниковъ, промѣрить отъ квартиры до семинаріи версты четыре, или болѣе; потомъ въ душевной комнатѣ, въ кружкѣ шести человѣкъ товарищей, подчасъ въ дыму тютюна, погнупься до полночи надъ запачканною тетрадкой, или истрепанною книгой, подтвердигъ греческій и латинскій языки, геометрію, герменевтику, философію и прочее и прочее, и послѣ броситься съ досадою на жесткую постель и заснуть съ тощимъ желудкомъ, оттого что какія нибудь тамъ жиденькія, сваренныя съ свинымъ саломъ щи пролиты на полъ пьяною хозяйкой дома,—нужно, говорю я, все это пережить и перечувствовать, чтобы оцѣнить всю прелесть теплаго, гостепріимнаго, родного уголка... ухъ! Дай потянусь на этомъ кожаномъ стулѣ, въ этой горенкѣ съ окнами, выходящими въ зеленый, обрызганный росой, садъ, въ этомъ раю, гдѣ я самъ большой, самъ старшой, гдѣ имѣть право прикрикнуть на меня только одинъ мой добрый батюшка... А

\*) По всей вѣроятности, „Записки Семинариста“, о которыхъ говорил Никитинъ въ письмѣ къ Второву (см. Біографію, стр. 53), впоследствии были имъ уничтожены, за исключеніемъ развѣ начальныхъ страницъ, вошедшихъ въ этотъ Дневникъ, написанный для „В. Бесѣды“.

право здѣсь настоящій рай: тихо, свѣтло. Изъ сада пахнетъ травою и цвѣтами; на яблоняхъ чирикаютъ воробьи; у ногъ моихъ мурлычить мой старый знакомецъ, сѣрый котъ. Яркое солнце смотритъ сквозь стекло и золотымъ снопомъ упирается въ чисто-вымытую и выскребенную ножемъ, сосновую дверь. Батюшка мой такой тихій, такой незапамятный! Если и случается мнѣ что нибудь набѣдокурить, онъ покачаетъ головою, сдѣлаетъ легкій упрекъ—и только. Между тѣмъ, странное дѣло! я такъ боюсь его оскорбить!... А вотъ помню я, былъ у насъ учитель во 2-мъ классѣ училища, Алексѣй Степанычъ, коренастый, съ черными нахмуренными бровями, и такой рябой и корявый, что смотрѣть скверно. Вызоветъ онъ, бывало, тебя на средину класса и крикнетъ: «читай!» А изъ глазъ его такъ и сверкаютъ молніи. Взглянешь на него украдкой и начнешь измѣняться въ лицѣ, въ головѣ пойдетъ путаница, и все вокругъ тебя заходитъ: и ученики, и учитель, и стѣны—просто диво! И понесешь такую дичь, что послѣ самому станетъ стыдно. «Не знаешь, мерзавецъ!» зарычитъ учитель: «къ порогу!»... И начнется, бывало, жаркая баня... Что-жъ вы думаете? Попадались такіе ученики, которые, не жалѣя своей кожи, находили непонятное удовольствіе бѣсить своего наставника. Бывало, иной ляжетъ подъ розги, закусить до крови свой палецъ—и молчать. Его сѣкутъ, а онъ молчитъ. Его сѣкутъ еще болѣе, а онъ все молчитъ. Алексѣй Степанычъ смотритъ и со злостью чуть не рветъ на себѣ волосы... Да мало ли что случалось! Однажды ученикъ дѣлалъ дѣленіе и до того спутался, что никакъ не могъ рѣшить задачи. Стоитъ бѣдняжка у доски, лицо разгорѣлось, по щекамъ текутъ слезы, носъ выпачканъ мѣломъ, руки и правая пола сюртука тоже въ мѣлу—Алексѣй Степанычъ злится, не приведи Господи. «Ну, говоритъ: что-жъ ты!... рѣшай!» И вдругъ повернулся направо. «Богородицкій! какъ ты объ этомъ думаешь?» Богородицкій вскочилъ со скамьи, вытянулъ руки по швамъ и, вспомнивъ, что въ катихизисѣ есть подобный вопросъ съ надлежащимъ къ нему отвѣтомъ, громогласно и нараспѣвъ отвѣчалъ: «я думаю и разсуждаю объ этомъ такъ, какъ повелѣваетъ мать, паша Церковь». Мы всѣ переглянулись, однакожъ засмѣяться никто не смѣлъ. Алексѣй Степанычъ плю-



нулъ ему въ глаза и крикнулъ: «на колѣни!» Ну, въ семинаріи у насъ совсѣмъ не то: розги почти совсѣмъ устранины, а если и употребляются въ дѣло, такъ это ужъ за что нибудь особенное. Наставники обращаются на *вы*, къ чему я долго не могъ привыкнуть. Оно въ самомъ дѣлѣ странно: профессоръ, магистръ духовной академіи, человѣкъ, который, Богъ знаетъ, чего ни прочелъ и ни изучилъ, обращается, на примѣръ, ко мнѣ или къ моему товарищу, сыну какого нибудь пономаря или дьячка, и говоритъ: «прочтите лекцію». Долго я не могъ къ этому привыкнуть. Теперь ничего. И мнѣ становится уже непріятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо говоритъ мнѣ *ты*; въ этомъ *ты* я вижу къ себѣ нѣкоторое пренебреженіе. Замѣчу кстати: мнѣ необходимо привыкать къ вѣжливости, или, какъ говоритъ мой пріятель Яблочкинъ, къ порядчности (Яблочкинъ необыкновенно даровитъ, жаль только, что онъ помѣшался на чтеніи какого-то Бѣлинскаго и вообще на чтеніи разныхъ свѣтскихъ книгъ). Батюшка сказалъ, что съ первыхъ чиселъ сентября я буду жить въ квартирѣ одного изъ нашихъ профессоровъ съ тою цѣлію, чтобы онъ имѣлъ непосредственное наблюденіе за моимъ поведеніемъ, слѣдилъ за моими занятіями и, гдѣ нужно, помогалъ мнѣ своими совѣтами. Этотъ надзоръ, мнѣ кажется, рѣшительно во всемъ меня свяжетъ. Либо ступишь не такъ, либо что скажешь не такъ, вотъ сейчасъ и сдѣлають тебѣ замѣчаніе сначала одно, а тамъ другое, третье, и такъ далѣе. Впрочемъ, можетъ быть, я и ошибаюсь: батюшка навѣрно желаетъ мнѣ добра. Стой! вотъ еще новая мысль: что если этотъ дневникъ, который я намѣренъ продолжать, по какому нибудь несчастному, непредвидѣнному случаю, попадетъ въ руки профессора? Вотъ выйдетъ штука... воображаю!.. Да нѣтъ! быть не можетъ! Во-первыхъ, у меня, какъ и прежде, будетъ въ распоряженія свой сундучекъ съ замкомъ, въ который я могу прятать все, что мнѣ заблагоразсудится; во-вторыхъ, я стану писать его или въ отсутствіе профессора, или во время его сна; стало быть, опасенія мои на этотъ счетъ не имѣютъ никакого основанія. Жаль мнѣ бросить эту работу! Записывая все, что вокругъ меня дѣлается, быть можетъ, я со временемъ привыкну свободнѣе излагать свои мысли

на бумагѣ. Притомъ самая окружающая меня жизнь здѣсь, въ деревнѣ, и тамъ, въ городѣ, въ семинаріи, какъ она ни бѣдна содержаніемъ, все-таки не вовсе лишена интереса. Вчера, напримѣръ, мнѣ случилось быть у нашего дьячка Кондратьича. Чудакъ онъ, ей-Богу! Лѣтами еще не старъ, лѣтъ этакъ тридцати съ чѣмъ нибудь, выпить любить, а когда выпьетъ, ему никто нипочемъ: и прихожанинъ-мужинъ, и дьяконъ, и даже мой батюшка. Придирки свои онъ обыкновенно начинаетъ жалобою на свое незавидное положеніе: „что, дескать, я? дьячокъ — вотъ и все! тварь — и больше ничего! Червякъ — и только!..“ И зальется горькими слезами, — и вдругъ отъ слезъ сдѣлаетъ неожиданный переходъ къ такой рѣчи: «да-съ, я червякъ, во истину червякъ! Ну, а ты, смѣю тебя спросить, ты что за птица?..» Тутъ голосъ его начнетъ возвышаться все болѣе и болѣе. Кондратьичъ засучиваетъ рукава, лѣвую погу выставляетъ впередъ, правую руку съ сжатымъ кулакомъ бойко замахиваетъ назадъ, словомъ: принимаетъ грозное, наступательное положеніе, и въ эту минуту къ нему не подходитъ никто, иначе расшибетъ вдребезги; если кулаковъ его окажется недостаточно, пуститъ въ ходъ свои зубы, ужъ чѣмъ-нибудь да пасолить своему, какъ онъ выражается, врагусупостату. Жена Кондратьича робкая, загнанная, забытая женщина, вдобавокъ худенькая, малынькая и поделѣговатая, вѣчно плачется на своего мужа, жизнь свою называетъ мукою, себя мученицею; мужъ называетъ ее слѣпою Евлампіею. Итакъ, говорю я, вчера вечеромъ случилось мнѣ быть у Кондратьича. Когда я вошелъ въ его избу, онъ ходилъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки за веревочку, которою былъ опоясанъ, и распѣвалъ: «Взбранной воеводѣ побѣдительная, яко избавльшися отъ злыхъ...» Посреди избы стояла большая, опрокинутая вверхъ дномъ, кадушка. «А, мое вамъ почтеніе, Василій Ивановичь!» сказалъ Кондратьичъ, замѣтивъ меня на порогѣ: «мое вамъ всенижайшее почтеніе, господишъ философъ, будущій пастырь словесныхъ овецъ... сдѣлайте одолженіе, садитесь... А это что у васъ за мѣшочекъ въ рукѣ?...» Я совершенно потерялся. Дѣло въ томъ, что батюшка приказалъ мнѣ отнести дьячихѣ немного пшена, но такъ, чтобы мужъ ея этого не замѣтилъ,

потому что Кондратьичъ, при всей своей нищетѣ, при всемъ своемъ безобразномъ пьянствѣ, гордъ невыносимо. «Это такъ», отвѣчалъ я, краснѣя. — «А коли такъ, стало быть и пышки въ макъ». Мы съли. Минуты три прошло въ молчаніи. Вдругъ подъ кадушкою послышалось всхлипываніе. Я взглянулъ на дьячка. Онъ преспокойно погравилъ свою тоненькую, завязанную грязнымъ шнуркомъ, косу и отвѣтилъ: «мыши скребутъ». Всхлипываніе усилилось. Я вскочилъ, приподнялъ край кадушки и, къ величайшему моему удивленію, оттуда вышло или, правильнѣе сказать, выползло живое существо, — это была жена Кондратьича, блѣдная, безъ платка на головѣ, съ растрепанными волосами. «Что это значитъ?» спросилъ я дьячка. «Гм!.. что это значитъ... да-съ!» И, не спѣша, вынулъ онъ свою тавлинку, щелкнулъ по ней указательнымъ перстомъ, потянулъ въ одну ноздрю табаку и съ глубокомысленнымъ видомъ произнесъ: «жена моя увидала васъ въ окно и, не желая показать молодому юношѣ свою красоту, скрылась въ эту подвижную хранину. Смѣю вамъ доложить, она у меня прецѣломудренная женщина!..» Разумѣется, Кондратьичъ говорилъ вздоръ. По справкѣ оказалось, что онъ уже не въ первый разъ издѣвается такимъ образомъ надъ безотвѣтною бабою. Въ минуту гнѣва и ужъ, конечно, порядочно выпивши, Кондратьичъ опрокидываетъ кадушку тамъ, гдѣ ее находить, т.-е. на дворѣ или въ избѣ, и обыкновенно кричитъ женѣ: «слѣпая Евлампія, гряди съмо!..» Бѣдная женщина, не смѣя ему прекословить, подползаетъ подъ, такъ называемую, подвижную хранину, а дьячекъ ходитъ вокругъ и распѣваетъ: «Взбранной воеводѣ побѣдительная...» Батюшка мой отчасти прощаетъ ему эти мерзости изъ состраданія къ его женѣ, которая безъ мужа должна будетъ пойти съ сумою, потому что Кондратьичъ, какъ онъ ни плохъ, все же, ее кормитъ, отчасти просто по добротѣ своего сердца. Дьячокъ, съ своей стороны, умѣетъ заискать кого ему нужно. На дняхъ, когда благочинный входилъ въ нашу церковь, Кондратьичъ забѣжалъ ему впередъ. «Позвольте, позвольте!..» — «Что ты, братъ?» — «А вотъ-съ...» и, вынувъ изъ своего кармана носовой платокъ, услужливый дьячекъ смахнулъ имъ пыль съ сапогъ благочиннаго, прежде нежели

тотъ успѣлъ ему что-либо возразить. «Каковъ онъ у васъ?» спросилъ послѣ благочинный у моего батюшки. «Пьетъ иногда и характера не совѣтъ покойнаго». — «Ну, что-жъ дѣлать! Увѣщавай его Словомъ Божиимъ. Поглядишь, исправится. Одинъ Богъ безъ грѣха...» Однако пора обѣдать. Послѣ обѣда завалюсь спать и просплю до вечера, просто — наслажденіе!

Вечеромъ.

Уже смерклось. Съ пастбища возвращается стадо коровъ, покрытое облакомъ пыли. Пастухъ пощелкиваетъ кнутомъ. Гдѣ-то вдаль, вѣроятно, какой-нибудь молодой парень наигрываетъ въ желейку. На улицѣ слышенъ скрипъ открываемыхъ и затворяемыхъ воротъ. Бабы, въ пестрыхъ поневахъ и въ бѣлыхъ рогатыхъ кичкахъ, расходятся въ разныя стороны отъ колодца. Коромысла мѣрно качаются на ихъ плечахъ, въ желѣзныхъ ведрахъ свѣтится холодная ключевая вода. Солнце медленно прячется въ синихъ тучахъ за темнымъ лѣсомъ, и его пурпуровый румянецъ горитъ на листьяхъ деревъ, на соломенныхъ кровляхъ бревенчатыхъ избушекъ, на стеклахъ узенькихъ оконъ и на поверхности свѣтлаго озера, окаймленнаго зеленымъ камышемъ. Славная, право, картина! А ужъ какъ я спалъ послѣ обѣда!.. мнѣ кажется, ударъ грома не могъ бы меня разбудить... Да какъ и не спать? Пирогъ, щи съ говядиной, подбитыя сметаной, жареная, налитая яицами, курица, творогъ, каша молочная—вотъ что было у насъ за обѣдомъ. Маменька потчивала меня, какъ гостя, и я принужденъ былъ съѣсть нѣсколько лишнихъ кусковъ единственно для того, чтобы доставить ей удовольствіе. Добрая она, право! Говорить, что я похудѣлъ въ продолженіе года отъ усиленныхъ занятій науками, и совѣтуетъ мнѣ беречь свое здоровье; въ особенности не читать книгъ по почамъ, чтобы не испортить зрѣнія. Разумѣется, все это было сказано въ отсутствіе батюшки, который не любитъ потакать лѣни, а главное не терпитъ, чтобы женщины мѣшались въ дѣло науки. Прямое назначеніе женщинъ, говоритъ онъ,—заботы о семейномъ домашнемъ быту, внѣ котораго онѣ нигуда негодны. Взглядъ батюшки еще не такъ строгъ; другіе смотрятъ на женщину, какъ на аспида и василиска. Правда,

я мало читалъ, но изъ всего мною прочитаннаго выходитъ заключеніе такого именно рода, что женщина—аспидъ и василискъ... Кто пробѣжитъ начало моихъ записокъ, безъ сомнѣнія, скажетъ: «что за наивность! Въ какія странныя разсужденія вдается писавшій эти строки!» — Такъ-то такъ, м. г., сказалъ бы я ему, только вы забываете, что я связанъ по рукамъ и по ногамъ. Если бы я спросилъ о чемъ-либо, не прямо относящемся къ моему дѣлу — къ лекціи, кого-либо изъ моихъ товарищей, — болѣе скромный изъ нихъ посмѣялся бы надо мною, болѣе дерзкій послалъ бы меня къ чорту. На всякій, возникающій во мнѣ, вопросъ, на всякое, рождающееся во мнѣ сомнѣніе я долженъ искать отвѣта только въ самомъ себѣ. За что же лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и передъ всѣми мнѣ приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мѣрѣ въ тѣ минуты, когда работаетъ моя голова, когда перо мое не успѣваетъ слѣдить за быстротою мысли, пусть я буду независимъ, пусть я буду человѣкомъ, свободно проявляющимъ даръ своего живого слова. Въ Воронежѣ, говорятъ, проявился недавно прасоль-поэтъ. Жаръ и холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу, когда въ одномъ изъ современныхъ журналовъ я прочиталъ эти животрепещущія строки:

Иль у сокола  
Крылья связаны?  
Иль пути ему  
Всѣ заказаны?..

Впрочемъ, изъ нашихъ наставниковъ никто не упомянулъ о немъ, какъ о человѣкѣ, подающемъ какія-либо надежды. Говорятъ, былъ знаменитый поэтъ Пушкинъ, но я совсѣмъ его не читалъ. Въ словесности, какъ образецъ высокаго слога въ поэзіи, я помню слѣдующіе, выученные мною наизусть, стихи Державина:

Се ты вѣковъ явленье чудно,—  
Сбылось пророчество, сбылось!  
Мечъ, возсіявшій изъ-подъ спуда,  
Герой мой вновь свой лавръ вознесъ...

Послѣдняго стиха я никогда не могъ произнести свободно, потому что, при чтеніи его, у меня перехватывало въ горлѣ дыханіе. Вотъ Яблочкинъ, такъ ужъ молодецъ по этой части! сколько онъ знаетъ паузу съ стихомъ! Предъ моимъ отъѣздомъ сюда онъ читалъ мнѣ поэму «Демонъ». Стихи необыкновенно музыкальны. Передъ глазами одна за другою рисуются картины, когда ихъ слушаешь; но впечатлѣніе, производимое цѣлою поэмою, наводитъ на странныя, невыразимыя мысли... Что если бы, по окончаніи курса въ семинаріи, удалось мнѣ попасть въ университетъ... да итѣть! не съ моими способностями. Яблочкинъ—другое дѣло: онъ хоть сейчасъ выдержитъ университетскій экзаменъ.—«Пѣшкомъ, говорить, на Христово имя пойду, а ужъ буду въ университетѣ».—Я ему вѣрю: съ его пастойчивымъ характеромъ онъ все сдѣлаетъ. А какъ онъ смѣлъ! Однажды въ классѣ, когда профессоръ говорилъ о мѣстопребываніи души въ человѣческомъ тѣлѣ и рѣшилъ этотъ вопросъ тѣмъ, что душа обитаетъ во всемъ нашемъ тѣлѣ, Яблочкинъ неожиданно поднялся со скамьи. «Позвольте предложить вамъ возраженіе», сказалъ онъ профессору.

— Хорошо.

«Такъ какъ въ сумасшедшемъ человѣкѣ душа не можетъ проявлять разумно своего существованія, а по существу своему недѣятельною она быть не можетъ, то чѣмъ душа эта бываетъ занята въ продолженіе иногда многихъ лѣтъ, до самой смерти сумасшедшаго?»

Профессоръ сталъ въ тупикъ и, послѣ долгаго молчанія, сурово отвѣтилъ: «садитесь на мѣсто и впередъ прошу поменьше разсуждать, а слушать внимательно то, что вамъ скажутъ». Яблочкинъ сѣлъ читать какой-то журналъ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на лекцію профессора, который говорилъ о Сенекаѣ, о Сократѣ, о Пифагорѣ и, ужъ Богъ знаетъ, о комъ, всѣхъ трудно припомнить... Однако засѣла мнѣ въ голову эта семинарія! О чемъ бы я ни повелъ рѣчь, непременно коснусь семинаріи... Полно! Мнѣ еще нужно подумать о главѣ заданнаго намъ на каникулярное время разсужденія на тему: *„какимъ образомъ умъ, какъ источникъ идей, можетъ служить средствомъ къ приобритенію познаній?“* По поводу этой

темы Яблочкинъ сказалъ мнѣ: «подивись, братъ, нашимъ способностямъ. На эту мудреную фразу у насъ напишуть нѣкоторые по три или по четыре листа самымъ мелкимъ почеркомъ, а простой записки къ знакомому никто изъ насъ не напишетъ толково; мало этого: десяти словъ не свяжутъ въ разговоръ, какъ слѣдуетъ. Замѣть, братъ, это и намотай себѣ на усь». — Однако и ты напишешь, когда прикажутъ,—отвѣчалъ я. «Само собою такъ. Воздадите Кесарево Кесареви».

22.

Цѣлую недѣлю я не брался за перо: не до того было. Наступила рабочая пора,—уборка хлѣба. Жары стоятъ нестерпимые. На небѣ нѣтъ ни облачка. Вѣтеръ горячій. Жницы работаютъ съ разсвѣта до поздней ночи. На подошвахъ ихъ необутыхъ ногъ, которыми онѣ смѣло ступаютъ по срѣзаннымъ стеблямъ ржаного колоса, трескается кожа; на ладоняхъ появляются мозоли, нѣкоторыя величиною въ орѣхъ; лица у всѣхъ покрыты загаромъ и потомъ; на свѣжіе слѣды горячаго пота ложится сухая пыль, образуетъ черныя полосы, которыя въ свою очередь покрываются новою пылью, и такъ далѣе, и такъ далѣе... Всѣхъ мучитъ невыносимая жажда, а въ полѣ нѣтъ ни одной капли холодной воды, потому что она на разсвѣтъ привозится изъ села въ жбанахъ, или въ боченкахъ и, по прошествіи 3—4-хъ часовъ, дѣлается теплою, совершенно негодною для питья. Нѣтъ и отрадной тѣни, куда бы можно было преклонить усталую голову и вдохнуть въ себя струю прохладнаго воздуха. Грудныя малютки, которыхъ матери берутъ съ собою въ поле, лежатъ подъ снопами на разостланныхъ бѣлыхъ зипунахъ, время отъ времени плачутъ, замолкаютъ—и опять плачутъ. Матери торопливо кормятъ ихъ грудью и снова берутся за серпъ. При дорогѣ сидятъ грачи съ распущенными крыльями и раскрытымъ клювомъ; даже имъ тяжело отъ нестерпимаго жара. Батюшка, несмотря на свой санъ, собственноручно накладываетъ на возъ полнобѣсные снопы, подмазываетъ дегтемъ колеса, впрягаетъ лошадь и сохраняетъ при всемъ этомъ невозмутимое спокойствіе: такъ онъ радъ хорошему урожаю! Примѣръ его и на меня дѣйствуетъ благотѣльно. Только отъ непривычки

къ работѣ къ вечеру у меня страшно ломятъ плечи и руки. Ночью сплю какъ убитый, даже и во снѣ ничего не грезится. Сегодня, часовъ этакъ въ 5-ть, когда жаръ нѣсколько убагилея и работа закипѣла дружиѣ, изъ села прискакалъ верхомъ мальчишка безъ шапки, босоногій, въ оборванной рубашенкѣ, и своимъ дѣтскимъ языкомъ насили могъ растолковать батюшкѣ, что умираетъ его большая мать, что нужно ее исповѣдать и приобщить Святыхъ Таинъ. Батюшка поморщился. Сердце мое сжалось и, грѣшный человѣкъ, я осудилъ его въ душѣ. Очевидно, ему жаль было терять золотое, рабочее время. Впрочемъ, нерѣшимость его была минутная: съ моею помощію онъ побросалъ съ телѣги снопы и крупною рысью отправился въ село. Большая умерла въ сумерки. Вечеромъ, когда мы готовились сѣсть за ужинъ, вошелъ кузнецъ Ома, старикъ, бѣлый, какъ лунь.

«Здравствуй, отецъ Иванъ! Вотъ я сына хочу женить...»

— Знаю, знаю. Часъ добрый! сказалъ батюшка.

«Покорѣйше благодаримъ. Прими-ка вотъ, чѣмъ богатъ».

Ома поклонился и поставилъ на столъ штофъ водки.

— Спасибо, другъ, спасибо! Только напередъ тебѣ самому ее надобно отвѣдать.

«Почему не такъ, коли будетъ на то твоя милость». Батюшка налилъ стаканъ.

— Выпей-ка на здоровье.

«Начинай, отецъ Иванъ. За мною дѣло не станеть».

— Я бы не отказался; ты знаешь, я не пью.

«Ну, и просить не стану. Благослови».

— Богъ тебя благословить.

Ома выпилъ, крикнулъ и вытеръ усы рукавомъ своего сѣраго халата.

«За вѣнчанье-то, отецъ Иванъ, дорого-ль съ меня положишь?»

— Сойдемся, другъ, сойдемся.

«Вѣстимо дѣло. Все-таки мнѣ надо разсчитать, что и какъ...»

Батюшка скоро съ нимъ условился.

«Ну, вотъ, сказалъ Ома: спасибо, что не прижимаешь; добрый



ты, значить, человекъ, не то, что нашъ дьячекъ, этакая дрянь, и не глядѣлъ бы на него».

— Богъ дастъ, исправится. Ну, какво убираетесь съ хлѣбомъ? «Убираемся помаленьку. Такъ спѣшимъ, что на—поди!» И, послѣ непродолжительнаго разговора объ уборкѣ хлѣба, Тома поклонился и вышелъ.

«Зачѣмъ вы взяли это вино?» спросилъ я у батюшки.

— Затѣмъ, чтобы не обидѣть старика. Таковъ обычай.

«Ну, а зачѣмъ вы его потчивали?»

— Опять таковъ обычай. Вотъ погоди, когда будешь попомъ, да придется тебѣ самому плестъ плетни, чинить соху, чистить хлѣвъ, да ходить со двора на дворъ съ просьбою, нельзя ли, молъ, вотъ въ томъ мнѣ помочь, да въ этомъ пособить, тогда ко всему привыкнешь.—И батюшка грустно сѣлъ за столъ, какъ будто вопросы мои пробудили въ немъ тяжелыя мысли.

30.

Полевыя работы идутъ горячо попрежнему, и я почти къ нимъ привыкъ: руки и плечи болятъ у меня уже меньше. Въ прошлое воскресенье мы всѣ порядочно поотдохнули. Время, проведенное мною въ церкви, при слушаніи Божественной литургіи, показалось мнѣ особенно пріятнымъ. Мужички стояли такъ тихо, такъ благоговѣнно! Ни одинъ человекъ не улыбнулся, несмотря на то, что дьячекъ нашъ пѣлъ преотвратительно. При взглядѣ на толпу народа, въ головѣ моей мелькнула нелѣпая мысль: что если бы я былъ ученикомъ богословія? Я могъ бы надѣть стихарь, въ виду всѣхъ стать передъ наложникомъ и сказать краснорѣчивое, поучительное слово... По выходѣ изъ церкви, на паперти, меня встрѣтили двѣ чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Онѣ занимаются печеніемъ просфоръ, посѣщаютъ богатыхъ купцовъ въ городѣ, которые надѣляютъ ихъ разными съѣтными припасами, иногда отправляются странствовать по Святымъ мѣстамъ, на счетъ какихъ доходовъ?—положительно сказать не могу. Старую черничку нѣкоторые мужички, въ особенности пожилыя бабы, почитаютъ за святую. Она носитъ на груди засаленную тетрадку «Сонъ Пресвятыя Богородицы» и

читаетъ ее по складамъ набожнымъ бабамъ; тѣ слушаютъ, подпирая руками голову, вздыхаютъ, нерѣдко плачутъ и награждаютъ читальщицу кусками холстины. Батюшка смотритъ на нихъ подозрительно, но онѣ живутъ повидимому такъ безукоризненно и такъ хорошо сумѣли себя поставить во мнѣніи всѣхъ прихожанъ, что бояться имъ рѣшительно нечего. Эти чернички съ такою настойчивостію и вѣжливостію просили меня къ нимъ зайти, удостоить ихъ, какъ выражались онѣ, моимъ посѣщеніемъ, что мнѣ совѣстно было отказаться. Въ горенкѣ у нихъ необыкновенная чистота. Окна вымыты и вытерты до того чисто, что, при свѣтѣ солнца, кажутся зеркальными. Гладкій, сосновый полъ тоже вымытъ, выскобленъ пожемъ, и на немъ не видно ни соринки. По угламъ нѣтъ ни одного клочка паутины. Стѣны недавно обѣлены. Столъ накрытъ бѣлою, какъ снѣгъ, скатертью. Передъ иконою, убранною искусственными розовыми цвѣтами и оправленною блестящею фольгою, ярко теплится лампадка. Рогачи поставлены у порога въ уголкѣ, вѣроятно, съ тою цѣлію, чтобы не всякому бросались въ глаза. Ихъ деревянныя рукояти такъ вычищены, что подумаешь, онѣ вышли изъ-подъ рукъ искуснаго столяра. Изъ простыхъ вопросовъ молодой чернички о томъ, что поваго въ городѣ, каково мнѣ тамъ живетъ, не скучаю ли я въ деревнѣ, я замѣтилъ, что она очень неглупа. Старуха достала, между тѣмъ, изъ маленькаго сундука графинъ краснаго вина и поставила его на столъ, на кругломъ зеленомъ подносѣ вмѣстѣ съ рюмкою. Несмотря на всѣ мои увѣренія, что я никогда не пилъ и не пью вина, я не могъ не исполнить желанія гостепріимныхъ хозяекъ, когда онѣ сказали, наконецъ, что я ихъ обижая, что, слѣдовательно, я ими гнушаюсь, если не хочу выпить того, что предлагается мнѣ отъ души. Молодая черничка сидѣла напротивъ меня и такъ близко, что ея горячее дыханіе касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди бѣлою перламутровою пуговкой, разстегнулось, и я горѣлъ отъ стыда и еще отъ другого, доселѣ незнакомаго мнѣ чувства. Совѣтъ моя говорила мнѣ, что я поступаю нехорошо, что мнѣ не слѣдовало долго оставаться въ этой уютной горенкѣ, между тѣмъ незонятная сила удерживала меня на мѣстѣ,

случайно занятъ мною противъ молодой чернички. Приблизилась пора обѣда. Я опомнился, схватилъ фуражку и поблагодарилъ хозяекъ за ихъ радушный пріемъ. Онѣ пригласили меня передъ вечеромъ пить чай. Скажу чистосердечно, я былъ радъ этому приглашенію, хотя и отказывался отъ него изъ приличія.

31 утромъ.

Нѣтъ, я не былъ вчера у черничекъ. Вся эта ночь проведена мною безъ сна, въ страшной, мучительной тоскѣ. Полураздѣтый, я ворочался съ боку на бокъ въ своей постели, творилъ молитвы,—и все напрасно: сонъ убѣгалъ отъ моихъ глазъ. Голова моя горѣла, какъ въ огнѣ. Подушка жгла мои щеки, простыня обдавала меня жаромъ. Около полуночи я вышелъ изъ терѣнія и сѣлъ къ открытому окну, думая, что ночная прохлада освѣжитъ мое пылающее лицо и приведетъ въ порядокъ мои мысли. Все было напрасно... Тускло сіяли звѣзды на синемъ небѣ. Въ саду лежалъ непроницаемый мракъ. Порою слышался шепотъ сонныхъ листьевъ, тревожимыхъ перелетнымъ вѣтромъ. Въ этомъ шепотѣ мнѣ чудились звуки ласковой женской рѣчи. Въ темнотѣ ночи передъ моими глазами носился образъ красивой, молодой женщины. Она глядѣла на меня такъ привѣтливо, съ такою любовію мамила меня къ себѣ своею бѣлою рукою. Я боялся, что сойду съ ума, вышелъ на крыльцо и началъ лить себѣ на голову воду изъ висѣвшаго тамъ на веревочкѣ глинянаго рукомыльника. Эти строки я пишу при блѣдномъ свѣтѣ только-что занимающагося утра. На востокѣ загорается красная полоса. Клочки алыхъ, прозрачныхъ облаковъ быстро пролетаютъ въ голубой высотѣ. Въ росистомъ саду изрѣдка слышится шорохъ пробуждающейся птички. Батюшка теперь скоро проенетя, и мы все отправимся на работу. Скорѣе-бы нужно въ широкое поле: въ этой тѣсной комнатѣ душно, какъ въ раскаленной печи...

1 августа.

Перевозка споповъ окончилась вчера рано. Я былъ дома еще за-свѣтло. При наступленіи сумерокъ, умылся, почистилъ свое платье

и пошелъ побродить по селу. Ужъ не знаю, какъ это случилось, только мнѣ скоро пришлось проходить передъ знакомымъ окномъ, у котораго сидѣла молодая черничка и вязала чулокъ (зовуть ее, какъ я послѣ узналъ, Натальею Федоровной). „Зайдите къ намъ на минутку“, сказала она, съ улыбкой, кивая мнѣ головой. Сердце мое забилося. Я остановился въ нерѣшительности—и зашелъ.

„А я цѣлый день сижу все одна: старуха моя ушла къ знакомой, больной бабѣ, вѣрно и почевать тамъ останется Садитесь, пожалуйста“.

Разговоръ нашъ шелъ сначала довольно вяло. Но Наталья Федорова была такъ находчива, что я невольно оживился.

„Ахъ, какая жара!“ сказала она, сбросивъ съ своей груди темный платокъ, и сѣла со мною рядомъ. Плечо ея касалось моего плеча.

„Я думаю, руки ваши отъ работы теперь сдѣлались грубѣе, чѣмъ были прежде. Вы были сегодня въ полѣ“?

Она взяла меня за руку и крѣпко ее сжала.

— „Да, былъ“, отвѣчалъ я взволнованнымъ голосомъ и дрожа всеѣмъ тѣломъ.

„Огонь надо зажечь“, сказала она и опустила занавѣску.

Въ комнатѣ стало темно.

„Помогите мнѣ сыскать свѣчу... Никакъ ее не найду“, говорила она со смѣхомъ. „Не тутъ ли она стоитъ за вами?...“

И лица моего опять коснулось горячее дыханіе, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему тѣлу пробѣжалъ сладостный трепеть. Дыханіе мое прервалось. Я крѣпко обвилъ обѣими руками ея тонкій станъ и на губахъ моихъ, первый разъ въ моей жизни, загорѣлся огненный поцѣлуй...

Нѣсколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла, и я могу спокойнѣе и глубже заглянуть въ свою душу. Отчего я не обратилъ вниманія на это тревожное чувство боязни, которое отталкивало меня въ минувшее, памятное мнѣ теперь, воскресенье отъ

порога черничекъ? Зачѣмъ я скрылъ отъ своего отца мое первое съ ними знакомство? Ясно, что я умышленно закрывалъ свои глаза, чтобы не видѣть того, что я долженъ былъ видѣть заранѣе. Ясно, что я съ намѣреніемъ не давалъ воли своему разсудку... Ну, любезный Василій Ивановичъ, помни этотъ урокъ! Нѣтъ, братъ, шалишь!.. Теперь каждый свой шагъ ты долженъ строго обдумывать. Изъ каждаго твоего намѣренія, готоваго перейти въ дѣло, ты напередъ обязанъ выводить вѣроятныя послѣдствія. Мнѣ кажется, въ эти дни я постарѣлъ нѣсколькими годами. Я горю со стыда, когда батюшка останавливаетъ на мнѣ свой умный, пронзительный взоръ, будто хочетъ сказать: «Ахъ, Вася! нехорошее ты дѣло сдѣлалъ!..»

Какая здѣсь однако скука, Боже милостивый! Не одной книжонки нѣтъ подъ рукою, не только порядочной, и дрянной нѣтъ. Живутъ же тутъ добрые люди, да мало этого, и на жизнь свою не жалуются. На дняхъ я зашелъ къ нашему сосѣду. Сердце мое сжалось, какъ посмотрѣлъ я на его горемычное житье. Стѣны избушки покрыты копотью; темнота, сырость... Печь растрескалась. Разбитое окно заложено клочкомъ старой рогожи. Полъ земляной. На мокрой соломѣ хрюкаетъ свищья; хозяйка говоритъ, что она заболѣла, такъ вотъ и взялъ онъ ее въ избу. Подлѣ животнаго ползаетъ маленькая дѣвочка, босоногая, въ изорванной рубашенкѣ. Другое, грудное дитя, лежитъ въ засаленной люлькѣ, повѣшанной на веревкахъ подлѣ печи; во рту у него грязная соска, наполненная жидкою пшениною кашею. Жена сосѣда, желтая и покрытая морщинами, ходитъ точно потерянная. Ротъ постоянно полуоткрытъ; глаза смотрятъ безсмысленно. Не то чтобы она была глупа отъ природы, да нужда-то слишкомъ ее заѣла. Еще одинъ мальчуганъ, лѣтъ 10-ти, неумытый и оборванный, раскинулся на печи, безъ подушки и подстилки, и нагрывается въ жилейку, утѣшая себя пронзительными звуками. Всею эту картину освѣщала дымная лучина. „Вотъ, сказалъ я между прочимъ сосѣду: сынъ-то у тебя болтается безъ дѣла. Не хочешь ли, буду учить его грамотѣ, покажѣсть здѣсь поживу. Я скоро его выучу“.

— Э-эхъ, касатикъ! Онъ свиней пасеть, за это добрые люди хлѣбомъ его кормять, а грамота ваша насъ не кормить. На что намъ нужна ваша грамота? Богъ съ нею!..

Противъ этого я не нашель возраженій и замолчалъ.

10.

Сегодня съ нашимъ батракомъ Ѳедуломъ, на трехъ телѣгахъ, я ѣздилъ въ лугъ за сѣномъ. Воза такъ были накручены, что лошади едва тащили ихъ по песку. Ѳедулъ шелъ со мною рядомъ, покуривая коротенькую трубку. Я никогда не видалъ такихъ крѣпко-сложенныхъ людей, какъ нашъ батракъ. Росту онъ небольшого, но въ плечахъ необыкновенно широкъ. Черные курчавые волосы, черная, курчавая борода, и густыя, нахмуренныя надъ сѣрыми глазами, брови придаютъ лицу его угрюмое выраженіе. Говорить онъ вообще мало и никогда не смотритъ на того, съ кѣмъ говоритъ.

„А что, Василій Ивановичъ“, неожиданно спросилъ онъ меня: „скажи ты мнѣ на милость, чему васъ въ городѣ учать?“

Вопросъ этотъ меня удивилъ.

— Какъ же я тебѣ растолкую, чему насъ учать? Вѣдь, ты не поймешь.

„Отчего-жъ не понять? Пойму“.

— Ну, слушай. У насъ изучаютъ риторику, философію, богословіе, физику, геометрію, разные языки..

„И будто вы знаете все это?“

— Кто знаетъ, а кто и не знаетъ.

„Такъ. Ну, а прибыль-то какая же отъ вашего ученья?“

— Та прибыль, что ученый умяѣе неученаго.

„Вотъ-что? Однако отецъ Иванъ косить и пашеть не лучше моего. Опять ты вотъ говоришь, что у васъ разнымъ языкамъ учать. Отецъ Иванъ, какъ и ты, имъ учился. Отчего-жъ онъ не говорить на разныхъ языкахъ? Я у васъ 10 лѣтъ живу, пора бы услышать“.

— Да съ кѣмъ же онъ станеть тутъ говорить?

„Вѣстимо не съ кѣмъ... Прибыли-то, значить, отъ вашего ученья немного. Вотъ если бы вашъ братъ ученый пріѣхалъ къ намъ, да рассказалъ толкомъ: это вотъ-такъ надо сдѣлать, это вотъ-какъ, и стало бы нашему брату мужику отъ этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то... Ну, карій! чего-жъ ты сталъ?“...

Лошади подымались на гору. Карій рѣшительно отказывался итти. Оедуль забѣжалъ ему впередъ. „Ты коли везти, такъ вези, не то я дамъ тебѣ такого тумака по лбу, что искры изъ глазъ посыплются“. Тумака ему однакожь онъ не далъ, а, упершись своимъ широкимъ плечомъ въ задъ телѣги, кривнулъ: „ну!..“ и карій свободно потянулъ свой тяжелый возъ.

Попадавшіяся мнѣ навстрѣчу молодыя бабы и дѣвки смотрѣли на меня съ какою-то странною улыбкой, и мнѣ не разъ приходилось слышать такого рода привѣтъ: „гляди, молодка, гляди! Поповичъ идетъ.. Экой верзила!..“ Правду сказать, наши лихачи парни тоже отзываются обо мнѣ не слишкомъ вѣжливо и безъ особенной застѣнчивости находятъ во мнѣ кровное родство съ извѣстною породю молодыхъ, домашнихъ животныхъ, которыя обыкновенно бываютъ и красивы и бойки, покуда еще незнакомы съ упряжью. Мнѣ кажется, я никому и ничѣмъ не подавалъ здѣсь повода къ этимъ насмѣшкамъ и никому не сдѣлалъ зла; откуда же взялось это обидное пренебреженіе къ моей личности? Вѣроятно, оно является, благодаря существованію какого-нибудь Кондратыча и ему подобныхъ. Жаль, что, нашему брату отъ этого не легче... Нѣтъ, скверно тутъ жить!..

13.

Скука моя растетъ день ото дня. Поутру сверху до-низу я перерылъ все въ своемъ сундучкѣ, думая найти въ немъ какую-нибудь забытую книжечку или исписанную тетрадь. Ничего не отыскалъ! Развернешь одно—учебная книга; развернешь другое—знакомыя лекціи: логика, психологія, объясненіе разныхъ текстовъ... все это извѣстно и переизвѣстно... Быть по сему. Буду отъ нечего дѣлать опять продолжать свой дневникъ. Но, если бы пришлось мнѣ пожить здѣсь долгое время, полагаю навѣрное, я ограничился бы тѣмъ, что вносилъ

бы въ него слѣдующія, краткія замѣтки: сегодня мы были въ полѣ или сегодня было то же, что вчера, или сегодня ничего особеннаго не случилось, и такъ далѣе, все въ этомъ же родѣ... Что прикажете дѣлать? Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ... И такъ — продолжаю.

Въ домѣ нашемъ идетъ страшная возня: приготовленіе къ храмовому празднику, т. е., ко дню Успенія Пресвятыя Богородицы. Могутъ окна, двери, полы и прочее. Федулъ хлопочетъ на дворѣ: зарѣзалъ нѣсколько куръ, зарѣзалъ трехъ гусей, зарѣзалъ барана, теперь готовится снимать кожу съ теленка, и по поводу этой рѣзни находится въ отличномъ настроеніи духа, сыплеть шутками и съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ вонзаетъ свой острый ножъ въ теплое мясо животнаго, умирающаго въ судорогахъ передъ его глазами. Матушка безпрестанно сердится на кухарку, кричитъ, что она лѣнива и ничего не понимаетъ. „Ну, чтожь, лѣнива, такъ лѣнива!“ отвѣтитъ кухарха и съ такимъ ожесточеніемъ начнетъ скрести ножомъ сосновую дверь, что скрипъ желѣзныхъ петель становится слышенъ на весь домъ. Или скажетъ: „ну, чтожь, глупа, такъ глупа!“ — и сунетъ съ необыкновенною скоростію въ устье печи горшокъ или чугунокъ, станетъ къ ней задомъ и время отъ времени тяжело вздыхаетъ: „охъ, хо, хо, житье, житье!...“ Батюшка не мѣшается ни во что. Молвить иногда матушкѣ: „потихе, попадья, потихе!“ и пойдетъ къ своему дѣлу. Матушка тотчасъ же притихнетъ. Вообще она ему во всемъ безусловно покоряется. Теперь вопросъ: гдѣ взять вилокъ? окончательно ее добиваетъ. У насъ вилокъ одна только пара, а гостей будетъ много. Для благочиннаго, приглашеннаго совершать литургію, рѣшено приготовить его любимое блюдо: жаренаго поросенка, начиненнаго гречевою кашею, съ гусинымъ жиромъ, съ перцемъ, съ лукомъ и еще съ чѣмъ-то, ужъ, право, не знаю. Для гостей второго разряда, за неимѣніемъ особой спальни, очищена баня, въ которой на полу и на полку постлано свѣжее, душистое сѣно. Что касается меня, никакъ не придумаю, на что-бы употребить мнѣ свободное время. По крайней мѣрѣ хотя-бы спалось поболѣе, все было бы лучше, — такъ нѣтъ: лежишь до полуночи съ открытыми глазами и, радъ-не-радъ, слушаешь лай или вой голодныхъ собакъ.



17 ночью.

Нашъ храмовой праздникъ окончился. Слава Тебѣ Господи! Гости разъѣхались. Ворота затворены. Въ домѣ глубокая тишина. Ну, и было же съ ними хлопотъ! Первый обѣдъ, за которымъ присутствовали благочинный и человекъ 15 нашей родни, прибывшей съ разныхъ сторонъ, за нѣсколько десятковъ верстъ, прошелъ безъ особенныхъ исторій и шума. За обѣдомъ батюшка выбиралъ для благочиннаго самые лучшіе, самые жирные куски мяса, повторяя: „покорнѣйше прошу отвѣдать. Сдѣлайте одолженіе, коли что дурно, не осудите, все, знаете, свое домашнее...“ и усердно потчивалъ его виномъ. „Отвѣдаю, отвѣдаю“, говорилъ благочинный: „пожалуйста, меня не торопи. Тише ѣдешь, дальше будешь...“ И въ самомъ дѣлѣ онъ не торопился: рассказывалъ разные анекдоты, отиралъ крупный потъ на своемъ лицѣ и медленно опоражнивалъ новое блюдо. Матушка измучилась, упрашивая и кланяясь за каждою рюмкою. Гости пили, повидимому, единственно изъ приличія, съ большою неохотою. Но въ половинѣ стола сами начали просить вина разными намеками: гусь-то, молъ, по сухой землѣ рѣдкѣ ходить, или утка-то безъ воды не любитъ жить... и тому подобное. Всѣ эти свахи, двоюродныя и троюродныя сестры, и сватовы жены вели неумолкаемый, безтолковый разговоръ, и, по окончаніи обѣда, нѣкоторыя изъ нихъ запѣли пѣсни, съ припѣвомъ:

Ай, люли! Ай, люли!

Ай, люшеньки! Ай, люли!

Тогда какъ въ другомъ углу раздавалось хлопанье ладоней подъ веселую пѣсню:

У воротъ гусли вдарили,

Ой, вдарили, вдарили!

Ой, вдарили, вдарили!

Батюшка чувствовалъ сильную усталость, а между тѣмъ не смѣлъ свободно сѣсть или облокотиться на столъ въ присутствіи своего начальника, внимательно слушалъ его рассказы и почтительно соглашался съ его приговорами: „это совершенная истина! или — какъ вамъ этого не знать! Вамъ лучше нашего это извѣстно...“ Одинъ только мѣщанинъ, дальній родственникъ матушки, держалъ себя независимо и крѣпко ударялъ объ столъ кулакомъ, приговаривая: „мы знаемъ, у кого гуляемъ! Ну, вотъ и все... и мое почтеніе!... Такъ что ли, отецъ Иванъ? Вѣрно!...“ По выходѣ изъ-за стола, благочинный осматривалъ наше гумно, ригу, огородъ, на которомъ спѣютъ дыни, и прочія домашнія постройки. Батюшка сопровождалъ его съ открытою головою. Что прикажете дѣлать! Благочинный, говорятъ, самолюбивъ и не задумывается чернить того, кто ему не нравится. Лошади его были накормлены овсомъ до послѣдней возможности. Кучеръ едва ворочалъ языкомъ. Лицо его походило на красное сукно. Съ отъѣздомъ начальника, батюшка повеселѣлъ и сдѣлался разговорчивѣе. Въ сумерки независимый мѣщанинъ такъ насытился, что упалъ среди двора и бормоталъ околесную: „какой безменъ? на безменѣ не обвѣсишь... а вотъ пенька твоя гнилая. Оттого и не доплачено... вѣрно! ступай къ чорту!...“ Батюшка терпѣть не можетъ, когда упоминается дьявольское имя. Онъ подошелъ къ полусонному гостю и сказалъ: „Эй, любезный! любезный! перекрестись“!

— Проваливай къ чорту! отвѣтилъ мѣщанинъ и перевернулся на другой бокъ. Өедуль еще съ утра былъ на-веселѣ и все приставалъ къ батюшкѣ, чтобы онъ далъ ему денегъ.

„Пожалуйста, выйди вонъ“, отвѣчалъ ему батюшка: „ты видишь, у меня чужіе люди“.

— Это ужъ твое дѣло, говорилъ Өедуль, растопыривъ руки, какъ крылья. Я сказалъ, что хочу выпить, ну—и кончено!..

Батюшка далъ ему четвертакъ. Өедуль положилъ его на свою широкую ладонь, подбросилъ вверхъ и такъ крѣпко ударилъ по ней другою ладонью, что одна старушка-гостья плюнула и сказала: „вишь, какъ его, окаяннаго, разбираетъ!...“ Вечеромъ я вышелъ на крыльцо, но, увы!... сойти съ него не могъ. Өедуль сдвинулъ съ мѣста боль-

шой, самородный камень, служившій ступенью, и каталь его по двору. „Дуракъ! что ты дѣлаешь?“ крикнулъ я на Федула.

— Камень катаю. Человѣка ломать—грѣхъ: не вытерпѣть, а камень вытерпѣть, вотъ я его и ворочаю, да! Руки чешутся, оттого и ворочаю.

„Положи его на мѣсто. Съ ума ты сошелъ!“

— Не спѣши. Покатаю и положу.—Онъ такъ и сдѣлалъ.

На слѣдующіе дни повторилась та же исторія ѣды и питья съ небольшими измѣненіями. Очищенная для гостей баня оказалась непужною: они провели ночь, какъ попало и гдѣ пришлось, т. е., на мѣстахъ, гдѣ кого убилъ на-поваль могучій хмѣль. Повторяю опять: слава Тебѣ, Господи! Все разъѣхались!

## 26.

Время, однако, идетъ да идетъ своимъ чередомъ. Мнѣ уже недолго остается жить въ деревнѣ, бить, какъ говорится, баклуши. Да и пора отсюда. Вѣчно слышишь разговоры о пашнѣ, о посѣвахъ, заботы о томъ: упадетъ ли во время дождь, сколько мѣръ даетъ изъ копны рожь, сколько греча, и прочее, и прочее. У того-то заболѣла овца. Сосѣда Кузьму видѣли въ новыхъ сапогахъ. Объ этомъ тоже разговариваютъ, и нѣкоторые смотрятъ на Кузьму съ завистью. Тетка Матрена сушила на печи ленъ и чуть не сожгла избы,—все это переходитъ изъ устъ въ уста и возбуждаетъ разные толки. Матушка опечалена предстоящей со мною разлукою, приготовляетъ мнѣ жирныя пышки, сдобные сухари и разные крендели. Отъѣздъ назначенъ завтра. Несмотря на скуку, которая на меня напала здѣсь въ послѣдніе дни, я съ грустью обошелъ знакомыя поля, побывалъ и въ лугу, и въ лѣсу и,—стыдно сказать,—проходя мимо окна черничекъ, остановился въ раздумьи... Окно было занавѣшено. Калитка была заперта. А что если бы Наталья Федоровна сидѣла подъ окномъ и позвала меня въ свою свѣтлую горенку, ужели бы я отказался съ нею проститься? Признаюсь, во мнѣ все-таки таится задняя мысль, что эти страницы могутъ попасть въ чьи-либо руки. Я не смѣю выска-

зять того, что творится теперь и что творилось прежде в моей душѣ... Дорого мнѣ стоило сдержать свое честное слово, много я вынесъ тоски и борьбы, но—я его сдержалъ: я ужъ не видалъ болѣе милой Наташи... Только уѣхать отсюда нужно скорѣе, непременно скорѣе, иначе силы мои упадутъ. Итакъ—въ городъ. И потянется снова однообразная семинарская жизнь. И пойдутъ безконечные уроки, замѣчанія, выговоры и... полно заранѣе горевать! До свиданія, родной мой уголокъ. Спасибо тебѣ за пріютъ, за тотъ покой, которымъ ты меня окружалъ. Быть можетъ, по прошествіи года, снова приведетъ меня Богъ сидѣть у этого, отвореннаго въ садъ, окна, смотрѣть на эту темную зелень и вдыхать запахъ росистой травы и, быть-можетъ, снова войдетъ въ мою комнату, какъ входитъ она теперь, наша молчаливая кухарка и молвить, почесывая по привычкѣ спину: „Василій Иванычъ! самоваръ подали. Иди!...“

1 сентября.

Ну, вотъ мы и въ городѣ. Стоимъ покамѣсть на прежней квартирѣ, въ старомъ домишкѣ сварливой, неопрятной мѣщанки, которая, узнавъ, что я не буду болѣе ея жильцомъ, насчитываетъ на батюшку лишніе два рубля. „Давай“, говоритъ, „давай. Небось, не обѣдняете! Вы сами дерете съ живого и съ мертваго...“ Батюшка уже былъ у профессора и условился съ нимъ въ цѣнѣ, но что-то хмурить брови: вѣрно, моя новая квартира обойдется ему не дешево. Яблочкинъ ушелъ отъ меня недавно. Не знаю, потому ли, что я его нѣсколько времени не видалъ, лицо его показалось мнѣ страшно худо и блѣдно. Но какъ онъ бываетъ хорошъ, когда начинается съ увлеченіемъ о чемъ-нибудь говорить! Голубые глаза горятъ, щеки покрываются яркою краскою, бѣлокурые, вьющіеся отъ природы волосы закидываются назадъ и открываютъ бѣлый широкій лобъ. Сообразно настроенію души, черты лица мѣняются ежеминутно. Во время разговора всѣ члены его приходятъ въ движеніе.

„А Бѣлозерскій!“ воскликнулъ онъ, отворяя дверь въ мою комнату: „пріѣхалъ? ну, молодецъ! Давай руку. Эхъ, дружище! какъ тебя въ деревнѣ-то откормили; вотъ что значить батюшкинъ да ма-

тушкинъ сынокъ, не то что нашъ братъ, сынъ пономаря и круглый сирота. Какъ поживаешь?”

— Попрежнему, отвѣчалъ я.

„Съ одинаковымъ душевнымъ спокойствіемъ? Ну, и прекрасно. Это въ тебѣ наследственная добродѣтель. Отецъ твой, какъ ты самъ не разъ говорилъ, тоже ничѣмъ не возмущается. Главное, ты умный и добрый малый, за что я отъ души тебя люблю. А знаешь-ли что? На дняхъ я познакомился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, окончившихъ курсъ въ Московскомъ Университетѣ; онъ служитъ здѣсь чиновникомъ. У него прекрасная библіотека. Хочешь, душа моя, читать? какъ сыръ въ маслѣ будешь кататься“.

— Еще бы не хотѣть! Давай только книгъ получше!

„Охъ, ты! получше... вкусъ-то у тебя немножко испорченъ. Ну, да исправится современнымъ, ничего“.

— Гдѣ ты провелъ каникулы?

„Въ деревнѣ одного помѣщика. Училъ его ротозѣя сынишку первымъ четыремъ правиламъ ариеметики. Ну, душа моя, помѣщикъ! Представь себѣ откормленнаго на убой быка, съ черными щетинистыми усами, съ угреватымъ расплывшимся лицомъ, — вотъ его портретъ. Чѣмъ, ты думаешь, онъ занимается? Лежитъ на мягкомъ диванѣ, въ вязаной, красной ермолкѣ, въ шелковомъ халатѣ, въ пестрыхъ туфляхъ и насвистываетъ разные марши. „Гришка! Подай трубку!...“ Замѣть: столъ стоитъ у его изголовья, на столѣ табакъ и трубка; чего-бы, кажется, кричать? Этотъ Гришка до того загнанъ и запуганъ, что совсѣмъ почти потерялъ даръ слова и движется съ потупленною головою и унылымъ лицомъ, какъ живая кукла. Такой проклятый быкъ, ни одного журнала не выписываетъ! Дочка у него тоже замѣчательное въ своемъ родѣ созданіе: раздавить кто-нибудь при ней муху, она чуть не падаетъ въ обморокъ, увидитъ на своемъ платьѣ козявку, поднимаетъ крикъ. Однажды вечеромъ влетѣлъ въ комнату жукъ. Барышня взвизгнула. Сѣнныя дѣвки, съ вѣниками и съ полотенцами въ рукахъ, начали метаться изъ угла въ уголъ за бѣднымъ насѣкомымъ. Наконецъ побѣда была одержана: жукъ вылетѣлъ въ окно. Барышня привяла лавровишневыхъ капель и легла

въ постель. Въ домѣ все притаило дыханіе; даже быкъ на нѣкоторое время пересталъ насвистывать свои марши...“

— Ну, что-жъ ты не поссорился съ ними?

„Нѣтъ, выдержалъ. А солоно было! На первыхъ порахъ барину угодно было посылать меня за водой. „Молодой человѣкъ, принесите-ка мнѣ воды!“ Я ограничивался тѣмъ, что передавалъ его приказанія въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ воды. Или: „молодой человѣкъ, набейте мнѣ трубку!“ Я опять отправлялся въ переднюю: Григорій! баринъ требуетъ трубку. И тому подобное. Съ этого времени барская спѣсь перестала разсчитывать на мою холопскую услужливость. Однажды я читалъ стихотворенія Шенье. Одно изъ нихъ произвело на меня такое впечатлѣніе, что я позабылся и сказалъ вслухъ: „что это за прелесть!“ „Чѣмъ вы восхищаетесь?“ спросила меня слабонервная барышня. Я показалъ ей прочитанныя мною строки. „Въ самомъ дѣлѣ, очень мило“. — „Переведи, Наташа, по-русски, промычалъ быкъ: я послушаю“. Наташа попробовала перевести и не смогла. „А ну-ка вы, г. учитель“. Я перевелъ. Быкъ взбѣлся. „Какъ, чортъ возьми! Какой нибудь кут... (онъ хотѣлъ сказать: кутейникъ, но поправился), какой-нибудь молодой человѣкъ, учившійся на мѣдныя деньги, свободно владѣеть французскимъ языкомъ, а у насъ 5 лѣтъ жила французенка, и ты не можешь перевести стихотворенія, — а?... Послеъ этого пусть дьяволъ возьметъ всѣхъ вашихъ гувернантокъ! Вотъ-что!“... Барышня долго на меня дулась за то, что я будто бы хотѣлъ порисоваться передъ ея панашею... Нѣтъ ли у тебя что-нибудь покурить?“

— Ничего нѣтъ. Ты знаешь, я почти не курю.

„Скуписься, душа моя,—это скверно!“

— Что-жъ дѣлать! Батюшка и безъ того жалуется на большіе расходы. Поздравь меня, Яблочкинъ: я буду жить у нашего профессора К.

„Будто? Ты не шутишь?“

— Нисколько. Такъ угодно моему батюшкѣ.

„Игаль. Вѣрно старикъ твой еще не утратилъ раболѣпнаго уваженія къ бурсѣ и думаетъ, что всякій профессоръ есть своего рода свѣтило—*vir doctissimus*“.

— Что-жь ты находишь тутъ дурного?

„А то, что въ квартирѣ своего наставника ты займешь должность камердинера, разумѣется, если ему понравишься, а не понравишься, займешь должность лакея“.

— Ну, далеко хватилъ! Увидимъ.

„Увидишь, душа моя, увидишь! Во всемъ этомъ я вижу только одну хорошую сторону: квартира твоя какъ разъ противъ моей, стало бытъ, ты можешь навѣщать меня, когда тебѣ вздумается. У меня теперь пропасть дѣла. Старушка чиновница, у которой я живу, и съ сыномъ которой przygotowляюсь вмѣстѣ поступить въ университетъ, ежедневно мнѣ повторяетъ: „трудитесь, молодой человекъ, трудитесь! Поѣдете, Богъ дастъ, съ моимъ Сашенькою въ Москву, я и тамъ васъ не забуду“. Такая добрая!

— Итакъ, ты навѣрное ѣдешь въ университетъ?

„Навѣрное. Совѣтую и тебѣ то же сдѣлать“.

— Я бы не прочь. Батюшка не позволить. Онъ не хочетъ, чтобы я выходилъ изъ духовнаго званія.

„Врешь! Доброй воли у тебя недостаетъ — вотъ и все! Проси, моли, плачь... что-жь дѣлать! Не позволить!.. Я круглый сирота, а видишь, не вѣшаю головы! Горько иногда мнѣ приходится, но когда подумаю, что я пробиваю себѣ дорогу безъ чужой помощи, одинъ, собственными своими силами, что кусокъ хлѣба, который я ѣмъ, добытъ моимъ трудомъ, что перо, которымъ я пишу, куплено на мою трудовую копейку, что я никому не обязанъ и ни отъ кого независимъ,—и на глазахъ моихъ выступаютъ радостныя слезы... Развѣ это не отраднo?.. Однако прощай! Мнѣ некогда“.

Послѣ этого разговора я долго сидѣлъ въ раздумьи и ничего не могъ придумать. Я знаю, что батюшка меня не послушаетъ. А такой непреклонной воли, такой энергіи, какъ у Яблочкина, у меня нѣтъ. Вѣрно мнѣ придется идти безпрекословно по той дорогѣ, которою идуть другіе, подобные мнѣ, труженики.

## 2.

Утромъ, вмѣстѣ съ батюшкою, я былъ у профессора Федора Федоровича К. Признаюсь, сердце сильно забилося въ моей груди отъ

какой-то глубокой робости, когда въ первый разъ я переступилъ порогъ его передней. Она съ доложилъ мальчуганъ, одѣтый въ нанковый, съ разодранными логтями, бешметъ. „Пусть войдутъ“, послышалось за дверью. Мы вошли. Это былъ кабинетъ профессора. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и курилъ папирску. На колѣняхъ его мурлыкала сѣрый котенокъ. Съ жаднымъ любопытствомъ осматривалъ я эту комнату, это недоступное мнѣ доселѣ святилище. Надъ диваномъ висѣли, въ деревянныхъ рамкахъ, за стеклами, засиженными мухами, портреты неизвѣстныхъ мнѣ духовныхъ лицъ. Въ маленькомъ шкафѣ на одной только полкѣ стояло нѣсколько учебныхъ книгъ; двѣ остальные полки были пусты. На столѣ лежали разбросанныя тетрадки и засохшія перья. Занавѣски на окнахъ потемнѣли отъ пыли. Вообще комната не отличалась особенною чистотою. „Садитесь, отецъ Иванъ, безъ церемоніи“, сказала профессоръ, не трогаясь съ мѣста, не перемѣняя своего положенія, вѣроятно изъ опасенія потревожить дремавшего котенка. Батюшка, прежде нежели сѣлъ, указалъ на меня и поклонился въ поясъ профессору. „Отдаю его вамъ подъ ваше покровительство. Учите его добру и наблюдайте за его занятіями. Покорнѣйше васъ прошу!“ и опять послѣдовалъ низкій поклонъ. — Хорошо, хорошо! Потакати не стаемъ. Впрочемъ, онъ изъ лучшихъ учениковъ; слѣдовательно, при моемъ надзорѣ, вы можете быть спокойны насчетъ его дальнѣйшихъ успѣховъ. — „Покорнѣйше васъ благодарю!“ отвѣчалъ батюшка и опять поклонился. Профессоръ всталъ и отворилъ дверь налѣво. „Вотъ комната, которую будетъ занимать вашъ сынъ“. Комната оказалась не болѣе 4-хъ квадратныхъ аршинъ, съ тусклымъ окномъ, выходившимъ на задній дворъ. Подлѣ стѣны стояла узенькая кровать, когда-то окрашенная зеленою краскою. Своею отдѣлкою она напоминала мнѣ кровати нашей семинарской больницы. Подъ задними ножками были подложены кирпичи, потому что онѣ были ниже переднихъ. Въ углу висѣлъ мѣдный рукомойникъ, подъ которымъ на черной табуреткѣ стоялъ глиняный тазъ, до половины наполтый грязною водою. Стѣны были оклеены бумажками, которыя во многихъ мѣстахъ отклеились и висѣли клоками. „Приберется, хоро-



шая будетъ комната“, сказалъ профессоръ: „пустъ только занимается дѣломъ. Мѣшать ему здѣсь никто не станетъ...“—Это главное, это главное! повторилъ батюшка: объ удобствахъ не безпокойтесь. Мы люди привычные ко всему.— „И прекрасно! пусть съ Богомъ переѣзжаетъ“.—Когда прикажете?— „Хоть сейчасъ, мнѣ все равно. Скажите нашему сыну, чтобы онъ поприлежнѣе занимался, а голодать за моимъ столомъ онъ не будетъ: я люблю хорошо поѣсть. Что вы дѣлали во время каникулъ?“ Последнія слова относились ко мнѣ. Я покраснѣлъ. Сказать прямо, что я возилъ снопы, казалось мнѣ какъ-то неловко. „Почти ничего“, отвѣчалъ я. — Это дурно! Надо трудиться: безъ труда далеко не уѣдешь.— „И я ему то-же внушаю“, сказалъ батюшка.— „Такъ и слѣдуетъ. Вы думаете, мнѣ вотъ легко досталось, что я вышелъ въ люди? Нѣтъ, нелегко! 16 лѣтъ я не разгибалъ спины, сидя за книгами, и никакой твари не обидѣлъ, ни словомъ, ни дѣломъ. У насъ заносчивостію не возьмешь. Это, молодой человѣкъ, вы примите къ свѣдѣнію. Иначе цѣлый вѣкъ будете перезванивать въ колокола и распѣвать на клиросѣ“. Во время этой рѣчи профессоръ сидѣлъ и поглаживалъ [рукою котенка. Мы почти-тельно стояли у порога. Батюшка тяжело вздыхалъ. „Прошу васъ не оставить его своимъ вниманіемъ“.— Хорошо, хорошо!— Затѣмъ мы поклонились и вышли.

На обратномъ пути батюшка внимательно разсматривалъ огромныя вывѣски на каменныхъ домахъ, читалъ ихъ и торопливо давалъ дорогу всякому порядочно-одѣтому человѣку. Мнѣ кажется, онъ немножко какъ-бы одичалъ, живя безвыѣздно въ своей деревнѣ. Отдохнувъ нѣсколько въ горечкѣ нашей старой квартиры, гдѣ, кромѣ насъ, не было ни одной души, онъ сказалъ мнѣ: „Ну, Вася, тебѣ уже 19 лѣтъ; стало быть, ты можешь понимать, что хорошо и что дурно. Учись прилежно. Старшихъ слушай и береги деньги. Я ихъ не жалѣю и помѣщаю тебя къ профессору, желая тебѣ добра. Смотри же, не обмани моихъ надеждъ!“ Мнѣ было что-то очень грустно. „Батюшка“, сказалъ я: „Яблочкинъ ѣдетъ въ университетъ. Позвольте и мнѣ съ нимъ туда же приготовиться“. — Пусть онъ ѣдетъ. Часъ ему добрый. А ты пребывай въ томъ званіи, для котораго ты при-

званъ, и мечты свои оставь, если не хочешь меня обидѣть. — Я утеръ украдкою слезу и началъ собираться къ переѣзду на новую квартиру.

3.

Вотъ я и на новосельи. Батюшка отправился домой ночью, потому что спѣшилъ къ посѣву ржи. Сегодня въ первый разъ мнѣ пришлось обѣдать за однимъ столомъ съ профессоромъ. У меня не достаетъ словъ выразить, въ какое затрудненіе поставилъ меня этотъ обѣдъ! На столѣ стояли два прибора, и каждый былъ накрытъ особою салфеткою. Я рѣшительно не зналъ, что мнѣ съ нею дѣлать и куда мнѣ ее положить. Спасибо, что профессоръ вывелъ меня изъ замѣшательства своимъ примѣромъ. Далѣе дошло дѣло до серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда какъ я привыкъ обходиться съ деревянною, круглою. Неловко безъ привычки, да и только. Того и смотри, что оболую щами или скатерть, или свой атласный черный жилетъ. Когда мнѣ пришлось взять на свою тарелку кусокъ жаренаго мяса и разрѣзывать его, я сдѣлалъ таки глупость: брызнулъ на бѣлую скатерть подливкою и окончательно потерялся. Мои длинныя ноги, казалось, стали еще длиннѣе. Я не зналъ, куда ихъ дѣвать. Попробовалъ протянуть ихъ свободно подъ столомъ,—но увы! толкнулъ ножку стола и коснулся ноги профессора. Подумалъ, подумалъ — и съ величайшею осторожностію помѣстилъ ихъ подъ свой стулъ. Къ счастью, въ продолженіе обѣда профессоръ почти ничего не говорилъ; иначе какъ бы я могъ сообразить отвѣтъ и въ то же время управляться съ ножомъ и вилкою?.. Прислуживала намъ старая кухарка, одѣтая опрятно и, какъ видно, хорошо знающая свое дѣло. Изъ-за стола я вышелъ голоднымъ, потому что не смѣлъ дать воли своему аппетиту, не желая показаться человѣкомъ, никогда не видавшимъ порядочнаго куска. Проклятая застѣнчивость!..

„Ну, Бѣлозерскій, дай-ка мнѣ папирску; онѣ вотъ на окнѣ лежать“, сказалъ мнѣ Федоръ Федоровичъ, ыходя изъ-за стола: „да, пожалуйста, будь поразвязнѣе и ужъ извини, братъ, что я начинаю съ тобой обращаться на *ты*. Смѣшно же намъ церемониться: ты проживешь у меня не одинъ день...“

Такъ, подумалъ я, вотъ и первое сближеніе ученика съ профессоромъ. Посмотримъ, что будетъ далѣе.

«Позвольте узнать, что вы посоветуете мнѣ прочитать по части философіи?»

Онъ рекомендовалъ мнѣ слѣдующее:

Опытъ науки философіи, Надеждина.

Опытъ системы нравственной философіи, Дроздова.

Опытъ философіи природы, Кедрова;

и нѣсколько разныхъ руководствъ по логикѣ и психологіи. Все это, сказалъ онъ, вы можете спросить въ семинарской библіотекѣ. Ну, подумалъ я: эта пѣсня потянется надолго. Библіотекарь, занимающій вмѣстѣ съ тѣмъ и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугомъ, или тѣмъ, что ключъ отъ библіотеки забытъ имъ дома, или, когда бываетъ не въ духѣ, просто откажетъ такъ: вы просите книги, а навѣрное урока не знаете... Читатели!.. Трепать берете, а не читать... ступайте, откуда пришли!..

Въ продолженіе этого дня у Федора Федоровича не мало перебивало лицъ нашего духовнаго сословія. Онъ принималъ ихъ не одинаково. Однихъ приглашалъ въ гостиную и указывалъ на стулъ, говоря: «садитесь безъ церемоніи. Ну, что у васъ новаго? Каково уродился хлѣбъ?» (Последній вопросъ онъ предлагалъ почти всѣмъ. Желалъ бы я знать, что ему за дѣло до урожая?). Другіе останавливались на порогѣ гостиной и объясняли ему свои нужды въ такихъ робкихъ выраженіяхъ, сопровождаая ихъ такими глубокими [поклонами, принимали на себя такой уничиженный, раболѣпный видъ, что мнѣ вчужь становилось досадно и горько. Федоръ Федоровичъ ходилъ по комнатѣ, играя махрами своего шелковаго пояса (вѣроятно, онъ никогда не снимаетъ въ комнатѣ своего халата), нѣкоторымъ обѣщалъ свое покровительство; нѣкоторымъ говорилъ: «не могу, не могу! Тутъ не поможетъ мое ходатайство». Остальныхъ выслушивалъ въ передней и, бросивъ быстрый взглядъ на какое-нибудь замасленное, потертое полукафтанье, отрывисто восклицалъ: «некогда! приходи въ другое время!» Наконецъ за однимъ дьячкомъ просто за-

хлопнул дверь, сердито сказавъ: «падоѣли! всякая дряль лѣзеть!..» Заглянувъ случайно въ кабинетъ, я увидѣлъ подь письменнымъ столомъ нѣсколько бутылокъ рому, голову сахару, а на столѣ два фунта чаю. Кстати о чаѣ. Послѣ вечерни, когда былъ поданъ самоваръ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ послалъ меня за табакомъ. Вотъ, говорить 30 к. сер.; возьми четверку 2 сорта турецкаго, только смотри — средняго, а не крѣпкаго. Табаку я купилъ, но возвратился промокшимъ до костей, потому что дождь поливалъ какъ изъ ведра.

«Ну, что, сказалъ онъ: промокъ?»

— Ничего, отвѣчалъ я.

«Выпей вотъ чашку чаю».

Чай былъ еще холоденъ и такъ жидокъ, что походилъ на мятную воду; однакожь я не смѣлъ отказать, выпилъ и опрокинулъ чашку. «Не хочешь ли еще?» Я поблагодарилъ и отказался. Ѳедоръ Ѳедоровичъ положилъ въ жестяную сахарницу возвращенный ему мною кусочекъ сахару, замкнулъ ее и приказалъ мальчику прибрать самоваръ.

Послѣ ужина, за которымъ я сидѣлъ уже нѣсколько смѣлѣе, Ѳедоръ Ѳедоровичъ вышелъ въ переднюю, остановилъ маятникъ стѣнныхъ часовъ, чтобы онъ не беспокоилъ его ночью своимъ стукомъ, и далъ мнѣ мѣдный подсвѣчникъ и сальную свѣчу. «Если нужно, можешь зажечь». Тутъ онъ замѣтилъ дремавшаго на стулѣ мальчугана, котораго зовутъ Гришкою, и дернулъ его за вихорь. «Пошелъ, чертенокъ, въ кухню. Видишь, нашелъ мѣсто, гдѣ спать!» [Комната моя, при мѣсячномъ свѣтѣ сквозь тускляя стекла, показалась мнѣ пустымъ, заброшеннымъ чуланомъ. Я попробовалъ отворить окно: съ задняго двора пахло навозомъ, и я съ досадою его закрылъ. Легъ на свою жесткую кровать, но заснуть не могъ: воображеніе мое работало неутомимо. Мнѣ вспомнились наши знакомыя поля, покрытыя желтою рожью, моя свѣтлая, уютная горенка и темный, кудрявый садъ. И вотъ ясиѣе и ясиѣе возникъ передо мною образъ улыбающейся женщины, заблѣлось ея открытое плечо, и я почувствовалъ крѣпкое пожатіе иѣжной руки. Что со мною, подумалъ я и приложилъ руку ко лбу; лобъ горѣлъ, какъ въ огнѣ. Неужели я про-

студился? Нечего сказать, не весело мое новоселье. И медленно и тихо поднялся я съ кровати, чтобы не разбудить спавшаго профессора, зажегъ свѣчку и написалъ эти строки.

5.

Теперь снова за трудъ. Все начинаетъ входить въ свою обыкновенную колею. Сегодня поутру въ нашей семипарской церкви былъ торжественный молебенъ, на которомъ присутствовали профессора и почти всѣ ученики. Послѣ того, какъ дьяконъ провозгласилъ многолѣтне всѣмъ учащимъ и учащимся, хоръ пѣвчихъ привелъ въ восторгъ большую часть слушателей своимъ чуть не сверхъ-естественнымъ крикомъ, въ особенности отличались басы. Изъ церкви ученики разошлись по классамъ. Вслѣдъ за толпою моихъ товарищей, вошелъ и я въ нашъ философскій классъ, дверь котораго отперъ намъ съдой сторожъ, отставной солдатъ съ лицомъ, изрытымъ оспою. Эти каменные, громадной толщины стѣны, покрытыя зеленою краскою, эти бѣлые, мѣстами растрескавшіеся, своды потолка, эта высокая печь, никогда не затопливаемая въ зимнее время и существующая неизвѣстно для какой цѣли, эти окна съ желѣзными рѣшетками, эти черные, изрѣзанныя перочинными ножами, столы съ обтертыми скамьями и широкая, черная доска, утвержденная оглобою на трехъ ножкахъ, — все это показалось мнѣ такъ знакомо, будто я былъ здѣсь назадъ тому не болѣе двухъ дней. Воздухъ сырой, какъ въ подвалѣ, и все вокругъ покрыто слоями густой пыли. На доскѣ кому-то вздумалось вывести пальцемъ: *терпѣніе великая добродѣтель*, и слова эти вышли чрезвычайно отчетливо. Въ классѣ начались, по обыкновенію, толкотня, пересаживанье съ мѣста на мѣсто, прыганье черезъ столы, ходьба по нимъ и смутный, безтолковый шумъ. Въ одномъ концѣ какая-то забубенная голова напѣвала вполголоса: «Я не думала ни о чемъ въ свѣтѣ тужить»; въ другомъ кто-то выводилъ густымъ басомъ: «Многая лѣта! мно-га-я лѣ-ѣ-та!» Куда ты къ чорту лѣзешь? раздастся громкій крикъ: ногу отдалвилъ! «А ты не разставляй вхъ», отвѣчалъ сильный голосъ. Я зналъ свое четвертое мѣсто на скамьѣ перваго стола. «Слышишь, Краснопольскій!» сказалъ ученикъ, перегнувшись черезъ мою спину. «Ты, братъ, зачѣмъ же увезъ въ де-

ревню моего Поль-де-Кока?» — Забылъ отдать, ей-Богу, забылъ! отвѣчалъ Краснопольскій, торопливо доѣдая мучную булку. — «Дай-ка, братъ, мнѣ булки-то немножко. Есть что-ли?» — На вотъ. — «А стоишь на прежней квартирѣ?» — Нѣтъ, хозяйка отказала. — «Отчего отказала?» — У меня, говоритъ, теперь дочь на возрастѣ. — Ученики захохотали. Краснопольскій обратился ко мнѣ: «Ты куда пойдешь послѣ класса? — На квартиру, сказалъ я. — «Пойдемъ-ка лучше въ трактиръ чай пить, вотъ что за нашею семинаріею, тамъ мало бываетъ народу. — «Нѣтъ, не пойду», отвѣчалъ я. — «Ну, какъ хочешь. Ты гдѣ стоишь? — У нашего профессора. — Краснопольскій вытаращилъ на меня глаза. «У Федора Федоровича?» — Да. — Товарищъ мой почесалъ за ухомъ и молчаливо отвернулся въ сторону. Странно! вотъ что значить покровительство наставника... Этакъ, пожалуй, и всѣ стануть посматривать на меня недовѣрчиво... «Тсс... по мѣстамъ!» сказалъ кто-то. И вдругъ все пришло въ порядокъ. Дверь отворилась, и Федоръ Федоровичъ вошелъ. Одинъ изъ учениковъ, среди глубокаго молчанія, прочиталъ «Царю Небесный», послѣ чего нашъ наставникъ кивнулъ слегка на всѣ стороны головою: «садитесь!» Смотри на выраженіе его лица, на его манеры и поступь, я никакъ не могъ понять, откуда явилась въ немъ эта пережѣна. Федоръ Федоровичъ дома — и здѣсь — это двѣ совершенно противоположныя личности. Тамъ онъ и говорить просто, и ходить, какъ мы всѣ ходимъ, и на лицѣ его нѣтъ чувства собственнаго достоинства, а въ классѣ и лицо у него другое, и манеры другія, и поступь другая, и даже голосъ рѣшительно не его голосъ. Сію минуту видишь, что это профессоръ, а не простой человѣкъ, Федоръ Федоровичъ. И вотъ, поднявъ голову и помахивая правою рукою, въ которой держалъ шляпу, онъ прошелся взадъ и впередъ по классу, взерошилъ свои волосы; всѣ тотчасъ смѣтили, что будетъ сказана рѣчь, и встали. Онъ началъ: «Господа! я не буду говорить вамъ объ отеческой заботливости и неусыпномъ попеченіи вашего начальства, благодаря которому вы такъ долго отдыхали послѣ учебныхъ занятій. Равнымъ образомъ я не буду говорить о той важной обязанности, которая ожидаетъ васъ впереди и къ которой можетъ привести васъ одно

только безукоризненное поведение, неразрывно соединенное съ постояннымъ трудомъ. Все это вамъ самимъ должно быть извѣстно. Скажу одно: силы ваши теперъ освѣжились. И такъ—вамъ предстоитъ съ новымъ рвеніемъ взяться за трудъ, ожидающій васъ на широкомъ полѣ науки. Что касается меня, я употреблю всѣ, зависящія отъ меня средства, чтобы не пропало даромъ время, которое вы проведете со мною въ этихъ стѣнахъ!.. И онъ торжественно указалъ лѣвою рукою на стѣны. «Садитесь!» Мы сѣли. Сѣлъ и Федоръ Федоровичъ къ своему четырехугольному столику и вынулъ изъ бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственныя или, лучше сказать, академическія записки о психологіи, по которымъ когда-то учился онъ самъ и которыя передѣлываетъ и сокращаетъ теперь для насъ. Послѣдовало медленное чтеніе. Федоръ Федоровичъ взвѣшивалъ каждое слово, какъ иной купецъ взвѣшиваетъ на рукѣ червонецъ, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюденіе, какого требуетъ психологія, повидимому, не представляетъ собою занятія труднаго, потому что предметъ самонаблюденія для каждаго человѣка есть онъ самъ. Но то самое обстоятельство, отъ котораго зависитъ, повидимому, легкость психологическихъ изслѣдованій, что каждый человѣкъ есть самъ для себя и предметъ и содержаніе психологическихъ наблюденій, составляетъ одну изъ главнѣйшихъ трудностей въ дѣлѣ самонаблюденій; потому что меньше всего знаетъ то, что онъ есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ея мысль, ея сознаніе должны быть обращены на нее же саму; между тѣмъ: А) познаніе, приобретаемое нами такимъ образомъ о нашейдушѣ, совсѣмъ не такъ ясно, какъ познаніе о ви́шнемъ мірѣ и другихъ предметахъ. Познаніе объ этихъ предметахъ можетъ быть намъ яснымъ оттого, что они противопоставляются нашей душѣ, какъ отличное отъ нея; по наше я не можетъ противопоставить самого себя себѣ, какъ ви́шній предметъ. Правда, что при самонаблюденіи возможно раздвоеніе нѣкоторымъ образомъ и самопротивопоставленіе нашего сознанія, потому что, кромѣ акта наблюденія, должны также продолжаться дѣйствія наблюдаемая; но, при такомъ раздѣленіи сознанія обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемыхъ имъ

психологических явлений. Тогда какъ во внѣшнемъ мірѣ предметы представляются намъ въ раздѣльности, міръ внутренній является предъ внутреннимъ окомъ въ совершенномъ смѣшеніи...»

Я привожу здѣсь этотъ отрывокъ изъ лекціи съ тою цѣлю, чтобы онъ поглубже, такъ сказать, засѣлъ въ мою голову. Объясненіе раздвоенія нашего сознанія и самопротивопоставленія нашего я, къ сожалѣнію, прервалось громкимъ смѣхомъ одного ученика, который не сумѣлъ удержаться, слушая какой-то уморительный анекдотъ потѣшавшаго его товарища. Федоръ Федоровичъ всталъ, изслѣдовалъ сущность дѣла до мельчайшихъ подробностей, виновныхъ поставилъ къ порогу на колѣни и, казалось, все кончено. Напротивъ. Началось безконечное разсужденіе объ обязанностяхъ воспитанниковъ вообще, воспитанниковъ духовнаго сословія въ особенности. Половина слушателей зѣвала, другая слушала своего наставника по привычкѣ его слушать. Стоявшія на колѣняхъ ученики, едва онъ оборачивалъ къ нимъ свою спину, или показывали ему кулакъ, или дразнили его языкомъ. Раздался звонокъ, — и у всѣхъ просіяли лица. Федоръ Федоровичъ указалъ въ тетрадкѣ на мѣсто, до котораго нужно было выучить къ слѣдующему дню урокъ, и классъ окончился. Это свободное и ненужное ни на что время, отъ 10 до 11 часовъ, покуда явится новый профессоръ, — у насъ въ нѣкоторомъ родѣ антрактъ. Ученики выходятъ въ корридоръ, толкаются въ классѣ, словомъ, происходитъ обычная неурядица. О профессорѣ исторіи, классъ котораго начался въ 11 часовъ, я скажу послѣ. Нельзя же вдругъ: хорошенькаго понемпожку. Въ корридорѣ я встрѣтилъ Яблочкина. Онъ сердится, что я давно къ нему не захожу.

6.

Квартира Яблочкина не велика, но такая уютная и чистенькая, что прелесть! Стулья обиты новымъ ситцемъ. Столикъ подираванный. Въ простѣннкѣ зеркало. На окнахъ разставлены цвѣты, которые, по словамъ Яблочкина, старушка-хозяйка любитъ до страсти. Когда я вошелъ въ переднюю, крѣпостной человѣкъ этой старушки снялъ съ меня шинель. Предупредительность его такъ меня смутила



что я покраснѣлъ до ушей. Миѣ никогда не случалось пользоваться чужими услугами. Яблочкинъ что-то переводилъ изъ Горація «Здравствуй, Вася!» сказалъ онъ, пожимая миѣ руку: «наспиду обо миѣ вспомнилъ». И бросилъ въ сторону книгу. Лицо его, что случается рѣдко, было такое веселое и свѣтлое, что я не могъ удержаться и спросилъ, что это значить. «Да, такъ душа моя, ничего нѣтъ особеннаго. День ясный. Кругомъ тихо. Въ комнатѣ пахнетъ цвѣтами. На ногахъ у меня, видишь?» Онъ поднялъ со смѣхомъ одну ногу: «новые сапоги. Задачку я написалъ въ одинъ приѣздъ. Сталъ переводить Горація, переводится безъ труда,—вотъ я и радъ. Такъ-то, пріятель!» Яблочкинъ обнялъ меня и ударилъ ладонью по плечу. «Ну, каково поживаешь на новой квартирѣ?»

— Такъ себѣ, сказалъ я: ни хорошо, ни дурно. Дурно то, что нѣкоторые товарищи, благодаря моей новой квартирѣ, поглядываютъ на меня косо.

«А ты этого не предвидѣлъ? Разумѣется, съ этого времени тебя будутъ бояться, какъ пересказчика, донощика и тому подобное. Впрочемъ, это вздоръ!.. Что-жъ ты просился у своего отца въ университетъ?»

— Просился. Я впередъ тебѣ говорилъ, что онъ откажетъ.

«Вотъ, ей-Богу, народъ! Видитъ пробитую дорогу и думаетъ, что лучше этой дороги и нѣтъ, и не должно быть... А все таки у тебя нѣтъ воли; ну, отчего бы не сдѣлать по своему?»

— Это дѣло рѣшенное, отвѣчалъ я... Поговоримъ о другомъ.

«Т. е., о семинаріи? Изволь. Вчера въ началѣ класса, было обращено къ намъ вступительное слово такого рода: «Теперь мы снова приступаемъ къ занятіямъ. На экзаменѣ передъ каникулами отцу-ректору угодно было замѣтить, что нѣкоторые изъ васъ отвѣчали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни спрошу, читалъ миѣ лекцію безъ запинки. А кто во время чтенія будетъ поглядывать на потолокъ, да выдѣлывать эти: гмъ, гмъ... того, хотя бы онъ стоялъ въ первомъ десяткѣ, я сопхну въ 3-й разрядъ. Вотъ вамъ и все!...» Что ты на это скажешь?»

— Ужъ мы не разъ это слышали. Приказано,—стало бытъ нужно исполнять.

«Ну, нѣтъ, душа моя! Зубрить я не стану. И если бы въ самомъ дѣлѣ пришлось мнѣ во время отвѣта взглянуть на потолокъ или въ сторону—преступленіе было бы не важное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменѣла: ни молодѣетъ, ни старѣется...»

Въ эту минуту, съ журналомъ въ рукѣ, вошелъ въ комнату гимназистъ, сынъ старушки. Яблочкинъ отрекомендовалъ ему меня, какъ своего лучшаго товарища. При постороннемъ человѣкѣ мнѣ тотчасъ сдѣлалось неловко, и я ломалъ свою голову изъ-за пустѣйшаго вздора: опять ли сѣсть мнѣ на прежнее мѣсто, или приличнѣе будетъ постоять. Гимназистъ обратился къ Яблочкину. «Алексѣй Сергѣичъ! я прочиталъ вотъ въ этомъ номерѣ Отечественныхъ Записокъ одну изъ статей: разборъ сочиненій Пушкина. Что за языкъ! Что за энергія! Только, знаете ли, я не довѣряю похвалямъ, которыя разсыпаются здѣсь его антологическимъ стихотвореніямъ. Они мнѣ не нравятся. Я люблю болѣе всего то, что берется прямо изъ окружающей насъ жизни».

— Въ васъ мало поэтическаго чутья. Что-жъ такое! Вамъ не правится и «Каменный гость» Пушкина.

Тутъ у нихъ начался споръ о художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности въ поэзіи, объ образности, о пластикѣ. Изъ словъ ихъ я понималъ немного, не хочу таяться; самолюбіе мое сильно страдало. Наконецъ старушка зачѣмъ-то кликнула своего сына и онъ ушелъ.

«Этотъ господинъ, вѣрно, хорошо развитъ», замѣтилъ я Яблочкину.

— Ничего. Онъ отличный малый. Трудится много, читаетъ съ толкомъ. Развѣтѣемъ своимъ обязанъ, конечно, не гимназіи, отъ которой пахнетъ мертвечиною, а самому себѣ.

«Нѣтъ ли у тебя чего-нибудь почитать? Дай, пожалуйста», сказалъ я.

— Насилу ты надумался. Бери, душа моя,—книгъ достанетъ. Вотъ «Мертвыя Души» Гоголя, не читалъ?

«Нѣтъ».

— Ну, возьми.

Скоро будетъ полночь. На дворѣ шумитъ дождь. За стѣною храпѣтъ Федоръ Федоровичъ, и гдѣ-то изрѣдка чирикаетъ сверчокъ. Я только-что дочиталъ «Мертвыя души» и спѣшу сказать о нихъ нѣсколько словъ подѣ влияніемъ свѣжаго впечатлѣнія. Я взялся за книгу еще съ утра. Нечего говорить, что я читалъ ее съ увлеченіемъ. Время, проведенное мною за обѣдомъ, казалось мнѣ безконечно-длиннымъ, и я вертѣлся на стулѣ, придумывая подѣ какимъ бы предлогомъ выйти изъ за-стола, чтобы снова приняться за чтеніе. «Или ты нездоровъ?» мнѣ сказалъ Федоръ Федоровичъ.—Нѣтъ, ничего.—«Чтожъ-ты вертишься?»—Такъ. Бѣтъ что-то не хочется.—«Ну, выходи. Кто жъ мѣшаетъ». И я вышелъ. Такъ вотъ кто этотъ Гоголь!... И объ этомъ-то Гоголѣ одному изъ нашихъ наставниковъ угодно было выразиться, что произведенія его пахнутъ кухней и коюшней, что имъ выведены на сцену какіе-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нѣтъ, почтеннѣйшій наставникъ! Ужъ на этотъ разъ позвольте съ вами не согласиться. Чичиковъ, Плюшкинъ, Собакевичъ, Ноздревъ... это такія личности, которыя никогда не выйдутъ изъ моей памяти. Читая книгу, мало того, что я ихъ вижу, — мнѣ кажется, я ихъ осязаю, мнѣ кажется, я чувствую ихъ дыханіе. Жизнь ключемъ бьетъ изъ каждой строки! Господи, да какой же я дуракъ! Прожить 19 лѣтъ и не прочитать ни одной порядочной книги!... Все живое до того мнѣ чуждо, какъ будто я существую на другой планетѣ, и нѣтъ у меня ни костей, ни плоти. Но, слава, Богу! этотъ день не пропалъ у меня даромъ.

Яблочкинъ далъ мнѣ еще нѣсколько книгъ. Но читать почти никогда: такъ много времени отнимаютъ классы и затверживанье наизусть разныхъ уроковъ,—право, досадно! Иногда сидишь, сидишь въ классѣ и задашь себѣ, ради скуки, вопросъ: «Изъ-за чего я тутъ сижу?» И никакъ не рѣшишь этого простаго вопроса. Сегодня, напри-мѣръ, въ 11 часовъ утра, явилась въ классъ высокая, тощая и блѣдная фигура, одѣтая, по своему обыкновенію, въ длиннохвостый фракъ со свѣтлыми пуговицами. Это былъ наставникъ, читающій намъ геометрію. Послѣ молитвы «Царю небесный», черный фракъ

двигался нѣсколько минутъ изъ угла въ уголь по классу, затѣмъ послѣдовали старческой кашель, щелчокъ по табакеркѣ, нюханье табаку и вытираніе носа платкомъ. Мы ко всему этому привыкли и ждали, что будетъ адѣе. «Дайте мнѣ мѣлу!» Ученикъ подаль ему кусокъ мѣлу и вытеръ грязною тряпкою черную доску. Такъ какъ тряпка была въ мѣлу и выпачкала ему руки, онъ ударилъ ладонью объ ладонь и при этомъ, разумѣется, счелъ нужнымъ, на потѣху товарищей, скорчить рожу. И вотъ на доскѣ появились углы и треугольнички. Геометрія не считается у насъ въ числѣ главныхъ предметовъ преподаванія, и потому на черченіе наставника никто не обращалъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ останавливалъ время отъ времени свою работу, нюхалъ табакъ, поглядывалъ наискось на изображенные имъ круги и треугольнички и снова продолжалъ:  $AB + AC = AD + AC = S$  и при томъ уголь ВАС и такъ далѣе. Позади меня два ученика преспокойно играли въ три лиетка, искусно пряча подъ столомъ избитыя, засаленныя карты. Вдругъ одинъ изъ нихъ, вѣроятно въ порывѣ восторга, крикнулъ: «флюсть!» Наставникъ вздрогнулъ и обернулся. «Какой флюсть? Кто это сказалъ?» И, подойдя къ нашему столу, ни съ того ни съ сего, напалъ на сидѣвшаго подлѣ меня товарища. «А, въ карты играть?.. хорошо!.. Пойдемъ къ инспектору». Бѣднякъ струсилъ и указалъ на виновнаго. «Это вотъ онъ что-то сказалъ». — А, это ты! крикнулъ наставникъ: хорошо!.. пойдемъ къ инспектору. — «Помилуйте, отвѣчалъ съ улыбкой ученикъ: я сказалъ: плюсь, а не флюсть». — Пошелъ на средину класа!.. ну, стой тутъ. Гдѣ карты! — «У меня никакихъ нѣтъ картъ». — А, нѣтъ... выворачивай карманъ. Такъ... Выворачивай другой... Гм!.. нѣтъ... разстегни жилетъ. — Картъ нигдѣ не нашлось: онѣ уже давно были переданы въ десятыя руки. «Ну, чортъ васъ разберетъ! Зачѣмъ ты нарушаешь порядокъ! — Виновать! Я увлекся вашею задачею; вы, кажется, хотѣли поставить минусъ, а мнѣ показалось, что нужно плюсь, я и крикнулъ: плюсь! — Тотъ увлекся.. Пошелъ на мѣсто!» Динь, динь, динь! Пробило 12 часовъ. «Уже?» спросилъ наставникъ. Обернулся къ журналисту и подписалъ въ журналѣ свою фамилію. «Дайте-ка мнѣ геометрію»...

Книга была подана. «Отъ сихъ до этихъ», сказалъ онъ и провелъ своимъ острымъ ногтемъ на поляхъ страницы двѣ черты.

Я такъ слѣшилъ на квартиру, что рубашка моя взмокла отъ пота: мнѣ страшно хотѣлось ѣсть. Послѣ обѣда опять пришлось тащиться въ семинарію, чтобы перевести полстраннички изъ Лактанція. И какой переводъ!.. Тянулъ слово за слово; много хотъ убей, не знаетъ, въ какомъ времени стоитъ глаголь и не различить подлежащаго отъ сказуемаго. Только время пропадаетъ даромъ.

## 15.

Однако мнѣ невозможно вести дневникъ свой, какъ бы хотѣлось, т. е., заносить въ него впечатлѣнія свои ежедневно: и времени свободнаго у меня мало, и боюсь, что Федоръ Федоровичъ печально отворить дверь въ мою комнату и поймаетъ меня на мѣстѣ преступленія съ полничнымъ въ рукахъ. Жаль! Знаю, что лица, которыя я здѣсь вывожу, очерчены блѣдно, что языкъ припахиваетъ бурсою, но все-таки эта работа доставляетъ мнѣ удовольствіе. Она несколько меня не стѣняетъ, она не походитъ на извѣстное разсужденіе изъ заданной темы, гдѣ необходимы приступъ, дѣленіе, доказательства, сравненія, примѣры и заключеніе. Пишу то, что проходитъ у меня въ головѣ, что вижу, что затрогиваетъ меня за сердце. Матеріаловъ у меня не слишкомъ много, потому что среда, въ которой я вращаюсь, ужъ чересчуръ тѣсна. Не спорю, что она имѣетъ свою фізіономію, что на ней лежитъ своя оригинальная печать, но для меня-то нѣтъ въ ней новаго ни на волосъ. Какъ бы то ни было, буду писать, когда случится, безъ особенной послѣдовательности и строгой связи. Быть можетъ, кто-нибудь прочтетъ эти строки черезъ 20 или 30 лѣтъ и скажетъ: такъ вотъ при какой обстановкѣ шло воспитаніе нашихъ отцовъ!.. Прочтетъ,—и не броситъ въ насъ камня. Нынѣшній день была у насъ лекція французскаго языка, который, за неимѣніемъ профессора, читается ученикомъ Богословія такъ называемымъ *лекторомъ*. Этотъ богословъ, въ пестрыхъ клѣтчатыхъ штанахъ и въ яркомъ, разноцвѣтномъ жилетѣ, держитъ себя важнѣе, чѣмъ кто-нибудь изъ нашихъ паставниковъ. „Ну-съ“, говоритъ онъ поделѣловатому ученику, голова котораго покрыта золо-

тушвыми струпьями, «переводите»... И стоит, покачивая своимъ вытянутымъ до невозможности корпусомъ. Лѣвая нога его картинно отставлена впередъ, одна рука занята книгою, другая играетъ бронзовою цѣпочкою. Ученикъ моргаетъ и поглядываетъ исподлобья налѣво и направо: „подскажите, молъ, анаемы!..“ И вотъ слышится шопотъ: человекъ, любящій добродѣтель... „Не подсказывать, господи!“ замѣчаетъ лекторъ. „Вы, я думаю, и склонять-то не умѣете, а!“ Ученикъ молчитъ. „Склоняйте l'homme.

— „Именительный l'homme“  
Родительный....“

«Довольно, довольно! Какой тутъ ломъ? Экое произношеніе! Оно и видно, что вамъ приличіе держать ломъ въ рукахъ, а не книгу». Въ классѣ раздается сдержанный хохотъ. Лекторъ радъ, что сказалъ острое слово. „Слѣдующій!“ — „Я нездоровъ“, пробасилъ плечистый верзило, лѣнливо поднимаясь со скамьи съ заспаннымъ лицомъ и закрывая широкою ладонью зѣвающій ротъ. „Желудокъ, вѣрно, обременили!“ Въ классѣ опять раздается хохотъ. И такимъ образомъ проходитъ время съ пользою для учащихся, съ пріятностію для наставника.

20.

Вчера Федоръ Федоровичъ праздновалъ день своего рожденія. Къ этому событію онъ приготовлялся за недѣлю впередъ. Вотъ, молъ, и тотъ-то меня посѣтитъ, и такой-то у меня будетъ, и записывалъ для памяти, что ему нужно купить. Подчасъ, садитъ съ латинскимъ лексикономъ въ рукахъ, приготовляя изъ христоматіи переводъ странички къ слѣдующему классу, и вдругъ положить его въ сторону и скажетъ: «Ахъ, паюсной икры еще надобно, чуть не забылъ!» И замѣтитъ на бумагѣ: 1 фунтъ паюсной икры. Икры, повторитъ онъ и задумается, потупивъ голову: посмотреть на цифры, сдѣлаетъ сложеніе и плюнетъ: «Вотъ оно что! Десять руб. сер. не хватитъ, несмотря на то, что чай, сахаръ и ромъ у меня не купленные». Даже со мною онъ заводитъ объ этомъ рѣчь: «Вотъ, молъ, какво теперь содержаніе! на все такая дороговизна, что смерть!» Ужъ не намекаетъ ли онъ, что дешево взялъ съ меня за квартиру?...

Григорій, иначе называемый Гришкою, сбился съ ногъ, бѣгая на рынокъ и съ рынка. Покупка разныхъ разностей, по извѣстной причинѣ, не сдѣлалась разомъ. Потребовалось жуку—и Григорій бѣжить; понадобилось горчицы—и Григорій опять бѣжить. Только-что возвращается, облитый горячимъ потомъ „Гришка!“ раздается изъ кабинета: „пошелъ сюда!“ Ступай, возьми уксусу на 10 коп. И Григорій опять бѣжить, повторяя дорогою: „Уксусу на 10 коп., уксусу на 10 коп.“

Вечеромъ подъ этотъ, въ нѣкоторомъ родѣ, торжественный день, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ былъ у всенощной и возвратился оттуда съ двумя большими просфорами и тотчасъ же вывелъ крупными буквами на одной *за здравіе*, на другой: *за упокой*. Усталый мальчуганъ дремалъ въ передней. Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ вошелъ въ нее и потянулъ въ себя воздухъ. „Вишь, какъ онъ тутъ навонялъ потомъ. Пошелъ, чертенокъ, въ кухню!“ и дернулъ его за вихоръ. Не прошло двухъ минутъ, онъ уже стоялъ въ своемъ кабинетѣ на молитвѣ съ кievскими святыми въ рукахъ. Передъ иконою теплилась лампадка. Наступающее утро ознаменовалось тѣмъ, что Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ надѣлъ на себя новый сюртукъ. Постороннихъ лицъ съ поздравленіями не было никого. Приходили только три ученика изъ нашего класса, которые принесли ему въ подарокъ серебряную солонку, конечно, купленную ими на складчину. Знаю я этихъ ословъ, извѣстныхъ своимъ тупоуміемъ и проказами на квартирѣ, въ домѣ подозрительнаго поведенія хозяйки... впрочемъ, это не мое дѣло. Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ ихъ обласкалъ и поблагодарилъ. Едва затворилась за ними дверь, онъ началъ вертѣть въ рукахъ подаренную ему вещь, разсматривалъ ее сверху, снизу, съ боковъ и наконецъ сказалъ вслухъ: „84-й пробы“. Въ передней кто-то кашлянулъ. Кто тамъ?—Я-съ, отвѣчалъ знакомый Ѳеодору Ѳеодоровичу сапожникъ:—честь имѣю поздравить васъ со днемъ рожденія. Вотъ не угодно ли-съ принять кренделекъ!.. Крендель былъ испеченъ въ видѣ какого-то мудренаго вензеля и кругомъ осыпанъ миндалемъ. „Спасибо, братецъ, спасибо! Ну, что-жь, выпьешь рюмку водки?—Грѣшный человекъ! пью-съ.—И рюмка была выпита.—А вы, Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ, ужъ того съ... замолвите за меня слово въ вашей семинаріи, вы ужъ

тамъ знаете кому. Насчетъ лаковыхъ сапоговъ не извольте сомнѣваться: я сказалъ, что ихъ сошью—и сошью-съ. Такіе удеру,—мое почтеніе!— „Хорошо, хорошо—я постараюсь“.

Вечеромъ собралось нѣсколько профессоровъ. Прежде всего мнѣ бросилась въ глаза та самая черта, которую я замѣтилъ недавно въ Федорѣ Федоровичѣ: всѣ они вели себя здѣсь совершенно не такъ, какъ ведутъ себя въ семинаріи. Величія не было ни тѣни. Смѣхъ, шутки, пересыпанье изъ пустого въ порожнее—все это сильно меня изумляло. Отчего-жъ, думалъ я, эти люди на насъ, учащихся, смотреть съ какой-то недоступной высоты? Отчего ни къ одному изъ нихъ я не смѣю подойти съ просьбою: будьте такъ добры, потрудитесь мнѣ вотъ это растолковать?.. Поневоля вспомнишь слова Яблочкина, который сказалъ мнѣ однажды, что молодости пужно дыханіе любви, что она не можетъ развиваться подь холодомъ и грозюю, или развивается медленно и уродливо, что она замираетъ отъ ледяного прикосновенія непрощенныхъ обьятій.

Мнѣ приказано было разносить чай. Мое новое положеніе въ качествѣ прислуги немножко меня смущало. На подносѣ всѣ чашки приходили въ движеніе, когда я проходилъ съ нимъ по комнатѣ. Послѣ раздачи чашекъ я молчаливо остановился у притолки; порою, по приказанію кого-нибудь изъ гостей, набивалъ трубку, причемъ не одинъ разъ говорили мнѣ съ какою-то двумысленною улыбкою: «А ваша милость вкушаетъ отъ этого запрещеннаго плода?»—Нѣтъ, отвѣчалъ я. И въ груди моей пробуждалось чувство непонятной досады. Разговоръ оживлялся все болѣе и болѣе. Громче всѣхъ говорилъ профессоръ словесности, человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, украшенный сѣдинами и лысеною.

«Что вы не женитесь, Федоръ Федоровичъ. а? Ну, что вы не жепитесь?» (У него, видите ли, дочь-невѣста, такъ нельзя же о ней не позаботиться: родительское сердце!).

Федоръ Федоровичъ пріятно улыбался. «Найдите хорошее мѣсто, порядочный приходъ, словомъ: вѣрное обезпеченіе въ будущемъ,—вотъ и женюсь».

«Отчего-жъ бы вамъ не остаться въ свѣтскихъ?»



— Это опять зависит от простой причины: найду выгоднымъ — и свѣтскимъ останусь, мнѣ все равно.

«И семинарію, пожалуй, покинете?»

— Почему не такъ. Завиднаго тутъ немного. Что успѣли выиграть, преподавая 18 лѣтъ свою риторикѣ?

«Ничего-съ. Былъ сынъ дьякона, теперь надворный совѣтникъ, — это, я вамъ скажу, не маковое зернышко. Потянемъ еще лямку, — пансіонъ дадутъ, — вотъ и выиграешь. Ну-съ, а это бездѣлица! Вѣдь, здѣсь сто глазъ на васъ смотритъ, сто ушей васъ слушаетъ. Вы имѣете вліяніе на молодые умы, даете имъ направленіе... вотъ вамъ еще выиграешь. Да что вы думаете о семинаріи, а? Позвольте васъ спросить? Развѣ не изъ семинаріи выходятъ люди съ крѣпкою грудью, объ которую разбиваются всѣ житейскія невзгоды? Развѣ не семинарія вырабатываетъ эти желѣзныя натуры, которыя терпѣливо выносятъ всякій долгодѣтній, усидчивый трудъ? Развѣ не въ семинаріи слагаются характеры, которые впоследствии дѣлаются предметомъ удивленія на всѣхъ поприщахъ общественной и государственной жизни? Кто былъ митрополитъ Платонъ, украшеніе трехъ царствованій? А митрополитъ Евгений? А графъ Сперанскій — этотъ великій, государственный мужъ, это свѣтило умственного міра? То-то и есть! Вотъ вы и замолчали... Правду ли я говорю, Иванъ Ермоланчъ?»

Иванъ Ермоланчъ сидѣлъ за столомъ въ числѣ 4-хъ своихъ товарищей по службѣ, игравшихъ по  $\frac{1}{4}$  коп. въ карты. Онъ выкуривалъ трубку за трубкою и запивалъ табачный дымъ крѣпкимъ пушшемъ. Лицо его носило на себѣ отпечатокъ какой-то внутренней боли, глаза смотрѣли задумчиво и тоскливо. Этому человѣку у насъ не очень посчастливилось. Вступивъ прямо изъ академіи въ должность профессора, онъ хотѣлъ было ввести въ своемъ классѣ новый методъ преподаванія, совѣтовалъ ученикамъ знакомиться съ русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на видъ, что онъ читаетъ не въ свѣтскомъ учебномъ заведеніи, и приказало ему впередъ не умничать. Иванъ Ермоланчъ покорился не вдругъ. Ему снова сдѣлали

замѣчаніе. Онъ рѣшился оставить семинарію и занять мѣсто гражданскаго чиновника; къ сожалѣнію, мѣста не нашлось, и бѣдняга притихъ, сталъ запивать и заниматься дѣломъ, спусти рукава. Но бывають часы, когда онъ пробуждается отъ сна. И лется свободно его одушевленное, увлекательное слово; въ классѣ наступаетъ такая тишина, что ухо слышитъ жужжанье бьющейся о стекло мухи; но вдругъ онъ приложитъ руку ко лбу, будто припоминаетъ что-то забытое, вздохнетъ и замолчитъ, какъ порванная струна.

«Такъ, такъ! Вы говорите правду», отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: «въ особенности меня утѣшаютъ ваши слова: мы даемъ направленіе молодымъ умамъ, что нисколько не мѣшаетъ мнѣ спрягать глаголь сплю: я сплю, ты спишь...»

— «Ну, ужъ это извините! При нашемъ отцѣ-ректорѣ не заснешь», замѣтилъ сидѣвшій противъ него гость. «Онъ ежедѣльно посѣщаетъ все классы; примѣрный, можно сказать, начальникъ: на волосъ не позволить отступить отъ положеннаго имъ однажды навсегда правила. Вчера сижу я спокойно за своимъ столикомъ, глядь—онъ идетъ. Я вскочилъ, застегнулъ второпяхъ на все пуговицы фракъ и подошелъ къ нему подъ благословеніе. «Продолжайте, сказалъ онъ, продолжайте...»—Не угодно ли вамъ когонибудь спросить? говорю я.—«Ну, что-жъ, пожалуй. Ну, ты... читай!» Онъ указалъ на одного ученика. Ученикъ-то попался бойкій, какъ бишь онъ прозывается?.. Яблочкинъ. Всталъ онъ и началъ объяснять лекцію своими словами, и ничего, такъ знаете, свободно. Объяснилъ и стоитъ—улыбается. «Кончилъ?», спросилъ его отецъ-ректоръ.—«Кончилъ.—Ну что жъ, вотъ и дуракъ... И забудешь все черезъ полгода». Яблочкинъ поблѣднѣлъ, я тоже немножко потерялся. Отецъ-ректоръ обратился ко мнѣ. У васъ въ классѣ 80 человѣкъ. Этакъ нельзя, нельзя! Если каждый изъ нихъ будетъ сочинять отвѣты изъ своей головы, вавилонское столпотвореніе выйдетъ, непременно выйдетъ.» Я хотѣлъ оправдываться. «Нѣтъ, говорить, этакъ, нельзя. Пусть основательно знаютъ то, что для нихъ напечатано, или написано; въ ихъ возрастѣ и этого достаточно, очень

достаточно...“ Повернулся — и ушел. Я и остался, как оплеванный, и съ досады такъ пробралъ Яблочкина, что у него брызнули слезы („Бѣдный яблочкинъ“! подумалъ я: чего ему стоили эти слезы!). Вотъ вамъ и сонъ. Нѣтъ, у насъ, кого хочешь, разбудятъ“.

„Такъ, такъ, отвѣчалъ Иванъ Ермолаичъ: вамъ бы слѣдовало наказать этого вольнодумца Яблочкина. Ёшь, молъ, вареное, слушай говороное“.

— Знаемъ мы эти остроты! знаемъ!... Вотъ вы хотѣли сдѣлать по-своему, а что?... сдѣлали!...

„Обо мнѣ нечего говорить. Все молодость: увлекся — и образумился и пою теперъ: *„Придите и поклонимся“*“.

— „Эхъ, ну васъ!“ раздалось нѣсколько голосовъ: „изъ-за чего вы бились? Чего вы хотѣли?“

Иванъ Ермолаичъ молчалъ и, облокотясь одною рукою объ столъ, задумчиво смотрѣлъ на свои карты. Болѣзненное выраженіе его лица ясно говорило, что думаетъ онъ вовсе о другомъ.

Сидѣвшій въ углу экономъ не принималъ почти никакого участія въ разговорѣ и вообще держался въ тѣни. Онъ у насъ ничего не читаетъ, и, слѣдовательно, не имѣетъ никакого значенія, но личность его такъ оригинальна, что приобрѣла себѣ популярность во всей семинаріи. Онъ положительно убѣжденъ, что всѣ мы такъ уже созданы, что не можемъ чего-нибудь не украсть у своего ближняго, не можемъ не надуть его такъ, или иначе, а потому и говорить онъ объ этомъ — съ дровосѣкомъ, съ водовозомъ, съ поставщикомъ коноплянаго масла, словомъ, съ людьми всѣхъ сословій, лишь бы пришлось ему вступитъ съ ними въ какія либо сношенія по его экономической части. Голова его постоянно занята работой: кому и какъ сподручно украсть. Благодаря этой работѣ, онъ сдѣлался рѣдкимъ учителемъ воровства. Увидитъ, что водовозъ ѣдетъ на дворъ калачъ, — поди, говорить, сюда. Тотъ подойдетъ. „Ну, что, калачъ ѣшь?“ — Калачъ. — „А гдѣ взялъ?“ — Купилъ. — „Побожие“. Тотъ побожится. „Не вѣрю, братъ, — укралъ“. — Да какъ же я его укралъ? — „Извѣстно, какъ воруютъ. За водою рапо ѣздилъ?“ — На разсвѣтѣ. — „Ну, вотъ, такъ и есть. Вотъ, значитъ, ты про-

далъ кому-нибудь бочки двѣ воды, а потомъ ужъ привезъ ее и сюда. Вотъ и ѣшь теперь калачъ... А дровъ не воровалъ?" — Какія тамъ черти дрова! скажетъ разсерженный водовозъ. У воротъ-то день и ночь стоитъ сторожъ; какъ же я ихъ украду? — „Да, да! Ты не придумаешь, какъ украсть!... Накладешь въ бочку полѣньевъ и поѣдешь со двора, и обмѣняешь ихъ на калачи, или на что другое. Вотъ и вся хитрость. Ужъ я тебя знаю!“ Водовозъ почешетъ у себя затылокъ и пойдетъ прочь: пу, молъ, ладно! И послѣ въ самомъ дѣлѣ ѣсть краденые калачи. Подобная исторія повторяется и съ другими.

„Господа! Кто получаетъ вѣдомости? Нѣтъ ли чего поваго?“ спросилъ кто-то изъ гостей. Съ минуту продолжалось молчаніе.

— Я просмотрѣлъ у отца-ректора одинъ нумеръ, — отвѣчалъ экономъ: ничего нѣтъ особеннаго. Пишутъ, что умеръ стихотворецъ Лермонтовъ. — „А, умеръ? ну, царство ему небесное. Миѣ помнится, я гдѣ-то читалъ стихи Лермонтова, а гдѣ,—не припомню“.

Между тѣмъ началось приготовленіе къ закускѣ. На столѣ появились бутылки. Кухарка хлопотала въ другой комнатѣ: разрѣзывала холодный говяжій языкъ, холоднаго поросенка, жаренаго гуся и прочее. Въ это время Иванъ Ермоланчъ, никѣмъ незамѣченный, вышелъ въ переднюю и сталъ отыскивать свои калоши. Я подалъ ему его шинель. „Вы семинаристъ?“ спросилъ онъ меня. — Да, семинаристъ. — „А къ лакейской должности не чувствуете особеннаго призванія?“ — Нѣтъ, отвѣчалъ я съ улыбкою. — „Ну, слава Богу. Что жъ вы третее въ передней? Шли бы лучше въ свою комнату и на досугѣ читали бы тамъ порядочную книгу... до свиданія“. Онъ надвинулъ на глаза свой картузъ — и ушелъ. Я не оставался безъ дѣла: помогалъ кухаркѣ перетирать тарелки, сбѣгалъ однажды за квасомъ, котораго оказалось мало и за которымъ кухарка отказалась идти въ погребъ, сказавъ, что по ночамъ она ходитъ всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи по скверной лѣстницѣ не намѣрена. Потомъ опять взялся перетирать тарелки и, по неумѣнію съ ними обходиться, одну разбилъ. Кухарка назвала меня разинеею, а Федоръ Федоровичъ крикнулъ: „пельзя-ли поосторожнѣе?“ Наконецъ каждому гостю поочередно я разыскалъ и подалъ калоши, накиннулъ

на плечи верхнее платье, и, усталый, вошелъ въ свою комнату. Сальная свѣча нагорѣла шапкою и едва освѣщала ея непривѣтныя стѣны. Федоръ Федоровичъ заглянулъ ко мнѣ въ дверь. „Вотъ видишь, мы тамъ сидѣли, а тутъ цѣлая свѣча сгорѣла даромъ. Ты, пожалуйста, за этимъ смотри...“

Эхъ-ма! Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

Именно: omnia vanitas! На квартирѣ не весело, въ классѣ скучно, скучно не потому, что я невнимателенъ къ своему дѣлу, а потому, что товарищи мои слишкомъ со мною необщительны, слишкомъ холодны. Вотъ, ей-Богу, чудаки! Неужели они думаютъ, что я въ самомъ дѣлѣ рѣшусь пересказывать Федору Федоровичу все, что я вокругъ себя вижу и слышу? Но тогда я презиралъ бы самого себя болѣе, нежели кто-нибудь другой. Желалъ бы я однако знать, въ чемъ заключается наблюдение Федора Федоровича за моими занятіями и что разумѣть онъ подъ словами: слѣдить за ходомъ моихъ успѣховъ? Ужъ не то-ли, что иногда отворить мою дверь и спросить: „чѣмъ занимаешься?“ Вотъ тѣмъ-то, отвѣчу я. „Ну, и прекрасно. Пожалуйста, не болтайся безъ дѣла“. И начнетъ разгуливать по своей комнатѣ, погрывая махрами шелковатаго пояса и напѣвая вполголоса свой любимый романсъ:

Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,

Ты мнѣ милъ навсегда.

Или присесть на корточки средь пола и тѣшится съ сѣрымъ котенкомъ. „Кисинька, кисинька!... Эхъ-ты!...“ И подниметъ его за уши. Котенокъ замаячить. „Не любишь, шельма, а? не любишь?“ Положить его къ себѣ на колѣни, или прижметъ къ груди и ласково поглаживаетъ ему спину и даетъ ему разныя нѣжныя названія. Котенокъ мурлычетъ и жмуритъ глаза и вдругъ запускаетъ въ ласкающія его руки свои острые когти. „А чтобъ тебя чертъ побралъ!“ крикнетъ Федоръ Федоровичъ и такъ хватитъ объ полъ своего любимца, что бѣдное животное ошалѣетъ, проберется въ какой-нибудь уголъ и, растянувшись на полу, долго испускаетъ жалобное мяу! мяу!

Я замѣтилъ, что Федоръ Федоровичъ бываетъ въ наилучшемъ расположеніи духа въ праздничные дни, послѣ сытнаго обѣда, который оканчивается у него объемистой мискою молочной каши, немедленно запиваемой кружкой густого, краснаго квасу. Въ прошлое воскресенье, едва кухарка успѣла убрать со стола посуду и подмести комнату, Федоръ Федоровичъ легъ на диванъ, подложилъ себѣ подъ локоть пуховую подушку, приказалъ мнѣ подать огня для папиросы и крикнулъ: „Гришка!“ — Ась! отвѣчалъ Григорій изъ передней. — „А ну-ка, поди сюда“. Мальчуганъ вошелъ и остановился у притолки. Посмотрѣлъ я на него, — смѣхъ да и только: волосы вклочены, лицо неумыто, рубашка въ сальныхъ пятнахъ, концы старыхъ сапогъ, подаренныхъ ему Федоромъ Федоровичемъ, загнулись на его маленькихъ ногахъ въ родѣ бараньихъ роговъ. Но молодецъ онъ, право: какъ ни деруть его за вихорь, всегда веселъ! „Ну, что-жь, ты былъ сегодня у обѣдни?“ спрашиваетъ его Федоръ Федоровичъ. — А то будто нѣтъ. — „И Богу молился?“ Григорій почесался о притолку и ухмыльнулся. — Какъ же не молиться, на то церковь. — „Ну, гдѣ-жь ты стоялъ?“ Григорій смѣется. „Чему ты смѣешься, stultus?“ Звукъ незнакомаго слова такъ удивилъ мальчугана, что онъ фыркнулъ и убѣжалъ въ переднюю. „Ты не бѣгай, рыжая обезьяна! Пошелъ, сними съ меня сапоги!“ Григорій повиновался. Между тѣмъ Федоръ Федоровичъ лѣзливо зѣвалъ и осѣнялъ крестомъ свои уста. „Ну, рыжій! хочешь взять пятакъ!“ — Хочу, отвѣчалъ рыжій и протянулъ за пятакомъ руку. „Э, ты думаешь — даромъ? Представь, какъ продають черепенники, тогда и дамъ“. Мальчуганъ остановился среди комнаты, прищурилъ глаза и, медленно размахивая правою рукою, затянулъ тонкимъ голосомъ:

Эхъ, лей кубышка,  
 Подливай кубышка,  
 Не жалѣй кубышка  
 Хозяйскаго добришка.  
 За хозяйской головою  
 Пеливаемъ, какъ водою.

Кто мои черепенники беретъ,  
Тотъ здравъ живетъ.  
Подходи!...

При послѣднемъ словѣ онъ бойко повернулся на каблукъ и топнулъ ногою объ полъ. Велѣдъ затѣмъ я получилъ приказаніе остановить маятникъ часовъ, и Федоръ Федоровичъ погрузился въ безмятежный сонъ.

Октябрь 6.

Заходилъ я, ради скуки, къ Яблочкину и засталъ его, какъ и всегда, за книгою. Онъ сидѣлъ передъ окномъ, подперевъ руками свою голову, и такъ былъ углубленъ въ свое занятіе, что не слыхалъ, какъ я вошелъ. „Ты, братъ, все за книгами“, сказалъ я, положивъ руку на его плечо. Онъ вздрогнулъ и быстро поднялся со стула. — Тьфу! какъ ты меня напугалъ! Отчего ты такъ рѣдко у меня бываешь? Или боишься своего наставника? — „Что за вздоръ!“ отвѣчалъ я: „нашлось свободное время, вотъ я и пришелъ. Нѣтъ ли чего почитать?“ — Я тебѣ сказалъ: только бери, книги найдутся. — Яблочкинъ вздохнулъ и прилегъ на кровать. „Грудь, душа моя, болитъ, сказалъ онъ, смотря на меня задумчиво и грустно: вотъ что скверно! Ахъ, если бы у меня было твое здоровье, чего бы я не сдѣлалъ! чего бы я не перечиталъ! Лѣнтяй ты, Вася! — „Нѣтъ, Яблочкинъ ты меня не знаешь“, отвѣчалъ я нѣсколько горячо: „я такъ зубрю уроки, что другой на моемъ мѣстѣ давно бы слегъ отъ этого въ могилу, или сдѣлался идиотомъ“. Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ. — Откуда же въ тебѣ эта любовь къ мертвой буквѣ? — „Тутъ нѣтъ никакой любви. Я смотрю на свои занятія, какъ на обязанность, какъ на долгъ. Я знаю, что этотъ трудъ современемъ дастъ мнѣ возможность принести пользу тѣмъ, въ средѣ которыхъ я буду поставленъ. Знаешь ли, другъ мой, продолжалъ я, воодушевляясь: санъ священника — великое дѣло. Эта мысль приходила мнѣ въ голову въ безсонныя ночи, когда, спрятавъ учебныя книги, усталый, я бросался на свою жесткую постель. Вотъ, думалъ я: наконецъ, послѣ долгаго труда я удостоиваюсь сана священно-служителя. Падаеть ли какой-нибудь бѣднякъ, убитый пуждою, я поддерживаю

его силы словомъ Евангельской истины. Унываетъ ли несчастный, безчестно оскорбленный и задавленный, — я указываю ему на безконечное терпѣніе Божественнаго Страдальца, Который, прибытый гвоздями на крестъ, прощалъ своимъ врагамъ. Вырываетъ ли ранняя смерть любимаго человѣка изъ объятій друга, — я говорю послѣднему, что есть другая жизнь, что другъ его теперь болѣе счастливъ, покинувъ землю, гдѣ царствуетъ зло и льются слезы... И, послѣ этого, быть можетъ, я приобрѣтаю любовь и уваженіе окружающихъ меня мужичковъ. Устраиваю въ своемъ домѣ школу для дѣтей ихъ обоого пола, учу ихъ грамотѣ; читаю и объясняю имъ Святое Евангеліе. Эти дѣти становятся взрослыми людьми, разумными отцами и добрыми матерями... И я, покрытый сѣдинами, съ чистою совѣстью ложусь на кладбищѣ, куда, какъ духовный отецъ, проводилъ уже не одного человѣка, напутствуя каждого изъ нихъ живымъ словомъ утѣшенія...“

Яблочкинъ пожалъ миѣ руку. „У тебя прекрасное сердце! Но, Вася, нужно имѣть желѣзную волю; мало этого, нужно имѣть свѣтлую, многосторонне развитую голову, чтобы устоять одиноко на той высотѣ, на которую ты думаешь себя поставить, и гдѣ же? Въ глуши, въ какой-нибудь деревушкѣ, среди грязи, бѣдности и горя, въ совершенномъ разъединеніи со всякимъ умственнымъ движеніемъ. Вспомни, что тебѣ еще придется зарабатывать себѣ насущный кусокъ хлѣба своими руками...“

— На все воля Божія, отвѣчалъ я и молчаливо опустил свою голову.

„Отчего это жизнь идетъ не такъ, какъ бы хотѣлось?“ сказалъ Яблочкинъ съ досадою и горечью.

Послѣ долгаго, взаимнаго молчанія, у насъ снова зашелъ разговоръ о спмнаріи.

„Я слышалъ, сказалъ я, что тебѣ досталось за объясненіе лекціи. Помнишь?...“

— Еще бы не помнить!—Яблочкинъ вскочилъ съ кровати. — Это не бѣда, это въ порядкѣ вещей, что я былъ оскорбленъ и уничтоженъ своимъ наставникомъ. Ему все прощительно. Его уже поздно передѣ-



лывать. Но эта улыбка, которую я замѣтилъ на лицахъ моихъ товарищей въ то время, когда у меня брызнули неумѣтныя, проклятыя слезы, — эта глупая улыбка довела меня до послѣдней степени стыда и негодованія. Дѣло не въ томъ, что здѣсь пострадало мое самолюбіе, а въ томъ, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть воспріимчивою и впечатлительною, успѣла уже теперь, въ стѣнахъ учебнаго заведенія, сдѣлаться тупою и безчувственною. Вотъ мнѣ что больно! Что же выйдетъ изъ нея послѣ, въ жизни? — «Охота тебѣ волноваться», сказалъ я: «а говоришь, что грудь у тебя болитъ». Какъ, Вася, не волноваться? Я опять попалъ было недавно въ бѣду: на дняхъ, въ присутствіи нѣсколькихъ человѣкъ, я имѣлъ неосторожность высказать свое мнѣніе на счетъ одной, извѣстной тебѣ іезуитской личности, поставившей себѣ главною задачею въ жизни пресмыкаться предъ всѣмъ, что имѣетъ нѣкоторую силу и нѣкоторый голосъ, и давить все безсильное и безотвѣтное. — «Инспектора?» прервалъ я его въ испугѣ. — Ну, да! Черезъ два часа слова мои были ему переданы, и онъ позвалъ меня къ себѣ... — «Ты говорилъ вотъ то и то?» спросилъ онъ меня. Представь себѣ мое положеніе: отвѣтить *да*, — значило обречь себя на погибель, — я подумалъ, подумалъ и сказалъ рѣшительно: *нѣтъ*! «А если, продолжалъ онъ, я призову двухъ сторожей и заставлю тебя сказать правду подъ розгами? Я молчалъ. Сторожа явились. «Признавайся», говорилъ онъ, «прошу...» Замѣть; какая невинная хитрость: простить!.. «Не въ чемъ!» отвѣчалъ я, смотря ему прямо въ глаза и давъ себѣ слово скорѣе умереть на мѣстѣ, чѣмъ лечь подъ розги. «Позовите тѣхъ, при комъ я говорилъ. Я чувствовалъ въ себѣ какую-то неестественную силу. Глаза мои, навѣрное, метали искры. Инспекторъ отвернулся и крикнулъ: «вытолкните его, мерзавца, вонъ и отведите въ карцеръ... И я просидѣлъ до вечера въ карцерѣ безъ хлѣба, безъ воды, едва дыша отъ нестерпимой вони... ну, ты знаешь нашъ карцеръ». Яблочкинъ снова прилегъ на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лице горѣло. Я понималъ, что мнѣ неловко было упрекать его за неосторожныя слова. Мало ли мы что болтаемъ! и кто, спрашивается, отъ этого терпитъ?

Ровно никто. Жаль, что онъ такъ впечатлительнъ; еще больше жаль, что у него такое слабое здоровье.

14.

Вотъ и рѣшай, кто тутъ правъ и кто виноватъ, и суди, какъ знаешь. Яблочкинъ сказалъ необдуманное слово и чуть не погибъ, а другіе доходятъ до безобразія, и все остается шито и крыто. Пошелъ я сегодня, послѣ вечерни, пошататься по городу; иду по одной улицѣ, вдругъ слышу — стучать въ окно: «зайди на минуту; дѣло есть», раздался голосъ знакомаго мнѣ философа Мельхиседекова, который учится вмѣстѣ со мною и принадлежитъ къ самымъ лучшимъ ученикамъ по своему поведенію и прилежанію. Я зашелъ. Гляжу — кутежъ! Мельхиседековъ стоитъ среди комнаты, молодцовато подпершись руками въ бока. Трое его товарищей, безъ галстуконъ, въ толстыхъ холстинныхъ рубашкахъ и въ пантовыхъ панталонахъ, сидятъ за столомъ. На столѣ — полштофъ водки, рюмка, груши въ тарелкѣ и какая-то старая, въ кожаномъ переплетѣ, книжка. Четвертый, уже упитанный, спитъ на лежанкѣ, лицомъ къ печкѣ. Подъ головою его, вмѣсто подушки, лежатъ творенія Лактанція и латинскій лексиконъ Кронеберга. «Пей!» сказалъ мнѣ Мельхиседековъ прежде, нежели я успѣлъ осмотрѣться, куда попалъ. «Что у тебя за радость?» спросилъ я. — Деньги отъ отца получилъ и кетати именинникъ. Посмотри въ святцы и увидишь мученика Протасія. — «Я не пью». — «Стало быть ты ханжа, а не товарищъ. Ну, ступай — донеси, кому слѣдуетъ о всемъ, что здѣсь видѣлъ... Такъ поступаютъ подлецы, а не добрые товарищи. Знаемъ мы, у кого ты живешь!... Извини, братъ, что я тебя позвалъ. Я думалъ о тебѣ лучше...» У меня мелькнула мысль, что отказъ мой непременно дастъ поводъ заподозрить меня въ наушничество и поведетъ къ глупымъ разговорамъ; я послушался и вышелъ. Мельхиседековъ меня поцѣловалъ. «Вотъ спасибо! Теперь садись въ рядъ и будемъ говорить въ ладъ». — «Такъ-то такъ, сказалъ я: а если, сохрани Боже, заѣдетъ сюда субъ-инспекторъ...» Мельхиседековъ засмѣялся и свистнулъ. «Видали мы эти виды!» — «Видали, братъ, видали!» подхватили со смѣхомъ ученики, сидѣвшіе за столомъ: «пусть явится. Въ секунду

все будетъ въ порядкѣ: возьмемъ за тетрадки, за книги и встрѣтимъ его особу глубокими поклонами. Къ этой комедіи намъ не привыкать».

«Слышишь, Мельхиседековъ», сказалъ рябой ученикъ, взъерошивая на головѣ рыжіе волосы: «я, братъ, еще выпью. Нельзя не выпить. Послушай, что вотъ напечатано въ поемѣ: *Елисей*.

— Ступай ты съ нею къ чорту! Ты 20 разъ принимался ее читать, отвѣчалъ Мельхиседековъ: и надоѣлъ, какъ горькая рѣдка.

«Нѣтъ, не могу. Сердись, какъ угодно, а я прочту: мы обязаны читать все поучительное...» И онъ уткнулъ носъ въ книгу.

Когда печальный мужъ чарченку выпиваетъ,  
 Съ чарченкой всю свою печаль позабываетъ.  
 И воинъ, водочку имѣючи съ собой,  
 Хлебнувши чарочку, смѣлѣе идетъ въ бой.  
 Но что я говорю о малостяхъ такихъ?  
 Спросите вы о томъ духовныхъ и мірскихъ,  
 Спросите у дьяковъ, спросите у подъячихъ,  
 Спросите у слѣпыхъ, спросите вы у зрячихъ,  
 Я думаю, что вамъ отвѣтствуютъ одно:  
 Что лучшій въ свѣтѣ даръ для смертныхъ есть вино.

«Вотъ что, братъ! Слышишь!»

— Такъ, сказалъ Мельхиседековъ, а если дадутъ тебѣ тему: пьянство пагубно, я думаю, ты не станешь тогда приводить цитаты изъ поэмы: *Елисей*.

«Кто, я-то? homo sum ergo... напишу такъ, что иная благочестивая душа прольетъ слезы умиленія. Приступь: взглядъ на пороки вообще, на пьянство въ частности. Дѣленіе: 1-е) пьянство низводитъ человѣка на степень безсловесныхъ животныхъ; 2-е) пьяница есть мучитель и стыдъ своей семьи; 3-е) вредный членъ общества, и наконецъ 4-е) пьяница есть самоубійство... Что, братъ, ты думаешь, мы сробѣемъ?»

— Молодецъ! а что ты напишешь на тему, которая дана намъ теперь: *можно ли что-нибудь представить внѣ формъ про-*

*странства и времени, какъ напримѣръ — ничто или вездѣсущество?* Ну-ка, скажи!

«Вдругъ не напишу, а подумавши, можно. Я, братъ, что хочешь напишу, ей-Богу, напишу! вотъ ты и знай!» И рыжій махнулъ рукою и плюнулъ.

Остальные два ученика не обращали ни малѣйшаго вниманія на этотъ разговоръ и продолжали горячій споръ:

«Ты погоди! Ты не тутъ придаешь силу своему голосу... Да! Слушай!

Грянулъ внезапно

Громъ надъ Мосевою...

Вотъ ты и сосредоточивай всю силу голоса на словѣ: *грянулъ*, а у тебя выходитъ громче слово: *внезапно*, — значить, ты не понимаешь дѣла. Далѣе:

Выступилъ съ шумомъ

Донъ изъ береговъ...

Ай донцы!

Молодцы!

Послѣднія два слова такъ пой, чтобы окна дрожали. У тебя все это не такъ».

— И не нужно. Я больше не буду пѣть. Все это глупости. Ты, братъ, смотри на пѣсню съ нравственной точки зрѣнія. Но такъ какъ тебѣ эта точка недоступна, слѣдовательно, ты поешь чепуху и празднословишь.

«Я тебѣ говорю: пой!»

— Не буду я пѣть!

«Ну, твоя воля! Стало быть, ты глупъ...»

«Эй, чижики!» крикнулъ Мельхиседековъ. Изъ темнаго угла вышелъ блѣдный, остриженный подъ гребенку мальчуганъ и несмѣло остановился среди комнаты. На плечахъ его былъ полосатый, засаленный халатишко. Руки носили на себѣ признаки, извѣстной между нами, болѣзни, появляющейся вслѣдствіе неопрятности и пачкостности. Это былъ ученикъ духовнаго училища. «Вотъ тебѣ покуда; вотъ тебѣ четвертакъ; ступай туда... знаешь... и возьми ко-

сушку». Мальчуганъ повернулся и пошелъ. «Стой, стой!» сказалъ Мельхиседековъ: «знаешь свой урокъ?» — Знаю. — «Посмотримъ. Какъ сыскать общій дѣлитель?» Мальчуганъ поднялъ къ потолку свои глазки и началъ однозвучно читать: «Должно раздѣлить знаменателя данной дроби на числителя, когда не будетъ остатка, то сей дѣлитель будетъ общій дѣлитель...» — «Довольно... Ты скажи, чтобы не обмѣривали; меня, молъ, приказный послалъ... Этотъ чирикъ отданъ мнѣ подъ надзоръ, вотъ я его и пробираю», сказалъ мнѣ Мельхиседековъ. Едва за мальчуганомъ затворилась дверь, въ комнату вошла хозяйка дома, дородная, краснощекая женщина, и закричала, размахивая руками: «перестаньте, безстыдники, горло драть! Что вы покою не даете добрымъ людямъ!» — «Не сердитесь, почтеннѣйшая женщина!» отвѣчалъ Мельхиседековъ: «вамъ это вредно при вашемъ полнокровіи...» — Гуляемъ, Акулина Ивановна! Гуляемъ! сказалъ рыжій и положилъ на столъ свои ноги. «Вотъ изволите ли видѣть? Свобода царствуетъ!...» — «Ну, ты-то что еще безобразничаешь? Ахъ, ты, молокососъ, молокососъ! Погоди, — дай только твоему отцу сюда пріѣхать, ужъ я тебя распишу!...» Я воспользовался тѣмъ, что вниманіе всѣхъ обратилось на хозяйку, и незамѣтно ускользнулъ за дверь. Экіе кутилы!

Декабря 10.

Давно я не брался за перо. И слава Богу! Небольшая потеря... Итакъ, слова Яблочкина, что у насъ найдутся средства познакомиться со всѣми произведеніями нашихъ лучшихъ писателей, сбылись вполнѣ. Въ продолженіе двухъ съ половиной мѣсяцевъ я перечиталъ столько книгъ, что мнѣ самому кажется теперь непонятнымъ, какимъ образомъ достало у меня на этотъ трудъ и силы, и времени. Я читалъ въ классѣ украдкою отъ наставниковъ. Читалъ въ моей комнаткѣ украдкою отъ Федора Федоровича, который удивлялся, зачѣмъ я пожигаю такую пропасть свѣчъ, но свѣчи, тоже украдкою, я сталъ покупать на свои деньги, и покамѣстъ все обстоитъ благополучно... Ну, мой милый, безцѣпный Яблочкинъ! Какъ бы ни легли далеко другъ отъ друга наши дороги, куда бы ни забросила насъ судьба, я никогда не забуду, что ты первый пробудилъ мой спавшій умъ, вывелъ меня на

Божій свѣтъ, на чистый воздухъ, познакомилъ меня съ новымъ прекраснымъ, доселѣ мнѣ чуждымъ, міромъ... Какая теплая, какая чудная душа у этого человѣка! Мало того, что онъ давалъ мнѣ всѣ лучшія книги, онъ дѣлился со мною многими рукописями, которыя доставалъ съ величайшимъ трудомъ у своихъ знакомыхъ. И освѣтились передо мною разные темные закоулки нашего грѣшнаго міра, и развѣчались и пали нѣкоторыя личности, и загорѣлись передо мною самоцвѣтными камнями доселѣ мнѣ невѣдомыя сокровища нашей народной поэзіи. Вотъ, напримѣръ, начало одной пѣсни. Не знаю была ли она напечатана.

Ахъ, ты степь моя, степь широкая,  
 Поросла ты степь, ковылемъ-травой,  
 По тебѣ ли, степь, вихри мечутся,  
 У тебя ль орлы на пескахъ живутъ,  
 А вокругъ тебя, степь родимая,  
 Спней ставкою небеса стоятъ!  
 Ахъ, ты, степь моя, степь широкая,  
 На тебѣ ли, степь, два бугра стоятъ,  
 Безъ крестовъ стоятъ, безъ примѣтушки,  
 Лишь небесный громъ въ бугры стучаетъ!..

Да, вотъ это пѣсня! Она не походитъ на ту, которую распѣваетъ такъ часто Федоръ Федоровичъ:

Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ,  
 Ты мнѣ милъ навсегда.

Въ моихъ понятіяхъ, въ моихъ взглядахъ на вещи, совершается теперь переворотъ. Давно ли я смотрѣлъ на грязную сцену кутежа моихъ товарищей спокойными глазами? Въ эту минуту она кажется мнѣ отвратительною. Воспоминаніе о робкомъ мальчикѣ, котораго послали за водкою, возмущаетъ мою душу и поселяетъ во мнѣ отвращеніе къ жизни, среди которой могутъ возникать подобныя явленія. И все съ большею и большею недовѣрчивостью осматриваюсь

я кругомъ, все глубже и глубже замыкаюсь въ самомъ себѣ. Съ этого времени я понимаю постоянное раздраженіе Яблочкина противъ дикаго мелочнаго педантизма, противъ великой сухой схоластики и безжизненной морали, противъ всего копящаго и мертваго. Не скажу, чтобы я сдѣлался лѣнивымъ оттого, что пристрастился къ чтенію. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это дѣлается ex officio, а ужъ никакъ сопъ амого. Ни одно слово изъ безчисленнаго множества оставшихся въ моей памяти словъ не проникаетъ въ мою душу, ни одно слово не вѣетъ на меня освѣжительнымъ дыханіемъ жизни, близкой моему уму или сердцу...

Однако, волею-неволею, мнѣ опять нужно положить перо и взяться за урокъ. А Федоръ Федоровичъ спитъ бозиробудно... Тяжело мнѣ мое одиночество въ чужомъ домѣ. Не съ кѣмъ мнѣ обмѣняться ни словомъ, ни взглядомъ. Молчаливо смотрятъ на меня невзрачныя стѣны. Тускло горитъ сальная свѣча. На дворѣ завываетъ вьюга. Бѣлые хлопья снѣгу, пролетая мимо окна, загораются огненными искрами и пропадаютъ въ непроницаемомъ мракѣ. Тяжело мнѣ подъ этою чужою кровлею.

14.

Вотъ и экзамены наступили. Нашъ классъ принялъ на нѣкоторое время какъ-бы праздничный видъ. По полу прошла метла, по столамъ тряпка. Печь истопили съ вечера, и дровъ, разумѣется, не пожалѣли. Впрочемъ истопить ее въ годъ два-три раза—расходъ не великъ. Для отца-ректора стояло заранѣе приготовленное покойное кресло. Для профессоровъ были принесены стулья. Казалось, все придумали хорошо, а вышло дурно: промерзшіи стѣны отошли, и воздухъ сдѣлался нестерпимо тяжелъ и непріятенъ. На это обратили вниманіе и позвали сторожа съ курилкою. Сторожъ покурить, — и воздухъ пропитался запахомъ сосновой смолы. Федоръ Федоровичъ, вѣроятно, чувствовалъ себя не советѣмъ ловко въ ожиданіи прихода своего начальника. Онъ торопливо ходилъ по классу, потирая руки и, время отъ времени, поправляя на себѣ черныя фракъ, хотя, правду сказать, поправлять его было нечего: онъ былъ застегнутъ по формѣ, отъ первой до послѣдней пуговицы. Сидѣвшій у порога

на заднемъ столѣ ученикъ, съ лицомъ, въ половину обращеннымъ къ двери, съ безпокойнымъ выраженіемъ въ глазахъ, напрягалъ чуткій слухъ, стараясь уловить звуки знакомой ему поступи, чтобы отворить во время дверь, что удалось ему сдѣлать какъ нельзя лучше. «Гм!.. гм!.. У васъ тутъ что-то скверно пахнетъ...» сказалъ отецъ-ректоръ, опираясь на свою камышевую трость и оборачивая голову налево и направо. — Да-съ, есть немножко, почтительно отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ и, тоже вѣрно по сочувствію, оборотилъ голову налево и направо и пододвинулъ къ столу спокойное кресло. Одежда отца-ректора была на лисьемъ мѣху, и на мѣху просторная обувь. Онъ отдалъ одному ученику свою трость, который поставилъ ее въ передній уголъ, и осторожно опустился въ кресло, придерживаясь обѣими руками за его выгнутые бока. «Удобно ли вамъ сидѣть!? не прикажите ли поправить столъ?» сказалъ Федоръ Федоровичъ. — Нѣтъ, ничего. Ну, что-жъ, начнемъ теперь, начнемъ. — Въ эту минуту пришли еще два профессора и, послѣ обычныхъ поклоновъ, скромно заняли свои мѣста. Отецъ-ректоръ развернулъ списокъ учениковъ и положилъ на столъ билеты. Начались вызовы. Миѣ пришлось отвѣчать третьимъ, а именно: *о памяти*. Отличусь, думалъ, взглянувъ на билетъ, и дѣйствительно отличился: прочиталъ нѣсколько строкъ такъ бѣгло, что отецъ-ректоръ пришелъ въ изумленіе. «Погоди, погоди! Я ничего не разберу. Говори раздѣльнѣе». Я повиновался. «Ну, что-жъ, хорошо, весьма хорошо!... Повтори о достоинствахъ памяти».

— Достоинства памяти рѣдко соединяются между собою въ одинаковой мѣрѣ, особенно легкость съ крѣпостью и вѣрностію, но постояннымъ упражненіемъ памяти они могутъ быть приобрѣтаемы до извѣстной степени и часто доводимы до необыкновеннаго совершенства. Въ древнія и новыя времена встрѣчались примѣры...

«Чей ты сынъ?»

— Священника.

«Ну, что-жъ, учись, учись. Хорошо! Вогъ и выйдешь въ люди. Ступай!»

Я повернулся.



«Погоди! Зачѣмъ у тебя волоса такъ длинны? Щегольство на умѣ, а? Такъ, такъ! Остригись, непременно остригись. Сколько-тебѣ лѣтъ?»

— 19 лѣтъ.

«Такъ, щегольство. Ну, смотри, учись».

Онъ обратился къ Федору Федоровичу и спросилъ его вполголоса: «Каковъ онъ у васъ?»

— Поведенія и прилежанія примѣрнаго. Способностей превосходныхъ,—послѣдовалъ отвѣтъ вполголоса. Я боялся, что улыбнусь, и прикусилъ губы. „Хвали“, подумалъ я: „понимаю, въ чемъ тутъ дѣло“. Какъ-бы то ни было, сѣвъ на свое мѣсто, я порадовался, что отдѣлался благополучно.

Въ числѣ другихъ вышелъ ученикъ второго разряда очень молодой, красивый и застѣнчивый, за что товарищи прозвали его «преlestною Машенькой». Онъ робко читалъ по билету, который ему выпалъ, и во время чтенія не поднималъ рѣсницъ. «Такъ, такъ», говорилъ отецъ-ректоръ: «продолжай!» И затѣмъ онъ обратился съ улыбкою къ профессорамъ: «Какой онъ хорошенькій, а? не правда ли? Какъ тебя зовутъ?»

— Александромъ.

«Ну, вотъ, вотъ!.. И имя у тебя хорошее...»

Ученикъ краснѣлъ. Сидѣвшій подлѣ него профессоръ предложилъ ему вопросъ.—«Нѣтъ, нѣтъ! замѣтилъ отецъ-ректоръ: вы его не сбивайте. Пусть читаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какой онъ хорошенькій!» И экзаменаторъ взглянулъ на списокъ.—«Ты здѣсь невысоко стоишь, невысоко. Вотъ я тебя поставлю повыше... Ты будешь заниматься, а?»

— Буду.

«Ну, и хорошо. Ступай!»

Ученики выходили по вызову другъ за другомъ. И вотъ одинъ, малый, впрочемъ неглупый (относительно), замялся и сталъ втупикъ.

«Ну, что-жъ. Вотъ и дуракъ! Повтори, что прочиталъ».

— Хотя творчество фантазіи, какъ свободное преобразование представлений, не стѣсняется необходимостію строго слѣдовать закону

истины, однакожь, показуясь предетавленіями, взятыми изъ дѣйствительности, оно тѣмъ самымъ примыкаетъ уже къ міру дѣйствительному. Оно только расширяетъ дѣйствительность до правдоподобія и возможности...

«Что ты разумѣешь подъ словомъ: показуясь?»

— Слово: проявляясь.

«Ну, хорошо. Объясни, какъ это расширяется дѣйствительность до правдоподобія?»

Ученикъ молчалъ. «Ну, что-жь молчишь?»

— Забылъ.

Федоръ Федоровичъ двигалъ бровями, дѣлалъ ему какія-то непонятные знаки рукой. Ничто не помогло. Не утерпѣлъ онъ — и слова два шепнулъ.

«Нѣтъ, что-жь, подсказывать не надо».

— Вы напрасно затрудняетесь, сказалъ ученику одинъ изъ профессоровъ? «Юрія Милославскаго» читали?

— Читалъ.

— Что жъ тамъ — дѣйствительность или правдоподобіе?

— Дѣйствительность.

— Почему вы такъ думаете?

— Это историческій романъ.

«Нѣтъ, что-жь, дуракъ! Целожительный дуракъ», сказалъ отецъ-ректоръ и махнулъ рукою.

Исторія въ этомъ родѣ повторялась со многими. Едва доходило дѣло до объясненій и примѣромъ, ученики становились втупикъ.

Къ концу экзамена отецъ-ректоръ, какъ видно, утомился. Сталъ смыкать свои глаза и пропускать нелѣпые отвѣты мимо ушей. Ученики не преминули этимъ воспользоваться, однако одинъ попалъ впросакъ: заговоривъ объ органахъ чувствъ, онъ приплелъ сюда и память, и творчество, и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вотъ, сколько мнѣ помнится, образчикъ на выдержку: «Органы чувствъ» суть: глаза, уши, носъ, языкъ и вся поверхность тѣла. Заучиваніе бываетъ механическое и разумное... однакожь, бываютъ случаи, фантазія можетъ создать крылатую лошадь, не только тогда, когда

мы уже имѣемъ представленіе о лошади и крыльяхъ и сверхъ того... и... напрасно строгіе эмпирики отвергають въ насъ дѣйствительность ума, какъ высшей познавательной способности...»

— Такъ, такъ,—говорилъ отецъ-ректоръ, бессознательно кивая головою. Федоръ Федоровичъ не перебивалъ этой галиматьи, что было очень понятно.

«Вы просто говорите безобразную чепуху»,—замѣтилъ сидѣвшій на лѣво профессоръ.

— А? что, что? Повтори! и отецъ-ректоръ широко раскрылъ глаза. Ученикъ сталъ втупикъ.

— Ну, что-жъ, дуракъ! Вотъ я тебѣ и поставлю нуль. Пошелъ!..

Несмотря на эти маленькія непріятности, Федоръ Федоровичъ остался вообще нами доволенъ и, садясь со мною обѣдать, весело потеръ руки и сказалъ: «Ну, слава Богу! экзаменъ нашъ сошелъ превосходно... какъ ты думаешь?»

— Хорошо,—отвѣчалъ я съ улыбкою.

«Промахи, конечно, были, но... пододвинь ко мнѣ горчицу». Я пододвинулъ... «Гдѣ-жъ этого не бываетъ?»

„И въ самомъ солнцѣ пятна есть“.

17.

Экзамены продолжаются. Въ общихъ чертахъ они похожи одинъ на другой и только отличаются нѣкоторыми оттѣнками, смотря по тому, кто экзаменуетъ — отецъ-ректоръ или инспекторъ. Послѣдній не дремлетъ за своимъ столомъ, вѣтъ!... Лицо его выражаетъ какое-то злое удовольствіе, когда ему удастся сбить кого-нибудь съ толку. И, Боже сохрани, если онъ не благоволитъ къ наставнику экзаменующихся! Тогда вся его злоба обращается на учениковъ, которыхъ онъ мѣшаетъ съ грязью, и въ то же время язвить ихъ наставника разными ядовитыми намеками и двумысленною учтивостію. Къ счастью, онъ не экзаменуетъ по главнымъ предметамъ, но по исторіи, языкамъ и т. д.

«Переводи!» говоритъ онъ ученику, который стоитъ передъ нимъ съ потупленною головою и съ Лактанціемъ въ ругахъ. «Переводи!»

что-жъ ты молчишь, какъ стѣна?...» И впивается въ него своими сѣрыми, сверкающими глазами.

— Душа, буду... будучи обуреваема страстями и... и...

«Далѣ!»

— Страстями... и...

«Что-жъ далѣ?»

— И не находи опо... опоры.— Ученикъ чуть не плачетъ.

«Оселъ! У тебя и голосъ-то ослиный!» И онъ передразниваетъ ученика: «Обуреваема... Гдѣ ты нашелъ тамъ обуреваема? Лѣнь, тебя, осла, обуреваетъ, вотъ что! Почему ты цѣлую недѣлю не ходилъ въ классъ?»

— Боленъ былъ.

«Видишь, какой у него базище... боленъ былъ...» Опять передразниванье. «Отчего-же ты не явился въ больницу?»

— Я полагалъ... я думалъ, что на квартирѣ мнѣ будетъ покойнѣе...

У малаго наворачиваются слезы.

— Ей-Богу, я былъ боленъ лихорадкою. Спросите у моихъ товарищей и, если я солгалъ, накажите меня, какъ угодно.

«А! ты покой любишь... хорошо! Вотъ тебя исключать къ вакаціи, тогда насладишься покоемъ: цѣлый вѣкъ будешь перезванивать въ колокола».

И вслѣдъ за этимъ предлагается вопросъ наставнику:

«Онъ у васъ всегда таковъ, или, можетъ быть, на него періодически находить одурѣніе?»

— Что дѣлать! Особенныхъ способностей онъ не имѣетъ, но трудится усердно и успѣваетъ, сколько можетъ. Кажется, онъ сробѣлъ немного...

«Все это прекрасно, т.-е. вы очень великодушны, но все это ни къ чему не ведетъ. Мнѣ кажется (по крайней мѣрѣ, я такъ думаю, вы меня пожалуйста извините: можетъ быть, я ошибаюсь), мнѣ кажется, было бы сообразнѣе съ дѣломъ видѣть его въ началѣ не 2-го разряда, какъ онъ у васъ стоитъ, а въ концѣ 3-го. Впрочемъ, вѣроятно вы имѣете на это свое основаніе».

Наставникъ проглотилъ позолоченную пилюлю и сталъ извиняться, что онъ ошибся, и увѣрялъ, что на будущее время онъ постарается быть болѣе осмотрительнымъ.

Послѣ класса я заходилъ за книгою къ своему товарищу, который живетъ въ семинаріи на казенномъ содержаніи. Мнѣ случилось быть въ первый разъ въ номерѣ бурсаковъ. Эго огромная высокая комната, по наружности похожая на наши классы, съ тою разницею, что она, хоть и экономно, но все же ежедневно отапливается. Вокругъ обтертыхъ спинами стѣнъ стоятъ деревянныя, топорной работы кровати. Простынь на нихъ нѣтъ; подушки засалены; старые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенными, разодранными одѣялами. На полу пыль и соръ. И какой полъ! Доски стерты каблуклами, и только крѣпкіе суки упорно противятся сапогамъ и времени и поднимаются со всѣхъ сторонъ бугорками. Между досокъ щели. Въ углу — отверстіе: смѣлыя голодныя крысы не побоялись прогрызть казенное добро!.. Окна запушены снѣгомъ и такъ плотно, что самому зоркому глазу невозможно видѣть, что дѣлается на улицѣ и даже есть-ли здѣсь улица. Сявось разбитыя и кое-какъ смзанныя стекла порядочно подуваетъ холодомъ, но я не слышалъ, чтобы кто-нибудь жаловался: кажется, здѣсь ко всему привыкли. Покамѣсть мой товарищъ доканчивалъ выписку изъ моей книги, я присѣлъ на его кровать. Ничего! матраць не жестче доски, стало-быть, на немъ еще можно спать. Ученики сновали взадъ и впередъ по комнатѣ. Одинъ полураздѣтый, въ толстомъ и грязномъ бѣльѣ, лежалъ на своей кровати съ глазами, устремленными ѿна тетрадку, и съ видимымъ удовольствіемъ доѣдалъ кусокъ чернаго хлѣба. Другому захотѣлось покурить. Курить не велятъ, поневолю поднимаешься на хитрости. Онъ поставилъ къ печкѣ скамью, открылъ вверху заслонку и, стоя на скамѣ, пускалъ дымъ въ трубу. Вотъ я почувствовалъ что-то непріятное у себя на шеѣ, хватъ — хлопъ! Этакая мерзость! Воображаю, какъ было бы покойно провести здѣсь ночь...

«Ты докончилъ выписку?» спросилъ я у своего товарища.

— Докончилъ.

«Каково вы тутъ поживаете?»

— Ничего. Семья, братъ, большая: 20 человекъ въ одной комнатѣ.

«А какъ у васъ распредѣлено время?»

— Утромъ бываетъ общая молитва и всѣ мы поемъ. Потомъ одинъ становится къ налоу и прочитываетъ нѣсколько молитвъ. Послѣ класса позволяется немного отдохнуть. Уроки учимъ въ залѣ. Вечеромъ опять общая молитва. Кто хочетъ, и послѣ ужина можетъ заниматься, прочіе ложатся спать. Ты никогда не былъ у насъ въ столовой?

«Никогда. Я думаю тамъ почище, чѣмъ здѣсь?»

— Чистота одинакова. А воздухъ тамъ хуже: изъ кухни, вѣрно, чѣмъ пахнетъ. Просто—вонь!

«Какъ же вы тамъ садитесь за столы?»

— Извѣстно какъ, по классамъ; словесники особо, мы особо, богословы тоже особо. Богословы ѣдятъ изъ каменныхъ тарелокъ, мы и словесники изъ оловянныхъ; ложки деревянные, да такія, братъ, прочныя, что въ каждой будетъ полфунта вѣсу. Сторожа разносятъ щи и кашу. Вотъ тебѣ и все.

«Кушанье, стало быть, всѣмъ достается поровну?»

— Ну, нѣтъ. У богослововъ бываетъ побольше говядины, у насъ поменьше, у словесниковъ чуть-чуть. Первые ѣдятъ кашу съ коровьимъ масломъ; у насъ она пахнетъ только коровьимъ масломъ; у словесниковъ ничѣмъ не пахнетъ. Каша, да и только.

«А въ постные дни что-же подаютъ?»

— Кислую капусту съ квасомъ. Щи изъ кислой капусты. Къ кашѣ выдается конопляное масло въ томъ же родѣ, какъ и коровье.

«А блины на сырной бываютъ?»

— Иногда бываютъ. Крупны ужъ очень пекутъ: однимъ блиномъ сытъ будешь.

«И съ коровьимъ масломъ?»

— Съ коноплянымъ. Иногда съ коровьимъ—для запаха.

«Это вѣрно не то, что дома...»

— Ничего. Былъ бы хлѣбъ, живъ будешь. У меня и дома-то

ѣдятъ не больно сладко. Отецъ у меня пономарь; доходы извѣстные: копѣйка да грошъ, да и тотъ не сплошь.

Послѣ этого разговора я шелъ въ раздумьи вплоть до моей квартиры, и комната моя, послѣ нумера, въ которомъ я былъ, показалась мнѣ уютною и чистою.

## 21.

У насъ производится теперь раздача билетовъ, безъ которыхъ ученики не имѣютъ права разѣзжаться по домамъ. Мнѣ всегда бываетъ пріятно толкаться въ это время въ корридорѣ, въ толпѣ товарищей, всматриваться въ выраженіе ихъ лицъ, и угадывать по немъ невидимую работу мысли. Получившіе билеты весело сбѣгаютъ по широкой, грязной лѣстницѣ отъ инспектора, который ихъ выдаетъ. Вотъ одинъ останавливается на бѣгу и съ безпокойствомъ ощупываетъ свой боковой карманъ: тутъ ли его дорогая бумага? не обложился ли онъ какъ-нибудь второпяхъ? И вдругъ оборачивается назадъ и вновь бѣжитъ наверхъ; вѣрно, еще что-нибудь забыто. Другой спускается съ лѣстницы съ потупленною головою и нахмуренными бровями. «Ну, что?» спрашиваетъ его товарищъ. «Послѣ велѣлъ придти. Говорить, некогда...». «А за тобою прислали изъ дома?» — То-то и есть, что прислали. Работнику дано на дорогу всего 30 коп., вотъ лошадь и будетъ стоять безъ сѣна, если тутъ задержать.—Подлѣ меня разговариваютъ два ученика: «Что жъ ты, пріятель, не ѣдешь домой?» — Зачѣмъ? Пьянства я тамъ не видалъ? Мнѣ и здѣсь хорошо. — «Нашелъ хорошее! Что-жъ ты будешь дѣлать?» — Спать — кромѣ нечего. У меня, братъ, на квартирѣ... — Онъ пошепталъ своему пріятелю что-то на ухо. «Въ самомъ дѣлѣ?» Честное слово. — «И хорошенькая?» — Ничего, не дурна. — «Вотъ онъ!» сказала Мельхиседекъ, показывая свой билетъ. — Часъ добрый, отвѣчалъ я: а что инспекторъ не сердитъ? — «Ни то ни се: говорить, какъ водится, напутственные слова. Ты, дескать, лѣнтяй и часто не ходилъ въ классъ; тебя нужно бы не домой отпустить, а посадить для праздника на хлѣбъ и на воду. Ты на прошлой недѣлѣ смѣялся въ классъ. Помни это! я до тебя доберусь». А меня называлъ умнымъ малымъ. «Ты, говорить, ведешь себя скромно. Это

я люблю. Смотри, не заразишься дурными примѣрами». Я выслушалъ его съ видомъ глубочайшаго почтенія, отдалъ низкій поклонъ, да и вонъ.

И поѣдутъ они теперь въ разныя стороны, въ разныя деревушки и села. Какъ-то неволью представляются мнѣ знакомыя картины. Широко, широко раскинулось свѣжное, безлюдное поле. По краямъ сѣрое, туманное небо. Въ сторонѣ чернѣется обнаженный лѣсъ. На косогорахъ качаются отъ вѣтра сухія былинки. Надъ оврагами уродливыми откосами нависъ сугробъ. По лугамъ неправильными рядами поднимаются свѣжныя волны. Вокругъ печальная, безжизненная тишина. Слышенъ только скрипъ полозьевъ и туго натянутой дуги. Среди этой пустыни ѣдетъ иной горемыка въ легкомъ и тонкомъ тулупишкѣ. Морозъ пробираетъ его до костей. На бровяхъ и рѣсницахъ нарастаетъ иней. Жгучій вѣтеръ колетъ иглами открытое лицо. Сани медленно ныряютъ изъ ухаба въ ухабъ. Тощая кляча съ трудомъ вытаскиваетъ изъ глубокаго снѣга свои косматыя ноги. И вотъ наступаетъ холодная, холодная ночь. Синее небо усыяно звѣздами. По снѣгу, при яркомъ свѣтѣ мѣсяца, перебѣгаютъ голубые и зеленые огоньки и видны свѣжіе слѣды недавно пробѣжавшаго зайца. Безконечная даль пропадаетъ въ туманѣ, и сквозь этотъ туманъ тускло мерцаетъ одинокая красная точка: вѣрно, еще не спятъ въ какой-нибудь дымной и сырой избенкѣ. Тпрръ! говоритъ кучеръ и съ бранью оставляетъ свое мѣсто. «Что тамъ такое?» спрашиваетъ сѣдокъ. «Супонь лопнула...» — Ахъ, Господи! что это за наказаніе!.. — Бѣдняга выскакиваетъ изъ саней и бѣгаетъ около нихъ, похлопывая оостенѣвшими руками, покамѣстъ исправляется старая, истасканная упряжь.

Я остаюсь здѣсь потому, что ѣхать слишкомъ далеко. Книгъ у меня будетъ довольно, а съ ними я не соскучусь. И какъ бы сталъ я, коротать въ деревнѣ праздничные дни? Батюшка, по обыкновенію, съ утра до ночи ходитъ со двора на дворъ съ крестомъ и святою водою и возвращается усталый съ собранными курами и червямъ, печенымъ хлѣбомъ. Со стороны малушки немедленно слѣдуютъ вопросы: кто какъ его принялъ и что ему далъ. Куры взвѣшиваются



на рукахъ и при этомъ, разумѣется, не обходится безъ нѣкоторыхъ замѣчаній. «Вотъ, молъ, смотри, что эта за курица? Воробей воробьемъ!.. Матрена, говоришь, дала?»—Она, она, отвѣчаетъ батюшка, насупивая брови. «Экая выжига! экая выжига!» Христовслаго хлѣба у насъ собирается довольно. Часть его обращается на сухари для собственнаго употребленія, часть идетъ на кормъ домашней скотинѣ.

Когда-то и я вмѣстѣ съ батюшкою ходилъ по избамъ мужичковъ въ качествѣ христовслага и бойко читалъ наизусть какія-то допотопныя вирши, Богъ вѣсть, когда и гѣмъ написанныя, со всевозможными грамматическими ошибками и переходящія изъ рода въ родъ безъ малѣйшаго измѣненія. «Вишь, какъ тачаетъ!» бывало скажетъ иной мужичекъ: «сейчасъ видно, что поповичъ. Нечего дѣлать, надо и ему дать копѣечку...»

Впрочемъ, къ чему я объ этомъ говорю? Воспоминанія, изволите ли видѣть, воспоминанія... Это, что называется, чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

29.

Человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ: я надѣялся провести свое праздничное время за книгами, а вышло не такъ. Григорій заболѣлъ наканунѣ Рождества простудою и слегъ въ постель, которую пришлось ему занять въ сырой угарной кухнѣ, на жесткой сосновой лавкѣ. На больного никто не обращалъ особаго вниманія. Кухарка тотчасъ послѣ обѣда наряжалась въ пестрое, ситцевое платье, завивала на вискахъ косички, уходила въ гости къ какому нибудь свату или куму, возвращалась уже вечеромъ румяною, веселею и разговорчивою. «Вставай!» говорила она мальчугану, который съ трудомъ переводилъ свое горячее дыханіе: «что ты все лежишь, какъ колода? Не хочешь ли щей?» Больной отрицательно качалъ головою и оборачивался къ стѣнѣ. «Ну, наплевать! была бы честь приложена, отъ убытку Богъ избавить...» И баба запѣвала вполгласа не совсѣмъ пристойную пѣсню. Федоръ Федоровичъ раза два посылалъ меня къ нему съ чашкою спитого, жиденъкаго чая. Пусть, говорить, выпьетъ. Это здорово. Скажи, что я приказываю. Но ма-

мый не слушался и со слезами на глазахъ просилъ у меня холоднаго квасу. Ключъ отъ погреба постоянно хранился въ кабинетѣ Ѳедора Ѳедоровича: я спѣшилъ къ нему съ докладомъ, вотъ, молъ, такъ и такъ. «Нѣтъ, отвѣчалъ мнѣ мой наставникъ, скажи ему, что онъ глупъ. Больному пить квасъ нездорово». И этимъ оканчивалось все попеченіе о бѣдномъ мальчуганѣ. Такимъ образомъ, волею-неволею, мнѣ пришлось замѣнить его должность, т. е. состоять на посылкахъ и исполнять разныя приказанія и прихоти моего наставника. Только-что я возьмусь за книгу, «Василій!» раздается знакомый мнѣ голосъ, — «сходи-ка на рынокъ и купи мнѣ орѣховъ, да смотри, выбирай, какіе посвѣжѣе». Орѣхи принесены, молотокъ, чтобы разбивать ихъ, поданъ, я опять берусь за книгу и читаю при громкомъ стукѣ молотка. «Василій! поди-ка собери скорлупу и вынеси ее на дворъ». Скорлупа вынесена, — я снова принимаюсь за книгу. «Василій! поди-ка вычисти мнѣ сапоги». И вотъ я развожу на старомъ чайномъ блюдечкѣ вакеу и чищу сапоги, а наставникъ мой покоится на диванѣ, заложивъ подъ голову свои руки, курить папироску и смотреть на потолокъ.

Теперь я окончательно убѣжденъ, что онъ строго слѣдитъ за ходомъ моего развитія. Сегодня за обѣдомъ у меня съ нимъ былъ слѣдующій разговоръ.

«Чѣмъ ты занимаешься?» спросилъ онъ меня, накладывая себѣ на тарелку новую порцію жаренаго поросенка.

— Читаю Фонъ-Визина.

«Читалъ бы ты что-нибудь серьезное, если ужъ есть охота къ чтенію, вотъ и была бы польза. Эти Фонъ-Визины съ братією отнимаютъ у тебя время. Что это за сочиненіе? Вымыселъ и больше ничего. Кажется, я говорилъ тебѣ, какія книги ты долженъ взять изъ нашей библіотеки».

Да, подумалъ я: просьбою о выдачѣ мнѣ этихъ книгъ я надоѣлъ библіотекаря такъ же, какъ надоѣдаетъ иной заимодавецъ своему должнику объ уплатѣ ему денегъ. Кончилось тѣмъ, что побѣда осталась на моей сторонѣ. Библіотекаръ, выведенный изъ терпѣнія, плюнулъ и крикнулъ съ досадою: возьми ихъ, возьми! Отвяжись, пожалуйста!..

— Я читалъ опытъ философіи Надеждина. Сухо немножко,—сказалъ я, стараюсь по возможности смягчить вертѣвшійся у меня въ головѣ отвѣтъ: темна вода въ облацѣхъ.

«Смыслишь мало, оттого и выходитъ для тебя сухо. А ты дѣлай такъ: если прочиталъ страницу и ничего не понялъ, опять ее прочитай, опять и опять... вотъ и останется что-нибудь въ памяти и не будетъ *сухо*. На послѣднемъ словѣ онъ сдѣлалъ удареніе. Очевидно, отвѣтъ мой ему не понравился.

«Чтеніе журналовъ», продолжалъ онъ: «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я самъ ихъ не читаю, а развѣ проигрываю отъ этого! Тебѣ, напримѣръ, дается тема: *знаніе и вѣдѣніе суть ли тождественны*, или: *въ чемъ состоитъ простота души*; ну, что же почерпнешь изъ журналовъ для своихъ разсужденій на обѣ эти темы! Ровно ничего. Нѣтъ, ты читай что-нибудь дѣльное, а не занимайся пустяками».

Послѣ этого разговора передо мною яенѣе обрисовалась личность моего почтеннаго наставника. Я мысленно поблагодарилъ себя за то, что пряталъ отъ него почти всякую книгу, и рѣшился, для устраненія между нами какихъ бы то ни было недоразумѣній, никогда не заводить съ нимъ разговора о томъ, на что онъ имѣетъ свой особенный взглядъ. Этотъ взглядъ и эта должность прислуги, которую здѣсь несю, до того мнѣ надоѣли, что я писалъ къ своему батюшкѣ, чтобы онъ, подъ какимъ нибудь благовиднымъ предлогомъ, перемѣнилъ мою квартиру, говоря, что я настолько выросъ и настолько понимаю все бѣлое и черное, что могу обойтись безъ посторонней нравственной опеки.

Января 6.

Здоровье Григорья поправилось. Онъ вынесъ тяжелую горячку и всталъ, несмотря на все, такъ сказать, благопріятныя условія къ переселенію въ лучшей міръ, какъ-то: скверное помѣщеніе, дурную пищу и отсутствіе необходимыхъ лѣкарствъ... «Отвалался!» говорить о немъ наша кухарка, и это слово я нахожу очень умѣстнымъ и вѣрнымъ. Однакожъ онъ еще такъ слабъ, что не можетъ исполнять своей обязанности, и я до сихъ поръ занимаю его мѣсто.

Богъ съ нимъ, пусть поправляется! Мнѣ пріятно думать, что мои хлопоты доставляютъ ему покой.

Передняя и гостиная моего наставника снова оживлены присутствіемъ извѣстныхъ личностей... Не знаю, какъ ихъ точнѣе называть... просителями, посѣтителями или гостями, — право не знаю. Иной вовсе ни о чемъ не проситъ: скажетъ только, что сынъ его прозывается Максимъ Часовниковъ, а онъ, отецъ его, принесъ вотъ пару гусей, и это короткое объясненіе закончить глубочайшимъ поклономъ: «извините, что, по своей скудости, не могу васъ ничѣмъ болѣе возблагодарить». Ему отвѣтятъ: «спасибо». Мѣсто удалившейся личности заступаетъ другая, которая подобострастно склоняетъ свою лысую голову и робко и почтительно протягиваетъ мозолистую руку, изъ которой выглядываетъ на Божій свѣтъ тщательно сложенная бумажка. «Осмѣливаюсь васъ беспокоить, благоволите принять...» — Напрасно трудились. Впрочемъ, я не забуду вашего вниманія, — равнодушно говоритъ Федоръ Федоровичъ и въ свою очередь протягиваетъ руку. Онъ дѣлаетъ это такъ естественно, какъ будто о бумажкѣ тутъ нѣтъ и помину, а просто пожимается рука доброму знакомому, при словахъ: «мое почтенье! какъ ваше здоровье?» Мое присутствіе нисколько не стѣсняетъ моего наставника: и какъ же иначе? Все это дѣло обыкновенное, не притязательное: хочешь — давай, не хочешь — не давай, по шеѣ тебя никто не бьетъ. Притомъ мнѣніе ученика (если бы, сверхъ всякаго чаянія, онъ осмѣлился имѣть какое-либо мнѣніе) слишкомъ ничтожно. Иногда меня забавляетъ нелѣпая мысль: что, думаю я, если бы въ одну прекрасную минуту я предложилъ моему наставнику такой вопросъ: въ какую силу принимаются имъ всѣ эти приношенія, и указалъ бы ему на разное *истіе* и *нитіе*? Мнѣ кажется, весь, съ ногъ до головы, онъ превратился бы въ живой истуканъ, изображающій изумленіе и, увы! потомъ разразились бы надо мною молнія и громы...

Съ наступленіемъ сумерокъ передняя опустѣла. Я вошелъ въ свою комнату и взялся за книгу.

«Василій!» крикнулъ Федоръ Федоровичъ.

— Что вамъ угодно?

«Прибери эти бутылки подъ столъ... знаешь, тамъ — въ моемъ кабинетѣ, а гусей отнеси въ чуланъ, запри его и ключъ подай мнѣ».

Я все исполнилъ въ точности и снова взялся за свое дѣло, а мой наставникъ, въ ожиданіи ужина, занялся игрою съ своимъ сърымъ котенкомъ. За ужиномъ, между прочимъ, онъ спросилъ меня:

«Что ты теперь читалъ?»

Этотъ часто повторяемый вопросъ, ей-Богу, мнѣ надоѣлъ.

— Слова и рѣчи на разные торжественные случаи, — отвѣчалъ я, удерживая улыбку, потому что безсовѣстно лгалъ; я читалъ, по указанію Яблочкина, переводъ *Венеціанскаго Купца* Шекспира, напечатанный въ Отечественныхъ Запискахъ, а Слова и Рѣчи лежали и лежалъ у меня на столѣ, служа своего рода громоотводомъ.

«Это хорошо. Однако ты любишь чтеніе!»

— Да, люблю.

Онъ обратился къ кухаркѣ: «завтра къ обѣду приготовь къ жаркому гуся. Сало, которое изъ него вытопится, слей въ горшочекъ и принеси сюда. Мы будемъ ѣсть съ кашею».

Авось хоть теперь Ѳедоръ Ѳедоровичъ успокоится, думалъ я, ложась на свою кровать и продолжая чтеніе *Венеціанскаго Купца*. Но за стѣною еще слышалась мнѣ протяжная зѣвота и полусонныя слова: Господи помилуй! что это на меня напало?.. И вотъ я пробѣгаю эти потрисяющія душу строки, когда жидъ Шейлокъ требуетъ во имя правосудія, чтобы вырѣзали изъ груди Антоніо фунтъ мяса. По тѣлу пробѣгаетъ у меня дрожь, на головѣ поднимаются волосы... «Василій! Василій! Или ты не слышишь?» раздается за стѣною громкій голосъ моего наставника.

— Слышу!— отвѣчалъ я съ тайною досадою:— что вамъ угодно?

Ты куда положилъ гусей?»

— Въ чуланъ.

«Да въ чуланъ-то куда?»

— На лавку!

«Ну, вотъ, я и угадалъ. Это выходитъ на съѣденіе крысамъ.

Возьми ключъ и все, что тамъ есть, гусей и поросятъ, развѣшай по стѣнамъ. Тамъ увидишь гвозди. Съ огнемъ, смотри, поосторожнѣе». И положилъ я Шекспира и пошелъ развѣшивать гусей и поросятъ. Не правда ли, хорошъ переходъ?..

9.

Наша семинарія опять закипѣла жизнью, или, по рѣзкому выраженію Яблочкина, шестисотоголовая, одаренная памятью, машина снова пущена въ ходъ. Все это прекрасно, не хорошо — только то, что стѣны классовъ, стоявшихъ нѣсколько времени пустыми, промерзли и покрылись инеемъ, а теперь, согрѣтыя горячимъ дыханіемъ молодого люда, заплакали холодными слезами. Пусть плачутъ! Отъ этого не будетъ легче ни имъ, ни тѣмъ учащимся толпамъ, которыя приходятъ сюда въ извѣстный срокъ и потомъ также въ извѣстный срокъ, въ послѣдній разъ, уходятъ и разсыпаются по разнымъ городамъ и селамъ.

И вотъ я сѣлъ и обращаю вокругъ задумчивые взгляды.

Опять все скамьи заняты плотно сдвинутыми массами народа. На столахъ разложены тетрадки и книги; едва отворится дверь, — изъ класса бѣлымъ столбомъ вылетаетъ влажный паръ и медленно рѣдѣетъ подъ сводами корридора. Холодно, чертъ побери! Бѣдныя ноги такъ зябнутъ, что сердце щемитъ отъ боли, и послѣ двухчасового, неподвижнаго сидѣнья, когда выходишь изъ-за стола, онѣ движутся подъ тобою, какъ будто какія-нибудь деревяшки.

Я помню, что въ училищѣ до нѣкоторой степени облегчали свое горькое положеніе въ этомъ случаѣ такимъ образомъ: когда продрогшіе ученики теряли уже послѣднее терпѣніе и замѣчали, что наконецъ и самъ учитель, одѣтый въ теплую енотовую шубу, потираетъ свои посинѣвшія руки и пожимаетъ плечами, — изъ отдаленнаго угла раздавался несмѣлый возгласъ: «позвольте погрѣться!..» Позвольте погрѣться! вторили ему въ другомъ углу, и вдругъ все сливалось въ одинъ громкій, умоляющій голосъ «позвольте погрѣться!..» И учитель удалялся иногда въ корридоръ, а чаще въ комнату своего товарища, который занималъ казенное помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ. Вслѣдъ за нимъ сыпались дружные звуки оглушительной дробн. Это-

то и было согрѣваніе: ученики, сидя на скамьяхъ, стучали во всю мочь своими окостенѣлыми ногами объ деревянный, покоробившійся отъ старости полъ. Между тѣмъ какой-нибудь шалунъ, просунувъ въ полутворенную дверь свою голову, зорко осматривалъ корридоръ. «Гдѣ учитель? Въ корридорѣ?» спрашивали его позади. «Нѣтъ. Ушелъ внизъ» — «Валяй, братцы! Валяй!..» И ученики прыгали черезъ столы на середину класса.

«Ну, ты! мокроглазый! Становись на поединокъ...» восклицаетъ одна голоостриженная бойкая голова и размахиваетъ кулаками передъ носомъ своего товарища.

— Становись! — говоритъ мокроглазый, притопывая ногой, — становись!

Разъ-два! разъ-два! и пошла кулачная работа.

Къ нимъ присоединяется новая пара горячихъ бойцовъ, еще и еще, — и вотъ валить уже стѣна на стѣну. Неучаствующіе въ бою и тѣ, которые успѣли получить подъ свои бока достаточное число пироговъ, стоятъ на столахъ и тѣлодвиженіями, и крикомъ одушевляютъ подвизающихся среди класса рыцарей. Избранный часовой стоить у дверей и сторожитъ приходъ учителя. «Тсс... тс...» говоритъ онъ, и ученики бѣгутъ на свои мѣста.

Учителя встрѣчаетъ въ дверяхъ облако густой пыли.

«А!» восклицаетъ онъ: «опять бились на кулачки!» и внимательно смотритъ по сторонамъ и замѣчаетъ у одного подбитый глазъ.

«А какъ ты смѣлъ биться на кулачки? А?»

— Я не бился, ей-Богу, не бился! — отвѣчаетъ плаксивый голосъ.

«Врешь, бестія! Пошелъ къ порогу».

И виновный безъ дальнѣйшихъ объясненій отправляется, куда ему приказано, распоясывается, растегиваетъ свой нанковый сюртучишко и такъ далѣе, и ложится на холодный полъ. Сидѣвшій у порога ученикъ, такъ называемый *сѣкуторъ*, съ гибкою лозою въ рукахъ, усердно принимается за свою привычную работу.

«Простите! простите!» разносится на весь классъ жалобный крикъ.

— Прибавь ему, прибавь!

И *стукторъ* прибавляетъ.

Операція кончилась, и наказанный, какъ ни въ чемъ не бываю, встаетъ, утираетъ слезы, подпоясывается, отдаетъ по заведенному порядку своему наставнику низкій поклонъ — благодарность за поученіе—и отправляется на мѣсто, замѣчая мимоходомъ одному изъ своихъ товарищей: я говорилъ тебѣ, такой-сякой, не бей по лицу: слякѣ будетъ... вотъ и выдрали.

Та-же самая потѣха повторяется и на слѣдующіе дни съ предварительнымъ условіемъ: «смотрите, братцы: по лицу чуръ не бить!» У насъ этого, благодареніе Богу, нѣтъ.

Но возвращаюсь къ дѣлу.

Что это за милый человѣкъ нашъ Яковъ Ивановичъ, профессоръ, читающій намъ русскую исторію!

Онъ смотритъ на исполненіе своей обязанности, какъ на что-то священное, и въ этомъ отношеніи заслуживаетъ безукоризненную похвалу. Въ классъ онъ приходитъ своевременно, спустя двѣ - три минуты послѣ звонка, при чтеніи молитвы молится усердно, и плотно захлопнувъ свою поношенную шубу, скромно садится за столъ. И вотъ развязываетъ свой клѣтчатый платокъ, и мы видимъ его неизмѣннаго спутника, можно сказать, его вѣрнаго друга, — старую, почтенной толщины книгу, въ прочномъ кожаномъ переплетѣ, съ краснымъ обрѣзомъ. Яковъ Ивановичъ вынимаетъ изъ кармана очки, дышетъ на нихъ, протираетъ платкомъ и осторожно надѣваетъ на свой носъ. Все это дѣлается не спѣша, не какъ-нибудь: сейчасъ видишь, что человѣкъ приступаетъ къ исполненію трудной обязанности, къ рѣшенію великой задачи. «Гм!.. гм!..» откашливается мужъ, поспѣвшій въ наукѣ, и развертываетъ книгу именно тамъ, гдѣ нужно. Ошибиться ему нельзя, потому что недочитанная страница каждый разъ закладывается продолговатою, нарочно для этого вырѣзанною, бумажкою, мѣсто же, гдѣ ударомъ звонка было закончено чтеніе, отмѣчается слегка карандашемъ, который вытирается потомъ резиною. Какъ видите, все разсчитано благоразумно и строго. И начинается тихое мѣрное чтеніе. Читаетъ онъ полчаса, читаетъ часъ, порою снова протираетъ очки,



вѣроятно, глаза несчастнаго подергиваются туманомъ, и опять безъ умолку читаетъ, и нѣтъ ему никакого дѣла до окружающей его жизни, точно такъ-же, какъ никому изъ окружающихъ его нѣтъ до него ни малѣйшей нужды. Ученики занимаются тѣмъ, что имъ нравится, или что они считаютъ для себя болѣе полезнымъ. Нѣкоторые ведутъ рассказы о своихъ взаимныхъ похожденияхъ и проказахъ, нѣкоторые переписываютъ лекціи по главному предмету, а нѣкоторые сидятъ за романами. Тутъ вы увидите разные романы, напр. «Шапка юродиваго», «Таинственный монахъ», «Фра-діаволо», «Япанча — Татарскій наѣздникъ» и т. под., но чаще всего увидите Поль-де-Кока и Дюма. Они пользуются у насъ особенною извѣстностію. Если чей-нибудь неосторожный возгласъ или смѣхъ прерветъ мѣрное чтеніе почтеннаго наставника, онъ поднимаетъ свои вооруженные глаза на окружающую его молодежь и громко скажетъ: «пожалуйста, не мѣшайте мнѣ читать!..» И продолжаетъ: «Ахъ! странно и дивно есть, ежели шли братъ на брата, сынове противъ отцовъ, рабы на господъ, другъ друга ищутъ умертвить и погубить, забывъ законъ Божій и преступя заповѣди Его, единаго ради властолюбія, иша братъ брата достоянія лишитъ, не вѣдуще, яко премудрый глаголетъ: ищай чужаго о своемъ возрыдаетъ! Изшедше же Юрій съ Ярославомъ и меньшими братьями, сталъ на рѣкѣ Гзѣ» (Рос. Истор. Татищева, изд. 1774 г., кн. III, стр. 389).

Если шумъ не унимается, наставникъ покраснѣетъ и громче прежняго повторитъ. «Не шумите! пожалуйста, не шумите! Не то, честное слово, я пушу кому-нибудь въ голову своюю книгою...» Эта угроза, конечно, никого не пугаетъ, тѣмъ болѣе, что сна никогда не приводится въ исполненіе. Но Яковъ Ивановичъ все-таки достигаетъ своей цѣли, т. е. въ классѣ наступаетъ непродолжительная тишина. Его боятся потому, что своимъ смиреніемъ и безответностію онъ успѣлъ себѣ снискать расположеніе нашего инспектора.

20.

Бѣдный Иванъ Ермолаичъ! Онъ совѣмъ спился съ кругу. Грустно было смотрѣть, въ какомъ видѣ пришелъ онъ сегодня вечеромъ къ

Федору Федоровичу. Шинель истакана, просто — дрянь! Подкладка порвалась, изъ — подъ изношеннаго коленкора выглядываютъ клочки грязной ваты. Сапоги на немъ — безъ калошъ. Этого мало: одинъ сапогъ лопнулъ, и оказывается, что онъ въ трескучіе морозы носитъ нитяные чулки. Какъ онъ терпитъ эту нужду, — ей-Богу, не понимаю!

Федоръ Федоровичъ принялъ его чрезвычайно холодно или, лучше сказать, грубо; не только не подалъ ему руки, даже не пригласилъ его сѣсть и ходилъ изъ угла въ уголъ, поигрывая махрами своего пояса и напѣвая себѣ подъ носъ какую-то пѣсню, какъ будто въ комнатѣ, кромѣ его, не было ни одной живой души.

«Знаете ли что, Федоръ Федоровичъ», сказалъ незванный гость, потирая свои синія, озябшія руки: «дайте мнѣ, пожалуйста, рюмку водки. Я, мочи нѣтъ, озябъ!»

— У меня ни капли нѣтъ водки. Я почти никогда ее не имѣю. — Иванъ Ермолаичъ подошелъ къ печкѣ, прикладывавалъ свои руки къ теплымъ кафлямъ и, обернувшись, прислонился къ ней спиною.

«Что же у васъ есть? Дайте хоть одну рюмку. Авось, убытку будетъ немного».

— Рому, пожалуй, я дамъ: есть немножко. Вѣдь, вы ужъ гдѣ-то выпили... довольно бы кажется.

«Да ну, — ради Бога, безъ наставлений! Давать, — такъ давай; нѣтъ, — Богъ съ тобой!»

Федоръ Федоровичъ пошелъ въ свой кабинетъ и вынесъ оттуда рюмку рому. Иванъ Ермолаичъ ее выпилъ и сѣлъ, облокотившись на столъ. Нѣсколько времени прошло въ молчаніи.

«Глупая исторія», сказалъ Иванъ Ермолаичъ: «глупѣйшая исторія!»

— Что такое? спросилъ Федоръ Федоровичъ.

«А вотъ что: на дняхъ я имѣлъ удовольствіе бесѣдовать съ отцомъ-ректоромъ и — остался въ дуракахъ».

— Я думалъ, случилось что — нибудь особенное, отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ, закуривая папироску и растягиваясь во весь свой ростъ на мягкомъ диванѣ.

«Теперь я все спрашиваю себя: за какимъ чортомъ я къ нему ходилъ?»

— Совершенно справедливо. Онъ уже не разъ намыливалъ вамъ голову; пора бы оставить его въ покоѣ.

«Что помиуйте! что-жь это такое? Чѣмъ я виноватъ?» вскричалъ Иванъ Ермолаичъ, поднимаясь со стула и вдругъ воодушевляясь. «Вотъ слушайте: ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, чтобы я составилъ имъ по своему выбору библиотеку, которою они могли бы постоянно пользоваться и, отъ времени до времени, ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошелъ къ отпущеннику и объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

«Вы, сказалъ онъ, спросились бы прежде у того, кто постарше васъ, тогда и собирали бы деньги».

— Денъги, отвѣчалъ я, мнѣ принесли собранными.

«Такъ, такъ. Ну, что-жь вы хотите купить?»

— Конечно, говорю я, чтонибудь для легкаго чтенія, напр. соч. Пушкина, романы Вальтеръ-Скотта, Купера...

«Ну, вотъ-вотъ! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вотъ Купера... Кто это такой Куперъ? О чемъ онъ писалъ? Нѣтъ, нѣтъ! романы намъ не годятся».

— Да, вѣдь, у насъ читають Польше Кока и т. под. Вѣдь, это помои! Не лучше ли дать ученикамъ что-нибудь порядочное.

«Нѣтъ, что-жь... Намъ это не годится. Вы ужь, пожалуйста, не ходите ко мнѣ впередъ съ такими пустяками. А деньги отайте назадъ, непременно отдайте».

— Помиуйте! возразилъ я, устройство библиотеки...

«Занимайтесь своимъ дѣломъ, вотъ-что! Мнѣ некогда пересыпать съ вами изъ пустого въ порожнее: До свиданія!..»

«Скажите по совѣсти, что-жь это такое?» заключилъ Иванъ Ермолаичъ.

— Не мое дѣло, отвѣчалъ Федоръ Федоровичъ. Всякій Еремѣй про себя разумѣй.

«И только?»

— Больше ничего.

Гость постоялъ въ раздумьи и сказалъ, какъ-то принужденно улыбаясь: «Честь имѣю кланяться, Федоръ Федоровичъ!..»

— Будьте здоровы... — Иванъ Ермолаичъ ушелъ.

«Гришка!» крикнулъ Федоръ Федоровичъ.

— Ась, отвѣчалъ мальчуганъ изъ передней.

«Ты видѣлъ вотъ этого барина, что сейчасъ отсюда вышелъ?»

— Видѣлъ.

«Если когда-нибудь онъ опять придетъ, скажи ему, что меня нѣтъ дома. Слышишь?»

— Слышу.

О, мой мудрый наставникъ! Еслибъ ты зналъ, какъ ты упалъ теперь въ моихъ глазахъ!..

25.

Я сейчасъ получилъ отъ батюшки письмо. Вотъ что, между прочимъ, онъ пишетъ: «Ты поменьше предавайся мечтательности. О перемѣнѣ своей квартиры до твоего перевода въ Богословіе думать не смѣй; ибо наставникъ твой приметъ сію перемѣну за обиду, и тебѣ придется тогда плохо. Ты пишешь, что онъ скупится давать тебѣ свѣчи, посылаю тебѣ денегъ; купи на нихъ свѣчь, но по пустому ихъ не трать; пустяковъ не читай и веди себя такъ, чтобы я былъ тобою доволенъ и чтобы худого о тебѣ ни отъ кого не слышалъ. На счетъ того, что ты ему прислуживаешь, я тебѣ скажу, что это еще не бѣда, ибо старшимъ себя повиноваться ты обязанъ»...

Итакъ, терпѣніе и терпѣніе. Объ этомъ говорятъ мнѣ не только всѣ окружающіе мѣня люди, но книги и тетрадки, которыя я учу наизусть, и, кажется, самыя стѣны, въ которыхъ я живу. Будемъ терпѣть, если нѣтъ другого исхода.

Далѣе батюшка пишетъ, что дьячокъ нашъ, Кондратьичъ, выѣхавшій куда-то со двора, подъ хмѣлькомъ, во время метели, — пропалъ и два дня не было о немъ ни слуху, ни духу. Лошадь его возвратилась домой съ пустыми санями. На третій день Кондратьича нашли въ полѣ въ снѣгу. Онъ замерзъ и лежалъ на боку, подогнувъ подъ себя ноги. Спину его занесло снѣгомъ. Изъ-за пазухи его тулупа вынута стеклянка съ виномъ и недоѣденный блинъ. Миръ его праху! говоритъ батюшка и прибавляетъ: впрочемъ, худая трава изъ поля вонь...

Миръ его праху! и я скажу въ свою очередь. Какъ знать? Можетъ

быть, и онъ былъ бы порядочнымъ человѣкомъ, если бы его окружала другая обстановка, другія лица. Умѣлъ же онъ сработать отличную телѣгу, выстругать раму, связать красивую, узорчатую клятку, никогда не учившись этому ремеслу...

Февраля 1.

И когда этотъ Яблочкинъ отдохнетъ хоть на минуту отъ своего безпрестаннаго горячаго труда? Онъ изучаетъ теперь нѣмецкій языкъ и началъ уже переводить Шиллера.

«Что ты, братъ, дѣлаешь», говорю я ему: «пожалѣй хоть немного свое здоровье...»

— Ничего, отвѣчалъ онъ, медленно поднимаясь со стула. Лицо его было блѣдно и грустно.—А грудь, душа моя, у меня все болитъ да болитъ. Боль какая-то глухая. Не понимаю, что это значитъ.— И онъ прилегъ на свою кровать.

«Давно ли ты сталъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ?» спросилъ я его, перелистывая отъ нечего дѣлать книгу Шиллера, въ которой не понималъ ни одного слова.

— Мѣсяца три. Выучилъ склоненія и глаголы и прямо взялся за переводъ. Трудно, Вася. По правдѣ сказать, мы не избалованы судьбою. Потому и кровью приходится расплачиваться намъ не только за каждый шагъ, но и за каждый вершокъ впередъ.

«А какъ идутъ твои занятія по семинаріи?»

— Можно бы сказать—не дурно, если бы къ нимъ не примѣшивались исторіи о тросточкахъ и тому подобное. Какъ ты думаешь? Ужъ не писать ли мнѣ по этому поводу, конечно, въ видѣ подражанія нашимъ темамъ, разсужденіе на тему своего собственнаго изобрѣтенія: «Зависитъ ли любовь къ занятіямъ отъ рода и обстановки самыхъ занятій, или можетъ быть возбуждаема исторіями разныхъ тросточекъ и тому подоб.?»

«Какая тросточка?» спросилъ я съ удивленіемъ: «что это за исторія?»

— Исторія очень простая. Одинъ изъ моихъ добрыхъ знакомыхъ заходилъ ко мнѣ за своею книгою, заговорился и забылъ у меня свою тросточку. Что ему за охота ходить зимою съ тростью, это

ужь его дѣло. На другой день я пошелъ къ нему за повою книгою и кетати захватилъ съ собою забытую имъ у меня вещь. Какъ видишь, все случилось весьма естественно. Только иду я по улицѣ, вдругъ навстрѣчу мнѣ попадается субъ-инспекторъ, въ своемъ неизмѣнномъ засаленномъ картузѣ и въ старенькихъ сапяхъ. «Стой!» сказалъ онъ, толкнувъ въ спяну своего кучера, и подошелъ ко мнѣ величественнымъ шагомъ. «Что это у васъ въ рукѣ?» спросилъ онъ меня, указывая перстомъ на несчастную тросточку. Я улыбуясь и пожалъ плечами. «Это камышевая трость», отвѣчалъ я. «Чему ты смѣешься?» сказалъ онъ, нахмуривая брови и перемѣняя множественное число личнаго мѣстоименія на единственное. «Чему? Развѣ ты не знаешь, что ты не смѣешь съ нею ходить? что это запрещено, а?» Дѣлать нечего: я рассказалъ ему, почему эта трость очутилась въ моей рукѣ. «Отчего-жъ ты не завернулъ ее въ бумагу, чтобы отнести ее просто подъ мышкою? Ясно, что ты врешь». Я извинился, что не догадался это сдѣлать, онъ нѣсколько успокоился, и мы разстались. Что ты на это скажешь? спросилъ меня Яблочкинъ въ заключеніе своего разказа.

«Что-жъ тутъ такое?» отвѣчалъ я: «случай весьма обыкновенный...»

— Нѣтъ, ты представь себѣ подробности этой сцены! сказалъ Яблочкинъ, вскочивъ съ своей кровати, и на щекахъ его загорѣлись два красныя пятна.—Вѣдь, это пронеходило на тротуарѣ, по которому шелъ народъ. Во все продолженіе нашего разговора я долженъ былъ стоять съ открытою головою и говорить почти шепотомъ, чтобы не привлечь на себя вниманія зѣвакъ. Неужели все это ничего не значить?

«Довольно, довольно!» сказалъ я съ улыбною: «перестань горячиться», и незамѣтно склонилъ разговоръ на его будущую, университетскую жизнь. Лицо Яблочкина просіяло. Онъ сталъ говорить мнѣ, съ какою любовію онъ возьмется тогда за новый трудъ; какъ весело и быстро будетъ пролетать его рабочее время; какъ усердно займется онъ уроками, которые обезпечать его существованіе и которыхъ навѣрное найдется у него много; съ какимъ удовольствіемъ, послѣ этихъ уроковъ, сядетъ онъ въ своей маленькой квартирѣ за кипящій самоваръ, съ стаканомъ чая въ одной рукѣ, съ книгою—

въ другой. „А когда, продолжалъ онъ, окончу курсъ и поступлю на службу (куда и чѣмъ,—я самъ еще не знаю, но все равно), когда у меня будутъ хоть какія-нибудь средства для жизни, первое, что я сдѣлаю,—составлю себѣ прекрасную, избранную библіотеку. У меня будутъ свои собственные Пушкинъ и Гоголь, у меня будетъ Гёте и Шиллеръ въ подлинникѣ, лучшіе французскіе поэты и прозаики. Если останутся свободныя минуты отъ службы, выучусь по-англійски, и у меня будутъ въ подлинникѣ Байронъ и Шекспиръ... А главное, душа моя, даю тебѣ мое честное слово, куда бы я ни попалъ, гдѣ бы я ни служилъ, никогда не буду мерзавцемъ. Останусь безъ хлѣба, умру нищимъ, но сдержу это честное слово. Вася! заключилъ онъ, крѣпко стиснувъ меня въ своихъ объятіяхъ: вѣдь, это будетъ рай, а не жизнь! понимаешь ли?...“ Онъ говорилъ, глаза его сіяли, на рѣсницахъ наворачивались слезы. Я подумалъ о своемъ будущемъ,—вспомнилъ слова Яблочкина: „нужно имѣть желѣзную волю, чтобы одиноко устоять на той высотѣ, и прочее...“ и стало мнѣ грустно, грустно! И вотъ давно уже ночь, а я все еще не могу сомкнуть своихъ глазъ и не могу взяться за какое-нибудь дѣло.

## 2.

Пословица говоритъ: утро вечера мудренѣе. Такъ или нѣтъ, но въ мишувшую почъ я многое перечувствовалъ и многое передумалъ. Отчего жъ и мнѣ не ѣхать въ университетъ? Неужели отецъ мой не уважить моей справедливой, моей горячей мольбы?.. Ну, мой милый Яблочкинъ, примѣръ твой на меня подѣйствовалъ. Конечно! будь что будетъ! Благослови меня, Господи, на честный трудъ. За дѣло, Василій Бѣлозерскій, за дѣло! Наверстывай теперь потерянное за зубрешьемъ время бессонными ночами! А ты, мой безсвязный и прерывчатый дневникъ, бѣдная отрада моей скуки, покойся, впредь [до усмотрѣнія. „Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра...“ Приведется ли мнѣ увидѣть въ тебѣ болѣе веселыя строки? . . . . .

24 Апрелья.

Весна, весна! Зимнія рамы вынуты. Въ моей комнаткѣ, проходя въ окно и упираясь въ подошву стѣны, горитъ золотая полоса яр-

каго солища. По стеклу ползеть и жужжить прославшая всю зиму муха. На дворъ громко чиркаютъ воробьи... но, увы! изъ окна, съ этого прозятаго задняго двора, все-таки нахвѣтъ навозомъ. Вблизи нѣтъ ни кусточка зелени. Только у соеѣда, склонивъ надъ досчатымъ заборомъ свои гибкія вѣтви, распускается одинокая старая ива.

Занятія мои подвигаются впередъ. Книгъ я прочиталъ много. Перевожу съ французскаго довольно свободно. Разумѣется, всѣмъ этимъ я обязанъ моему безцѣнному Яблочкѣ, который безпрестанно помогалъ и помогаетъ мнѣ своими совѣтами. Но, какъ онъ, бѣдный, худъ! у него блѣдное, истомленное лицо!

Бъ батюшкѣ я написалъ, что готовлюсь въ университетъ, что уже достаточно для этого сдѣлалъ. Просилъ у него благословенія на продолженіе начатаго мною дѣла, денегъ на покупку нѣкоторыхъ учебныхъ руководствъ, и на письмо это уронишь двѣ крупныя слезы. Посмотримъ, что онъ скажетъ.

1 Мая.

Утромъ ученики ходили къ отцу-ректору просить рекреаціи. Эти рекреаціи существуютъ у насъ съ незапамятныхъ временъ. Въ корридорѣ обыкновенно собираются по одному или по два ученика изъ каждаго отдѣленія (классы раздѣляются на два отдѣленія, въ словесности иногда на три) и держатъ совѣтъ: какъ умѣе приступить къ дѣлу? Черезъ кого бы узнать, — въ какомъ расположеніи духа находится теперь отецъ-ректоръ? И вотъ какой-нибудь богословъ отправляется развѣдывать, что и какъ, узнаетъ отъ келейника отца-rektора, или отъ другого близкаго къ нему лица, что все обстоитъ благополучно, что онъ веселъ и кушаетъ теперь чай. Богословъ съ сіяющимъ лицомъ сообщаетъ объ этомъ во всеуслышаніе толпы, и она подвигается впередъ. Богословы, какъ люди, имѣющіе болѣе вѣса, идутъ во главѣ: смиренныя словесники образуютъ хвостъ. Отцу-ректору доложили. Онъ вышелъ въ переднюю и съ улыбкою выслушалъ просьбу учениковъ. „Ну, что? Май мѣсяцъ наступилъ, а? Погулять хочется, а? хорошо, хорошо! Не будетъ ли дождя? все разстроится...“ Онъ обертывается къ своему келейнику. „Посмотри-ка въ окно.“ — Небо ясное, отвѣчаетъ келейникъ: дождя, кажется, не будетъ. —



„Позвольте, отецъ-ректоръ, погулять въ рошѣ“... говорить съ поклономъ курчавый богословъ. „Позвольте...“ съ поклономъ повторяетъ за нимъ нѣсколько голосовъ. „Ну, что-жъ. Хорошо, хорошо! Только вы того... въ рошѣ не шумѣть, пѣсень не распѣвать.... Вотъ и я прїѣду. А мячь-то есть у васъ, а? и лапта есть?“—Есть, есть,—съ улыбкою отвѣчаютъ ученики. „Ну, ступайте съ Богомъ, погуляйте. Май на тупилъ, а? Такъ, такъ! Хорошо!“

Мѣстность, на которой у насъ бываетъ рекреація, довольно живописна. На горѣ зеленѣетъ старая дубовая роща. Внизу выгнутыми колѣнами течетъ свѣтлая рѣка. За рѣкою раскидываются луга, блестя окаймленные камышемъ озера, въ которыхъ лозингъ купаетъ свои зеленныя вѣтви. Далѣе, поднимаясь надъ соломенными кровлями сѣрыхъ избышекъ, бѣлѣется каменная церковь. Ярko сверкаетъ на солнцѣ ея позолоченный крестъ и весело блеститъ обитый бѣлою жестью шпиль. Это пригородное село. За селомъ широко развертываются ровныя, покрытыя молодою рожью, поля; волнистою, необъятною скатертью уходятъ они вдаль и сливаются съ синевою безоблачнаго неба. Подлѣ рѣчи, со стороны города, мѣстность совершенно открыта. Подъ погами песокъ или мелкая трава. Въ сторонѣ тамъ-и-сямъ поднимаются кусты и мшистые пни срубленныхъ деревь, но они такъ далеко, что мячь, посланный самою сильною и ловкою рукою, никогда до нихъ не долетаетъ и падаетъ на виду. Здѣсь-то и бываетъ у насъ рекреація.

Словесники являются на мѣсто дѣйствія ранѣе всѣхъ, нѣкоторые тотчасъ послѣ обѣда. Къ 4-мъ часамъ пополудни вы видите уже цѣлую толпу, которая рассыпается по всѣмъ направлєніямъ, и въ молчаливо і доселѣ рошѣ перекликаются громкіе голоса. „Многая лѣта!“ гремитъ протяжно въ одномъ концѣ, и эхо отвѣчаетъ въ далекой, темной чащѣ: „мѣта!“ „Ахъ, что-жъ это за раздолье, семинарское житье!...“ слышатся съ противоположной стороны, и пробужденное эхо снова отвѣчаетъ: „житье!“ А небо такое безоблачное, такое синее и глубокое. Солнце льется золотомъ на вершины деревь, по которымъ перелетаютъ испуганныя людскими голосами птицы. Старые дубы перешептываются другъ съ другомъ и бросаютъ отъ себя узор-

чату ю тѣпъ. Вотъ оданъ ученикъ становится на избранное мѣсто, лѣвою рукою подбрасываетъ слегка мячъ и ударяетъ по немъ со всего размаха увѣсистою лаптою. „Лови!“ кричитъ онъ своимъ товарищамъ, которые стоятъ отъ него сажень на сто. Нѣсколько ловцовъ бросаются на полетъ мяча, который, описавъ въ синемъ небѣ громадную дугу, быстро опускается внизъ. „Поймаемъ!“ отвѣчаетъ голо-остриженная голова, поднимая на бѣгу свои руки, и... мячъ падаетъ за его спиною. „Эхъ, ты розиня!“ упрекаютъ его сзади: „и тутъ-то не умѣлъ поймать“. — „Чортъ его знаетъ! Мячъ вѣрно легокъ: его отнести вѣтромъ“. Направо, между кустами, краснѣется рубаха молодого парня, который, въ ожиданіи поживы, явился сюда изъ города съ кадкою мороженаго. Его низенькая шляпенка надѣта на бекрень. За поясомъ виситъ мѣдвѣный гребешокъ и бѣлое полотенце. Парня окружаютъ ученики. „А ну-ка, братъ, давай на копѣйку серебромъ. Да ты накладывай верхомъ... скупъ ужъ очень...“ — Кваску, кваску! и торопливо подошедшій квасникъ бойко снимаетъ съ своей головы наполненную бутылками кадку и утираетъ грязнымъ платкомъ свое разгорѣвшееся, облитое потомъ лицо. Число играющихъ въ мячъ постепенно увеличивается и раздѣляется на нѣсколько кружковъ, каждый съ своею лаптою и своимъ мечемъ. Но вотъ на дорогѣ сопровождаемый облакомъ сѣрой пыли показался знакомый намъ экипажъ. Его неуклюжій кузовъ, что-то среднее между коляскою и бричкою, неровно качался на высокихъ, грубой работы рессорахъ. Это былъ экипажъ отца-ректора. Плечистый, бородатый кучеръ, крѣпко натянувъ ременныя возжи, едва удерживалъ широкогрудыхъ вороныхъ, которые, съ пѣною на удилахъ, быстро неслись по отлогой равнинѣ. На запяткахъ, при всякомъ толчкѣ колеса, подпрыгивалъ бѣлокурый богословъ, любимецъ отца-ректора, бездарнѣйшее существо. Онъ впрочемъ добрый малый и не ханжа, что въ его положеніи большая рѣдкость. Позади, на трехъ дрожкахъ, ѣхали профессора. Отецъ-ректоръ вышелъ изъ экипажа, опираясь на руку своего любимца, который откинувшись ему подножку, и направился къ ближайшей группѣ учениковъ. Профессора слѣдовали за нимъ въ почтительномъ разстояніи. „Ну, что? играете, а? Играете? Это хорошо. Вотъ и деревья тутъ есть, и травка

есть... такъ, такъ. Играйте себѣ, — это ничего». Онъ обернулся съ улыбкою къ профессорамъ: „Развѣ подать имъ примѣръ, а? Примѣръ подать!“ — Удостоите ихъ... это не мѣшаетъ... — отвѣчало нѣсколько голосовъ. „Хорошо, хорошо! Давайте лапту“. Кто-то изъ учениковъ бросился за лежавшею въ сторонѣ лаптою и такъ усердно торопился вручить ее своему начальнику, что, разбѣжавшись, чуть не сбиль его съ ногъ. „Радъ, вѣрно, а? Ну, ничего, ничего...“ сказалъ начальникъ и взялъ лапту. „Извольте бить. Я подброшу мячъ!“ сказалъ одинъ изъ профессоровъ, и мячъ былъ подброшенъ. Послѣдовалъ неловкій ударъ — промахъ! другой — опять промахъ! Въ третій разъ лапта ударила по мячу, но такъ неуклюже, что онъ принялъ косо направленіе, полетѣлъ внизъ, сдѣлалъ нѣсколько безтолковыхъ прыжковъ и успокоился на желтомъ пескѣ. „Нѣтъ, нѣтъ! вы мячъ нехорошо подбрасываете, нехорошо... А бить я могу, право, могу“. — Не угодно - ли еще попробовать? отвѣчалъ профессоръ. — „Нѣтъ, что-жь... пусть молодежь играетъ. Мы лучше походимъ по рошѣ. Играйте, дѣти, играйте...“ и вмѣстѣ съ профессорами онъ скоро скрылся за стволами старыхъ дубовъ. „Многая лѣта!“ грянулъ въ рошѣ чей-то басъ, и опять отвѣчало эхо: „лѣта!“ Это непременно Поповъ ореть... экое горло! Достанется ему за это“, замѣтилъ стоявшій подлѣ меня ученикъ: „побѣгу его предупредить...“ И смѣтливый, добрый товарищъ полетѣлъ, какъ стрѣла, въ ту сторону, откуда пронесся звукъ знакомый его слуху. Кучеръ одного изъ профессоровъ, переваливаясь съ боку на бокъ и загребая песокъ своими пудовыми сапогами, лѣниво шелъ къ опушкѣ рощи. Въ рукахъ онъ держалъ завернутый въ бѣлую скатерть самоваръ и большой кулекъ съ закусками. Ученики продолжали игру въ мячъ, бѣгали въ запуски, хохотали, спотыкались и падали, стараясь другъ-друга посалить \*), и, за неимѣніемъ лучшаго, находили во всемъ этомъ большое удовольствіе. Съ наступленіемъ сумерокъ усталая толпа побрела въ раз-

---

\*) *Посалить* — ударить. Ударившій лаптою мячъ бѣжитъ въ сторону, поймавшій его, или просто подыавшій съ земли, наноситъ бѣглецу ударъ во что придется, — это и называется *посалить*. Случается, что подъ этотъ ударъ подвертывается и какой-нибудь профессоръ.

ныя стороны домой. Яблочкина на рекреации не было. Въ эти дни онъ особенно жаловался на боль въ своей груди.

Яблочкинъ лежитъ въ больницѣ. Докторъ сказалъ, что жить ему остается недолго. Кажется немного сказано, по... нѣтъ я не могу продолжать! Наконецъ и моя крѣпкая натура не выдержала. Черною кровью облилось мое бѣдное сердце, и сижу я, попкинувъ головой, и плачу, какъ ребенокъ. Жить ему остается недолго... Зачѣмъ я не могу отогнать отъ себя этой мысли? Нѣтъ, я не долженъ ее отгонять! Я былъ бы не человекъ, если бы позабылъ скоро это нежданное, неисправимое горе. Дитя, начавшее лепетать, дитя, страстно связанное къ своей матери и брошенное ею въ темномъ лѣсу, не можетъ такъ плакать, какъ я теперь плачу. Оно не можетъ такъ ясно понять свое безпомощное положеніе, сознать и представить себѣ весь ужасъ своего одиночества, какъ я теперь все это сознаю и понимаю. Вѣдь, Яблочкинъ — моя нравственная опора! Это — свѣтъ, который сіялъ передо мною во мракѣ, свѣтъ, за которымъ я подвигался впередъ по моей тяжелой и узкой тропѣ. Это — любовь, которая вѣяла на мою душу всѣмъ, что есть на землѣ прекраснаго и благороднаго... Господи! какъ же мнѣ не плакать!

Вотъ что вчера случилось. Яблочкинъ уже давно подалъ прошеніе и на дняхъ долженъ былъ получить увольненіе изъ духовнаго званія. Эта мысль заставила его держать себя нѣсколько независимѣе ко всѣмъ его окружающимъ. Вчера, во время перемѣны классовъ, онъ закурилъ въ корридорѣ папиросу и стоялъ, облокотившись рукою на перила лѣстницы, которая ведетъ въ комнаты инспектора. Меня тамъ не было. Говорятъ, что инспекторъ его увидалъ и позвалъ къ себѣ. Черезъ четверть часа Яблочкинъ вышелъ отъ него блѣдный, какъ полотно. „Принеси мнѣ, ради Бога, немножко воды“... сказалъ онъ первому попавшему ему на глаза товарищу и прислонился головою къ стѣнѣ, и все кашлялъ, кашлялъ, наконецъ ноги его подкосились, изъ горла показалась кровь. Его взяли подъ руки и отвели въ больницу.

Я узналъ объ этомъ только сегодня, попросилъ у Федора Фелюровича позволеніе оставить классъ и бросился къ моему другу. Онъ лежалъ на кровати въ бѣлой рубашкѣ. Ноги его были прикрыты сѣ-

рымъ суконнымъ одѣяломъ. Глаза смотрѣли печально и тускло. Бѣлосурые волосы въ безпорядкѣ падали на блѣдный лодъ.

„Здравствуй, Вася! Вотъ я и боленъ...“ сказалъ онъ, усиливаясь улыбнуться, и медленно протянулъ ко мнѣ свою ослабѣвшую руку. Голосъ его звучалъ какъ разбитый.

— Что-жъ такое! Богъ дастъ, выздоровѣешь, отвѣчалъ я, чувствуя, что слезы подступали къ моимъ глазамъ, и сознавая, что говорю глупость. Я давно подозрѣвалъ въ немъ чахотку и рѣшительно не зналъ, что сказать ему въ утѣшеніе. А развлечь его чѣмъ-нибудь я не умѣлъ, и къ чему? Яблочкинъ безконечно умнѣ меня и навѣрное лучше всѣхъ знаетъ свое положеніе. Мы молчали. Въ комнатѣ лежало нѣсколько больныхъ. Одинъ изъ нихъ, съ пластыремъ на ногѣ, читалъ вслухъ „Выходъ Сатаны“ и громко смѣялся. На прочихъ и вообще на обстановку больницы я не обратилъ вниманія: не до того мнѣ было.

Яблочкинъ поднялъ на меня свои грустные глаза: „У меня уже три раза шла горломъ кровь“, и снова опустилъ свою голову и о чемъ-то задумался. Я хотѣлъ было остановить этого дурака, хохотавшаго за книгою, но побоялся, что онъ заведетъ со мною какой-нибудь пошлый, грубый споръ и потревожитъ этимъ моего больного друга, и потому оставилъ свое намѣреніе.

Вошелъ докторъ, добрый и умный старикъ, котораго, за исключеніемъ наставниковъ, уважаетъ и любитъ вся семинарія. Онъ пощупалъ у Яблочкина пульсъ. Большой поднялъ на него вопросительный взглядъ. „Ничего, молодой человекъ. Все пройдетъ! бросьте на нѣкоторое время свои занятія, — и будете молодцомъ“. Онъ что-то ему прописалъ и отдалъ рецептъ фельдшеру. „Что прописано?“ спросилъ я у послѣдняго. „Лавро-вишневая капля“. Лѣкарство самое невинное, подумалъ я: видно, нѣтъ никакой надежды. Докторъ сталъ осматривать другихъ больныхъ и, проходя мимо меня, уронилъ свою перчатку. Давъ ему время удалиться въ сторону, я поднялъ ее и, приблизившись къ нему, едва слышно сказалъ, указывая глазами на Яблочкина: „позвольте узнать, каково положеніе вонъ этого больного?“ — „Ему жить недолго, отвѣчалъ онъ, принимая отъ меня перчатку и

слегка кивая мнѣ головой. Организмъ его слишкомъ истощенъ, да кромѣ того, вѣроятно, съ нимъ было какое то потрясеніе“... — „Что тебѣ говорилъ докторъ?“ спросилъ меня Яблочкинъ, внимательно всматриваясь въ выраженіе моего лица, которое измѣняло моему спокойному голосу. „Говорить, отвѣчалъ я, что болѣзнь твоя не опасна“... — „Согалъ ты, Вася, да все равно... Зайди, душа моя, на мою квартиру и попроси старушку, чтобы она прислала мнѣ немощко чаю и сахару. Ёсть я ничего не хочу; все пить хочется. А ты будешь меня провѣдывать?“

„Буду, буду...“ отвѣчалъ я и спѣшилъ отвернуться, чтобы скрыть отъ него текущія по щекамъ моимъ слезы.

16.

Болѣзнь Яблочкина развивается быстро. Онъ едва, едва поднимаетъ отъ подушки свою голову. Сегодня я поилъ его чаемъ изъ своихъ рукъ. Бѣдняга шутилъ, называя меня своею нянею. „Только, говорилъ онъ, ты не смотри такъ тоскливо; больные не любятъ печальныхъ лицъ. Видишь, здѣсь и безъ того не весело“. Онъ указалъ мнѣ на грязный полъ, на мрачныя, Богъ вѣсть когда, покрытыя зеленою краскою стѣны и на тусклыя, засиженныя мухами, окна.

Я получилъ отъ батюшки письмо. „Ты, пишетъ онъ, со мною не шути! (Эти слова имъ подчеркнуты). Какъ я ни добръ, но исполнять твоихъ прихотей не стану. И никогда тебѣ не дамъ моего родительскаго благословенія ѣхать въ университетъ. Какой дуракъ внушилъ тебѣ эту мысль, и что ты нашель въ ней хорошаго? Я тебѣ сказалъ: ты долженъ пребывать въ томъ званіи“... и такъ далѣе, и такъ далѣе... Батюшка, батюшка! Ты говоришь: призванъ... А если, у меня недостаетъ силъ на исполненіе моего святого долга? Если, по чему бы то ни было, я утрачу сознаніе своего высокаго назначенія, заглохну и окаменѣю въ окружающей меня горькой средѣ? Чей голосъ тогда меня ободритъ? Чья рука меня подниметъ? На чью голову ляжетъ отвѣтственность за мои проступки?... Я не могу ни за что взяться: голова моя идетъ кругомъ. Между-тѣмъ у насъ начались повторенія къ годовому экзамену. Чтò со мною будетъ, не знаю.

23.

„Тебя зоветъ Яблочкинъ“, сказалъ мнѣ фельдшеръ, вызвавъ меня

изъ класса: „иди скорѣе...“ Сердце мое дрогнуло, я побѣжалъ въ больницу и осторожно подошелъ къ постели больного.

„Ты здѣсь?“ сказалъ онъ, открывая свои впалые глаза, подѣ которыми образовались синіе круги. „Умираю, Вася... все кончено!“ Онъ хотѣлъ протянуть мнѣ свою руку, но бесплпная рука, какъ плеть, упала на постель. Я сѣлъ подлѣ него на табуретку. Въ комнатѣ была тишина. Пасмурный день слабо освѣщалъ ея мрачныя стѣны. На дворѣ шелъ дождь; его крупныя капли, заносимыя вѣтромъ, звонко ударялись объ стекла. Яблочникъ дышалъ тяжело и не ровно.

„Коротка была, сказалъ онъ, моя жизнь, и эта бѣдная жизнь обрывается въ самую лучшую пору, какъ не допѣтая пѣсня на самомъ задушевномъ стихѣ. Прощай, университетъ! Прощай, мои молчаливые друзья, мои дорогія, любимыя книги!.. Ахъ, какъ мнѣ тяжело!.. Дай мнѣ, Вася, свою руку...“

Я понялъ, что приближается страшная минута.

„Другъ мой“, сказалъ я, не удерживая болѣе своихъ слезъ и тихо пожимая его холодныя пальцы: „теперь тебѣ не время думать о земномъ. Видно такъ угодно Богу, что выпадаетъ намъ та или другая доля. Его безконечная любовь имѣетъ свои цѣли...“

„Помоги мнѣ сѣсть“. Я поднялъ его и подложилъ ему сзади подушку.

„Хорошо“, сказалъ онъ: „спасибо .. Вася, Вася! У меня нѣтъ даже матери, которой я послалъ бы свой прощальный вздохъ. Я круглый сирота! На что мнѣ они — эти лица, которыя меня здѣсь окружаютъ? Какая у меня съ ними связь?“

— А развѣ я тебя не люблю? развѣ я не буду тебя помнить и за тебя молиться?

„Я знаю, знаю. У тебя добрая душа...“ Голова его была свѣшена на грудь, неопредѣленный взглядъ устремленъ въ сторону. Онъ говорилъ:

Чиста моя вѣра,  
Какъ пламя молитвы,  
Но, Боже! и вѣрѣ  
Могыла темна...

— Алеша! другъ мой! сказалъ я: зачѣмъ это сомнѣніе?

Онъ посмотрѣлъ на меня задумчиво. „Что ты сказалъ?“

— Зачѣмъ это сомнѣніе? повторилъ я.

„Эго такъ. Грустно мнѣ, мой милый! Слышишь, какъ шумитъ вѣтеръ? Эго онъ поетъ мнѣ похоронную пѣсню... Скажи моей доброй старушкѣ, что я ее любилъ и за все ей благодаренъ. То же скажи ея сыну. Пусть онъ учитъя. Тебѣ я дарю все мои книги и тетрадки. Ахъ, какъ мнѣ грустно!.. Дай мнѣ карандашъ и клочекъ бумаги“. У меня было въ карманѣ то и другое, и я ему подаль и положилъ на его колѣни какую-то попавшуюся мнѣ подъ руки книгу, чтобы ему удобнѣе было писать. Онъ сталъ неразборчиво и медленно водить карандашемъ. Послѣ пяти или шести написанныхъ имъ строкъ на бумагу упала съ его рѣсницы крупная слеза. Больной отдохнулъ немного и снова взялся за карандашъ.

. Усталъ я... сказалъ онъ, прикладывая ко лбу свою руку. «Возьми себѣ это на память о моихъ послѣднихъ минутахъ. Прочтешь дома“.

— Спасибо тебѣ, отвѣчалъ я и положилъ бумагу въ карманъ.

Вдругъ Яблочкинъ вздрогнулъ и остановилъ на мнѣ испуганный взглядъ.

„Кто это сюда вошелъ? Выгони его!“

— Здѣсь никого нѣтъ, мой милый. —Я сѣлъ къ нему на кровать и обнялъ его одною рукою.—Здѣсь никого нѣтъ...

„Какъ нѣтъ? Видишь, стоитъ весь въ черномъ... выгони его.“ Больной дрожалъ съ головы до ногъ. Я вскалъ, прошелся до двери и снова сѣлъ на свое мѣсто. «Я его вывелъ», сказалъ я.

«Ну, хорошо». Яблочкинъ положилъ ко мнѣ на плечо свою голову. Бредъ его усиливался.

«Горить!..» вдругъ онъ крикнулъ во весь голосъ и протянулъ впередъ свои исхудалыя руки. «Спасите!..»

— Что ты, что ты? успокойся!.. отвѣчалъ я, прижимая его къ своей груди.

«Стѣны горять.. Мнѣ душно въ этихъ стѣнахъ!.. Спасите!»

— Опомнись, опомнись, говорилъ я, и грудь моя надрывалась отъ рыданій.—Здѣсь все мирно. И чужихъ здѣсь никого нѣтъ. Это я сижу съ тобою, я—Василій Бѣлозерскій, другъ твой, готовый за тебя лечь въ могилу.



Дыханіе Яблочкина становилось все тише и тише. Руки холодѣли, но глаза припiali болѣе опредѣленное выраженіе.

«Это ты, Вася?»

— Я, мой милый.

«Ступай съ университетъ, а здѣсь...»

Голова его упала ко мнѣ на плечо. Я послушалъ, — не дышетъ!.. И тихо я опустилъ его на подушку, перекрестилъ, закрылъ ему глаза и склонился на колѣни у изголовія его кровати. И долго, долго текли изъ глазъ моихъ горькія слезы.

Вотъ что онъ написалъ мнѣ на память:

Вырыта заступомъ яма глубокая,  
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,  
Жизнь безпріютная, жизнь терпѣливая,  
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая—  
Горько она, моя бѣдная, пла  
И, какъ степной огонекъ, замерла.

Чте-же? Усни, моя доля суровая!  
Крѣпко закроется крышча сосновая,  
Плотно сырою землею придавится,  
Только однимъ человѣкомъ убавится...  
Убыль его никому не больна,  
Память о немъ никому не нужна!..

Вотъ она - слышится пѣснь беззаботная,—  
Гостыя погоста, пѣвунья залетная,  
Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается:  
Звонкая пѣснь серебромъ рассыпается...  
Тише!... О жизни поконченъ вопросъ,—  
Больше не нужно ни пѣсенъ, ни слезъ!

24 Августа.

Сейчасъ между моими учебными книгами мнѣ попался случайно забытый мой дневникъ. Первою моею мыслію было сжечь эти страницы, напоминавшія мнѣ столько горькаго. Но когда я пробѣжалъ нѣсколько строкъ, когда подумалъ, что въ нихъ положена часть моей жизни,— рука моя не поднялась на истребленіе этой бѣдной измятой тетради. Много протекло времени съ той минуты, когда умеръ мой незабвеп-

ный Яблочкинъ. Эготъ человекъ имѣлъ на меня непостижимое вліяніе. Онъ заставлялъ меня жить напряженною, почти поэтической жизнью. Умолкли его огненные рѣчи, положили его въ могилу, и, кажется, навсегда улетѣла отъ меня поэзія моей внутренней, духовной жизни. Все пришло въ обыкновенный порядокъ: мечты мои остыли, желанія не переходятъ за извѣстную черту. Успокойся! сказалъ я своему сердцу, — и оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась рѣзкая морщина, только голова моя клонится теперь ниже прежняго.

Въ домѣ у насъ не весело. Поля выжжены палящимъ зноемъ; всѣ хлѣба пропали. Неурожай въ полномъ смыслѣ этого слова. По улицѣ не скрипятъ, какъ бывало, съ снопами воза. При вечерней зарѣ никто не поетъ беззаботной пѣсни. Батюшка ходитъ печальный и угрюмый.

По пріѣздѣ моемъ сюда, я заговорилъ съ нимъ о моемъ намѣреніи поступить въ университетъ. „Видишь?“ сказалъ онъ, указывая мнѣ на обнаженные поля и на пустое наше гумно. „А до будущаго урожая еще далеко. Пожалуйста, не сердь меня пустяками: безъ тебя тошно...“

Переводный экзамень въ Богословіе я выдержалъ не совѣмъ хорошо. Вдругъ, послѣ смерти Яблочкина, мнѣ трудно было взяться за дѣло. Батюшка остался мною недоволенъ. „Жилъ ты, говоритъ, подъ надзоромъ профессора и едва удержался въ первомъ разрядѣ“. Однакожь я переведенъ. Прощаніе мое съ Федоромъ Федоровичемъ, у котораго жить болѣе я уже не буду, было довольно холодно. Опъ, конечно, ожидалъ отъ меня глубочайшей благодарности за всѣ его заботы о моихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ, но благодарять его, право, не стояло.

Моя будущая судьба теперь окончательно опредѣлилась. Пройдутъ еще два года трудовой однообразной жизни, и я приму на себя званіе духовнаго врача. Видитъ Богъ, намѣренія мои всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая о другой дорогѣ, заблужденіе мое было безкорыстно, мысль не заходила далеко и...

Я слышу голосъ батюшки, который зоветъ меня заплетать плетень, говоря: «все равно—ты сидишь безъ дѣла».

Довольно! Дневникъ мой оконченъ.



## ПРИМЪЧАНІЯ КЪ СТИХОТВОРЕНІЯМЪ.



1 — Стихотвореніе это напечатано было въ «Отечеств. Запискахъ» 1857 г. № 2, подъ названіемъ «Прогулка» (отрывокъ), — и, вмѣсто послѣднихъ пяти стиховъ, оканчивалось такъ:

Путь къ дому мѣсяць мнѣ укажетъ...  
Я знаю, что меня тамъ ждетъ,  
Что камнемъ на сердце мнѣ ляжетъ ..  
Какъ мраченъ дикій боръ стоитъ,  
Какъ листъ болѣзненно дрожитъ!  
Мой врагъ и тутъ не растается—  
Забота вѣчная со мной...  
Пришла, пугаетъ и смѣется,  
И говить на горе домой.

2 — Вотъ первая редакція этого стихотворенія:

Новой жизни заря—  
И тепло и свѣтло:  
О добрѣ говоримъ,  
Негодумъ на зло.

Раздаются, растутъ  
Золотыя слова,  
Засыхай-пропадай  
Ты, худая трава.

Дождался ты, порокъ,  
Приговора-суда,  
Не уйдешь ты теперь  
Отъ клейма, отъ стыда...

Полно, такъ-ли, друзья?  
Не притихъ-ли овъ гдѣ?  
Не взялся-ли ловить  
Рыбу въ мутной водѣ?

Гдѣ-жъ вы, слуги добра?  
Выходите впередъ,  
Подавайте примѣръ!  
Поучайте нагодъ!

Нашъ разумный порывъ,  
Нашу честную рѣчь  
Надо въ кровь претворить,  
Надо плотью облечь.

Надо твердой ногой  
Новый путь проложить,  
Да всѣ силы на немъ,  
Да весь умъ положить.

Какъ повѣрить словамъ,—  
Чудеса настаютъ,  
Прозираютъ слѣпцы  
И большые встаютъ.

Какъ приходитъ пора  
Трудъ тяжелый подыять,—  
Начинаетъ нашъ жаръ  
Остывать, потухать;

Тутъ и робость найдетъ,  
Тутъ и лѣнь, и дрема,—  
У разумныхъ головъ  
Нѣтъ ни силъ, ни ума!

3 — Въ «Рус. Бесѣдѣ», 1858 г., № IV, это стихотвореніе, названное «Ночь», имѣетъ такой вариантъ:

Звѣзды сыплются. Ткань облаковъ  
Серебрится при луиныхъ лучахъ;  
Ночь глядитъ изъ-за старыхъ дубовъ.  
Свѣтъ играетъ на сонныхъ листахъ.  
Синій воздухъ волнами плыветъ,  
Онъ прохладенъ, и свѣжъ, и душистъ;  
Ухо слышитъ, едва упадетъ  
Насѣкомымъ подточенный листь.  
Подъ кустомъ въ травѣ искра горитъ,  
Чей-то свистъ замираетъ вдали,  
Кто-то въ чащѣ весь въ бѣломъ стоитъ...  
Сказки дѣтства на умъ мнѣ пришли.  
Какъ при мѣсяцѣ кротокъ и тихъ  
У тебя милый очеркъ лица!  
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,  
Я-бъ продлить безъ конца, безъ конца...

4 — Стихотвореніе это имѣетъ большой біографическій интересъ. Оно написано (въ 1858 г.) по поводу обвиненія Никитина въ сочиненіи пасквиля на одно значительное лицо. Случай этотъ подробно разсказанъ въ біографіи поэта, и хотя онъ въ основаніи своемъ имѣлъ комическую подкладку, но не надобно забывать, что тогда Никитинъ былъ еще *безправнымъ* мѣщаниномъ. Купеческія права онъ приобрѣлъ только съ открытіемъ нижнаго магазина, въ 1859 году.

5 — Вотъ первоначальная, неизданная редакція этого стихотворенія:

#### РАДОСТЬ и КРУЧИНА.

Ахъ, у радости быстрыя крылья,  
Золотыя да яркія перья!  
Навѣститъ она, — ночь просіяетъ,  
Полумертвый встаетъ-оживаетъ!

Мудрено съ нею, рѣзвою, ладить:  
Косо взглянешь, — она испугалась;  
Полетить, — и стрѣлой не догонишь,  
Призывай-умолай, — не веротишь.

Тяжела, чериѣй тучи кручина:  
Подойдетъ, — бѣлый свѣтъ помутится;  
Прогонять, — непослушная злѣетъ,  
Съ нею жить — богатырь захирѣетъ.

Наладеть она—сердце измучить,  
Изожжетъ огонькомъ-невидимкой  
Не залить его крупной слезою:  
Онъ замретъ подь доской гробовою...

6 —Это стихотвореніе, читанное 9 апрѣля 1860 г. на литературномъ вечерѣ, данномъ въ пользу литературнаго фонда, тогда только что открытаго въ Петербургѣ, направлено противъ поэта Некрасова.

7 —По поводу этого стихотворенія вотъ что говоритъ самъ Никитинъ въ письмѣ къ Второму (26 декаб. 1860 г.): «*Портной*» — это фактъ, случившійся на-дняхъ.—Я зналъ его лично; но я, къ сожалѣнію, не зналъ о его страшномъ положеніи. Вотъ что бываетъ на свѣтѣ, а нашъ братъ еще смѣетъ жаловаться!» Портной этотъ—Тюринъ—находился въ сватовствѣ съ Никитинымъ и былъ послѣ смерти похороненъ имъ на свой счетъ. Дочь портного, Екатерина, по духовному завѣщанію Никитина, получила сороковую часть его имущества, т. е., 191 р. 62 коп.

8 —Читано на литературномъ вечерѣ, въ залѣ Дворянскаго собранія, 9-го апрѣля 1861 г. Это—послѣднее произведеніе Никитина, напечатанное уже послѣ его смерти.

9 —Надъ поэмою «Кулакъ» Никитинъ трудился почти два года (съ октября 1854 г. по сентябрь 1856 г.). Такая продолжительность работы объясняется, съ одной стороны, самымъ содержаніемъ поэмы—необходимостію изображенія бытовыхъ картинъ и обрисовки характеровъ дѣйствующихъ въ этой піесѣ лицъ; съ другой стороны, и тогдашнее положеніе Никитина, какъ поэта только начинающаго, еще не опредѣлившагося, вызывало его на эту продолжительность въ работѣ. Кромѣ того, не надобно забывать, что Никитинъ въ это время былъ еще подь сильнымъ эстетическимъ вліяніемъ своихъ друзей (изъ кружка Второва), которые вызывали его на частыя передѣлки, наконецъ, ему надоѣвшия, какъ это видно изъ письма поэта къ Второму отъ 2 августа 1857 года (См. I томъ, біограф., стр. 54). Что касается до друзей, то, независимо отъ ихъ расположенія къ Никитину и отъ ихъ ревности къ его доброму авторскому имени, суетливость ихъ критики и настойчивость ихъ совѣтовъ очень много зависѣли отъ того вліянія, которое производила тогда въ нашемъ образо-

ванномъ обществѣ комедія Островскаго «Свои люди—сочтемся!» такъ какъ Никитинъ въ своемъ «Кулакѣ» изображалъ почти тотъ-же бытъ, что и нашъ знаменитый драматургъ въ первой своей комедіи; поэтому друзьямъ Никитина, какъ-бы сами собою, являлись такія параллели, какъ между Таракановымъ и Подхалюзинымъ, между Сашей и Липочкой. «Кулакъ» имѣлъ три редакціи, кромѣ небольшихъ передѣлокъ. Въ нижеслѣдующихъ примѣчаніяхъ приводимъ варианты изъ второй редакціи «Кулака», въ которыхъ находятся нѣкоторыя новыя черты для характеристики «Саши», героини поэмы.

10 — „Охъ, Саша! То-то вотъ сокруха!  
Сказала мать: пусть я, старуха,  
Не вижу краснаго денька,  
Ты горюешь...“

— Будетъ горько:

И всходитъ и заходитъ зорька,—  
Кто веселъ, кто въ постели спитъ,  
А у меня смола кипитъ  
На сердцѣ...

„Вѣдомо, что жалко

И тяжело: столяръ-сосѣдъ  
Женихъ хорошій, слова нѣтъ,  
Къ тебѣ привыкъ... Да, вѣрно, палкой  
Намъ старика не понуждать;  
Вишь тянетъ дѣло!“

— Срамъ сказать:

Три раза сваха приходила,  
Отвѣта батюшки просила;  
Все отвѣчаетъ: погоди,  
Подумаю, на-дняхъ приди.  
Ужъ видно мнѣ такая доля!—  
„Дружочекъ мой! моя-ли воля?  
Просила честию, умоляла,  
Сосѣдъ, молю, трезвый, молодецъ;  
Ты знаешь самъ его съ-измала,—  
Смѣшаетъ съ грязью,— и конецъ!“

11 — Огарокъ салный потушень.  
Лукичъ храпѣлъ. Но все сидѣли  
И мать и дочь въ саду густомъ,  
И звѣзды трепетнымъ огнемъ



Надъ головами ихъ горѣли.  
Вокругъ, подъ зеленю кустовъ,  
Вершины сонныя деревъ  
Кудрями черными висѣли.  
Среди глубокой тишины,  
Лишь гостя робкая весны,  
На вѣткѣ вздрагивала птичка,  
Или порою по дворамъ,  
Разсвѣта вѣсть и тамъ-и-сямъ  
У пѣтуховъ шла перекличка.  
Но въ чашѣ хмурилася ночь,  
Смотря, какъ плачетъ, мать и дочь.

„Зарей я забнуть начинаю,  
Старушка молвила, крихтя:  
Старикъ храпитъ теперь, я чаю...  
Вставай, пойдемъ, мое дитя!  
Вотъ мы его поутру спросимъ,  
За что мы горе переносимъ...“

Веселый день сіялъ давно.  
Въ душистый садъ открывъ окно,  
Старушка варезку вязала  
И воздухъ утренній вдыхала  
Въ большую грудь. А самоваръ,  
Подъ потолокъ пуская паръ,  
При свѣтѣ солнца красовался  
И, грѣя чайникъ, потѣшался:  
То, какъ рабочая пчела,  
Жужжалъ, на мигъ не умолкая,  
То, словно жукъ, гудѣлъ баскомъ.  
Поспѣшно чашки вытирая,  
Сидѣла Саша за столомъ.

12 — „Я никогда изъ вашей воли  
Не выхожу. Теперь не въ мочь!  
За что свою родиую дочь  
Вы губите?“

— Да ты въ умѣ-ли?  
Ты съ кѣмъ изволишь разсуждать?—  
„Простите!.. Рада-бъ я молчать,—  
На сердцѣ слезы накопили!  
Вы принимали столяра,  
Какъ сына. Вы-ли не видали,  
Какъ мы другъ къ другу привыкали?“  
— Теперь раздумалъ,—и поди!

Отнынѣ моего порога  
Не смѣй онъ знать! Вишь рѣчь наша!

13 — Ихъ раздѣляла дверь одна.  
„Смотрушки завтра... Ночь осталась...  
Нарядятъ, выведутъ, а тамъ...“  
И кровь ей въ голову бросалась;  
„Нѣтъ, лучше умереть! къ моимъ слезамъ  
Не будетъ жалости“.

На цыпочкахъ переступая,  
Она прокралась по снѣгамъ  
Къ крылечку шаткому, а тамъ —  
Въ зеленый садъ.

Въ саду жужжанье,  
Веселый свистъ и пискотня,  
Чиликанье и щебетанье.  
Бурьянъ разросся у плетня;  
По яркой зелени сирени  
Перебѣгаютъ свѣтъ и тѣни;  
Приподнялся сквозной стѣной  
Межъ яблонь вишеникъ густой.  
Вонъ стволъ березы серебрится,  
Она пряма и высока,  
Отъ вѣтра шапка шевелится  
И вдоль протянута рука.  
И тутъ, и тамъ поникли ивы;  
Кругомъ трава, цвѣты,  
Дорожекъ узкіе извивы,  
На нихъ поблеклые листы.

14 — Печально Саша покидала  
Свой домъ. Одѣтая къ вѣнцу,  
Въ цвѣтахъ, безъ слезъ она рыдала  
И въ ноги бросилась къ отцу:  
„Простите! Можетъ, я грубила!...“  
— Прости меня! — отецъ сказалъ  
И крѣпко дочь поцѣловалъ.  
Старушка Сашу обнимала:  
„Дитя мое! Господь съ тобой!  
Будь счастлива въ семьѣ чужой!“  
Роня слезы, поправляла  
Повязку и цвѣты на ней, —  
И пара вороныхъ коней  
Невѣсту со двора умчала.



ПРИЛОЖЕНІЯ.

Приложенія къ соч. И. С. Никитина. Т. II.



I.

# КУЛАКЪ.

(въ первоначальномъ видѣ).



# КУЛАКЪ.

(ВЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВИДѢ).



I\*).

Садится солнце. Тучь громада  
Покрыта краской золотой.  
Рѣка зардѣлась. Жаръ дневной  
Смѣняетъ вечера прохлада.  
Вдоль гати тянется обозъ,  
Пестрѣютъ сѣно и солома,  
Рубахи, шапки ... У порома  
И шумъ, и крикъ за перевозъ.  
Кругомъ безлюдье. Свѣтлой сталью  
Блестить, заснувшая въ тиши,

\*) Картина города, которою начинается поэма (во всѣхъ трехъ редакціяхъ), принадлежитъ Воронежу, одному изъ живописнѣйшихъ губернскихъ городовъ Россіи. Видъ на городъ съ юго-восточной его части великолѣпный: городъ раскинулся по горамъ, у подошвы которыхъ широкою лавтою извивается рѣка Воронежъ, образующая небольшіе острова на всемъ двухверстномъ протяженіи между городомъ и слободою *Придачей*. На одномъ изъ этихъ острововъ, подъ самымъ городомъ, по лѣвой сторонѣ отъ моста, возвышается двухъ-этажное зданіе, такъ называемый *Цейхаузь*, — единственно

Вода озеръ; сквозь камыши,  
 Идутъ луга зеленой гладью;  
 За ними поле разлеглось,  
 Краями въ небо уперлось.  
 Вотъ глушь-то наша, глушь родная!  
 Въ поляхъ просторъ, что дымъ туманъ...  
 Въ туманѣ лѣсъ, село, курганъ,  
 Березка, тучка дождевая,  
 Дорога, нива да трава,  
 Небесъ пожаръ и синева.

И ты, рѣка, давно знакома...  
 Бывало, вырвешься изъ дома—  
 Скорѣй сюда! Прилежь въ траву,  
 И снятся дивы на яву...  
 Тамъ коршунъ плылъ подъ облаками—  
 И словно замеръ въ тишинѣ;  
 А тутъ въ прозрачной глубинѣ  
 Ракиты шевелятъ листьями,  
 Макушками всѣ внизъ растутъ;  
 Мартышки, ласточки снуютъ...  
 И съ золочеными крестами  
 Повисли церкви... Рай земной!  
 Вдругъ слышешь шумъ: надъ головой  
 Мгновенно утка промелькнула  
 И камнемъ въ озеро нырнула...

уцѣлѣвшая постройка временъ Петра Великаго. Нѣсколько  
 поодаль отъ Цейхгауза, видѣются съ гати и моста по-  
 стройки моекъ купца Капкашикова, расположенныя на дру-  
 гомъ островѣ. При Петрѣ Великомъ, эти острова соедини-  
 лись съ городомъ мостами. На нихъ и противоположномъ  
 берегу, близъ Успенской и Богословской церквей, сосре-  
 точивалась вся кипучая дѣятельность великаго Преобразова-  
 теля. Дворецъ его находился на мѣстѣ теперешнихъ моекъ;  
 жилища же его сотрудниковъ были расположены по близости  
 Успенской церкви.



А въ озерѣ— и рыбы плескъ,  
И отъ воды и солнца блескъ...  
О, дѣтство, дѣтство!.. Прочь съ дороги,  
Украдкой прожитая быль!  
Не подымай въ душѣ тревоги,  
Не отряхай забвенья пыль...  
Вонь, въ сторонѣ бѣлѣтъ зданье,  
Оно глядѣло въ свой чередъ  
На небывалое созданье,—  
Въ степной глуши рожденный флотъ.  
Въ тѣ дни здѣсь много было шуму,  
Здѣсь думалъ царственную думу  
Неутомимый человѣкъ.  
Тотъ шумъ утихъ... Гдѣ жизнь кипѣла,  
И былъ царя пріютъ простой,  
Купецъ усердною рукой—  
Одинъ почтилъ святое дѣло:  
Часовню выстроилъ и въ ней  
Затешилъ набожно елей.  
Всему пора. Идутъ постройки,  
Какъ въ старь, и въ наши времена...  
По берегамъ бѣлѣютъ мойки,  
Скирдами шерсть навалена.  
Подрось и городъ. Въ изголовье  
Онъ положилъ полей приволье;  
Плечами горы придавилъ,  
Ногой на берегъ наступилъ,  
И, ближнихъ сель дешевой данью,  
До пояса отъ головы,  
Покрылся каменною тканью  
На мѣсто грязи и травы \*).

---

\*) Рѣчь идетъ о превосходной гати, сооруженной между слободою „Придачей“ и Воронежемъ, при помощи крестьявъ, употребленныхъ въ работу за казенныя недоимки.

Но грустно, что въ семьѣ громадной  
 Высоко поднятыхъ домовъ,  
 Какъ нищѣ въ толпѣ нарядной,  
 Торчатъ избенки бѣдняковъ.  
 Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,  
 Онѣ ползуть по крутизнамъ  
 И смотрятъ тусклыми очами  
 На богачей по сторонамъ.  
 Того и жди: гроза подуетъ, —  
 И подлетятъ онѣ въ оврагъ...  
 Таковъ и домикъ, гдѣ горюетъ  
 Знакомый давній мой — Кулакъ.  
 Туда пѣшкомъ идти далеко,  
 Развернемъ самолетъ-коверъ —  
 И, прямо отъ рѣки широкой,  
 Перелетимъ къ нему на дворъ.  
 Ну, съ Богомъ, въ путь! Въ глазахъ мелькая,  
 Назадъ несется пестрота:  
 Заборы, кровли, ворота,  
 Оврагъ, тропинка, мостовая,  
 Калачникъ, окна кабака.  
 Телѣга съ гробомъ, двѣ дѣвчонки,  
 Зеленый садъ, стѣна, избенки,  
 Стой! Вотъ и домикъ Кулака.

Онъ старъ и на бокъ покосился,  
 Карнизъ подгнилъ и опустился,  
 Потрескалась, куда ни глянь,  
 На крышѣ скорченная дрань;  
 Растрепанными волосами,  
 Повисла пакля вдоль стѣны;  
 Изъ-подъ дырявой пелены,  
 Натасканная воробьями,  
 Солома съ перьями торчитъ.

Одно окошко внизъ глядитъ,  
Другое,—нѣтъ отъ крыши воли, —  
Взвилось бы прямо къ облакамъ;  
Въ немъ половинки красныхъ рамъ,  
Что вѣки красныя отъ боли,  
Мигають въ вѣтеръ...Глазъ—да вотъ  
Однѣхъ рѣсницъ не достаетъ...  
Растетъ трава вокругъ крылечка.  
Но садъ... Въ садъ послѣ завернемъ,  
Теперь мы въ горенку пойдёмъ.  
Она чиста. Икона, печка,  
Съ посудой шкафъ, сосновый полъ,  
Кровать подъ пологомъ, да столъ,  
Скамейка, лавка, стулъ безъ спинки,  
Комодъ пузатый подъ замкомъ...  
Все старина, за то соринки  
Тутъ не примѣтишь ни на чемъ.

## II.

Хозяйка добрая, здорово!  
Ты вѣчно съ варежкой въ рукѣ  
И въ этомъ бѣломъ колпакѣ.  
И все молчишь. Промолвишь слово  
Отъ скуки съ дочерью родной,  
Да и поникнешь головой.  
Печаль, домашнія невзгоды,  
Нужда тяжелая, да годы  
Повысушили до поры  
Тебя, какъ травушку, жары.  
Поникла голова, что колось,  
И побѣлѣлъ твой русый волосъ...  
Одна незлобная душа  
Осталась въ горѣ хороша.

И ты, красавица, съ работой  
 Сидишь, какъ мать, передъ окномъ:  
 Одной привычною заботой  
 Вы вѣчно заняты вдвоемъ.  
 Глядишь на улицу тоскливо...  
 Румянецъ яркій на щекахъ,  
 Но спицы движутся сонливо  
 И дремлетъ варежка въ рукахъ.  
 О чемъ тоска? Откуда скука?  
 Глаза—огонь, коса—смола,  
 Какъ бѣлый воскъ рука бѣла...  
 Простора нѣтъ? неволя—мука?..  
 „Постой, старушка говорить:  
 Гдѣ поминанье-то лежитъ,  
 Не знаешь, Сашенька?“

— Не знаю. —

„Вотъ надо на погость сходить  
 И панихиду отслужить —  
 То некогда, то забываю...“  
 — Задаромъ служить-то? —

„Все Богъ!

Я варежки продамъ!..“  
 — Богаты!..

А у меня вездѣ заплата,  
 Да башмаки скочили съ ногъ;  
 Пошла бы въ церковь, ради скуки, —  
 Суди!

„Отъ этого не стать

Родителей не поминать;  
 Покуда есть глаза да руки,  
 Нужда—не смертная бѣда...“

И мать умолкла. Тучь грядя  
 Въ огнѣ зори понакалилась,

Свернулась въ кучу, поплыла,  
И, померкая, за поля  
Горою темною скатилась.  
Неслышно тѣни подошли,  
Въ окошко медленно вползли,  
Въ углы и за кроватью стали.  
И мать и дочь давно молчали...  
Блеснулъ и мѣсяць, вѣстникъ сна,  
Но звуки спиць не умолкали:  
Имъ не знакома тишина

Поди ты, думала старушка:  
Скучаетъ дочь, невесела...  
Вѣдь, вотъ ребенкомъ-то была...  
Такая бойкая рѣзвушка, —  
И не уймешь ея никакъ!  
Бывало! утро чуть настанетъ,  
Плутовка куколки достанетъ,  
Толкуетъ съ ними: „Ты вотъ-такъ  
Сиди, ты, глупая дѣвчонка;  
Ты, барыня, сиди вотъ тутъ,  
А ты прислуга, старый плуть,  
Давай имъ чаю...“ И ручонкой  
Начнетъ ихъ эдакъ тормошить.  
Возьметъ подасть имъ на бумажкахъ  
Водицы въ желудовыхъ чашкахъ,  
И скажетъ: „ну, извольте пить,  
Вотъ чай...“ А вечеромъ, бывало,  
Къ себѣ подружекъ соберетъ,  
Болтаетъ съ ними, что попало,  
Хохочетъ, бѣгаетъ, поетъ...  
Вотъ словно колокольчикъ звонкій,  
Веселый смѣхъ и голосъ тонкій  
Въ обѣихъ горенкахъ звенить.

Отецъ, бывало, закричитъ:  
„Уймися, говорю, вострушка,  
Не то я больно посѣку!“  
Она присядетъ къ уголку  
И лобикъ сморщить, какъ старушка,  
И все молчить... Отецъ съ двора, —  
Опять потѣшная игра!  
Со стороны глядѣтъ — отрада...  
Да, правда, какъ и не скучать:  
Ей не съ кѣмъ слова-то сказать...  
Куда мы ходимъ? Тутъ, досада,  
Сосѣдъ къ намъ сваху засылалъ,  
Старикъ зачѣмъ-то отказалъ;  
А дѣвка-то была какъ рада!  
Женихъ съизмала ей знакомъ...  
О-охъ, бѣда мнѣ съ старикомъ!  
Однако темно. Надо свѣчку.  
И, вставъ, она открыла печку,  
Лучину тонкую взяла,  
И дуть на уголь начала.  
Черезъ минуту заскрипѣло  
За дверью шаткое крыльцо.  
Вошелъ Кулакъ. Его лицо  
Отъ зноя солнца загорѣло.  
Угрюмъ и зорокъ смѣлый взглядъ,  
Щетиной жесткою торчатъ  
Густыя брови. Лобъ широкой  
Изрытъ морщинами глубоко,  
И темень волосъ, но сѣда  
Подстриженная борода.  
Ростъ не великъ и не умалень,  
Упруги жилы крѣпкихъ рукъ,  
Картузъ расплющенъ и засаленъ,  
До пятокъ нанковый сюртукъ.

„Небось, усталъ? жена сказала:  
 Поди-ка руки-то умой...  
 Вотъ полотенце. Да водой  
 Не брызгай на полъ!“

Саша встала,  
 Въ ведеркѣ квасу принесла  
 И въ чашкѣ луку натолкла.  
 Кулакъ за столъ не торопился;  
 Сюртукъ на лавку положилъ,  
 Да сверху картузомъ накрылъ;  
 Снялъ галстухъ, сапоги, умылся  
 И сѣлъ съ семьею.

„Экой квасъ!..“

Старушка, сморщившись, сказала.  
 — Разборчива ты съ дочкой стала:  
 Не угодить самъ чортъ на васъ!  
 Отвѣтилъ мужъ.

„Перекрестися!

За хлѣбомъ такъ не говорятъ“.  
 —Вѣстимо. Ну, сама тудися,  
 Я старъ, всѣ кости ужъ болятъ...  
 Покуда я кормить васъ стану!—  
 „Ну—вотъ и хлѣба жаль теперь,  
 А сваху проводилъ за дверь...  
 Намъ меньше было-бы изъяну  
 Вдвоемъ-то жить“.

— Хорошъ совѣтъ.

Богатъ, къ примѣру, твой сосѣдъ? —  
 „Намъ богача-то дожидаться, —  
 Вѣкъ Сашѣ дѣвкою остаться“.  
 — Дождемся, можетъ быть, не плачь:  
 На наше поле сядетъ грачъ. —  
 „Все такъ, старикъ, да не грѣшно-ли..“  
 — Ну, дальше!..—

„Дочь-то принуждать!“  
 — Пересолила! Слышишь, мать?  
 Ну, да! Въ квасу-то много соли... —  
 „Пошло!.. Вы дайте хоть поѣсть!  
 Сказала дочь: попрекъ да ссора,  
 Минуты не пройдетъ безъ спора...  
 Вы думаете, вамъ и честь!“  
 — Молчать! не во время запѣла,  
 Смотри, языкъ не прикуси...  
 Поди—вотъ кашу принеси...  
 Вишь, умница! понаторѣла! —

Оконченъ ужинъ: каши нѣтъ,  
 Зато былъ съ кашею обѣдъ.  
 Лукичъ привсталъ, перекрестился,  
 На Сашу крупно побранился —  
 Зачѣмъ, дескать, досель окно  
 На улицу отворено,  
 И легъ. Но, занятый заботой,  
 Онъ думалъ думу съ полчаса,  
 Смыкая нехотя глаза,  
 Полуобъятые дремотой:  
 Ну, завтра ярмарка. Авось  
 На хлѣбъ добуду. Плохо стало:  
 Хлопотъ, что дровъ въ лѣсу,—не мало,  
 А прибыли отъ нихъ—хоть брось.  
 Другимъ, къ примѣру, удается:  
 Казна валится, точно кладъ,  
 А ты копѣйкѣ былъ-бы радъ,  
 Такъ нѣтъ—гдѣ тонко, тутъ и рвется;  
 Порой,—что въ домъ и попадаетъ,  
 Нужда метлою подметаетъ.  
 Вотъ дочь невѣста... Все забота...  
 И сватаютъ, да нѣтъ разчета:



Сосѣдъ нашъ честенъ, всѣмъ хорошъ,  
Да голь большая, вотъ причина!  
Что честь-то, коли нѣтъ алтына?  
Далеко съ нею неуйдешь...  
Одно—душѣ да сердцу мука:  
Передъ зажиточнымъ плутомъ  
И честный спину гнетъ кольцомъ;  
Нужда—мудреная наука...  
Мнѣ дочь и жаль! Я человекъ,  
Отецъ, къ примѣру... да не вѣкъ  
Мнѣ мыкать горе. Я не молодъ...  
„Лукичъ—Кулакъ!“ кричитъ весь городъ.  
Кулакъ!.. Душа-то не сосѣдъ:  
Сплутуешь, коли хлѣба нѣтъ.  
Будь зять богатый, будь помога, —  
Не выйди я изъ-за порога,  
На мѣстѣ дай Богъ мнѣ пропасть,  
Коли подумаю украсть!  
А есть женихъ... навѣрно, знаю  
Богатъ, не долженъ никому,  
И Саша нравится ему...  
Давно я сваху поджидаю...  
И тяжело Кулакъ вздохнулъ,  
Перевернулся и заснулъ.

## III.

Быть можетъ, на другой ступени,  
Въ иномъ быту, съ инымъ отцомъ,  
Кулакъ не зналъ бы праздной лѣни  
И просто—не былъ кулакомъ.  
Но много-ль тѣхъ, кто полный силы,  
Какъ воинъ, правдѣ послужилъ,

Напрягъ все мускулы и жилы  
И зло, какъ змя, раздавилъ?  
Кто среди грязи, подъ грозою,  
Остался чистъ, какъ серебро,  
И крѣпкой каменной горою  
Стоялъ за правду и добро?  
Великъ добра подвижникъ строгій,  
Кто велъ всю жизнь борьбу со зломъ  
И не свернулъ съ прямой дороги,  
Пройдя безстрашно подъ огнемъ!  
Но если-бы и этотъ пламень  
Ты вынесъ, воинъ правоты,  
Остановись, поднявши камень  
На жертву зла и нищеты!  
Сдержи свое негодованье,  
Не будь презрѣннымъ палачемъ:  
Твой братъ передъ твоимъ судомъ,  
Съ правами на твое вниманье.  
Быть можетъ, въ грязной нищетѣ,  
Корою грубости закрытый,  
Добра зародышъ неразвитый,  
Горить, какъ свѣчка, въ темнотѣ.  
Быть можетъ, жертвѣ заблужденья  
Доступны рѣдкія мгновенья,  
Когда казнить она свой вѣкъ  
И зло проклятьемъ поражаетъ,  
Какъ человѣкъ, въ душѣ страдаетъ  
И думаетъ, какъ человѣкъ.

Еще ребенкомъ, нестѣсненный  
Въ привычкахъ жизни обыденной,  
Кулакъ бездѣлье полюбилъ.  
Отецъ имъ мало занятъ былъ.  
На воспитаніе мальчишки

Торгашъ имѣлъ особый взглядъ:  
„Рости, дескать, рости, сынишка,  
Пойдешь по мнѣ, — я буду радъ;  
Я и читать вотъ не учился,  
Да сытъ живу, одѣтъ, обутъ...“  
Но подъ хмѣлькомъ всегда сердился:  
Ты, дескать, баловень, ты плутъ...  
И сына за вихоръ поймаешь,  
Такъ, ни за что! ну, вотъ, молъ, знай!  
Дереть, дереть, до слезъ таскаетъ.  
И молвить: ну, ступай—играй!  
А мать свое хозяйство знала:  
Въ печи дрова съ расчетомъ жгла,  
Горшки да чашки берегла  
И словъ напрасно не теряла, —  
Когда зимой по цѣлымъ днямъ,  
Забросивъ азбуку съ указкой,  
Карпушка лазить по горамъ,  
Таская за собой салазки;  
Иль въ бабки, лѣтнею порой,  
Быль занятъ вѣчною игрой.  
Въ мальчишкѣ рано проявилась  
Наклонность къ сдѣлкамъ, плутовству  
И мелочному воровству,  
И постепенно обратилась  
Въ привычку. По чужимъ садамъ  
Онъ лазилъ смѣло. По полямъ  
Шатался. Въ рожь зайдетъ, бывало:  
Отъ жару потъ съ него течетъ...  
И солнце въ голову печетъ...  
Лежить себѣ—и нужды мало,  
И смотреть весело кругомъ.  
Чуть бабочка на колосъ сядетъ,  
Онъ къ ней подкрадется ползкомъ,

Ручонку смуглую протянетъ —  
И разомъ схватить. Разглядить  
Всю спинку, усики и глазки,  
На крылышкахъ узоръ и краски,  
И, улыбаясь, говоритъ:  
„Ага! Вотъ я тебя, плутовку!..“  
И оторветъ у ней головку.  
Или грачей въ гнѣздѣ найдетъ,  
На половину острижетъ;  
Къ ногамъ веревочки привяжетъ,  
И мальчику сосѣду скажетъ:  
„Слышь, Ваня, у меня, грачи,  
Давай мѣнять на калачи!“  
И если тотъ пойметъ уловку  
И калачи побережетъ,  
Карпушка птицъ въ оврагъ швырнетъ  
И дастъ сосѣду потасовку,  
А послѣ прибѣжитъ домой  
И плачетъ. Мать его ласкаетъ:  
„О чемъ же ты, голубчикъ мой?“  
— Ванюшка, сынъ ей отвѣчаетъ,  
Моихъ грачей закинулъ въ ровъ  
И надавалъ мнѣ тумаконъ. —  
И долго росъ онъ безъ заботы,  
Покуда вздумалось отцу  
Отдать наслѣдника къ купцу...  
Тутъ мелкихъ плутней обороты  
Карпушка тонко изучилъ;  
Купецъ помощника хвалилъ:  
— Торговецъ ловокъ, не зѣваетъ,  
Продастъ — руки не замараютъ. —  
И малый точно не зѣвалъ:  
Карманъ свой плотно набивалъ.

Межь-тѣмъ отецъ его скончался;  
Пошла и мать за старикомъ  
Въ сырую землю. Сынъ остался  
Одинъ. Поссорился съ купцомъ  
И, наконецъ, его оставилъ,  
Снялъ лавку, дегтю закупилъ,  
Лопать и лыкъ понавалилъ,  
Женился, дворъ кругомъ opravилъ,  
И домикъ заново покрылъ.  
Но счастье не далось въ руки:  
Легко нажитый капиталъ  
Въ три года онъ проторговалъ,  
И запилъ съ горя и отъ скуки...  
Искать мѣстечка—стыдъ большой!  
Искать рѣшился,—отказали...  
А ремеслу не обучали.  
Подумалъ и махнулъ рукой:  
Тьфу, чортъ возьми! Да что за горе!  
Авось безъ хлѣба не умру!  
Пойду на рынокъ поутру,  
Такъ вотъ и деньги. Рынокъ—море,  
Тамъ рыба есть, умѣй ловить,  
Небось достанетъ, чѣмъ прожить...  
И съ той поры, лѣтъ тридцать сряду,  
Онъ всякой дрянью промышлялъ.  
И Кулака весь городъ зналъ  
По разнымъ плутнямъ, по наряду,  
И загорѣлому лицу;  
Онъ покупалъ ягнять, щетину,  
Пеньку и нитки, и холстину,  
Коня знакомому купцу,  
Овесъ, и все, что попадалось,  
И что надѣялся онъ сбыть  
Другому съ выгодой. Случалось

И попустому проходить  
 На рынкѣ съ ночи до разсвѣта  
 И, не поужинавъ, заснуть...  
 За то Кулакъ умѣлъ блеснуть  
 Подчасъ серебряной монетой.  
 Когда, бывало, мужичекъ  
 Цѣны съ товара не сбавляетъ,  
 Онъ выхватить свой кошелекъ,  
 На воздухъ имъ помотаетъ  
 И крикнетъ: „ты вотъ—посмотри!  
 Въдь, у тебя купецъ торгуешь,  
 Иной, алтынникъ, да надуетъ,  
 А тутъ, братъ, денежки бери!“

## IV.

Флагъ поднять. Ярмарка открыта.  
 Безоблаченъ и жарокъ день.  
 Изъ ближнихъ селъ и деревень  
 Народомъ площадь вся покрыта;  
 Толпа безъ устали кишить.  
 Тутъ пестрота! Въ глазахъ рябить!  
 Понявы, кички, бисеръ, ленты,  
 Сережки съ пухомъ, позументы,  
 Раструбистые кафтаны,  
 Рубашки, шапки, зипуны,  
 Доска на шляпѣ съ калачами,  
 Съдой старикъ со связкой лыкъ,  
 Со шпагой красный воротникъ,—  
 Все копошится за дѣлами!..  
 Въ рукахъ-то! Боже мой, товаръ!  
 Щетина, гребни, веретена,  
 Индѣйки, перья, холстъ крученный,  
 Безъ носа желтый самоваръ,

На палкѣ сапоги съ гвоздями...  
Тутъ смѣси! въ лавкахъ напоказъ,  
Приманка хитрая для глазъ:  
Развѣшенъ ситець полосами,  
Мотаются—тесма, платки,  
Развернутые кушаки  
И шапи съ яркими цвѣтами;  
И каждый цвѣтъ глядитъ живьемъ  
Подъ жгучимъ солнечнымъ лучемъ.  
За лавками лотки, лопаты,  
Разсохи, улица горшковъ,  
Колеса, лыки и ушаты,  
И груди ведеръ и ковшовъ.  
Вотъ парень къ чашкамъ понагнулся,  
Одну беретъ и обернулся,  
Глядитъ, — и чашка передъ нимъ  
Сверкаетъ краемъ золотымъ.  
Стой! Давка! Спорять съ мужиками,  
За клячу пѣгую купцы.  
И Лазаря поютъ слѣпцы,  
Сбирая мѣдными грошами  
Дань съ сострадательныхъ зѣвакъ.  
Ну, мимо! Чернью окруженный,  
Подъемлетъ флагъ свой испещренный,  
Холстомъ обтянутый, кабакъ.  
За нимъ-какой-то шарлатанъ,  
Весь въ розовомъ, въ мишурныхъ блестяхъ,  
Кривляясь бойко на подмосткахъ,  
Зоветь въ свой грязный балаганъ  
Толпу веселаго народа —  
Смотрѣть на рожи обезьянъ  
И пляску кукольнаго сброда;  
А влѣво, на конѣ верхомъ,  
Трусить цыганъ въ рубахѣ красной

И божится: „а лжешь напрасно,  
 Ему не двадцать лѣтъ, а пять!  
 Жены, дѣтей мнѣ не видать!..“  
 Веселый говоръ, шумъ торговли,  
 Визгъ поросять и дудокъ пискъ,  
 И смѣхъ, и пѣсни, брань и крикъ —  
 Все въ гуль слилось. Межъ-тѣмъ оглобли  
 Глядятъ на тысячи головъ,  
 Какъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ \*).

Кулакъ на площади съ разсвѣта...  
 Успѣлъ ужъ выпить, закусить,  
 Купить два старыхъ пистоleta  
 И съ выгодой кому-то сбыть.  
 Теперь близъ бабы загорѣлой,  
 Одѣтой въ бѣломъ зипунѣ,  
 Онъ мечется, какъ угорѣлый,  
 Упрямо споря о цѣнѣ  
 За толстый холстъ:

„А ты, молодка,  
 По сторонамъ-то не смотри,  
 Твой холстъ, къ примѣру, не находка...  
 Почему аршинъ-то?—говори!“  
 — По гривнѣ, я тебѣ сказала,  
 Вонъ и другіе такъ берутъ. —  
 „Ну, вотъ! куда ты указала!  
 Тамъ по три гроша отдають“.  
 — И, що ты! Аль я одурѣла!  
 Да мнѣ четыре за аршинъ  
 Сулилъ какой-то мѣщанинъ,  
 И то отдать я не хотѣла. —  
 „Онъ какъ собой-то?“

— Рыжевать. —

\*) Воронежскія ярмарки, происходящія на площадяхъ—Базарной, Щепной и Конной, имѣютъ совершенно сельскій характеръ.



„Ну такъ! Съ карманникомъ связалась!  
Эхъ, дура! Ты не догадалась!  
Его ужъ потащилъ солдатъ,  
Поймалъ...“

И съ бабою онъ спорилъ,  
Голубушкою называлъ,  
Разъ десять къ чорту посыпалъ  
И напослѣдокъ урезонилъ,  
Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,  
Разъ!.. разъ!.. и смѣрена холстина.  
„Гляди вотъ—двадцать три аршина.“  
— Охъ-ма! Тутъ двадцать семь какъ разъ. —  
„Что у тебя—иль нѣту глазъ?  
Аршинъ казенный. Понимаешь!  
Вотъ, на!—Не видишь?—два клейма...“  
— Да какъ же такъ?—

„Не довѣряешь!“  
— Я мѣрила, родной, сама. —  
„Тьфу, грѣхъ какой! Вѣдь, я сумѣю  
Безъ краденой холстины жить,  
Глаза что-ль ею мнѣ накрыть,  
Такъ я, къ примѣру, крестъ имѣю...“

И онъ подъ мышку положилъ  
Покупку. Въ кошелекъ порылся,  
Пяти грошей не доплатилъ,  
И съ бабой весело простился.  
„Эй, голова! почему мука?  
Спросилъ онъ громко мужика.  
— Чего кричать-то попустому!  
Мужикъ съ досадой отвѣчалъ:  
Ты, братъ, намедни покупалъ,  
Сказалъ—себѣ, привелъ къ другому,  
А тотъ съ двора меня согналъ. —

Кулакъ смолчалъ и отвернулся,  
 Прищурясь, поглядѣлъ вокругъ,  
 Пошелъ-было въ толпу—и вдругъ  
 Съ помѣщикомъ въ очкахъ столкнулся!  
 „Мое почтенье-съ, Климъ Кузьмичъ!  
 Не купите-ли, сударь, бричку?  
 Отличный сортъ!“

— Ба, ба! Лукичъ!

Ты не забылъ свою привычку?  
 По-прежнему торгуешь всѣмъ? —  
 „Что дѣлать! Сами посудите,  
 Я тоже хлѣбъ, къ примѣру, ѣмъ...  
 А бричка дешева-съ! купите!“  
 — Нѣтъ, я на бричку не купецъ...  
 Не попадетсѣ-ль жеребецъ?  
 Вотъ не найду нигдѣ,—мученье!  
 А нужень къ пристяжнымъ подъ шерсть...  
 Караковый.—

„Есть, сударь, есть...“

Порода—просто удивленье!“  
 — Онъ не съ порокомъ-ли, Лукичъ?  
 Ты плутъ естественный, я знаю. —  
 „Нѣтъ-съ, извините Климъ Кузьмичъ,  
 Я васъ съ другими не сравняю.  
 Тутъ случай, сударь. Дворянинъ,  
 Къ примѣру, въ карты проигрался.  
 Весь, какъ въ пуху, въ долгахъ. Остался  
 У бѣдняка рысакъ одинъ.  
 Ну, конь! Ей-Богу, заглядѣнье!  
 Вотъ недалеко, сударь, домъ,  
 Коли угодно, завернемъ,  
 Посмотримъ“.  
 — Сдѣлай одолженье...  
 А помнишь-ли, купилъ ты мнѣ

Собаку какъ-то по веснѣ?

„Плохенька развѣ?—

— Околѣла.

Не взялъ бы чортъ знаетъ чего!—

„Охотиться не захотѣла, —

Поможемъ, сударь... Ничего!

Охъ, тутъ-вотъ есть у офицера

Собаки... кличку то забылъ,

Вчера деньщикъ и говорилъ...

Ну, и животное, къ примѣру!

Брось въ воду гривенникъ,—найдетъ!

Вотъ вамъ купить-то...“

— Радъ душою.

А для чего-жъ онъ продаетъ?—

„Что дѣлать станете съ нуждою!

Наслѣдство дядя обѣщаль,

А при смерти не завѣщаль.

Бѣсть нечего... Семья большая...“

— А, вотъ что! баринъ отвѣчалъ

И, гибкой тросточкой играя,

Поглядывалъ по сторонамъ

И напѣвалъ: „тири-тарамъ!..“

## V.

„Я говорилъ вамъ, недалеко“,

Кулакъ помѣщику сказалъ

И съ мезониномъ домъ высокой

Аршиномъ бойко указаль.

„Вонъ кучерь... рыжая бородка!

Конюшни что-ли не видалъ?

Поди сюда!.. Заковывляль...

Эхъ, ты, утиная походка!

Что баринъ дѣлаеть?“

— Пьетъ чай. —

„Потише ротъ-то разѣвай...  
 Пьетъ чай! Не кучеръ ты, — дубина!  
 Вишь лѣнь и шляпу приподнять,  
 Гвоздемъ прибита?

— Можемъ снять...—

„Ну, то-то можемъ... Эхъ, дѣтина!  
 Поди, намъ покажи пока  
 Продажнаго-то рысака.  
 Вишь ковыляеть... вотъ потѣха!  
 А знаете-ли, Климъ Кузьмичъ,  
 (Лукаво продолжалъ Лукичъ),  
 Споровка дѣлу не помѣха,  
 Ему на водку надо дать;  
 Вѣдь, и дуракъ подчасъ годится,  
 Я знаю, онъ не постыдится  
 При сдѣлкѣ барину сказать,  
 Что нашъ-де конь вамъ не подходитъ,  
 И кормъ-де въ прокъ ему нейдетъ...  
 Ей-Богу-съ! Этотъ хамскій родъ  
 Господъ частенько за носъ водить“.  
 — Все смышлишь, баринъ отвѣчалъ  
 И Кулаку полтинникъ далъ.  
 Старикъ смолчалъ и торопливо  
 Пошелъ въ конюшню, кнутъ схватилъ,  
 Въ карманъ полтинникъ опустилъ,  
 И молвилъ кучеру: „ну, живо!“  
 — Да что, статья не подойдетъ:  
 Съ запаломъ конь-то, зареветъ.—  
 „Ты не крути, держи умнѣе...  
 А ну-ка, дорогой рысакъ,  
 Держись, дружокъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!  
 • Тсс! прр! на дворъ его скорѣе!“  
 И бѣдный конь черезъ порогъ  
 Вдругъ сдѣлалъ бѣшенный скачекъ,

Глазами дико покосился  
 И началъ землю рыть ногой...  
 Кулакъ назадъ посторонился:  
 Вишь, дескать, бойкой стальъ какой!  
 Помѣщикъ подошелъ. Рукою  
 Коня по шеѣ потрепаль,  
 И съ лоскомъ—гривою густою  
 Полюбовался, холку взялъ,  
 Поправилъ на бокъ. Осторожно  
 Ощупаль ноги, мышки, грудь,  
 И молвилъ: надобно взглянуть  
 На зубы. „Очень возможно“,  
 Плечистый кучеръ отвѣчалъ  
 И зубы, рысаку разжалъ.  
 „ Э, конь-то молодой... три года,  
 Лишь стальъ окраины ронять.  
 А ну, нельзя-ли пробѣжать?..  
 Стой! Стой! Да, недурна порода!“  
 — Вы не забудьте, что рысакъ,  
 Сказаль вполголоса Кулакъ.  
 Да вотъ идетъ и самъ хозяинъ.  
 Мое почтенье-съ...

— Погоди!

Твое почтенье впереди...—  
 Замѣтилъ коренастый баринъ,  
 Въ халатъ съ трубкою въ зубахъ,  
 Въ сафьяныхъ желтыхъ сапогахъ.  
 И, шаркнувъ лѣвою ногою,  
 Два пальца Клима Кузьмича  
 Пожалъ онъ жилистой рукою,  
 И забасилъ: „рублю съ плеча,  
 Безъ церемоній докладаю:  
 Скобѣевъ, здѣшній старожилъ,  
 Въ комиссіи подъ лямкой былъ,

Теперь въ отставку прозябаю...

А вы, почтеннѣйшій?

— Лукинъ,

Помѣщикъ.—

„Стало—дворянинъ;

Имѣете и родовое?“

— Да, было... есть, да небольшое.—

„Служили гдѣ-нибудь?“

— Въ полку.—

„Не захотѣли?“

— Надоѣло.—

„Ну, въ штатскую! съ перомъ за дѣло.

Въ тепло! А въ тепломъ уголку

И благодать васъ не забудеть...“

— Да лѣнь беретъ и нѣтъ нужды.—

„Ха, ха, люблю! А если будетъ?“

— Ну, по-неволѣ за труды.—

„Какъ водится. Пока свобода...

Не правда-ли?“

— Покуда такъ.

А дорогъ-ли у васъ рысакъ?—

„Четыреста... Одна порода

Дороже стоитъ“.

— Можетъ быть.

Нельзя-ли сотню уступить? —

„Я не торгашъ, предупреждаю...

Четыреста давно даютъ,

Придти хотѣли и--придутъ...“

Все вретъ, Кулакъ подумалъ, знаю...

И молвилъ: „я и приводилъ“.

— Молчать!—Скобѣевъ перебилъ.

„Я не обидѣлъ васъ словами,

Какъ знаете: я сторона...

Не дорогая, моль, цѣна,

Я вотъ-что...“

И Кулакъ руками

Развелъ съ досады: вишь, хитритъ!

Меня-то чѣмъ онъ наградить?..

Я разомъ кончу... И украдкой

Шутя помѣщику сказалъ:

„Скобѣевъ пятится, сплошалъ!“

Лукинъ стоялъ въ недоумѣннѣ, —

Поглядывалъ на рысака:

Картина конь!—на Кулака.

Кулакъ былъ въ страшномъ нетерпѣннѣ:

Усами шевелилъ, мигалъ,

Къ карману руки прикладывалъ...

Не прозѣвай, молъ, что ты смотришь!

Покаешься, да не воротись!

Мнѣ что! я не желаю зла!...

И сдѣлка кончена была...

„Покупку спрыснемъ? Надо, надо!

Скобѣевъ весело басилъ:

Да, да! Ахъ, чортъ возьми! досада...

Жена на ярмаркѣ... забылъ!

Ключи-то увезла съ собою...“

Вонъ, подъ окномъ она сидитъ,

Кулакъ подумалъ: экой жидъ!

— Извольте деньги. Пусть за мною

Ведутъ коня...—

„Да какъ же быть,

И не хотите покурить?“

— Благодарю васъ. Нѣтъ желанья.—

„Ну, извините. До свиданья“.

Лукинъ къ воротамъ повернулъ

И Кулаку рукой махнулъ.

„Цѣлковый за труды... довольно?“

— Довольно-съ...—

„А Скобѣевъ скотъ!

Онъ, кажется, свиньей живетъ!“

— Свиньею-съ... То-то вотъ и больно:

На карты прочить.—

„Гм!.. Когда-жъ

Ты о собакѣ знать мнѣ дашь?“

— Порою, часъ въ торговлѣ дорогъ...

Пойдемте, сударь... Я готовъ“.

— Теперь, я занятъ...—

„Мы съ двухъ словъ!..“

— Нельзя. До завтра. Срокъ не дологъ...

Прощай покуда до утра.

## VI.

— Ну, слава Богу! съ плечъ гора!

Кулакъ подумалъ: развязался!

Вотъ покупатель-то попался!

Вѣдь, съ виду смотритъ молодцомъ,

Очками, тростью щеголяегъ

И на спинѣ колпакъ съ махромъ,

Чортъ знаетъ для чего, таскаетъ;

А хорошенько разберешь,

Выходитъ такъ себѣ... какъ глина,

Что хочешь изъ нея сомнешъ.

Эхъ, плачетъ по тебѣ дубина!

Добру сумѣла-бъ научить,

Да некому дубиной бить...

Не то дуракъ... развѣситъ уши

И слушаетъ, да вѣритъ чуши:

Вотъ тутъ, моль, баринъ оплошалъ,

Продулся въ карты, задолжалъ...

Какъ разъ! ему и проигратъся?

Да онъ удавится за грошъ...



— Эй, старый хрѣнь! Кого ты ждешь?  
 Пора въ-свояси убираться“,  
 Съ крыльца Скобѣевъ забасилъ.  
 Кулакъ за козырекъ хватился,  
 Картузъ подъ мышку положилъ,  
 И молвилъ: „ну, сударь, трудился!..  
 Весь лобъ въ поту“.

— Утрись возьми. —

„Утремся, баринъ... Я дѣтьми  
 За вашу клячу-то божился,  
 Не грѣхъ за хлопоты мнѣ дать“.  
 — Я-бъ безъ тебя сумѣлъ продать;  
 Взялъ съ одного, ну, знай и мѣру...  
 А много заплатилъ Лукинъ?—  
 „Съ него возьмешь!.. Хоть-бы алтынъ!..  
 Такая выжига, къ примѣру“.—  
 — А врешь!—

„Не время, безъ барыша:

И въ насъ, сударь, не паръ,—душа“.  
 — Ха, ха, душа! Оно и видно...  
 Я-бъ даль,—нѣтъ мелочи въ дому.—  
 „Да не шутите, сударь, стыдно!..  
 — Молчать! не то я ротъ зажму!—  
 „Благодаримъ! не вы ли сами  
 Просили вашу клячу сбыть?“  
 — Въдь, даль Лукинъ? ты съ барышами:  
 Ну, и довольнымъ надо быть.  
 „Хоть рубль-то дайте...“

— Чести много!..

Пожалуй, на—вотъ четвертакъ.—  
 „Себѣ возьмите, коли такъ.  
 Эхъ, баринъ, не боишься Бога!“  
 — Я говорилъ тебѣ молчать!—  
 „Потише, можно испугать...“

Онъ четвертакъ, къ примѣру, вынулъ...  
 Вишь умникъ, — дурака нашель!..“  
 И свой картузь Кулакъ надвинулъ  
 Съ досады плюнулъ — и ушелъ.

Прохлада. Часъ зари вечерней.  
 Въ туманѣ прячутся деревни,  
 И все темнѣй, темнѣй въ дали.  
 За пашнями, изъ-подъ земли,  
 Выходить пламя полосами  
 И начинается, тутъ и тамъ,  
 Краснѣть по темнымъ облакамъ,  
 По синевѣ надъ облаками;  
 И смотришь, — неба сторона  
 Висить, — въ огнѣ потоплена.  
 Здѣсь просо, дремля, зеленѣетъ,  
 А тамъ вонъ, на краю небесъ,  
 Насупился сердитый лѣсъ;  
 Едва примѣтный, онъ синѣетъ...  
 Вотъ — словно туча приплыла  
 И въ подѣ ночевать легла.  
 Соха на пашнѣ опочила;  
 Дорога ровная мертва...  
 Вдругъ началъ перепелъ: вва, вва!  
 И замолчалъ.

Но пыль покрыла  
 Весь городъ. Съ ярмарки народъ  
 Вдоль улицъ весело снуетъ.  
 Стучать пролетки. За шарманкой  
 Мальчишки съ хохотомъ бѣгутъ,  
 Дразня жида. Слѣпцы идутъ;  
 У нихъ и споръ, и перебранка.  
 Шумить толпа у кабака,  
 Подъ бойкій топотъ трепака.

Вотъ звуки пѣсни пронеслися  
Все громче, громче... У воротъ  
Кухарки, кучера сошлись  
И сплетничаютъ про господъ.  
Отсталый жеребенокъ ржетъ;  
За нимъ мужикъ бѣжить съ арканомъ...  
Въ домахъ блеснули огоньки...  
Вотъ стукъ сторожевой доски  
Послышался, и ночь туманомъ  
Притихшій городъ залила,  
И свѣчи на небѣ зажгла...

Кулакъ въ свой домикъ возвращался...  
Онъ шелъ одинъ,—безъ картуза,  
Вращая мутные глаза,  
И сильно въ стороны шатался,  
И вслухъ несвязно бормоталъ:  
„А вамъ-то что?.. Вы что такое?  
Вишь, умники!.. Ну, погулять!  
Вѣдь, на свое!.. не на чужое!  
Что, Климъ Кузьмичъ, каковъ рысакъ?  
Съ запаломъ? Ну, впередъ—наука!  
На то, къ примѣру, въ морѣ щука,  
Чтобъ не дремалъ карась... Да, такъ!  
Ты вѣрилъ на-слово... И ладно!  
Выходить дѣло, ты и глупъ!  
А мнѣ-то что? Мнѣ не накладно,  
Мнѣ благо, что купецъ не скупъ.—  
Э!.. А собаку-то, пріятель?..  
Молчишь... Сердить за рысака...  
Да! ты теперь не покупатель...  
И не нуждаюся пока!  
Да гдѣ я?.. Что за чертовщина!  
Постой-ка осмотрюсь кругомъ...

Я помню, отъ угла мой домъ  
 Четвертый... Экая причина!  
 Дай сосчитаю... вотъ одинъ,  
 Другой и третій... больше нѣту...  
 Тутъ пустошь и какой-то тынь...  
 Да какъ-же прежде пустошь эту  
 Я здѣсь ни разу не видалъ?  
 А! понимаю... догадался!  
 Я въ улицу не ту попалъ,  
 Выходить дѣло, заплутался..."

Добравшись до дому съ трудомъ,  
 Лукичъ на лавку опустился,  
 И крупной бранью разразился,  
 Объ столъ ударя кулакомъ:  
 — Стой! Смирно! Эй, Арина!  
 Постель готовъ мнѣ на полу...  
 Ты, дочка, что стоишь въ углу!  
 Картина, стало, а? Картина?  
 Ты, значить, дочь! Должна разуть!  
 Вотъ-такъ... не рви! ослабь маленько...  
 А сапоги-то не забудь  
 Помазать саломъ хорошенько. —

## VII.

Веселый день сіялъ давно,  
 Когда Кулакъ отъ мухъ проснулся;  
 Зѣвнуль, лѣниво потянулся  
 И настежъ отворилъ окно.  
 Старушка, стоя передъ печкой,  
 Рубила свеклу острой сѣчкой  
 Въ корытцѣ. Желтый самоваръ,  
 Подъ потолокъ пуская паръ,  
 При свѣтѣ солнца красовался

Передъ окномъ среди стола  
 И, грѣя чайникъ, потѣшался:  
 То, какъ рабочая пчела,  
 Жужжалъ, минуты не смолкая,  
 То, будто жукъ, гудѣлъ баскомъ  
 Сердито. Чашки вытирая,  
 Сидѣла Саша за столомъ...

Старикъ припоминалъ неясно,  
 Что бунтовалъ вчера напрасно;  
 Водю освѣжилъ лицо  
 И плюнулъ: „экое винцо!  
 Тошнить! Вчера я поздно  
 Пришелъ?“

— Да!— молвила жена.—  
 „А смирно легъ?“

— Такой-то грозный!  
 Шумѣлъ, шумѣлъ... „Подай вина!“  
 Тутъ Саша на глаза попалась...  
 Бѣда! наслушалась всего...  
 Спасибо въ садъ она прокралась,  
 Не то...—

„Не помню ничего...  
 Молитесь съ Сашею-то Богу:  
 Къ намъ сваха, можетъ быть, придетъ“.  
 — Опять на старую дорогу!  
 Ты видишь, дѣвка слезы льетъ.  
 И-ихъ, старикъ!

„И-ихъ старуха!  
 Не забывается сосѣдъ...  
 Вѣдь, я сказалъ, къ примѣру, нѣтъ!  
 Ну,—плеть не перебьетъ обуха,—  
 И кончено!“

— Они давно  
 Другъ другу нравятся...—

„Вѣстимо!

Ты съ дочкой-то своей родимой  
На всѣ проказы за одно“.

„Неправда, Саша отвѣчала,  
И нѣтъ, и не было проказъ:  
Въ тюрьмѣ росла-то, да отъ васъ  
То въ садъ съ постели убѣгала,  
То забиралась на чердакъ,  
Вотъ вся и радость!“

„Такъ-то такъ...“

Выходить — узелъ не развязанъ:  
Кто уступить кому обязанъ?  
Ты умница, отецъ дуракъ,  
За то, что кормить...“

Дочь молчала

И плакала.

— Твой чай простылъ,

Старушка дочери сказала.

— Пей, Сашенька!—

„Ей чай не миль.“

Сгубилъ сосѣдъ твою голубку,  
Поплачь и ты: оно подъ стать.“  
И не снѣша набилъ онъ трубку,  
Потомъ огонь сталъ высѣкать.

„Посмѣйтесь, весело покуда!“

Сквозь слезы говорила дочь:  
„Когда, я вырвуся отсюда?  
Не жизнь тутъ: каторга, точь-въ-точь!  
Взяла-бы вотъ глаза закрыла,  
Да, смерть, знать, горькую, забыла“.

„Гм!.. гдѣ это табакъ лежалъ?“

Отецъ спокойно отвѣчалъ:

Сырой какой-то...“—Я не знаю.—

„Слышь,—дочкѣ-то не до того,

Подай хоть ты, старуха, чаю.

Жиденекъ, ну, да ничего“.

— И-ихъ, старикъ! побойся Бога!

Сосѣдъ не пьяница, не мотъ,

Работникъ, и семьи немного,

А въ церковь-то когда придетъ...“

И вдругъ старушка потерялась,

Какъ будто грома испугалась.

„Что тамъ?“ промолвилъ мужъ.

— Ну такъ!

Я нонѣ въ церковь-то сходила,

А просвиру и позабыла

Съѣсть передъ чаемъ, натощакъ...—

„Тѣфу ты къ примѣру? Ну Арина,

Я думалъ... просто,—вонъ изъ рукъ...“

— Зачѣмъ плюешь-то, старичина?—

„Не видишь?—духъ нейдетъ въ чубукъ...

Стой! кто-то въ ворота стучится...

Ужъ не жидовка-ли опять

Сюда съ бѣлилами тащится?—

Вотъ я ей!..“

— Перестань кричать!

Пусти,— я выгляну въ окошко,

Не сваха-ли твоя, Лукичъ...

Ой, сваха! Некому опричь!

Прибрать бы горенку немножко...

Бѣда... Все валится изъ рукъ.

Старикъ! надѣнь скорѣй сюртукъ...

И горя нѣтъ: стоитъ, ни съ мѣста!—

„Ну, струсили! Вотъ пусть певѣста

Уйдетъ на-время... это такъ,

А я не попаду въ просакъ“.

## VIII.

Дверь заскрипѣла, отворилась,  
 И гостья, кашляя, вошла,  
 Святымъ иконамъ помолилась,  
 И чуть не въ поясъ отдала  
 Поклонъ хозяину съ хозяйкой.  
 На гостя былъ нарядъ простой:  
 Покрытый синею китайкой  
 Шушунъ, кокошникъ золотой,  
 Подарокъ бабушки богатой.  
 Да сарафанъ, съ кого-то взятый  
 За сватанье. Широкий носъ  
 Украшенъ острою горбиной;  
 Взглядъ смѣтливый и ястребиный;  
 На красныхъ вѣкахъ капли слезъ;  
 (Старушка головой страдала,  
 И вѣчно, клѣтчатымъ платкомъ  
 Глаза больные потирала).

„Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!  
 Здоровы-ли, мои родные?  
 Ну, жаръ! На-си-илу доплелась!  
 Да пыль отъ вѣтра поднялась,  
 Изму-училась, золотые!“  
 — Садись-ка, матушка, садись!  
 Сказалъ Лукичъ: вотъ чашку чаю... —  
 „Давай, родной: уста спеклись;  
 Шестой десятокъ доживаю,  
 Насилу бродишь... ну, и жа-аръ!“  
 — Долей, Арина, самоваръ,  
 Привѣтимъ гостью дорогую,  
 Чѣмъ Богъ послалъ. —

„И-и, родной!



Привѣтъ хоть ласкою одной,  
Да потрудись на рѣчь простую  
Мнѣ, глупой бабѣ, отвѣчать“.

— Изволь! послушаемъ, въ чемъ дѣло...“

„Кажись, вамъ времячко приспѣло  
Живой товаръ свой съ рукъ сбывать...  
Есть у меня купецъ, — не знаю,  
Хорошъ-ли будетъ онъ для васъ?...“

— А, понимаю, понимаю,  
Товаръ, къ примѣру, есть у насъ,  
Да кто купецъ-то?

„Таракановъ...“

Такъ! отъ него-то я и ждалъ!  
Лукичъ подумалъ и смолчалъ.

„Пенькой торгуетъ въ балаганахъ,  
Мукою, батюшка, овсомъ.

Имѣеть, знаешь ты, свой домъ...“

А ужъ, красавецъ!.. И бровями,  
И свѣтлорусыми кудрями,  
Всѣмъ взялъ, хоть въ рамку, золотой!“

— Намъ красотой не любоваться,  
А былъ бы съ умной головой,  
Умѣлъ бы дѣломъ заниматься,  
Вотъ это лучше красоты!—

„Охъ, батюшка, ума палата!

А домъ-ать, поглядѣлъ бы ты,  
Ужъ нечего, не наша хата...“

Пять комнатъ, батюшка, просторъ!

На окнахъ, сударь мой, гардины,

Въ простѣнкахъ разныя картины,

А дворъ-то, что это за дворъ!

Кругомъ дубовые амбары,

И лѣсъ старинный, прочный лѣсъ!

Въ одномъ углу большой навѣсъ...“

Въ амбарахъ всякіе товары:  
 Что, золотой, и говорить,  
 Добра возами не свозить!“  
 — Ну, тутъ прикрасы не у мѣста,  
 Ты о приданомъ рѣчь веди.—  
 „Рѣчь о приданомъ впереди:  
 Для жениха нужна невѣста.  
 Ее онъ видѣлъ гдѣ-то разъ,  
 Да на-вотъ! Кругомъ закружился!  
 И хлѣба, золотой, лишился,  
 И ночью не смыкаетъ глазъ,—  
 Все ею грезить. Да и мнѣ-то  
 Совсѣмъ покою не даетъ:  
 Тутъ мочи нѣтъ, а онъ придетъ,  
 Все умоляетъ: какъ-бы это  
 Сходила ты къ невѣстѣ въ домъ,  
 Поговорить съ ея отцомъ?“  
 — Ну, да, однако, что-же надо?—  
 „Такъ что-нибудь, хоть для обряда:  
 Четыре головныхъ платка,  
 Ну-съ — три-четыре перстенька,  
 На шею жемчугу три нитки,  
 (Да золотой мой, безъ поднизки!)  
 Салопъ на бѣлицемъ мѣху,  
 Сукна на чуйку жениху,  
 Три шали, восемь платьевъ новыхъ!  
 Кровать, комодъ и самоваръ,  
 Ну-съ... чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ  
 И денегъ, сударь, сто цѣлковыхъ...“  
 — Выходить дѣло, не взыщи:  
 Съ приданымъ этакимъ, гдѣ знаешь,  
 Иную дѣвушку ищи.—  
 „И, золотой, ты обижаешь!  
 Дай намъ невѣсту поглядѣть,

А тамъ рѣшенъе женихово:  
Онъ можетъ свой расчетъ имѣть...  
А то, вошла, сказалъ,—„здорово“,  
Присѣла,—и отказъ готовъ“.  
— Ну, да! Вотъ эта рѣчь умнѣе...  
Не постоимъ изъ пустяковъ.  
Смотрушки завтра. Попозднѣе  
Прошу покорно вечеркомъ  
Пожаловать къ намъ съ женихомъ.—  
„Всенепремѣнно. Ваши гости...

Повѣришь-ли, что я скажу:  
Состарились мои всѣ кости,  
Лѣтъ тридцать свахою хожу,  
И счетъ-то свадьбамъ потеряла,  
А и доселѣ, мой родной,  
Всѣ, для кого я хлопотала,  
Остались довольны мной...  
Кому какой таланъ отъ Бога  
За то, куда, вѣдь, ни придешь,  
И ласку, и хлѣбъ-соль найдешь...  
Однимъ не хорошо немного:  
Иные выжиги за трудъ  
По уговору не даютъ...  
Ну, имъ и достается горько:  
Начнешь по городу звонить,  
То тѣмъ, то семъ ихъ обносить—  
И свадьба врозь! да мнѣ-то только  
Отъ нихъ, проклятыхъ, барыша!“  
— Охъ, свашенька, моя душа,  
Хозяйка, сморщившись, сказала:  
Не грѣхъ отъ такихъ затѣй?—  
„И, нѣтъ, родная! я слыхала  
(Старшой мой сынъ-атъ грамотѣй,  
Надъ Библией и засыпаетъ!)

За око—око! Вотъ, вѣдь, что!  
 Коли тебя обидѣлъ кто,  
 Не кланяйся, — не подобаетъ!“

— Вишь, мать моя! Ну, мой старикъ  
 На рынкѣ, знаешь, все хлопочеть,  
 Вонъ святцы есть, — читать не хочеть:  
 Я къ дѣлу, говоритъ, привыкъ,  
 Отъ книгъ памъ прибыли немного.  
 Такое горе! Отъ того  
 И я не знаю ничего,  
 И согрѣшаю противъ Бога...  
 Порою случай припадетъ  
 Что сдѣлать доброе, — боюся:  
 А ну-ка, молъ, я ошибуся—  
 И это къ худу поведеть...  
 Вотъ тутъ ума и не приставишь:  
 Подумаешь, да все оставишь.—

Лукичъ любилъ потолковать,  
 И у него, вплоть до обѣда,  
 Со свахой длилася бесѣда:  
 Дочь замужъ надо выдавать  
 Умно; дескать, смотри тутъ въ оба,  
 Тутъ думай думу не шутя:  
 Не шапка, — кровное дитя;  
 Дашь промахъ разъ, — бѣда до гроба.  
 Но сваха не была плоха:  
 Да, да! рассказывай, молъ, сказки!  
 И не жалѣла яркой краски,  
 Рисуя бойко жениха.

## IX.

Рѣчь свахи даромъ не пропала:  
 Ей дочь хозяйская внимала,

Въ сѣняхъ за дверью притаясь,  
Едва дыша, не шевелясь.  
Подслушивать-- дурное дѣло!  
Все это пошло, устарѣло,  
Наружу вызвано давно,  
Разъ тысячу повторено;  
Но пошлость, видно, плодовита:  
Не вырвешь съ корнемъ, все растетъ!  
Приносить тайно и открыто,  
Налитый ядомъ, горькій плодъ;  
Бича насмѣшки не боится,  
Ты шагъ впередъ-- она у ногъ,  
И гадиною шевелится...  
Зачѣмъ? Откуда? Видитъ Богъ!  
Тутъ Саша не подозрѣвала  
Дурного ровно ничего,--  
Къ двери-ли ухо прикладывала,  
Иль сплетничала про кого.  
Кому какое было дѣло  
Ей съ малолѣтства докучать:  
Вотъ это черно, это бѣдо...  
И для чего? ну, что за статья!  
Сидѣть за варежкой, шить платье,  
Да понимать въ стряпнѣ расчетъ--  
Вотъ были важныя занятя,  
Предметъ родительскихъ заботъ.  
-- Рости, дитя, на волю Божью! --  
Созрѣетъ дикій кустъ травы...  
Посмотришь,--и холодной дрожью  
Охватить съ ногъ до головы...

Ну, что ты, бѣдное созданье,  
Въ сѣняхъ украдкою стоишь?  
Твой домъ - тюрьма, житье--страданье,

Сама безъ умолку твердишь.  
 Женихъ хорошъ, живетъ исправно,  
 Ты будешь вдоволь ѣсть и спать,  
 Сидѣть въ теплѣ, ходить нарядно,—  
 За что же сваху проклинать?  
 Сосѣда любишь, горе мучить?  
 Отецъ упрямъ, отецъ разлучить...  
 Тоска въ груди гнѣздо советъ,  
 Съ ума безсонница сведеть...

Не оскорбляй святыни сердца!  
 Любовь свята: не оскорбляй!  
 Въ лицѣ—весна, душа младенца,  
 Въ крови огонь, во взглядѣ рай.  
 Она идетъ,—и небомъ вѣетъ,  
 Нечистый помыслъ прочь бѣжитъ,  
 Сырой тюрьмы окно свѣтлѣетъ,  
 Среди зимы тепло стоитъ.  
 Въ груди, въ минуты сладкой муки,  
 Живой воды ключи килятъ,  
 И свѣтъ, и тѣнь, цвѣты и звуки  
 Понятно сердцу говорятъ.  
 Нѣтъ, смыслъ иной въ твоей печали,  
 Инымъ ты вѣчно занята.  
 И въ мѣръ любви тебѣ едва-ли  
 Отворить время ворота.

„Вотъ жениха-то отыскала:  
 За дверью Саша горевала:  
 Ну, сваха! Онъ, дескать, богачъ!...  
 Вотъ и молчи тутъ, и не плачь...  
 Уродъ какой-нибудь, да скряга,  
 Ёсть лукъ, да тюрю по постамъ...  
 А! Таракановъ!.. Тѣфу, ты, срамъ!

И видно дрянъ! Сосѣдъ-бѣдняга  
Хоть изъ себя-то молодець...  
У батюшки своя, вишь, думка,  
А дочь, молъ, что!.. Дороже рюмка...  
Все называется отецъ“.

И полъ скрипучій проклиная,  
На цыпочкахъ переступая,  
Она прокралась по сѣнямъ  
Къ крыльцу, съ крыльца на дворъ, а тамъ  
Въ зеленый садъ.

Въ саду прохлада  
И шумъ. Кусты порозрелись,  
Поспутались, переплелись,  
Непроницаемой оградой  
Нависла надо рвомъ сирень,  
Кидая на дорожки тѣнь.  
Какъ снѣгомъ, бѣлыми цвѣтами,  
Усыпанъ вишенникъ густой.  
Тутъ яблоня, тамъ, подъ плетнями,  
Бурьянъ, покрытый воробьями,  
Тропинка межъ травы густой.  
Вонъ стволъ березы серебрится,  
Она пряма и высока,  
Отъ вѣтра шапка шевелится,  
И въ даль протянута рука.  
Въ травѣ кузнечикамъ забота—  
Звенять, безъ усталы кують,  
Богъ-вѣсть, желѣзо гдѣ берутъ;  
Тутъ по цвѣтамъ у пчель работа,  
Тамъ, смотришь, дятель прилетитъ,  
Объ иву носомъ застучитъ.

Но вотъ и Саша... Торопливо

Къ плетню сосѣдскому идетъ,  
 Сама рукой нетерпѣливой  
 То сломить вѣтвь, то отведетъ.  
 Упрямы вѣтви! не пускаютъ:  
 За платье, за плечи хватаютъ,  
 И бьютъ, чуть въ слухъ не говорятъ:  
 „Куда! куда!—ступай назадъ!  
 Изъ-за чего заторопилась?“  
 Плетень все ближе. Онъ увидитъ  
 Весь хмѣлемъ. Саша наклонилась  
 И хмѣль раздвинула,—глядитъ:  
 Дворъ пусть, и только посрединѣ  
 Блеститъ стекло на желтой глинкѣ...  
 Одна насѣдка подъ крыльцомъ  
 Усердно дѣломъ занималась:  
 Въ сору съ цыплятами копалась.  
 Да хрюкалъ боровъ подъ плетнемъ...  
 — Знать, подождать сосѣда надо...—  
 Она подумала съ досадой  
 И опустила на траву...  
 Глядѣла долго на листву,  
 Вокругъ ромашку обрывала  
 И на послѣдокъ задремала.

## X.

Кулакъ на рынкѣ. Тихъ весь домъ.  
 Отъ мухъ покрытая платкомъ,  
 Старушка крѣпко почиваетъ,  
 И когъ съ ней рядомъ на полу;  
 Одна пчела не умолкаетъ,  
 Скользя по гладкому стеклу.  
 Тоскуетъ Саша—ей не спится:  
 Сосѣда нѣтъ, пока не ждѣтъ,



Работать,—праздникъ, не годится;  
 Въ окно прохожихъ наблюдать?  
 Оно пріятно и не трудно,  
 Да не теперь: кругомъ безлюдно.  
 Одинъ исходъ помочь тоскѣ —  
 Пройтись за водой къ рѣкѣ.

Прогулка скучная, конечно,  
 Когда въ водѣ и нужды нѣтъ,  
 Но надоѣсть и дома вѣчно  
 Глядѣть въ окно на бѣлый свѣтъ.  
 У бѣдной дѣвушки-мѣщанки  
 Не весель праздничный денекъ.  
 Порою зимней, у лежанки,  
 Смотри на яркій огонекъ,  
 Она на картахъ погадаетъ,  
 Съмянь подсолнечныхъ возьметъ,  
 Пошелушить,—и день смеркаетъ,  
 Обычный ужинъ настаетъ.  
 Но время лѣтомъ страшно длится!  
 Подруги въ гости къ ней нейдутъ,  
 Заснуть приляжетъ,—ей не спится:  
 То жаръ, то мухи не даютъ.  
 Идетъ бѣдняжка за водою,  
 Подругу встрѣтитъ на пути,  
 Ну, какъ тутъ рѣчи не найти!  
 Знакомый лавочникъ порою  
 Отвѣситъ поясной поклонъ,  
 И день отрадно проведенъ.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ,  
 На небѣ нѣтъ ни облачка;  
 Съ открытой грудью спить, не дышетъ  
 Въ постели свѣтлая рѣка;

На берегу бѣлѣетъ камень,  
 Онъ бѣлъ, какъ снѣгъ, горячъ, какъ пламень;  
 За бѣлымъ камнемъ грачъ сидитъ,  
 Крыло повисло, клювъ раскрытъ.  
 Подъ пылью пестрою толпою  
 Идутъ коровы къ водопою;  
 Усталый, щелкая кнутомъ,  
 Пастухъ тащится босикомъ.  
 Приладивъ пузыри подъ мышки,  
 Шумя, купаются мальчишки,  
 И брызги въ стороны летятъ,  
 Отъ солнца искрами горятъ;  
 А вѣрно мать ихъ, въ юбкѣ красной,  
 Оттерла самоваръ пескомъ  
 И смотреть: вонъ, дескать, какъ ясно,  
 Блеститъ, какъ золотцо, кругомъ!..

Вотъ камень. Саша отдохнула.  
 Все нѣтъ подругъ! И тутъ тоска,  
 Песокъ, мальчишки, да рѣка...  
 Воды студеной почерпнула  
 И оглянулася: ну, вотъ!  
 Откуда онъ? Сосѣдъ идетъ.

Сосѣдъ-столяръ высокъ и строенъ,  
 Не очень смуглъ, не слишкомъ бѣлъ,  
 Веселый взглядъ его спокоенъ,  
 И простодушно-твердъ и смѣлъ;  
 Опрятенъ казакинъ изъ нанки,  
 Рубашка красная чиста,  
 Не въ тяготу ему рубанки  
 И не въ кручину бѣдность.  
 „А! за водою приходила?  
 Ну, что отецъ?.. Бѣда прошла?

Обрадуй!.. Вѣрно упросила...“  
 — Я три часа тебя ждала...—  
 „Въ саду?.. Да тутъ старикъ скончался,  
 За мной прислали чуть-лишь свѣтъ...  
 Жена голосить: гроба нѣтъ!  
 Я приготовить обѣщался,  
 И посидѣлъ тамъ. Жаль до слезъ!  
 Спасибо, есть готовый тесъ...  
 Такъ, стало, туча миновала?..“  
 — Ну, да!—И Саша рассказала  
 О свахѣ.

„Вѣсть не хороша!

Неужто все, моя душа,  
 Пропало?“

— Батюшка-то воленъ—  
 Не переспоришь. Онъ сказалъ,  
 Чтобъ ты двора его не зналъ...—  
 „Вотъ человекъ! Упрямствомъ боленъ!  
 Вѣдь, за тобою у него  
 Не требую я ничего...  
 Я бѣденъ: этого боится?  
 Такъ мой верстагъ не залежится,  
 Пока не высохнетъ рука,  
 Я не останусь безъ куска...  
 Проси его!.. Авось уступить...“  
 — Да какъ простить-то? Чѣмъ помочь?..  
 „Какъ Бога умолай! Ты дочь...  
 Другой на рынкѣ онъ не купить...  
 Ты знаешь, я не говорунъ,  
 Божиться— не божусь: не лгунъ,  
 А будешь ты моей женою,  
 Не то что за тебя въ нужду,  
 Или на трудъ ночной порою,—  
 Я прямо въ полымя пойду“.

У Саши щеки запылали,—  
 Богъ знаетъ, глубоко-льзапали  
 Ей въ душу рѣчи бѣдняка,  
 Или, какъ говоръ вѣтерка,  
 По соннымъ листьямъ пробѣжали,  
 И снова листья сонъ объялъ,  
 Какъ скоро вѣтеръ замолчалъ...  
 Она стыдливо отвернулась,  
 Слезу отерла, улыбнулась,  
 И отвѣчала: „что умретъ,  
 А за другого не пойдетъ“.

## XI.

Смеркалось. Съ трубкой закуренной  
 И разгорѣвшимся лицомъ,  
 Упрямствомъ Саши разсерженный,  
 Кулакъ сидѣлъ передъ окномъ,  
 И думалъ думу. Дочь металась  
 Въ постели, вся въ жару, въ тоскѣ;  
 Старушка, съ рюмкою въ рукѣ,  
 Къ больной тревожно наклонялась  
 И говорила: „Перестань!  
 Ну, полно охать-то! привстань!  
 Вотъ укусь. Дай-ба, я немного  
 Тебѣ затылокъ помочу“.  
 — Не приставайте, ради Бога!—  
 Дочь отвѣчала—не хочу!—  
 „Вотъ закоснѣлое упрямство!“  
 Сказалъ отецъ: „не въ мочь терпѣть!  
 Иль встать? и я найду лѣкарство —  
 Ременную, витую плетъ“.  
 — Богъ съ вами! Я вамъ надоѣла...  
 Вамъ Таракановъ дорогъ...—  
 Да!—

Вонъ мѣтитъ дѣвка-то куда,  
Не такъ, къ примѣру, заболѣла!  
Ты постыдилась бы людей!  
Или отецъ-атъ твой злодѣй?  
Иль я со зла тебя морочу?  
Ну, для кого я хлопочу,  
Кому свое добро-то прочу?..  
Да что тутъ!.. Лучше замолчу.  
Нѣтъ, съ бабами не сладишь скоро,  
Съ досадою онъ рассуждалъ:  
Какъ на пожарѣ я кричалъ,  
Поди, вѣдь, не окончилъ спора;  
За косы взяться? визгъ поидеть,  
И жаль! Пстой - я знаю средство,  
Оно вреда не принесетъ,—  
Эхъ-ма! достался мнѣ въ наслѣдство  
Отъ батюшки таланъ худой!  
Промолвилъ онъ, махнувъ рукой...  
И самъ-то радости не видѣлъ,  
И дочери, зная, въ горѣ жить...  
Ну, Саша! послѣ не тужить!  
Не говорить—„старикъ обидѣлъ“.  
Ты—умница, ну, такъ-и-такъ,  
Выходитъ дѣло,—я дуракъ.  
Не буду спорить, Богъ съ тобою!  
А вспомнишь всѣ мои слова,  
Когда пойдешь ходить съ сумою,  
Разумная ты голова“.

— У васъ всегда однѣ догадки...  
Мнѣ къ бѣдности не привыкать:  
Я стану шить, вязать перчатки...—

„А мужъ начнетъ пилить, стругать,

Тамъ явятся, глядишь, дѣтишки,  
 И дѣвочки, и ребятишки,  
 И повалится въ домъ казна!  
 Живи, какъ въ маслѣ сырѣ катайся!  
 Капустой; мисой толокна  
 Въ семьѣ, какъ хочешь, подѣляйся.  
 Одежа и въ расчетъ нейдетъ:  
 Она къ вамъ съ неба упадетъ“.

— Вамъ только!.. смѣйтесь надо мною...  
 Вотъ участь-то! Въ углу родномъ  
 Живу постылой сиротою:  
 Не скажутъ слова мнѣ добромъ!  
 Молитву-то читать учили,  
 Не такъ читала,—розгой били!..  
 Я отъ чужого не таюсь,  
 Съ отцемъ поговорить боюсь,  
 Я приласкаться къ вамъ не смѣю...—  
 „Какъ быть-то! я не виноватъ,  
 Что нравомъ крутъ... я самъ не радъ.  
 Вѣдь, я люблю тебя, жалѣю...  
 Мнѣ развѣ хочется кричать!  
 Тутъ, кажется, ослу понятно,  
 Ну что-жъ, къ примѣру, мнѣ пріятно  
 За нищаго тебя отдать?  
 У столяра одна избенка,  
 Казны ни гроша; мать - бабенка  
 Сварливая, всегда ворчить:  
 Ей и святой не угодить.  
 А Таракановъ—смѣтливъ, ловокъ,  
 Богатъ, торговый человекъ;  
 Онъ надаритъ тебѣ обновокъ  
 До свадьбы-то на цѣлый вѣкъ!  
 Теперь коня, вишь, покупаетъ,

Для молодой, дескать, жены,  
 Не тронь, — катается, гуляетъ...  
 Не знаешь людямъ-то цѣны,  
 Да вздоришь... Вотъ она причина!

„Ахъ, Саша!“ молвила Арина:  
 „Не спорь, дружочекъ, съ старикомъ:  
 Я принуждать — не принуждаю,  
 Да по себѣ сужу, и знаю,  
 Какъ тошно жить за бѣднякомъ...  
 И ослушаться грѣхъ и стыдно;  
 Я дочерью сама была  
 И по приказу замужъ шла,  
 Такъ, стало, надо...“

„Нынѣ, видно,  
 Родителямъ-то старикамъ  
 Почетъ, какъ старымъ сапогамъ...“

Старушка снова продолжала:  
 „Послушайся, моя душа!  
 У насъ ты рукъ не покладала, —  
 Женихъ богатъ, ты хороша,  
 Ты будешь куколкой рядиться,  
 Въ саняхъ и дрожкахъ разъѣзжать,  
 Въ домахъ богатыхъ веселиться,  
 Гостей почетныхъ принимать...  
 Ты насъ порадуешь подъ старость,  
 Ты наша дочка, наша кровь!  
 Надежда ты моя и радость,  
 Послушайся, не прекословь!..“

И Сашу крѣпко обнимала  
 Старушка добрая. Она  
 Была теперь убѣждена,  
 Что дѣвушка не понимала,  
 Какъ мало ждетъ ее добра  
 Подъ бѣдной кровлей столяра.

Идите сами на смотрушки,  
 Не покажусь я никому.“  
 Дочь отвѣчала: „я съ подушки  
 Вотъ головы не подыму“.  
 И Саша охала, крѣпилась,  
 Больной до полночи была,  
 Потомъ старушку обняла,  
 Заплакала—и согласилась.—  
 „Давно бы такъ!“ сказалъ отецъ:  
 „Вотъ и не спорю, и конецъ!“

## XII.

Мерцають звѣзды. Городъ сонный  
 Какъ-будто вымеръ, такъ онъ тихъ.  
 Сквозь сумракъ камни мостовыхъ  
 Бѣлѣють смутно. Мѣсяцъ полный  
 Плыветъ. Онъ волю далъ лучамъ:  
 По крышамъ лазять, по стѣнамъ;  
 Одинъ въ окно слезу подмѣтитъ,  
 Другой, какъ хитрый чародѣй,  
 Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей  
 И цѣпь колодника освѣтитъ;  
 Неслышно церковь навѣститъ,  
 Окладъ иконъ посеребрить.  
 Не зная страха и запрета,  
 Войдетъ въ алтарь, осмотритъ полъ  
 И скорбный ликъ Владыки свѣта,  
 И дерзко ляжетъ на престолъ.  
 Иль въ чащу сада проберется,  
 По темной зелени блеснетъ,  
 Росинку на листѣ найдетъ,  
 Росинка искрою зажжется.  
 А городъ спитъ-себѣ, да спитъ...



Порой по улицѣ широкой  
Пройдется сторожъ, постучить:  
Идетъ онъ молча, одиноко,  
А тѣнь сзади, на мостовой  
Махаешь, какъ и онъ, рукой.  
Иль царской службой занесенный  
Въ урочный часъ подъ небеса,  
Спросонокъ, инвалидъ смиренный  
Протретъ на каланчѣ глаза  
И съ разстановкой, отъ бездѣлья,  
Посвищеть въ дудку... Вонъ окно  
Вдали огнемъ освѣщено.  
Кто тамъ не спить?.. Разгулъ веселья,  
Любовь-ли, горе, иль порокъ, —  
То знаетъ ночь одна да Богъ.

И ты, столяръ, въ своей постели  
Не успокоился доселѣ!  
Лежить онъ подлѣ верстака,  
Отдѣлкой гроба утомленный;  
Подушка—локоть обнаженный,  
Подъ локтемъ жесткая доска.  
Печально смотритъ мастеркая;  
Смолистый запахъ изливая,  
Бѣлѣють стружки на полу,  
Сосновый гробъ стоитъ въ углу,  
Топоръ въ березовый отрубокъ  
Воткнулся носомъ; на стѣнѣ  
Чернѣетъ старый полушубокъ,  
Пила блистаетъ при огнѣ,  
Подъ образами, на скамейкѣ,  
Въ потертой желтой душегрѣйкѣ  
Сидитъ дородная вдова,  
Семьи сварливая глава,

И, молча, карты раскладаетъ...  
 Про сынинь бракъ она гадаеть:  
 Но сбивчивъ глупый ихъ отвѣтъ:  
 То выйдетъ—да, то выйдетъ—нѣтъ, —  
 Вотъ, напримѣръ: печаль, дорога,  
 Постель, больная, интересъ...  
 Да тутъ и навикъ не помога,  
 Богъ знаетъ, просто—темный лѣсъ.  
 Межь-тѣмъ, съ гремушкою въ рученкѣ,  
 До вечера проспавшій днемъ,  
 Въ штанишкахъ, въ синей рубашенкѣ,  
 По стружкамъ скачетъ босикомъ  
 Ея сынишка краснощекой,  
 И православныхъ избъ жилецъ,  
 Извѣстный на Руси пѣвецъ —  
 Сверчокъ стрекочетъ одиноко  
 Подъ печью.

„Вотъ“, сказала мать:

„Вотъ, пиковый король... постылый!  
 Онъ твой злодѣй, мой Вася милый!  
 Посмотришь, свадьбѣ не бывать,  
 Ни, ни!.. я прежде это знала:  
 Намедни, помнится, во снѣ  
 Жемчугъ да бисеръ я низала, --  
 И доведется плакать мнѣ“.

Сынъ улыбнулся беззаботно,  
 Провелъ рукой по волосамъ  
 И промолчалъ. Не вѣря снамъ,  
 Онъ вѣрилъ Сашѣ безотчетно.  
 Конечно, вѣра—все для насъ:  
 Въ ней золь святое примиренье,  
 Да разувѣришься подчасъ!  
 Порой разумное творенье,

Бываетъ такъ измельчено,  
Запачкано, искажено,  
Что, право, надобно полвѣка  
Его съ любовью изучать  
За тѣмъ, чтобъ душу человѣка  
Подъ этой грязью отыскать.  
Столяръ избѣгъ подобной встрѣчи:  
Онъ росъ въ нуждѣ, пилилъ, стругаль,  
Не человѣка наблюдалъ;  
Но помнилъ онъ отцовы рѣчи  
И выросъ съ вѣрою въ добро:  
„Вотъ видишь, это серебро“,  
Ему отецъ, бывало, скажетъ,  
И въ головѣ своей сѣдой  
На кудри жесткія покажетъ:  
„Отъ нуждъ и горя, мой родной,  
Все это нажито до срока;  
Да, коли честно ты живешь,  
И нѣтъ на совѣсти упрека,—  
Все хорошо! И свѣтъ хорошъ,  
И будетъ ласковъ людъ съ тобою;  
Коли обидятъ,—промолчи,  
Не гнѣвайся! Не будь судьею!  
Ты пуще вотъ себя учи...“

Не такъ-себѣ, для наставленья,  
Твердилъ о совѣсти старикъ.  
То не были и строки книгъ,  
Плоды избитаго ученья:  
Живою книгой самъ онъ былъ.  
Изъ жизни слово выносилъ.  
Зародышъ книга уронила,  
Смерть навсегда ее закрыла,  
И въ ящикѣ она лежитъ,

Надъ нею крестъ святой стоить.  
 Но сынъ окрѣпъ. Съ нуждою злою,  
 Какъ умный мужъ съ дурной женою,  
 Безъ шума ладить онъ умѣлъ,  
 Безъ щей оставить,—все терпѣлъ.  
 Не тутъ ты выросъ, дубъ тѣнистый!  
 Могучей силѣ, какъ твоя,  
 Просторъ бы нуженъ, воздухъ чистый,  
 Не эта крыша и семья;  
 И не съ твоей душой и мочью,  
 О Сашѣ думать темной ночью,  
 Да глушь кругомъ, да въ сердцѣ жаръ...  
 Эхъ, бѣдный, бѣдный мой столяръ!

„Мнѣ то досадно, мать сказала,  
 Что Кулаку я уважала!  
 Давно-ль жена его у насъ  
 Брала уютюгъ, дескать, на часъ,  
 Три дня держала,—я ни слова!..  
 Я подѣлиться, молъ, готова  
 Съ сосѣдомъ. Сальную свѣчу,  
 Въ заемъ „на красной горкѣ“ взяли  
 И до сихъ поръ не отдавали...  
 Ништо... покуда помолчу,  
 А если насъ онъ одурачить,  
 Я за себя не поручусь,  
 Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,  
 Что любо!“

— Это ссора, значить,  
 Отвѣтилъ сынъ: изъ-за чего?  
 Безъ шума дѣло обойдется.—  
 „Какъ свистнешь, такъ и отзовется...  
 Я не боюсь никого!  
 Мнѣ эдакъ дорогъ твой Кулакъ,

Чтò вонь невытая тряпица...  
 Ну, Саша, точно, не въ него,  
 Скромна, работать мастерица,  
 Умомъ-то... правда, ничего.  
 Ахъ, Вася! я и не спросила:  
 За гробъ-ать много-ли ты взялъ?«  
 — Да такъ-себѣ... Не въ этомъ сила,  
 Покойника-то я, вѣдь, зналъ.  
 Чудакъ! Онъ жилъ въ своемъ домишкѣ,  
 Такъ въ старой мазанкѣ. Ходилъ  
 Зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ,  
 Щегловъ, чижей, синиць ловиль...  
 Бывало, раннею зарею  
 Въ лѣсъ проберется съ западнею  
 Да съ сѣтью,—холодъ ни-почемъ!  
 Разставить сѣть, а съ птицей клѣтку  
 Повѣситъ, знаешь ты, на вѣтку,  
 И на-сторожѣ за кустомъ  
 Дрожить въ снѣгу... Одну заботу,  
 Покуда кончился, имѣль:  
 „Охъ-ма! не въ пору заболѣлъ!  
 Теперь— вотъ въ лѣсъ-бы... на охоту...“  
 Кончатся сталъ, какъ закричитъ:  
 „Жена! пусти на волю дѣтокъ!“  
 — Какихъ тамъ дѣтокъ? говоритъ.—  
 „Моихъ-то вотъ, моихъ... изъ клѣтокъ!“

„Какихъ на свѣтѣ нѣтъ людей!  
 И твой отецъ чудилъ не мало:  
 Да скоро бросилъ. Все, бывало,  
 Шестомъ гоняетъ голубей.  
 Тѣ, знаешь, съ крыши встрепенутся,  
 Куда! подь облака взовьются...  
 Ему-то радость! Вверхъ глядитъ,

А самъ свистить, а самъ свистить!<sup>4</sup>

— Охота не укоръ. Намъ стыдно

Тревожить кости старика...

Слышь, Ваня, хочешь молока?—

„Нѣтъ, братецъ...“

— Покормили видно.

Ну, хорошо. Сюда поди;

Игрушку брось. Пора молиться.

Смотри-же, братъ, не торопиться.

Ты крестъ, какъ надобно, клади.—

И вотъ дитя перекрестилось

Огонь головку освѣтилъ:

Мать позади остановилась,

Столяръ молитву говорилъ:

Прости, Господи,

Меня грѣшнаго

И весь мѣръ прости!

Вразуми меня

Своей мудростью,

Научи меня

Всему доброму!

Помяни мою

Мать-кормилицу!

Помоги въ нуждѣ

Брату бѣдному,

И родителю,

Рабу Пимену,

Мѣсто свѣтлое

И покойное

Уготовь.—Аминь.

— Ну, вотъ спасибо! братъ сказалъ,

И на руки ребенка взялъ.

Со мною ляжешь спать?—

„Съ тобою“.

— А съ матушкою?

„Не хочу!“

И крѣпко розовой щекою  
Припаль онъ къ братнину плечу.

### XIII.

Смотрушки искони—забота,—  
Хозяйки съ трепетомъ ихъ ждуть:  
Чуть не весь день кипить работа,  
Метуть, и моютъ, и скребутъ.  
Едва блеснувшій лучъ разсвѣта  
Засталь Арину на ногахъ;  
Она была совсѣмъ одѣта  
И грѣла воду въ чугунахъ.  
Старушка ставней не открыла  
И въ горенкѣ, какъ тѣнь, ходила,  
Тревожить шумомъ не хотя  
Всю ночь неспавшее дитя.  
Вотъ утро. Саша не гуляетъ,  
Нѣмой тоской подавлена,  
И молчалива и блѣдна,  
Она посуду вытираетъ.  
Сборъ разныхъ чашекъ, пузырьковъ,  
Графины, рюмки и бутылки  
Изъ царства темноты и пыли  
Пришли омыться отъ грѣховъ.  
Звенять они, другъ-другѣ вторять:  
Ну, что, молъ, если невзначай  
Изъ рукъ, да на полъ насъ уронять?  
И шкафъ, и мы на-вѣкъ прощай!  
Теперь поламъ пора мученья:  
Водой облитые кругомъ  
Они выходятъ изъ терпѣнья,  
Скрипятъ подъ краснымъ кирпичемъ.

А подь окномъ, на вѣткахъ ивы,  
 И крикъ, и споръ нетерпѣливый  
 У любопытныхъ воробьевъ.  
 „Смотрите, молъ, мытье половъ,  
 Возня, тревога... дѣло худо!  
 И котъ вонъ тутъ! Скорѣй отсюда!“  
 И птицы дружно поднялись,  
 И вдаль въ испугѣ понеслись.

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:  
 Всталъ рано, чуть не на зарѣ,  
 Замѣтилъ, что заборъ не проченъ,  
 Двѣ щепки поднялъ на дворѣ  
 И отдалъ въ кухню на топливо, —  
 Хозяйствомъ грѣхъ пренебрегать.  
 Онъ зналъ, что надо терпѣливо  
 И неусыпно собирать  
 Добро домашнее. Бывало,  
 Когда домой идетъ не пьянъ,  
 Что подь ноги ему попало —  
 Подкова, гвоздикъ — все въ карманъ.  
 Прошелся по саду отъ скуки,  
 На яблонѣ червей сыскалъ  
 И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:  
 „Ахъ, вы, анаѣемскія штуки,  
 Не давитесь чужимъ добромъ!..“  
 И, наконецъ, покинулъ домъ.  
 На перекресткѣ помолился  
 На церковь. Нищей поклонился...  
 Откуда, чья она — спросилъ  
 И грошъ ей въ чашку положилъ,  
 Не по любви и состраданью  
 Къ подобному себѣ созданью,  
 Онъ просто вѣрилъ, что Господь



За подаваніе святое  
 Ему сторицею пошлетъ...  
 Желанье, кажется, благое  
 И неубыточный расчетъ.  
 Купилъ на площади торговой  
 Осенней шерсти два мѣшка  
 У горемыки-мужика;  
 О всходѣ ржи и гречи новой  
 Потолковалъ съ нимъ напередъ  
 И крѣпко побранилъ господъ:  
 „Народъ, молю, да! работай втрое,  
 Изъ жилъ тянись, имъ все не въ честь!“  
 Мужикъ былъ тронутъ за живое,  
 Заговорилъ, забылъ про шерсть:  
 Вотъ то, дескать, и то... и въ праздникъ...  
 „Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумажникъ“,  
 Лукичъ, нахмурясь, отвѣчалъ  
 И, вѣся шерсть, на рубль укралъ.  
 Домой пришелъ съ двумя узлами;  
 Тамъ были булки съ кренделями,  
 Орѣхи, сладкіе стручки,  
 Изюмъ и Сашѣ башмачки.  
 „Вотъ, Саша, на... Ты поскромнѣе.  
 При женихѣ себя веди,  
 Чтѣ спросятъ, отвѣчай умнѣе, —  
 Болваномъ, значить, не сиди“.

Всѣ стулья заняты гостями:  
 Смотрюшки въ горенкѣ давно.  
 Румяный, съ русыми кудрями,  
 Женихъ сидитъ подъ образами,  
 И говорить оживлено  
 Собранье. Женщины толкуютъ,  
 Что оплошалъ гостинный рядъ,

Товары завалью глядятъ,  
 Купцы безсовѣстно плутуютъ,  
 На шаляхъ мало пестроты,  
 На ситцахъ блѣдные цвѣты.  
 Двѣ-три старушки вспоминаютъ  
 О сарафанахъ съ галуномъ,  
 О серьгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,  
 И прихоть моды обвиняютъ.  
 Хозяинъ судить съ женихомъ  
 О разныхъ отрасляхъ торговли,  
 О недостаткѣ рыбной ловли  
 Въ ихъ городѣ и сознаетъ,  
 Что Таракановъ рѣчь ведетъ  
 Разумно. Скромная невѣста  
 Два раза поднималась съ мѣста  
 Гостей сластями обносить  
 И свой нарядъ перемѣнить.  
 Женихъ и мать его съ роднею  
 Переглянулись межъ собою,  
 Привстали чинно, не спѣша,  
 И молча потянулись въ сѣни  
 Для приговора и суждений—  
 Была-ль невѣста хороша?  
 Кулакъ въ углу шепталъ съ женою,  
 Съ дороднымъ кумомъ и кумою,  
 Дочь выслалъ въ кухню напередъ:  
 Теперь, молъ, торгъ у насъ пойдетъ.  
 Но вотъ съ гостями сваха входитъ,  
 Поклонъ, другой—и рѣчь заводитъ:  
 „Ну, батюшка, товаръ хорошъ!  
 Купца похвалишь-ли, не знаемъ“.  
 — Ты честь товару отдаешь,—  
 И мы купца не обижаемъ.  
 Расчетъ въ приданомъ?—

„И, — родной!

Не просимъ лишняго“.

— Пстой!

Твой разговоръ, къ примѣру, красенъ...

Ты слушай вотъ что: я согласенъ

Салопъ и все... а жемчугу

И денегъ дать я не могу...

Безъ жемчуга дойдетъ до дома...

Онъ думалъ: трудно безъ заема.—

„Нѣтъ, нѣтъ! копѣчки одной

Мы не уступимъ, золотой!“

— А я и нитки не прибавлю...—

И закипѣлъ упрямый споръ.

„Пустьѣйшій, значить, разговоръ“,

Сказалъ женихъ: „я все поправлю!

Дочь ваша, смѣю доложить,

Не то что, да-съ!.. Ей-ей, безъ лести!

Извольте насъ благословить,

Коли я нравлюсь ихней чести...

А деньги—пыль-съ...“

— Выходить рокъ...

Жена! утирку и платокъ!—

Старушка, плача, суетилась,

Невѣста снова появилась,

Поднось у матери взяла

И жениху, съ боязнию тайной,

На немъ подарокъ обручальный,

Глаза потушивъ, подала.

Женихъ утерся имъ легонько,

Невѣстѣ, молча возвратилъ.

Утерлась и она.

„Ну, только,

Теперь Господь васъ съединилъ“

Съ поклономъ сваха имъ сказала  
И поцѣлуемъ приказала  
Обрядъ закончить, рядомъ сѣсть,  
И полюбовно рѣчи вѣсть.

Подруги Саши не лѣнились,  
Пришли на зовъ, и въ тишинѣ  
Гостямъ, краснѣя, поклонились;  
Краснѣя, сѣли въ сторонѣ  
И пѣли пѣсни, не смолкали,  
Пока слезами не согнали  
Румянца яркаго со щекъ...  
И скажутъ—слезы не порокъ!

Бесѣда весело кипѣла,  
Женихъ невѣсту цѣловалъ.  
Вино лилось. Кулакъ плясалъ,  
Его жена помолодѣла:  
Покачивая головой,  
Она въ ладони ударяла  
И мѣрно топала ногой.  
Невѣста молча разсуждала,  
Что Таракановъ очень милъ:  
Одѣтъ пестро, лицомъ пріятенъ  
И въ обхожденъи деликатенъ...  
Межъ тѣмъ женихъ ей говорилъ:  
„Вы танцы любите?“

— Танцую,

А вы? —

„Да какъ бы вамъ сказать,  
Ногами вензеля писать  
Мнѣ некогда-съ. Вѣдь, я торгую“.  
— Вы курите? —

„Ни—Боже мой!

И не къ чему-сь. Расходъ пустой.“  
— Зимой катаетесь? —

„Бываетъ,

На сырной... это ничего-сь;  
Вотъ жалко, вздорожалъ овесъ;  
Конь, знаете, не понимаетъ,  
Что жерновъ—мелеть Божій даръ“.  
— Скажите! —

„Да-сь! Вотъ самоваръ  
Въ семействѣ нуженъ. Не скрываю:  
Съ ребячества привыкъ я къ чаю,  
Сначала просто пью, потомъ  
Употребляю съ молокомъ,  
Есть, знаете, своя корова...  
Вы вяжете чулки?“

— Вяжу,

И шью, и бисеромъ нижу.—  
„Позвольте, это нездорово,  
О бисерѣ я говорю.  
Низать не хорошо для зрѣнья“.  
— Я кошелекъ вамъ подарю...—  
„Своей работы?“

— Безъ сомнѣнья. —

„Чувствительно благодарю“.

Усердной пляской утомленный,  
Кулакъ забился въ уголь темный  
И, щурясь, бормоталъ сквозь сонъ:  
„Не надо! Убирайтесь вонъ...“  
— Прощайте, батенька, прощайте!—  
Женихъ съ улыбкой отвѣчалъ  
И руку Лукичу пожалъ.  
„Ты что за птица?“

— Угадайте! —

„Подай свѣчу... Вотъ такъ... не знаю,  
 Столяръ что-ль? Нѣтъ, онъ не таковъ...“  
 — Я Таракановъ, Глѣбъ Петровъ.—  
 „А вспомнилъ, вспомнилъ, понимаю...  
 Ну, поцѣлуй меня... вотъ такъ!...  
 А я ей-Богу не дуракъ,  
 И Саша вотъ дитя родное...  
 Миѣ, значить, жаль... Продумалъ ночь...  
 И столяры, и все такое.  
 А ты, вѣдь, можешь миѣ помочь?..  
 На совѣсть, честно поторгую!  
 И ты, выходить, чуть сплутую...“  
 Женихъ за дверью былъ давно,  
 Не замолкалъ Кулакъ равно.

## XIV.

Бѣлѣетъ утро. Надъ домами  
 Дымъ коромыслами встаетъ.  
 Со включенными волосами  
 Выходитъ дворникъ изъ воротъ,  
 Зѣвая, чешетъ грудь, затылокъ,  
 И лѣзетъ ставни открывать.  
 Бѣжитъ бѣгомъ съ ключемъ на рынокъ  
 Мальчишка-лавочникъ, а мать  
 Въ окно кричитъ ему спросонокъ:  
 „Не ѣшь ты дыни, пострѣленокъ,  
 Побереги ты свой животъ“.  
 Плетется нищій стороною,  
 На костыляхъ, съ пустой сумою;  
 А вотъ семинаристъ идетъ:  
 Ротъ калачомъ набитъ, подъ мышкой  
 Тетрадь съ изорванною книжкой.  
 — Постой, кутейникъ, погоди! —  
 Голоситъ баба позади,

Таща баранину сырую:  
Вотъ я-те, я-те, поворую,  
Я дамъ тебѣ, какъ лазить въ садъ!—  
Торговка, трубочистъ, солдатъ,  
Купецъ корысти недоступный,  
Маляръ, чиновникъ неподкупный,  
Снуютъ, встрѣчаются, спѣшать.  
Пойдетъ обычная работа!  
Иной и не успѣлъ уснуть:  
Всю ночь промучила забота—  
Получше ближняго надуть.

Столяръ сидитъ съ нѣмой тоскою,  
Поникъ кудрявой головою,  
И не поетъ его пила:  
Кручина руки отняла.  
Шубенкой матери покрытый,  
Его братишка, какъ убитый,  
Лицомъ къ стѣнѣ на лавкѣ спитъ,  
И не разлучная игрушка,  
Его любимая гремушка,  
У ногъ забытая лежитъ.  
Дверь настезь,—и вдова вбѣжала,  
Съ усильемъ духъ перевела,  
Руками бойко развела  
И вскрикнула: „не угадала!  
Нѣтъ, карты, батюшка, не лгутъ...  
Вотъ твой Лукичъ-то! Вотъ онъ, плутъ!  
О-охъ, родимые, устала!  
Дай сяду... Охъ, терпѣнья нѣтъ!  
Отдѣлали! Хорошъ сосѣдь!“  
— Нельзя-ли, матушка, безъ шуму?  
Не весело и безъ того.—  
„Ну, славно, славно! ничего!

Сиди вотъ сиднемъ, думай думу,  
 А Сашка-то исподтишка  
 Вонъ подцѣпила женишка...  
 Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,  
 Ужъ цѣловалась, цѣловалась  
 Ну, ну! Безстыжіе глаза!  
 Да что, вѣдь: на меня взглянула  
 И головою не кивнула,  
 А! каково! не чудеса!..  
 — Да ладно! Мнѣ-то что за дѣло?—  
 „Благодарю! благодарю!  
 Ну, извини, что надоѣла  
 И не у мѣста говорю.  
 Нѣтъ дѣла! Думаешь не шутка...  
 Съ тобою матери-то мука:  
 Дѣвчонкой, дурой проведенъ!  
 Понравилась! околдовала!  
 Вишь роза! гдѣ и расцвѣлала!“  
 И мать съ досады вышла вонъ...

Ей нужды было очень мало,  
 Что сынъ невѣсту потерялъ,  
 Да самолюбіе страдало:  
 Сосѣдъ, бѣднякъ—и отказалъ!  
 Обидно—главная причина.  
 И оскорбленная вдова  
 Сердилась на себя, на сына,  
 На цѣлый свѣтъ. Она едва  
 Кота полѣномъ не убила,  
 За то, что въ кухнѣ захватила  
 Его надъ чашкою съ водой;  
 Коть замыкалъ, какъ шальной,  
 Шарахнулся на дворъ, оттуда  
 Въ садъ Лукича, и тамъ пропалъ.



Вражды сосѣдственной покуда  
Несчастный котъ не понималъ.

Услышавъ вечеромъ случайно  
У Лукича напѣвъ печальный,  
Столяръ провелъ безъ сна всю ночь.  
Кого винить? Отца или дочь?  
Въ догадкахъ темныхъ онъ терялся,  
Сидѣлъ, ходилъ по мастерской,  
Бродилъ и по двору; порой  
Въ постелю жесткую кидался  
И вскакивалъ, или на мигъ  
Безъ нужды зажигалъ ночникъ.  
Неужто Саша не любила?..  
Женихъ богатъ... ее просила,  
Быть можетъ, на колѣняхъ мать, —  
И дочь не смѣла отказать;  
Отцу, быть можетъ, покорилась:  
Старикъ проклятьемъ угрожалъ,  
Не разъ прибилъ, съ двора сгонялъ...  
Но истина теперь открылась:  
Онъ мелькомъ видѣлъ изъ окна, —  
Его сосѣдка не грустна.  
— Такъ вотъ какъ ты меня любила,  
Шутила шутки надо мной,  
Отца упрямаго винила!  
А я и вѣрилъ всей душой!..  
Эхъ, Саша, Саша!..—

И тоскливо

Глядѣлъ онъ на широкій дворъ,  
Поросшій жгучею крапивой,  
На кровли, на чужой заборъ,  
И смутно передъ нимъ мелькали,  
Его прожитыя лѣта,

Перенесенныя печали,  
Съизмала трудъ и нищета,  
О домъ, о семьѣ забота,  
О Сашѣ думы по ночамъ,  
Бесѣды съ ней по вечерамъ,  
Отца тяжелая работа  
За верстакомъ по смертный часъ,  
И при смерти его наказъ—  
Жить мирно, честно, помнить Бога...  
Вся обыденная тревога,  
Все, что давно ужъ пронеслось,  
Закопшилось, поднялось,  
Клещами за сердце схватило...  
И свѣтъ туманомъ позакрыло...  
Столяръ промолвилъ: „экой вздоръ!“  
И кулакомъ глаза утеръ,  
И со двора пошелъ безъ цѣли.  
Погода ясная была.  
Дуль вѣтерокъ. Колокола  
Неумолкаемо гудѣли:  
То церковь-мать дѣтей звала...  
Столяръ на церковь помолился,  
Подумалъ, твердою ногой  
Переступилъ порогъ святой  
И у столба остановился.  
Народу нѣтъ. Окладъ иконъ  
Лучами солнца освѣщенъ.  
Нѣмые лики смотрять строго,  
Свѣчей затеплено немного;  
Подъ сводомъ сумерки лежатъ,  
Двѣ люстры на цѣляхъ блестятъ:  
Сѣдой священникъ у престола,  
Молясь, чело склонилъ до пола;  
Поютъ о Богѣ голоса...

Но видятъ столяра глаза  
 Одно: съ простертыми руками,  
 Прибитый острыми гвоздями,  
 Нагой, съ поникшею главою,  
 Колючимъ терномъ увитой,  
 Недвижный, кровью истекая,  
 Весь правда и любовь святая,  
 Посланникъ Божій, въ высотѣ,  
 Къ отцу отходить на крестѣ.  
 Бѣднякъ весь вздрогнулъ, страха полный;  
 Какъ затихающія волны,  
 Смолкала въ немъ души печаль;  
 Миръ уходилъ куда-то вдаль,  
 Огонь охватывалъ все тѣло,  
 И вдругъ на крестъ онъ взянулъ смѣло,  
 Забылъ сосѣдку, мать и домъ, —  
 И слезы хлынули ручьемъ.

## XV.

Со дня помолвки измѣнился  
 Невѣсты скромный уголокъ;  
 Въ немъ съ утра до ночи тѣснился  
 Веселыхъ дѣвушекъ кружокъ.  
 Ихъ занимало на досугѣ  
 Шитье приданаго подругѣ,  
 Мелькнувшій мимо пѣшеходъ,  
 Подъ вечеръ пѣсни у воротъ,  
 Порою сновъ истолкованье,  
 Чужая жизнь—бѣда и грѣхъ,  
 Въ саду горѣлки и гулянье,  
 Но больше смѣхъ, невинный смѣхъ!  
 Такъ онъ однажды разразился,  
 Когда, измоченный дождемъ,  
 Въ лохмотьяхъ грязныхъ подъ окномъ

Калѣка-нищій появился  
 И милостыни попросилъ  
 Разбитымъ голосомъ. Случалось,  
 И вечеринка собиралась, —  
 Вотъ тутъ-то тратилось бѣлиль,  
 Румянь, и мыла, и помады!  
 Тутъ было въ домѣ хлопотни,  
 Веселыхъ шутокъ, бѣготни,  
 Невольной зависти, досады!  
 Но трудъ не даромъ пропадалъ:  
 Съ иными гость потанцовалъ  
 И, продавая рукавицы,  
 Толкуя утромъ съ мужикомъ,  
 Воображалъ другія лица  
 И думалъ вовсе о другомъ.  
 „Зѣвай, зѣвай!.. Смотри порядкомъ!  
 А нынче гдѣ ты ночевалъ?“  
 Кричалъ хозяинъ за прилавкомъ.  
 — Чего-съ? На сѣновалѣ спалъ. —  
 Двѣ скрипки, въ домѣ освѣщенье,  
 Конфекты, стукъ отъ каблуконъ,  
 Учтивый говоръ молодцовъ:  
 „На счетъ того-съ... мое почтенье..  
 Вы роза, да-съ! Ей-ей! Богъ святъ!“  
 Вотъ вечеринка.—Виноватъ... —  
 Порой веселые зѣваки  
 Сквозь стекла съ улицы глядятъ,  
 Хохочутъ и гостей бранятъ;  
 Межъ тѣмъ сосѣднія собаки  
 Бѣгутъ въ тревогѣ къ воротамъ  
 И поднимаютъ страшный гамъ.

Быть можетъ, Саша и грустила  
 О столярѣ въ иные дни,

Но, къ счастью, минули они;  
 Она разумно разсудила,  
 Что глупо о пустомъ жалѣть,  
 Не мудрено и заболѣть,  
 И крѣпко на себя сердилась  
 За то, что встрѣтиться стыдилась  
 Съ сосѣдомъ. Что, дескать, мнѣ онъ?  
 И стыдъ былъ скоро подавленъ.  
 Она обновки примѣряла,  
 Или по городу гуляла  
 Съ подругами и женихомъ.  
 Однажды сумасшедшихъ домъ —  
 Большое, каменное зданье —  
 Къ себѣ привлекъ ея вниманье.  
 „Огромный домъ-съ“, сказалъ женихъ:  
 „Войдемте; взглянемъ на больныхъ;  
 Оно, пріятно, ради скуки“.  
 И Саша съ робостью вошла.  
 Но долго быть тамъ не могла.  
 — Смѣшно, моль, очень. Что за штуки! —  
 Твердила дѣвушка потомъ:  
 — Кто связанъ, эдакъ-вотъ, ремнемъ,  
 Да чушь-то, чушь-то какъ городятъ! —  
 „Нѣтъ-съ“, Таракановъ отвѣчалъ,  
 „Я сумасшедшаго знавалъ —  
 Тотъ все угадывалъ отлично...  
 Бывало, дичь несеть, несеть,  
 Подъ-часъ и слушать неприлично,  
 Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,  
 Что просто... да-съ! ей-ей, чудесно!  
 Даръ, значить все ему извѣстно“.

Бѣда! раздумывалъ Кулакъ:  
 Вотъ остается четвертакъ,

Да грошъ... Заемъ не удается;  
 Ну, если свадьба разойдется?  
 Родится-жъ этакой народъ, —  
 И подъ залогъ никто не вѣритъ!  
 Изъ-за чего онъ только жжетъ,  
 Идетъ на подлость, лицемѣритъ!..  
 Сказаль бы прямо: деньги есть,  
 Не про твою, къ примѣру, честь, —  
 Такъ нѣтъ! И щедрымъ притворится,  
 И на слова не поскупится...

— Помочь я радъ, дескать, душой...  
 Поводить за носъ день-другой,  
 Помучить болтовней, распросомъ:  
 Ну, что моль?.. и отправить съ носомъ:  
 Свои-де нужды, извини... —  
 „Вотъ богачи-то! Вотъ они!  
 Чортъ знаетъ... или попытаться  
 Пойти къ Скобѣву?.. Вѣдь, жидъ,  
 Просить не стоитъ... и сердить.  
 Мнѣ, правда, что!—равно шататься...  
 Уважить—ладно, поклонюсь;  
 Толкнетъ—по-свойски разочтусь“.  
 И черезъ часъ, проситель скрымный,  
 Онъ у Скобѣва въ приѣмной  
 Съ лакеемъ-мальчикомъ шепталъ:  
 „Что, дома баринъ?“

— Тсс... не всталъ. —

„А скоро, думашь, проснется?“

— Вотъ-вотъ... не кашляй!—

„Отчего?“

— У насъ за это достается. —

„Такъ! Этотъ завтракъ для него?“

— Да, колбасу ѣсть передъ чаемъ. —

„Всегда?“

— Случается, — балыкъ  
И ветчину. Вишь, такъ привыкъ;  
Здорово, стало. —

„Понимаемъ.

Ну, а жена его смирна?“  
— Ништо. Да какъ-то все больна;  
Тоскуеть, книжки все читаетъ,  
Поетъ да грустно таково,  
А баринъ этимъ попрекаетъ.  
„Дѣтишки есть?“

— Ни одного. —

„А вонъ въ гостиной чья дѣвица?“  
— Да самъ-ать говорить — сестрица,  
А дворня говорить... ой, ой!..  
Проснулся, братъ! потише стой! —  
Пока Скобѣевъ всталъ, умылся,  
За колбасою посидѣлъ,  
Сигару выкурилъ, обрился  
И кончилъ чай, — Кулакъ глядѣлъ  
На кресла, зеркала, картины,  
На свѣтлый, выкрашенный полъ,  
На складки бѣлой парусины,  
Одѣвшей люстру, и на столъ  
Съ часами въ бронзовой отдѣлкѣ,  
И думалъ: вишь понакупилъ!  
Выходитъ, былъ въ своей тарелкѣ,  
Когда въ комиссіи служилъ.

„А, грубіянь! зачѣмъ явился?“

Входя, Скобѣевъ забасилъ  
И на диванъ развалился...  
„Эй, Васька! Трубку! Ну, зачѣмъ?“

— Что, сударь, обнищаль совсѣмъ.

Просваталъ дочь, нужна помога,  
Цѣлковыхъ этакъ сто въ заемъ;

Я заложилъ бы вамъ свой домъ...  
 Не откажите, ради Бога! —  
 „Просваталь дочь.... а что она  
 Молоденькая, недурна?“  
 И плотный баринъ улыбнулся.  
 — Вы все изволите шутить;  
 Тутъ горе, смѣю доложить. —  
 „Да врешь! когда вашъ братъ горюетъ?“  
 Привыкъ къ бездѣлю, пьетъ вино,  
 Да ѣсть и спать, или плутуетъ,  
 И только. Знаю васъ давно“.  
 — Всѣ люди грѣшныя, конечно...  
 Я заплачу вамъ черезъ годъ,  
 Проценты вычтите впередъ...  
 Ее-ей, васъ не забуду вѣчно! —  
 „Процентовъ на сто — двадцать пять!..“  
 — Да это, сударь, разоренье! —  
 „Ха, ха! я думаль одолженъ!  
 Шучу, дуракъ! Я рукъ марать  
 Не стану“.

— То-есть просить мало? —

„Ну, да! и просить-то Кулакъ“.  
 — Смекаемъ, сударь... низко стало...  
 Одѣтъ, къ примѣру, я не такъ;  
 Не то — вы крикнули-бъ, я знаю,  
 Эй, Васька, принеси имъ чаю! —  
 „А хочется!“ — Три раза пиль,  
 Въ четвертый васъ я-бъ угостилъ,  
 Да не пойдете: горды больно. —  
 „Дуракъ!.. Пошелъ!..“  
 — Пойдемъ. —

„Довольно,

Ступай же!..“

— Выйду, говорю...



За рысака-то вамъ дарю,

Раздайте нищимъ... —

„Это видишь?“

— Чубукъ хорошъ. —

„Ну, скоро выйдешь?..“

— Съ двумя концами... —

„Такъ держись!“

— Семень Ивановичъ пришли-съ! —

Сказаль лакей.

„Преси, чертенокъ!

Нашель докладывать о комъ,

Негодный!.. одурѣль съ просонокъ?“

И баринъ стукнулъ каблукомъ,

Вскочилъ съ дивана, трубку кинулъ,

Дверь кабинета отворилъ

Къ столу два кресла пододвинулъ,

Усѣлся съ гостемъ и спросилъ:

„Вы изъ Коммисіи?“

— Оттуда. —

„Ну, что, идетъ-ли нашъ подрядъ? —

— Да, подвигается покуда,

Подмазать надо, говорить... —

„А, знаю... очень, молю, пріятно...

На вещи цѣну-то того...

Вы понимаете?“

— Понятно. —

„Да не опасно-ль?“

— Ничего! —

„А по бумагамъ безусловно

Въ подрядѣ вы: я подъ судомъ“.

— Какъ ваше дѣло въ уголовной? —

„Все, — слава Богу, — подъ сукномъ.

Жаль, нѣтъ войны: подряды мелки,

Отъ мира мало намъ добра...“

— Нельзя сказать...—

„Все вздоръ, бездѣлки!

Нѣтъ, батюшка, не та пора“.

Кулакъ не очень торопился:

Тутъ разговоръ. Онъ соблазнился;

Его забыли. Кабинетъ

Едва припертъ, лакея нѣтъ...

Чего-же лучше? Слушать можно,

И онъ подслушалъ осторожно:

„Держися, матушка-казна!

Подрядъ, вишь, плохъ, нужна война...

А гость-то!.. Царь ты мой небесный!

Недавно въ кабакахъ сидѣлъ,

Носилъ отрепье, плутъ извѣстный, —

Теперь подрядчикъ, фракъ надѣлъ...

Вотъ кулаки-то!..“

Вылъ буйный вѣтеръ; дождь ливнемъ лился

И громъ гремѣлъ. Лукичъ промокъ

До нитки, посинѣлъ, продрогъ,

На грязь и непогодъ сердился

И пробирался стороной,

Согнувшись, въ обуви худой.

На перекресткѣ онъ столкнулся

Съ торговкой, что-то проворчалъ,

Посторонился, поскользнулся,

И чуть-чуть въ лужу не упалъ.

Старуха, шамкая, сказала:

„Хрѣнку, родимый, не возьмешь?“

— Ну, ну, проваливай! пристала!..

Безъ хрѣну горько не втерпежь...—

Межь тѣмъ, по улицѣ широкой

Куда-то гнали въ путь далекой,

Въ халатахъ сѣраго сукна,

Толпу преступниковъ. Она  
 Шла медленно, гремя цѣпями,  
 Конвой съ примкнутыми штыками  
 Ее угрюмо окружалъ,  
 И барабанъ не умолкалъ.  
 „Пошелъ народецъ на работку!  
 Лукичъ подумалъ: да, ступай!  
 Поройся тамъ, руды въ охотку  
 И не въ охотку покопай...  
 Добру-ль съизмала не учили,  
 Подрось-ли, люди соблазнили,  
 Далъ волѣ-матушкѣ разгулъ,  
 Въ разгульѣ голову свернулъ...  
 Есть грошъ, достать на подаянье...  
 Поди, Скобѣевы живутъ,  
 Ихъ въ кандалы не закуютъ,  
 Не отведутъ на покаянье...  
 Ну, вотъ тебѣ, и взялъ въ заемъ!  
 Постой, постой!.. Вѣдь, этотъ домъ  
 Купца Пучкова... Э, почтенный  
 Я про тебя и позабылъ!  
 Пучковъ... да, я ему служилъ.  
 Святоша, человекъ смиренный,  
 Мукой, къ примѣру, торговалъ,  
 Парчей, свѣчами восковыми...  
 Ну, такъ! руками-то моими  
 Частенько жаръ онъ загребалъ..  
 Зайти къ нему.

## XVI.

Угрюмъ и прочень  
 Пучкова домъ. На кровлѣ тесь  
 Зеленой плѣсенью порось;  
 Досками крѣпко заколочень

Сосновый ставень кладовой.  
 Косматый сторожъ, песь цѣпной,  
 Въ конурѣ дремлетъ у забора;  
 Амбары въ сторонѣ стоятъ,  
 Ихъ двери отъ ночного вора  
 Замки тяжелые хранять.  
 Едва глядятъ лучи дневные  
 Сквозь окна въ комнаты пустыя:  
 Хозяинъ не имѣлъ дѣтей  
 И рѣдко принималъ гостей,  
 Но спальня съ желтыми стѣнами  
 Свѣтла, опрятно убрана;  
 Весь уголь занять образами,  
 Лампада вѣчно зажжена,  
 Кровать накрыта простынею,  
 И полонъ шкафъ церковныхъ книгъ, —  
 Иныхъ терпѣть не могъ старикъ  
 И называлъ ихъ чепухою.  
 Въ простѣнкѣ, трудъ давнишнихъ лѣтъ,  
 Виситъ на гвоздикѣ портретъ  
 Монаха съ черной бородою.  
 Съ рукой, поднятой къ небесамъ,  
 И надписью надъ головою:  
 „Вспомяни, что узришь тамъ“.  
 Проникнуть думою святою,  
 Въ очкахъ, за Библией большою  
 Пучковъ, нахмурившись, сидитъ.  
 Сюртукъ мерлушками подбитъ,  
 Подстрижены усы сѣдые,  
 Бородка жидкая длинна.  
 Скулы торчатъ, глаза косые,  
 Какъ мѣсяцъ лысина ясна.  
 Онъ жилъ съ ребячества трудами.  
 Водилъ по ярморкамъ слѣпцовъ.

Ходилъ искусно вверхъ ногами  
За крендели зѣвакъ-купцовъ;  
Нѣмымъ, калѣкой притворялся;  
Для нищей братьи по ночамъ  
За „Еруслана“ принимался.  
(Читать онъ выучился самъ).  
Одинъ добрякъ, старикъ бездѣтный,  
Полубольной и безотвѣтный,  
Его за бойкость полюбилъ,  
Одѣлъ и въ лавку посадилъ.  
Мальчишка взросъ, и за услугу  
Оставилъ нищимъ старика;  
Купецъ спился отъ горя съ кругу  
И умеръ подлѣ кабака,  
Полночной вьюгою отпѣтый, —  
То былъ простой, но горькій плачъ;  
А трушъ, въ больницѣ отогрѣтый,  
Разсѣкъ ножемъ ученый врачъ.  
Чужаго золота наслѣдникъ,  
Пучковъ себя не уронилъ:  
Глядѣлъ смиренникомъ и былъ  
О чести строгій проповѣдникъ;  
Не кушалъ рыбы по постамъ,  
Молился долго по ночамъ,  
Передъ нетлѣнными мощами  
Въ слезахъ колѣни преклонялъ,  
На церковь подавалъ грошами  
И грабилъ бѣдныхъ наповаль.  
И странно! Плутъ не лицемѣрилъ:  
Онъ искренно въ святыню вѣрилъ;  
Вѣдь, совѣсть надо очищать, —  
Что дѣлать? Страшно умирать!  
Пучковъ объ адѣ начитался,  
И какъ же онъ чертей боялся!

На полчаса вздремнуть не могъ,  
 Три раза „Да воскреснетъ Богъ“  
 Не прочитавъ. Теперь, подъ старость.  
 Оплакивалъ онъ грѣшный міръ,  
 И говорилъ: вотъ наша радость!  
 Указывая на Псалтирь  
 И Библию, хотя ни мало  
 То и другое не мѣшало  
 Ему язвить изподтишка  
 И умнаго, и дурака.

Кулакъ вошелъ. Сказалъ учтиво:  
 Погода, молъ, дурна-съ, промокъ!  
 Прибавилъ: грязно-съ! И умолкъ.  
 Хозяинъ поглядѣлъ пытливо,  
 Закладкой книгу заложилъ,  
 Зѣвнулъ, молитву сотворилъ  
 И отвѣчалъ: „да, дождь сегодня:  
 Все хорошо, все власть Господня...  
 Ты здѣшній“.

— Да-съ. Я мѣщанинъ  
 Слуга вашъ бывший, Карпъ Лукинъ.  
 „Какъ будто-бы припоминаю.  
 А, впрочемъ, нѣтъ... едва ли такъ“.  
 — Я вотъ на дняхъ просваталъ дочь...—  
 И рассказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло.  
 „Гмм... жаль, что не могу помочь!  
 Мое богатство улетѣло,  
 Какъ дымъ въ трубу: все разошлось  
 По добрымъ людямъ, да авось  
 Промаясь. Старъ... гляжу въ могилу,  
 И время... Господи помилуй!“  
 — Нельзя-ли, сударь, пожалѣть?  
 Вѣдь, вы не вѣрите, извѣстно...  
 Вотъ образъ,—заплачу вамъ честно!

Безъ покаянья умереть,  
Коли солгу! —

„Зачѣмъ божиться?“

— Да тошно! Кажется, готовъ  
Сквозь землю лучше-бъ провалиться.  
Чѣмъ этакъ — вотъ изъ пустяковъ  
Просить, да мучиться напрасно... —  
„Охъ, милый! Вѣрить-то опасно!  
Иного ссудишь, да не радъ:  
Уплаты нѣтъ, — я виноватъ,  
Терпи, да жди... Придетъ, голосить,  
А не послушаешь, — поносить;  
Да вытянешь процентъ едва,  
Вотъ нынѣ правда какова!“

Кулакъ и тѣломъ, и душою  
Божился честно заплатить, —  
Не могъ Пучкова убѣдить:  
Онъ морщился, махалъ рукою:  
„Нѣтъ не могу! Закладъ не тотъ:  
Твой домъ не каменный... нейдетъ“.  
— Несытая твоя утроба!  
Ну, стало, голову мнѣ снять  
И подъ залогъ тебѣ отдать?!  
Вѣдь, ты вотъ-вотъ подъ крышку гроба...  
Кому казну-то ты копишь? —  
„Опомнись! съ кѣмъ ты говоришь?“  
— Съ тобою, старый песъ, съ тобою!  
Ты вмѣстѣ воровалъ со мною,  
Клади мнѣ денежки на столъ,  
Дѣлись! я вотъ зачѣмъ пришелъ! —  
Пучковъ вскочилъ.

„И ты мнѣ смѣешь?..“

— Кто? я-то?... Ты не подходи  
И въ грѣхъ, къ примѣру, не вводи,

Убью! вотъ тутъ и околѣешь!—  
 Купецъ позеленѣлъ. Нѣмой,  
 Грозя приподнятой рукой,  
 Онъ въ мрачное изваянье  
 Вдругъ превратился. Есть одно  
 Востока чудное сказанье,  
 Руси знакомое давно:  
 Въ глуши таинственная сила  
 Три дива на горѣ хранила.  
 Столбъ надъ почвою сухой,  
 Вставалъ ключъ влагизолотой,  
 Разумно птица говорила,  
 И пѣло дерево. Межъ скалъ  
 Завѣтный путь туда лежалъ,  
 Въ глушь не одинъ пройти пытался,  
 Но по пятамъ текла гроза —  
 Гремѣли громомъ голоса,  
 Весь воздухъ кличемъ наполнялся,  
 Смѣльчакъ запретъ позабывалъ:  
 Лицо въ испугѣ обращалъ  
 Назадъ, — и камнемъ оставался.  
 На мигъ едва-ли не таковъ  
 Въ безсильномъ гнѣвѣ былъ Пучковъ.  
 Кулакъ захохоталъ. „Ну, что-жь?  
 Ударь, попробуй!“

— Вонъ, злодѣй! —

„Пойду, святоша... правый Боже!  
 И терпишь Ты такихъ людей!  
 Прощай! Садись опять за книги,  
 Копи казну, надѣнь вериги, —  
 Все, значить, о душѣ печаль...  
 А жаль тебя, ей-Богу, жаль!“  
 Привелъ Господь считать пороги!  
 Кулакъ дорогой горевалъ  
 И потъ холодный отиралъ



Пойду. Дождешься тутъ помощи!  
Гмм... Кулаку, дескать, дадимъ!  
И говорить-то стыдно съ нимъ!  
Ну, а вотъ эти, стало, святы?  
Набьютъ сундукъ чужимъ добромъ  
И вдругъ—банкроты, не при-чемъ!  
И этотъ чистъ, крючекъ проклятый —  
Ограбить матушку-казну,  
Деревню купить на жену?  
И тотъ, къ примѣру, помнить Бога  
И судъ по совѣсти творить;  
Съ перомъ присядеть, поскрипитъ, —  
Богатый выйдетъ изъ острога,  
Бѣднякъ — въ невидимой винѣ,  
И плеть засвищетъ по спинѣ?  
И тотъ вонъ не торгуетъ честью:  
Межъ знатныхъ трется съ подлой лестью,  
Мѣшаетъ съ грязью мужиковъ...  
Да мало-ли насъ, кулаковъ!  
Кулакъ въ енотѣ, въ полушубкѣ,  
При саблѣ, въ золотѣ и юбкѣ,  
Гдѣ и не думаешь, онъ — тутъ.  
Не мелочь, не грошовый плутъ,  
Не намъ чета — подниметь плечи,  
Прикрикнетъ, — не найдешь и рѣчи,  
Рубашку сниметъ, — все молчи...  
Господь суди васъ, палачи!  
А ты, къ примѣру, въ горькой долѣ  
На грошъ обманешь по неволѣ, —  
Тебя согнуть въ бараний рогъ,  
Бранять, и бьютъ-то, и смѣются...  
А разживись я, — видитъ Богъ,  
Въ пріятели всѣ назовутся;  
Сплутую, — скажутъ: не порокъ...  
Тьфу! гадость!

## XVII.

Туча миновала;

Прошла тревога Кулака:  
Онъ отыскалъ ростовщика...  
Все благо! Саша промѣняла  
Родимый домъ на  
Она прощальною слезой,  
Его, какъ водится, почтила,  
Какъ водится и позабыла.  
Веселой свадьбы пиръ умолкъ,  
Утихъ о ней сосѣдей толкъ,  
Утомонились пересуды,  
Въ свояси гости разбрелись;  
Переколоченой посуды  
Въ домахъ осколки убрались.  
Кулакъ покоенъ: дни позора  
Онъ прожилъ. Полно плутовать:  
Ему поможетъ добрый зять, —  
Зятя надежная опора,  
Одна Арина у окна  
Сидитъ за варешкой грустна:  
Безъ Саши горенка скучнѣе,  
И время тянется длиннѣе,  
И котъ тоскуеть: спать въ углу,  
Не поиграетъ на полу  
Клубкомъ старушки. Чуть смеркаетъ,  
Она калитку запираетъ  
И съ робостью обходить, дворъ, —  
Не притаился-ли гдѣ воръ,  
И мужа ждетъ. И спицы снова  
Звенять, безъ умолку звенять.  
Межъ-тѣмъ все къ ужину готово,  
Ужъ ложки на столѣ лежать.

Въ грозу закроеть боязливо  
Трубу, всѣ окна, и платкомъ  
Завяжетъ уши торопливо,—  
Все, дескать, меньше слышенъ громъ;  
Затеплить свѣчу восковую  
И Бога на помощь зоветь,  
Покуда тучу громовую  
Далеко вѣтеръ унесеть.  
Порою, у воротъ отъ скуки  
Съ глухой кумой поговорить  
О томъ, что грудь ея болитъ  
И ломятъ отчего-то руки,  
Что не горитъ щела въ печи,  
Сырая, вѣрно, хоть кричи;  
Сегодня каша не уирѣла;  
Что посадить она хотѣла  
Вчера насѣдку, но едва-ль  
Не поздно, да и яйца жаль;  
Что у сосѣда Шестокова,  
Намедни гусь зажаренъ былъ,  
Да мужъ женѣ платокъ купилъ,  
И отелилася корова,—  
Вотъ счастье-то! А дочь придетъ,  
Старушкѣ бѣдной тѣма заботъ!  
„Ахъ, наша гостыя дорогая!  
Здорова-ли? Присядь, присядь!  
Здорова-ль повторяетъ мать,  
Съ улыбкой слезы утирая:  
Насилу Богъ тебя припесъ...“  
И начинается допросъ:  
Живеть-ли съ нею мужъ согласно,  
Привѣтливъ онъ или сердить?  
Не ссорится-ль когда напрасно,  
Не часто-ли свекровь ворчитъ?

О всякой мелочи ничтожной  
 Поразузнаеть осторожно,  
 И трудовой пятакъ возьметъ  
 Спѣшитъ къ богатому сосѣду,  
 И въ крынкѣ молока къ обѣду  
 Любимой гостѣ принесетъ.  
 Свой садъ Арина позабыла:  
 Мать столяра ей досадила  
 Упрекомъ, бранью каждый разъ,  
 Сквозь наклонившійся плетень:  
 „Здорова, мать! Въ саду гуляешь!  
 Хозяйка, яблоки считаешь!..  
 Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,  
 Поймаю, прямо подъ топоръ;  
 Да, зять богатъ! Передъ тобою!  
 Звоню я, матушка, про васъ...  
 Умна ты съ дочкою своею,  
 Хотѣла одурачить насъ...  
 Тѣфу, вотъ вамъ! Вотъ народъ продажный!  
 Возьмите!..“ И махоръ бумажный  
 Леталъ на колпакѣ вдовы  
 Отъ потрясенья головы.

Настала осень. Скучень городъ.  
 Дожди, туманы, рѣзкій холодъ,  
 На сумерки похожій день...  
 И по нуждѣ покинуть лѣнь  
 Свой теплый уголь. Мостовыя  
 Покрыты грязью. Пѣшеходъ  
 Съ досадой нехотя бредеть.  
 Слезами капли дождевыя  
 Текутъ по кровлямъ, по стѣнамъ,  
 По окнамъ и по воротамъ.  
 Другъ-другу грустные поклоны  
 Въ садахъ деревья отдають,

Глѣхъ шапки на землѣ гниютъ.  
По вечерамъ кричатъ вороны,  
Въ лѣса собираясь на ночлегъ.  
Порой—нежданный, мокрый снѣгъ,  
Какъ туча бѣлыхъ мухъ, кружится;  
Минута—ливнемъ онъ смѣнится!..  
Вотъ время! Двери на крючекъ,  
Зажги веселый огонекъ,  
Бесѣдуй съ другомъ цѣлый вечеръ.  
Пусть льется дождь, голосить вѣтеръ,—  
Тепло въ затворенномъ углѣ,  
За самоваромъ на столѣ.  
Но каково сидѣть съ тоскою  
И одному, и въ заперти?  
Пошелъ бы,—не къ кому пойти,  
Читалъ бы,—нечего порою;  
Заснуть—счастливы кто можетъ спать,  
Не то, хоть петлю надѣвать!  
Кулакъ, съ досадою молчаливой,  
Поглядывалъ нетерпѣливо  
На небо, снѣга поджидалъ  
И непогоду проклиналъ.  
На рынкѣ нечѣмъ поживиться:  
Дороги плохи... нѣтъ крестьянъ;  
Ходи, глотай сырой туманъ,  
Пришлось хоть воздухомъ кормиться,  
А между-тѣмъ кругомъ нужда:  
Лежанка въ горенкѣ худа,  
Подъ матицей кряхтитъ подставка,  
Въ окошкахъ стекло недочетъ;  
Тамъ крыша кое-гдѣ течетъ;  
Тутъ сапогамъ нужна отставка,  
Сюртукъ заплатами покрытъ,  
А галстухъ въ клочья истаткался,

И какъ старикъ ни ухитрялся  
 Его сложить, но все на видъ  
 Не кстати бахрома висить.  
 На рынкѣ, просто, нѣтъ прохода.  
 Придетъ на бѣдняка невзгода!  
 Какой-нибудь молокососъ  
 Людей и Бога не боится.  
 Какъ надъ шутомъ, надъ нимъ глумятся:  
 „Ну, что, Лукичъ, повѣсилъ носъ?  
 Охота здѣсь тебѣ таскаться  
 И хлѣбъ обманомъ добывать,  
 Подъ старость скверно воровать,  
 Ей-ей, безгрѣшнѣй побираться;  
 Сидѣлъ бы съ чашкой гдѣ-нибудь,  
 Трудъ, значить, легкій, стариковской,  
 Да благо и сюртукъ таковской,  
 Вишь — любо-дорого смотрѣть!..“

Мнѣ, видно, зять не довѣряетъ,  
 Кулакъ подумалъ: не поймешь...  
 И чаемъ вдоволь угощаетъ,  
 И льститъ, а толку не на грошъ.  
 Я говорю, къ примѣру, буду  
 Тебѣ въ торговлѣ помогать,  
 Чужихъ, равно, молъ нанимать!  
 — Извольте-съ! я васъ не забуду...  
 У насъ торговый оборотъ  
 Зимою-съ... Вотъ зима придетъ... —  
 Гмм... путь, того и жди, настанетъ...  
 Ну, если онъ меня обманетъ,  
 И я останусь въ дуракахъ,  
 Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?  
 За что же такъ?.. Дитя родное  
 Принудилъ... Самъ теперь въ долгу...  
 Покоя ждалъ,—и вдругъ... Пустое!

Нельзя! Повѣрить не могу!

Дождь каплетъ. Синими клоками,  
Плывутъ на сѣверъ облака.  
Не весель домикъ Кулака  
Съ его измокшими стѣнами;  
Въ болото обратился дворъ,  
По срединѣ: кучи, соръ.  
Но садъ грустиѣй: вокругъ молчанье,  
Замолкло птичекъ щебетанье.  
Огнемъ онъ точно обожженъ,  
Весь почернѣлъ и обнаженъ.  
Покинутыя колыбели,  
На ивахъ гнѣзда опустѣли,—  
Жильцы разсѣялись. Мертва  
Къ землѣ припавшая трава,  
И съ непокрытою макушкой,  
Забывтой горькою старушкой,  
Въ измокшей бѣлой простынѣ  
Стоитъ береза въ сторонѣ.

Кулакъ въ саду. Онъ на топливо  
Деревья взглядомъ выбиралъ,  
Топоръ подъ мышкою держалъ.  
Но что рубить? Подъ этой ивой  
Вздремнуть, бывало, онъ любилъ  
На свѣжей травкѣ, въ полдень знойный;  
Иныя самъ отецъ покойный  
Ему на память посадилъ.  
И жаль, и дровъ нѣтъ ни полѣна...  
Вонъ, правда, есть пока замѣна...  
И засучилъ онъ рукава:  
Пошла береза на дрова ..  
Старушка печку затопила,  
Кулакъ на коникѣ прилегъ.  
„О чемъ грустишь?..“ жена спросила.

— Такъ... что-то мочи нѣтъ, продрогъ.—

„Что зять-то, какъ?“

— Смотри за щами:

Мужское дѣло—не твое...—

„Я все про Сашино житье...“

Богъ знаетъ, и за богачами

Живуть да мучатся...“

— Опять!

Нельзя, къ примѣру, помолчать?—

Дверь отворилась, и горбатый

Курчавый, рыжій мужичекъ

Въ халатъ, съ палкой суковатой,

Сказалъ съ поклономъ: „Встань, дружокъ ,

Хозяинъ умный, тороватый!

Явился гость,—и ты не радъ,

И я, соколь, не виноватъ.“

— Мы, погода, побалагуримъ...

Ты кто? Зачѣмъ?—

„Да встань-ко, встань,

Не погоняй, кнута не любимъ...“

Теперь подушное достань...“

— Ты, знать, отъ старосты... Разсылный...—

„Узналъ, сударикъ мой, узналъ!“

— Присядь, ты, кажется, усталъ.

А что морозъ сегодня сильный?

Я, знаешь, все въ избѣ сижу,

На дворъ, къ примѣру, не хожу:

Нога болить.—

„Да, да! проказникъ!

Испилъ воды на свѣтлый праздникъ,

Болить съ похмѣлья голова...“

Хитеръ на красныя слова!“

— Чего! ей-ей, болить, безъ шутокъ!—

Вотъ видишь... охъ, не наступлю!—



„Хэ-хэ, сударикъ мой, люблю,  
 Нужда горька безъ прибаутокъ...  
 Достань-ка деньги-то, родной,  
 Инь—къ старостѣ пойдемъ со мной“.  
 — Да какъ же быть?.. недугъ проклятый!..  
 Что дѣлать?—

„Деньги заплатить!

Я вотъ, сударикъ, самъ-девятый  
 Живу. Плачу!.. не стать-тужить...  
 Шестъ душъ дѣтей, жена седьмая,  
 Да я съ горбомъ... Пойдемъ, пойдемъ,  
 Какая тамъ нога больная!  
 — Скажи, что дома не засталъ,  
 Ушелъ, молъ, лень скупать въ деревни... —  
 И гостю гривенникъ послѣдній  
 Изъ кошелька Кулакъ досталъ.  
 „Оно ништо... да маловато...“  
 — Ей-Богу, гроша больше нѣтъ!—  
 „Ну, за тобою... дѣло свято!  
 Прощай покудова, мой свѣтъ...“  
 „Теперь на хлѣбъ добудь, —гдѣ знаешь“!  
 Кулакъ подумалъ—и вздохнулъ  
 И кошелекъ на столъ швырнулъ:  
 „Не радъ хромать, да захромаешь,  
 Попробуй-ка пожить вотъ-такъ...  
 А, вѣдь, кричатъ: кулакъ! кулакъ!..“

### XVIII.

Зима стоитъ. Трещать морозы.  
 Пошли съ товарами обозы  
 По Руси-матушкѣ гулять,  
 Слѣды въ сугробахъ прокладать!  
 Ползеть, скрипитъ дубовый полозъ,  
 Рѣка, болото, — всюду мостъ

За тысячу и за двѣ версты...  
 На мужичкѣ бѣлѣтъ волосъ,  
 Но весель онъ! идетъ-кряхтитъ,  
 Казну на подати копить.  
 Посвистывай теперь на волѣ,  
 Холодный вѣтеръ въ чистомъ полѣ,  
 Кружись, сердитая метель,  
 Стелись, пуховая постель!

Кому путекъ, кому дорога.

Аринѣ дома дѣла много:  
 Вставая съ раннею зарей;  
 Она ходила за водой:  
 Порой бѣлье чужое мыла,  
 Дескать, работа не порокъ,  
 Все будетъ хлѣбушка кусокъ;  
 Порою и дрова рубила,  
 Когда Кулакъ на печкѣ спалъ,  
 Похмѣлье храпомъ выгонялъ;  
 Отъ стужи кашляла, терпѣла,  
 И напоследокъ заболѣла.  
 Лежить недѣлю, легче нѣтъ;  
 Ознобъ и жаръ ее объемлетъ,  
 Едва забудется, задремлетъ,  
 Живьемъ изъ мрака прежнихъ лѣтъ  
 Встаютъ неожиданныя видѣнья...  
 Вотъ вспомнилась съ грозою ночь,—  
 Въ густомъ саду шумятъ деревья.  
 Изъ теплой колыбели дочь  
 Головку въ страхъ поднимаетъ  
 И громко плачетъ, и дрожитъ,  
 А мужъ неистово кричитъ  
 И стулъ, шатаясь, разбиваетъ.  
 Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ—  
 Малютка, убранный цвѣтами,

Покойтея подь образами;  
Блестить въ лампадѣ огонекъ,  
Въ углу кадила дымится;  
Столъ бѣлой скатертью накрытъ,  
Подъ кисеей младенецъ спитъ,  
Она отъ вѣтра шевелится,  
И солнце въ горенку глядитъ,  
На трупъ весело играя...  
И мечется въ жару больная.  
Въ ушахъ звенить, въ глазахъ темно,  
И слезы градомъ льются, льются...  
Межъ тѣмъ, какъ съ улицы въ окно  
Къ ней звуки музыки несутся:  
Тамъ, свадьбу празнуя, идетъ  
Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ.  
Въ борьбѣ съ мучительнымъ недугомъ,  
Смотря безмысленно кругомъ,  
Старушка встанетъ и потомъ,  
Вся потрясенная испугомъ,  
Со стономъ снова упадетъ  
И дочь въ безпамятствѣ зоветъ.

Снѣгъ падалъ хлопьями. Былъ вечеръ.  
Порывистый, сердитый вѣтеръ  
Въ трубѣ печально завывалъ.  
Лукичъ встревоженный стоялъ  
У ногъ Арины. Дочь глядѣла  
На умирающую мать,  
И слезы удержать хотѣла.  
Старушка стала умолкать  
И постепенно холодѣла,  
И судороги ногъ и рукъ,  
Последній признакъ тяжкихъ мукъ,  
Слабѣли.

„Матушка, родная!  
 Благослови!..“ сказала дочь,  
 Въ слезахъ, колѣни преклоняя.  
 — Отець...онъ нищій... ты помочь  
 Ему... нашъ домъ...—и рѣчь осталась  
 Неконченной. Невнятный крикъ,  
 Раздавшись, замеръ, и языкъ  
 Умолкъ. Развязка приближалась.  
 Въ тоскѣ подъятая рука,  
 Какъ плеть упала. Грудь слегка  
 Приподнялась и опустилась,  
 Взоръ неподвижный угасалъ,  
 По тѣлу трепеть пробѣжалъ—  
 И стихло все... Не умолкалъ  
 Лишь бури вой.

„Одинъ остался,  
 Одинъ, какъ персть!“ Лукичъ сказалъ,  
 Закрывъ лицо и зарыдалъ.

Уснуло доброе созданье!  
 Жизнь кончена, итогъ сведень,  
 Посмотримъ, что-то скажетъ онъ?  
 Немного. Скромное желанье—  
 Безъ хлѣба завтра не пробыть;  
 Возня съ горшками, да съ насѣдкой.  
 Вязанье варегъ день и ночь,  
 Отъ скуки разговоръ съ сосѣдкой,  
 Тревога, что тоскуетъ дочь,  
 На пьянство мужа тайный ропоть,  
 Порой побои отъ него,  
 Про быть чужой невинный шопоть,  
 Да слезы,—больше ничего!  
 И эта мелочь мозгъ сушила,  
 Изъ жилъ по каплѣ кровь пила!  
 Страшна ты—роковая сила—

Нужды и мелочнаго зла!  
Ты не убьешь, какъ громъ, мгновенно,  
Войдешь ты,—полъ не заскрипитъ,  
И душишь, душишь постепенно,  
Покуда жертва захрипитъ.

Съ разсвѣтомъ буря замолчала.

Арина на столѣ лежала.  
Въ лампадѣ огонекъ сіялъ;  
Онъ какъ-то странно освѣщаль  
Лицо покойницы старушки,  
И неподвижной, и нѣмой,  
И бѣлые углы подушки,  
Измятой мертвой головой.  
Убитый горемъ и тоскою,  
Передъ иконою святою  
Лукичъ всю ночь Псалтирь читаль.  
Уныль и тихъ его былъ голосъ,  
Отъ страха жесткій, черный волосъ  
На головѣ не разъ вставаль...  
Казалось, строго и сурово  
Глядѣла бѣдная жена;  
Раба доселѣ, съ жизнью новой  
Вдругъ измѣнилася она...  
Свою печаль припоминала  
И мужу казнь угрожала...  
Старикъ внимательнѣй читаль -  
И ничего не понималь...  
Всѣ буквы, мнилось, оживали:  
То замыкались въ кругъ порой,  
То расходились, выросали,  
Плясали черною толпой...  
Межъ-тѣмъ, сосѣдки понемногу  
Набились въ горенкѣ. Однѣ  
Вздыхали и молились Богу,  
Другія, въ грустной тишинѣ,

Съ тяжелой думою стояли,  
 Иль объ усопшей толковали,  
 Что, вотъ-де, каковы дѣла:  
 Жила, жила, да умерла.  
 Мать столяра въ недоумѣньи  
 Покачивала головой,  
 Въ углу бесѣдуя съ кумой:  
 Вотъ срамъ-то, просто удивленье!  
 „Вѣдь, на покойницѣ платокъ,  
 Что тряпка... ай-да муженекъ!  
 Убралъ жену, Кулакъ проклятый!  
 О платѣ я не говорю:  
 Я вчужѣ отъ стыда горю,—  
 Съ заплатой, милая, съ заплатой!..  
 А дочкѣ горя нѣтъ... сидитъ,  
 Одной слезы не уронитъ.  
 Ахъ, я тебѣ и не сказала!  
 Она за сына моего  
 Хотѣла выйти... каково!  
 Да я-то шишъ ей показала!  
 И мать-то, помянуть не тѣмъ,  
 Глупа была, глупа совсѣмъ!“

Сосѣдки вышли. Саша плачетъ,  
 Отецъ печально говорить:  
 „Не позабуди! я нищій, значить...  
 Ты дочь, вонъ мать твоя лежитъ,  
 Похорони!“

— Да не грустите!  
 Пойдемте къ намъ. Вы попросите  
 Здѣсь посидѣть кого-нибудь...  
 Вамъ не мѣшало-бъ и заснуть:  
 Вишь, вы стоите черезъ силу...—  
 „Иди просить, на гробъ просить,  
 На свѣчи, Саша, на могилу!“  
 — Да гдѣ же взять-то? Какъ же быть!

## XIX.

Зять Кулака сидѣлъ въ рубашкѣ,  
 Расходъ въ тетрадку заносилъ,  
 О чемъ-то съ Сашей говорилъ  
 И морщился. Въ граненой чашкѣ  
 Чай на подносѣ остывалъ,  
 И сахару кусокъ лежалъ.  
 Покоенъ взглядъ его и ясенъ,  
 И густъ румянецъ полныхъ щекъ,  
 Подстриженный затылокъ красенъ,  
 Мясистыхъ плечъ размѣръ широкъ.  
 Софа, комодъ, горшокъ съ цвѣтами,  
 Часы съ кукушкой на стѣнѣ,  
 Пять стульевъ съ мѣдными гвоздями,  
 Пенъки образчикъ на окнѣ,  
 Двѣ кучки ржи, одна пшеницы,  
 Въ чулкѣ оставленныя спицы,  
 Вотъ комната,--гдѣ онъ писалъ.

Лукичъ вошелъ, перекрестился,  
 Сказалъ, что умерла жена,  
 Что погребенья ждетъ она,  
 И зятю въ поясъ поклонился.  
 „Извольте-съ, отъ добра не прочь...  
 Зачѣмъ родному не помочь...  
 А жаль: я думаю, простуда?“  
 — Богъ знаетъ что, да умерла.—  
 „Я полагаю-съ — смерть пришла...  
 Вотъ выпейте чайку покуда“.  
 — Благодарю, не до того.—  
 „Напрасно-съ! Это не мѣшаетъ:  
 Онъ эдакъ грудь разогрѣваетъ“.  
 — Да я не зябну, ничего...  
 Не позабудь, къ примѣру, въ горѣ...—  
 „Вотъ ключъ позвольте отыскать...“

Я много не могу вамъ дать,  
 Не то что, да-съ... нѣтъ денегъ въ сборѣ.“  
 — Не добивай! я такъ убить!—  
 „О томъ никто не говорить.  
 На счетъ того-съ, оно, конечно,  
 Родню позабывать грѣшно,  
 Да, вѣдь, грѣшно и жить безпечно...  
 Да-съ! поскользнетесь неравно!  
 На васъ вотъ тулупишко рваный,  
 Да пальцы изъ сапогъ торчатъ,  
 А вы, намедни, были пьяны...  
 Выходить, кто же виновать?“  
 — Да знаю, другъ мой, все я знаю!  
 Неволя пьетъ-то иногда!  
 Ты думаешь мнѣ нѣтъ стыда,  
 Что плутовствомъ я промышляю,  
 Ъмъ хлѣбъ чужой, какъ подлый воръ?... —  
 „Да, да! Для васъ, то-есть, позоръ...  
 Все это пустяки— и только,  
 Торговли— круговой обманъ.  
 Вамъ горько лѣзть въ чужой карманъ,  
 Ну, а просить теперь не горько?“  
 — Вѣстимо. Если-бы ты зналъ!  
 Осмѣянь всѣми, обнищаль,  
 Тутъ совѣсть не даетъ покою...  
 Зять, не пусти меня съ сумою!  
 Дай мнѣ подъ старость отдохнуть,  
 Поставь меня на честный путь,  
 Дай дѣло мнѣ! Господь порука,  
 Не буду пить и плутовать!—  
 „Привыкли-съ. Трудно перестать!  
 Вотъ, значить, вамъ впередъ наука...  
 На похороны помогу,  
 На счетъ другога-съ,—не могу“.  
 — И съ бороною посѣдѣлой



Опять мнѣ грабить мужичковъ?..  
 Пойми, мое-ли это дѣло!  
 Неужто воръ я изъ воровъ,  
 Мнѣ стыдно! Богомъ умоляю,  
 Подумай! Выручи!—

„Опять!

Охота вамъ слова терять...  
 Нельзя-съ! По чести завѣряю...  
 Рубль серебра извольте—дамъ...“  
 — Такъ я, выходитъ, по домамъ  
 На тѣло мертвое собираю...  
 Къ чему ты говоришь про честь?  
 Вѣдь, я не нищій, я твой тесть,  
 Вѣдь, я прошу не подаянья;  
 Въ заемъ, ты слышишь, или нѣтъ?.. —  
 „А я даю изъ состраданья,  
 Не то что, да-съ! И мой совѣтъ—  
 Не надо брезгать...“

Саша встала,

Въ другую комнату пошла,  
 Тихонько мужа позвала  
 И на ухо ему сказала:  
 „На похороны надо дать:  
 Насъ, душка, будутъ осуждать,  
 Что вотъ, дескать, зятекъ богатый...“  
 — Не дамъ я. Пьяница проклятый!  
 Вотъ навязалася родня!—  
 „Да, ну! Уважь хоть для меня!  
 Старикъ тамъ разному народу  
 Пойдетъ—разскажетъ...“

— Съ камнемъ въ воду!

Пускай! Намъ всѣхъ похоронять, —  
 Суму придется надѣвать. —  
 „Ну, вотъ что: помнишь, въ воскресенье  
 Ты далъ мнѣ деньги на платокъ?“

— Нѣтъ, въ пятницу... —

„Возьми, дружокъ,

Назадъ...“ —

— Назадъ! Вотъ это удивленье! —

„Отдай ихъ, душка, старику:

Ты видишь—онъ вдался въ тоску,

И мнѣ-то, знаешь, съ нимъ отуда...“

Мужъ головою покачалъ,

Затылокъ жирный почесалъ

И согласился.

„Вотъ-съ, покуда“.

Съ досадой тестю онъ сказалъ:

„Извольте! Это Богъ послалъ,

Вотъ Саша сжалилась надъ вами...“

Тестъ поклонился, покраснѣлъ,

Благодарить онъ не сумѣлъ,

Пошевелилъ слегка губами,

На зятя кинулъ мутный взоръ

И крупный потъ на лбу утеръ.

„Вамъ, батенька, теперь не радость,

Сказала дочь: пора, того...

Оно для васъ-то ничего,

А для родныхъ выходитъ гадость..

Пойдете тамъ по кабакамъ,

На улицѣ васъ встрѣтитъ срамъ...“

— Пора-съ, пора за умъ приняться,—

Прибавилъ зять:— вы не чужой,

Не то что, да-съ! Вы нашъ родной,

А съ пьянымъ не хочу я знаться! —

Старикъ молчалъ и вышелъ вонъ.

О чемъ, бѣдняга, думалъ онъ?

А вѣрно думою печальной

Былъ оглушенъ; на рынокъ шелъ,

И, Богъ вѣсть, почему, забрелъ

Въ какой-то переулочъ дальній:

Опомнившись, взглянулъ кругомъ  
И назвалъ зятя подлецомъ.

## XX.

Добычи рыночной остатокъ,  
Давно Кулакъ рублей десятокъ  
Въ жилетѣ плисовомъ берегъ,  
Теперь вотъ зять ему помогъ,  
На все достало, славу Богу!  
Купилъ онъ меду, калачей,  
Вина, говядины, свѣчей,  
Муки, конечно, понемногу,  
Поденщиковъ приговорилъ  
Могилу рыть и гробъ купилъ.  
Принесъ его въ свою избушку,  
Перекрестился, крышку снялъ,  
Солому въ немъ и холстъ постлалъ,  
Съ молитвой положилъ старушку,  
Съ молитвою свѣчу зажегъ  
И сѣлъ на лавку въ уголокъ,  
Скрестивши руки... Бѣлый иней  
Сверкалъ отъ солнца на стеклѣ;  
Дымился ладонъ на столѣ  
Въ курильницѣ,—то, струйкой синей  
Колеблясь, кверху поднимался, —  
То въ кольца тихо завивался.  
„Вотъ, думалъ онъ, вотъ жизнь-то наша!  
И правда, говорятъ, что цвѣтъ:  
Ногою смялъ—его и нѣтъ.  
Умру и я, умретъ и Саша,  
И ни одна душа потомъ  
Меня не вспомнитъ... Боже, Боже!  
А, вѣдь, и я трудился тоже,  
Весь вѣкъ и худомъ. и добромъ  
Сбивалъ копѣйку... Зной и холодъ,

Укоры, брань, побои, голодъ,  
 Насмѣшки — все переносилъ!  
 Изъ-за чего? Ну, что нажилъ?  
 Тулупъ остался да рубаха,  
 А краль безъ совѣсти и страха:  
 Охъ, горе, горе! Вѣдь, метла  
 Годится вѣдѣло! Что же я-то?  
 Что я-то сдѣлалъ, кромѣ зла?  
 Вотъ свѣчи, гробъ!.. Гдѣ это взято?  
 Крестьянинъ, мужичекъ-бѣднякъ,  
 На пашнѣ потомъ обливался  
 И продалъ рожь... А я, Кулакъ,  
 Я, пьяница, не побоялся, —  
 Не постыдился никого,  
 Ограбилъ, осмѣялъ его,  
 Не додалъ денегъ и обмѣрилъ,  
 Да смертной клятвою увѣрилъ,  
 Что я не плуть!... Все терпитъ Богъ.  
 Вотъ, зять, какъ нищему, помогъ!..  
 Въ глазахъ мутилось, сердце ныло, —  
 Я въ поясъ кланялся, просилъ!  
 А, вѣдь, и я добро любилъ.  
 Оно, вѣдь, дорого мнѣ было!  
 Со мной, къ примѣру, было разъ,  
 Давно ужъ... раннею весною  
 Я утопающаго спасъ.  
 Когда онъ съ мокрой головою  
 Нагой на берегу лежалъ,  
 Открылъ глаза, пошевелился  
 И крѣпко руку мнѣ пожалъ,  
 Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ  
 И радостно перекрестился...  
 И все пропало, все забылъ!“

И голову онъ опустилъ...  
 Что думалъ, Богъ про это вѣдалъ.

Насталъ обѣдъ, онъ не обѣдалъ,  
И въ два часа, пока сидѣлъ,  
Двумя годами постарѣлъ.

Бѣднякъ! бѣднякъ! печальной доли  
Тебя урокъ не вразумилъ!  
Своихъ цѣпей ты не разбилъ,  
Послушный рабъ безсильной воли!  
Ты понималъ, что честный трудъ  
И путь тебѣ иной возможенъ,  
Что ты, добра живой сосудъ,  
Не совершенно уничтоженъ;  
Ты плакалъ, ты на помощь звалъ;  
Нужды подхваченный волнами,  
Въ послѣдній разъ взмахнулъ руками, —  
И въ грязномъ омутѣ пропалъ!

Въ семьѣ чужой нашла-ли Саша  
Любовь и счастье? Какъ сказать!...  
И что намъ счастьемъ здѣсь назвать?  
Вопросъ мудреный, воля ваша!  
Есть люди (благодатный родъ)!  
Цѣль и граница ихъ желанья —  
Спокойный ходъ существованья  
Безъ слезъ, сомнѣній и заботъ.  
Какъ свѣтъ и воздухъ, имъ лишь нужны —  
Здоровье, сонъ, обѣдъ и ужинъ.  
И вѣрують они всему,  
И счастливы по-своему.  
Есть родъ иной: его отрада —  
Большая дворня, блескъ палатъ,  
Причуды моднаго наряда, —  
И это счастье — говорить!  
И есть созданья: нѣтъ покою  
Для ихъ души; имъ нуженъ шумъ,  
Ихъ сила крѣпнетъ подъ грозою, —  
И постоянною борьбою

Неутомимый занять умъ,  
 Движенья мысли, жажда знанья,  
 Науки торжество и плодъ,  
 Стремленье вѣчное впередъ, --  
 Вотъ все ихъ счастье и призванье!  
 На жизнь у всякаго свой взглядъ...  
 Кто правъ, Богъ вѣсть, когда рѣшать.  
 У Саши былъ свой мiръ любимый:  
 Мечты завѣтныя, печаль,  
 Сережки, зонтикъ, или шаль,  
 Или салопъ необходимый  
 Съ пушистымъ мѣхомъ изъ лисицы,  
 Да изъ купеческаго круга,  
 Для болтовни, въ часы досуга,  
 Пять или шесть знакомыхъ лицъ.  
 Надежды скромныя съ годами  
 Осуществятся, можетъ быть,  
 Не то легко ихъ замѣнить  
 Разнообразными трудами:  
 Она въ домашней тишинѣ  
 Привыкнетъ къ кухонной стряпнѣ,  
 Отъ скуки самоваръ согрѣетъ,  
 Отъ скуки сладостно заснетъ,  
 И постепенно растолстѣетъ,  
 И вѣкъ безъ горя проведетъ.  
 Мужъ, человекъ неприхотливый,  
 Ее и нѣжилъ, и любилъ:  
 Икрой и сельдями кормилъ  
 Тайкомъ отъ матери строптивой;  
 (Ея бояться сынъ не могъ,  
 А просто денежки берегъ).  
 Съ жены не взыскивалъ онъ много,  
 Одно наказывая строго:  
 По дому хлопотать съ утра,  
 Беречь посуду, ложки, чашки,

Доить корову, шить рубашки,  
Безъ спросу не ходить съ двора.

## XXI.

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли,  
Чредѣ обычной нѣтъ конца:  
Кричитъ младенецъ въ колыбели,  
Несутъ въ могилу мертвеца.  
Живи, трудись, людское племя,  
Вопросы мудрые рѣшай,  
Сырую землю удобрай  
Своею плотью!.. Время, время!  
Когда твоя устанетъ мочь!  
Какъ страшный жерновъ, день и ночь,  
Вращаясь силою незримой,  
Работаешь неудержимо  
Ты въ Божьемъ мірѣ. Дѣла нѣтъ  
Тебѣ до нашихъ слезъ и бѣдъ,  
Ты ихъ не видишь и не знаешь,  
Даешь веселью краткій срокъ,  
И тихо, медленно стираешь  
Людскія кости въ порошокъ!

Прошло два года.

Народъ дождался торжества:  
Заутра праздникъ Рождества,  
Желудкамъ полная свобода...  
Отметить за постъ голодный людъ!  
На рынокъ безъ метлы метутъ  
Добро съѣстное. Поросята,  
Индѣйки, мерзлые цыплята  
И туши жирныя свиней...  
Прохода нѣтъ между саней!  
Вотъ боровъ съ опаленной мордой  
Вверхъ брюхомъ на возу лежитъ;  
Вотъ гусь живой, онъ смотритъ гордо,

На покупателей шипить.  
 Вотъ крикнулъ селезень. Чиновникъ  
 Его сусть въ мѣшокъ пустой:  
 Поди-ка, моль, сюда, разбойникъ!..  
 Эхъ, любятъ на Руси святой  
 Поѣсть и выпить! Намъ не вредны  
 Излишки. Все на столъ мечи!  
 Быть можетъ, въ чемъ другомъ мы бѣдны,  
 Желудкомъ — просто силачи!

Въ тулупѣ, нанкою покрытомъ,  
 Косматомъ и просторно сшитомъ,  
 Между воевъ столяръ идетъ.  
 Онъ весель. Поросятъ несетъ.  
 Съ нимъ женщина. Она смѣется,  
 У ней шубейка на плечахъ  
 Нѣтъ-нѣтъ отъ вѣтра распахнется...  
 И что за доброта въ глазахъ!

А въ сторонѣ былъ громкій хохоть  
 И безтолковый споръ и ропоть;  
 Толпу внимательныхъ зѣвакъ  
 Тамъ тѣшилъ, не-хотя, Кулакъ.  
 Мужикъ съ курчавой бородою,  
 Съ широкимъ лбомъ, аршинъ въ плечахъ,  
 Въ тулупѣ, шапкѣ и лаптяхъ,  
 Взбѣшенный, лѣвою рукою  
 Его за шиворотъ держалъ.  
 „Вотъ-эдакъ-вотъ! Вотъ-эдакъ съ вами!“  
 Старикъ постукивалъ зубами.  
 Халатъ съ разорванной полою  
 Сзади на воздухѣ мотался,  
 И кровь на бородѣ съдой  
 Застыла каплями.

„Попался!“

Кричалъ народъ: „тряхни его!  
 Тряхни получше... ничего!“



— Не бей по шапкѣ! одурѣеть!—  
 „Не смѣеть, бить,—на это судь,  
 Расправа, значить, бить не смѣеть...“  
 — Валяй! тамъ послѣ разберутъ!—  
 Но вдругъ столяръ рукою смѣлой  
 Толпу раздвинулъ: „стой, за что?  
 — А не обвѣшивай... за то!— .  
 Мужикъ отвѣтилъ:—наше дѣло!  
 Я продалъ шерсть, а онъ того...  
 Обвѣсилъ, вонъ—що!..—

„Брось его!

Не то, ей-ей, въ тюрьму запрячемъ,  
 Сейчасъ солдата позовемъ!..  
 Чего ты, Карпъ Лукичъ? пойдѣмъ!..“  
 — Проваливай, мы не заплачемъ..  
 Вотъ, незамай, онъ побряхтитъ:  
 Въ бокахъ-то у него лежитъ!—  
 „Эхъ, съ этимъ не дошло до драки!“  
 Жалѣли, расходясь, зѣваки.  
 „А въ нанковомъ куда—горячъ!  
 И статень, то-то, чай, силачъ!“  
 „Сосѣдъ, ну, какъ тебѣ не стыдно!“  
 Столяръ дорогой говорилъ:  
 „Весь помертвѣлъ, лица не видно...  
 Что завтра? Вспомни!“

— Согрѣшилъ...

Обвѣсилъ... не во что одѣться...  
 Озябъ... и нечѣмъ разговѣться.—  
 „А зять?“  
 — Мошенникъ!.. Охъ, продрогъ!—  
 „Ну, Саша?“

— Саша помогаетъ...

Попреки... водкой попрекаетъ...  
 Ой, больно! заломило бокъ!—  
 „Бѣдняга! Выгнали изъ дома...“

Да ты идешь едва-едва:  
Квартира гдѣ?“

— У Покрова.

Привыкъ къ примѣру... Грязь, солома...  
Полтинникъ въ мѣсяцъ... Охъ, продрогъ!  
Зимой безъ шубы, безъ перчатокъ!—  
„Слышь, Карпъ Лукичъ! вотъ есть остатокъ,  
Возьми на праздникъ... Видитъ Богъ,  
Даю изъ дружества. Вѣдь, хуже  
Обманывать... дрожать на стужѣ...  
Возьми, пожалуйста, сосѣдъ,  
Ну, хоть взаимъ, какъ знаешь...“

— Нѣтъ!..

Я виноватъ передъ тобою...

Ты дочь мою...—

„Пустьякъ, пустьякъ!

Угодно было Богу такъ...

Возьми! Ты, слышь, не спорь со мною;  
Въ карманъ насильно положу,  
Вотъ-на!.. И руки подержу...“

— Покинь! мнѣ стыдно!—

„Знаю, знаю!

А ты не вынимай назадъ...

Я, что родному, помогаю,

Не то что, значить... Чѣмъ богатъ!..

Утри-ка лучше кровь полою.

Не ловко?.. Вотъ сюда пойдѣмъ.

Да, кстати! Ты, вѣдь, незнакомъ

Съ моею Танею, съ женою?

Люби и жалуй — вотъ она“.

— А, ты женатъ уже?—

„Недавно;

Живемъ ништо... покуда ладно.

Взялъ сироту. Однимъ дурна:

Я ей обновку покупаю,

Она свое: купи лотокъ,  
 Чугунъ, жаровню, да горшокъ...“  
 — Права: затѣмъ не уступаю!—  
 Со смѣхомъ молвила жена:  
 — Обновка тоже не нужна.—  
 „Ну, вотъ изволь тутъ.... Не досада?  
 И съ матушкою такова:  
 Найдеть разумныя слова,  
 Безъ шума сдѣлаеть, что надо...  
 Сосѣдъ, да полно горевать!“  
 — Я такъ, къ примѣру, грустно стало...  
 Ты къ намъ, что сынъ родной, бывало,  
 Прийдешь, сидишь... Теперь мой зять...  
 Прости!...—

„Я даромъ не прощаю!

Ты посѣтишь нашъ уголокъ,  
 Поговоримъ, напьемся чаю,  
 Разрѣжемъ эдакой пирогъ!..“  
 И весело, въ толпу густую,  
 Столяръ отправился съ женой;  
 Вотъ снялъ онъ шапку мѣховую  
 И... Нѣтъ, не видно за толпой!  
 Кулакъ съ разорванной полою  
 Побрелъ одинъ. Взглянулъ кругомъ,—  
 Знакомыхъ нѣтъ... Махнулъ рукою  
 И завернулъ въ питейный домъ.

---

Прощай, Кулакъ! Не разъ съ тобою,  
 Когда мой домъ объять былъ сномъ,  
 Я при свѣчѣ, ночной порою,  
 Сидѣлъ въ раздумьи за столомъ.  
 Несчастный братъ! Мнѣ было больно  
 За твой позоръ, за твой порокъ,  
 И не одну слезу невольно

На эти строки ты извлекъ.  
Я понималъ твои страданья,  
И язвы смѣло осязалъ,  
Въ моихъ глазахъ ты угасалъ  
Одинъ, въ грязи, безъ врачеванья:  
А горько! Вѣрно и теперь,  
Едва перешагну за дверь,  
Иного Кулака я встрѣчу  
И, можетъ быть, на немъ опять  
Порока страшную печать  
И язвы новыя замѣчу...  
Бѣднякъ! Взглянувши на тебя,  
Не каждый сердцемъ содрогнется;  
Пройдетъ, быть можетъ, посмѣется,  
Потѣху пошлую любя.  
Кому нужна твоя утрата!  
Васъ много! Тысячи кругомъ,  
Какъ ты, погибли подъ ярмомъ  
Нужды, невѣжества, разврата!  
Прійдетъ-ли, наконецъ, пора,  
Когда блеснутъ лучи разсвѣта,  
Когда зародыши добра  
На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,  
Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ  
И принесутъ сторицей плодъ?  
Когда минетъ проказа вѣка,  
И воцарится честный трудъ,  
Когда увидимъ человѣка —  
Добра божественный сосудъ!

1854 октябрь.

1856 сентябрь



II.

Воспоминаніе о Никитинѣ.

А. В. КУЗНЕЦОВ И Д. С. ПУШКИН

## Воспоминаніе объ И. С. Никитинѣ. \*)



(А. А. ШКЛЯРЕВСКАГО).

нѣ было тогда семнадцать лѣтъ и я пріѣхалъ въ Воронежъ держать экзамень на званіе учителя. Имя Ивана Саввича Никитина гремѣло, стихотворенія его читались молодежью съ жаромъ, переписывались и твердились наизусть. Я былъ однимъ изъ величайшихъ поклонниковъ Никитина и, пріѣхавъ въ Воронежъ, старался во что бы то ни стало видѣть Ивана Саввича, но это мнѣ не удавалось, къ тому же говорили, что онъ боленъ. Между тѣмъ, экзамень былъ выдержанъ и мнѣ нужно было уѣзжать изъ Воронежа въ г. Валуйки, гдѣ отецъ мой служилъ учителемъ русскаго языка. Наканунѣ отъѣзда я шелъ по главной улицѣ въ Воронежѣ, „Большой Дворянской“, вмѣстѣ съ однимъ семинаристомъ, валуйчаниномъ, у котораго я квартировалъ. Вдругъ вниманіе мое было привлечено какимъ-то господиномъ, разсматривавшимъ вывѣску оптическаго магазина, съ нарисованными на ней инструментами,

\*) Этотъ краткій, но живой рассказъ о единственномъ свиданіи автора съ Никитинымъ, происходившемъ въ 1854 году, заимствуемъ изъ брошюры, изданной въ 1882 году, въ Петербургѣ, подъ названіемъ „Русская Библиотека Уголовной Хроники“ (выпускъ 1-й). Авторъ разсказа (уже умершій), не разъ упоминая о пишущемъ эти строки и весьма благосклонно относясь къ нему, заподозриваетъ насъ однакоже въ искаженіи стихотвореній Никитина, изданныхъ послѣ смерти поэта. Такое подозрѣніе было бы очень тяжелымъ, если бы оно не было комичнымъ. Оказывается, что авторъ воспоминанія не видалъ ни одного изъ посмертныхъ изданій стихотвореній Никитина и считалъ такимъ изданіе Кокоревское (1859). Не найдя въ послѣднемъ стихотвореніи „Болѣсть“,

въ черной шинели съ нахлобученнымъ воротникомъ и въ картузѣ. Онъ показался мнѣ незаурядною личностью, и я хотѣлъ было спросить своего спутника, не знаетъ ли онъ, кто это?

Но семинаристъ самъ остановилъ меня и спросилъ:

— Ты знаешь, кто это?

— Нѣтъ.

— Иванъ Саввичъ Никитинъ, котораго ты хотѣлъ видѣть.

— Быть не можетъ!

— Ей-Богу, правда.

Я бросилъ своего спутника и ринулся къ поэту. (То-то молодость! говорю же, мнѣ было 17 лѣтъ, а Никитину лѣтъ 28).

— Вы Иванъ Саввичъ Никитинъ? спросилъ я у него.

— Я, отвѣчалъ онъ, взглянувъ на меня не совсемъ ласково, и сталъ продолжать свой путь далѣе по направле-  
нію къ Щепной площади. Но я былъ не изъ тѣхъ, отъ которыхъ легко можно бы было отдѣлаться.

— Это вы написали:

По утру вчера дождь  
Въ стекла оконъ стучалъ;  
Надъ землею туманъ  
Облаками вставалъ... \*)

И т. д., и т. д., я прочелъ все стихотвореніе до конца. Тогда я декламировалъ недурно.

— Да, сказалъ Никитинъ.

— А это?.. И я пошелъ отваливать его стихотворенія одно за другимъ.

выброшеннаго изъ этого изданія самимъ Никитинымъ, авторъ разсказа вообразилъ себѣ, что эту операцію непремѣнно сдѣлали мы! По этой причинѣ, а также изъ *блязни* (sic) увидѣть въ искаженномъ видѣ любимаго имъ поэта авторъ разсказа даже не заглянулъ въ Михайловское изданіе, гдѣ стихотвореніе „Болѣсть“ красуется на 343—347 страницъ 1-го тома!...

Прилагаемый разсказъ хотя подписанъ буквами А. Л., но намъ достоверно извѣстно, что онъ принадлежитъ перу автора беллетристическаго разсказа („Воинская повинность, или у гроба самоубійцы“), помещеннаго въ томъ же выпускѣ названной брошюры, — А. А. Шкляревскому.

*Ред.*

\*) См. стихотвореніе „Встрѣча зимѣ“ (1-й т., стр. 148).



— Вы кто такой! спросилъ, наконецъ, у меня Никитинъ:—семинаристъ?..

— Нѣтъ, отвѣчалъ я ему:—я воспитывался въ Харьковской гимназіи, но я, такъ же, какъ и вы, мѣщанинъ. Хотя мой отецъ теперь учитель и имѣеть чины, но я родился въ то время, когда мой отецъ не поступалъ еще на службу, а онъ изъ мѣщанъ. Я даже занимался одной съ вами профессіей, былъ отъ 6 до 9 лѣтъ дворникомъ у своей бабушки, содержавшей постоянный дворъ въ городѣ Лубнахъ, Полтавской губерніи, и зазывалъ проѣзжихъ богомольцевъ въ Кіевъ и на поклоненіе святителю Аѳанасію Лубенскому. Да какъ лихо!.. Другіе дворники не могли противъ меня ничего поддѣлать... Всѣхъ проѣзжихъ отобью... Мѣщанская косточка, а la Кольцовъ, шибай!..

Угрюмый, и какъ видно, не со всѣми сообщительный, Никитинъ улыбнулся и проронилъ:

— Что же вы тутъ дѣлаете, въ Воронежѣ?..

Я рассказалъ, для чего я пріѣхалъ въ Воронежъ, и когда коснулся формы экзамена на учителя, то замѣтилъ, что Иванъ Саввичъ очень заинтересовался и сталъ входить во всякія мелочи... И заподозрилъ даже тогда Ивана Саввича, что онъ самъ хочетъ держать экзаменъ на учителя уѣзднаго училища \*).

Разговаривая объ экзаменахъ, мы дошли до Московской улицы и до лучшаго въ то время въ г. Воронежѣ трактира купца Колыбихина, подъ названіемъ: „Московскій трактиръ“.

— Зайдемъ, выпьемъ чаю, предложилъ Никитинъ.

— Съ вами, съ удовольствіемъ.

Въ трактирѣ Иванъ Саввичъ избралъ вторую, менѣе роскошно меблированную, комнату, въ которой не было ни души посѣтителей, и приказалъ половому, почтительно поклонившемуся ему, подать двѣ пары чая. — Разговоръ продолжался все объ учительствѣ.

— Нелегкую обязанность вы на себя приняли, замѣтилъ Никитинъ.

\*) Догадка автора не имѣеть никакого достаточнаго основанія; любознательность Никитина объясняется простымъ вниманіемъ къ своему собесѣднику. О педагогической дѣятельности Никитинъ никогда и не думалъ, тѣмъ болѣе—въ пору своей извѣстности, да она была совсѣмъ и не по его характеру, не по его натурѣ. *Ред.*

— Да, отвѣчалъ я необдуманно:— трудись-трудись, а впереди никакой карьеры... Всякій писецъ надѣется быть столоначальникомъ, секретаремъ, совѣтникомъ, а учитель...

— Я не о карьерѣ говорю, прервалъ меня Никитинъ, потирая лобъ,—а о томъ: доступно-ли на этой должности сдѣлать столько хорошаго, сколько желаешь?..

Я стушевался и ничего не могъ отвѣчать на этотъ вопросъ.

Мы выпили по второму стакану чая. Случайно, или по привычкѣ (я не знаю), Никитинъ, выпивъ чай, повернулъ и поставилъ на блюдечко стаканъ вверхъ дномъ. Знакомый съ мѣщанскими этикетами, я понялъ, что Никитинъ болѣе чаю не хочетъ и собирается уходить.

Иванъ Саввичъ! обратился я къ нему:—дайте мнѣ, ради Бога, хоть строчку своей рукописи о себѣ на память... Я васъ не выпущу безъ этого. (Сборника стихотвореній И. С. Никитина тогда не было).

Я былъ изъ такихъ взбаломученныхъ, что готовъ былъ броситься передъ Никитинымъ на колѣни, цѣловать ему руки, или, выражаясь прямѣе, подъ видомъ оваціи, само собою разумѣется, безъ злого умысла, сдѣлать скандалъ и скомпрометировать его.

— Что же я вамъ дамъ?... Ахъ! у меня есть стихи черновые... хотите?..

— И вы спрашиваете?.. съ укоризной произнесъ я.

Иванъ Саввичъ порылся въ боковомъ карманѣ сюртука и между разными бумагами нашель листъ бумаги, исписанный стихами. Это была „*Болѣсть*“.

Я чуть не вырвалъ ее у него изъ рукъ. Моимъ благодарностямъ конца-краю не было... Съ ними я вышелъ съ Никитинымъ изъ трактира и, къ душевному прискорбію своему, болѣе мнѣ не пришлось видѣть Ивана Саввича, потому что, когда я былъ переведенъ въ 1863 году въ Воронежъ учителемъ, его уже не существовало и мнѣ пришла грустная доля быть зрителемъ при открытіи ему памятника... \*).



\*) На могилѣ









Biblioteka UJK Kielce

**UJK**



0532633